

ПОВЕСТИ В ПОВЕСТИ

РОМАН, ПОСВЯЩАЕМЫЙ ТОМУ ЛИЦУ, ДЛЯ КОТОРОГО
НАПИСАН
Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души¹.

Уста Ваши никогда не произносили лжи. Сердце Ваше не знает обмана. Кто Вы — это видите только Вы. Этот роман написан для Вас. Вы знаете больше: он не мог бы быть написан без мысли о Вас, она постоянно освещала мой труд. Потому смею думать, что Вы не оскорбитесь посвящением его Вам.

С глубоким уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
А в т о р

С.-ПБург.
20 окт. 1863.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЛЯ МОИХ ДРУЗЕЙ МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМИ И ЧИТАТЕЛЯМИ

Прежде всего надобно узнать вам, друзья мои, кто вы. Вы — люди, понимающие, что роман следует читать как роман; что роман — создание вымысла; что лица, действующие в нем, — лица вымышленные; что Жанна — не г-жа Дюдеван, Женеви́ева — также не г-жа Дюдеван; что Пиквик — не Диккенс, Домби — также не Диккенс.

Вы увидите, что действующие лица этого моего романа еще более далеки от личности автора и всяких действительных его

отношений к его родине и окружающим его людям. Жанна и Женевьева, по крайней мере, француженки; Пиквик и Домби, по крайней мере, англичане, — не по одним именам. Сырнев, Крылова, Всеволодский, Верещагин, Тисьмина, все другие лица, сколько-нибудь важные в романе, только получили имена, соответствующие звукам языка, на котором писан роман: в самих них нет ничего русского, это люди без всякого национального оттенка. И обстановка их точно такова же: в ней нет ничего русского, это общая европейская (и северо-американская) обстановка. Если мой роман покажется заслуживающим перевода на другие языки, я прошу каждого переводчика переделывать имена на звуки, привычные его публике. Действие романа — в Петербурге, в Старобельске и в окрестностях Старобельска. Но Петербург у меня только «столичный город»; Старобельск — только «не очень маленький, но еще очень патриархальный провинциальный город, с хорошими, довольно живописными окрестностями, в хорошем климате, на юге страны и с именем, произведенным от слова, означающего белизну».

В одном из эпизодов является Новая Сербия — это у меня значит: «самый глухой уголок страны, где и наречие чуждо образованному обществу, и вовсе нет людей из столичного общества». Во Франции это будет глубина Бретани, или, еще лучше, глушь Вогезских гор на немецком склоне их (в Бретани все-таки живут люди из столичного общества); в Германии это будет Форарльберг (Ост-Фрисландия не годится по суровому климату и по своей неживописности); в Англии это Корнуоль (горная Шотландия не годится по суровости климата); в Италии это такая глушь за Аbruцкими горами — Барийская область. Имена главных действующих лиц: Сырнев, Крылова, Дмитровская, Тисьмина, Нигулецкий (от реки Ингулец; в чистом русском выговоре Ингулец обращается в Нигулец); все эти имена взяты с карты этой самой глухой части страны — порусски Новой Сербии, — это для того, чтобы показать, что мы будем видеть людей совершенно только в их домашней жизни, без всяких отношений не только к столичной, даже к провинциальной общественной жизни. Еще лучше было бы для этого дать им имена из Гималайских гор, или из глуши верхнего течения Мараньона; но эти имена слишком неловко звучали бы в русском тексте. Потому надобно было взять местность с русскими звуками деревень, рек и т. д. Но этим, — заимствованием имен, — и ограничивается связь этих людей даже и с этою глушью: Новая Сербия является только в одном из эпизодов, как местность, в которой отдыхает Крылова, когда ей не захотелось видеть никого, даже из провинциального, не только из столичного круга ее знакомых. Других отношений даже и к Новой Сербии нет в романе.

Таким образом, в переводе надобно сделать такую замену

имен: Петербург, Старобельск, Новая Сербия, Крылова, Тисьмина и т. д.; по-французски: Paris, Blancheville, les Vosges du Bas Rhin, — и из Вогезских гор, Нижне-Рейнского департамента, m-me Mormontier, m-г Chimont и т. д.; по-английски: London, Whitetown, Cornwall, — и из Корнуоля, mrs Grampond, m-г Tregoney и т. д.; по-немецки: Berlin, Weissenburg, Vorarlberg, — и из Форарльберга, Frau Bregenz, Herr Krause и т. д.; по-итальянски: Torino, Albano, Terra di Bari, и из Барийской области, s-га Santeramo, s-г Cassano и т. д. Кроме того, пусть действующие лица зовут друг друга не по имени-отчеству, а где как принято. Только, других перемен не нужно, и мой роман уже будет ровно настолько же близок французской, английской, немецкой, итальянской жизни, стране и публике, сколько русской. В нем нет ничего, кроме очертаний, общих всем странам и цивилизованным обществам. Я говорю: «сад», «роща» — какие деревья и цветы в них, этого нет у меня; я говорю: «они сели обедать» — какие были кушанья, я не говорю; только однажды упомянута «пулярка», это потому, что Всеволодскому дан обед, приготовленный для Крыловой, а Крылова нездорова, следовательно обед ее должен быть из легких блюд, «пулярка» — это обед больной дамы и притом блюдо, принятое во всех кухнях. Верещагин и Крылова пьют чай не как русские (или тоже англичане), а как люди светского общества: s-га Santeramo в Италии или m-me Mormontier во Франции также кушает чай; у ней это требование светскости, которая не довольствуется кофе. Я не говорю, какой чай пьют они и со сливками или без сливок.

Вы увидите на первых же страницах, что Верещагины — богатые светские люди, и только, больше они ничего не хотят говорить о себе. Верещагин упоминает, что он уважал Лермонтова — Лермонтов здесь только «великий поэт», вместо Лермонтова в переводе будет Беранже, Гейне и т. п. У этого Лермонтова только те черты, которые общи всем великим поэтам: «он был необыкновенно умный и чрезвычайно благородный человек», говорит Верещагин о нем, только. В тексте приводятся, с переделкою (но не пародической, нет, я привожу только хорошие стихи, пародировать которые не желаю, которые сохраняют в переделке все свое достоинство), приводятся с переделкою или без переделки стихи из русских поэтов; но все они выбраны только такие, в которых нет русского колорита: «я люблю тебя», «на полях растут цветы», «в небе сияют звезды» — в этих стихах нет ничего, кроме общечеловеческих мотивов. Во всякой литературе легко будет переводчику подобрать совершенно соответствующие пьески и строфы, если он не захочет сам перевести их на свой язык; имена поэтов не упоминаются в тексте; поэтому только в «списке авторов» в похвале «Перлу создания» придется заменить две-три русские фамилии соответствующими иностранными, но можно оставить и русские.

Европа слышала о наших поэтах, почему ж им не остаться в этом списке подле Гафиза, Гейне и т. д.?

«Перл создания» начинается генеалогией из Гоголя; Всеволодский в 3-й тетради поясняет ее так, что выйдет еще лучше, когда от Кифы Мокиевича будет происходить человек с французскою или итальянскою фамилиею; в переводе надобно только будет выписать несколько строк из Гоголя о Кифе Мокиевиче и об Афанасии Ивановиче. И тогда генеалогия юнши-математика будет еще лучше. В одном эпизоде полуграмотный человек толкует о книге англичанина Бакстера, романе Жорж Занда и одной повести Гоголя; слух об этой повести даже легче может дойти до всякого Etapin, Spunks, Stange или Spagnetto, чем до Остапенко. Если о Гоголе будет толковать Etapin или Spagnetto, это будет еще смешнее. Этот Остапенко просто безграмотный европеец, ведь он занимается переделкою романа Жорж Занда и восхищается пуританами, о которых узнал из Бакстера. Даже и в этом лице, являющемся эпизодически лишь подставкою для рассуждения о Жульене, Жульетте, Галеаццо и Кавальканти (из «Домашнего секретаря» Жорж Занда), нет никакого национального колорита. Национальный оттенок имеют лишь два лица, являющиеся только эпизодически, и даже не второстепенные, а третьестепенные: хорутанка, которая не очень дурна лицом, потому что хорутанки не бывают дурны лицом, и которая плачет над Шиллером, как немка; и старуха настоящей сербской нации, поющая Крыловой сербскую песню; и хорутанка, и сербская старуха — обе случайно попали в страну, обе совершенно чужды ей и ее жизни и обе они — лица, являющиеся лишь на нескольких страницах эпизодических очерков. Все остальные лица, все сколько-нибудь важные в романе лица и вся их обстановка не имеют ровню никакого национального колорита.

Что ж это за произведение «Повести в повести» и зачем таковы его лица, их обстановка? Зачем, это мы сейчас увидим, а теперь, вы уже сами видите, что это. Без местного колорита в обстановке, без национального элемента в действующих лицах никак не могут обходиться настоящие романы, настоящие повести. Без местных красок и без национальных обычаев, мыслей, национальности характеров в действующих лицах нет ни вида реальности — правдоподобия — в действии, ни осязательности в действующих лицах. А без этих условий нельзя обходиться романам, повестям. Без них могут и хотят обходиться только сказки, которые прямо говорят вам: «мы не претендуем ни на что, кроме того, чтобы развлечь вас, понравиться вам, больше мы ничего не хотим; ни с вами, ни с кем никогда не бывало во внешней вашей жизни ничего такого; но в вашем сердце могли звучать когда-либо эти неопределенные поэтические мотивы» — только. И действительно, мое произведение должно было бы называться не «Повести в повести. Роман», а «Сказки в сказке.

Сборник»; совершенно так. Но под именем «сказки» многие при- выкли понимать только «сказку для детей» и притом непременно «волшебную сказку». Заглавие «Сказки в сказке» вводило бы многих из вас, друзья мои, в ошибку.

Есть сказки не для детей. Их сборниками, больше чем самим Данте, славилась итальянская литература эпохи Возрождения. Их очаровательное влияние господствует над поэзией Шекспира: все светлое в ней развилось под этим влиянием. Нечего уже говорить о том, что многие из его пьес прямо даны ему ими. «Ромео и Джульетта» — переделка итальянской сказки. Через Шекспира и мимо Шекспира влияние итальянских сказок проникает всю английскую литературу.

Я уже только очень поздно познакомился с итальянскими сборниками сказок. Мои грезы были взлелеяны не ими. Я в молодости очаровывался сказками «Тысяча и одной ночи», которые тоже вовсе не «сказки для детей»; много и много раз потом, в мои зрелые лета, и каждый раз с новым очарованием, я перечитывал этот дивный сборник. Я знаю произведения поэзии не менее прекрасные, более прекрасного — не знаю.

Далеко не все сказки «Тысяча и одной ночи» — волшебные сказки. В итальянских сборниках вовсе нет волшебного элемента.

Мой роман «Повести в повести» вышел прямо из моей любви к прелестным сказкам «Тысяча и одной ночи». Материал этого сборника не мой материал; я, подобно вам, европеец половины XIX века, содержание моей поэзии, как и вашей, поэзия новой Европы. Об этом, — чтобы не было скучно и длинно, — шуточно говорит похвала «Перлу создания». Но влияние сказок «Тысяча и одной ночи» господствует в моей переработке этого материала. Даже форма перенеслась в мой сборник из арабских сказок. Как там рассказ о судьбе Шехерезады служит рамкою для сказок, вставляемых в него, так у меня «Рассказ Верещагина» служит рамкою для «Рукописи женского почерка».

Мой Верещагин не автор этой «Рукописи», авторы ее — лица, чуждые ему, желающие подружиться с ним и уже в первой части романа успевшие приобрести дружбу его жены и дочери. Но эта разница чисто внешняя. Существенное отношение и там и здесь одинаково: как там судьба Шехерезады связана с успехом ее сказок, так у меня жизнь Верещагина связывается с тем, нравится ли ему «Перл создания». Ясно, что и завязка эта — чисто сказочная, и сам Верещагин — лицо чисто сказочное. Какая тень правдоподобия в том, что он продолжает читать тетради «Рукописи женского почерка», когда уже не желает читать их? Как он не догадался, что ему только стоило бы перестать читать их, и «Неизвестная» перестала бы утруждать его присылкою их? Сказка, столь же чуждая всякой претензии казаться правдоподобною, как сказка о судьбе Шехерезады. Еще меньше этой претензии в «Перле создания»: его авторы — Сыр-

нев, Всеволодский, Крылова, Тисьмина — нимало не скрывают того, что они рассказывают небывальщину: каждый автор беспрестанно противоречит всем остальным, еще больше и усерднее заботится разрушать на следующей странице то, что сам написал на предыдущей, так, чтобы выходил бессвязный ряд отрывков, которых, повидимому, невозможно слить в одно целое, — кажется, надобно просто сказать: «во всем этом нет ни слова правды, и нет двух страниц сряду подходящих одна к другой». Авторы «Перла создания» начинают прямо делать это, разбивать свои собственные слова, с четвертой тетради; в трех первых Верещагин еще не замечает этого, — попробуйте, удастся ли заметить это вам раньше, чем видит он. Я не говорю о явных противоречиях, — например, в биографии Сырнева, — нет, важнее их разнохарактерность взглядов на одно положение, одно лицо. Вникните, например, в разговор Всеволодского с Крыловой — 3-я тетрадь «Перла создания» — это не один отрывок, даже не четыре отрывка: на каждой странице меняются отношения Крыловой к мужу и к сестре; Всеволодский почти до последнего слова не предчувствовал, о чем она говорит с ним, как она смотрит на своего мужа; и отношения ее слов к Всеволодскому меняются очень много раз, и предмет разговора беспрестанно переменяется ею, хоть Всеволодский и не замечает того, — заметите ли вы? Верещагина заметит это, ее муж не заметит; поэтому она подружится с Крыловой раньше, чем сам Верещагин. В этом разговоре тридцать, сорок раз лицо Крыловой изменяется. Так писаны все первые пять тетрадей «Перла создания»; нет, повидимому, никакой возможности слить в одно десятки явных и сотни еще более важных существенных разноречий между десятками явно и сотнями существенно разорванных клочков. Но только повидимому: авторы «Перла создания» или сговорились между собою, или, не сговорившись, очень хорошо понимают мысли друг друга и пишут совершенно заодно, так что в мыслях у Верещагина, его родных и близких друзей создается «История белого пеньюара» — связанная, очень идеальная, из этих клочков, которые имеют между собой внутреннее единство; этому помогают и сами авторы «Перла создания», но у каждого из них выходит своя особая история, и у Верещагина опять своя, у его жены опять своя, у его дочери совершенно иная: в мыслях каждого «Перл создания» пересоздается по характеру внутренней жизни пересоздающего лица.

Вот в этом и сущность моего приема: давать воображению самой читательницы, самого читателя играть переплавкою материала и сравнивать потом, удалось ли сплавить эти сливающиеся части в одно целое поэтичнее, чем слиты они последующими тетрадями «Перла создания» и отражением их в «Рассказе Верещагина». У многих очень часто, у некоторых, я надеюсь и желаю, почти постоянно, у каждой и каждого хоть иногда, —

будет удача в этой борьбе поэтичностью вымысла с Крыловой, Тисьминой, Сырневым, другими «авторами», рассказывающими о себе в «Перле создания». Сущность чистой поэзии состоит именно в том, чтобы возбуждать читающих к соперничеству с автором, делать их самих авторами. Вот для этого-то главные действующие лица сказки должны иметь характер эфирности, не иметь ничего осязаемого, реального. В своих чертах, — сказка — это «Перл создания» в том смысле, что наполовину, — и больше чем наполовину, создается вами самими, и оттенки ее красок — легкие, играющие перламутровые сттенки, всех цветов радуги, но только скользющие в ваших собственных грезах по белому фону сказки. Вот в этом смысле эфирны все главные действующие лица хороших сказок, и азиатских, и европейских: это существа воздушные, создаваемые не столько самою сказкою, сколько вами самими.

Конечно, для этого нет им никакой надобности быть тощими и бледнолицыми: напротив, для фантазии легче и приятнее заниматься лицами чистого телесного колорита, с румянцем на щеках, с светлым блеском в глазах. Гурдаферид цветет здоровьем, только Зораб во всем Туранском войске может выдержать поединок с нею, когда она надевает шлем: если рука ее слабее руки Хеджира, ее сердце тверже, ее взор смелее, ее движения быстрее, ее удары вернее, и она — первая защитница Ирана. Но у самого Шекспира нет лица более прелестного. Дездемона и сама Джульетта далеко уступают ей дивною нежною прелестью. Маджлинет не только женщина, цветущая здоровьем, она женщина полная телом, это ясно из характера сказки о ней: она плотного сложения. А между тем, что может быть эфирнее ее? Это потому, что все ее отношения представлены сказкою на отгадывание вам самим. Кто Маджлинет? Откуда взялась она в половине сказки? Являлась ли она прежде в этой сказке? Стала ли она родственницею кому-нибудь из лиц, в кругу которых является? Сказка молчит. Думайте, что по вашему мнению поэтичнее; что для вас живет, то вы и увидите в Маджлинет. Вот почему она эфирна: она наполовину создается вашим собственным сердцем².

Вот в чем состоит сущность того эфирного характера, который имеют действующие лица всех хороших азиатских и европейских сказок. Волшебная обстановка — лишь ребяческая форма ее. Этой обстановки нет уже и в очень многих сказках «Тысяча и одной ночи», вовсе нет в итальянских сборниках сказок. Тем меньше можете вы ждать ее в моем сборнике. Я пишу для читательниц и читателей Жорж Занда, Диккенса, Мицкевича, Шевченко, Некрасова. И сам я — европеец точно такой же, как те, для которых я пишу. Ни в вашем, ни в моем сердце уже не живет, ни вашему, ни моему сердцу уже не нужна та скучная форма эфирности, которая возносится в светлую поэзию только на чародейских коврах и на птице Рух. Нам эта область ближе

и доступнее, мы возносимся в нее сами, своею силою, не покидая свою реальную жизнь: наша жизнь, жизнь цивилизованных людей, — каковы бы ни были ее недостатки, которые я знаю очень хорошо, — она все-таки уже настолько человечна, что довольно нам немножко вникнуть в ее существенные элементы и стремления, и — наши мысли уже грезы чистой поэзии, уже светлы и человечны:

Грязь и холод: смолкли птицы,
Тусклы стали небеса,
Но доходят до светлицы
Доброй вести голоса...³

Как ребенок им внимаю;
Что сказалося в них, не знаю...
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова...⁴

Струн томленья, хоров пенье...
Жизнь как праздник хороша...
Небо тихо голубеет,
Расширяется душа...⁵

Розы, лилии, жасмины
Рву под трели соловья;
Друг мой, Нанни, эти руки
Вьют подарок для тебя...⁶

В таком настроении духа писаны сказки первой части моего сборника. Мы в нашей литературе все занимаемся общественными вопросами. Это прекрасно. Но бывает потребность и в отдыхе от серьезных мыслей, потребность забыть хоть на час, что мы граждане и граждане, помечтать легкими, светлыми грезами чистой поэзии, чуждой всякого общественного служения. В такие часы читайте первую часть моего романа: она у меня уже вся готова, когда я пишу это предисловие, и я вижу, что она годится для таких часов.

Итак, друзья мои, «Повести в повести» просто-напросто «Сказки в сказке», произведение чистой поэзии, навеянное на современного вам человека дивною поэзиею «Тысяча и одной ночи». Это ясно с первых страниц моего романа или сборника.

Потому, если бы я был только сказочник, поэт, я мог бы обойтись без этого предисловия, начать прямо «Рекомендациею Леснтию Даниловичу Верещагину с похвалою «Перлу создания», писанною Л. Панкратьевым». Но если здесь я сказочник, забывающий втякую гражданскую деятельность, думающий только о песнях любви и трелях соловья, о розах, лилиях и жасминах, то в других моих произведениях, в моих бесчисленных статьях, я — публицист. Как публицист, я предмет сочувствий и антипатий более сильных, чем довольство или недовольство сказочником, поэтом. Я нисколько не в претензии на людей, пи-

сателей и не писателей, оказывающих мне честь своею неприязнью. Я был бы неоснователен, если бы надеялся или желал не быть предметом такого чувства от них. Но каждое положение имеет свои надобности. Положение людей, оказывающих мне честь своею враждою ко мне, как публицисту, возбуждает в них непреодолимую для них самих потребность искать и в моих поэтических произведениях пищу для удовлетворения неприязни, которую они совершенно основательно питают ко мне, как публицисту. Эта потребность, как я сказал и повторяю, совершенно естественна в них и непреодолима для них самих. А если я нахожу этот факт натуральным и основательным, то должен и поступать сообразно тому.

Что я вижу и нахожу естественным? То, что если бы я перевел Шекспира, некоторые стали бы искать и доказывать, кто там я: Яго или Макбет, или даже сама лэди Макбет; если бы я перевел Эдду, стали бы искать и доказывать, кто там я: Суртур или Локки, Фенрир или Гела.

Следовательно, я поступил бы очень неделикатно, если бы не изобразил себя в этом моем романе. Я заставил бы некоторых изнуряться поисками. Я, проповедник гуманности, обязан быть предупредителен к нуждам существ, имеющих вид и подобие людей.

Потому я изображаю себя в этом моем романе под именем Эфиопа. Эфиоп — «Эфиопы, видом черные», помните, из «Власа»⁷ — псевдоним, которым подписана одна из моих очень серьезных статей⁸. Итак, Эфиоп — это я, отставной титулярный советник Н. Чернышевский, семинарист, человек очень много учившийся, еще более думавший о предметах очень серьезных, между прочим о человеческом сердце и о любви, и о поэзии, публицист очень суровый и чрезвычайно грубый.

Н. Чернышевский

СПБург.
20 окт. 1863.

ПОВЕСТИ В ПОВЕСТИ

роман,

посвящаемый à m-ll^e В. М. Ч.

ЭФИОПОМ,

надобно начать мою биографию и характеристику

БИОГРАФИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭФИОПА*

Я родился в Саратове, губернском городе на Волге, 12 июля 1828 г. До 14 лет я учился в отцовском доме. В 1842 г. поступил в низшее отделение (риторический класс) Саратовской духовной семинарии и учился в ней прилежно. В 1846 г. поступил

в императорский СПбургский университет, на филологический факультет. Был прилежным и смиренным студентом, поэтому в 1850 г. получил степень кандидата. По окончании курса поступил преподавателем русского языка в...

Кажется, впрочем, это несколько сухо. Не надобно ли мне изобразить себя более осязательными чертами? — Можно.

В настоящее время (осень 1863) мне 35 лет. Рост мой $7\frac{1}{4}$ или $7\frac{1}{2}$ вершков. Цвет волос — русский; в детстве, как у многих поволжан, был рыжий. Лицом я некрасив. Глаза у меня серые¹⁰.

Довольно, я полагаю. Кому кажется мало, пусть обратится в редакцию «Современника» и через нее получит от меня всякие сведения, каких желает его душа.

Друзья мои, вы видите, что эта страница не бранчива. Но она жестока? Да, но это нужно. Этою и подобными этой страницами я, сколько от меня зависит, очищаю честь вашей и моей родины.

Если бы я был менее опытен в жизни, я ждал бы, что эта страница даже отнимет у некоторых охоту заниматься тем, чем они занимаются. Но я не так наивен, чтобы надеяться внушить какими бы то ни было страницами здравый смысл некоторым. Потому рекомендую им продолжать их занятия; и, между прочим, писательскому отделу их рекомендую находить, что я изобразил себя под именем Верещагина, или Всеволодского, или Лизаветы Сергеевны Крыловой. Я не имею ровно ничего против какого угодно из этих или всяких других предположений и против каких угодно выводов из них¹¹.

Я исполнил обязанность гражданина и становлюсь поэтом. Мое предисловие кончено, и займемся «Сказками в сказке».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЛЕОНТИЮ ДАНИЛОВИЧУ ВЕРЕЩАГИНУ
С ПОХВАЛОЮ «ПЕРЛУ СОЗДАНИЯ», ПИСАННАЯ
Л. ПАНКРАТЬЕВЫМ

По обстоятельствам, которые будут изложены отчасти мною на следующих страницах моего предисловия, отчасти самим Л. Д. Верещагиным в его рассказе, мне пришлось быть переписчиком романа «Повести в повести» и поставить под этим произведением мою подпись, известную публике: имя «Л. Панкратьев» было напечатано мною под несколькими статьями по вопросу о винном акцизе; эти статьи я помещал в «Современнике»¹². В том же журнале было очень много других моих статей. Именно этим я и был важен г. Верещагину: ему нужно было загородиться моим именем от праздного любопытства. «Л. Д. Верещагин» — псевдоним лица, желающего, чтобы его истинное имя осталось неизвестно никому, кроме нескольких ближайших родственников и друзей его. Когда под романом выставлено такое имя, как «Л. Панкратьев», то все будут уверены, что я автор этого произведения, хотя я и буду уверять, что я только переписчик. Перепи-

сывать роман моею рукою надобно было мне для того, чтобы получить выгоды, которые доставляет мне услуга, оказываемая мною г. Верещагину и авторам «Перла создания». Эти выгоды будут объяснены самим г. Верещагиным в его рассказе; они отчасти материальные, отчасти нравственные. Здесь довольно будет сказать, что каждый день, употребленный мною на переписывание романа, доставлял мне гораздо более денег, нежели какая бы то ни было другая работа, не 10 и не 20 рублей, а несравненно больше.

Плата велика, потому что услуга велика. Вы увидите это. Вы убедитесь, что ни к т о кроме меня не решился бы поставить свою подпись под «Перлом создания».

Но вы сами увидите также, я ли автор «Перла создания» или «Рассказа Л. Д. Верещагина». В рассказе г. Верещагина вы увидите с первых же строк, кто истинный автор. Это прямой, простой, честный рассказ, в котором можно и должно буквально принимать каждое слово: потому из первых же слов вы увидите, что автор его сам г. Верещагин и один только он.

«Рукопись женского почерка» вещь совершенно иного рода. Не с первых строк, быть может не с первых страниц ее, вы убедитесь, что ни г. Верещагин, ни кто из его семейства или его близких не может считаться автором этой «Рукописи», что она произведение совершенно чуждое ему и его близким. Но и убедившись в этом, вы все еще мало узнаете о происхождении «Перла создания». Я расскажу вам все, что мог сообразить верного, переписав всю первую часть этой очень странной вещи.

Уже и в первой части «Перла создания» сотрудничали очень много разных авторов. «Неизвестная», о которой столько говорит г. Верещагин в своем рассказе, очевидно, автор только некоторых отрывков. Несомненно, она только сотрудница очень многих лиц. Вот список важнейших из авторов первой части «Перла создания»; перечисляю их фамилии по алфавиту, для безобидности, и притом по французскому алфавиту, который принят для подобных списков всеми цивилизованными нациями:

D — Диккенс

F — Фет

Фландрские поселяне и поселянки

G — Гете

Гоголь

H — Гафиз

Гейне

K — Крылова

Кольцов

L — Лермонтов

N — Некрасов

S — Жорж Занд

Шиллер
 Сербский народ
 Сырнев
 Т — Тисьмина
 Тютчев
 Ш — Всеволодский

«Неизвестная» — по всей вероятности Крылова.

Этих я перечисляю с уверенностью: они обозначены ясно. Но, без сомнения, тут есть и многие другие, например (опять по алфавиту), Байрон, Беранже, Фильдинг, муж Крыловой, Шенье, Шелли, муж Тисьминой. Ясно, что они сотрудничали; ясно, что сотрудничали многие другие романисты и поэты нынешнего и двух прошлых столетий; но что написано ими, указать трудно.

Чувствуется присутствие многих других сотрудников, более сильных поэтическим гением, чем сам Гёте, например, Фирдавси, Шекспира и других подобных им поэтов — компиляторов народных преданий (известно, что главная сила и Мильтона, и Шекспира, и Боккачио, и Данте, и Фирдавси, и всех других первостепенных поэтов состояла в том, что они были компиляторы народных преданий; у таких людей, как Гёте, нехватало силы на это, они брали материал уже из вторых рук, до корней не успевали докопаться, или не могли справиться с этими корнями, как Гёте не сладил с легендой о Фаусте). Но вот именно тут и главное затруднение: сами ли эти поэты сотрудничали в «Перле создания», или их подражатели? Или та и другая страница «Перла создания», кажущаяся взятою из таких великих созданий поэзии, самостоятельно написана лицом, выдающим себя за ее автора? Для примера приведу один случай, еще не из самых трудных. В «Перле создания» (5-й тетради) есть разговор Лакшми с лицами, под которыми явно разумеются Крылова и ее муж; по всей вероятности, это заимствовано из Риг-Веды¹³, ясно, из Риг-Веды; но в Риг-Веде нет ничего сходного с этим разговором. Что ж это? Если не заимствование, то Крылова, выдающая себя и своего мужа за составителей этого разговора с Лакшми, — она гораздо выше Гёте, — по крайней мере равна Фирдавси или Мильтону. Я полагаю, что это подражание; но чему? кому? — не могу открыть. Или неужели в самом деле мир вновь приобретает в некоторых авторах «Перла создания» поэтов, равносильных Фирдавси, Шекспиру, Мильтону?

Не будем решать этого вопроса, друзья мои. Мы не раздавали славы людям одного с нами поколения. Те из авторов «Перла создания», которые здравствуют, наверное знают это и не ждут от нас с вами решения, гениальны ли они. Ручаюсь в этом за Диккенса и Тисьмину, Крылову и Жорж Занда, Всеволодского и Фета, Некрасова и Тютчева. Все они знают: «если нас еще не забудут в 1900 году, мы — великие поэты; но раньше 1900 года

нельзя слышать, кого помнят и любят в 1900 году. Оставим времени решить то, что может решить только время».

Так думают все восемь человек, которых я назвал вам, — ручаюсь. И по-моему, они думают это умно. А если какие очень тонкие ценители талантов и знатоки художественности воображают, что могут решать то, чего не могут разобрать, вы им скажите: «извольте решать», а сами ждите, что они могут попасться впросак, как попался однажды человек, лучше понимавший свое дело, чем они понимали свое. Случай этот был вот какой.

Фрейтаг был хорошим знатоком латинской стилистики. Он был профессором латинской словесности в петербургском университете. Чернышевский, бывши студентом, говорил ему: «Я пишу по-латыни так, что вы не можете быть судьей моего слога, — это задача выше ваших знаний». Но Фрейтагу все казалось, что он может поправлять то, что писано Чернышевским. Чернышевский всегда был шутником. Компрометировать перед другими он не хотел, но для забавы себе одному сделал вот что: взял Цицерона *De Natura Deorum* и буквально выписал оттуда, сколько поместилось на четырех страницах плотного письма, заменив только имена «Спарта и Афины» именами «Новгород и Киев», и сверху написал: «Перевод русской проповеди XIII века», никаких других прибавок, убавок или перемен не понадобилось, — и отдал Фрейтагу: «вот, прочтите-ка это». Фрейтаг отметил много плохих оборотов (у Цицерона-то) и подписал «не более как порядочно», а на том, что писал сам Чернышевский и прежде и после, писал: «очень хороший латинский язык». При жизни Фрейтага Чернышевский никому не объяснял этой шутки и не показывал этого листа: старик, сухой во всем, но любивший свою латынь, огорчился бы таким промахом. Но по смерти Фрейтага некоторые любовались у Чернышевского этим листком с аттестацией Фрейтага Цицерону.

Конечно, это юношеская шалость. Но вы увидите, что Сырневу и Тисьминой не больше лет, чем было тогда Чернышевскому. Авторы «Перла создания», очевидно, знали этот очень немудреный, но и не очень простой, требующий большого знания, прием: они очень ясно намекают на него «притчею о сестре чьей-нибудь бабушки», «притчею о Прасковье Осиповне» и «притчею о Дженкинсоне» (в 4-й тетради «Перла создания»), и прочтите в 3-й тетради «Перла создания» биографию одного господина, называющего себя «учеником Спинозы», — вы и увидите, что при помощи такого спинозиста могли быть устроены всякие притчи.

И все эти притчи прикрыты явными вызываниями: «пожалуйста, вообразите, что авторы «Перла создания» — подражатели: один — Гоголя, другой — Жорж Занда, третий — Диккенса, четвертый — Гёте, пожалуйста, пожалуйста, предположите это». Это, по моему мнению, другая сторона той же шутки: «авось, дескать, найдутся такие мудрецы, которые не поймут и

этого». Верещагин не скрывает, что первыми страницами «Перла создания» едва-едва не подловили его на эту удочку, но он, должно быть, человек точно не без вкуса: прочитав страниц десяток, увидел, что нет, тут Гоголь только для уловления неопытных мудрецов.

Вот какая вещь, по-моему, «Перл создания». Так я полагаю по первой части. Потому-то я и поостерегся судить о талантах авторов «Рукописи женского почерка», свалив это на потомство. А то, конечно, и не дожидаясь потомственного решения, можно бы теперь же сказать, что некоторые из авторов «Перла создания», доселе здравствующих, поэты гениальные, например, Диккенс, Жорж Занд. Оно так; но в таком случае Тисьмина, Крылова, Всеволодский скажут: «решай и о нас». А тут как решить? С одной стороны Лакшми, с другой же — сестра чьей-нибудь бабушки; оно и боязно. Право слово, боязно. Ну что, например, если вдруг окажется, что вся история «Белого пеньюара» — перевод одного из величайших созданий новой европейской поэзии? Так; оно даже и очень похоже на то; но какого? Только то верно, что первоклассного, не менее знаменитого, чем хотя бы «Фауст» Гёте или — да другого такого великого создания где же и найти? — разве у Шекспира? А наверное, перевод. Вот бы кто попробовал отыскать, уж как бы удружил мне, а то очень затрудняюсь. Но чувствую, чувствую, что перевод, даже из какого поэта — чувствую; а сказать робею — притча о Прасковье Осиповне запугала меня.

Но кое-что я рискну сказать. Например, попробую объяснить «посвящение романа тому лицу, для которого он написан». Что такое? думал я. Но когда переписал «разговор Крыловой с Коробейниковой», в котором находится и прелестный, чудный (это, кроме шуток, дивная страница) эпизод с Лакшми, то я увидел, что дело выходит очень просто: это загадочное лицо — ни больше, ни меньше как m-lle В. М. Ч., и я читаю эти буквы так: В[сякая] М[оя] Ч[итательница], и каждое из этих трех слов прекрасно объясняется этим разговором, действительно серьезным и честным: мо я читательница — только читательница с чистым сердцем; она священна, как Жанна д'Арк для всех порядочных людей, хотя бы она и была и дама, и вдова, все равно, она для авторов «Перла создания» mademoiselle И. Ч. (надобно произносить И(х) Ч(итательница)). Они, впрочем, и постоянно говорят это каждому: «сердце, сердце, — ваше сердце, каково оно?» Перечитайте с этим объяснением «посвящение» на первой странице романа, подписанное «Ваш покорнейший слуга, автор», вы увидите, удачно ли мое объяснение. А если удачно, то роман очень нравится мне.

Конечно, я могу говорить не стесняясь, что роман этот нравится мне: ведь не я автор, я человек посторонний, я только переписчик, что мне стесняться выражением своего мнения о романе? — прекрасный роман.

Да правда ли, что я только переписчик? Постепенно вы убедитесь в этом гораздо серьезнее, чем расположены верить теперь; потому теперь я скажу вам только вот что: считайте меня автором, но знайте, что был некогда такой случай:

Один из гениальнейших поэтов мира, очень старинный поэт, начиная писать превосходный свадебный гимн, начал его словами: «Дошли до моего слуха добрые слова; отозвались они эхом из моего сердца, и рука моя — рука переписчика», —

Ликует день, щебечут птицы,
Красою блещут небеса;
Несутся из моей светлицы
Любви и воли голоса¹⁴.

Эфиоп.

Не мои, нет: ваши собственные.

Авторы — вы, вы сами. Гораздо больше, чем вы привыкли думать.

Об этом вы прочтете кое-что в сочинениях Алферины Сырнева, доброго, начитанного и очень неглупого юноши, одного из авторов «Перла создания».

Но я незнаком лично ни с одним из авторов «Перла создания». Я имею честь знать только Л. Д. Верещагина. Он желал, чтобы я, старый знакомец моих друзей, рекомендовал его им. Исполняю это желание.

Само собой разумеется, что лицо, являющееся перед публикой под именем Леонтия Даниловича Верещагина, в действительности носит другое имя. Если это лицо закрывается от праздного любопытства принятием псевдонима и, не довольствуясь тем, хочет еще плотнее закрыться моею подписью, то естественно будет предположить, что внешние приметы, которыми я характеризую его, будут неопределенны и не раскроют тайну его личности. Это условие я должен был соблюсти. Но индивидуальность состоит не в одних наружных приметах. Внутренняя, существенная сторона жизни и характера человека, скрывающегося под именем Л. Д. Верещагина, могла быть описана мною публике без всяких неудобств.

По своему семейному и общественному положению, лицо, ведущее рассказ под этим псевдонимом, — семейный человек немалых лет с независимым состоянием. Он и его супруга, которая является в его рассказе под псевдонимом Маргариты Николаевны, проводили и надеются проводить свою жизнь без всяких приключений и бед, мирно, спокойно, счастливо и радостно, и вот уже восемнадцать лет живут вместе так, как желают жить между собой все хорошие мужья и жены. Лета Леонтия Даниловича неизвестны мне с полною точностью; на вид я дал бы ему лет 40. Его супруга пожелала, чтобы я сказал, что ей 36 лет, это и

правда, как мне известно: я был родственник старичку священнику, крестившему ее, родственник и другому старичку священнику, венчавшему ее. Этим людям, конечно, были известны ее лета, а им часто приходилось разговаривать когда-то при мне о ее семействе, и о ней тут же; кстати ее семейство было семейство очень почетных прихожан. Я видывал ее еще до ее замужества и мог бы и желал бы сказать, хороша ли была она лицом в молодости и насколько осталась хороша до сих пор (если в молодости была хороша). Но она просила, чтобы я заменил мое мнение следующими ее словами: «Могла нравиться тому, кого полюбила, — своему жениху. Действительно ли нравилась кому-нибудь другому, — не знаю. Муж в своем рассказе говорит обо мне, но его мнение, разумеется, пристрастно. Ваше, вероятно, очень любезно. Compliments я слышала; их слышит каждая девушка, имеющая хорошее приданое».

Это слова самой М. Н. Верещагиной. Но она позволила мне прибавить, что она и ее дочь, Надежда Леонтьевна, обе брюнетки, что ее дочь очень похожа на нее, что она согласна с общим мнением о роскошных черных волосах и о добрых ясных черных глазах Надежды Леонтьевны. «Кстати, — сказала она, — прибавьте, что ошибаются, думая, будто Надине уже 17 лет: ей только 16. Но моему мужу больше чем 40 лет».

Однакоже, наверное меньше 45, это видно, хотя в темнокаштановой бороде Леонтия Даниловича уже немало седины. Общее (и мое) мнение о его наружности я могу выразить определенно, потому что он, мужчина, не имеет причины скромничать. Он был и все еще остается очень хорош собой. Высокого роста, с широкою и высокою грудью, стройный, он еще такой молодец, которому завидуют многие, имеющие на плечах не больше 30 лет.

О характере его неловко было бы мне говорить; да это и не нужно: характер его виден из его рассказа. Твердость, прямодушие, честность и деликатность тона, без сомнения, приобретут Л. Д. Верещагину полное и всеобщее уважение. Такие люди не могут быть дурными. О его супруге, — несмотря на ее серьезный гнев за это слушание, — я говорю, что она одна из очень немногих светских дам, искренно и глубоко уважаемых мною. Она полгода, быть может год, будет сердиться на меня за это неповиновение ее воле. Но я не имею счастья, быть может и охоты, принадлежать к ее обществу, потому гнев ее для меня гораздо менее важен, чем долг выразить то, что я думаю о ней с этой стороны. О ее наружности я согласился молчать, но я перестал бы уважать себя, если бы, говоря о ней, не высказал своего мнения о ее характере.

Кроме старшей дочери, Надежды Леонтьевны, у Верещагиных есть двое или трое сыновей. Но они еще совершенно маленькие дети, от 7 до 12 лет, и не являются в рассказе г. Верещагина; потому довольно сказать о них, что они существуют и здравствуют и даже мало жалеют о том, что вот уже два года проводят со

своими старшими только по три, четыре месяца в провинциальной глуши, в которой прежде жили и бегали на просторе, не заменяемом для них простором их петербургской квартиры. Зато в Петербурге у них больше сверстников.

Где жили Верещагины до своего переселения в Петербург: в своей деревне или на каком-нибудь своем заводе, быть может в усадьбе подле какой-нибудь своей мельницы-крупчатки, или в каком-нибудь, может быть, и довольно большом городе, еще не переставшем иметь почти деревенский простор; был ли там на службе г. Верещагин, или жил в отставке, или никогда не находился на службе, — быть может, по своему родовому сословию и не имел права находиться на службе, — это оставляется неизвестным. Л. Д. Верещагин желает не определять, в каком именно положении среди провинциальной глуши, в сельском или городском отделе ее, жил он с семейством до переезда в Петербург. Его желание очень основательно и ничему не мешает. Он не хочет, чтобы его действительное имя было узвано кем-нибудь, кроме его немногих ближайших родных и друзей, которым лично через него уже известны все обстоятельства, здесь раскрываемые им. Если бы определить, кто он — помещик, отставной военный или чиновник, негоциант или фабрикант, его уж по одной этой примете узнали бы в уезде или в городе, где он жил постоянно и куда продолжает уезжать каждое лето; там люди с состоянием, живущие открыто, очень на виду, потому что их немного. Господа и госпожи, которые ничего не поняли бы в его рассказе, стали бы толковать с ним о его «повести» (!), пожалуй присваивать ему же и вставленную в рассказ «Рукопись женского почерка»; стали бы церемониться с ним, как с писателем, который, — чего доброго, — еще и выведет их на осмеяние публике. Он не желает этого. Он хочет не быть литератором для тех, для кого не пишутся такие рассказы, как его. А для тех, которых он желает иметь своими читательницами и читателями, вовсе не интересно было бы, по его справедливому мнению, допытываться о его формуляре или гильдейском свидетельстве: эта часть публики и в провинциальной глуши имеет те хорошие петербургские обычаи, которые заставляют нас всех говорить: «дрянной город этот Петербург, а все-таки в нем еще можно жить». Порядочное европейское общество, круг которого уже довольно многочислен в Петербурге, не мал в Москве, которое имеет уже десятки, — по иным местам целые сотни, — своих представительниц и представителей во всяком углу всякой провинции, — оно интересуется не официальным, а именно общественным положением своих сочленов; общественное положение определяется не званием лица или семейства, а его средствами к жизни и его образом жизни.

О своем образе жизни г. Верещагин говорит довольно подробно в своем рассказе. Поэтому мне надобно сказать только о его средствах к жизни. Он и его супруга имеют вместе до два-

дцати тысяч постоянного дохода; считают, — и совершенно благо-разумно считают — полезным и удобным проживать весь этот доход теперь, когда живут в Петербурге. Надежда Леонтьевна почти уже невеста; для ее судьбы имеет серьезную важность то, чтобы они жили открыто. В некоторые годы они получают больше, иногда тысяч до тридцати.

Надобно сказать несколько слов и о моих отношениях к семейству гг. Верещагиных. С Леонтием Даниловичем я виделся не более пяти-шести раз и, сколько могу понимать, ни он, ни я не имеем ни надобности, ни влечения стать в более короткие отношения; я полагаю, что теперь мы с ним едва ли и будем вновь видеться: круг его знакомства и моего — совершенно различны; впрочем, если случится встретиться, мы будем раскланиваться и говорить, как знакомые.

Маргариту Николаевну я знаю уже много лет, но встречал ее исключительно в светском обществе, в котором всегда бывал редко. Я могу сказать, что она принадлежит к числу очень немногих светских дам, не производящих на меня неприятного, отталкивающего впечатления. Раза два-три я даже обменивался с нею несколькими словами, не тяготясь разговором. Но вообще я только видел ее, и не имею права назвать себя ее знакомым.

С ее дочерью, Надиною Леонтьевною, я хорош, — насколько очень немолодой человек, каким я стал очень и очень давно (если был когда-нибудь чем-нибудь другим, чего почти и не припомню), может быть хорош с молоденькою девушкою, почти ребенком; ребенком, с которым ему не о чем говорить и для которого он был бы скучен, если бы ему самому не было скучно полудетское общество. Я постоянно вижу Надину Леонтьевну в семействе, с которым очень близок. Я сижу в кабинете хозяина; она, подруга младших сестер жены хозяина, часто входит в этот кабинет, заваленный деловыми бумагами и неудобочитаемыми книгами; взойдет, повернется — и уйдет подальше от скуки, которая охватывает в этой комнате не только девушек или дам, но даже и людей, считающихся очень серьезными учеными, охватывает всех, кроме хозяина (впрочем, добродушного педанта, хоть и большого педанта, даже по моему мнению) и немногих подобных ему чудаков.

Итак, я очень хорош с Надиною Леонтьевною в том смысле, что очень часто слышу ее голос, вижу ее на несколько минут в той комнате, в которой мне нравится бывать, считаю ее девушкою доброю и неглупою, очень неглупою, даже очень умною от природы, имею право не выпрямляться, когда она входит, не вставать, когда она уходит, не обращать ровно никакого внимания на ее присутствие, и этим последним правом пользуюсь вполне. Как же не сказал бы я, что мы с нею очень хороши? Но если бы кто-нибудь вздумал осведомиться у меня хотя бы даже о том, читала ли она хоть одну из моих бесчисленных статей, я затруд-

нился бы отвечать: таково наше знакомство с нею. Впрочем, не затруднился бы: наверное она даже не знает, какие статьи и о чем писаны мною.

Из рассказа г. Верещагина будет видно, что он очень близко знаком со многими и журналистами и беллетристами. Конечно, он и не обратился бы ко мне, человеку почти незнакомому с ним, если бы мог рекомендовать его публике кто-нибудь другой. Но выставить псевдоним, известный публике, под произведением, под которым подписываются, как авторы, псевдонимы еще неизвестные никому, псевдонимы, принадлежащие людям, которые почти все желают остаться известными публике только под своими псевдонимами, это значит принять на себя полную ответственность перед публикою за литературное, — и что еще важнее, — за нравственное достоинство произведения. Г. Верещагин полагает, что очень многие из его знакомых литераторов не отказались бы сделать ему эту услугу, если бы дело шло только о рассказе, который написан им. Его рассказ не представляет ничего сомнительного: он прям, чист и благороден, это видно всякому. Явиться под руку с таким лицом, как г. Верещагин, не компрометирует никого. Дать ему маску своей подписи — дело не щекотливое. Но с его рассказом связана «Рукопись женского почерка». Захотят ли авторы ее объявить свои истинные имена, или останутся Сырневыми, Крыловыми и пр., это неизвестно, — по крайней мере, мне. Если известно г. Верещагину, то он, вероятно, не получил от них права сказать мне, каково их намерение. «Я не знаю», — сказал он мне.

Судя по характеру первой части, которая одна еще прочтена мною, затрудняюсь понять, что такое, наконец, эта «Рукопись женского почерка»: сборник или одно целое, имеющее только видимую бессвязность; до какой степени это произведение — вымышленное произведение, и до какой степени — ряд биографий, едва прикрытых от постороннего глаза незначительною переменою обстановки. Авторы «Рукописи женского почерка», по словам г. Верещагина, люди чистые; словам такого лица, какое скрывается под этим псевдонимом, я не могу не верить. Я даже полагаю, что они сбросят с себя свои псевдонимы, и мы увидим в печати истинные имена Сырнева, Крыловой, ее мужа, старика Всеволодского, Тисьминой, — они могут сбросить свои псевдонимы; прочтите, что они говорят о себе: «мы безукоризненны, мы не боимся общественного мнения и публичности», — это говорят и Крылова, и Всеволодский. Они люди; их произведения будут иметь успех, им захочется авторской славы. Я так думаю. Но г. Верещагин говорит мне: «это неизвестно», — он уже привык приносить одно из их любимых слов.

Итак, давая свою подпись этим псевдонимам, литератор должен предвидеть тот случай, что на его ответственности перед публикой останется и «Перл создания», а не один только «Рассказ

Верещагина». Верещагин — благородный человек, он честно высказывал мне эту возможность. Он и я, мы оба полагаем, что кроме меня никто из наших беллетристов не пошел бы на такую возможность. Я пошел на нее не только без отговорок, даже с удовольствием. Я чудак, а потому могу позволять себе многое, над чем призадумался бы другой, или менее меня равнодушный к своей репутации, или менее меня уверенный в ее непоколебимости.

«Рукопись женского почерка» — произведение умное, честное, талантливое. Это видно из первой части. Авторы ее — за них ручается их «Рукопись»; я так смел в бумажном деле, что этого было бы мне довольно; но, кроме того, за них ручается г. Верещагин. Он сказал мне: «Я не печатаю мой рассказ без подписи какого-нибудь литератора, который бы закрывал собою меня. Без моего рассказа «Рукопись женского почерка» не будет иметь половины своего достоинства. Так говорит мне «Неизвестная». Я требую вашей подписи, потому что не найду другой». — «Извольте», — сказал я.

Итак, покорнейше прошу считать меня автором «Рукописи женского почерка» и «Рассказа Л. Д. Верещагина», приписывать мне все, все до последнего слова, даже и переводы из Гафиза¹⁵ и пьесы «Нет, не жди ты песни страстной»¹⁶, и «Ночь. Успели мы всем насладиться»¹⁷, и рассказ о Дженкинсоне¹⁸. Я буду очень рад.

Л. ПАНКРАТЬЕВ

ПОВЕСТИ В ПОВЕСТИ

РОМАН ИЛИ НЕ-РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАССКАЗ ВЕРЕЩАГИНА

Я, Верещагин, начинаю простым рассказом обстоятельств, расположивших, а больше заставивших меня взяться за дело, которым я никогда не предполагал заниматься; дело высокое, благородное, но такое, для которого я, быть может, не приготовлен и, быть может, не рожден. Я очень уважаю литературу; ставлю за удовольствие и за честь себе то, что пользуюсь знакомством многих, даже дружбою некоторых, литераторов. Но сам я дожил до седых волос, не напечатав ни одной строки.

Когда мы жили в провинции, мы с женою почти каждую зиму приезжали месяца на три в Петербург; я — больше всего для английского клуба, отчасти для итальянской оперы; моя жена — больше всего для итальянской оперы, отчасти для магазинов г-жи Трепхан, Русских изделий и Погребова. Мы не так богаты, чтобы

она не находила большого расчета покупать и делать заказы лично, а не через почту. Не говорю о том, что очень приятно было проводить лучшую часть сезона в обществе, в котором мы оба имеем многих родных, десятки друзей, сотни знакомых.

Два года тому мы рассудили, что пора нам переселиться в Петербург для нашей Надины. Ей было уже 14 лет. Мы не такие миллионеры, чтобы могли в своей глуши иметь отличных преподавателей для довершения светского образования нашей дочери. У ней сильный голос. Нам и ей хотелось, чтобы он был обработан под руководством превосходного наставника пения, какого можно иметь только в Петербурге. Это было сильным побуждением. Искусство пения — лучший друг для самого человека и всех его близких. Сколько раз приходилось мне жалеть, что сам я не пою! Сколько сладких часов нашей жизни доставило мне и Рите то, что она хоть немножко поет!

Я очень хотел также, чтобы Надина брала уроки у отличного танцмейстера. Надина и даже Рита не совсем понимали это. Они — женщины, они не могут вполне ценить грацию женщины. Впрочем, быть может, это и во мне более моя личная потребность. Я и теперь не без гордости вспоминаю один случай. Когда я был юношею, понятия об искусстве были далеко не те, как теперь. Еще почти не было и слухов о Венере Милосской, — всё толковали о Медичейской. Но когда я увидел эстамп этой статуи с отбитыми руками, я тотчас же сказал кругу родных, пересматривавших вместе со мною коллекцию прекрасных гравюр: «Эта богиня с отбитыми руками гораздо выше всех ваших Медичейских». Со мною спорили. Я остался при своем. Через пятнадцать, двадцать лет я мог видеть во всех новых монографиях о скульптуре, что я не ошибся. Я никому не говорил этого, кроме Риты. Такие вещи не говорятся. Но, взявшись за перо и выставив перед собой псевдоним, я чувствую, что могу высказывать всем многое, чего не говорил никому, кроме Риты («Рита» — кто знает и кто, когда прочтет, поверит, что я продолжаю звать ее именем, которым звал 15 лет назад?). «Нет, у него талант», скажут знакомые. Талант! — Пушкин мог это делать. Но создать лицо и так перенестись в его положение, — я вижу, что это нелегко и для людей, которых называют очень талантливыми. Мне вспоминается одно стихотворение, впрочем, очень милое — «Старики», у них дочь, немногим старше Надины, эти старики пятью годами старше нас с Ритою. Я говорю: оно очень мило, и я согласен, что автор — человек с большим талантом; но я говорю: видно, что это было писано молодым человеком.

И в тебе, моя подруга,
Нету прежней красоты¹⁹.

Может ли он сказать это, этот «старик»? Зачем он будет говорить неправду? Ведь этот «старик» почти моих лет. Зачем

скажу я это Рите? Зачем я скажу ей противное тому, что вижу? «Мне 36 лет», говорит она. Я с этим не спорю. Но... но это совершенно другой вопрос. На ваши глаза, господин тогдашний молодой человек, автор этого милого стихотворения, моя Рита — мать Надины, в которую вы, может быть, были тогда влюблены или были влюблены в одну из сверстниц Надины, пятью годами постарше дочери моей Риты. Я это вижу. Но вы — я говорю с тогдашним молодым человеком — вы не спросили моего мнения о личике, в которое вы влюблены. Вы правы, что влюбились в это личико, еще не совсем утратившее детские черты. Но почему вы знаете, каков мой взгляд? Почему вы знаете, что ваша 18-летняя, даже 20-летняя Параша²⁰ не кажется мне ребенком? Да, она кажется, и, может быть, я думаю: «Она обещает сделаться хороша собой через несколько лет», — почему вы знаете, что я неправ? Всеми признано, что греки умели понимать эти вещи. Я спрошу вас: сколько лет Гере? За 35 лет. Правда, Парис отдал золотое яблоко не ей, а Афродите; но сам он был юноша, — пристрастен к тому, кого чувствует ближе себе по летам; и все-таки он отдал яблоко Афродите потому, что был подкуплен. Да и самой Афродите сколько лет? Под тридцать, если не все тридцать, — извольте-ко всмотреться. Диана еще и не попала в число соперниц за первенство. На нее смотрели только Эндимион и Актеон — безбородые юноши. Нет, мы с вами поспорим, господин автор.

Пушкин не сказал бы этого:

И в тебе, моя подруга,
Нету прежней красоты.

Это недосмотр, показывающий, что и при таланте, — я охотно соглашусь, даже значительном таланте, — трудно брать на себя чужую роль, это могут делать только гении. Иначе тотчас же откроешь обмолвки. Правда, нужно иметь вкус, чтобы открыть их. Толпа не имеет его. Она только симпатизирует идеям.

Но я — в этом отношении я действительно не старик: вашим идеям я сочувствую. Я понимаю прогресс и радуюсь ему. По идее пьеса, в которой я нахожу такую обмолвку, — обмолвку, показывающую мне, что автор не Пушкин, Пушкин не выдал бы своих лет таким недосмотром, — по идее ваша пьеса выше дивной «Буря мглою небо кроет». У стариков Пушкина нет детей. Ваши, и мои, старики говорят о Параше. Идея ваша человечнее, потому поэтичнее. Наш век дает молодость нам в нашем сочувствии нашим детям. Он вашими устами признал это: эта Параша — я вижу в ней мою Надину и благодарю мой век за это. Он не отвергает меня, старика, за мои лета. Вы говорите: «этот старик любит свою дочь, — мы видим в нем человека, еще не отжившего». И я не обману вас за то, что вы не

отвергаете меня, старика: я ваш, я молод. В моей Надине я ваш; в любви моей к ней мое сочувствие к вам.

Однако я в самом деле старик: уже целые две страницы исписаны — болтлив старик, выдал себя. Нет, утешусь тем, что это болтливость не старика, а только слишком неопытного автора. И почему вы знаете, что все это не вымысел? Я создал Верещагина и изображаю это созданное мною лицо, — так вы скажете. Мне именно то и нужно, чтобы вы так думали.

Моя Рита посмеялась, прочитав это: «Ты — и автор — все-таки отец Надины и, в особенности, мой муж!» А другие, даже наши родственники, ведь точно подумают, что я в самом деле описываю чувства какого-то Верещагина, где же им знать то, что знает только Рита? Стану ли я при них звать мою почтенную супругу ласковым полуименем, воспоминанием, но для нас с нею не совсем только воспоминанием — нет, остатком, живым остатком нашей молодости.

«Да, — скажут немногие, которые будут знать, кто писал это, — да, у него есть талант; он создал очень живое лицо, — талант!» И точно: если бы я создал «какого-то Верещагина», у меня был бы талант. Но тогда он, вероятно, не оставил бы меня в покое до седой бороды, — вероятно, гораздо раньше засадил бы писать. А я только по обстоятельствам вздумал, даже не вздумал, а увидел себя в необходимости набросать несколько страниц, чтобы... чтобы... исполнить требование, мне неприятное. В мои лета, при моем положении в обществе, быть принуждену писать по чужому требованию!

Не ждите, впрочем, что мой рассказ будет о моей семейной жизни. Я старик, но и жена моя старуха. Мы живем друг для друга и для наших детей. Моя старшая дочь — ребенок. И хоть я старик, но никто не посмеет оскорбить мою дочь: пока она не будет иметь другого защитника, более меня близкого ее сердцу, моя рука еще тверда! Да мы и живем не в таком обществе, где могла бы понадобиться защита моей руки для моей дочери. Мы живем в обществе благородном. Но в случае надобности, я умел бы обойтись без пера.

Рассказ мой не о моей семейной жизни. О ней нечего было бы рассказывать, если бы я и хотел. В ней нет ничего интересного или особенного. Рассказ мой — только о моих странных отношениях к людям, которых я до сих пор не знал, одного из которых, — только одного, — я стал видеть недавно, и видеть странно. Это женщина. Еще молодая. Семейная. Благородной души, безукоризненная. В этом я не мог бы сомневаться, если бы и не уверяла меня Рита, уже введенная ею в ее семейство. Я теперь стал видеть эту женщину несколько вечеров, говорил с нею. Этими разговорами отнята у меня всякая возможность сомневаться, что действительно она писала часть рукописи, которая печатается дальше, — быть может, она одна писала всю

эту рукопись. Но она говорит, что нет. И, вероятно, она говорит правду: ею писана только часть. Она говорит: «это моя биография», и я верю этому. Но это... это так странно, что я не знаю имени подобной вещи. Женщина молодая, семейная, благородная душой, несомненно скромная, печатает свою интимную историю, историю, которая... ну, словом, представьте себе, что княжна Мери или Онегинская Татьяна — действительные лица и печатают о себе все то, что мы знаем о них, и гораздо больше... Я не знаю примеров такой... смелости.

(Когда корректуры этой первой части были уже доставлены г. Верещагину, им овладело сомнение: не мистифицируют ли его. Он выразил это своей «Неизвестной знакомой» и получил от нее лично честное слово, что действительное имя лица, носящего псевдоним Лизаветы Сергеевны Крыловой в «Рукописи женского почерка», будет напечатано в начале второй части «Перла создания». Он поручился мне, и совершенно убедил меня поручиться публике, что это будет исполнено. Итак, я ручаюсь своим словом, что истинное, действительное имя Лизаветы Сергеевны Крыловой будет напечатано в начале второй части «Рукописи женского почерка», или, если бы по каким-нибудь посторонним обстоятельствам вторая часть «Рукописи женского почерка» не была напечатана или не была скоро напечатана, то обещание объявить истинное имя Лизаветы Сергеевны Крыловой будет исполнено отдельным уведомлением в «Современнике». Итак, надобно только подождать два-три месяца, и вся публика узнает его. Следовательно, преждевременные толки о том, кто Лизавета Сергеевна Крылова, теряют всякий смысл. Толки о том, вымышленное ли лицо Л. С. Крылова, теперь уже совершенно напрасны: несомненно, это лицо действительное. Само собой разумеется, что я скорее сломал бы себе руку, чем согласился бы допустить, чтобы в произведении, — романе ли или не романе, написанном ли, или только переписанном, но во всяком случае подписанном мною, — рассказывалась, мною ли или кем другим, интимная история какой-либо женщины, семейной ли или бессемейной, все равно, которую я видел бы хоть раз в жизни. Я не имею чести лично знать эту даму. Но теперь я знаю ее имя. Оно будет напечатано. Л. П а н к р а т ь е в.)

(Истинное имя Л. С. Крыловой сообщено нам через г. Чернышевского, и мы не находим причин не напечатать его. Оно будет напечатано в нашем журнале. Р е д.)*

Я видел ее, — и несколько раз, — но я еще не знаю ее лица. Она приезжала вместе с моею женою. Жена моя входила в пе-

* Понятно, что это шутка. Это историческое имя. «Белый пенюар» — переделка сонетов Петрарки по вкусу XIX века; Л. С. Крылова — Лаура. Прим. автора.

реднюю одна, приказывала слуге уйти, — тогда входила ее спутница, они шли в комнату жены; потом жена моя присылала пригласить меня к ним. Когда я входил, в комнате был более чем полумрак; одна лампа, едва горящая, поставленная за толстую шелковую гардину окна, бросала очень слабый свет на противоположную стену; гостья сидела на диване, закрытом и от этого слишком слабого света ширмою. Я должен был сидеть на другом диване, довольно далеко; она была в совершенном мраке. Я ни разу не мог различить цвет ее платья. Иногда мне трудно было даже различать, когда она сидит еще в шляпе, когда снимает шляпу и кладет на стол. Я видел только очень неопределенное очертание фигуры: дама высокого роста, вероятно, стройная. Так мы говорили по целым часам. Она отвечала на все мои вопросы о «Рукописи женского почерка»; это было что-то похожее на экзамен, на исповедь ее. Эти разговоры будут переданы в моем рассказе. После них я не могу сомневаться в том, что Лизавета Сергеевна Крылова — эта дама.

Все согласятся, что это странно. И теперь все видят, что странно; но что скажут, когда прочтут в первой части «Рукописи женского почерка» автобиографию этой дамы!

Я готов был на коленях просить ее: «Не печатайте!» Быть может, просил. Я честный человек, я отец семейства. Я не могу не уважать неприкосновенности святых тайн интимной семейной жизни. Она холодно отвечала: «Я хочу. И так будет». Моя жена... моя жена молчала или говорила: «Ты видишь, твои слова бесполезны». Это страшно!

Что же это такое, наконец? Я не понимаю этого безрассудного геройства. Я даже не могу уважать его. К чему оно? К чему она кладет свою голову на плаху? Зачем? Кому это нужно?

Ее муж жив. Не только жив, любим ею. И любит ее. И он — или не мог упросить ее, или одобряет... Рита знает это, но говорит: «Я должна молчать. Он согласен. Этого довольно».

Страшно! И если бы только это! Но что она говорила мне и Рите! Она говорила мне:

— Вы любите вашу дочь? Я могла бы, если бы это было надобно, оторвать ее от вас. — Это она говорила мне! — Я могла бы стать между нею и вами. Вы видите, я не мужчина, я не ловелас. Я не обольщу ее. Но она, если бы я захотела, она имела бы более доверия ко мне, нежели к вам. — Она? К ней? К чужой! Когда я хороший отец, когда Рита примерная мать!

— Нет, вы не можете сделать этого.

— Могу. Но не сделаю этого. Мне нет нужды в этом. Я не коснусь ваших семейных отношений. Я буду иметь дело исключительно с вами одним. Я ненавижу вас и хочу мстить вам, — только вам.

— За что?

— Это моя тайна. Вы узнаете ее. Маргарита Николаевна знает ее. Она знает, что я хочу делать с вами.

— Это шутка, мой друг,— говорила Рита. Я должен верить, что это шутка: Рита дает мне честное слово, что знает все и что я могу быть спокоен. Но каким голосом она говорила мне: «я ненавижу вас и буду мстить вам» — в этом голосе была неподдельная ненависть, смертельная, холодная, беспощадная; она была серьезна, она не шутила, нет. Что ж это? И как же она дружна с Ритой и как же Рита дружна с нею?

— Это шутка,— говорит Рита. Вероятно, это так. Но все-таки это очень странно, и я не скажу, что это приятно для меня. Я уже принужден делать многое, что не желал бы делать. До сих пор, действительно, все было только мелочь, иногда и забавная, иногда и совсем неприятная. Но я вовсе не желал бы становиться писателем, и, как видите, пишу.

Надобно рассказывать теперь, как она, эта неизвестная моя знакомая, принудила меня писать этот — как будто комментарий — к странному произведению, часть которого написана ею. Начну сначала.

Я стал было говорить, для чего мы переселились в Петербург: для довершения светского образования Надины, чтобы она имела отличного танцмейстера и, что гораздо важнее, отличного учителя пения: такой прекрасный голос, как ее, заслуживает обработки. Грех было бы нам не дать возможности развиваться этому прекрасному подарку природы или, лучше скажу, — что скромничать за жену, — наследственному дарованию: бабушка Риты была примадонна, и жаль, что барское воспитание, — какая нелепость: барское — нет, плохое барское (бывает и хорошее: Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, другие, которых вспоминает Пушкин в «Арионе»²¹, не были мужики), плохое воспитание, заботившееся только о французском прононсе, пренебрегло голосом Риты. Мы не хотели быть также виноваты перед Надиной, но была сторона еще более важная. Я не согласен (наедине или в печати; в обществе, хотя бы родных, согласен) называть мою Риту старухой. Но она недаром прожила на свете 36 лет, — впрочем, тогда ей было еще только 34 года.

— Ты говоришь о танцах, оба мы говорим о пении, — сказала она; — оба мы говорим об умственном образовании Надины, все это хорошо, но только из-за этого я не согласилась бы переселяться в Петербург. Жизнь там так дорога, что игра не стоила бы свеч, если бы игра была лишь о том, чтобы голос Надины был обработан лучше, чем мой. Но действительно важно другое: надобно, чтобы она привыкла видеть блестящих молодых людей прежде, чем придет ей пора влюбляться. Ты вспомни, что было со мною, когда я увидела тебя. Хорошо, что ты не ошиблась. Но помнишь: я не могла ни выбирать, ни пони-

мать. Я не хочу, чтобы это повторилось с Надиной. Она должна привыкнуть к флигель-адъютантским мундирам и к изяществу тех статских молодых людей, которые без стыда бывают в венском и парижском обществе; ей надобно приглядеться к ним, чтобы она могла, когда ей придет время, различать и между этими искателями, кто в самом деле ближе к ней по душе.

Умная женщина. На мне не было флигель-адъютантского мундира; я не был бы замечен в Петербурге, вероятно, не был бы очень замечен и в Одессе; но там, где я и Рита встретились, не нужно было иметь необыкновенного блеска, чтобы показаться Сириусом между звездами первой величины. Теперь уж и там не то. Но двадцать лет назад европейские манеры и пренебрежение к французскому языку для английского, к английскому для русского, слова «фрак более светская одежда, чем мундир, — в Европе военные носят мундир только на разводах и никто не может быть со шпорами принят в салон», — двадцать лет назад это было редкостью в провинции. Действительно, у меня не было соперников между молодыми людьми, окружавшими Риту. Будь я дурачок, я все-таки показался бы ей красивее всех; будь я дурак — все-таки умнее всех, и будь я негодяй — все-таки она отдала бы мне свою прекрасную руку. Рита — умная женщина и умная мать. Эти ее слова решили наш переезд в Петербург.

Теперь нас не заставляет бояться за Надину ни то, что она хороша собою, ни то, что половина нашего состояния будет ее приданым. Она не будет ослеплена одною внешностью. Рита уверена в этом.

Итак, мы не должны жалеть, что переехали жить в Петербург, где так дорого жить на приличную ногу. Впрочем, что ж? Мы экономничали 15 лет, мы даже только два раза ездили за границу после того, как провели там первый год нашей семейной жизни, и жили в Швейцарии, в Италии, навещали Лондон и Париж лишь как гости; мы не можем много жалеть, что в эти два года проживаем все, что получаем; а кроме одного этого, по всему остальному нам даже и приятно, что мы переехали в Петербург. После глуши хорошо жить в Петербурге, как после Петербурга хорошо пожить в глуши. Притом же и у Риты, и у меня есть свои пристрастия в Петербурге. Я уж говорил о двух-трех. Есть и много других. Например, у меня. Смешно сказать, а правда. Елисейев в расстоянии получаса от моей резиденции — приятное обстоятельство. Я не капризник в сортах вина. Чистое крымское для меня лучше сомнительного, какого бы то ни было. Но бывают иногда прихоти. Хорошо, если можно иметь к обеду хиосское в тот же день, когда вздумал отведать, каково оно, а не ждать его месяц, или, вернее сказать, и не ждать его, потому что довольно нелепо было бы удовлетворять таким пустым

и мимолетным мыслям через почту. Таких выгодных условий много в Петербурге.

Но есть у меня пристрастие, которое и лучше, да и сильнее, не только моих довольно слабых влечений к Елисееву и к Английскому клубу, — даже влечения к опере. Я люблю общество умных людей. Если б я был литератор, я, быть может, бежал бы от моих собратий; по крайней мере, я уверен, что если бы я был сапожник, то мне приятнее было бы иметь своими знакомыми портных, мебельщиков, парикмахеров, чем сапожников: цех скучен для цехового; труженик, почтенный труженик, я уважаю всякого труженика, и цехового, не только умственного, перед которым благовою, — труженик, и без разговоров о ремесле, слишком занят им практически. Но человеку, постороннему литературной профессии, литераторы могут быть приятны: они вообще очень умные люди и имеют чрезвычайно разнообразную житейскую опытность или очень живую наблюдательность. Я люблю их общество. Г. Островский, г. Тургенев, г. Григорович, г. Боткин (когда приезжает в Петербург), г. Потехин, г. П. Анненков, многие другие, — я не встречал более занимательных собеседников, более милых, простых и добрых людей. Могу прибавить: таковы же те журналисты, знакомство с которыми я также ставлю себе за величайшую честь: г. Достоевский, г. Дудышкин, г. В. Корш — все они такие простые, добрые, добросовестные люди, которые внушают искреннее расположение к себе человеку, знающему их за кулисами, как я. Они журналисты, поэтому они должны полемизировать; это тяжелая, но необходимая сторона, и одна из полезнейших сторон их высокого служения обществу. Она нисколько не мешает им, и многим другим соучастникам их деятельности, оставаться людьми добрыми и непритязательными, как медикам и кавказским офицерам не мешают оставаться добрыми людьми их многотрудные профессии, в которых многим из них приходится каждый день видеть кровь, — и не только видеть, лить ее. Такова их служба, — служба тяжелая во многих отношениях, суровая в некоторых, но честная, благородная, возвышающая дух и потому не ожесточающая, а облагораживающая и самое сердце. По крайней мере, таково свидетельство моего личного опыта. Я говорю о тех, которых назвал и которых имею честь знать близко.

Будучи хорош со многими журналистами, я часто имел случай быть полезен начинающим литераторам из многочисленных знакомых моих и Риты. Моя рекомендация произведению человека, еще ничего не писавшего, всегда была принимаема журналистом очень охотно, и часто бывало, что после разговора со мною журналист прямо назначал рукопись к отправке в типографию. Это потому, что я никогда не давал неосмотрительной или пристрастной рекомендации: я всегда считал своею обязан-

ностью внимательно прочитать статью или повесть, прежде чем говорить о ней. Я очень уважаю литературу и потому дорожу моей репутацией человека, имеющего вкус. Не скажу, что я никогда не ошибался: случалось, что произведения, рекомендованные мною, оказывались плохими по суду публики — и в таких случаях я, обыкновенно, должен был сознаваться перед собой, что публика права, я ошибся; еще чаще случалось, что произведения, рекомендовать которые отказывался я, имели успех, когда попадали в печать. Но и то и другое было только исключением; вообще мой отзыв подтверждался мнением публики; и я могу сказать, что не один из талантливых писателей был введен в литературу не без моего содействия.

Еще в молодости, до моего переселения в провинцию, задолго до моей женитьбы, я имел счастье встретить Буткова²², теперь забытого, и мне кажется несправедливо забытого писателя, едва ли не даровитейшего из первых последователей Гоголя; а я полагаю, что если бы я продолжал жить в Петербурге, судьба этого умного и благородного человека была бы менее прискорбна: он не пропал бы опять в свою темную жизнь от глаз и участия журналистов, и не услышали бы о нем вновь только уже как об умирающем от изнурения этою темною и тяжелою жизнью. Он был человек гордый, за ним надобно было следить, чтобы знать, каковы его обстоятельства. При мне он не умер бы так рано. Я думаю это не потому, что считаю себя человеком более добрым и заботливым, чем люди, глубоко уважаемые мною; но они заняты, обременены делом; а я человек праздный, потому могу больше заниматься посторонними обстоятельствами, чем они. Пушкина я не помню. Дерзко было бы сказать мне, что я был знаком с Лермонтовым. Он был пятью годами старше меня и пятью годами старше своих годов. Но я смею сказать, что я понимал его: два или три раза он удостаивал меня серьезной беседы своей. Это было в начале 1840 года. Г. Дудышкин очень верно изобразил многое из того, что таилось в нем под тогдашним байронизмом почти всех порядочных людей²³. Но я, имевший счастье слышать его серьезные разговоры, столь редкие, должен сказать: это был благороднейший из людей и великий гражданин. Россия имела мало таких сыновей.

Я сказал, что через мои руки проходило в печать не мало произведений; но ни одно из них не попало в мои руки иначе, как от людей хорошо знакомых мне. Каждое было передаваемо мне автором именно только по знакомству автора со мною, после личного объяснения. Я не «агент конторы Любавина» по литературному маклерству; и с какой стати стал бы обращаться к моему посредничеству кто-нибудь, не получивший моего вызова или, по крайней мере, согласия оказать ему услугу, хотя и не важную, но все-таки услугу? Да я и не такое заметное лицо в петербургском обществе, чтобы обо мне и моем знакомстве с

журналистами знал кто-нибудь, кроме людей, с которыми я знаком или, по крайней мере, встречаюсь в обществе.

Поэтому мне показалось несколько странно, когда, возвратившись однажды с прогулки перед обедом, я нашел у себя на столе свернутую трубкою довольно толстую рукопись и не мог определенно узнать, кем она доставлена мне. Почерк рукописи был женский, — старательный, довольно крупный, чтобы быть четким. Я посмотрел на первую страницу; какая-то повесть, кажется с претензией на юмор. «Кто это принес?» — спросил я слугу, обыкновенно отворяющего дверь. Он ничего не знал: через минуту возвратился с объяснением, что тетрадь, свернутая трубкою, была отдана в кухне повару какою-то женщиною, по-видимому, кухаркою, приходившею с черной лестницы. Я сел читать и пробежал страниц пять-шесть, когда Рита вошла звать меня обедать.

— Не узнаешь ли почерка, Рита? Может быть, какая-нибудь дама из твоих знакомых скромничает, или просто не успела переговорить. — Я показал жене рукопись и рассказал, что сам знал.

— По почерку? — трудно узнать; мы все пишем на один лад, — отвечала Рита, взяв у меня и перелистывая рукопись; — да вот письмо, — она указала мне под креслом письмо, — вероятно, выпало, когда ты развертывал.

Я поднял. Письмо в заклеенном конверте действительно было от лица, приславшего рукопись, — писано тем же почерком; состояло всего из пяти строк:

«Автор, зная вас, хотя и не будучи известен вам, просит вас просмотреть эту рукопись; если найдете ее сносною для печати, то рекомендовать кому-нибудь из знакомых вам журналистов. Этим вы окажете автору услугу, в которой не откажетесь. Через неделю я пришлю за ответом».

Мы пошли обедать. День за день я все собирался исполнить желание автора рукописи; так прошла неделя. Через неделю мне сказали:

— Та женщина, которая принесла тогда тетрадь, пришла опять; спрашивает, не будет ли ответа.

— Где она?

— Опять в кухне.

Я вышел к ней в столовую. Она была пожилая женщина, с неглупым лицом, русская, видно, что кухарка.

— Попроси извинения, матушка, еще не успел прочесть.

— Когда прикажете зайти?

— Хоть дня через три, — сказал я.

Через три дня женщина зашла, я все еще не собрался прочесть, совершенно позабыл и опять послал извинение вместо ответа.

— Когда прикажете зайти? — спросила она.

— Хоть послезавтра, — сказал я, и на этот раз уже твердо положил себе: не забыть, чтобы не быть невежею. «Непременно усядусь после обеда читать» — дал я себе слово.

Это было поутру; я отправился гулять и по делам, — впрочем, какие же у меня дела, — повидаться, с кем приятно, отдать визиты. Возвратившись домой часа через три, я стал раздеваться, когда раздался громкий звонок; через минуту вошел слуга и подал тетрадь, свернутую трубкою, — тоже на почтовой толстой бумаге, как та, которую я собрался читать, — и с нею опять письмо. На этот раз его уж подали особо, чтобы тотчас же было прочтено, опять в заклеенном конверте; но, кроме того, заклеенном облаткою с буквою К.

— Опять та старуха? Что ж, верно забыли дать ей эту тетрадь, когда присылали поутру?

— Нет, Леонтий Данилыч, точно, тоже старуха, только не та. Эта уж вовсе старая. И такая смелая. Извольте слышать, как зазвонила. Как барыня. И ответа ждать не осталась. «Подождете? — я говорю, — барин дома». — «Не нужно, — говорит, — сам пришлет, коль захочет». И ушла.

Я распечатал письмо; разумеется, оно было того же почерка. «Милостивый государь, очень вероятно, что, отпуская кухарку мою без ответа и обещаясь дать его послезавтра, вы подумали: «Непременно примусь читать ныне же». Но теперь нетрудно предположить, что вы подумали точно то же, когда и в первый раз отпускали кухарку без ответа. Нетрудно отгадать еще одно: вы опять забыли бы или, — что еще хуже, — пробежали бы рукопись наскоро, чтобы только отделаться. Поэтому я предупреждаю вас: рукопись, вновь рекомендуемая вашему вниманию, будет для вас гораздо интереснее, нежели вы полагаете. Когда ваш ответ будет готов, вы потрудитесь передать его швейцару Магазина русских изделий».

Это было уже вовсе странно, отчасти слишком настойчиво. Я положил обе трубки на окно, с намерением не читать их.

Через четыре дня я получил по городской почте письмо в таком же конверте, того же почерка, но на облатке, опять белой, была буква W. «Кажется, прежде была другая», — я взял с окна прежнее письмо: действительно, там К, здесь W. По содержанию третье письмо было еще оригинальнее второго:

«Милостивейший государь, — три дня, и ответа нет. Это легко было предвидеть. Вы обиделись. Напрасно. Прошу вас обратить внимание на одно обстоятельство: рукопись, поручаемая вашему вниманию, беловая; очень правдоподобно, что у автора цела черновая. Очень возможно, что, не получая от вас услуги, которой просил, автор обратится с просьбой к кому-нибудь другому из журналистов или их знакомых. Но содержание рукописи неизвестно вам; потому вам неизвестно также, было ли бы вам приятно, если бы рукопись пошла в печать не через ваши руки».

Никакой подписи не было, как и на прежних двух письмах.

Я очень много раз имел причину благодарить природу за то, что я человек не опрометчивый, не подозрительный, не желчный. И на этот раз было хорошо, что я подумал только: «Какая-то загадочная мистификация». Многие на моем месте подумали бы: «Нахальство и угроза скандалом», и бросили бы рукопись в камин. Я не могу сказать, каким неприятностям, — быть может, бедам, — не подвергся бы я, если бы подумал и поступил так, но я человек мягкий и добрый, как все говорят; я только сказал себе: «Мистификация; любопытно посмотреть, что такое», — и уселся читать.

Рукопись начинается, как увидят люди, читающие мой рассказ, — я заимствую из «Перла создания» этот способ выражения: «люди читающие» вместо обыкновенного «читатели», — рукопись начинается биографией Сырнева, молодого даровитого юноши; в ней я еще не видел ничего возбуждающего личный мой интерес. Потом я понял, что уж в ней незаметно входило в мою душу, приобретало мое расположение; но на первый раз я был далек от предположения таких намерений и потому видел только, что это подражание Гоголю, первым его светлым и отрядным произведениям, с претензией на оригинальность, лучше сказать — с оригинальничаньем. На половине биографии Сырнева я отказался и от этого предположения: мне стало казаться, что у автора самобытный талант; но с первых же страниц я видел душу автора: чистую, нежную, благородную; мне казалось, что автор — женщина еще молодая, несколько сентиментальная, несколько экзальтированная, но добрая, милая женщина и писательница с талантом. Ученые слова, попадающие в эту биографию, только еще больше утверждали меня во мнении, что автор — женщина; я настолько опытен, что без труда отгадал их цель: именно то, чтобы замаскировать, что автор дама. Я знаю, что это делается легко: разворачивается ученая книга, и неглупый человек всегда сумеет удачно выбрать страшно ученые слова и употребить их так, что кажется, будто он владеет наукою. Я не так прост, чтобы меня можно обмануть иксами и дифференциалами. Итак, автор женщина. Это впечатление все усиливалось, и когда я, дочитав биографию Сырнева, стал читать первый из его небольших рассказов, мое лицо просветлело: мне казалось, что я понял все: «Да, это моя Рита!» — рассказ, сам по себе неважный, был очень верным повторением разговора, который действительно имел я, разговор со старушкою наш и был действительно в вагоне (я иногда езжу в вагоне 3-го класса, потому что охотник прислушиваться к народу: наш народ так наивен и добр). Я в тот же вечер пересказывал этот разговор моим Рите и Надине. «Рассказ акушерки» отнял бы у меня последнее сомнение в том, кто автор, если бы могло оставаться сомнение после первого из рассказов Сырнева. Я, кстати, при-

помнил, что Рита указала мне письмо, не замеченное мною. Я читал уже с наслаждением и жадностью; я прочел до половины второй тетради, когда меня позвали обедать.

За обедом я был очень весел и, когда сняли приборы, чтобы подать самовар и кофейник, я сказал:

— Рита, оставим хозяйничать Надину, пойдем ко мне: у меня есть для тебя новость. — Просмотри эти тетради, — сказал я, подавая их, — когда досмотришь до «Незамужней вдовы», остановись, и будем читать вместе. А ты мне скажешь, прав ли я, находя, что у автора есть талант.

Рита взяла тетради и улеглась на кушетку, — это уже показалось мне странно: неужели она хочет читать? Однакоже я ничего не сказал, подумав: «Да, хочет продлить мистификацию», — взял сигару, взял книгу, расположился в своем большом кресле и терпеливо ждал, когда Рита засмеется со словами: «Согласись, что я могла бы быть хорошею актрисой!» Надина принесла мне стакан кофе, был уже давно выпит и чай, которым Надина заменила опустевший стакан кофе, я курил уже вторую сигару, прочел уже страниц двадцать в новой книжке «Русского вестника», прошло более часа, — а Рита все читала и читала. Мне стало казаться, что это не похоже на мистификацию. Что ж это такое? — думал я, продолжая смотреть в «Русский вестник», но уже не читая его.

— Я дочла до «Незамужней вдовы», — сказала Рита, вставая и подходя ко мне, — у тебя большой талант, мой друг. От души поздравляю тебя.

— Но... но, Рита, что же это такое, наконец? Ведь я думал, что это писано тобою.

— Мною? — сказала Рита с удивлением. — А ведь в самом деле, — прибавила она, задумываясь: — или ты, или я: иначе нельзя было подумать. Это странно, очень странно.

Действительно, это было странно: в рукописи были два рассказа, очень близко записанные со слов моих или Риты. Мы с Ритой, подумав, успели кое-как объяснить это себе, помогая друг другу в догадках. Рассказ старушки о прогулке по островам был слышан мною в вагоне; десять, двенадцать человек соседей по скамьям могли слышать наш разговор. Анекдот, слышанный мною и Ритой от акушерки, ее двоюродной сестры, был, вероятно, рассказываем акушеркой не одним нам и этой ее сестре. Так. Но все-таки два рассказа наших, — два, а не один; это не очень похоже на случайность. Но очень просто объяснялись эти рассказы предположением, что автор — лицо из близкого нашего круга знакомых. Так. Само по себе помещение наших рассказов было бы неудивительно. Но в рукописи было более интимное отношение к нам: она была проникнута задушевными мыслями моей доброй Риты — мыслями, из которых многие были, как нам казалось, известны только мне одному. Автор будто был

воспитан Ритой. Будь Надина пятью-шестью годами старше, мы подумали бы на нее. А теперь напрасно перебирать родных и друзей: не на кого было подумать, никто не знал Риты так полно и близко. Она сказала, наконец:

— Видно, что не отгадаем. Лучше пойдем прямой дорогой: пиши ответ; я завтра отвезу его в Русский магазин.

Я написал неизвестному автору, что у него несомненный и, мне кажется, большой талант, что я прошу его удостоить меня своим знакомством: или прислать свой адрес, или запросто пожаловать ко мне на чашку чаю. Ясно было, что автор — женщина, и совершенно порядочная; потому и Рита, без опасения компрометировать свой салон, прибавила: «Лучше приезжайте вы к нам, потому что и мне интересно познакомиться с вами».

— Вот, мой друг, мне написали, чтобы я отдала тебе это письмо для передачи, а кому ты должен передать, не написали. Знаешь ли ты, кому его отдать? — сказала Рита швейцару, который знал ее как очень частую посетительницу магазина.

— Как не знать, сударыня, мне вчера сказывали.

— Если тут нет секрета, скажи, пожалуйста, кто?

— Какой же секрет, сударыня? Говорила кума Лукерья Антипьевна; та самая, которая вчера относил вам письмо. Может, видели: старушка такая.

— А она кому же отдаст?

— Этого не знаю.

— Да кто она? кухарка? нянька? у кого она живет?

— Нет, сударыня, она ни у кого не живет в услужении: она прачка.

Итак, не было возможности отгадать, от кого она получила тетрадь и письмо: разумеется, она бывает в десятках семейств. «Впрочем, что ж и разузнавать стороною? — подумала Рита: — Завтра, послезавтра узнаем от самого автора, кто он или она».

На другой день поутру мы получили ответ по городской почте: автор благодарил за предложение знакомства, но говорил, что до времени не может им воспользоваться, не сообщал ни своего адреса, ни имени, а просил написать ему, — то есть ей, — прежним путем, согласен ли я рекомендовать ее произведения кому-нибудь из журналистов, и если да, то кому.

Я написал, что рекомендую с удовольствием, кому он хочет из журналистов, с которыми знаком; а если он, — то есть она, — предоставит выбор на мое решение, то г. Ф. Достоевскому или г. Дудышкину, которые мне знакомы очень близко. Но что пусть поскорее придет конец главы или части: надобно иметь целый отрывок, чтобы можно было печатать. Рита сама повезла и это письмо, потому что наше любопытство было очень затронуто: «попробую, не удастся ли нам самим проникнуть в тайну шутки». Но швейцар отвечал:

— Нет, сударыня, напрасно будет спрашивать. Это значит,

что Лукерье Антипьевне велено не сказывать, и не скажет: такая старуха. А впрочем, для вас, извольте, попробую спросить.

На другой день я одевался поутру, когда слуга подал мне письмо, заклеенное, без облатки.

— Та старуха опять; только теперь пришла с черной лестницы и сказала: подожду ответа.

В письме автор говорил, что, узнав наше желание поговорить с Лукерьей Антипьевной, доставляет нам этот случай и что она отдаст мне третью тетрадь, в которой конец первой главы его «Сборника или не-сборника», как выражался автор. Он предупреждал, чтобы я внимательно прочел эту третью тетрадь, прежде чем решусь рекомендовать, потому что ведь все-таки я его не знаю и могу обманываться в его, — то есть ее, — намерениях, которые, впрочем, чисты.

Тон двух последних писем был шутливо-серьезный, мистифицирующий; в это письмо, присланное с Лукерьей Антипьевной по черной лестнице, была вложена записка к Рите, заключающая в себе шутку, которая удалась и понравилась нам: в письме ко мне был маленький, но толстый конверт на имя Риты, — незапечатанный и незаклеенный, так что я мог заглянуть в него, — а в письме ко мне автор шутливо-серьезным тоном предостерегал меня, чтобы я отдал конверт жене, не заглядывая. Я, разумеется, не заглянул. Рита вынула из конверта толстое письмо, — нет, еще не письмо: письмо внутри, и вероятно маленькое, но оно обернуто целым белым листом толстой почтовой бумаги, огибающим его несколько раз; под этим листом — другой, обернутый так же; под второй оберткою, наконец — что такое? кусочек пропитанной каучуком темной тафты, обернутый опять в несколько раз около — визитной карточки, должно быть? Рита сорвала тафту — точно, лоскуток твердой бумаги, величиною в визитную карточку, но совершенно белый. Что такое? Мы стали вглядываться, и едва стали вглядываться, на лоскутке начали выступать темные линии; через несколько секунд мы уже могли свободно прочесть крупные слова:

А. M-me W

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДОБРЫМ УТРОМ

Понятно: слова эти были написаны тем составом, который употребляется для фотографии, — написаны, высушены и завернуты в тафту и бумагу в темной комнате.

Нам показалось это довольно мило и остроумно. Мы посмеялись. Рита пожала мне руку.

— За что?

— Так, — сказала она и отказалась отвечать, за что же. После мне объяснила это неизвестная дама, за что. Она добрая женщина, я вижу, но... страшно видеть женщину, едва знакомую,

которая читает в сердце жены то, чего не мог прочесть муж. Я благодарен ей. Но это страшно.

— Я знала, что вы не заглянете, вы не такой негодяй, — я несколько расспрашивала о вас.

— Но если бы я заглянул?

— Нет, — сказала она.

— А если бы?

— Маргарита Николаевна не узнала бы от меня, что моя шутка была и не удалась. Но с вами я разделалась бы. Впрочем, вы еще не уйдете от меня. Берегитесь. Я говорю прямо: я ищу и найду случай мстить вам.

— За кого? За что?

— Так.

Это мы объяснялись с нею в первое из наших свиданий.

— Как же так? Ни за что?

— Это шутка, мой друг, — вступилась Рита. — Шутка. Так. Но какова шутка!

Но это объяснение было гораздо позже. Тогда мы посмеялись и позвали Лукерью Антиповну. Старуха была умная и, как видно, хорошая женщина. Она прямо сказала:

— Мне, сударыня, Маргарита Николаевна, дан такой приказ: говори про меня всю правду и ничего не говори неправды; только ничего не сказывай такого, чтобы они могли меня отыскать, кто я. — В этом духе она и отвечала нам.

— Кто это? женщина?

— Да, и молодая.

— Знакомая с нами?

— Вас в лицо недавно узнала; прежде и не слышала про вас, что вы есть на свете.

— Значит, она незнакома с нами?

— Знакомства с вами не имеет.

— А кто она сама? дама или девушка?

— В этом нет важности, сударыня; только скромная; значит, если девица, то скромная девица, если замужняя, то хорошая жена.

— А хороша?

— Очень хорошая; сказала вам: скромная и добрая.

— А я спрашиваю: лицом хороша?

— В этом нет важности, сударыня.

— Ну, какого она звания?

— И в этом нет важности, сударь: во всяком звании бывают хорошие люди.

— Да вы-то сама, Лукерья Антиповна, хорошо ее знаете, что так хвалите?

— Как не знать хорошо: сызмалетства знаю.

— А богата?

— Без нужды живет.

— А побогаче или победнее нас, или так же, — вот вы видите, как мы живем; у нее такие же комнаты?

— В этом, сударь, важности нет, получше ли, похуже ли ваших убраны. Сухие комнаты, теплые и убраны исправно. Сказано: живет без нужды. А в остальном нет важности.

И все так: на всякий вопрос о чем-нибудь, могущем служить приметою, старуха отвечала: «В этом нет важности». Мы даже так и не добились от нее, девушка или дама наша корреспондентка, но о характере своей знакомой старуха говорила очень охотно, насакала нам целую кучу мелких фактов, очевидно неприкрашенных, потому что незатейливых, но убеждавших, что наша неизвестная действительно такая женщина, какою показалась нам по первым двум тетрадям ее «Сборника или не-сборника». Добрая, очень гуманная, деликатная. Тон старухи был такой, что нам казалось — странная вещь: она действительно прислана не мистифицировать нас, а знакомить с этою дамою; не хвалить ее, а просто рассказывать о ней, и уж никак не вводить нас в обольщение, — чего натурально было бы ждать, чего мы и ждали, и остерегались. Мы принуждены были притти к странному впечатлению: эта незнакомка действует совершенно прямодушно, и старуха исполняет ее волю также совершенно прямодушно: обмана нет, есть только утаивание своего имени от нас. И совершенно так подтвердилось, когда Рита познакомилась с этою дамою: Рита увидела, что составила себе по словам старухи очень точное и верное понятие о ней и что в словах старухи не было никакого обольщения. Да старуха, очевидно, и не понимала значения мелочей, которые рассказывала нам: она просто болтала все, что вспоминалось ей о привычках и свойствах ее знакомой, нашей корреспондентки: пила у нас кофе, выпила три-четыре рюмки наливки и болтала, болтала все, что могла болтать, не выдавая тайну личности, о которой болтала, — все мелочи; но из этих мелочей выходило, между прочим, вот что: она любит играть с детьми; предпочитает общество молоденьких, наивных девушек обществу дам; чем кто моложе, тем скорее дружится с нею; старуха нисколько и не знала, что это лучшая рекомендация сердцу женщины.

Отпустив Лукерью Антипьевну, очень довольную нашим кофе и всем угощением, мы принялись читать третью тетрадь, которую принесла она. Мы читали с большим вниманием, следуя новому и очень настойчивому предостережению неизвестной, что, может быть, в этой тетради найдется что-нибудь сомнительное, но увидели, что она именно только для возбуждения нашего внимания мистифицировала нас и своею неизвестностью, и намеками, чтобы мы были «осторожны с ней, потому что ведь мы не знаем, кто она и какие намерения могут быть у нее».

Третья тетрадь понравилась нам еще больше прежних. После того наша корреспонденция с неизвестною скоро получила серъ-

езный характер. Рита стала сильнее предлагать ей свое знакомство, потом серьезно просить «чести» быть знакомою с нею — «чести» не в смысле обыденной фразы, а серьезно говоря, что будет считать это знакомство за честь себе. Она упорно отказывалась, — писала: «Я нахожу полезным оставаться для вас будто безличным существом». Наконец Рита должна была написать ей: «Для моего успокоения вы должны позволить мне быть у вас». Тогда она очень деликатно просила Риту приехать к ней, приняла ее с почтительностью. Они понравились друг другу, сделались знакомыми. На третий, на четвертый раз, когда ехала к этой моей корреспондентке, Рита решилась взять с собой и Надину. Скоро все три они стали дружны. Но это знакомство было сделано только на том условии, чтобы я дал слово не узнавать, где и у кого бывает Рита, и Рита серьезно говорила мне, что это — слово, требующее серьезного исполнения.

В нашем доме эта моя корреспондентка явилась не скоро, и явилась, как я говорил, с замаскированностью, о которой я и теперь не знаю, что думать, но которую Рита называет «шуткою, имеющею серьезный и почтенный смысл». Открытое знакомство со мною эта дама, — когда она явилась к нам, Рита уже давно сказала мне, что она дама, — упорно отлагает до самого окончания своего «Сборника или не-сборника». Если бы не уверения Риты, я тревожился бы за себя: в такие странные отношения я становлюсь по воле загадочной женщины, сторону которой держит Рита.

«Рукопись» этой дамы также сначала казалась только шутливою мистификациею. Но четвертая тетрадь была уже не похожа на шутку, хотя именно в четвертой тетради форма рассказа принимала вид необыкновенно капризной шутки; пятая тетрадь отбрасывала этот характер и давала рассказу тон серьезнейшего объяснения с публикой. Несомненно стало, что дело идет о печатании автобиографических очерков из самой интимной жизни моей корреспондентки и ее ближайших лиц, — мужа, отца или дяди, сестры ее или жены ее брата или мужа, — и с их согласия, с их сотрудничеством. Я не хотел содействовать такому намерению, отклонял от него, противился ему: это дело ужасное — в том согласятся, я думаю, все честные люди. Кто из них захотел бы содействовать раскрытию интимной — хотя бы и самой безукоризненной — жизни женщины семейной, благородной? *Volenti non sit injuria* — «при согласии человека нет ему обиды в ваших поступках с ним»; — нет, вы обязаны вырвать яд из рук желающего отравиться, а тут от вас требуют, чтобы вы подали рюмку, из которой он жаждет выпить его. Как было не противиться? И Рита видела те лица, в которых узнала мужа Крыловой, старика Всеволодского; они и не отказывались, что это они, что, действительно, они рассказывали о себе под этими псевдонимами. И я принужден содействовать печатанию этого произведения, этих биографий под видом какого-то «романа или не-романа».

Мало того, явились у меня опасения, более близкие ко мне самому. Я вижу у автора «Рукописи женского почерка» намерение овладеть моею волею, я принужден бороться за свою независимость, и все это они делали и продолжают делать со мною посредством своей «Рукописи» и возникших из нее переговоров. Я прошу всех честных людей быть судьей между мною и ими. Пока дело не было серьезно, я молчал; но вот, вы видите, я пишу.

Прежде всего я помещаю первые пять тетрадей «Рукописи женского почерка», из которых развилось все следующее, по моему сопротивлению им; потом буду рассказывать мою борьбу и печатать тетради, продолжавшие эту первую часть «Рукописи» и служившие оружием борьбы ее авторов против меня. Я смело обращаюсь к суду публики; она будет за меня: я пишу прямо и честно, и действую так же.

Л. В е р е щ а г и н

(РУКОПИСЬ ЖЕНСКОГО ПОЧЕРКА)

ПЕРА СОЗДАНИЯ

повести в повести, роман или не-роман,
сборник или не-сборник,
писанный
неизвестною, или неизвестным, или неизвестными,
посвящаемый
à m-lle В. М. Ч.
или автором, или авторами, или одним из авторов.

ПОСВЯЩЕНИЕ à m-lle В. М. Ч.

И томление разлуки
Выношу я, не скорбя:
Друг мой LL, эти руки
Вьют подарок для тебя²⁴.

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ОСТАЛЬНОЙ
ПУБЛИКИ

Летают сны мучители
Над грешными людьми,
И ангелы хранители
Беседуют с детьми²⁵.

(ОБЪЯСНЕНИЕ «ПЕРА СОЗДАНИЯ»)

Общая тема вариаций:

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss²⁶.

«Белизна — как белизна снега, и холодность —
как холодность льда».

Тетрадь первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕЛЫЙ ПЕНЬЮАР

I

БИОГРАФИЯ АЛФЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЫРНЕВА

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss²⁷.

Перевод:

С своей чистой душой, и среди лучших людей
Белый голубь он был в черной стае грачей.
И молчит, не стучит его белая грудь,
Не стучит, и как лед холодна.

Все должны знать, что у Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны был сын Алексей Афанасьевич; но немногим до настоящего времени было известно, как шла его жизнь; точно также лишь очень немногие знали, что у Кифы Мокиевича, кроме сына, Мокия Кифовича, была дочь Анастасия Кифовна, и что она сочеталась законным браком с Алексеем Афанасьевичем. Эту неизвестность легко объяснить тем, что в судьбе мужа и жены, произошедших от лиц столь знаменитых, не было ничего замечательного. Алексей Афанасьевич, переехавший на службу в Кузнецк (где и вступил в брак с Анастасиею Кифовною), изменил, по обычаю многих своих земляков, окончание своей фамилии и стал писаться вместо «Сырненко» — Сырнев. Проживши, — и проживши очень хорошо, — года четыре после женитьбы, он скончался, и Анастасия Кифовна осталась вдовою. Но через два года она сочеталась вторым браком с одним из множества лиц, носящих фамилию Тихонравовых, и здравствует доселе.

Единственным плодом ее первого брака и единственным потомком фамилии Сырненко остался сын ее и покойного Алексея Афанасьевича Сырнева — Алферий Алексеевич Сырнев, родившийся 12 февраля (старого стиля) 1844 года. Его покойный отец был хорошим помощником мне по службе; моя жена была расположена к Анастасии Кифовне; потому вдова с малюткою нашли себе радушный приют в нашем доме: в нашей службе, о которой я скажу после, хорошие люди не остаются забыты, и если муж умрет прежде, чем приобретет обеспечение семейству, то пользовавшиеся его усердными трудами не оставляют его вдову и сирот без призрения.

Когда Анастасия Кифовна решилась вступить во второй брак, мы с женою просили ее оставить у нас ее сына, которого

сами очень полюбили и который в два года подружился с нашими маленькими детьми. Анастасия Кифовна выходила замуж (по любви) за человека очень небогатого, потому, как добрая мать и благоразумная женщина, рассудила, хотя с трудом и не без скорби, что она должна пожертвовать счастьем Алфериньки своим материнским желанием не разлучаться с ним. Алферинька остался у нас, когда она поехала со вторым своим мужем в одну из поволжских губерний, откуда г. Тихонравов не надолго, по делам, приезжал в Тулу, где мы тогда жили, — будто за тем и приезжал, чтобы узнать Анастасию Кифовну и полюбить ее, чего вполне заслуживала она, женщина истинно благородной души и прекрасного сердца. Женитьба на ней дала счастье г. Тихонравову и в домашней жизни, и в делах: теперь дом их полная чаша. Но у Анастасии Кифовны пять человек детей от второго мужа; а Алферинька привык считать мою жену и меня почти за родных мать и отца; потому Анастасия Кифовна не отнимала нас у него и его у нас.

Можем сказать по совести, что мы с женою исполнили обязанности, принятые на себя относительно Алфериньки. Можем сказать, что мы заботились о нем как о сыне и любили его почти как родного сына. Имея средства, мы ничего не жалели для доставления простора и материалов развитию его замечательных умственных дарований. Но в особенности много обязан он, как и наши родные дети, Лукьяну Игнатьевичу фон-Баху, бывшему довольно долгое время по названию гувернером наших двух сыновей и Алфериньки, на деле — моим милым и добрым гостем, глубоко уважаемым нами собеседником нашим. Пользуюсь случаем, чтобы выразить нашу признательность и любовь этому благороднейшему и умнейшему человеку, какого другого я не встречал в жизни²⁸ и не знаю. Быть может, отголосок наших чувств дойдет до него через кого-нибудь из русских, которые будут читать эти строки: он поселился в Бернском кантоне, в деревеньке Фрауэнбруннене, — это близ железной дороги из Золотурна в Берн, верстах в двух от станции Гиндельбанк (Frauenbrunnen, bei Hindelbank, Ludwig v. Bach)²⁹.

Влиянию Лукьяна Игнатьевича всего более надобно приписывать и то, что Алферинька, при всей пылкости своих юношеских стремлений к добру, при всей твердости и бестрепетной последовательности своих убеждений, всегда оставался таким молодым человеком, которого считали — и справедливо считали — скромным, благонравным юношею самые строгие порицатели других молодых людей. «Береги силы в резерве; преждевременность замедляет успех» — таковы основные мысли Лукьяна Игнатьевича по вопросам исторической жизни. Благодаря ему мы с женою имели то счастье, что никогда не опасались за судьбу своих двух сыновей и Алфериньки: счастье редкое в наше время для родителей, которые имеют сыновьями благородных юношей. Алферинька и наши оба сына всегда оставались совершенно в стороне от не-

осторожностей своих сверстников, и мы с женою не провели ни одной горькой минуты, ни одного беспокойного часа в годы, столь тревожные для других родителей.

Эта целость и безопасность были доставлены Лукьяном Игнатьевичем одинаково и нашим сыновьям, и Алфериньке. Но для Алфериньки такой воспитатель был драгоценен и в другом отношении, в котором мог бы заменить его для моих сыновей и человек обыкновенной учености, обыкновенного ума. Мои сыновья — неглупые молодые люди; природа не обделила их способностями. Они с честью для себя кончили курс и, надеюсь, будут дельными людьми в ученой профессии, которую оба предпочли коммерческой (выражусь пока хоть так) деятельности своего отца: я благословил их на этот благой выбор:

— Да, не прикасайтесь к смоле, — сказал я им. — Хорошо, что вы можете не прикасаться к ней, можете посвящать себя чистым профессиям — вы в них не умрете с голода и не будете морить голодом тех, из которых будут состоять ваши семейства; у меня не было этих средств, я должен был приготовить их вам. Мои руки также чисты. Но я весь век мой должен был добывать деготь. Вы счастливее меня.

Я надеюсь, что мои сыновья будут дельными, быть может замечательными учеными. Но они, как и я, люди обыкновенные: неглупые, трудолюбивые, добросовестные, потому полезные и почтенные — и не больше. Они не гении. Не им назначено быть в числе избранных, продолжающих дело Прометея. Для их умственного возрастания мало заметна была [бы] разница, если б и воспитателем их был такой же обыкновенный человек, как они.

Но Алфериньке, — как я привык называть его, Алферию Алексеичу Сырневу, как должен называть здесь, — нужен был и руководитель гениальный. Даже на мои отцовские пристрастные глаза Алферий Алексеич был перед моими сыновьями — орленок перед щеглятами. В 17 лет он уже кончил ученый труд, о возможности которого не мечтал никто из астрономов-математиков, ни сам старик Араго, столь отважный в указании ученых задач своим питомцам: Алферий Алексеич определил элементы планеты, находящейся далее за Нептуном и производящей пертурбации в его движении. Этот мемуар напечатан в *Comptes rendus*, 11 août 1863*.

* Вычисление громадное, для которого надобно было прежде всего перевычислить элементы Нептуна по пертурбации Урана; а для этого понадобилось ввести более точности и в элементы самого Урана. Формулы выходили столь сложны, что интегрировать и вычислять их можно было только при помощи усовершенствований, сделанных Алферием Алексеичем в вариационном исчислении. Оценка заслуг Алферия Алексеича сделана в *Annual Register* на основании речи Эри в годичном собрании Общества друзей точных наук. Эри говорит: «Со времени Паскаля не было примера столь раннего развития, столь сильного математического гения». Планета, открытая

Вычисление, которым Алферий Алексеевич открыл планету, получившую в честь его имя «Элевтерия», было прощальным трудом его по «чистой математике» в прежнем смысле слова. Он хотел эту работою испытать свои силы в высшем анализе, убедиться, достаточно ли овладел им и развил его, чтобы заняться перенесением его на нравственно-общественные науки. Увидев, что может заняться этим, он в последние два года жизни посвящал все свои силы работе, которую предчувствовал, любил и завещал потомству Лейбниц, не успевший сам ничего сделать для ее исполнения по тогдашнему слишком скудному запасу коренных точных данных. Должно и сухо было бы излагать здесь, что хотел и что успел сделать Алферий Алексеевич. Потому приведу лишь заглавие труда его, который теперь печатается: *L'Analyse des fonctions qualitatives et agissantes (des Was und des Wie)*.

В этом «анализе интегралов и дифференциалов качества и действия» Алферий Алексеевич дает всем отношениям идей и фактов, состояния и возникновения, или предмета и действия (*Was und Wie*) такой же точный научный способ выражения, какой дан алгеброю для отношений по количеству. Он успел наскоро связать и пояснить материалы этого первого тома своей колоссальной работы, — тома, который должен был служить общим введением к следующим, занимающимся отдельными отраслями нравственно-общественных наук.

Он скончался 7 апреля 1863; ему было только 19 лет. Эри (смотри *Annual Register*) высказал, сколько потеряла наука, потеряв юношу, начавшего такими трудами. Друзья его потеряли в нем человека, который просветлял их жизнь своею кроткою и простодушною веселостью, ободрял их в испытаниях жизни своим примером, своим тихим и скромным словом, непоколебимо твердым, осмотрительно взвешенным и идеально-чистым.

Он извинял все, кроме одного: опрометчивости в суждениях. Потому, почти над всем, что обыкновенно считают за достоверное по нравственно-общественным наукам, он произносил свое ледяное: «неизвестно», зато очень многое из того, что для большинства профанов и специалистов представляется загадочным или недоступным научному решению, — очень многое из этого, и в том числе все существенно-важное для жизни и науки, он находил уже несомненно разъясненным наукою на благо людей, уже перешедшим из мрака иллюзий и фантомов, вражды и зла в светлую и добрую область «известно».

Для него было «неизвестно», существует ли на свете хоть один человек, который «действительно дурен»; «неизвестно»,

вычислением Алферия Алексеевича, найдена телескопом Росса 8 октября (нов. стиля) 1863. Она представляется звездой 16 величины. Подробности см. в *Times* 12 октября 1863. Она получила имя «Элевтерия». Прим. автора.

было ли насквозь проедено испорченностью сердце даже величайших злодеев и негодяев; «неизвестно», не сохраняли ли, незаметно даже для самих себя, что-нибудь чистое и святое в душе даже Тиберий и Катерина Медичи. Но ему было «известно», что даже для них было легко и приятно стать добрыми и честными; ему было «известно», что никто из людей неспособен любить зло для зла, и каждый рад был бы предпочитать добро злу при возможности равного выбора; что поэтому дело не в том, чтобы порицать кого-нибудь за что бы то ни было, а в том, чтобы разбирать обстоятельства, в которых находился человек; рассматривать, какие сочетания жизненных условий удобны для хороших действий, какие неудобны. «Наука не останавливается на факте — она анализирует его происхождение», — таков был его взгляд на жизнь. — «Наука беспощадно-снисходительна», говорил он.

Я сказал несколько слов об Алферии Алексеевиче как о мыслителе, применявшем «беспощадную снисходительность» точного научного метода к явлениям человеческой жизни. Этими словами я характеризовал его и как человека: он был, по моему мнению, замечательнее всего тем, что его воззрение на жизнь вполне соответствовало его характеру, поступки неизменно соответствовали его убеждениям. Надобно было только раз услышать, как он произносит свои любимые — «неизвестно» и «известно», «исследуем», «обдумаем», — и человек, никогда не выдавший его, ничего не слышавший о нем, чувствовал любовь и уважение к этому белокурому юноше, застенчивому и нежному, такому кроткому и такому непоколебимому, такому горячему другу людей и такому бесстрастному исследователю фактов.

— Надобно ли описывать мою наружность, — говорил он, поручая мне написать его биографию, — это «неизвестно», но «известно», что очень важно знать голос и акцент человека, — опишите эти характеристики моего «я»; неизвестно, успеете ли вы в этом, но постарайтесь.

Его голос был очень чистый и звучный тенор; сообразно его юношеским летам, очень высокого тембра, так что переходил в контральт в простом разговоре, когда он говорил полною грудью, живо и весело. Но когда беседа принимала ученое направление и юноша веселый и уступчивый, шутливый и скромный, — «красная девушка», как мы его звали за чистоту его души, — когда этот невинный и наивный юноша обращался в мыслителя, то бойкая, живая, шутливая речь его становилась медленна, голос понижался на две октавы, в нем слышались ноты баритона, серебристая звучность, раздававшаяся с громким эхом на три комнаты, сменялась глубокою сосредоточенностью сдержанной силы в бесстрашно-тихой выразительности скорее полушопота, чем полнозвучного тона, но полушопота, ясно доносившегося до самого дальнего уголка даже огромной комнаты; размеренно лилось слово за словом; ни один слог не пропадал для слуха, даже

самого невнимательного, но нельзя было оставаться невнимательным к этому тихому, тихому и вместе сильному, выразительному голосу: он проникал в вашу душу, шел прямо к сердцу и овладевал им.

— Как выразить твою манеру речи, как речи ученого? — говорил я ему, уже умирающему, когда принимал от него поручение издать его труды и написать несколько слов о нем в предисловии к ним. Он тихо улыбнулся, — его улыбка, добрая, задумчивая и вместе бодрая, ободряющая, не покинула его и в эти последние часы, — он улыбнулся и сказал:

— Если бы оставалось у меня время, я для шутки помог бы вам: положил бы на ноты свой «голос скромного, но бесстрашного и бесстрастного исследователя истины»; но некогда: у меня еще остается много более важной работы на немногие часы, остающиеся мне для работы, — «для работы», так сказал он, умирающий: не «для жизни», а «для работы», — работы на пользу людям. Он только за три часа перед кончиною приказал убрать с его стола массу тетрадей и листов, составляющую *L'Analyse des fonctions qualitatives et agissantes*.

Да, его манера говорить, когда он говорил как мыслитель, могла бы быть положена на ноты: это было нечто среднее между речитативом и медленною импровизациею, — между музыкою и простою речью, звучащею сдержанным тоном высокого баритона.

— Неизвестно, следует ли описывать наружность, — говорил он; он был расположен думать, что голос можно описать отчетливее, чем выражение лица, а черты лица сами по себе без выражения не составляют портрета. — Но обычай требует описывать наружность, — продолжал он, — а если еще «неизвестно», что обычай неразумен, надобно следовать ему, потому что отступление от него без положительного убеждения в его неразумности для данного случая само было бы неразумностью; итак, опишите мою наружность.

Он был блондин, как и его дед, Кифа Мокиевич, родом бывший из Балахны (Нижегородской губернии), роста несколько ниже среднего — 2 аршина $3\frac{3}{4}$ вершка (1 метр 589 миллиметров, как записано у него 15 марта 1863 года); у него были кроткие темноглубые глаза, он носил свои светлорусые волосы падающими до плеч в натуральных локонах; черты лица его были тонки, мягки, нежны, правильны, так что, когда он работал в своем кабинете, незнакомый человек, вошедший в эту комнату, подумал бы, что не юноша, а девушка сидит за столом, заваленным математическими книгами и горами бумаг с длинными вычислениями «интегралов качества и действия», — девушка, потому что Алферий Алексеевич вместо халата носил батистовый пеньюар; и, приняв молодого ученого за девушку по его длинным вьющимся волосам и по его пеньюару, гость долго не заметил бы своей ошибки, если бы вел обыкновенный, не ученый разговор: такими контраль-

товыми нотами звучал голос Алфериньки, так скромн был его разговор, так застенчивы манеры.

— Другие, — говорил он, — могли бы смеяться над моим пеньюаром; но для тех, которые знают основание моей обязанности носить его, моя любовь к этому платью не смешна.

И действительно, никто из видевших Алферия Алексеевича в пеньюаре не мог не сочувствовать исключительной причине, по которой он носил его, и все мы немногие, — моя жена, наши дети и двое ближайших его и наших друзей, — все мы немногие, знавшие причину его любви к батистовому пеньюару, находили несколько не странным это его пристрастие. А только мы одни и видели его в его батистовом пеньюаре, только мы и знали об этой блузе, никто, кроме нас, не имел доступа в его кабинет, отворенный для всех нас всегда; и ни разу, ни одного разу Алферий Алексеевич не переступал порог свсего кабинета в своем пеньюаре. Мы все свято хранили его тайну. Никто из наших слуг не знал о ней; даже его жена не знала, что в своем кабинете он более двух лет носил такой же пеньюар, какой подарил ей в день свадьбы, — такой же, но не тот.

— Наука признала один только порядок пригодным для всех отраслей умственной деятельности: генетический порядок. Начинайте с происхождения коренных элементов положения, показывайте, как оно видоизменяется естественною комбинациею этих элементов, и результат всегда явится фактом натуральным, не имеющим ничего странного, — так говорил и поступал Алферий Алексеевич.

Я, по обыкновенной ошибке всех и каждого, на минуту забыл эту истину в рассказе о ее проповеднике: высказал результаты, не изложив их происхождения, и как странно должно показаться, что такой молодой человек был уже женат, и какую прихотью должно казаться, что он в своем кабинете носил батистовый пеньюар. А между тем, эти факты произошли очень просто и не заключали в себе ничего ни странного, ни оригинального, ни прихотливого. Но у Алферия Алексеевича была и другая аксиома:

— Мелкие ошибки становятся очень полезны, когда анализ обращает их в средство рассмотреть важность и благотворность принципа, ими нарушенного. Старайтесь замечать это; вы приобретете опытность и станете вернее поступать в будущих, более важных случаях.

Итак, я не зачеркиваю того, что напрасно было написано мною сплеча, без подготовки, не по генетическому порядку. «Люди читающие» увидят, что факты, которые показались им странны, показались странны только по ошибке, сделанной мною в порядке изложения.

Алферий Алексеевич женился очень просто: сделал предложение девушке, заслужившей того, сделал при таких обстоятельствах, что предложение не имело в себе ничего неблагоприятного

или восторженного, — я не говорю, чтобы оно не имело в себе ничего прекрасного: нет, чистая и добрая душа выражалась у Алферия Алексеевича во всем, как у всех благородных людей с добрым сердцем.

Он ехал в карете Невского проспекта. Он сидел в одном углу, наискось, напротив сидела женщина, одетая небогато, лет 25, очень бледная, слабая. Алферий Алексеевич был застенчив; потому, хоть жалел ее, но не заговаривал с нею. Заговорили другие, потому что она была очень слаба. Она сказала, что была у медика и возвращается домой.

— Но карета едет очень медленно, — сказали ей, — в карете душно; вам надобно доехать домой поскорее, да и свежий воздух будет легче для вас. Возьмите извозчика. — Она промолчала. Другая молодая женщина, сидевшая в карете, громко сказала, обращаясь ко всем мужчинам:

— Господа, наша спутница, вероятно, боится ехать одна: как бы не упасть с линейки. Она не решается сказать эту причину, потому что это было бы просьбою к вам. Но действительно, она слишком слаба, чтобы ехать одной. Кто-нибудь должен проводить ее.

Мужчины переглянулись. Трое из пятерых вызвались, в том числе Алферий Алексеевич. Обменялись между собою несколькими словами о том, кто куда едет, и с надобностью ли, или без надобности; увидели, что Алферию Алексеевичу меньше всех потери стого, что он опоздает в свое место (он ехал в библиотеку Академии наук, где все равно было ему быть и завтра). Потому положили: отдать ему поручение, которое отняло бы довольно много времени, если бы на дороге сделался с женщиною обморок, чего очень можно было опасаться. Алферий Алексеевич вышел с больною, доехал на извозчике до Конюшенной, взял коляску и довез больную. Сидя в коляске, она перестала чувствовать себя дурно; они разговорились. У Алферия Алексеевича было лицо, располагавшее к доверию; его прямая и скромная речь, его искренний голос вызывали всякого на откровенность. Он слышал задушевные рассказы от многих сотен людей, всех возрастов, званий и положений: каждый инстинктивно чувствовал, что имеет перед собою слушателя, совершенно расположенного перенестись на его точку зрения, разделять все его чувства в их глубокой человеческой сущности, как бы ни была резка или груба их случайная форма.

— Это обязанность исследователя природы, — говорил он. — Понимание дается в этой сфере природы только сочувствием; итак, бесстрастие мыслителя имеет здесь условием своей отвлеченной холодной деятельности — симпатию наблюдателя.

Потому и натурально было в нем соединение бесстрастной логичности выводов с мягкостью сердца. Его спутница рассказала ему все. Это была девушка, возвращавшаяся от акушерки, у кото-

рой провела недели две, сказав родным, что уезжает из Петербурга в монастырь, где и действительно провела месяца три перед тем временем, когда надобно стало переехать к акушерке. Она ошиблась в своих силах, которые почла довольно укрепившимися: душная старинная карета Невского проспекта расстроила ее. Она отправилась от акушерки в 12 часов, чтобы время ее возвращения домой совпадало с временем прихода московского поезда. Она обдумала все очень внимательно. Так, и в карету Невского проспекта она села по соображенной ею надобности, хоть предвидела, что эта карета будет очень дурна для нее. У ней были деньги, но она опасалась, чтобы кто-нибудь из знакомых не заметил ее едущую в коляске: семейство было небогато, такая роскошь показалась бы странною. Теперь, конечно, все было объяснено ее домашним очень удовлетворительно: роскошь — коляска — взята была на себя Алферинькою, слабость девушки происходила от поста. Случай был обыкновенный: бросая ее, когда она надоела (месяца через три, четыре после начала волокитства), волокита снабдил ее деньгами; она, хоть и была горда, не могла отказать: деньги были необходимы на то, чтобы утаить последствия первого увлечения.

— Первого увлечения в 25 лет! в 25 лет! — говорил Алферий Алексеевич. — Первая любовь в 25 лет! Наука находит, что подобные факты не соответствуют всеобщим законам органической природы и обнаруживают неудобное сочетание данных. Формула, в которую входят подобные комбинации, не может быть признана устойчивою, в ней нет внутреннего химического родства между элементами. Она распадается от первого соприкосновения с деятельностью серьезных исторических сил.

Так он все возводил к общим принципам естествознания, и страшно делалось тем, которые начинали слушать его с насмешкою, когда он принимался «выводить функцию» самых обыденных фактов. С чего бы он ни начал, вы через четверть часа видели, что он вытягивает из вас признание, что вы злодей и живете в обществе убийц, уличает вас в том, что вы дикарь, которому следовало бы ходить татуированным. И он любил обращать внимание именно на простейшие элементы, не на те вещи, которые называются дурными, «о тех нечего и говорить; и притом они менее важны», — нет, он «выводил функции» тех сторон жизни, которые пропускаются без внимания, как не представляющие ничего замечательного. Так и здесь: он не ораторствовал против волокиты, «все согласны, что это гадко, о чем же тут рассуждать?» — нет, он толковал: «Первая любовь в 25 лет. Это неудобно».

Девушка уже перестала грустить. Но в первое время, когда она поняла, что такое вышло из увлечения, она приняла яд. Ее успели спасти и отлично умели объяснить ее отчаяние, причина которого, к счастью, не была замечена никем. Ее попытку от-

равиться очень легко поняли так, что она прежде плакала иногда от обыкновенных резонерств и мелочных выговоров матери. Конечно, они доводили дочь до слез, когда у дочери нервы были расстроены скукою жизни без любви и когда дочь сама не понимала, отчего же это ей так грустно и тяжело, и, за недостатком более понятной причины дать волю слезам, давала им волю на основании пустых надоеданий матери. Никто не хотел рассудить, что хоть дочь воображала тогда, — прежде, до знакомства с волокитою, — будто мать, собственно мать, доводит ее до слез, но что резонерство, хоть бы и материнское, то есть очень усердное, еще не имеет силы пробуждать мысль о принятии яда. Молва не церемонится из-за таких психологических тонкостей: ей нужны эффекты. Добрые люди чуть не сжили со света мать девушки своими косыми взглядами и едкими намеками: все родные и все знакомые казнили и казнили злодейку, которая измучила родную дочь до того, что дочь искала спасения себе в мышьяке. А девушка должна была молчать, слушая это; и, разумеется, благонамеренное казнение ее матери, совершенно непричастной мышьяку, доставило ей во сто раз больше огорчений, чем все придирки матери во все 25 лет ее жизни.

И все это девушка открыла человеку, которого видела в первый раз, которого не думала никогда увидеть во второй раз. Так бывает нередко.

— Психология, хотя еще и в младенческом состоянии, уже объяснила подобные явления, — говорил Алферий Алексеевич, относя этот случай к действию общего закона. Взгляд его справедлив. Конечно, в числе знакомых девушки было несколько людей, не менее Алферия Алексеевича заслуживавших доверия, и она в очень многом положила бы на каждого из них гораздо увереннее, чем на человека, которого видела в первый раз. По всей вероятности, находилось у ней двадцать человек родных и знакомых, которым она охотнее, чем Алферию Алексеевичу, вверила бы свою маленькую сестру или маленького брата. Но свою тайну она охотнее вверяла ему именно потому, что он был чужд ей, она чужда ему. Все, кто любит наблюдать жизнь, встречали много примеров, что едва знакомая женщина знает девушку интимнее, чем сестра, с которою девушка хороша и откровенна. Так и тут точно действовал общий закон. Но и то надобно сказать, что Алферий Алексеевич помог ему: участие, выражавшееся в простодушных глазах доброго юноши при глухих легких столах девушки от сотрясения езды, деликатная внимательность его — это действовало; а когда на заботливые вопросы его симпатичного голоса о причине ее слабости девушка отвечала: — Это ничего; скоро пройдет; не все так скоро пройдет, а это ничего, — и когда Алферий Алексеевич, забыв обязанность исследователя истины «быть бесстрашным и беспощадным», не продолжал вопросов, а покраснел, сконфуженными словами стал извиняться, что был

нескромен в своих вопросах, и замолчал, это вырвало у девушки ее тайну: она уж и подумала, что он все угадал, когда он еще несколько не догадывался по своей наивности и неопытности; она видела, что он не осудит ее, — в этом она не ошиблась. Но ошиблась в том, что не увидит его больше: он вернулся дня через два-три в ее семейство, жившее небогато, даже очень скромно, но и не бедно.

— Я не думал, что зайду когда-нибудь, — говорил он. — Но я не застал приятеля, которого желал увидеть по делу, меня интересовавшему (приятель этот был астроном, через которого Алферий Алексеевич отправил во Французский институт свой мемуар о планете, находящейся за Нептуном). Я рассчитывал, что он в то утро получил от Литтре письмо о том, будет ли принят институтом мой мемуар. Я не застал его дома, но услышал, что слуга заплатил 27 копеек за письмо, которое принесено утром, — плата за письмо из Парижа; я знал, что через час мой приятель возвратится домой. Моя квартира была очень далеко (мы живем на одной из улиц между Литейным и Невским, Шестилавочною и Сергиевскою, приятель Алферия Алексеевича в другом конце города). Где ж провести этот час? Вот я вспомнил о девушке и ее семействе: мне стоило только перейти через Неву, чтобы быть в пяти шагах от их квартиры. Тогда они были очень довольны моею внимательностью к их дочери. Я и зашел посидеть у них час в ожидании моего приятеля. Они все были очень рады мне. Она сама сначала сконфузилась, не полагала уже никогда видеть меня, знавшего ее тайну; но я не сконфузился, будто не помню ничего: ведь это был факт, выслушанный мною как ученым собирателем наблюдений, — не больше. Моя непринужденность ободрила ее, мы стали говорить о пустяках, даже смеялись. Еще раза два мне случалось зайти, все так же, по случаю, когда бывал у своего приятеля, их соседа, через Неву. Почему было не зайти иногда, если это приятно добрым людям? А они добрые люди; и мать ее несколько не похожа на мучительницу. Они встречали меня радушно. Когда я входил, я целовался с отцом ее: он такой простяк. С нею мы почитывали Шиллера тут же, в кругу ее семейства.

Девушка была немка: семейство это было родом из Штирии, онемечившиеся славяне; как все штирийцы — католики; но подле зеркала висели литографии: с одной стороны — Гусса, с другой — Яна Жижки. Одной из станций семейства на перекочевке из Граца в Петербург была Прага; там они прожили три года, и чешские патриоты доказали старику, что он славянин. Он не выучился ни слова по-чешски, но возгордился, узнав, что Грац был когда-то столицею протестантства в юго-западном углу Австрии, потому купил Гусса и Жижку. Впрочем, оба они с женою остались усердны в католичестве. Но когда дочь вздумала ехать в монастырь, и католического немецкого монастыря не ока-

залось по соседству Петербурга, они не затруднились отпустить ее в русский.

— Греческая вера хорошая, — объяснил им пастор, с которым они посоветовались, — ведь она не обратится в нее?

— Нет.

— Ну, так пусть едет.

Девушка была неглупа от природы, читала романы, почти только новые, немецкие, плохие, и немецкие переводы дюжинных французских, но любила Шиллера.

— Мне было не очень скучно с нею, — говорил Алферий Алексеевич, — потому что скоро она увидела во мне бесстрастного исследователя истины, симпатизирующего всему человеческому, и стала говорить со мною так же откровенно, как в первое наше знакомство³⁰. Для ученого всегда интересно иметь перед собою вполне раскрытое сердце, чье бы то ни было. Но гораздо занимательнее были для меня рассказы стариков о Штирии: они знали ее вдоль и поперек, потому что жилали и в северной, немецкой, и в южной, славянской, половине; в славянской половине они подолгу бывали у родных, — впрочем, тоже совершенно онемечившихся, — в Чилли, в Фридау. Сама старуха была родом из Раппа, жила там до 12 лет. Это любопытная область, и о ней так мало находишь в книгах. Из их рассказов о постепенных переменах в обычаях я изучал явление, подобное тому, которым создалась прусская часть немецкой нации, восточная половина нашей московской нации: в Фридау, Раппе происходило тогда то же, что происходило когда-то в Штеттине, Старгарде, Магдебурге (на Одере), Глегау, — в Костроме, Ярославле, Владимире, Туле, Рязани, самой Москве: племя незаметно становилось племенем другой национальности. Это очень любопытно. Они всегда были очень рады мне: им не с кем было вспоминать свою старину, а я слушал. Потому я бывал у них нередко, почти каждую неделю.

Так рассказывал мне Алферий Алексеевич об этом знакомстве. Из его посещений и не выходило ничего, кроме обыкновенных отношений между добрым семейством и молодым человеком, посещающим семейство от нечего делать.

Девушка вовсе не была влюблена: добрая и неглупая, она никогда не имела и тени мысли смотреть на Алферия Алексеевича как на человека, с которым у ней могут быть какие-нибудь отношения, кроме доброй дружбы: она видела, что он не пара ей по образованию, по положению в обществе, по ожиданиям в жизни; да и кроме того, он был шестью или семью годами моложе ее; она смотрела на него почти как на взрослого ребенка; по наивности и невинности, и вовсе как на ребенка: его ученые труды, конечно, очень мало значили в этом смысле, и никакие аксиомы, теоремы и запасы наблюдений над другими не заменяют собственного опыта жизни для действительной жизни сердца:

они дают возможность рассуждать и писать, но не делают того, чтобы борода росла раньше, чтобы лицо теряло черты юношеского возраста, чтобы очень молодое сердце не было очень молодым. Девушка видела в Алферии Алексеевиче наивного, слишком юного для нее друга, над розовыми мечтами которого часто посмеивалась, хоть и не знала математического метода, хоть и плакала над Шиллером. А если она не имела ни охоты, ни мысли чувствовать что-нибудь похожее на страсть или увлечение к Алферию Алексеевичу, то ему было еще меньше поводов чувствовать к ней что-нибудь такое. Разумеется, его книги и аксиомы не помещали бы ему влюбиться: это две стороны жизни, столь же различные, как голова и грудь. Но у Алферия Алексеевича была своя особенная причина воображать себя очень надолго застрахованным от так называемой «первой любви», да девушка и не имела такой наружности, чтобы человек с чувством красоты влюбился в нее. В Петербурге она не могла считаться дурной собою. Смешно было бы называть славянкою девушку, семейство которой уж лет триста, если не больше, не знало другого языка, кроме немецкого. Но все-таки она была хорутанского племени. В нем, как в греческом, итальянском, сербском, нет людей некрасивых лицом, и Алферий Алексеевич узнал от ее отца присловье соседних славян о горожанках их столицы Люблина (Лайбаха): «Люблянки — красавицы-славянки». Это присловье так верно, что даже немцы окрестных областей перевели его на свой язык и все повторяют, когда говорят о die Laibacherinnen. Разумеется, и славянская часть хорутан не везде так красива, но и онемечившаяся часть — хорошая раса. Однако же, насколько женщина хорутанской крови может быть некрасива, настолько некрасива была эта девушка. Даже и волокита мог приволокнуться за нею только потому, что встретил ее в толпе петербургских простолоудинок.

Больше полугода она и Алферий Алексеевич были знакомы и оставались совершенно чужды всяких пристрастий между собою. Но вот Алферий Алексеевич перестал посещать своих штирийских друзей. Насчитав недели три, прошедшие без его посещений, они встревожились, предположили, что он болен — и не ошиблись. Ему оставалось жить только два-три месяца.

Однажды, именно 20 января 1863, Алферий Алексеевич шел через Сенную площадь вместе с моим вторым сыном, старшим его двумя годами, кончившим в ту осень курс по юридическому факультету. Они шли от Невского на Обуховский. Будто на беду, им вздумалось пройти не по открытому проезжему пути, а вдоль домов, по тротуарам, мимо несчастной торговли гнусным горячим картофелем и всюю остальною гадостью, которою питаются на рынках, как номады, нищие и голодные толпы наших столичных сожителей. Этот угол Сенной площади — место, заслуживающее того, чтобы рекомендовать знакомство с ним людям, у которых здоровье достаточно крепко для подобных зре-

лиц. Кто побывал там, тому не будет надобности заходить в гетто, когда случится обозреть Рим, следовательно, будет выигрыш времени для обозрения памятников, картин, статуй. Мой Яша и Алферий Алексеевич хотели ободрить свой дух этою картиною. Прошедши шагов тридцать — сорок по тротуару между Спасом и Обуховским, они увидели драку: двое мужчин сражались против трех торговков. Алферий Алексеевич вспыхнул и сделал движение в ту сторону. Мой сын взял его за руку:

— Полно, Алферинька, куда тебе тут соваться, да и сам ты говорил мне, что средняя сила женщины равна 0,7 силы мужчины. Так видишь, бой равен и безукоризнен: с одной стороны $1 \times 2 = 2$, с другой $0,7 \times 3 = 2,1$ — порадуйся, как я наострился от тебя — на стороне В (баб) даже вероятный перевес в 5%. Не суйся, математика запрещает.

— Не место и не время шутить, Яша, — сказал Алферий Алексеевич, — льется кровь.

И точно: кровь лилась из трех носов: одного женского и обоих мужских.

— Алферинька, ты ребенок, — сказал мой Яша, — нельзя было бы назвать несчастными этих людей, если бы боль, которая мучит их, была только боль от их взаимных потасовок: синяки и разбитые носы почти не чувствуются их замороженным и запеченным телом. В их желудке их боль, в их сердце их боль, а не в разбитых скулах. Эта драка для них больше развлечение, чем драка, грубое развлечение, правда, но не ожесточение, не злоба. Оставь, не мешай им отвести душу хоть этою потехою. — Говоря это, мой сын оттащил Алфериньку за руку дальше по тротуару.

— Они женщины, их бьют.

— Амазонки они, дай бог им здоровья, и дал, как видишь: одолевают, кажется.

— Они женщины, все равно, — сказал Алферий Алексеевич, задыхаясь от волнения, рванулся, вырвался и побежал к дерущимся, разводя их своими руками, слишком слабыми, и прежде чем мой сын успел опять поймать его и оттащить прочь, Алферий Алексеевич уже падал, — упал: он подвернулся под кулак одному из мужчин.

— Эх, барин, зачем совался-то! — сказал мужчина с досадою и сожалением и бросился, открывая себя ударам противниц, поддержать примирителя, нечаянно подсунувшегося под его удар, — и поддержал, обливая его кровью из своего разбитого носа, только уже поздно успел поддержать... Торговки, не могшие остановить своих размахнувшихся рук, дали своим соратникам еще по хорошему тузу, но в ту же секунду остановились и они: Алферий Алексеевич имел полный успех, драка была прекращена его посредничеством; все пять сражавшихся ухаживали за опустившимся на их руки юношей, Алферий Алексеевич был

без чувств. Удар, рассчитанный по боку не такой крепости, как его, пришелся ловко — немножко снизу вверх, Алферинька полетел левым боком на тумбу — ребро хрустнуло. Алфериньку принесли домой. Мужчины, дравшиеся с бабами, успели, к счастью, убежать; все окружавшие видели, к счастью, что ни одна из баб не дотронулась до него, когда он упал. Хорошо было хоть то, что дело сошло благополучно для других. Но Алферий Алексеевич через три с половиною месяца умер. Перед смертью он женился на хорутанке, из желания оказать ей услугу, без всякого другого чувства к ней, кроме человеческого сочувствия к человеку, и сделал это так рассудительно, что моя жена сама сказала ей: «венчайтесь, он просит вас об этом», — вот его отношения к этому его другу. Она хотела быть его сиделкою, он хотел оказать ей услугу, — и оказал тем, что доставил ей титул замужней женщины. В день свадьбы он скинул свой белый пеньюар и спрятал его, потому что ей незачем было знать об этой его привычке, — или более, чем привычке: его драгоценнейшем воспоминании. Она, еще двое друзей, муж и жена, — мы, — стояли в его кабинете 7 апреля. Он простился со всеми, попросил всех уйти, меня одного остаться.

— Выньте мой пеньюар, помогите мне надеть его. — Теперь позовите их опять, их одних. — Я позвал моих и его друзей и сел в другой комнате. Через несколько времени вышел ко мне из кабинета один наш друг. Мы сидели с ним. Потом вышел и другой.

Одна из дравшихся торговок была знакома с моими сыновьями и Алферинькою. Она несколько раз приходила справляться о нем во время болезни. Он все это время провел в работе, связывая и поясняя материалы, заготовленные им. Благодаря такому твердому духу, его труд остался после него приготовленным к печати.

За гробом Алферия Алексеевича, кроме нас и его друзей, шли несколько торговок с Сенной площади.

И его мы хоронили
 Со слезами, со слезами;
 И могилу увенчали
 Мы цветами, мы цветами, —

одними цветами вольных полей, по его желанию, первыми цветами весны — подснежниками.

Происшествие на Сенной площади — обстоятельство, послужившее и поводом, и причиной решения нашего милого Алфериньки предложить руку доброй девушке, которая несколько не интересовала его как девушка, но была его другом, как человек, нашедший в нем участие и сочувствие. Вот как произошло это венчание.

Недели через три после начала медленного и почти безболезненного угасания его жизни, от этой девушки, Эмилии Осиповны, — ее фамилию, конечно, я не могу сообщить, изменяю даже ее отчество, но имя «Эмилия» я почел возможным сохранить, не нарушая тем тайну ее личности, — он получил от нее письмо, в котором она спрашивала: наскучили ль они ему, чего она не думает, или он болен, чего она опасается. Как же иначе, если не болен: он не был у них вот уже два воскресенья и три четверга (дни, которые чаще других бывали днями его посещений: по воскресеньям он бывал у их соседа-математика, своего приятеля; по четвергам он почти постоянно посещал библиотеку Академии наук).

— Если вы болен, в чем я почти не сомневаюсь, — писала она, — то позвольте мне навещать вас, я очень соскучилась по вам: у вас — много людей, с которыми вы можете делиться сердцем; у меня — только вы один. *Poschaluista, posvolte, dass ich besuche Sie* *, она умела сносно говорить по-русски, но не умела писать русскими буквами.

Алферий Алексеевич отвечал, что он очень благодарит ее за ее желание, но она девушка, из этих визитов могут выйти сплетни, и он просит ее отказаться от ее мысли, хотя ему, больному, было бы теперь очень приятно видеть ее. Она, вместо ответа к нему, прислала письмо к моей жене, в котором просила принять ее, как знакомую, в гостиной, и посидеть с нею полчаса, четверть часа — для вида, для прислуги и посторонних, когда она завтра приедет и скажет, что приехала к моей жене.

Разумеется, так и устроилось; тем больше, что мы давно знали о знакомстве Алферия Алексеевича с семейством этой девушки и слышали о них от него все, что интересно было слышать, не знали только одного обстоятельства, по которому пришлось Алферию Алексеевичу встретиться с нею в карете Невского проспекта.

В нашем семействе принято за правило отклонять всякие неожиданности, предупреждать друг друга обо всем. Поэтому моя жена сказала Алферию Алексеевичу, что завтра ждет в гости к себе Эмилию Осиповну, и если ему будет приятно повторение таких посещений, то даже и сама съездит к ней, чтобы у посторонних людей не могло быть сомнения, что Эмилия Осиповна ездит в гости именно к ней. Алферий Алексеевич в первую минуту был очень доволен, благодарил мою жену, *liebe Mutter* **, как он называл ее, — за внимательность к бедной одинокой девушке; но потом задумался, покраснел, — он часто краснел, — стал конфузиться и сказал:

— Нет, *liebe Mutter*, позвольте мне подумать.

* Пожалуйста, позвольте навесить вас.

** Дорогая матушка,

— О чем же? Уж не заметил ли ты, Алферинька, что влюблен в нее?

— О, нет, — спокойно отвечал Алферий Алексеевич, — ни я к ней, ни она ко мне не можем чувствовать ничего, кроме приязни: она мне не нравится, я для нее слишком молод; нет, я вздумал совершенно о другом, — о ее семейных отношениях. Позвольте мне подумать.

Женщина пожилая, мать взрослых сыновей, моя жена и рассердилась бы немножко, и вдоволь насмеялась бы, если бы отгадала, чем затрудняется Алферинька. Но она предположила, что семейство Эмилии Осиповны — дурное семейство, что он желал бы попросить ее не ездить туда, и сказала, улыбаясь:

— Ну, Алферинька, хоть о моей-то репутации ты не заботься, пожалуйста. — Алферинька понял это по-своему и опять покраснел:

— Простите, liebe Mutter, если я проговорился.

— Какой вздор, Алферинька, тебе пора бросить смотреть на людей такими наивными глазами, — сказала моя жена, поцеловала племянника и, видя, что ему тяжело было бы продолжать разговор, ушла, и, уходя, вспомнила, что забылась, шутя с ним: слишком скоро перестанет он смотреть на людей своими наивными глазами, и немножко поплакала. Она очень любила его.

— Но какой несносный формалист, впрочем, как все дети, — подумала она, — не понимает, что поздно начинаться сплетням о женщине в 45 лет, если до 45 лет она не давала им возможности привязаться к ней. Ребенок, ребенок!

А Алферий Алексеевич думал не о том, хоть, впрочем, в том же самом духе: он размышлял над вопросом, имеет ли Эмилия Осиповна право вступить в знакомство с дамою, — и притом дамою, у которой две дочери и из них одна еще невеста, являться в такое семейство, не открывая матери семейства свою тайну; размышлял, и через несколько времени вывел, по какой-то несомненной формуле: «не имеет права», — если же она не имеет этого права, то имеет ли он обязанность предупредить эту даму, то есть свою тетку? Тоже несомненно было: имеет. Но имея эту обязанность, имеет ли он право открывать чужую тайну, и притом такую роковую тайну? Тут уж еще несомненное выходило: не имеет. А из этого следовало: как же это иметь обязанность сделать то, чего сделать не имеешь права? Забывая свою грусть о близкой его более роковой тайне, и уже едва ли даже для него тайне, мы с женой от души смеялись, когда он на другой день вечером рассказывал нам свои внутренние борения и безвыходность «антиномии права и обязанности», как он выразился, в которой он видел себя.

— Я не потерял убеждения, что Кантова формула антиномий³¹ иллюзия; антиномий нет, более строгий анализ обнару-

живает более коренной факт или более точную формулу, которыми уничтожается видимое противоречие, — продолжал он говорить, не останавливаясь нашими улыбками, — но я чувствовал, что моя личная мысль не в силах подняться выше или проникнуть глубже этой иллюзии противоречия между обязанностью и правом.

— Да полно смешить, Алферинька, — сказала моя жена, — разумеется, ты ребенок и неопытен, тебе натурально сбиваться на таких пустяках; только, воля твоя, ты смешон: ведь ты же все-таки неглупый человек, хоть и великий ученый, — охота тебе столько думать о мелочах. Какой срам воображать, что тайна Эмилии Осиповны заслуживает того, чтобы посторонним людям думать о ней. Это для нее важно, потому что принесло ей много горя, но как же тебе-то не совестно было сообщить, что для твоей тетки очень важна разница: от лихорадки ли, или от тифа, или от чего другого была она «бледна и худа», как говорит твой и Яшин поэт. Да разве это не все равно?

Но, разумеется, мы были не совсем правы, находя смешным смущение Алфериньки, хоть оно и было ребячеством. Это было первое серьезное, хоть и в мелком размере, столкновение его с запутанностями в жизни, а не в отвлеченных соображениях. Путешественник может отлично изучить в своем кабинете Аравию и Шпицберген, может перед выездом отлично приготовиться к условиям того или другого климата, но все-таки он будет до головокружения упоен ароматом, ступив на берег Йемена, почувствует боль в груди от атмосферы полярного моря. Это, впрочем, не значит, что бесполезно учиться, что не нужно обдумывать, где какой климат и чем следует запастись, пускаясь в путь, который, наперекор уверениям полунежд, ведет в «Аравию счастливую» через полюс. Надобно запастись и белыми пеньюарами — для одного пола, белыми парусинными пальто — для другого, соломенными шляпами с широкими полями — для обоих полов, чтобы хорошо было под небом Аравии, а чтобы благополучно проехать мимо Шпицбергена, надобно запастись шубами и ромом, — тем и другим для обоих полов, без различия: ром не опьяняет под полюсом, там его рубят топорами, по тамошнему месту он сливочное мороженое — не больше. Без этого плохо дело. А с этим — ничего, можно жить на свете.

Так рассуждали мы с женою и Алферинькою на другой день вечером, когда «роковая», по его мнению, «тайна» была без большой церемонии — хоть и не без некоторого колебания и не без краски застенчивости — открыта самою Эмилиєю Осиповною моею женою, а потом была сообщена и мне по общему решению обоих лиц, обладавших сведениями столь интересными (для мальчишек, от 8 до 18-летнего возраста и гадких девчонок тех же лет). Разумеется, жена посоветилась бы сообщить мне эту

глупость, если бы не представилось надобности упомянуть и о вздоре по связи его с серьезною вещью, — с чувством матери. А Эмилия Осиповна, конечно, поступила бы дурно, если бы продолжала знакомство с дамою, которая не внушала бы женщине, — все-таки молодой сравнительно с нею самою, — такого мнения о себе, при котором не трудно говорить обо всем, о чем покажется нужно говорить с нею.

Не знаю, с какими мыслями относительно открывания или неоткрывания тайны ехала к моей жене Эмилия Осиповна; вероятнее всего, ей и не пришлось думать об этом ни так, ни этак. Конечно, у ней было более важное размышление: хорошо ли она сделала, так круто напросившись на знакомство с дамою, которая все-таки гораздо выше ее по положению в обществе, — ездит в своей карете, а не в карете Невского проспекта (ведь только в этом одном и есть серьезное различие классов или каст: все остальное, кроме денег, только «звание», а не «состояние», — звук, а не дело). Каково-то примет ее дама, имеющая квартиру все-таки блистательную сравнительно с квартирою булочника или слесаря 7-й или 8-й линии Васильевского острова, хоть и не блистательную перед теми помещениями, которые известны и ей, да и моей жене, только по картинам; не надуется ли эта дама, не ошестинится ли? По крайней мере, наверное будет протезировать благосклонным своим благоволением. Но жена моя — женщина простая, и Эмилия Осиповна расчувствовалась от ощущения, что сидеть в ее гостиной не очень холодно и угарно, растаяла от обыкновенной температуры в предположенном ею леднике, куда забралась в нравственной тройной шубе, чтобы не замерзнуть, — так растаяла в полчаса, что вдруг ни с того, ни с сего залилась слезами, — нельзя же: все-таки немка, хоть по чешским и нашим славянистам — славянка, — залилась слезами и изложила ей с полной обстоятельностью свою историю. История была трогательна сама по себе, очень чувствительна в ее рассказе, но жена по совести и по секрету признавалась мне, что хоть и сочувствовала и сострадала, однако находила рассказ несколько скучным по его обстоятельности: все эти истории так сходны, что, по правде говоря, не стоит и слушать их, — довольно бы сказать четыре слова: «была увлечена и настрадалась».

— Так-то оно так, но и то сказать, — прибавляла сама же моя жена, — хорошо скучать слушательнице, а героине нельзя не плакать, а при слезах двумя словами не обойдешься.

Наплакавшись досыта к полному удовольствию своему, хору-танка-немка согласилась, что теперь не остается уже никакой надобности не итти туда, куда итти она приехала, — пошла к своему больному приятелю. И хорошо было, что она досыта наплакалась перед этим: меньше слез осталось в запасе, когда она увидела Алферия Алексеевича, осунувшегося, с красными пят-

нами на щеках вместо прежнего румянца, — тут действительно нельзя было: почувствовала новую охоту плакать. Скоро перестала по физической невозможности продолжать слезоизлияние. Однакож я замечаю, что уже смеюсь не над нею одною, а и над нами всеми, смеюсь не с особенною веселостью: и жена, и я, и дети, — все мы не раз доходили до такой экстренной невозможности продолжать слезоизлияние в те три месяца. Но мы занимались этим упражнением сами по себе, не в компании с нашим милым Алферинькою. А тут, по неожиданности спектакля, действие произошло при Алфериньке, и составилась дуэт, который едва-едва укротила моя жена замечаниями обоим артистам, и только уже замечаниями не на шутку строгими.

— Впрочем, ничего, liebe Mutter, не огорчайтесь, — сказал Алферинька, успокоившись, — ведь я с самого начала знал.

Хорошо и то: очень утешительно. По-моему, однакоже, нечего рассказывать таких сцен с такими утешениями: известно из Шекспира, да и по Тациту. Итак, прохожу молчанием дуэт и разговоры, последовавшие за ним в том же вкусе, а сообщу лишь результат. Результат был, что Эмилия Осиповна выразила моей жене свое желание бывать у нее каждый день:

— Хоть на полчаса позвольте, а я бы рада была сидеть весь день. Я для него, конечно, ничто: у него много друзей, которые больше меня годились в друзья ему, но у меня был один друг — он.

— Если не будете плакать, — сказала жена.

— При нем не буду больше.

— Прекрасно, — сказала жена, — так вот что: чтобы не было сплетни, вы уж подождите завтра меня, я сама возьму вас к нам.

Алферий Алексеевич был очень утешен тем, что Эмилия Осиповна открыла моей жене свою «тайну». И точно: Эмилия Осиповна поступила честно и благородно, решившись быть откровенной с пожилою женщиною, теткою своего приятеля, когда увидела, что эта женщина не болтунья и не дура. Теперь, впрочем, сам Алферий Алексеевич занялся более дельными мыслями, чем прежде раздумье о том, «как же это он имеет обязанность сделать то, чего сделать не имеет права», он понял, что «обязанность открыть тайну» — пустая обязанность: если открыть «тайну» надобно перед честным и серьезным человеком, то он вам по совести скажет, что напрасно вы отнимали время у него и себя рассказом о том, чего не нужно ему знать; а кто не честен и не серьезен, тот не имеет права претендовать, если перед ним умалчивают о вещах, здравый взгляд на которые невозможен ему по его пошлости и пустоте. Итак, успокоившись на этот счет, Алферий Алексеевич принялся выводить другую формулу, по делу более важному, — и дело это было уже постороннее личным его отношениям, он мог рассуждать о нем «как некто, а не как Алферий

Сырнев», по его шутливой манере выражаться, потому неопытность в жизни тут не спутала его: о посторонних делах можно очень успешно рассуждать «на основании науки». Ему теперь представилось точно обстоятельство, которое с первого же взгляда было замечено моей женою: Эмилия Осиповна была действительно очень поражена, глубоко огорчена, увидев, что милый, добрый, чистый, неглупый юноша умирает. Теперь он вспомнил и понял слова ее письма к нему, — те же слова, какие она сказала и жене моей: «У него много друзей лучше меня; я для него, разумеется, ничто; но у меня был один друг — он». Пораздумав об этом «историческом фронте», он понял глубокий смысл просьбы Эмилии Осиповны: «Позвольте мне бывать у вас чаще, я рада бы бывать хоть каждый день», — то есть не за тем, чтобы видеть вас, — это для меня, чувствительной немки, очень огорчительно; и не за тем, чтобы усладить вашу скуку моими разговорами, — я знаю, что в большом количестве они были бы для вас скучны, потому что у вас есть занятия более интересные, чем беседы со мною, — нет, я хотела бы бывать у вас для того, чтобы быть вашею сиделкою: вы уж и теперь ходите по комнате с трудом, вам уж и теперь беспрестанно встречаются мелкие надобности сказать другому: «сделайте то, сделайте это», — просить о том, что вы прежде делали сам, без чужой услуги: «подвиньте стул», «поднимите занавес», «выньте из ящика сигару», а с каждым днем будет все больше таких надобностей, скоро вы и вовсе сляжете, чтобы почти ни на минуту не вставать; а еще через несколько дней вам беспрестанно будет казаться, что надобно бы немножко поправить подушку. Вот я и занялась бы этим; поверьте, не отягощаясь. Вас любят, это правда, тетка, дядя, но это не отец и мать; и у них много, много дел. Братья, сестры — они молоды, у них свои мечты, радости, тревоги. Они любят, но я была бы не лишняя. Бедная моя жизнь, скучная, бесцветная, — это так; у меня нет ни своих радостей, ни своих надежд; зато тем способнее я терять время для других. Ведь я правду говорю, Алферий Алексеевич и *madame W.*». — Алферинька недурно «разложил в серию» интеграл Эмилии Осиповны: «я желала бы навещать вас почаще», и мы с женою, в угождение бедному юноше, давали ему толковать о дифференциалах и интегралах, по его обычаю подшучивать над своею страстью к математическому приему, — и хоть скучали и не понимали, улыбались, слушая в тот вечер объяснения, что «я желала бы почаще навещать вас» — «интеграл», который он «разложил в серию».

— Хорошо, Алферинька, ты правильно понял эти слова, — сказала моя жена, — я мать, я старуха, мне нетрудно понимать такие чувства, да и многим молодым женщинам нетрудно, бедным, они очень ясны: слишком знакомы самим те чувства, какие бывают у существа, жизнь которого бедна, бледна, скучна, гру-

стна. Но юноше в 19 лет, который всегда был полон надежд и деятельных стремлений, богат силами, интересами — юноше трудно перенестись в положение, которого он никогда не испытывал. Для этого нужно иметь очень доброе и живое сердце. Все-таки, хоть ты и забавен, Алферинька, а молодец ты, что умел понять.

— Нет, liebe Mutter, это не я отгадал, — это я прочел у Лейбница, Ньютона и Лапласа; они очень хорошо объяснили жизнь и мысли Эмилии Осиповны, ведь это все дифференциалы, и все по закону всеобщего тяготения. Право, liebe Mutter, у них все это написано.

— Написано, правда; покажи-ка нам, как пишется дифференциал.

Вот какими разговорами давали мы развлекаться умирающему юноше, и моя добрая старушка смеялась, чтобы он продолжал, и мои сыновья спорили с ним о функциях, в которых ничего не понимали: он старался объяснить Яше, почему спираль, а не другая линия изображает какую-то, кажется, трансцендентальную функцию, и забывался на время. Так мы с женою предоставляли ему забавляться шутками над самим собою и в тот вечер, после визита Эмилии Осиповны, и он смеялся, и мы улыбались, радуясь хоть тому, что энтузиазм к знанию и добру дает ему силу шутить и наполовину забываться...

— Und kalt, wie Eiss, —

вдруг сказал он: —

Так в ненастные дни
 Занимались мы
 Делом³²,
 И молчала, не стучала
 Наша скорбная грудь —

это тоже все вариационное исчисление, liebe Mutter, варьируется трансцендентальная функция — Und kalt, wie Eiss, которую скоро будете вы вариировать несколько иначе:

Уж молчит, не стучит его белая грудь,
 Не стучит, и как лед холодна, —

вот об этом-то варианте я и хотел поговорить с вами, liebe Mutter и дядя, потому что и в «ненастные дни» надобно «заниматься делом». Это последний вариант — факт, стену лбом не прошибешь. «Бесполезно утруждать себя хлопотами о том, чтобы организм не подлежал действию химических законов», — говорит наука. Но факт, которого нельзя изменить, может быть обращен на видоизменение других фактов. Я предложу вам ученый вопрос, положение которого исследовано мною по правилам науки. — Он улыбнулся и продолжал холодно, будто читал лекцию из истории:

— Вы все молчали со мною о моем положении. Я понимал его. Но я не медик. Я не могу быть основательным судьей. Ваш NN, liebe Mutter, — он назвал знаменитого медика, которого пригласила моя жена пользоваться его, — сам очень мало понимает; он отстал от науки, если когда стоял в уровень с нею. Да он, пожалуй, и не сказал бы мне правды: он слишком испрактиковался. А я нашел нужным услышать честное и верное мнение о моем положении; потому, после обеда ныне, я был у С. П. Б[отки]на³³. Это честный человек и хороший ученый. Он спросил: «А зачем вам нужно знать?» — Я сказал. Тогда он посмотрел и сказал: «Да, вы можете прожить месяца два, три, но не больше». Это дало мне твердый фундамент. Факт определен. Другой факт: некто имеет расположение ко мне; желает сделать для меня все, что может. Вопрос: не обязан ли я оказать этому лицу в признательность за расположение ко мне какую-нибудь важную для этого лица услугу, если она ничего не стоит для меня? Прошу вас, liebe Mutter и дядя, отвечать.

— Обязан. — отвечали мы с женою.

— Liebe Mutter, я попрошу вас рассказать тот случай, о котором говорила вам Эмилия Осиповна, как вы сказали мне.

— Она была обманута, — сказала жена, обращаясь ко мне.

— Как же, liebe Mutter, вы не говорите главного. У нее есть сын. Она успела скрыть это от родных.

— Она мне не говорила, жив ли малютка, поэтому я думала, что его нет в живых. Где ж он? Видится ли она с ним?

— Вот как рассказывают свои дела люди, не знакомые с научными понятиями, — сказал, усмехнувшись, Алферий Алексеевич; — она надоедала вам слезами о вздоре, а сама не понимала, в чем важная сторона дела, даже не упомянула о ней. Малютка жив. Она должна терпеть разлуку с ним; почти никогда не видеть своего сына; трепетать за каждое свое свидание с ним, потому что на каждом шагу может попасться под глаза дуракам и дурам. Как вы находите, liebe Mutter, дурно ли было бы сопоставить этот факт с тем, который ныне после обеда определен для меня научным образом?

— Постой, что ты хочешь сказать, Алферинька? Так ли я поняла тебя?

— Вероятно, не ошибаетесь, liebe Mutter. — Жена задумалась на несколько минут.

— Что ж, Алферинька, ничего, можно. Женись. Это хорошо. — По этому случаю жена расчувствовалась даже:

— Ты добрый юноша, Алферинька, — и начала целоваться с ним.

— Вредно тебе, Алферинька, плакать и горячиться, — сказал я.

— Да, я лучше уйду, — сказала жена.

— Из этого возникают хлопоты для нас, дядя, вы видите. Мы живем в мире фикций. Мы повенчаемся — этого мало; нужна еще фикция: людям недостаточна истина, когда они не знакомы с научными понятиями. Устройте, дядя, фикцию в дополнение в истине.

— Что такое?

— Надобно, чтобы малютка был моим законным сыном. Без этого неудовлетворительно: все станут коситься.

— Это можно. Никто не будет претендовать, жалоб нельзя опасаться, потому не затруднятся сделать фикцию даже без больших расходов с нашей стороны. Здесь у меня нет таких людей, — здесь я все вожусь с сильными мира. Они тут ничего не могут сделать. Из провинции доставят фикцию. Будь спокоен.

Действительно, через две недели мне прислали копию с документа, свидетельствующего, что Алферинька и Эмилия Осиповна, слишком за полгода до своей поездки в монастырь, уезжали на несколько времени гостить к какой-то родственнице, куда-то вроде Ревеля. Старики, по получении документа, были восхищены таким почетным замужеством дочери. То, что долго скрывали его, объяснялось тем, что Алферинька все боялся сказать нам с женою. Но мы простили его по просьбе стариков. Старики приобрели неоспоримое право проводить с нами по несколько вечеров в год, то у них, то у нас.

Действительная свадьба была гораздо раньше провозглашения небывалой. На другое утро после нашего разговора моя жена, по сообщению отправившись за Эмилиєю Осиповной, привезла ее, провела в свою комнату, чтобы не было сцены при Алфериньке, объявила ей без рассуждений, что дело простое и отказываться нечего. Эмилия Осиповна, разумеется, долго не могла опомниться от радости, а тут ее горячие слезы не были смешны: ей давались права матери. Долго не могла она успокоиться. И когда, будто уж успокоившись, вошла в комнату Алфериньки, все-таки вдруг бросилась и поцеловала руку у него. Они и целовались, как следует жениху и невесте.

На третий день Алферинька отправился с нею в церковь, через силу, пешком: он уже не мог ездить. Они повенчались без всякой фикции, обыкновенным порядком. Об этой действительной свадьбе, конечно, никто не знал, кроме нас. И что ж? Она была весела. Не только Эмилия Осиповна, о которой нечего говорить: и Алферинька, и мы были веселы от души. Да, что ж — делалось хорошее дело, по какому бы грустному факту ни возникла мысль о нем, возможность его, но само по себе оно было отраднo.

Когда пришло свидетельство, когда оно было показано Эмилиєю Осиповною старикам, стариком ее отцом — мне, когда старик упросил мою жену, — впрочем, не очень долго спо-

рившую с ним, — простить Алфериньку, Эмилия Осиповна переселилась к нам, и действительно, Алферинька и моя жена не ошиблись в смысле ее слов: «мне хотелось бы почаще бывать у него». Никто из нас, хоть мы и были родные, хоть мы и любили Алфериньку, не мог бы ухаживать за ним так заботливо, как она...

Я знаю, что теперь уже недовольны насмешливым началом биографии: «К чему, — говорят, — было это глумление над юношею нежным, чистым, благородным? И кто же глумился? Дядя».

Нет, глумился не я.

Начало биографии Алферия Алексеевича писано не мною, его дядею и воспитателем, — оно писано им самим. Такова была его неперемнная воля, чтобы мною помещены были в начале моего рассказа о нем насмешливые страницы, которыми он производил себя от Кифы Мокиевича и от Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановною, преувеличивал до смешного свои юношеские мечты о введении математической точности в нравственно-общественные науки, о том, что когда-нибудь он, быть может, и сделает что-нибудь важное для развития науки, для пользы людей. Такова была его воля. Он за несколько дней перед своею кончиною написал эти насмешливые страницы, — написал, кроме того, несколько коротеньких отрывков подобного тона, которые должен был я вставить в соответствующие места его биографии, следующей за насмешливым началом, как бы прямое его продолжение. Тяжела ли была для меня эта воля — нечего говорить. Но я обещался исполнить ее, и исполнил. И быть может, он не был неправ, требуя этого.

— Мне хотелось бы, — говорил он, — чтобы меня любили: пусть же начнут тем, чтобы посмеяться, это располагает к снисходительности, это подготавливает к доброму мнению о человеке, который видел сам свои смешные и слабые стороны, сам приглашает смеяться над ними. — Быть может, он был прав. — А во всяком случае, пусть знают меня таким, каков я был: человеком, который не любил смеяться над другими, потому что любил смеяться над собою, — человеком, который любил шутку и обращал ее на самого себя, чтобы не обижать других и, однакоже, не быть угрюмым Эпаминондом, не знавшим улыбки.

Алферий Алексеевич был сын мужа моей сестры, его мать скончалась через несколько часов по его рождению; его отец умер месяцем раньше своей жены. Они очень нежно любили друг друга, и ее кончину надобно приписывать больше всего действию, произведенному на нее смертью ее мужа. Все другие факты его биографии не изменены насмешкою, которою начинается она, как ироническим вступлением. Он был любим моею женою почти как родной сын. Конечно, тетка и дядя, имеющие

своих детей, — не отец и мать... Но мы очень любили его: он любил меня, мою жену еще нежнее. С детьми нашими он был уже действительно как родной брат.

Мне остается объяснить главное в его жизни: чистоту его сердца; для этого надобно рассказать, как возникла привычка Алферия Алексеевича носить белый пенюар и его дружба с теми двумя нашими друзьями, которые присутствовали при его кончине. Эти лица, как я сказал в том месте, — муж и жена. Его отношение к ним было отношением юноши к людям, в которых он видел счастливых и добрых супругов; их взаимная любовь показывала ему, какова истинная любовь, и, видя их пример перед глазами, он чувствовал себя нерасположенным к легкомысленному увлечению. Вот, в простых словах, смысл отношения, по которому он носил в своем кабинете белый пенюар. Тут нет ничего романического, но тут очень много чрезвычайно идеального. Он благоговел перед женщиною, теперь очень близкою к нашему семейству, которая возвышенностью своего характера приобрела одинаковое уважение и от нас, — меня с моею старухою, — и от наших молодых дочерей, и от наших сыновей.

Эта дама, страстно любящая своего мужа, не внушала моему племяннику ничего похожего на любовь, хотя бы платоническую. Чувство Алферия Алексеевича к ней было совершенно иное, — чувство гораздо чаще встречающееся в юношах чистой души, чем обыкновенно думают. Я назвал это чувство: благоговение. Оно многим известно по опыту. Но оно редко изображалось, и потому нет подготовленности узнавать его, когда о нем рассказывается в печати: одни могли бы смешать его с платонической любовью, — чувством искусственным или болезненным, очень часто обманчивым; другие — с дружбою. Нет, это совершенно не то. Это чувство, подобное тому, какое поэт старины имел к существу, в котором олицетворялась для него поэзия, — существу, бывшему для него живою женщиною, которая действительно являлась ему, брала его за руку, водила его по улицам города, по полям, разговаривала с ним, играла на лире, звуки которой он действительно слышал в патриархальную старину древней Греции или на клавесине в средние века. Тогда могли чувствовать себя людьми в полном смысле слова лишь в минуты экзальтации. Реальная жизнь была слишком груба, действительные люди слишком непоэтичны в своем реальном виде, потому видели истинно-человеческих людей только в мечтах, в предчувствиях. В наш век не нужно быть поэтом, чтобы иметь Музу или Цецилию; ни впадать в галлюцинацию, чтобы видеть ее; очень многие из нас — почти все, — бывшие чистыми юношами, имели такое благоговейное и возвышающее чувство к женщине совершенно такой же, как все хорошие женщины: иногда к своей старшей родственнице, чаще — к посторонней. Это

чувство нимало не исключительное, очень нередкое в наше время. Но оно еще редко описывалось, и потому в печати оно понимается не так легко, как в жизни, сказал я. Чтобы вы поняли в печати характер этого чувства, надобно вам, прежде всего, прочесть маленькие «Объективные очерки» Алферия Алексеевича. Один из них — «Бал» — напрасно назван объективным: эта вымышленная сцена изображает задушевнейшее чувство Алферия Алексеевича. Действительно, с таким чувством смотрел он на женщин, которых видел способными питать страстную любовь; действительно, он был совершенно далек от мысли думать о себе, когда думал об их потребности любить; его сердце было еще слишком молодо для любви; он желал этого счастья только для других.

Но я чувствую, как непонятны должны казаться эти нежные чувства для людей, или слишком быстро переживших свежесть своего сердца, или не умевших делать тонких наблюдений над воспоминаниями из своей первой юности, или не имевших счастья развиться так полно, как развивался Алферий Алексеевич. Он умер, не зная «первой любви», но его очерк «Бал» показывает, что он был близок к пробуждению этого чувства в нем. Остальные пять рассказов в «Объективных очерках» — действительно чисто-объективные очерки; три из них — «Приятные воспоминания», «Поездка с вечера», «Старичок» — очень близко записаны с рассказов, слышанных Алферием Алексеевичем от других. «Поездка с вечера» — действительно факт, действительно рассказывавшийся той дамою, которая оказала рискованную услугу девушке, приезжавшей к ней; эта дама, одна из благороднейших женщин, каких я знал, никому не называла имени лица, с которым имела столкновение, ужаснувшее даже ее. «Старичок» — факт, рассказывавшийся г. Б. М., который увидит, с какою точностью записан этот анекдот из его служебных встреч.

II

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЧЕРКИ А. А. СЫРНЕВА

1. ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Р а с с к а з В. М. Ч.

- Вы, батюшка, далеко ли едете, — до Москвы, что ли?
 - Нет, матушка, только до Ушаков.
 - А зачем вам в Ушаки, батюшка?
 - Там побывать у одного человека по делам, матушка.
- А вы, если позволите спросить, куда изволите ехать?
- Я, батюшка, домой еду, на свой завод, где мой старик мастером служит. В Питер ездила к зятюку, с дочкой погостить.

А что за прелесть, я вам скажу, как они живут: истинно порадовалась. Он хорошее жалованье берет, сколько-то в месяц, — много что-то, уж не умею вам сказать в точности, извините. Богатый магазин у хозяина-то. Даже есть золоченые стулья, сударь. Нынче в моду пошло золоченое. И точно, какое же сравнение? — золото, одно слово. Зато и цена, — тоже не умею вам сказать в точности, только дорого что-то. Вы не знаете ли?

— Нет, матушка, тоже не знаю: не случалось покупать. Полагаю, впрочем, что точно, цена большая.

— Но больше — орех. Тоже из простого дуба много; даже лаку нет, не наводят. И это, я вам скажу, удивление: простой дуб дороже ореху стоит. Отчего это, батюшка, не знаете ли?

— Полагаю, от того, матушка, что под орехом сосна или ель, только накладка хорошая, в листок бумаги, а дуб — цельный.

— Это точно, батюшка, и дочка с зятьком так говорили. Как хорошо живут! Да, как не получать хорошее жалованье подмастерью у такого хозяина. А вы, значит, не по столярной части?

— Нет, матушка.

— По какой же? В услужении находитесь?

— Нет, матушка, я так занимаюсь, своим делом: торговым делом занимался, теперь пишу по чужим делам.

— Это тоже хорошо, батюшка, у кого хорошая рука: по 15 копеек, даже до 20 серебром за один лист в Петербурге берут, — я видела одного, у зятка. У вас тоже хорошая рука?

— Посредственная, матушка, потому и живем посредственно.

— И семейство есть у вас, батюшка?

— Есть, матушка. У нас с женою все сыновья.

— Это хорошо, батюшка, что сыновья. Какое сравнение против девочек! И у моих тоже сыночек. Тоже, как бы и про вас сказать, если не в обиду будет, молодые люди.

— Помилуйте, матушка, какая же тут обида.

— Конечно, батюшка, молодость тоже от бога дается, на утешение человеку. И если молодые люди хорошо себя ведут, в этом им нет порока. И мои тоже, вот так. «Уж как я вам, — говорит зятек, — благодарен, матушка, за вашу дочку, сказать нельзя». Потому и за мною ухаживал, как родной сын. Все удовольствия доставлял. Уж как приятно у вас в Питере пожить: столько всяких удовольствий, что и рассказать нельзя. По улицам ходили, батюшка. Это самое главное удовольствие. Отличные у вас улицы, батюшка. Заметил зятек, что я люблю орехи щелкать, — да я, признаться, и сама ему намекнула стороною, — покупал: каждый вечер орехи, каждый вечер орехи. А самое главное, чего я в жизнь мою не могу забыть, как на острова поехали: уж так я рада, что они меня свозили, потому что где бы мне такого удовольствия видеть. У зятка есть знакомый один,

а у этого знакомого тоже знакомый — приказчик на перевозе. Потому лодку доверил им. Ялик, сударь, называется. Как расписана, ну, просто, прелесть: игрушечка, как есть. А у вас в Питере всех на таких возят, — экая приятность-то у вас в Питере. Вот мой зятек с знакомым своим сложились по четвертаку и взяли этот ялик на весь вечер. Они в веслах-то оба умеют сидеть. Нас трое: я, зятек да дочка, и внучек-то с нами. Их двое: знакомый-то наш с женою. Поехали. Так это приятно. Только погода пасмурная была, это немножко портило. Внучек-то было и расплачься, на лодке-то; знаете, мал еще, шестой годочек, а дождичек-то накрапывает, будто больше, так вам сказать, моросит, ну, и на воде-то холодновато.

— Да это как давно было, матушка?

— А как вам это сказать? Нынче что у нас, пятница?

— Четверг, матушка.

— А это две недели назад, в среду, значит, вчерашний день ровно две недели было.

— Значит, еще начало мая было, матушка. Точно, в это время у нас в Петербурге холодновато на воде вечером. А если, как вы говорите, дождичек был, то и вовсе холодновато.

— Холодновато, батюшка. Только дочка-то у меня умница: точно она знала, что такой случай будет, шаль взяла шерстяную для Феденьки-то и капотик. Вот и пригодилось.

— Это точно, матушка, видно, что ваша дочка умная женщина.

— И умница, и веселая, и добрая. И к мужу, и к ребенку — к внучку-то, Феденьке-то, — радельная. Вот как, знаете, она его одела в капотик-то и шалью-то завернула, ребенок-то и успокоился: ему тепло. Он и уснул. И дождичек-то на него не моросит, потому что дочка села над ним с той стороны, откуда направление дождичку-то, ну, и прикрыла его от дождичка-то. Так хорошо уснул наш Феденька, прелесть. Вот мы так все и плыли. Ну, и дождичек-то перестал. Какая это приятность была. Так все и ехали. Уж совсем смерклось. А куда можно было видеть, смотрели. Берега, батюшка, острова. В иных местах пусто; в иных дачи стоят по берегу, — прекрасные такие, точно игрушечки. Любовались ими. Только как смерклось-то, вдруг, батюшка, опять дождик, да сильный, и это, батюшка, значит, не то что пора было темноте быть, а стемнело, как бы вам сказать, не ошибиться, часу в седьмом. Зятек-то на часы посмотрел: «Как это, — говорит, — так темно стало, рано бы еще, — по времени, то есть, рано, — еще семи нет» говорит. А до того места, куда мы ехали чай-то пить, еще то ли верста, то ли три версты, не умею вам сказать в точности. Видим, не доедем, — как быть? А бог-то и послал защиту свою: видим — мостик; мы как подъехали под мостик-то, и стали, чтобы укрыться от дождя. И только знакомый-то говорит:

«А смотри, — говорит, — чуть ли подле этого мостика будки нет». — «Точно, — говорит зятек-то, — точно, что есть будка». — «Чего же, — говорит, — зевать-то?» И поплыли мы к будке. Будочник сначала говорит: «Зачем я вас пушду?» Мы говорим: «Что же, служивый, и тебе выгода будет, ведь мы не задаром же к тебе напрашиваемся». Гривенник ему дали. С благодарностью пустил. Сам Феденьку на руках понес в будку-то, — мать-то, знаете, устала, все к нему нагибалась. Вот мы так и напились чайку в будке. Так тепло, хорошо. Стали собираться назад. И наш служивый — будочник-то — такой добрый. Конечно, как человек небогатый, ему гривенник-то составляет счет. Мы его спрашивали, какое ваше жалованье, и все. Он говорит: «Жалованье наше небольшое и содержание умеренное, а дохода зимою на нашем месте нет никакого, а летом есть доход, хоть небольшой». — «Какой же?» спрашиваем. «А вот, — говорит, — главный наш доход, что у меня теперь спички всегда есть. Идет барин или тоже простой человек, хочет закурить папироску, или сигарку, а сам видит — забыл взять спички. Вот он видит будку, и подойдет: «Служивый, — говорит, — одолжи-ко вот закурить». И дашь ему. Он копейку, две даст. Иной барин и пятак даст. Небольшой, — говорит, — доход, а все в лето-то, — говорит, — может быть целковых до полутора набезит». Значит, батюшка, как его с будкою-то на наше счастье бог послал, так и нас на его счастье бог послал. И мы-то отогрелись и чайку в тепле напились, и ему хорошо: гривенник в кармане. И тоже чайком и его угостили. Назад-то стали собираться, мужчины выпили по стаканчику — полштофчик был взят — и мне дали: «Нельзя, — говорит зятек, — для тепла надобно, матушка». Мое дело старушье, пью, батюшка, когда случится; рюмку, даже две могу. Ну, батюшка, и выпила с полстаканчика или, так сказать, поменьше несколько, с третью долю будет. Так и поехали. И приехали. Лодку отдали на пристани, — на перевозе, где брали. Воротились. И такая, батюшка, была приятная та поездка; я три недели у зятка с дочкой гостила, это самое приятное было. Так хорошо это было, на острова-то ездили. Ну, и все время очень приятно провела, все в удовольствиях. Да что, одно слово: Питер. Сами в нем живете, так, значит, знаете.

— Это точно, ваша правда, что в Петербурге много удовольствий. Так вы теперь домой изволите ехать, на завод?

— Да, батюшка, к старику своему, на завод. И на заводе у нас хорошо. Конечно, таких удовольствий нельзя требовать, чтобы на заводе были, как у вас в Питере, — а тоже хорошо и у нас.

Старушка стала рассказывать, как хорошо у них на заводе.

Ее рассказом о петербургских ее удовольствиях напомнился мне другой случай.

Тетрадь вторая

2. БАЛ

Рассказ В. М. Ч.

Зиму 1847—1848 года я, студент 2-го курса, прожил на большой квартире, разобранной по-комнатно компанией студентов и чиновников, из которых двое были мне знакомы: один — студент, другой — чиновник. Они-то и поместили меня в одну из комнат, для дополнения комплекта. Однажды, около святок, оба эти мои знакомые сказали мне, что им приятно было бы, если б и я пошел с ними посидеть вечер в семействе чиновников, у которых нанимал комнату в прошлую зиму мой знакомый чиновник, нынешний мой сожитель. Люди простые, и будут довольны: значит, прежний жилец расположен к их семейству, когда знакомит с ними своих знакомых. У них нынешний день какой-то семейный праздник, самый большой, и они всегда устраивают в этот день маленький бал, какой приходится по их небогатым средствам, — даже и не бал, — какой бал, помилуйте! — маленький вечер. Студент — знакомый уже был на этом вечере в прошлом году, и было, точно, очень весело. Потому: «идите с нами, идите с нами», и кончено. Я не предвидел себе возможности веселья ни на каком ни бале, хоть бы маленьком, ни вечере, хоть бы малейшем, потому что я не умел танцевать, не умел держать себя в обществе, хоть бы и самом немудрящем. Что я там буду делать? — Скучать, сидя молча в углу. Однакож пошел.

Мое предвиденье совершенно исполнилось. Мать семейства, которой представил меня знакомый чиновник, ее бывший жилец, встретила меня ласково. После того, через несколько минут, я увидел приют спасения себе от стояния одиноким у какого-то косяка, от которого было уж и отчаялся отойти когда-нибудь: в другом углу комнаты сидел мой знакомый чиновник с хозяйкою и еще какую-то пожилую дамою. Собрав геройство своего духа, я счастливо переправился через комнату, подсел к ним и просидел до конца вечера. От хозяйки и другой дамы я слышал вещи хоть и вовсе не занимательные, — житейскую мелочь из их быта, рассказываемую моему знакомому чиновнику, — но все же новые для меня; кое-как, хоть с большою скукою, еще можно было слушать то, что говорили эти дамы. Но они, на мою беду, говорили мало, гораздо больше говорил мой знакомый, рассказывая им те же мелочи из своей службы и жизни, но мелочи, которые, конечно, все уж три-четыре раза были слышаны мною при нашем сожительстве с ним. Мне было очень, очень скучно. Но я сидел, рад тому, что уселся. Подали чай. Через много часов подали по рюмке хереса или мадеры на под-

носе, — это был тост, взамен шампанского, потом гости закусили ветчины, сыру и пошли по домам часа в два, в три со скромного вечера небогатых, очень небогатых людей.

Значит, не всем было так скучно, как мне, если разошлись так поздно.

Конечно, нет. Танцевали больше кадрили, было до восьми пар: три или четыре дочери хозяйки, все молодые женщины, тоже чиновницы, как и мать, — тоже пришедшие пешочком, как и мы, но домой уже поехавшие на извозчиках, потому что устали танцовавши; еще три-четыре молодые женщины или девицы, прибывшие и отбывшие с мужьями или братьями таким же порядком, как зятя и дочери хозяйки: на вечер шли, с вечера поехали, потому что устали танцовавши. Итак, больше танцевали все кадрили, потому что мало кто из дам умел хоть как-нибудь танцевать что-нибудь, кроме кадрили. Да и кавалеры тоже. Были два-три шелковые платья, остальные были кисейные и даже ситцевые. Горело четыре стеариновые свечи. Один из зятьев играл на скрипке, вероятно, очень плохонькой, — я этого не умею различать, — вероятно, и играл-то плоховато, я и этого тоже не умею различать; но ни скрипка, ни игра на ней не могли быть иные, как очень плохие, судя по виду играющего. Кавалеры были мужья и братья, следовательно, во время танцев не могло, вообще говоря, происходить никаких особенно увлекательных разговоров. Из всех кавалеров один только и был посторонний человек — мой знакомый, студент, но и он был человек очень скромный, солидный, ни остроумен, ни любезен; впрочем, говорил комплименты, какие требуются приличием от постороннего кавалера; умея танцевать польку-мазурку и вальс — галопировать не умел; но галопировать, должно быть, и никто не умел, потому все-таки был самым занимательным из кавалеров. Когда танцевали кадрили, одной паре приходилось занимать место подле моего стула, — я полагаю, что поочередно перебивали тут все дамы и кавалеры. Их руки были под носом у меня, их лица — в полутора аршинах от моих глаз; вежливость требовала сидеть не спиною же к ним, и я видел их лица — больше изнуренные, особенно у кавалеров: много переписки, черновых, беловых, отпусков, копий, протоколов, предписаний, рапортов, отношений — всего, всего много, очень много; да и у дам: шитье, шитье, шитье, всякое — и свое, и чужое, и простое, и с вышиваньем, и дела по хозяйству. Утомительно. Но все-таки некоторые лица были свежие, здоровые, особенно у дам. Неизвестно, отважился ли бы я смотреть на плечи дам, если бы плечи были в обыкновенном бальном виде, но у дам не было для балов особых платьев с открытыми лифами: зато, если нельзя было бы мне засматриваться на их плечи, когда я нашел в себе такую отвагу, то мог я сколько угодно рассматривать их руки, не ту часть рук, которая бывает открыта на обыкновен-

ных балах, — от кисти до плеча, — нет, рукава были длинные, но та часть руки, на которой бывают перчатки, — та часть была открыта почти у всех дам. Я, может быть, и любовался бы на их руки, если бы они были менее красноваты и грубы. Руки кавалеров также много выиграли бы, если бы были менее желты, сухи, менее похожи на восковые. Впрочем, на некоторых руках были и перчатки, пары три перчаток в восьми парах танцующих. Одна из этих трех пар перчаток принадлежала моему сожителю-студенту; другая — даме, которая была царицею бала, — младшей хозяйке дома, жене сына хозяйки. Она была царица бала уж и потому, что умела вальсировать, умела танцевать польку-мазурку.

Так шел вечер, и танцовали очень много, кадрили двенадцать, если не больше, и говорили во время танцев, как следует; со всеми кавалерами все дамы говорили о всем том, о чем говорили мои не танцующие, разговаривавшие — старшая хозяйка, ее пожилая приятельница и чиновник, мой сожитель — о службе, о хозяйстве, о здоровье, но больше о службе и хозяйстве, о здоровье меньше, потому что танцующие были люди еще молодые, им еще нечего было много спрашивать или сообщать о состоянии здоровья, вообще, оно было хорошо. А с моим сожителем-студентом дамы говорили и о вещах более воздушных, поэтических; одной даме он даже прочел стихотворение Пушкина, которое тогда очень нравилось ему:

Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы³⁴, —

только потому, что все стихотворение состоит из этих четырех строк. Но он, само собою, прочел его не для применения к даме, которой читал, — это уж было бы слишком, нет, он спросил ее, какой поэт лучше всех нравится ей; она сказала: «Крылов», и прочла несколько стихов из басни «Мартышка и очки», пожалела, что не помнит всей басни; он сказал, что тоже очень любит Крылова, но еще больше любит Пушкина. «Ах, прочтите что-нибудь из Пушкина, я слышала, что это очень хороший поэт». Он прочел с десятков стихов, начинающихся так:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн³⁵.

То есть Петр Великий стоял и размышлял, что хорошо будет выстроить на реке Неве город Петербург. Даме понравились эти стихи, и она попросила прочесть из Пушкина еще что-нибудь, вот мой приятель и прочел «Фонтан любви, фонтан живой»; и эти стихи понравились даме, она просила прочесть еще что-нибудь из Пушкина, но мой приятель больше уже не помнил

из Пушкина и, извинившись, что ничего не помнит, а то прочел бы с удовольствием, сказал, что он тоже очень любит Лермонтова, и прочел:

Велик, богат аул Джемат;
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат,
Его мечеть — на поле брани³⁶.

Остановившись на «поле брани», он стал рассказывать даме о том, как он учится говорить по-французски, — он тогда учился говорить по-французски. Он был интереснейшим из всех кавалеров, львом того вечера. Другие кавалеры не заносились в такие необычайности, как «аул Джемат» и «поэтические слезы».

Такие были разговоры кавалеров с дамами, и такие были руки у дам. И рукава, и лифы платьев шли к разговорам их кавалеров и к их собственным рукам, и к четырем стеариновым свечам, и к обоям зала, и к мебелировке зала, и к рюмке хереса, вместо шампанского, для тоста. И шли ко всему этому и черты лиц всех дам, кроме одной, черты некрасивые, которые, может быть, и показались бы хоть не совсем дурны при другом освещении, при другом порядке, да при долгой другой заботе о своей наружности, но и тогда показались бы не больше, как не совсем дурны: все были лица того русского губастого, широконогого вида, который дается лицу от пищи, похожей на коровью и овечью: тоже вроде сена, азотистых соединений мало, потому количество массы объемистое и жевать надобно много, черты лица и развиваются в широкий размер. Некрасив вид этого русского вида, особенно когда он развивается под петербургским климатом, да еще соединяется с чухонским оттенком, впрочем, тоже чисто русским по виду: некрасивы были лица дам; не безобразны — нет, нет, потому что не обезображены ни пороком, ни оспою, ни каким-нибудь кривоносием или бородавкою с грецкий орех, но некрасивы и без выражения, — не идиотские, нет, нет, не глупые, но без выражения, вялые, тусклые. Все лица были такие, совершенно подходящие к обстановке бала и к наряду дам и разговору.

Все, кроме одного, кроме лица царицы бала — младшей хозяйки. Эта молодая женщина была хороша собою. Была ли она красавица, я не умею сказать: перед тем временем, и после того времени, очень долго я не видел женщин, кроме старушки, хозяйки нашей квартиры, да двух служанок, — из них одна была тоже пожилая женщина, другая — молодая, носила черную сукфейку, потому что остриглась нагладко, чтобы лечить голову от каких-то лишаев, — стало быть, где же у меня была возможность судить о степени красоты этой царицы бала. Очень может быть, что она была только недурна собою, но мне она показалась красавицею, и, вероятно, была. Но это все равно, красавица или просто хорошенькая по чертам лица, — она имела такое энер-

гичное выражение в лице, столько жизни в черных глазах, так гордо держала головку, и черная коса ее была так густа, и ручка в палевой перчатке такая маленькая, ножка, не знаю, я не взглянул — ведь я же не заглядывался на хорошенькую царицу бала, я только видел лицо, стан, руки, которых не мог же не видеть, когда она два раза занимала в кадрили место перед моим носом, да и лицо ее видел я не так хорошо и близко, как лица других дам, поочередно садившихся на это место. Когда подошла и села она, то мне показалось — чего не казалось при сиденье тут других дам — неловко, неделикатно сидеть к ней и к ее кавалеру так близко, что каждое слово их слышно мне; как будто показалось мне, что между нею и ее кавалером могут быть слова, которые не годится слышать всякому постороннему, и я отодвинул свой стул подальше, потеснил своего сожителя-чиновника; когда кадрили кончилась, опять дал простор сожителю, подвинулся на прежнее место, и опять стеснил сожителя, когда через две-три кадрили с несомненными разговорами опять села на это место младшая хозяйка.

Но напрасно стеснял. Когда мы шли домой, мои сожители толковали о вечере.

— Ты, чай, много любезничал, — сказал чиновник студенту.

— Да, много, было очень весело, и я был в духе, — сказал лев вечера.

— И с хозяйскою снохой?

— Отчасти и с ней, но с ней меньше, с другими больше.

— А что ж с нею? Ведь как хороша.

— Хороша. Только она гордая, с нею не чувствуешь себя так свободно, как с другими. Оттого с другими мысль живее, и слова эффектнее.

Итак, царица бала, вероятно, даже не узнала от моего сожителя-студента, что он учится говорить по-французски, и, наверное, не услышала от него, как велик аул Джемат и какими намерениями руководился Петр Великий, основывая Петербург.

Не услышала? Что же, если не услышала этого от него, могла она услышать от других кавалеров? А я было думал, что хоть от него она услышит, что она хороша собою, что в нее можно влюбиться, что-нибудь хоть такое. Как же? Ведь вторую из двух кадрили, которые сидела она подле меня, она танцевала с моим сожителем (львом бала), и хоть я сидел отодвинувшись, но все же слышал, что она сказала ему, что ей очень весел этот вечер, что она весь год помнила прошлогодний вечер в этот день и что: «Как жаль, что до этого вечера в следующем году остается с нынешнего дня еще целый год», и глазки ее горели и щечки горели, и она дышала неровно; и я подумал, что эти слова сколько-нибудь относятся к тому, кому говорятся, и еще пожалел было, что ей, бедненькой, не привелось хоть так немножечко, как этого моего сожителя, полюбить кого-нибудь

хоть немножечко покрасивее лицом, поизящнее его манерами и разговорами, умеющего танцевать получше, носящего перчатки почище, — и видеться с человеком, вид которого ей несколько мил, хоть несколько почаще, чем раз в год...

А не было даже и этого маленького счастья, такого скудного и плохонького, которое мне казалось жалким, — что ж это за холодная, темная пустыня, по которой жизнь ведет эту пылкую, хорошенькую женщину, эту миленькую женщину, которой так шло бы хоть немножко видеть счастья!

Вы не подумайте, впрочем, что в этих моих тогдашних размышлениях участвовала хоть сколько-нибудь моя собственная личность; я был тогда не личность, а орган абстрактного мышления мирового духа (*Weltgeist*). Я не имел личных чувств; я только мыслил о том, какие чувства удобны для других людей, — сам я был выше мира и страстей.

3. ПОЕЗДКА С ВЕЧЕРА

Рассказ акушерки

Расскажу вам еще один случай. Ко мне приезжает молодая дама или девица, — почему я знаю? Конечно, скорее дама, просит меня быть ее акушеркою. Я сказала ей, что она напрасно выезжала, что я ей советую уже не ездить.

— Да, — сказала она, — я знаю, что время близко. Но что ж делать? Я должна буду приехать к вам, когда оно будет уже совершенно близко. Мое семейство не должно знать об этом. Я попрошу вас иметь для меня готовую комнату.

— Хорошо, — сказала я.

Итак, это девица.

— Из ваших слов я вижу, — сказала я, — что вам не с кем советоваться, кроме меня. Время уже очень близко, ближе, чем вы, может быть, думаете. Может быть, завтра, послезавтра, может быть, через несколько часов.

— Я это знаю. Я читала курс акушерства и еще не приехала бы к вам, если бы мне не казалось, что уже очень близко.

— Вы читали курс акушерства и так шнуруетесь?

— Что ж делать, я знаю, что это вредно. Но я не могу не шнуроваться туго. О, какое мучение от этого шнурования. Зато даже моя горничная не знает. Я сплю, не расшнуровываясь, чтобы ей поутру не зашнуровывать меня.

— Когда же вы переселитесь ко мне?

— Я не переселюсь к вам. Я не могу этого сделать. А только приеду к вам. Когда, я не знаю. И потом уеду.

— Вы понимаете, что вы говорите?

— Понимаю.

— Едва ли понимаете, — сказала я.

— Будто я не видела, какие тут нужны предосторожности после этого. Ведь у меня ж есть замужние родственницы и знакомые дамы. Я видела, что делается в первые дни после этого, знаю, когда и лежат, то эти дни очень опасны. Но я не могу.

— Я не могу согласиться на такие условия, — сказала я.

— Я не бедна, — сказала она.

— Я вижу по платью, что вы не бедны. И вы по моей квартире видите, что я не бедна. Я живу своим ремеслом; вы, вероятно, помещьем, — это почетнее; но мое ремесло честное. Я не убийца (я обиделась: будто такие вещи мы, акушерки, делаем из-за денег. Мы получаем за них деньги, это правда; но мы делаем их не из-за денег. Поверьте).

— Вы боитесь ответственности, — сказала она.

— Ответственности я не боюсь. Кто может доказать, что это вы были у меня? Вы, если не умрете, так уж наверное будете молчать. Но я сама не хочу быть вашей убийцей.

— Я не знаю, к кому же мне обратиться? Скажите.

— На таких условиях я не могу рекомендовать вас никому и вам никого из акушерок. Если вы согласны переехать дня на четыре, я дам вам десять рекомендаций.

— Боже мой, что ж со мной будет? Я уж от вас третьей слышу это. — И замолчала. Сидит, молчит.

Когда мы замолчали обе, — ну, да что вам говорить? Мне стало жалко. Я подняла вуаль, поцеловала ее, говорю:

— Ну, приезжайте ко мне — (она не подымала вуали, покраснела. Недурна собою. Лет двадцати). — Полноте, не стыдитесь. А что я открыла вуаль без вашего позволения, так это ничего; приходится быть короткими знакомыми (знаете, обратила в шутку). — Обрадовалась моя гостья. Проводила я ее до завтра, послезавтра.

На третий день собиралась я пить чай с детьми вечером, был осьмой час, — звонок; думаю, уж не она ли? Она. Служанка провела ее в мою спальню, — чем же, вы думаете, она встретила меня, когда я входила?

— Не знаю, радоваться ли мне, или нет, — нет, радуюсь: когда ехала к вам, сани у извозчика опрокинулись, я упала. Ведь от этого будет скорее?

— Конечно, только это страшная беда.

— Да, и какая ужасная боль. Но для меня тем лучше! Только скорее, только скорее, вот что для меня важно. Но я не за себя не знаю, радоваться ли, — жив ли малютка? Не повредило ли ему?

— Жив. Ничего.

— Как же это хорошо было, что извозчик вывалил.

— Нашла, чему радоваться.

Удивительная сила воли была в этой девушке. После того как малютка родился, а ее страдания были большие, все было

хорошо, но боли очень сильны, особенно после этого падения из саней, ведь это страшно подумать, — да, так я говорю: после того как малютка родился, она лежала только час и говорит:

— Помогите встать, я иду.

Я кое-как уговорила ее полежать еще с полчаса, — таки встала и ушла. Какое было на ней лицо, когда она шла, если б вы видели.

— Ничего, — говорит, — дорогою оправлюсь.

Оправиться дорогою! Когда каждое самое легкое движение саней должно производить такую боль!

— Что вы так спешите?

— Вот что: мы живем двое, я и брат. У брата ныне был обед. Теперь сидят, играют в карты. Будут закусывать. За закускою я опять должна быть и буду. Я уходила от их карт в свою комнату, сидела и читала. Надобно же мне отдохнуть дома от обратной поездки. Ах, эта поездка, должно быть будет ужасна.

— Да.

— Что делать! Выдержу как-нибудь. Нарумянюсь. Пожалуйста, заботьтесь о ней... (родилась дочь).

— Буду, не беспокойтесь. Ребенок здоров, ничего.

— Пожалуйста, заботьтесь о ней. Я заеду, как оправлюсь. — Я усадила ее в карету, я посылала взять, в карете все-таки легче.

Что ж вы думаете? Ведь она действительно выходила к закуске. И хозяйничала, разговаривала с гостями. Никто не заметил, что она страдает.

— И осталась здорова?

— Здорова. Ужасно, что она должна была перенести. И все перенесла.

4. СТАРИЧОК ³⁷

Рассказ г. М***

...Тогда одною из моих обязанностей было осматривать проходящие партии ссыльных. Осматриваю я одну партию — всякие лица: и добрые, и злые, и честные, и мошеннические, как обыкновенно. Против одного имени в списке выставлено: отцеубийца. Ну, это, знаете, не в каждой партии бывает. Вызываю, — молодой мужик, высокого роста, стройный, доброе, благородное лицо.

— Как это ты, батюшка? Не с твоим бы лицом это делать.

— Точно, что не с моим бы; а так довелось.

— Как же довелось?

— Мне в этом нет стыда рассказывать. Горе только. Извольте, расскажу.

Наше село в 200 верстах от Москвы. Отец мой был мужик богатый. Матери не было. Я у него один. Первый жених в селе. Хорошая мать и потому на меня льстилась для дочери, что све крови нет. Да, а при свекрови-то авось этого бы не было. Ну, да кто мог бы знать? Для всех был завидный жених.

Стал отец выбирать мне невесту. У нас это вышло из обыкновения, чтобы женить, не спрашивавши. Наше село грамотное (и точно, мужик говорил хорошим языком, будто москвич). «Выбрал из богатых», говорит мне. А мне уж другая девушка нравилась, из посредственных по состоянию, оттого я все и опасался сказать ему. Ну, а когда уж пришлось иметь разговор, сказал: «У меня, батюшка, не та была на примете, а вот такая-то». — «Ну, — говорит, — посмотрю, а, впрочем, едва ли соглашусь, потому что ты говоришь: не из богатых». Он на небогатых-то не обращал внимания, а село-то большое, очень большое; он почти что и не знал эту девушку-то. Посмотрел. «Хорошо, — говорит, — женись, я согласен».

Точно, она очень хороша собою была, Поленька. Повенчались. Что ж вы думаете? Стал отец гнать и меня и ее. Ее меньше, а мне житья не стало. «Что это такое, из-за чего у вас такая вражда с отцом? — говорит Поленька мне. — Прежде ведь он был не злодей тебе». Молодая женщина, хорошая, как же она могла бы догадаться? Да и мне в голову не приходит. Помилуйте, как же это вздумать. «Взбесился старик, — я говорю, — с ума сошел». Только видим, вся его злоба на меня. И что на нее нападает, только все из-за меня же. И стал уж прямо говорить: «Не могу я этого Тимошку (меня) равнодушно видеть. Пусть он с глаз моих убирается, духу его не могу выносить». И мне то же говорит, и все от него то же самое слышат, и Поленька. Давно бы я и ушел в Москву на работу, как он посылал, да очень мы с нею любили друг друга. Не хотелось расставаться. Только, что же? и по своей любви стали мы чувствовать, что надо мне уйти, и я, знаете, и она, каждый по-своему это чувствует. Ей меня жалко, что бьет он меня немилосердно, как скотину, чем попало: палкой, так палкой, а то и топором замахивается. Можно сказать, не сходило никогда с меня увечье: избит весь. Ну, у ней все сердце переболело. «Уйди ты, — говорит, — Тимоша, хоть немножко отдохни на воле-то. Уйди на год. У него, может, и пройдет в это время злоба на тебя. Не все же он зверь будет». А мне на нее жалко; его сердце с меня начинается, рассвирепеет, бивши меня, и на нее потом бросится: «Это, — говорит, — оттого, что сын озлобил». Думаю, когда меня не будет у него на глазах, некому будет приводить его в злобу, надо полагать — будет человеком, не станет ее бить, потому что сам говорит: «Против нее я не имею злобы, а тебя мои глаза не могут видеть». Знаете, она-то меня для меня упрашивает, а я-то из жалости к ней тоже думаю, что ей доставлю спокойствие, ну, и решился. «Хорошо, батюшка, — говорю, — иду в Москву». И ушел. На год ушел. Через год думал воротиться.

Ушел я после нашего венчанья так через полгода. Живу в Москве полгода и больше, ничего не знаю, из нашего села мало в Москву ходят, потому что у самих и земли много, и промыш-

ленность есть. Потому долго и слухов никаких нет мне. Только и получил же я слухи! Двое наших молодцов пришли в Москву. И рассказывают, знаете, с осторожностью, чтобы сделать мне приготовление, не вдруг, потому что тоже люди неглупые и знают, что мы очень любили друг друга. «Больна, — говорят, — твоя Пелагея Андреевна». — «Как больна?» — «Очень, — говорят, — больна». Ну, и понемногу подошли: «Что, — говорят, — брат, скончалась». Ну, заревел я, как с ума сошел. Ну, оправился, стал расспрашивать подробности. Они, знаете, тоже с осторожностью рассказывают: старик забил, в смерть забил. Ну, и из-за чего, тут понятно мне стало. Сначала, как я ушел, он с лаской подъезжать стал, она ужаснулась, когда поняла, что он говорит. Ну, тогда он думал побоями принудить. И бил, куда убил. Ну, и выслушавши это, я имел такой дух, что не обнаружил им, своим-то молодцам, какая мысль пришла мне в голову. Никакого вида не подал им, кроме того, что очень убиваюсь по жене. Не было им никакого подозрения.

Москва велика. Работа у меня с ними не одна была. Раза два сходил я с ними еще. А потом, что я с ними не встречался, так они обо мне и думать позабыли. Что за диво, если в Москве долго своих не встречаешь. А мне то и надо было. Недели через полторы купил я ружье и пошел домой. Стрелять-то я умел, надеялся на себя. День в траве, в кустах прячусь, — лето было, — ночь иду. Никто не видал. Так и к своему селу пришел. Тоже ночью пришел. Пробрался задами к своей избе. Ходил кругом, смотрел в окна, ничего нельзя сделать: спит на полатях. Перед рассветом ушел в коноплю, пролежал день. Ночью пошел опять. На эту ночь вышла удача. Вижу, старик растянулся на лавке, спит. А в окно-то месяц светит; так хорошо его осветил. Я приложился сквозь окно в висок ему и, должно полагать, прямо как раз: едва пошелохнулся. Посмотрел я, уж не промах ли, что даже хрипоты не было. Нет, ловко пришлось. Ну, я пошел. Ружье в пруд бросил, как проходил. Думал, буду чист. Ан нет, поймали.

— Врет он, ваше высокоблагородие, не так дело было, — сказал другой ссыльный, выступая вперед.

— Как же в исправду-то было? — спросил я, переводя глаза на этого ссыльного и потом опять на отцеубийцу, так что вопрос больше относился опять к нему. Но он только крикнул бодрым голосом и молчал.

— Мы с Тимофеем Петровичем в одном остроге сидели, я прежде его попал, так это мне тоже известно. Не поймали его, ваше высокоблагородие. Он в Москву ушел, и никто его на дороге не видал, и никакого подозрения не могло быть, никому и в мысль не приходило, чтоб он из Москвы отлучался. Его дело было чистое. Да грех случился. Мужичка поклепали в убийстве-то. Его отец тот вечер в кабаке сидел, и подерись они с этим мужичком. И давно у них смертная вражда была, всему селу

известна. И не один раз они друг на дружку угрозы делали: «Убью, — говорит, — тебя». При такой вражде, да в тот вечер драка-то случись между ними. Тоже с угрозами: мужичок ему грозил. Явное подозрение на мужичка, ваше высокоблагородие. По следствию и вовсе стало, будто иначе быть не могло, как то, что мужичково дело. Как их розняли-то-с, его-то отец совсем уж пьяный был, домой пошел, дрыхнуть прямо повалился, — оттого и на лавке, что пьяный. А мужичок-то еще вполпьяна был, остался в кабаке, пил еще и все похвалялся: «Убью, — говорит, — я его». Пошел из кабака, ну, примерно сказать, хоть в десятом часу ночи, а домой пришел на рассвете. Где ночь пробыл, не может, сударь, отчету дать. «Не помню, — говорит, — где повалился я, где встал, ничего, — говорит, — не помню, как из кабака вышел, как домой пришел». Как же, ваше высокоблагородие, не виноват? А ружье-то у мужичка тоже было, пуля входит, чего же тут? Явное дело: просидел в поле, покуда в избах уснули, вошел в свою избу, когда уж все спали, взял ружье, застрелил, вычистил ружье, поставил на место, покуда еще не просыпались, да и ушел опять до утра, что, дескать, я в избе ночью не был, ружья не мог иметь. Всякий так по совести рассудит. Так и говорили все: не может быть оправдания. И присудили: он убил. Вот, как этот-то слух дошел до Тимофея Петровича в Москву, он пришел в часть и объявил себя. Вот как было дело. Ну, мужичка высвободили.

— Что, не так было дело, Тимофей Петрович? — спросил я.

— Что же, сударь, не я один, многие так-то себя объявляют, всякий объявит. Тут ничего такого нет.

5. ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА ²³

Рассказ В. М. Ч.

(Действие происходит в большом провинциальном городе, очень знаменитом в летописях отечественной истории)

Был бал в Дворянском собрании. В той губернии, вероятно, и тогда было много хорошеньких между помещицкими дочками, — когда я приезжала туда, я видела много очень красивых лиц. Но блистала на этом бале Зинаида Семеновна Березинская. Она была и точно очень недурна, но важнее было то, что она была одета роскошнее всех и держала себя герцогинею. На бале не было бы кавалера, достойного ее, если бы не приехал в город, перед вечером в тот день, офицер из гвардейской кавалерии, лейб-гусар, конногвардеец, не знаю хорошенько. Он был в отпуску, ездил на год в поместье, чтобы несколько поправить свои дела: у него было много долгов. Но поездка не удалась; вместо своего поместья он попал в губернский город, там, против ожидания,

нашел общество, почти такое же прекрасное, как в Петербурге, были цыгане, даже лучше петербургских, была большая игра, — его обобрали до ниточки, как не обирали и в Петербурге, его село было назначено к продаже. Что же ему было оставаться в провинции? Он поехал назад в Петербург. На душе у него было невесело, — чем теперь он будет жить? Но все-таки, когда он, остановившись переночевать в том городе, где блистала Зинаида Семеновна, услышал, что ныне в Дворянском собрании бал, он отправился на бал. Как явился, помрачил туземных кавалеров. Правда, в той губернии стояли два уланских полка, офицеры, конечно, тоже были прекрасные кавалеры, однако, какое же сравнение с гвардейским кавалеристом? Но он не был гордый: познакомился с ними. Стал расспрашивать о девицах, которые были заметнее других, и особенно любопытствовал о Зинаиде Семеновне, — да и нельзя было не любопытствовать о ней больше всех: она была в тот вечер очень эффектна.

— Это Березинская, — говорят ему. — Березинские первые наши аристократы. Они живут совершенно по-вельможески, у них 2 500 душ, она одна у них наследница всего, первая невеста у нас.

Он к ней. Сначала так, полюбезничать, не больше, потому что ведь он завтра же поутру уезжает, а она, как увидела мундир его, и растаяла; в ту зиму у них не было еще ни одного гвардейца, а это даже не простой гвардеец — гвардейский кавалерист; и не отходит от нее, и ни на кого, кроме нее, не обращает никакого внимания. Как же ей не очароваться? Он, увидевши, что она готова влюбиться в него, стал объясняться в любви. И какой он показался ей красавец! никогда не видала таких.

— Неужели в самом деле вы так полюбили меня? — Он говорит: — Как же, — совершенно так полюбил, как сказывал ей, — если я не найду в вас ответа на мою страсть, она убьет меня. — Ах, это жалко, — говорит Зинаида Семеновна, — надобно сказать маменьке. «Вон оно, как идет! — думает он: — какой счастливец-то я. Я так себе говорил, а она, моя добренькая, уж и готова пособить обедневшему человеку». — Где же, — говорит, — ваша маменька? — Вот эта дама там сидит, это моя маменька. — Так ведите меня к ней.

Дочка подвела, отрекомендовала, он и перед маменькой также объяснился, что страстно влюбился в ее дочку. Маменька, — такая же умная, как и дочка, хоть постарше дочки, — тоже сейчас растаяла от мундира; он в полчаса успел рассказать ей все: как он служит в Петербурге, — конечно, отлично; какие в Петербурге веселости в высшем обществе, удивительные, конечно, — это маменька и сама знала, она, может быть, и сама жила в Петербурге; как он там принят в самом аристократическом кругу, — конечно, превосходно, как свой, это и по мундиру видно; какие у него поместья, которые вот он ездил осмотреть, — конечно,

очень богатые, и как он влюблен в Зинаиду Семеновну, — все успел рассказать в полчаса и сделал предложение; маменька в восторге, говорит: — Пойдемте к мужу.

Повела к мужу; муж сидит за картами. — Вот, мой друг, рекомендую тебе такого-то, — называет фамилию, имя и отчество. Муж говорит: — Очень рад познакомиться, — протянул руку, а сам глядит в карты. — Очень рад, — говорит. Гвардеец отошел немножко в сторону, а маменька нагнулась к уху мужа и шепчет: — Он сделал предложение Зиночке, какого еще жениха, соглашайся скорее. — А муж почти что вслух ей: — Что ты, мать моя, пристаешь ко мне? Разве здесь место говорить? Ты видишь, мне некогда, в карты играем. — Решайся скорее, — говорит маменька. — Отстань ты, пожалуйста, от меня, матушка; до того ли мне, — видишь, я занят. — Да ведь он только проездом здесь, ему ждать нельзя. — Ну, и пусть не ждет, если нельзя. Отстань ты с ним от меня! — Нечего делать, отстала.

— Что ваш супруг отвечал? — спрашивает жених. — Ему некогда, он занят: я попрошу вас подождать ответа до завтра утра. Но мое слово вам дано. — Если я ваше слово имею, то чего мне больше. Мне больше ничего не надобно. Кому же, как не матери, располагать рукою дочери?.. Может ли мужчина понимать женское сердце? — говорит жених. — Это правда, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — никакой мужчина не может, а мой муж тем больше. — Неужели, — говорит жених, — такая дама, какую я вижу в вас, должна ждать приказаний от мужа? — Я, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — и не жду приказаний. Я себе и моей Зиночке сама госпожа. — Значит, я уже в полной надежде на вас. — Будьте в полной надежде, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Позвольте мне опять просить Зинаиду Семеновну на кадрили и на мазурку, — говорит нареченный жених. — Извольте, просите, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Это я потому прошу, — говорит нареченный жених, — что, мне кажется, я к родной матери такого почтения не чувствовал, какое к вам. — Может быть, и в самом деле не чувствовал, удивительного ничего нет. А маменька нареченной невесты тем более в восторге: видит, будет почти-тальный сын.

— Что же сказал папенька? — спрашивает Зинаида Семеновна своего кавалера. — Ваш папенька не хочет нашего счастья. Вероятно, у него есть уж другой жених для вас. — Ах, за другого я не могу идти, потому что я вас так же люблю, как вы меня. — Я этого и не пережил бы, застрелился бы, — говорит кавалер, — потому что я без вас жить не могу. — И я без вас не могу, — говорит Зинаида Семеновна, — я в чахотке умру. — Ах, — говорит кавалер, — это будет ужасно, только зачем же этому быть? Лучше вы так и скажите маменьке; она женщина умная и вас любит, она это предотвратит и устроит наше счастье, хотя бы

папенька и не был согласен; что его спрашивать. — Я пойду, скажу, — говорит Зинаида Семеновна.

Пошла. — Маменька, — говорит, — я не могу без него жить, я умру, со мною чахотка делается или я утоплюсь; папенька не хочет нашего счастья. — Папенька твой дурак, Зиночка, потому и не хочет; мы его слушать не будем.

Нареченный жених подошел. — Это, — говорит, — очень благородно, как я и ждал от вас, и благоразумно. Вы его и не будете больше спрашивать? Ведь вы не должны ждать приказаний от него, как вы говорили. Зачем же его спрашивать? — Конечно, незачем, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Потому, что вашей воли совершенно достаточно, — говорит жених. — Достаточно, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Значит, — говорит жених, — вы позволите мне называть вас маменькою. — Называйте, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Милая маменька, так как теперь дело решено вашею волею, то надобно его и устраивать. — Конечно, надобно, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Вы, милая маменька, позвольте мне заняться этим? — Позволяю, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — займитесь. — Когда же вы, милая маменька, прикажете увидеться с вами? — А вот завтра у нас бал, так вы пожалуйста, мы с Зиночкой рады будем. — Значит, милая маменька, вы мне приказываете к завтрашнему вечеру устроить это дело? — Да, к завтрашнему вечеру и устройте. — Покорно вас благодарю, милая маменька. А ему вы и не будете говорить, милая маменька? — Не буду, зачем же. — Ваша правда, совершенно незачем, милая маменька, потому что это вовсе не его дело, а ваше. — Конечно, так, — говорит маменька Зинаиды Семеновны. — Позвольте мне, милая маменька, попросить Зинаиду Семеновну еще на одну кадиль. — Пригласите, позволяю.

Танцуют жених с невестою. — Теперь, обожаемая моя Зинаида, наше счастье может назваться решенным; лишь бы только твой папенька не узнал прежде времени, он может погубить нас. — Конечно, — говорит Зинаида Семеновна. — Так ты, ангел мой Зинаида, присматривай за мамашею, чтоб она не проболталась. — Я буду присматривать, — говорит Зинаида Семеновна. — Завтра мы и повенчаемся, бесценная моя Зинаида. — Ах, какое счастье, — говорит Зинаида Семеновна. — Для меня еще больше счастья, чем для тебя. Ты ей завтра уже перед самым балом скажи, когда начнут съезжаться, раньше не надобно говорить ей об этом. — Конечно, не надобно; как же я ей скажу? — говорит Зинаида Семеновна. — Ты так просто и скажи: успеет ли он, маменька, исполнить к нынешнему вечеру ваше приказание, чтобы нынче во время бала была свадьба, как вы думаете, маменька, успеет ли? Она и подумает, что она так приказывала. — Ах, как это хорошо, я ей так и скажу.

Бал в Дворянском собрании кончался, папенька Зинаиды Се-

меновны доиграл свою пульку, стали собираться ехать домой. Гвардеец тут же провожает их, старается угодить и папеньке Зинаиды Семеновны. Посадил дам в их карету. Едут они. — Какой прекрасный молодой человек, — говорит папенька Зинаиды Семеновны маменьке ее. — Я очень рада, что он тебе нравится, — говорит маменька Зинаиды Семеновны, — потому что он и мне тоже нравится; я уже пригласила его завтра на бал к нам. — Конечно, пригласить следовало; только зачем же ты, матушка, не сказала этого мне? Обо всем прежде надобно спроситься мужа, — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. У маменьки душа ушла в пятки. — Что ты мне о нем говорила? Я не вслушался, потому что картами был занят, — говорит папенька Зинаиды Семеновны маменьке ее. — Не говорите ему ничего, маменька, — шепчет Зинаида Семеновна своей маменьке. — Знаю без тебя, — шепчет маменька Зинаиде Семеновне. — Я тебе его рекомендовала, что он с нами познакомился. — Ты что-то про Зиночку тут же говорила, да я не разобрал, — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. — Я говорила, что он со мною и с Зиночкой познакомился, — говорит маменька Зинаиды Семеновны ее папеньке. — Ты что-то говорила про то, что он скоро уезжает, чего-то ждать не может. — Я говорила, что он завтра поутру собирается уезжать, так не может нашего бала ждать; а потом он передумал, сказал, что будет. — Видно, ему рассказали, как мы балы-то даем, хоть бы и в Петербурге у первых вельмож такие были, так не стыдно бы, — говорит папенька Зинаиды Семеновны; — а я тогда не расслышал, что ты говоришь, только слышу чего-то ждать не может. Нашла время, матушка, говорить под руку. Видишь, человек занят, могла бы подождать. И точно ты принесла мне несчастье, как подошла: хуже да хуже стали итти карты. Опять проигрался, целковых тридцать проиграл. — Меньше бы играл, лучше бы было, — говорит маменька Зинаиды Семеновны ее папеньке. — Нельзя, матушка, общество требует, — говорит папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке. Так доехали домой, легли спать.

А гвардеец остался ужинать в Дворянском собрании с та-мошними офицерами: он не гордый был. Да и офицеры-то были хоть армейские, но все же кавалеристы, а не простые, — тоже хорошие офицеры. Он и прежде с ними был разговорчив, а тут с двумя, с тремя и вовсе хорошо сошелся. Кончили ужинать, он этим двум-троим говорит: — Я к вам, господа, обращаюсь с просьбой, не откажите.

— Мы, — говорят, — готовы с удовольствием все, что можем; в чем ваша просьба? — А вот, — говорит, — поедем ко мне, там расскажу, в чем моя просьба. — С удовольствием, — говорят. — Только вот, господа, в гости-то к себе я позвал вас, а не спросил, какова гостиница, в которой я остановился: шампан-

ское-то найдется там? — Найдется, — говорят, — гостиница хорошая, шампанское всегда есть. — Это хорошо, — он говорит. Приехали, он им рассказал за шампанским, в чем его просьба: — Так и так, — говорит, — пленила мое сердце ваша красавица, m-elle Березинская: женюсь, завтра свадьба. — Стой, — те говорят, — здоровье невесты прежде всего, желаем ей и вам всякого довольства и счастья. — Чокнулись наскоро, выпили. — Ну, теперь дальше, говорите, — говорят господа, — в чем ваша просьба к нам. — В этом, — он говорит, — и вся моя просьба, свидетели нужны; прошу вас, господа; тоже священника нужно найти, чтобы остановки не было, вы здесь знаете все, что и как, какой поп такие скорые свадьбы может венчать; прошу вас, помогите, господа. — Только-то, — говорят, — в этом-то вся ваша просьба? Это, можно сказать, не мы вам услугу будем оказывать, а вы нам оказываете услугу, что доставляете такой случай: это для нас только одно удовольствие, а хлопот никаких.

Тут стали предлагать тосты уже как следует, с церемонией, потому что прежде наскоро выпили, чтобы не задерживать его речи. Невесту хвалили: точно, первая невеста в городе; поздравляли его, все по порядку. Ну, и хвалили его, как молодца, что так живо дело обработал. У всех на душе весело было, и с ужина-то приехали уже веселые (да и за ужин-то сядились уж веселые, как обыкновенно), а тут не то, что от одного вина было весело, а то, что дело отличное, молодецки поведено: в один вечер обработал! Молодец! Истинный кавалерист, хоть и гвардеец; так прямо и говорили ему, потому что сошлись: — Хоть ты, — говорят, — и гвардеец, а все-таки истинный кавалерист. — Так и заночевали тут, взявши еще номер или два, сколько там кроватей нужно было.

Проснулись часа уже в три, может быть, в четыре. Славно поспали. Уж и обедать-то почти-что некогда, пора за дело. На скорую руку перекусили, однако хорошо покушали и выпили за здоровье невесты опять, — только все так живо, потому что пора за дело, давно пора к попу скакать, с ним торговаться, что ему денег-то передавать понапрасну. Дело самое легкое; это и не он один в городе согласится повенчать, — двоих, троих таких можно найти. Если бы дело не такое, родство или невесте лет нет, или бы невеста бежала (а тут мать согласна, ничего не может быть), или бы против воли невесты, то есть насильно бы ее водить вокруг аналая, потому что и так бывает, — ну, тогда, конечно, этот поп один, и торговаться с ним плохо, а тут никакого затруднения, и 50 рублей (тогда еще было на ассигнации) за глаза довольно. Жених сто рублей дает: — На всякий случай, — говорит. — И не нужно, — говорят, — давай 50, больше и брать с собою не хотим, чтобы соблазну не было передать.

Оно, конечно, дело такое, что затруднений никаких; но все же хлопот много; так часов до десяти провозились и приятели-

то, и жених-то, — ну, и одеться нужно, и все, — смотрят, пора ехать на бал к будущему тестю с тещей. Другие-то офицеры были тоже приглашены, поехали; один остался при коне, караулить, смотреть, чтобы все готово было.

Приехали в самое во-время, ни рано, ни поздно, гости уж начали съезжаться, — много. Бал прекрасный. Хозяева хозяйничают, суетятся, принимают гостей, — хозяйке да хозяину на бале много заботы, — туда, сюда, все нужно самим посмотреть: закуски, вина, десерты, фрукты. Вот идет папенька Зинаиды Семеновны в буфет, что ли, или в кухню, или в столовую, взглянуть на что-то, в порядке ли, видит, два лакея тащат кровать по коридору. — Что это? — спрашивает. — Барыня приказала, не знаем, — говорят лакеи. — Что она, с ума сошла? Отнесите на свое место назад, не нужно. — Понесли назад. Идет папенька по коридору дальше, третий лакей ему навстречу, тащит подушки. — Это что? — Барыня приказала, не знаю. — С ума сошла твоя барыня, неси назад на свое место, не нужно. — Лакей понес назад подушки. — Экая дура какая жена-то у меня, — думает папенька Зинаиды Семеновны про ее маменьку, — нашла время мебель переставлять. До того ли теперь, чтобы отвлекать лакеев из приемных комнат для таких плустановей? Можно бы, кажется, до завтра отложить. Экая дурища-то какая!

А он напрасно ее бранил: она вовсе было не глупо вздумала. Когда приехал жених, подошел к ней, говорит: — Я, милая маменька, исполнил ваше приказание: все готово, и в церкви ждут. — Она говорит: — У какого же столяра, мой милый друг, вы так скоро нашли кровать, и хороша ли? — Этого, — говорит, — я не успел сделать, милая маменька. И не смел сделать, милая маменька, потому что не имел на это вашего приказания. Я из этого заключил, что ваша воля состоит в том, чтобы мы из церкви возвратились сюда же и я вместе с другими гостями уехал бы, чтобы никакого вида не подавать, для того, чтобы не было неприятностей в семействе в такое время, а потом завтра мы постепенно и сообщили бы батюшке. Мне казалось, милая маменька, что ваша воля такая. — Это все так, вы во всем мою волю отгадали, милый сын, только как же без кровати-то? — Я так угадывал, милая маменька, вашу волю, что зачем же кровать, когда молодая еще проводит время у родителей. А когда я завтра поутру приеду переговорить с батюшкой, тогда мы и кроватью займемся. Я так понимал вашу волю, милая маменька. — Нет, милый сын, вы во всем отгадали мою волю, только в этом большую ошибку сделали. Как же можно быть свадьбе без кровати? Нельзя. — Это ваша правда, милая маменька, я сделал большую ошибку, не понявши в этом вашего приказания. Позвольте мне посоветоваться с моими помощниками, как это исправить. — Надобно исправить, милый сын. Без кровати нельзя быть свадьбе.

Жених отозвал своих помощников в сторону. — Вот какое обстоятельство, господа. — Ну, я скажу, что у меня есть кровать, что уж я и отвез ее к тебе, — говорит один из помощников. Подошел вместе с женихом к нареченной теще. — Вот он уже исправил мою ошибку, милая маменька. — Я понял, — офицер назвал маменьку Зинаиды Семеновны по имени и отчеству, — что он по множеству своих хлопот позабыл понять вашу волю в этом случае, и я сам распорядился, послал свою кровать. — А какая ваша кровать, батюшка? — говорит маменька Зинаиды Семеновны офицеру. — Хорошая. — Да какая же? — Красного дерева. — Ах, как можно, чтобы на свадьбе моей дочери была кровать красного дерева! Нынче красное дерево вовсе не в моде, вовсе не в моде. А полог какой? — Хороший. — Да какой же именно? — Канаусовый. — Как же можно, чтобы на свадьбе моей дочери был канаусовый полог, нет, этого я не могу допустить. Не могу. — Как же быть, милая маменька? Уж иначе нельзя. Завтра перевезем какую вам угодно будет кровать, с каким угодно будет пологом, уже достанем. А нынешнюю ночь пусть постоит его кровать, ведь ныне молодая, по вашей воле, еще здесь останется. — Нет, нельзя; так не могу допустить свадьбы. Уж и не знаю, как мне быть — в такое затруднение вы меня ввели вашей ошибкою. Разве вот что? Пошлю я к вам свою кровать. — Позвольте посоветоваться, милая маменька.

Отошли, подозревали другого своего товарища. — Как быть с этою дурою? Когда потащат кровать, постель, муж может узнать, пропадет все дело, — говорят жених и прежний офицер товарищу. — И подвернулся же канаусовый полог на язык, что у меня есть канаусовые рубашки, вспомнил, ведь бывают же такие беды! — говорит прежний офицер. — Да, — говорит новый офицер прежнему: — этот канаусовый полог все дело изгадил. — Теперь как быть с этою дурицей? — говорят все трое друг другу, — ничего не сделаешь с нею, уперлась; не сговориться. — Правда, спорить против нее, только рассердить. Пожалуй, и во все на дыбы станет. — Надо уступить ей, иначе нельзя. Может быть, и сойдет с рук.

Подошли опять к маменьке Зинаиды Семеновны. — Милая маменька, — говорит жених, — ваша воля совершенно справедлива. Вот он велит на дровнях приехать за кроватью и постелью. — Один из помощников пошел, распорядился. Приехали на дровнях к заднему крыльцу. Жених сказал маменьке Зинаиды Семеновны, что готовы дровни. — Теперь можно в церковь ехать, милая маменька? — Теперь можно, потому что постель будет. — И пошла распорядиться, чтобы кровать и постель выносили. Вот как было устроилось дело, когда папенька Зинаиды Семеновны расстроил его, и еще побранил в мыслях жену дурую, что она в такое время отвлекает лакеев от дела на пустыки, а сам не знал, что это такое; а если бы знал, не сказал бы, что пустыки.

Маменька Зинаиды Семеновны пошла в свою спальню распорядиться постелью, а Зинаида Семеновна пошла из зала, где танцевала, в свою комнату, а из своей комнаты прошла на заднее крыльцо, там стоит один из помощников с санями; сели, поехали в церковь, а жених с другим офицером вышли с переднего крыльца, сели в другие сани, поехали. В церкви все уж готово; живо повенчались, поехали назад. Все это так хорошо устроилось, без всяких задержек, часу не проехали, воротились. Если кто спрашивал: — Что вас не видно было? — молодая отвечала, что наряд, прическу поправляла в своей комнате; молодой отвечал, что уходил в буфет. Никому не было никакого подозрения. Да мало кто и замечал, что Зинаида Семеновна и гвардеец пропадали, комнаты большие, комнат много; почти никому не случилось и спросить Зинаиду Семеновну или гвардейца, почему не было видно ее или его несколько времени.

Так хорошо все устроилось. Только маменька Зинаиды Семеновны была несколько огорчена, что кровать с постелью воротилась на прежнее место. Но женщина умная, рассудила, что уж так и быть, нечего огорчаться. Утешилась в этом. Только стала беспокоиться о том, как завтра мужу сказать, — съест он ее за такое самовольство. — Не извольте беспокоиться, милая маменька, — говорит зять, — зачем же вам принимать на себя ответственность, не для чего вам подвергаться неприятности; хоть большой неприятности и не будет, но и никакой не подвергайте себя. Я все обязан принять на себя; иначе я был бы неблагодарный. Вы ничего этого и не знали. Ваше дело сторона. Вы даже покажите вид, что тоже прогневались. Не беспокойтесь, милая маменька, до вас ничего не коснется. Предоставьте мне одному все хлопоты, и вы увидите, что мы с батюшкою хорошо уладимся. — Маменька Зинаиды Семеновны успокоилась и в этом.

Время идет, старики в карты играют, кавалеры и дамы танцуют: бал, точно, отличный, хоть бы в столице, и ужин тоже превосходный; после ужина разъехались гости, и гвардеец уехал вместе с другими, с ним уж не двое, а все трое офицеров, его приятелей, поехали, потому что после венчания и тот офицер приехал на бал, который до свадьбы караулил попа. Папенька с маменькою Зинаиды Семеновны проводили всех гостей, пошли в свою спальню и уснули. Зинаида Семеновна пошла в свою комнату, тоже, может быть, уснула, а, может быть, и не уснула.

Молодая спит ли или не спит, только остается смирно в своей комнате, а молодому с его товарищами надобно же вспрыснуть свадьбу, поблагодарить друзей, потому все трое офицеров опять приехали к нему в гостиницу; поздравляли, тосты пили, но не остались долго, потому что устали, всем отдохнуть хотелось. Просидевши с молодым час, может быть, меньше часу, уехали

по домам. Он тоже один остался в своей комнате, как и молодая.

Спят папенька Зинаиды Семеновны с ее маменькой, только просыпается папенька Зинаиды Семеновны: стук какой-то, крик, шум, это его разбудило. Послушал, не понимает шум, надобно посмотреть, что такое. Нечего делать, встал, пошел. Шум идет из зала. Папенька Зинаиды Семеновны входит туда, еще совсем темно, но видно, у одного окна человека три стоят в зале, смотрят в окно, отбиваются, ругаются, их-то голоса он узнал: лакеи. — Что такое? — Вот, сударь, какой-то человек, пьяный, в окно лезет, и с саблею, саблею окно рубит, извольте видеть, уж стекла повывбил, опасности нет от него, потому что, где ж ему влезть в окно, — пьян, не может; кричит тоже сударь, что кричит, понять трудно, потому что очень пьян, а только все про жену что-то поминает, что я, говорит, к жене иду, как вы смеете меня не пускать. Ошибся, должно быть, с пьяных-то глаз. — Как же с этим быть? — спрашивает папенька Зинаиды Семеновны. — Мы так, сударь, думаем сделать: очень он пьян, потому опасности нет, чтоб он мог саблей своей зарубить; так мы, сударь, к нему выйдем на улицу, саблю-то у него вынем из руки, а его поведем под руки, смотря по тому, какой окажется: если благородный, то домой его отведем, а если из простого звания, то на часть. — Так вы и сделайте, — говорит папенька Зинаиды Семеновны. — Слушаем, сударь.

Лакеи пошли. Папенька Зинаиды Семеновны остался в зале у окна, посмотрел, как подошли лакеи к пьяному, было еще очень темно и на улице нельзя в лицо рассмотреть пьяного. Но фигуры-то на улице видны, — будто в офицерской шинели, — что ж, особенного ничего нет, это случается; папенька Зинаиды Семеновны посмотрел, как лакеи его взяли пьяного под руки, повели. А пьяный все кричал что-то про жену, что он к жене идет. Когда его увели, папенька Зинаиды Семеновны пошел опять спать. Жена просыпалась тоже, спросила, что такое. Он ей рассказал в коротких словах: — Вот пьяный какой-то, в офицерской шинели, ошибся домом, лезет, кричит: «Что вы не пускаете? Я домой иду, — говорит, — тут моя жена». Евграфка с другими взяли его, повели, — в коротких словах рассказал это папенька Зинаиды Семеновны ее маменьке, потому что ему спать хотелось после ужина: — Сон, — говорит, — одолевает, матушка; ужин-то, точно, отличный был у нас. — Уснул опять.

Долго проспал папенька Зинаиды Семеновны. И молодой тоже долго проспал. Проснулся и думает: — Что это такое мне вспоминается, будто я что-то про тестя с тещею слышал, когда меня назад вели? Экую глупость какую я сделал! Ведь это я к ним в дом ломился! Какой срам-то! Ну, да это ничего, надо узнать, ломился ли только в дом или, может, и дрался с тестем. Это, конечно, были их лакеи. Что ж они мне про них рассказы-

вали? Перед тем, как ехать к новому тестю объясняться, надобно мне хорошенько узнать, что такое я ночью-то наделал и что они говорили, — должно быть, что сердился тесть? Ну, как сердился, надо узнать.

Свистнул молодой, вошел его лакей.

— Что такое со мною было, Дормидон?

— Обманули вас, сударь, — говорит Дормидон, — воспользовались вашею неопытностью.

— Как? Что ты говоришь?

— Вы, сударь, изволили жениться с вечеру-то, как я слышал от людей, — вашего-то тестя людей, которые вас привели, а они из ваших-то слов это поняли, пока вас вели, — изволили вы, сударь, повенчаться на их барышне, конечно, в расчете на приданое-с и на наследство, что как вы видели они живут очень пышно, и что она, то есть нынешняя-то супруга ваша, сударь, одна у них наследница всему, так расчет богатый. А только в том ваша ошибка состояла, сударь, что они прожились дочиста, — как есть, голые стали они, тесть-то ваш, сударь, с тещею; поместье, точно, большое, только заложено и перезаложено, и само того не стоит, сколько на нем долгов. Очень жаль, сударь, что вы так-то поспешили, их лакеи так мне говорили, когда вас привели, мы с ними разговаривали; так вот как они мне говорили: «Если, — говорят, — он здесь жить останется, то точно, может с ними жить, как и они живут, и в пышности покуда, в первые месяцы; только это не надолго может протянуться; потому что имение должно скоро итти в аукцион, а занять им больше неоткуда, уж никто не может им теперь дать денег, они последние деньги теперь доживают, которые в прошедшую зиму заняли, да и тех не должно уж быть ничего, а только в лавках в некоторых еще верят, а что вновь занять денег в нынешнюю зиму они не могли, сколько ни бились. Так если, — это люди-то их мне говорят, — он, — то есть вы, сударь, — останется с ними жить, может жить, пока они сами живут, полгода, может быть, этот аукцион продлится, — а что приданого никакого не могут они ему — то есть вам, сударь, — дать, хоть бы и рады душою, потому что сами ничего не имеют».

— Плохо дело, Дормидон. если так, — сказал молодой, — в долг-то я и сам умею жить, на это мне теща да жена не нужны; а здесь оставаться как же можно, все ж лучше в Петербурге. Только все ли так, как ты говоришь? Может, и в состоянии дать что-нибудь, хоть и не так много, как я ждал?

— Нет, сударь, это дело верное. Может быть, что сот до пяти ассигнациями они могут иметь в руках, если будут доставать, до пяти сот могут достать, а больше — нет. Я и буфетчика, и половых спрашивал об этом: верно-с. А это ваша совершенная правда, что как мы приехали в здешний город, так и выезжать из него для вас лучше. Эта ваша правда, сударь.

— Так, значит, едем. Ступай на станцию за лошадьми. А впрочем, позови буфетчика да из половых, кто порастропнее, надо мне самому порасспросить.

— Это точно, сударь, лучше самому вам их расспросить, чтобы сомнения не оставалось. Только как это дело верное, то я, велевши им к вам итти, сам прямо на станцию пройду. Что ждать-то-с.

Буфетчик и половые совершенно подтвердили слова Дормидона. Пока они рассказывали, привели лошадей, Дормидонов барин рассчитался с буфетчиком, сел в повозку и поехал из города.

Когда я приехала в тот город, где осталась попрежнему Зинаида Семеновна, когда я встретила ее и услышала ее историю, это было лет через десять после ее свадьбы. «Незамужняя вдова», как ее называли, была суха, желта, стара не по летам и молодилась не по летам: держала себя еще девушкою, и в этом она была права, разумеется, неправа только в том, что держала себя очень молодою девушкою. Старалась любезничать, наивничать; за хвостом ее всегда таскалось несколько молоденьких офицеров, — плохоньких, самых плохоньких из всего туземного штата офицеров-кавалеров. Стало быть, она утешилась? Да, но все-таки, зачем же она была желта и стара не по летам и зачем так худа? Стало быть, тосковала. Смех смехом, а жалкая судьба. Папенька и маменька, ее тогда еще здоровствовали. Жили они бедно. Конечно, она была глупая женщина или девица, но ведь не она же была виновата, — во время своей незамужней свадьбы она была девчонка. Что понимают девушки, когда им 18, 20 лет? Трудно вообразить, мой друг, какими глупенькими девушками бывают даже те, которые умны от природы и становятся умными женщинами. Так воспитывают, так держат девиц. Я вспоминаю еще одну историю, тоже глупенькой девушки, — это была свадьба моей подруги, Надины Зверевой.

6. ДРУГОЙ ПРОЕЗЖИЙ ЖЕНИХ-ОФИЦЕР

Рассказ В. М. Ч.³⁹

Надина Зверева была очень глупенькая девочка и не только такая глупенькая девочка, как другие: она и от природы была простовата (такая и теперь остается); впрочем, хорошенькая и добрая. Мамаша ее тоже была очень простовата и тоже добрая. Madame Зверева была вдова, помещица средней руки, не бедная. Надина была одна дочка у ней, наследница всего. Лето Надина с мамашей жили в деревне, зиму — в губернском городе, не богато, но недурно; не могли давать балов, но давали вечера; Надина постоянно выезжала в Дворянское собрание.

Зверева по нашему Дворянскому собранию, — плохонькому, хоть и с очень большим залом, зал действительно прекрасный, —

по нашему Дворянскому собранию была хорошая невеста. Но мать не спешила принимать предложения: предложения были, даже недурные, но Надина была еще слишком молода, лет 17 или 18. Мать, хоть и простенькая дама, рассуждала неглупо, что лучше подождать; а Надина, когда услышит от мамы, что мамаша отказала и этому жениху, поплачет, — не то, что об этом женихе, это все равно для Надины, — а Надине очень хотелось поскорее выйти замуж, зачем, она сама не знала, только очень хотелось, им и всем очень хочется, — ха, ха, ха, я не могу вспомнить об этом без смеха: ведь совершенно не знают, дурочки, чего это они так добиваются; если бы знали, очень многие повременили бы, — ха, ха, ха!

— Будто многие?

— Как же? Ведь девочки, — те, которым 16, 17, 18 лет, я говорю о них, ведь это ж девчонки, — многие из этих девчонок, вышедши замуж, и находят, что хорошо, а очень многие долго плачут, не могут привыкнуть, жалуется: «Если бы я, та сhère, знала, какая это гадость быть замужем, я никогда бы не пошла! Не выходи никогда замуж, та сhère». — «Да что же такое, та сhère?» — «Ах, та сhère, гадость, пожалуйста, не выходи никогда замуж».

— Да будто это многие?

— Ну, конечно, — и натурально: ведь они дети; ведь девушка и в 18 лет обыкновенно еще дитя, ей хочется резвиться, танцевать, бегать, прыгать. Обыкновенно, даже в 18 лет еще нисколько не пробудились страсти, — я говорю про наших провинциалок, простеньких, миленьких, добреньких, глупеньких, — добреньких, очень добреньких. Ведь это дети, им надобно было бы предоставлять еще детскую свободу и простоту, если бы наши папеньки и маменьки и братцы были умнее. Эти девочки очень милы, но — ха, ха, ха, — чрезвычайно смешны и жалки, потому, что им внушают такие мысли, которых они совершенно не понимают, а повторяют: «я хочу замуж», «я хочу замуж», — и ведь не только не понимают, даже и не предчувствуют, что такое они говорят, — ха, ха, ха! Ах, как это забавно! Но ведь сколько же и несчастий выходит из этого! Ах, бедненькие, глупенькие, — за кого они выходят! — Ведь хорошенькие, добренькие, — и за кого выходят, чтобы поскорее выйти замуж! Это ужасно, ужасно! Бедненькие! Но все-таки — ха, ха, ха! — это невообразимо смешно, какие глупенькие эти девочки.

Вот так и Надине очень хотелось выйти замуж; а маменька не отдает, Надина и поплачет, когда маменька откажет жениху, — только немножко поплачет, потому что жених не особенно нравился, — она только была «влюблена» в него, — ха, ха, ха! — «влюблена»! Добренькая моя Надежда Ивановна, ей теперь уже под тридцать, но я думаю, ей и теперь-то нельзя растолковать, что такое значит быть влюбленной; а в других женихов она

даже не была и «влюблена», а все-таки плакала, но только немножко. Так вся зима прошла, — поехали в деревню Надина с мамашей, а Надина все еще не успела выйти замуж, а уж ей как хотелось!

Приехали в деревню, там кавалеров нет, влюбляться не в кого, — женихов нет, — Надина и забыла, что ей очень хочется выйти замуж. Не совсем забыла, иногда вспоминала, только очень редко, а уж вовсе не плакала; а вот придет зима, тогда опять будет немножко плакать каждый раз, как мамаша будет отказывать жениху. Впрочем, она и зимой будет всегда веселая, потому что не о чем ей печалиться; плакать, да еще так немножко, это можно, а быть невеселой не от чего и зимой, а летом, когда женихов нет, уж и вовсе не от чего. А впрочем, скучно иногда без кавалеров, — да нет, и без них не скучно. Дурачится, маменька говорит: — Наденька, ты не бегай, ты взрослая девушка, нехорошо; соседки увидят, осудят.—А Надина, как от маменьки с глаз, так и пустится вприпрыжку. У соседки были дочки, — она с ними; а часто и одна со своими девушками, — тоже горничная была у нее, — или и вовсе одна, — так и бегают да бродят, пока ноги отобьют до колен.

Вот однажды Надина бежала, бежала с одной из девушек, — вовсе маленькой крестьянскою девочкою, лет 14, — и добежала до большой дороги; устала, остановилась. Смотрит: по дороге едет почтовая телега парюю, а на телеге сидит офицер, а день очень жаркий, а дорога песчаная, и ямщик сидит, дремлет, и офицер сидит, дремлет, лошади идут шагом, — как хорошо, что они идут шагом, — хорошо можно посмотреть на офицера; а он и не гарнизонный, армейский! А тогда во всей губернии только и было офицеров, что гарнизонные: давно уже не стояло никаких войск. Значит, это для Надины и очень любопытно: она вышла на самую дорогу, чтобы как можно поближе посмотреть на офицера, а офицер молоденький, хорошенький (и не хорошенький, как я увидела, когда он приехал в город, но Надине показался очень хорошенький); она еще ближе, к самым лошадям, которые уже подходят к тому месту, где она ждет и смотрит: та лошадь, которая была на ее стороне, фыркнула, — Надина: «ах!» — и не испугалась, потому что лошадь смиренная, — чего пугаться? — а только так, как барышня, уже это вторая натура у барышень: «ах!» — а сама все глаз не сводит с офицера. А как она сказала: «ах!» — офицер раскрыл глаза, смотрит: телега едет мимо барышни, барышня стоит так близко, что передними колесами чуть-чуть не задело платье, и барышня раскраснелась, оттого что жарко и она бежала, так и горят щеки, как огонь, такая хорошенькая: полненькая, кругленькая, — прелесть, что за барышня, — и в соломенной шляпе с широкими полями, на шляпе лента, от ленты концы развеваются, — чудо, что за барышня, — и на него смотрит во все глаза, так и раскрылись широко, широко глазки

от внимательности: очень любопытно ей, так и впилась в него глазками, — они голубые, хорошенькие. И эта барышня смотрит на него во все глаза и говорит:

— Ах, какой вы хорошенький! — А он ей:

— Вы сами хорошенькая, — а ямщику говорит: — Стой, я сойду, пешком пройду несколько. — Вы позволите мне, барышня, с вами рядом идти?

— Отчего же нейти? Я очень рада буду. Здесь вовсе нет офицеров, а я люблю офицеров.

Можно вообразить, какая история могла бы произойти из такого умного ответа моей глупенькой Надины. А на самом деле что ж произошло? — Вот что: Надина пошла с «хорошеньким офицером», шла и болтала, что «вы такой хорошенький», и он ей отвечал точно так же. Так они прошли версты две.

— Ах, — говорит Надина, — я устала.

— И я тоже, — говорит офицер.

— А вы, может быть, и закусить хотите?

— Да-с, — говорит офицер, — я очень благодарен.

— Так идите, до нашего дома теперь не очень далеко.

Привела офицера, отрекомендовала маменьке, что он хорошенький; слово за слово, офицер остался и обедать, остался и ужинать, — ему некуда было спешить, — опять остался обедать, целые три дня прогостил и на третий день повенчался с Надиной, а через неделю все втроем, и дочка, и муж, и мамаша, поехали в губернский город, куда офицер ехал служить.

Я их видела потом: живут очень счастливо.

Вот, мой друг, и рассуждай после этого, что из чего выходит. Никак нельзя отгадывать. — Или можно? ⁴⁰

Тетрадь третья.

7. ПЕСНЯ

Рассказ В. М. Ч.

Эта тетрадь была однажды у меня в руках. Мне не было позволено списать ее. Но одна пьеска осталась в моей памяти. Вот она:

Там, где липа моя,
Яму вырою я;
Устелю ее свежей травой...

Там, на белом песке,
В тишине, в холодке,
Как в могиле, сладко я задремлю.

День пройдет, ночь придет, —
Ветер ночи начнет
Тень прошедшего тихо свевать
И с груди, и с лица..
Сладко я до конца
Жизни мира там буду дремать...⁴¹

Я не знаю, напечатана ли эта пьеска: — но едва ли. Я не знаю, была ли поэтом та, которая написала несколько пьес, составлявших эту тетрадку; быть может, эта сила поэзии была не сила таланта, а сила скорби. Это очень может быть.

Теперь можно начать рассказ более длинный. Начало его будет ведено от имени Елисея Яковлевича.

III

ДОЧЬ ИЕФФАЯ

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss⁴²

Перевод:

И звуков небес заменить не могли
Ей пошлые песни земли⁴³.
Плачьте, плачьте, дети света,
Вам тоска понятна эта⁴⁴.

Я вошел в комнату m-те Крыловой. Она с трудом привстала, увидев меня.

— Извините, Елисей Яковлевич, что я беспокоила вас своею просьбою приехать: дело не стоило того, чтобы отрывать вас от занятий; но у меня такой характер; я не могу быть спокойна, пока прямо не объяснюсь с человеком, хотя бы и не стоило объясняться. Переговорить всегда лучше, по-моему.

— Мне принесли вашу записку, когда я уже уехал из дома, Лизавета Сергеевна; и только сейчас, возвратившись, я узнал, что должен быть у вас.

— А я уж думала, что вы не найдете ныне досуга завернуть ко мне. Потому и принимаю вас в блузе, как видите. Впрочем, в наши лета что за церемонии.

— С человеком моих лет — конечно, да, какие церемонии.

Я не прибавил обыкновенного в таких случаях дополнения: «хотя бы женщине и ваших лет» — m-те Крылова была еще молода, но прибавка, которая на этот раз была бы правдой, показала мне ненужной, потому что я тем временем смотрел на лицо вдовы, которую до сих пор видел лишь один раз мельком и не обращал на нее внимания. Полная, стройная, румяная блондинка была и очень недурна собою. Она не скрывала, что ей уже 27 лет,

но она цвела свежестью, и при 27 годах ее следовало бы сказать: нечего церемониться с человеком моих лет даже и женщине ваших лет. Но выражение лица ее было просто, скромно, чуждо кокетства, не то что кокетства, всякой тени претензий на красоту, — было даже строго, — можно сказать: сурово. Потому ее молодость осталась не засвидетельствована моим ответом.

— Нет, я большая формалистка, — сказала она, — я не терплю этих развязных манер, допускающих пеньюар вне домашнего круга. Но я чувствую себя не совсем здоровою: жар и тяжесть в голове, легкий озноб. Потому, я должна была улечься, когда перестала ждать вас. А теперь такая усталость и такая ломота в костях, что нечего делать, останусь на кушетке. Помогите мне прикрыться, пожалуйста, в той комнате вы увидите фланелевое одеяло. Будьте добры, дайте его.

Я принес из другой комнаты, — ее спальни, как увидел, — фланелевое одеяло, прикрыл ее.

— Да вы послали бы за Иваном Андреевичем (медиком), с вами что-то нехорошо. Позвольте пульс.

Пульс был очень частый и сильный, неровный.

— Пошлите, нельзя пренебрегать: с вами сильный пароксизм.

— Нет, это ничего; к вечеру пройдет, я уверена. У меня крепкое здоровье. Но, впрочем, точно, я почти ничего не могла есть за обедом. А кстати, судя по вашим словам, вы еще не обедали?

— Нет. Едва вернулся, увидел вашу записку и в ту же минуту поехал к вам.

— Так потрудитесь позвонить и прикажите подать; кушайте в этой комнате, время у вас будет выиграно: обедая вы и дослушаете мелочь, по которой я пригласила вас. — Я позвонил.

— Я прибавлю, Лизавета Сергеевна, чтобы поехали за Иваном Андреевичем.

— Нет, решительно не нужно, я знаю себя. Вчера я все утро возилась в соседстве вашего флигеля: убирала комнаты, устанавливала мебель.

— Да, я слышал от Петра Ульяныча.

— Хорошо моей сестрице быть невестой, но мне быть старшей сестрицей этой невесты очень хлопотливо. Вы знаете ли, о чем я буду говорить с вами? Эта вертушка, моя сестрица, Лидия Сергеевна, вчера умудрилась устроить шалость, через которую могла поссориться с Петром Ульянычем. И умудрилась сделать такую сцену с вашим Веринькой, — этим скромнейшим и застенчивейшим из всех мальчиков, скольких я знаю. И очень простым средством: перекостюмировкой при помощи «белого пеньюара, который очень мил», по ее умному выражению.

— Она нарядила Алфериныку в белый пеньюар и потом в

шутку стала ревновать своего жениха к этой приятельнице или горничной? Да? И он рассердился? Да? Ведь он обидчив.

— Вы послушайте, как она это устроила. Это очень любопытно. Но я должна предупредить вас, что Веринька тут ничем не виноват. Однако и ему пришлось поплакать.

— Да, теперь я понимаю, отчего я не видел его ни вчера вечером, ни ныне. Он прятался: совестился меня и не хотелось рассказать, и не удержался бы не рассказать, как вы бранили его.

— Его? — нет, нисколько. Он не виноват, я вам говорю. Но моей сестрице я прочитала урок, которого она не забудет, надеюсь.

Лицо Лизаветы Сергеевны очень покраснелось.

— Право, пошлите за Иваном Андреевичем.

— Э, боже мой, не беспокойтесь: верно, я покраснелась? Так это просто оттого, что сердита на свою сестрицу. Я уже не чувствую озноба. Пароксизм проходит.

Я слышал от Петра Ульяновича, жениха ее сестры, что она формалистка до педантства. Он даже винил ее в излишней строгости, с которою она держит сестру. Но она сама держала себя очень строго, поэтому я не порицал ее. Если прешить некоторым излишеством, то при наших пошлых сплетнях и при гадких нравах большинства мужчин женщине гораздо безопаснее пускаться в излишество формализма, чем хоть немного ослаблять строгость общественных условий. Пусть лучше зовут бездушною педантою, чем выдумывают гадости про вас. Верьте старому вашему другу, читательницы. Я человек не староверских понятий, но я говорю это из отцовской любви к вам: я знаю мужчин; я знаю и тех госпож, которых не хочу называть женщинами, а называю змеями. Эти змеи не могут жалить мужчин: мужчины ходят в сапогах, — не прокусить, но ваши бедные ноги манят их жало, — скольких из вас они ужалили. Нет, нет: жалейте себя, мои милые дочери: ни на шаг, ни на шаг с усыпанных песком дорожек вашего гаремного парка: в праве ползают эти ехидны и ждут вас, ждут. Не давайте их ядовитым языкам.

Я уважал Лизавету Сергеевну по рассказам Петра Ульяныча, побранившего ее в разговорах со мною за излишнюю формалистику. Теперь я увидел, что формалистика ее вовсе не происходила от жеманности: она была женщина совершенно простая. Во второй раз видит человека, но держит себя с ним без всяких чопорностей: и велит ему принести одеяло, прикрыть ее, когда с нею лихорадка, и сажает его обедать в своей комнате, и продолжает говорить, не принимая в огорчение себе то, что его внимание разделено между ее словами и пуляркой. Она видит, что пожилой семейный человек чувствует и держит себя пожилым семейным человеком, потому она понимает, что с этим новым знакомым можно ей держать себя попросту. Я люблю таких жен-

щин: знает, при ком нельзя скинуть перчатки; знает, кому можно безопасно пожать руку. Но именно потому, что она понравилась мне, я не поцеремонился сказать ей, что она идет на этот раз едва ли не слишком далеко: зачем же порицать девочку, которая, если и сделала какую-нибудь глупость, то лишь по неловкости и невинности.

— Мне не нравится, Лизавета Сергеевна, что вы такая сердитая. Ведь и по вашим же словам, шалость вашей сестры не имела ничего важного. Да и вообще, не слишком ли вы строги с нею? Я прямо говорю свое мнение, потому что вижу, с кем говорю.

— О, да какой же вы опасный старик! то было вздумали сказать комплимент моей молодости, — я видела, что хотели, да не удалось, — так теперь подольщаетесь с другой стороны: комплимент характеру, прикрытый будто бы выговором. Хорошо, этот комплимент я принимаю. Но выговора не принимаю. Разве вы не видите, что эта вспышка моя от лихорадки? Вы наслушались сплетен Петра Ульяныча обо мне, как мучительнице Лидиньки. Слушаете жениха. Хорош пожилой человек! Видите, я вовсе не такая злая, когда пульс стал ровнее. Вы не воображайте, что я съела невесту вашего Петра Ульяныча: Лидинька жива, и даже опять щеголяет с ним верхом в своем гусарском мундире. Вот как я слаба; я враг всех мундиров и красных рубах на наших плечах, но у моей сестрицы завелась все эти костюмы, когда завелся жених, который не находит в них ничего дурного. А, впрочем, вы ужасно далеко отвлекли меня от моей истории, — я уже было начала, а теперь вы заставили меня начинать снова. Посмотрите, каков пульс. Кажется, ничего?

— Теперь почти хорош. Да где это вы простудились?

— Да ведь я было и начала рассказывать. Вчера поутру убили комнаты у Петра Ульяныча. Вероятно, вы слышали, что в эти последние дни перед свадьбой я решительно отбила себе и руки, и ноги с уборкой комнат и всеми этими свадебными глупостями. Ваш Петр Ульяныч изволил себе развезжать верхом, кататься на лодке, качаться на качелях, сидеть и болтать со своею невестою, а я изволь все делать за него. Правда, на то мы и живем на свете, чтобы молодежь могла иметь свободу, — иначе нас, немолодых, следовало бы прогнать со света помелом. Молчите, молчите, — знаю, что я много моложе вас, — успокойтесь и не сбивайте меня. Вчера я особенно устала: помните, какой знойный день был. А у меня простой характер: я не могу смотреть сложа руки и распоряжаться, не двигаясь, как далай-лама: и стулья тоже сама расставляла, и гардины привешивала, — измучилась, а окна были открыты, я не заметила во-время, что это глупо, — позвольте сказать, что пот с лица у меня катился градом. Впрочем, я ничего не чувствовала, кроме усталости, и потому поступила умно: нарочно пешком пошла домой, чтобы пре-

дохранить себя от последствий сквозного ветра. Конечно, тем больше устала.

— Очевидно, однакоже, что вы все-таки простудились.

— Но теперь прошло, я чувствую. Бросим этот вздор. Слушайте дело. Пустяки, но забавно и характеризует детей. Завидна, Елисей Яковлич, их чистота, хоть и смешна, хоть иногда и досадлива. Но нельзя не любить их. Я сказала вам, что пришла домой вовсе усталая, хотела отдохнуть, прошла без всяких распоряжений по хозяйству прямо в свою комнату, прилегла и взяла книгу. С четверть часа я читала, вдруг, слышу из комнаты сестры голос Вериньки: «Как же это сделать, Лидинька?» — «Я просуну голову к вам, Веринька», — отвечает моя сестрица, должно быть, из другой комнаты, так мне показалось. — Что такое? просуну голову? — Шалунья, подумала я. Но опять тихо. Я продолжала читать.

— Лизавета Сергеевна, вы опять слишком строги. Дети дурачатся, а вы сейчас уж и начинаете прислушиваться. Не стоит.

— Это ваша правда. Но, Елисей Яковлич, я заслуживаю извинения. Меня научила этому жизнь уроком слишком несправедливым. Кто натерпелся много горя от несправедливости жизни, тот легко может увлекаться до излишества в своей заботе, когда на нем будет лежать обязанность предохранить дочь или сестру от напрасных ударов. Я не хочу оставлять в вас дурного мнения обо мне. Я вам расскажу, почему я стала такая. Да оно и кстати: там у детей шло дурачество в перекостюмировку, как вы и отгадали. Из-за этого я и побранила потом Лидию. А я сама и натерпелась много в замужестве, и мужа отчасти погубила, и вдовою осталась так рано, — через перекостюмировку. Недаром я всегда ненавидела ее. Один раз в жизни согласилась на эту шалость, и сколько горя нажила себе и мужу! Да закурите же сигару, Елисей Яковлич, — не бойтесь, у меня не так слабы нервы. Вот спички.

— Из вашей заботы о сестре я вижу, что вы начинаете длинную лекцию о том, чтобы я сам не переодевался и никому из моих домочадцев мужского пола не позволял переодеваться в женское платье.

Я хотел шуткою отвлечь ее мысли от раздражения. Она беспрестанно вспыхивала и мгновенно затихала: ее нервы еще вздрагивали от последних легких содроганий пароксизма лихорадки. Но она молодцом справлялась с ними: несколько секунд — и она опять тиха, смирна.

— Лекцию? — сказала она грустным голосом: — Да, вы не ошиблись. И не вам первому. Вы услышите, какую лекцию прочла я вчера вашему Петру Ульянычу, который заступился за свою невесту. Умны оба они со своей невестою. Впрочем, Лидия Сергеевна изволила мне же сделать выговор. Удивительно умна.

Лизавета Сергеевна очень тяжело вздохнула; но по лицу ее

пробежало что-то похожее на злобу. Впрочем, это было извинительно: еще не прошла лихорадка. Но неужели, однако, она такая злая? Ведь и в лихорадке только выскажешься больше, яснее, — не выскажешь того, чего нет в душе. Но если и злая, то женщина с характером, и есть в ней какое-то прямодушие. С ней можно говорить о ее недостатках: пусть же замечает их, может быть, станет удерживаться от них, — у ней достанет характера на это.

— Лизавета Сергеевна, не браните мне вашу сестру так много. Иначе я действительно подумаю, что у вас довольно злое сердце.

— На Лидию Сергеевну? Довольно злое. Не ошибаетесь. Только прежде выслушайте; потом скажете, не рассердились ли бы и вы на моем месте. Выслушайте; я много должна сказать вам, чтобы вы поняли меня.

Я вышла замуж 17-летней девчонкою, не умнее моей сестрицы, — такую, какими выходят замуж благодаря нашему милостивому воспитанию почти все те из нас, которые не выходят замуж плутовками. О которых надобно больше жалеть, — о выходящих замуж плутовками или дурочками, не умею решить: плутовкою я не была никогда. По-моему, впрочем, они еще более несчастны. Впрочем, не знаю. Но дурочки жалки; это я узнала очень скоро после моей счастливой свадьбы, гораздо раньше, чем перестала быть дурочкою.

Свадьба моя была действительно счастлива. Жених был хорош собою, — неглуп, — этого-то я не могла тогда понимать, видела только, что он красив, отлично вальсирует, очень хорош в своем мундире; этого мне было и довольно, за глаза довольно, как теперь моей сестрице: прошу вас, попытайтесь растолковать ей, что Петр Ульяныч неглупый человек и благородный человек, — в состоянии она понять ваши слова? Ждите! ей ровно столько же понятно это, сколько то, что у вас ноги не прыгают, а ходят. И мой жених был таков же. По крайней мере, мне то же сказывали о нем, как я сказываю своей сестрице: говорили, что не отдали бы меня за его мундир, усы и сапоги в вальсе, если бы не было при них мозга в голове и доброго сердца. Я этому верила, даже воображала, что понимаю и вижу. Кстати, что вы думаете: представляется ли попугаю, что он понимает слова, которые твердит? Я думаю, представляется.

Я была сирота, — тем лучше для приобретения хорошей партии. Как вам это нравится? Мне — очень. Слава богу, что папенька с маменькой умерли: все их состояние стало приданым. Я, признаться вам сказать, одного только не понимаю: видите, какие прекрасные надежды устроены детям на тот случай, если бог пошлет по душу папеньки и маменьки; отчего же это при таких милых отношениях все-таки очень немногие дети отравляют и задушают родителя и родительницу? Это странно. Я го-

ворю про нас, получающих и оставляющих хорошие наследства: бедным, конечно, нет основания. Сироты с состоянием — существа, созданные природой для того, чтобы быть ограбленными, измученными и испорченными. Но из всякого правила бывают исключения. Дядя и тетка, опекавшие и воспитавшие меня, не развратили меня прижиманием и потворством и не обворовали. Они были люди честные. Это исключение не редкое.

— Боже мой, с какою злобою вы говорите! Кажется, вы готовы были бы прогнать сквозь строй чуть не девятерых из десятка, наоборот против старого военного артикула, который гонял только десятого.

— Из общества? — Да. Про «чернь» я не говорю. Впрочем, я не мужикофилка. Ни водка вместо рома и шампанского, ни безграмотность, ни битые жены не делают человека моим идеалом. Но те жалки, только. Они не виноваты. А эти жалки и гадки. У них есть средства. Зачем же они остаются не людьми, а — теми существами, какими остаются. Видите, как деликатно я выражаюсь. Впрочем, будьте добры хоть вы, если я зла: на несколько минут уйти...

— Зачем же уходить, помилуйте: понадобится подать другой платок, так пригожусь.

Но понадобилось подать гораздо большее количество туалетных вещей: гофманские капли, Riechsalz (как это по-русски? нюхательная соль?); через четверть часа пришла в порядок.

— Как я смешна должна казаться вам! Истерика с бабою почти 30-летней и такою, слава богу, плотною из себя! — истерика сделалась с нею от воспоминаний о том, как она выходила замуж чуть ли не десять лет тому назад. — Не по моей бы комплекции, кажется, такая чувствительность. Но вы дослушайте, — до конца, до конца, — до конца дослушайте, тогда скажите, что я смешна. Впрочем, я сама не знаю... Ну, все равно. — Она отдыхала еще несколько минут; молчала.

— Да вы возьмите покуда книгу, теперь уж не надо будет ухаживать за мною. — Я взял книгу: иначе не дала бы себе столько отдыха, сколько ей самой бы рассудилось. Прошло еще с четверть часа.

— Теперь слушайте, — сказала она спокойно. — А это даже хорошо, что кризис был, чего я не ждала так рано, признаюсь вам. Смотрите, какая теперь я буду добрая и смиренная.

Мне казалось, что мой муж любит меня. И я его любила, как умела по своему детскому уму. Он угождал мне во всем, и не заметно было, чтобы он тяготился этим. Впрочем, я и не была ни требовательна, ни прихотлива, ни в чем, кроме одного. Во мне было отвращение к пошлости и грязи — я этого и не знала, потому что не понимала, что такое грязь. Скоро узнала, через полгода после свадьбы.

Однажды мы сидели с ним. Это было в начале вечера. Я была

что-то очень нежна, мила и шутлива. Муж целовал меня, мои глаза, — он любил целовать мои глаза, — играл моими волосами: «Лиза, исполни мою просьбу, и мы проведем вечер очень весело, уверю тебя: ныне у Тисьмина (я была приятельница с его другом Тисьминым) будут ужинать его близкие приятели — всего человек пять. Звали и меня. Я обещался. Но мне не хочется, чтобы ты сидела одна, не хочется расставаться с тобой, — поедем, — мистифицируем их: оденюсь мужчиной, я скажу, что ты мой кузен из Москвы, юноша скромный, почти не бывавший в обществе, воспитанный юбками, хорошо учившийся и все продолжающий учиться; что он остановился у меня проездом через Петербург за границу, куда едет тоже все учиться, — держу пари, они не узнают тебя, и это будет пресмешно. Кстати, ты слушаешь мужскую беседу без дам: это и любопытно, и, я думаю, полезно для тебя, — как было бы полезно для всякой. Надо же ближе знать людей, с которыми составляешь одно общество. Женщины плохо знают мужчин. Это вредно. В другую компанию я не пригласил бы тебя. Но там все будут истинно порядочные люди». — «Нет, я не сделаю этого, — сказала я: — я не люблю этого».

Я была дурочка, глупенькая дурочка. Но с детства была во мне хорошая черта: я терпеть не могла никакого обмана. Я ничего не понимала, что вредно, что полезно; но одно я понимала, только одно: обманывать — это дурно и вредно. Я не горжусь этим: мои дядя и тетка были люди добрые, любили меня, не стесняли. Мне не было надобности обманывать. Но хоть и без моей, может быть, заслуги, а все-таки я очень рано стала тверда в хорошей привычке, в хорошем чувстве: я не обманщица. Вы это увидите.

Она замолчала. Должно быть, все еще есть в ней легкое содрогание, — но вот сладила с ним. Очень тиха.

— «Нет, не проси меня об этом, — сказала я мужу, — я не люблю этого». — «Но что же, ведь это будет только шутка. И полезная для тебя, поверь: я опытнее тебя, я не присоветую тебе дурного. Это не обман. Зачем быть такою rude? Ты не девушка. Тебя приглашает твой муж. Пожалуйста. Неужели для мужа ты не хочешь позволить себе невинную шутку?»

И он уговорил меня. Не уговорил, а я не умела оспорить его. Где же было мне уметь? Какое образование нам дают? Проживши с ним полгода, я все-таки не понимала половины того, что он говорил мне. Впрочем, воображала, что понимаю его разговоры. Только они были мне скучны; я говорю, те разговоры, которые понимаю теперь. О танцах, о родных, о платьях и хозяйстве я понимала. Видите, какая хорошая и образованная была я: лучше очень многих моих подруг, — я понимала хозяйство, я понимала родственные отношения, знала разницу между сестрой и приятельницей (даже обожаемую, — то есть до обожа-

ния кавалеров), понимала разницу между 5 рублями и 6 рублями, — этого многие не понимают; я знала, сколько денег составляют мои четыре тысячи рублей и мужнины четыре или пять тысяч рублей дохода, знала, как можно жить и как нельзя жить на эти деньги. Этого не знает уж почти никто из дурочек, подобных тогдашней мне, — почти никто. Я была еще одна из самых умных между ними.

Да я уж слишком длинно распространилась в похвалах тогдашнему своему уму и образованию. А все-таки и при такой редкой образованности, которая дает возможность понимать разницу между сестрою и приятельницею, обожаемою от нечего делать, — даже и при такой обширности знаний я, разумеется, не могла поспорить с человеком, который был в самом деле неглуп и воспитался не по грамматике Ломонда с Историею России девицы Ишимовой. Он заговорил меня, и мне стало казаться, будто я поняла, что он говорит правду: знание полезно. Конечно, если бы я тогда могла понимать это, не то и вышло бы. А главное, ведь я любила его, а он, говоря это, ласкал меня — потому я и согласилась. Да и любопытство есть во всяком, особенно в ребенке.

Муж поехал к одному из моих кузенов, 15-летнему мальчику, одного роста со мной, взял у него платье, между прочим сюртук и пальто. Я стала одеваться, горничной мы не позвали. Сюртук не годился мне: я была шире в плечах и полнее. Пальто пришлось хорошо. Я была проезжий, — быть может и не развязывавший своих чемоданов, — муж так и сказал, что я приехала в тот день, уезжаю завтра. Притом — приятельская холостая компания, к чему сюртук? Но с моими волосами нам было трудно устроиться. Долго хлопотали с ними. Устроили их, наконец, очень хорошо; много помогала шляпа с широкими полями: без нее, конечно, все-таки не вышло бы.

Мистификация удалась вполне. Когда мы приехали, — уже перед самыми сумерками, — у Тисьмина было трое приятелей, кроме нас; сидели на лужайке под деревьями перед крыльцом его дачи. Все они бывали очень частыми гостями у нас, были дружны со мною. Но никому не пришло в голову вздумать о чем-нибудь похожем на нашу шутку над ними: с какой стати они подумали бы? Случай был так прост. Муж сказал Тисьмину: «Я привез к тебе гостя, которому хотел показать мужское порядочное общество. Рекомендую: двоюродный брат моей жены, из Москвы, Василий Михайлович Товроговский — запросто Вася. Славный юноша, но, бедняжка, почти не видывал мужского общества: маменька воспитала в хлопках. Ребенок и красная девушка. Ты извинишь, что я не предупредил?»

Муж прибавил в двух словах историю, как я проезжаю через Петербург в Гейдельберг учиться. Хозяин, все другие запросто пожали мне руку — муж называл мне их имена. Мы уселись; спрашивали меня: как мне понравился Петербург, зачем я не

останусь подольше, хоть несколько дней. «Мне еще не удалось видеть ничего в Петербурге, кроме Невского, — Невский хорош; но посмотрю на Петербург после, теперь спешу». Через минуту перестали обращать на меня внимание: юноша, не бывал в обществе, отвечает на все «да» или «нет», — иной раз невпопад; видно, что очень застенчив, и чем меньше заниматься им, тем лучше, даже и для него: пусть осмотрится, тогда и оправится, тогда и говорить с ним.

Очень скоро после нас приехал еще приятель; опять встреча, рукопожатия, — тем больше удобства мне не ввязываться в разговор.

Меня оставили в покое, без внимания, сказала я...

— Лизавета Сергеевна, вы позволите старику сесть поближе к вам? — спросил я.

— Да сделайте одолжение, хоть на эту кушетку. — Она подвинулась плотнее к спинке кушетки, — садитесь.

— Нет, не до такой интимности, — да с этого кресла мне удобнее будет вглядываться в ваше лицо поприспальнее, — дело, которым я хочу заняться. — Я сел на кресло, которое подвинул на место столика, стоявшего около ее подушки.

— А что вам нужно вглядываться в мое лицо?

— Да так, вот вы говорите, что вас тогда не узнали, потому что никому не пришло в голову вглядываться в вас повнимательнее.

— Разумеется, только поэтому. Впрочем, впечатление, производимое лицом, чрезвычайно изменяется от костюма. Через час, когда они несколько занялись мною, один сказал, что я похожа на мою кузину, — то есть на себя саму, а другой сказал: «Да, фамильное сходство можно заметить, когда знаешь, что м-г Товроговский кузен м-те Крыловой, но черты лиц различны». Вы не поверите, а это было сказано.

— Я не поверю? Извините. Я даже скажу, что могло бы быть прибавлено, если не было прибавлено: м-те Крылова хороша собою, а Товроговский — нет.

— Почему вы это угадали? Было сказано даже смешнее: «У вас, м-г Товроговский, черты лица довольно грубоваты: вы, верно, много охотничали, скакали верхом, занимались гимнастикой», а перед этим говорили о м-те Крыловой, что у ней черты лица нежны. Это меня удивило. Но как вы угадали?

— Да ведь я же недаром жил на свеге. Многие девушки, молоденькие женщины, вовсе некрасивые в своем платье, становятся очень хорошенькими в мужском. Но я заметил, что это бывает с теми, у которых черты лица резкие или крупные, что ли, как это сказать? — ну, противоположность тонким. Их очень скрашивает мужской костюм. Но почти все лица, привлекающие истинно женскою нежностью в чертах, кажутся грубы в мужском костюме.

— Вы любили, может быть, и теперь любите? — нет, теперь нет, видно, но в старину вы любили всматриваться в хорошеньких?

— Я? — нет, и в старину мало засматривался на хороших, потому что очень мало видел таких лиц, на которые приятно было бы смотреть, как на женские лица. Но у меня были очень зоркие глаза, когда были помоложе.

— И теперь, кажется.

— Нет; мое зрение притупело. Я с трудом читаю мелкую печать. Английские газеты уж пять лет брошены мною. Прежде мне не было бы надобности пересесть от того стола сюда. Продолжайте, Лизавета Сергеевна.

— Я была дурочка, говорила я вам. Но не от природы же. Я была девчонка, которая ничего не понимает, потому что не знает ничего дельного, кроме хозяйства: ни истории, ни порядочных путешествий, ни даже порядочных романов. Dumas-père казался мне гораздо занимательнее всех на свете. Знать хозяйство — это много помогает умственному развитию: кухарка уже все-таки не кукла. — кастрюли и котлеты все-таки составляют хоть какой-нибудь фундамент мыслей, похожих на человеческие, — все ж это не фальшивая дребедень; но согласитесь, знать толк в хозяйстве это еще не совсем достаточная образованность. А только это одно и было дельное в моей беденькой голове. Что ж я могла понимать? Но насколько девчонка, ничего не понимающая, может понимать что-нибудь, я была наблюдательна. Меня очень заняло то, что мужчины одни между собою держат себя вовсе не так, как с нами. Однако, что вы так всматриваетесь в меня? Уж не предполагаете ли, что я переодетый юноша? Нет, к несчастью, я не мужчина.

— Вот, к несчастью! И чем же вы не мужчина? Вы ни от кого не зависите: вы едете, куда хотите, — делаете, что хотите, ваши деньги — ваши деньги, вы в них не отдаете отчета никому, следовательно, в гражданском смысле слова, вы мужчина, а только это и важно, я думаю. То, что у вас не растут усы и борода, этого я не назову особенным несчастьем.

— Вы прав. Я напрасно повторила о себе фразу, которую не могу применять к себе. То есть — почти не могу; отчасти все-таки не то: я все-таки стеснена обществом гораздо больше, чем вы.

— Разумеется, — сказал я. — Все-таки не то.

— Что не то? Что разумеется?

— Какое же сравнение: я и вы; я все-таки гораздо свободнее.

Она замолчала и покачала головой.

— Ну, все равно. Слушайте. Надо все рассказывать. Но какой вы смешной. Слушайте, однако. Мне показалось удивительно, что мужчины одни между собою вовсе не такие люди, каких мы знаем в них. Они просты, они наивны, они честнее и лучше, чем

с нами. Тогда я не умела бы сказать этого так ясно. Но я не узнавала людей, которых знала очень хорошо. И они мне понравились гораздо больше прежнего, и мой муж в том числе: все выигрывали поровну, и если кто, то, конечно, мой муж не проигрывал в моих глазах оттого, что все казались мне людьми, с которыми я чувствовала себя легче и свободнее. Я думала про себя: «Теперь я знаю, зачем ты повез меня сюда, — чтобы я полюбила тебя еще больше. И полюбила. Я тебе скажу потом: держи себя со мною проще, меньше говори мне, что я хороша, меньше ухаживай за мною, меньше угождай мне, — мне будет свободнее и веселее с тобою, и я буду еще больше любить тебя». Видите, хоть я и была дурочка, но из дурочек неглупых, — смотрите, как я рассудила: покажется, будто очень умная молодая дама, а между тем, девчонка, самая безрассудная девчонка: вы увидите, что я наделала над собою и мужем в тот же вечер, через час, не больше, и как быстро довела его и себя до вечного горя. Не влюбилась, не думайте, — нет, нет, какое влюбиться в другого! Тогда! Напротив! Тогда! Но, Елисей Яковлич, зачем вы так всматриваетесь в меня?

— Какими глазами, Лизавета Сергеевна? — отцовскими. Что ж, разве вы хотите скрывать от меня ваше лицо?

— Что его скрывать? Но что вы добиваетесь прочесть на нем? Я хочу знать. Отцовскими? — Да, отцовскими; но они допрашивают меня. О чем? Что, вы подозреваете меня в обмане? Я не лгу, я не утаиваю! — я скажу все, все! Что вам нужно от меня? — говорите. Я готова отвечать на все. Я не боюсь вас. Мое сердце чисто. Что вам угодно знать? И почему вы знаете, что я намерена молчать?

Она опять горела. Но теперь лихорадки и физической слабости уж не было. Она встала и стояла передо мною с пылающим лицом, — мне стало странно и страшно.

— В чем вы заметили, что я намерена молчать? Мне нечего скрывать. Я чиста. Спрашивайте, что вам угодно знать? Я требую: что вам угодно знать?

У меня и на уме не было никаких сомнений. Ее лицо свидетельствовало, что такая женщина не может не быть чиста. Это я мог видеть и издали, не только вблизи. Я всматривался совершенно с другою целью: мне странно было, что женщина, — хоть и в пароксизме лихорадки, все-таки расстроилась до истерики от воспоминания о том, что было, по ее словам, девять лет назад, — женщина неглупая, крепкого сложения, не жеманница. Когда она сказала: «не догадались, что перед ними женщина, потому что не взгляделись», — эти слова навели меня на мысль: а в самом ли деле ее свадьба была так давно? в самом ли деле ей 27 лет? Я подсел ближе, — и теперь был уж убежден: нет.

— Напрасно вы, Лизавета Сергеевна, принимаете так горячо, будто за обиду вам, простое участие старика, который был бы

глуп, если бы, доживши до таких лет, не привык разбирать честные лица от обманщических. И сами вы напрасно рассердились, и меня обидели напрасно. Я только хотел присмотреться, сколько вам лет в самом деле — 22, почти наверное, — на год больше или меньше, может быть — но никак не 27.

— Ну так что же? Да, мне 23 года. Что ж из этого? Я обманщица? Вы это хотите сказать? Скажите, скажите, я требую. Что я скрываю от вас? — И все это задыхающимся голосом, и глаза горят, и щеки горят.

— Боже мой, да что с вами? Из-за чего вы так рассердились и разгорелись? Успокойтесь же. Я увидел, что вам меньше лет, чем вы говорите, и ваша истерика стала мне понятна.

— Что? Как вы смеете сказать это? Что вы знаете? Вы ничего не знаете!

— Вот что: через три, четыре года замужества, — через два, три года после беды, не удивительно еще чувствовать расстройство нерв от воспоминания. Вот что я узнал, всматриваясь в ваше лицо, и совершенно извинил вашу истерику. А ваши тайны, Лизавета Сергеевна, на что мне они? У меня своих много. Вам тяжело рассказывать, — не рассказывайте.

— Что? Вы хотите увернуться от меня? Нет, вы теперь в моей власти. Вы вкрались в доверие ко мне вашим, как вы говорите, отцовским взглядом, — я высказала вам половину. Вы обязаны дослушать. Вы не вырветесь от меня. Вы в моих руках. Слушайте! Вы должны услышать и повиноваться! О, боже мой, что ж это я в самом деле!

Она вдруг понизила голос, отступая от меня под влиянием моего тихого, спокойного взгляда, говорившего: «Друг мой, успокойтесь, я очень далек от мысли выпытывать из вас что-нибудь. Мне ничего не нужно знать о вас. Я не мальчик, чтобы любопытствовать. На что мне ваши тайны? И на что я сам вам?»

— И все-таки, вы виноваты; вы опять измучили меня; о, какой вы смешной, — грустно, но тихо продолжала она. — О, какой вы несносный человек! Мне надобно отдохнуть, — она села и помычала, будто одумываясь. — Да, — продолжала она, — это ваш выпытывающий взгляд раздражил мои нервы. — Она сидела, положив руки на столик, отодвинутый мною к ногам кушетки, и, усталая, склонила лицо на руку. — Нет, я взяла мало времени на отдых себе после пароксизма. Будьте добры, Елисей Яковлич, оставьте меня на четверть часа, на полчаса одну. Идите в сад, идите к сестре и Петру Ульянычу — оставьте меня отдохнуть. И не сердитесь, что я так распоряжаюсь вами. Ведь все-таки вы старый приятель Петра Ульяныча, — я сестра его невесты. Я смотрю на вас, как на старого друга.

— Что за церемонии, Лизавета Сергеевна. Другой вопрос, если бы поутру — тогда мне время было дорого. А теперь я свободен до завтра.

— Так вы не в претензии на меня?

— Так через полчаса не будет рано? Мне все равно. Я проброжу по саду хоть час.

— Вы охотник удить?

— Я до всего хорошего охотник, Лизавета Сергеевна.

— В той комнате вы найдете все для уженья. Пруд — по дорожке направо и потом опять направо. Там вы уж увидите купальню, она у меня огромная, это на речке; вы идите левее, — и будет пруд. Купаться теперь не советую: вода к вечеру уже слишком тепла; но поутру, — поутру, это наслаждение. Вы тоже умеете плавать?

— Еще бы нет!

— Утром восхитительно; но теперь, нет; лучше идите на пруд удить карасей, но через полчаса возвращайтесь. Полчаса мне довольно.

Теперь уже видно, что для ясности надобно узнать несколько и обо мне, а еще больше о моих отношениях к Петру Ульянычу и о том, по какому случаю был я приглашен Лизаветою Сергеевною. И сам я, и все эти отношения — не важность; нужно сказать о них и обо мне лишь для того, что тогда будет видно, почему Лизавета Сергеевна Крылова так доверчиво и запросто могла говорить и обращаться с человеком, которого видела всего во второй раз. И рассказать все это можно очень коротко, потому что почти все уж и видно из нашего разговора с нею: надобно будет только перебирать мысли, которые по нашему разговору с Лизаветою Сергеевною уже составились у читающих, и к каждой мысли прибавлять: да, точно так, вы не ошиблись. Дополнить придется разве две-три подробности.

Читающим уже давно понятно, что этот последний рассказ, «Белый пеньюар», писан не Алферием Алексеевичем Сырневым, а тем лицом, которое писало его биографию. Это так. Я, старик Елисей Яковлич, тот самый дядя Алфериныки, который был его воспитателем. Почему я не сказал об этом с самого начала моего рассказа? Зачем сделано так, что читающим могло казаться несколько времени, будто они еще продолжают читать написанное Алфериныкой, между тем как они читали уже написанное мною? Естественно, я не сделал бы этого, если бы не было так надобно. Зачем было надобно так сделать, видно будет после. Мы не будем долго оставлять загадки загадками. Это не наш метод. Итак, это пишу я, дядя Алферия Алексеевича Сырнева. Мы не говорим прямо, кто и что.

Но кто ж мы? — и прежде всего, кто я, воспитатель и дядя Алфериныки? «Старик», называет меня Лизавета Сергеевна, которая видит меня в лицо, говоря это. И точно: мне 55 лет, для круглого счета, с точностью скажу — 56. Дочь моя, ровесница

Алферины, уже замужем. Есть у меня другая дочь, годом моложе ее, — еще девушка. Есть у меня двое сыновей, старше Алферины. Моя старуха, слава богу, добрая и еще крепкая старуха. Можно положить, что ей побольше двадцати лет, если второму нашему с нею сыну, Яше, тоже уж 20 с небольшим хвостиком, года в два или побольше. Кому этого довольно, те, по моему, умеют читать; а кто станет добиваться еще чего-нибудь о моих обстоятельствах, те не умеют. Для безграмотных мы не пишем. А кто умеет читать, будет полагать, что, когда понадобится, я скажу о себе и больше. Кто это положит, не ошибется. Впрочем, чтобы не казаться играющим в таинственность для возбуждения пустого любопытства, я теперь же скажу свою фамилию, хоть этого и не нужно еще по сущности дела, и хоть моя фамилия не важна, и хоть всякая фамилия ничего не значит без истории лица, носящего ее. Моя фамилия Всеволодский.

Итак, я Всеволодский, которого в разговоре зовут Елисеем Яковличем, был старинный приятель с Петром Ульянычем Нигулецким, молодым человеком, которого помню еще в пеленках. У меня были дела с его батюшкой; я в 15 лет нашего знакомства передал Ульяну Филиппычу тысяч до 300 за его товар, — один из товаров, продаваемых достаточными сельскими обывателями: хлеб ли, шерсть ли, лес ли, другое ли что, это я скажу после, и это, по моему, все равно, лишь бы товар был товар, а не что другое, непригодное для продажи, например, не совесть или души человеческие, или не такая земля, без которой душам будет подводить живот, или не такой лес, без которого души будут щелкать зубами зимой. Старик Нигулецкий такими вещами не торговал, и я тоже.

После я уехал из той губернии; а потом стал опять по временам приезжать в нее, тоже по коммерческим делам. Когда я приезжал в нее, мне приходилось и кататься по уездам, и жить в городах. А усадьба Нигулецкого (старика Нигулецкого уже не было, остался хозяином Петр Ульяныч) была в 6 верстах от центра, верстах в 4 от крайних домиков того города, который тогда был штаб-квартирой моих дел в тех местах. Потому я и останавливался жить у Петра Ульяныча.

Тогда я в первый раз навестил ту губернию после моего переселения из нее. Алферинычка напросился поехать со мною в это путешествие. Ему было тогда 16 лет. Он уже серьезно занимался, — ботанизировал, хотел присматриваться к провинциальному быту (он помнил провинцию лишь как ребенок, — мы переехали в Москву да в Петербург, когда ему было лет 8, а Петру Ульянычу лет 17).

Остановившись у Петра Ульяныча, я с другого же дня стал разъезжать то в ту сторону, то в другую, — дней по пяти на неделю, больше, и сделал таких поездок по пяти. В первых трех Алферинычка ездил со мною. В две последние я не брал его,

потому что ему наскучило, пригляделось: все деревни — как три, четыре деревни: торговая; барская неторговая; казенная неторговая. Видел эти три, всю губернию видел, больше смотреть нечего. Да и я посоветовал ему: «Не ездь больше, отдохни»; я ездил быстро, дороги плохие, — в третьей поездке мой Алферинык поутомился.

В двух верстах дальше от города стоит хутор, принадлежащий Лизавете Сергеевне Крыловой, которая жила тут с младшею сестрою Лидией Сергеевной; не стоило бы упоминать отцовскую фамилию Лидии Сергеевны, потому что через два дня после моего разговора с Лизаветою Сергеевною была отпразднована, — как и прежде была назначена, разумеется, — свадьба Лидии Сергеевны с моим молодым приятелем. Впрочем, чтобы не было вида секретничанья, упомяну, что отцовская фамилия Лидии Сергеевны была Телегина. Нигулецкий звал Алфериныку с собою к своей соседке и своей невесте. Но Алферинык был слишком застенчив и отказывался: он тогда боялся чужих, — особенно, молодых женщин, тем больше боялся таких девиц, которые старше его двумя, тремя годами: видя мальчика, чрезвычайно скромного и кроткого, они обращались с ним, как с мальчиком, — смеялись над ним, дурачили над ним, обижали его. Он очень обижался; ведь ему было уже 16 лет, он был юноша серьезный; ему было больно, что его принимают за ребенка — обыкновенная претензия детей. Итак, он прятался от молодых женщин, и от девушек еще больше. Но он познакомился с Лидией Сергеевной по случаю и подружился с нею.

Он бродил по полю, ботанизируя, добрал до речки и шел по берегу. На другом берегу был большой сад, потом потянулась роща, из рощи вышла девушка, одетая русским парнем, в красной канаусовой рубашке, и закричала через речку:

— Вы не тот ли Алферинык, который приехал с этим стариком к моему Пьеру? Я невеста Пьера. Идите сюда.

— Как же итти? мостика нет, — сказал Алферинык: он, бедняжка, уже покорялся своей судьбе.

— А это бревно? Я нарочно велела положить его через речку. Я всегда бегаю по нем.

Она шагах в двадцати от Алфериныки перебежала по бревну, — длиннейшему, потому что речка довольно широка в этом месте, оба берега сходятся двумя стенами. Бревно лежало на две сажени выше воды, — толстое, но круглое, скользкое, длиною сажень в семь, я думаю. Она перебежала, — «ловите меня!» — и побежала назад на свой берег. Алфериныке совестно было итти шагом по бревну, когда она пробежала так бойко два раза — он побежал, оступись, оборвался и очутился по пояс в воде. Это доставило величайшее удовольствие девушке.

— Что мне теперь делать с вами? Куда вы годитесь? На что вы похожи? А, знаю, что сделать! Идите за мною. — Она при-

вела его в беседку, сказала: — Сидите тут, пока я сбегаю домой, ждите.

Алферинька продрог, дожидаясь ее с полчаса, беседка была с версту от дома Лидии Сергеевны, но все-таки сидел; ему казалось неловко не исполнить желания девушки, да и нельзя было: он не сказал ей, что не послушается ее: значит, все равно, что сказал «буду сидеть», а как же нарушить обещание? Но больше всего повиновался потому, что если уйти, она — ну, что, если явится к своему жениху с жалобой, — поймают его, не ныне, завтра, и тогда залучит она его. Лучше уж слушаться. Лидия Сергеевна вернулась с целым узлом.

— Вот, одевайтесь; мы обманем сестру, — и выложила перед Алферинькой полный женский туалет, завершением которого служил белый пеньюар, — это все мое. Вам будет впору. Одевайтесь скорее. — Она захлопнула дверь и, придерживая ее снаружи, закричала: — Скорей же, я жду.

— Я не хочу. Позвольте мне не одеваться так, — говорил Алферинька из беседки. Но Лидия Сергеевна ничего не слушала.

— Я рассержусь. Это стыдно быть таким неучтивым. Я уйду. Буду ждать в той аллее. Когда оденетесь, выходите.

Прошло с четверть часа, Алферинька не выходил. У Лидии Сергеевны не достало терпения ждать больше.

— Оделись, что ли? — закричала она, подходя к беседке.

— Оделся, — отвечал Алферинька.

— Так что ж не выходите?

— Мне... мне...

— Что такое вам? Стыдно?

— Да.

— Ах, какой срам!

Лидия Сергеевна вошла в беседку и схватила за руку Алфериньку: — Ах, какой вы стали хорошенький! И краснеете! Сестра ни за что не узнает! Это будет прекрасно!

На дороге она рассказала ему, за какую девушку она представит его сестре; подходя к дому, оправдала на Алфериньке пеньюар, соломенную шляпу с широкими полями, вправила длинные волосы его под эту шляпку, — не могло быть девушки более похожей на девушку, чем эта, созданная из Алфериньки. Лидия Сергеевна ввела Алфериньку в комнату сестры и очень бойко рекомендовала кузину своего Пьера, ту Полину Нигулецкую, которую они ждали уже три-четыре дня, которая, наконец, приехала ныне поутру с своею мамашею, — от которой через неделю после того Петр Ульяныч получил письмо, что нечего ждать ее и дочь ее к свадьбе, у них готовится своя свадьба, — и мамаша Полины, продолжала Лидинька, легла соснуть, утомленная дорогой, а Полина пошла гулять и встретилась с нею и они догадались друг о друге, кто они, и проч. Но Лизавета Сергеевна заметила слишком большую бойкость и складность объяс-

нения Лидиньки, не дослушала ее болтовни, а прямо спросила Алфериньку:

— Скажите, мой друг, кто вы?

— Алферинька, который приехал к Петру Ульянычу с Елисеем Яковlichem.

— Так вот что! И прекрасно, что вы так прямо сказали. С первого же взгляда мне показалось, что тут есть какая-нибудь шалость сестры. А по голосу, как вы заговорили, я с первого звука окончательно убедилась бы, что вы не девушка.

И точно, почти невозможно не различить с первого же взгляда, совершенно невозможно не узнать по первому же звуку голоса девушки от юноши хотя бы самой первой молодости: надобно только взглянуть и слушать, — не без внимания к чертам лица, которые видишь, к голосу, который слышишь. А этого-то внимания обыкновенно недостает. Я говорю о внимании, руководимом мыслью видеть то, что действительно видишь, слышать то, что действительно слышишь, а не только свои собственные фантазии по поводу лиц, на которые вы смотрите, звуков, которые вы слышите. Обыкновенно мы видим и слышим не то, что видим и слышим, а что нам думается видеть и слышать. Только на этом самообольщении нашего внимания, на этой полудремоте его и основан успех перекостюмировок всякого рода — от перекостюмировки в туалете до тартюфства и ношения овечьих шкур волками. Но Алферинька вошел сконфузившись, покрасневши, Лидинька говорила уж очень убеждающим тоном, Лизавета Сергеевна знала, что она шалунья, — взглянула пристально, — и сама Лидинька, прежде чем Алферинька открыл рот, уже увидела, что мистификация не удалась.

Послали за платьем Алфериньки в беседку, высушили его, через полчаса Алферинька уже услышал с восторгом, что все готово, и пошел переодеться. Но эти полчаса он просидел с Лидинькой у Лизаветы Сергеевны, которая не смеялась над его неловкостью в костюме девушки и над его скромностью, уж слишком кроткою и застенчивою для 16-летнего юноши, запросто расспрашивала, будто и не перекостюмированного, о том, как нравится ему их губерния, чем он занимается, — и он был чрезвычайно благодарен ей за то, что она не мучила его. Он понравился ей своею скромностью, и она много защитила его от своей сестры, сказав ей, что это юноша очень умный и хороший, с которым очень можно Лидиньке играть, как ей угодно, но которого следует ей не обижать, а уважать. Он возвратился домой уже вечером вместе с Петром Ульянычем, приехавшим обедать к невесте, и, возвращаясь, признался ему, что это был первый день, проведенный им в обществе молодой дамы и девушки, посторонних, а не своих семейных, не мучительный для него.

Это было на третий день после того, как я отправился в первую свою поездку без Алфериньки. С той поры, и до самого дня

моего разговора с Лизаветою Сергеевною, он каждый день почти весь день проводил в доме Лизаветы Сергеевны: уходил туда поутру, возвращался вечером с женихом Лидиньки. Время его там делилось на две половины: пока Петра Ульяныча не было, Алфериньке не доставалось ни минуты посидеть на месте: он, уже не перекостюмированный, заменял для Лидиньки не то послушную подругу, поддающуюся ей, не то будто младшего брата. Если бы Лидинька встретила его в большом городе, то и она, вероятно, показала бы ему «злою», «насмешницею», мучила бы его. Но тут не было подруг у ней под руками, она с сестрою жила в восьми верстах от города, гости приезжали к ним не часто, важнее охоты подсмеяться была детская надобность резвиться, — резвиться вдвоем веселее, нежели одной, — жених все-таки жених, не ребенок, — и Лидинька была от души рада, что нашла себе товарища в играх. Она сильно бранила его, когда он приходил поздно и она успевала выбежать в сад раньше его. На счастье его гербариума, она долго спала и у него оставалось часов до 10 утра свободное время; но к 10 часам он являлся перед нею, как лист перед травкою, играть с нею, уже успев на ботанику провести довольно времени. Алферинька очень привязался к ней за то, что она «не злая с ним», обходится с ним, как мои дочери, — его кузины, по воспитанию и расположению родные сестры.

Но к обеду приезжал жених, и тогда Алферинька мог пользоваться отпуском; часто получал временные увольнения в отставку и без собственного желанья: она почти каждый день ездила с женихом кататься верхом. Алферинька не умел сесть на лошадь и не хотел учиться этому.

Бывали ему отпуска на часы покоя и в те немногие дни, когда у Лизаветы Сергеевны и Лидиньки бывали гости. Но в отпуске ли на покой, или в шалостях втроем с Лидинькой и ее женихом, или в играх с нею одною, — все равно ему было привольно в доме его новых знакомых. Раза два-три и Лизавета Сергеевна говорила с ним довольно подолгу; эти серьезные разговоры также нравились ему. Но вообще он мало бывал в обществе Лизаветы Сергеевны, кроме как при общем разговоре всех четырех за обедом, за чаем. Лизавета Сергеевна была с ним добра, находила его умным мальчиком, но ребенок был не компания ей. Почти все время, когда не подле Лидиньки, он проводил в их доме один, за книгою, или бродил по саду, по роще. Ему было так же просторно и свободно тут, как было бы во флигеле Петра Ульяныча, нашей временной квартире; и было приятнее, потому что книга и уединение сменялись веселыми играми.

Надобно ли теперь мне много хлопотать о том, чтобы для читающих отделилась в первой нашей тетради действительная, писанная мною биография моего племянника от первых иронических страниц, принадлежащих ему самому? Конечно, читаю-

щим уже очень легко сделать это и без моего содействия. Мой племянник — будем звать его Алферинькой, Алферием Алексеевичем Сырневым, как он сам называл себя, Алферинькою, Веринькою, как зовет его здесь Лизавета Сергеевна Крылова, — мой племянник всегда любил математику и под конец жизни познакомился было с высшим анализом настолько, насколько это требуется в нынешнее время для занятий естественными науками. Но он и не мечтал не только уже быть, — даже стремиться к тому, чтобы когда-нибудь стать замечательным ученым по математике. Его привлекали естественные науки; из них он начал было перед своею смертью специально заниматься физиологией. Но для шутки он любил вставлять термины вариационного исчисления в разговоры.

Надобно ли говорить и то, что, сам иронизируя над основными чертами своего юношеского характера, — над ученою серьезностью, с которою он рассуждал о самых простейших вещах, и над непорочною невинностью души, прекрасною, чистою как первый снег, но действительно доходившею иногда до забавной наивности, — он выдумывал себе не одну такую генеалогию, как от дедушки Кифы Мокиевича и бабушки с дедушкою Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем? У него каждую неделю была новая такая родословная: вместо Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны являлись его предками капрал Трим, капитан Венсби, Простодушнов (так он переводил *L'ingénu*), сквайр Вестерн, десятки других, в том числе какая-то фламандская старуха с картины ван-Остада, — с нею он родился целый месяц. Вместо Кифы Мокиевича у него были отцами, дедами, прадедами мистер Пиквик, Панглосс, лично сам Бернарден-де Сен-Пьер — лично, без посредства своих произведений; в удовольствии Эмилии Осиповне он даже признал своими предками шиллеровских Макса и Теклу, говоря, будто бы Шиллер, только не желая компрометировать их перед Пикколомини, утаил, что они были повенчаны. Свое происхождение от Афанасия Ивановича с Пульхериею Ивановною и от Кифы Мокиевича он избрал только уже за неделю перед своею смертью, только для русской публики, сам он больше производил себя от иноземных предков. Он продиктовал эту гоголевскую свою генеалогию моему Яше, — сам он уже не мог писать, но все еще продолжал шутить.

Он хотел, как я уже говорил, чтобы иронические страницы, написанные еще им или Яшею под его диктовку, незаметно переходили в его биографию, чтобы фантастическое лицо незаметно было сменено действительным. Он сам и другие поручили именно мне сделать это. Яше кажется, что я довольно хорошо исполнил поручение. Другие еще не читали, — посмотрим, что они скажут. Прежде всех других должна будет высказать свое мнение Лизавета Сергеевна Крылова: я пошлю ей все эти три первые тетради и начало четвертой.

Но зачем же мы начали так странно? Зачем — это будет становиться все яснее и яснее с каждою новою нашею тетрадью; впрочем, уже и теперь видно, зачем: затем, что форма, принятая нами, дает возможность высказать нам о самих себе гораздо больше, нежели было бы можно без нее. Наша компания — велика ли она, это будет постепенно разъясняться — наша компания состоит из людей, рассказывающих или о себе, или друг о друге. Мне, как видите, дано поручение написать биографию моего покойного племянника, сочинениями которого будут по временам прерываться рассказы других; и его биография, как вы уже видите, служит только введением к другому рассказу, объясняющему его привычку носить белый пеньюар. Я только начинаю этот новый рассказ, — продолжать его будет другая рука, если он будет продолжаться. Я буду писать до конца третьей тетради.

Я уж говорил в конце биографии Алфериньки, а теперь стало еще яснее, что белый пеньюар, который носил он в два последние года своей жизни (носил только в своем кабинете), служил воспоминанием дружбы, драгоценной для него и нравственно возвысившей его. Да, без этого пеньюара он не был бы Алферинькою, — нашим милым, честным юношею, который в 19 лет имел такую же непорочность сердца, как подруга его игр, — тогда невеста, теперь счастливая, любящая и любимая жена моего молодого друга Петра Ульяныча, которую я буду звать Лидинькой, хоть ей тогда и было уж 17 лет.

Я только раз, — и то мельком, — видел ее и ее сестру до разговора, который начал рассказывать. Они переселились в соседство Нигулецкого хутора и завода незадолго перед тем, — это и будет видно дальше, — а я не был в той губернии восемь лет. По приезде к моему приятелю Нигулецкому я все разъезжал; только три, четыре ночи между моими разъездами провел я во флигеле Нигулецкого хутора. Вернувшись из последней поездки за два дня перед этим разговором, я оба дня, с утра до глубокой ночи, провел в городе по своим делам. От этого я еще не имел времени хорошенько видеться с невестою моего приятеля и ее сестрою. Но через рассказы его мне о них в те три-четыре вечера, и им обо мне, и через нашу близость к нему мы были будто старые знакомые, хоть и виделись еще только один раз мельком.

В два первые дня по моем возвращении из последней поездки я успел кончить самые горячие свои дела в городе и теперь мог дать себе отдых. Теперь я уже мог проводить в городе за делами только утро, а вечер оставлять себе на волю. При такой льготной работе я рассчитывал кончить остальные свои дела дней в пять-шесть. Так оно и вышло, само собой разумеется. Я проводил молодых, — Петра Ульяныча и Лидиньку, поехавших на южный берег Крыма прямо из церкви, — потом скоро простился

с Лизаветой Сергеевной, которая на другой день свадьбы своей сестры отправилась в другую сторону: молодые на юг, — она на запад; дня через три я уже раздавал прощальные инструкции людям, занимавшимся делами, по которым я приезжал в те места, и пустился в свой путь, которым скоро приехал в Петербург.

В тот день я возвратился из города часа в четыре, мне показали на столе записку: в записке Лизавета Сергеевна просила меня «заехать к ней на несколько минут, когда я поеду в город» — на несколько минут? Лучше ж до обеда, чем после обеда, когда старику тяжело подыматься с места. Я поехал, засиделся у ней вместо нескольких минут полчаса; она была так добра, что догадалась покормить меня, и вышел, как уже предположили читающие, такой случай, что вместо нескольких неважных слов о неважной детской шалости Лидиньки с женихом и Алферинькой я услышал серьезный и любопытный рассказ из жизни солидной, почтенной, истинно почтенной, хоть еще и молодой дамы, которую стал глубоко уважать за этот правдивый рассказ.

Приглашая меня поутру «на несколько минут», она, как потом объяснилось, хотела сказать мне те неважные слова, которые относились к Лидиньке и ее жениху, — и посмотреть, действительно ли я такой человек, каким изображал ей меня Петр Ульяныч: точно ли я старик честный и хороший, к которому можно будет ей обратиться с важною просьбою по ее личным отношениям, — для этого она хотела пригласить меня зайти к ней вечером. Так она сказала потом. А теперь, как видно было читающим, она заговорила, увлеклась и вместо того, чтобы высказать мне свою просьбу, начала рассказывать свою жизнь.

После, когда рассказала она свою биографию и успокоилась, я услышал и то, зачем собственно я был ей нужен. Дело состояло в ее странных отношениях к ее мужу, — и через полгода она помирилась с ним, при посредстве моей жены. В этом сущность развязки. Но тогда было довольно трудно предусмотреть, что она скоро пожелает мириться с мужем, — для этого нужен был особенный случай, о котором будет рассказано после, а теперь мудрено было предвидеть это: если начало ее рассказа мало располагало к такой мысли, то продолжение его еще гораздо меньше показывало такую возможность.

Я остановился на том, что она, еще не совсем окрепнув после прежнего пароксизма, почувствовала некоторое раздражение от моего пытливого взгляда и, чтобы не дать себе опять взволноваться, сказала мне:

— Оставьте меня одну, отдохнуть и успокоиться; вернитесь через полчаса, и дослушаете мою историю.

Я дал ей целый час отдыха; в пруду были славные караси, и я занялся бросанием им хлеба; это гораздо занимательнее ужения: рыба так весело бросается ловить крошки. Потом обошел сад, — и когда я вернулся к Лизавете Сергеевне, она уже

совершенно оправилась, так что могла досказать мне свою жизнь очень ровным и спокойным тоном, который всего лучше, — и для говорящего горла с грудью, и для слушающих ушей.

— Теперь взглядывайтесь в мое лицо как хотите внимательно, не расстроите моих нерв, — сказала Лизавета Сергеевна, когда я возвратился со своей прогулки. — Как вы провели время своего изгнания?

— Кормил ваших карасей. Теперь мне незачем всматриваться в ваше лицо: я узнал, сколько вам лет. Но зачем же вы говорили, что вы не обманываете?

— Это не был обман, Елисей Яковлич: если бы я говорила, что мне сорок лет, я была бы еще ближе к истине. Точно так я хотела поставить вас ближе к истине, когда сказала, что мне было 17 лет во время свадьбы, хоть мне было тогда уже 19, что я прожила с мужем только полгода, хоть я прожила с ним почти год до этой гибельной перекостюмировки. Точно так я ближе к истине, когда говорю, что я вдова, хоть мой муж и жив. Я вдова. Я могла бы говорить: «я схимница». Мы разошлись навсегда. Не потому, что я влюбилась в кого-нибудь, — нет, вы выслушаете, как мы разошлись, — это было три года назад, как вы видите, но вернее было бы сказать, как я показывала вам своими 27 годами и 17 годами, — вернее было бы сказать, что это было десять лет назад, — двадцать, пожалуй, все равно: мы разошлись навеки. Я даже не справлялась, жив ли он, — может быть, я и в самом деле вдова, — впрочем, на что же мне было бы и быть вдовой? Вы увидите, какие чувства я имею к вашим объяснениям, — как мило, однако, что я и вас, Елисей Яковлич, присоединила к ним. Не щажу не только пола, но и возраста.

— Да, меня уж можно было бы и отчислить.

— Я сказала вам, что для меня даже не интересно знать, не осталась ли я теперь и в самом деле вдовою. Но нет, мой муж наверное жив и живет в Петербурге; если бы уехал куда-нибудь, моя тетка, вероятно, написала бы; если бы умер, непременно написала бы.

Когда вы заставили меня прервать мой рассказ, я говорила, что сначала была очень довольна своим маскарадным визитом и даже воображала, будто поняла, зачем мужу хотелось сделать эту шутку. Я наблюдала небольшое общество его близких приятелей, в котором я молча и никого не занимая собою сидела под именем Василия Михайловича Товроговского, моего двоюродного брата; оно состояло из людей действительно порядочных, как я могу судить теперь: тогда я могла понимать только, что разговор их нравился мне своею простотою, непринужденностью, — теперь я знаю, что он нравился мне достоинством, более редким: он был скромен и солиден. Я говорила вам, что была удивлена,

увидев мужчин людьми простыми, безыскусственными, какими я не видала никого, кроме дяди, еще двух-трех стариков, — но старики какие же мужчины? — и моих двух кузенов, сыновей дяди, которые выросли со мною и были почти все равно, что родные братья мне, — братья, опять не мужчины, а братья. Из посторонних, из знакомых, я знала такими простыми людьми только девушек и тех дам, которые нравились мне. Мне было и ново, и странно видеть, что и мужчины не хуже нас. Я уже начала задумываться о том, зачем же они так странно, так натянуто, искусственно держат себя с нами. В это время вошел еще один приятель Тисьмина, — нас тоже рекомендовали друг другу, он тоже был хорошо знаком со мною, и тоже не узнал, — и, поздоровавшись, обменявшись несколькими словами со всеми, он обратился к моему мужу и сказал: «Я очень доволен, что нашел тебя здесь. Мне надо поговорить с тобой о деле; пойдем туда, чтобы не мешать им». — Он и муж ушли. Они служили вместе, и часто у них были деловые разговоры по службе. Так было и теперь. Они просидели в соседней комнате часа полтора, — может быть, меньше, может быть, только час, мне это время пролетело, как пять минут, но никак не больше двух часов, — и в этот час или полтора что было со мною! что узнала и почувствовала я! — когда муж мой вернулся, я была уже навеки отторгнута от него. Не подумайте, говорю вам, что я влюбилась в другого, — о, нет, этого не было со мною: я до сих пор не любила другого мужчину, — но когда он вернулся, — он, один, кого я когда-нибудь любила до сих пор, — я ненавидела и презирала его. И какими простыми, обыкновенными словами был произведен во мне такой переворот! самыми обыкновенными для всех, кроме меня и всех, подобных мне.

Прежний разговор прервался от того, что вошел новый гость и через минуту увел с собой одного из прежних. Завязывались новые разговоры, но еще не завязалось такого, который привлек бы к себе все внимание. Вспомнили и обо мне, — я сидела уже совершенно свободно, — они увидели, что застенчивый юноша осмотрелся, что теперь можно не оставлять его молчать; Тисьмин спросил меня: «Прежде бывали ли вы когда-нибудь в Петербурге?» — Другой спросил: «Не думаете ли вы завтра побывать на выставке Академии художеств? Если для вас удобно, отправимся со мною, — я там буду, с двумя-тремя молодыми художниками, они пояснят нам многое, чего мы не заметили бы сами». Я помнила, что муж рекомендовал меня, как юношу, который еще никогда не был в Петербурге и завтра уезжает, — поэтому отвечала, что не была в Петербурге и жалею, что не могу отправиться в Академию, — на это Тисьмин сказал: «А ваша кузина, Лизавета Сергеевна Крылова, никогда не была в Москве; итак, вы познакомились с нею только ныне?» — «Да», — сказала я. «Как она понравилась вам?» — спросил другой. «Так себе», —

отвечала я. «Значит, вы очень строгий судья: она милая дама», — заметил третий. «Я мало ее знаю», — отвечала я. «Если бы узнали больше, то полюбили бы», — сказал Тисьмин, и другие сказали то же: пошел разговор обо мне, такой, что я уже была очень, очень благодарна мужу за этот визит: они все отзывались обо мне с расположением, хвалили мой характер, мою любовь к мужу, сказали мне, ее кузену, — что по крайней мере, конечно, я заметил же, что моя кузина очень неглупа, — даже умна, хоть, разумеется, плохо образована, как все подобные ей девушки, «получившие хорошее образование», как это называют, но что мой муж, надобно отдать ему справедливость, очень хорошо заботится о моем развитии, — на это я теперь уже с полным пониманием своих слов сказала, что это замечено мною и что я вижу, что он стоит любви своей жены.

Я была чрезвычайно довольна: я услышала о себе то, что было не комплиментами, а искренним, хоть и деликатным отзывом; меня не называли ни ангелом доброты, ни чудом красоты, — но ведь я же вам говорила, что я от природы не была глупа и пуста, — я, мне кажется, готова была прыгать от удовольствия, слыша о себе правду не блистательную, но хорошую — и правду. «Он очень умно сделал, что женился на ней», — говорили все и, поговорив обо мне минут пять, стали переходить к другим предметам. Но мне хотелось побольше узнать, что думают обо мне, и я сказала тому из моих знакомых, который сидел ближе ко мне, Астахову: «Не знаю, хорошо ли он сделал, женившись на ней: он мог сделать партию более выгодную, и она не кажется мне так хороша собой, чтобы предпочесть ее Надине N», — я назвала фамилию девушки, которую считала своею соперницей, прежде чем стала невестой. «M-elle N? — сказал Астахов, налегая на слово *mademoiselle*. — зачем, я не поняла тогда, — слухи, дошедшие до вас в Москве, были ошибочны: Крылов не только не думал жениться на ней, даже и не ухаживал за ней, он тогда любил другую». — «Кого же?» — спросила я, довольно хорошо сдерживая свой голос, готовый задрожать. «Кто она? — сказал с снисходительной усмешкой Астахов, — действительно, вы слишком юноша. Об этом нельзя спрашивать. Ее имя известно не всем тем, которых вы видите здесь, хоть мы все близкие приятели между собой и с Крыловым. Ее имя никогда не было произнесено между теми из нас, которые знают это имя, — они знают его только случайно, — и не от Крылова. Я знаю ее имя от нее. Тисьмин также. Знают ли другие, я не знаю». «Как же это? Я вас не понимаю, Астахов, — сказала я, — о Надине N вы говорили так прямо, — а это имя не должно быть произносимо? Почему же? Я не вижу разницы». — «Разница нашего разговора о *m-elle N* (он опять налег на слово *m-elle*) и этой даме — очень велика. Какая-нибудь Лизхен, Лотхен скоро объ-

яснит вам в Гейдельберге эту разницу между «ухаживать», «думать жениться» и «любить».

Я чувствовала, что я бледнею и дрожу, но уже довольно смерклось, а главное, Астахов ничего не предполагал, поэтому не заметил того, что я несколько побледнела, но я еще могла довольно хорошо владеть своим голосом. «Я все-таки не понимаю вас, Астахов: почему же мне нельзя было спросить имя женщины, которую любил или любит кто-нибудь?» — «Далеко не всегда нельзя, — отвечал с прежнею менторскою улыбкою Астахов, — мы все говорили о вашей кузине и о том, что наш общий приятель Крылов любит ее; точно так же вовсе нет надобности скрывать имя Жозефины, которую он любил прежде, чем узнал даму, имя которой вы не услышите от меня». — «Вы клеветник!» — сказала я задыхающимся голосом, схватив его за руку.

Ужасное выражение, какого я никогда еще не видывала ни на одном лице, пробежало по лицу Астахова: тут был испуг, удивление, мучение совести, злоба, страшная злоба, и жалость, все вместе, — но только на миг пролетело это дикое выражение по его лицу. — «А вы кто? — сказал он тихо, шопотом: — молчите». Он пожал мою руку и прибавил громко: «Пожалуй, пойдете, Товроговский; и я устал сидеть». Он встал, снова пожав мою руку, как жмут, чтобы выразить: «делайте то, что я говорю». Я встала, и мы пошли по саду. «Ради бога, молчите, Товроговский», — шепнул он, когда мы отошли несколько шагов. Мы шли и шли, — вышли из сада, перешли дорогу, вошли в парк. «Садитесь, Товроговский, теперь мы отошли довольно далеко и можем говорить». Он указал на скамью, я машинально повиновалась. «Слушайте меня и старайтесь удерживаться от слез и криков, Лизавета Сергеевна: не нужно, чтобы слышали. То, что я говорил вам, пустяки. Но теперь надобно говорить серьезно. Я страшно виноват перед вами и перед вашим мужем. Он не потребует, чтобы я просил извинения у него, — он сам виноват, — или вы выдумали эту мистификацию? Но все-таки он должен был объяснить вам, что не следует делать этого. Впрочем, я готов просить извинения и у него. У вас я прошу прощенья: дайте мне вашу руку и простите». — «Нет, — сказала я, — я презираю вас, вы низкий клеветник; вы говорили мне комплименты перед его сватовством; вы были влюблены в меня. Вы узнали меня давно, вы хотели поссорить меня с мужем вашею клеветою». — «Я влюблен в вас, Лизавета Сергеевна? Вы забыли, что я жеманюсь на одной из ваших подруг. Я хотел ссорить вас с мужем, моим другом? О, конечно, я мог ухаживать за вами, когда ни вы, ни я не были серьезно расположены ни к кому. Это светская игра. это танцы — не больше. Но будем говорить серьезно».

И он стал говорить мне то же самое, что я через час услышала от мужа. Мужчины не девушки, — общество не налагает на них тех условий морали; шалости, интриги с Жозефиною или Сашею,

Дашею — не любовь; и увлечение какою-нибудь кокеткою — не любовь. Мой муж никого не любил прежде, чем полюбил меня. — Астахов говорил тихо, скромно, но твердо, как брат, как старшая сестра, говорил просто, понятно, — но понятно для человека, для женщины, а не для девчонки, хоть и замужней, не для дурочки. Я сидела молча. Он говорил и говорил, — я слушала, не отвечая ни слова: ему показалось, наконец, что я должна была понять. «Простите ли вы меня теперь, Лизавета Сергеевна? — сказал он. — Если да, дайте мне поцеловать вашу руку». И он хотел взять мою руку. «Прочь! — сказала я, отталкивая его руку, — вы так же гадки мне, как мой муж. Довольно. Я уезжаю. Я не хочу видеть Тисьмина и других. Вы сами сказали, вы все такие. И они такие же, как мой муж. Вы позовете его ко мне. Идите вперед. Пусть он выйдет ко мне навстречу по той дорожке, по которой шли мы сюда и пойдете вы теперь». Он стал было опять уговаривать меня. Я остановила его на первых словах: «Я сказала: довольно. Вы гадкий человек, — но должны же соблюдать хоть приличия. Я для вас то же, что Жозефина и Саша, — как и ваша невеста. Но условия света, которых вы не можете нарушить, милостивый государь, все-таки дают мне право приказывать вам молчать: вы не унтер-офицер, чтобы не повиноваться даме. Идите и сделайте то, что я вам сказала».

Он вздохнул и быстро пошел вперед. Я едва могла итти, мои ноги готовы были подкоситься, раза два я должна была останавливаться и держаться за дерево. Вся сила покинула меня, когда присутствие другого не внушало мне гордой, холодной твердости. Но вот, — я не прошла еще половину длинной аллеи парка, — передо мною в вечернем сумраке обрисовались вдалеке две фигуры, шедшие мне навстречу: мой муж и Астахов. Увидев меня, одна из фигур повернулась, пошла назад, — это Астахов, — другая фигура, пожав руку удаляющемуся, продолжала быстро итти; — так, это мой муж; через минуту мы сошлись. «Прости меня, Лиза; я один виноват; я ошибся; но ведь мы уже почти год живем вместе; мы столько говорили; я не думал, что ты все еще...» — «Молчите. Я не желаю слушать ваших объяснений, m-g Крылов». — «Но, Лиза...» — «Прошу вас молчать». Мы шли молча. «Прости, Лиза: я...» заговорил было он, когда мы переходили дорогу в сад дачи Тисьмина. — «Я просила вас молчать».

«Очень жаль, Тисьмин и вы все остальные господа, что я должен уехать и взять с собою Васю, — женатому человеку нельзя слишком долго засиживаться с приятелями: Лиза сидит дома одна».

«Отправляйся, братец, не удерживаю, — сказал Тисьмин: — очень приятно было познакомиться с вами, Товроговский, — когда-нибудь вернетесь из вашего Гейдельберга: тогда прошу не забыть, что мы знакомы». Я отвечала, как следует. Никто ничего не подозревал. Через месяц даже имя Товроговского было за-

быто всеми, кроме Астахова, которому трудно было забыть, — он долго горевал.

На дороге мой муж стал говорить. «Прошу вас, молчите. Успеете наговориться, когда я попрошу вас об этом. Вы напоминали мне, чтобы не делать сцен при посторонних. Пошадите же меня от ваших объяснений при кучере».

Мы приехали домой. Я не умею передать вам, какая ненависть, какое презрение к мужу кипели во мне. Но я умела сдерживать себя. Я спокойно переделалась при помощи горничной. Надев пеньюар, сделавшись опять Лизаветой Сергеевной Крыловой, после этого гадкого губельного маскирования, — Крыловой! мне теперь гадка была эта фамилия: я загрязнилась, приняв ее, — я послала горничную сказать мужу, что я прошу его к себе, и сказала ей, что больше она не нужна мне, может итти спать.

«Теперь прошу вас сказать, что вы имеете сказать в свое оправдание. Вы сто раз говорили мне, что никого не любили до меня».

Муж начал говорить. Я слушала. Мне были гадки его слова, и с каждым словом он становился более ненавистен и гадок мне. Через полчаса я остановила его:

«Я вижу, что и дальше было бы все то же. Все это я уж слышала от Астахова. Вы не имеете ничего другого?»

«Лиза, ты не понимаешь, ты несправедлива», сказал он.

«Я глупа, по вашему мнению. Я очень понимаю это. Дурочек можно обманывать, я это вижу. Но я перестала быть дурочкой, которую можно обмануть. Вы говорите мне гадкие мысли, излагаете мне вашу теорию низкого, грязного разврата — по вашей теории, это не грязь. Мое сердце чувствует не то. Вы уверяли меня, что никого не любили до меня. Правда ли, что вы уверяли меня в этом?»

«Да, Лиза, и я говорил то, что чувствовал. Ты ребенок, ты несправедлива».

«Вы говорили, что чувствовали? Это очень мило. Только, зачем же ваши чувства внушали вам обман?»

«Лиза, это не обман».

«Вы мужчина; вы опытнее и образованнее меня. Но позвольте мне руководиться моими глупыми, зато необманчивыми чувствами. Сколько женщин были моими предместницами? Я не любопытствую теперь: мне все равно, сколько их было, кто они были. Возвратитесь к ним. Я не жена вам. Я не буду делать сцен для посторонних. Я буду держать себя при других так, что не будет скандала. Но только при других. Я хозяйка этой квартиры. Я буду исполнять обязанности хозяйки. Теперь я прошу вас уйти».

«Лиза, ты позволишь мне просить у тебя объяснения завтра. Теперь ты слишком взволнована. Настаивать теперь было бы только раздражать тебя. Но завтра, Лиза, ты будешь спокойнее. До свиданья, Лиза. Старайся успокоиться, и мы помиримся. Дай руку, до завтра».

«Руку? Зачем? У вас найдется столько рук, которые обнимали вас, что жать мою руку — лишнее. Но ваше кольцо возьмите, вот оно». — Я сняла обручальное кольцо и подала ему.

«Нет, Лиза, лучше до завтра. Прости, мой друг». — Он ушел.

Как я провела эту ночь, нечего говорить. Впрочем, у меня были и занятия. Я перебирала его письма ко мне, — их было немного, — нам никто не мешал видиться до нашей помолвки; после свадьбы мы не провели ни одного дня врозь. Но все-таки нашлось несколько коротеньких записочек о том, что он достал билет в оперу, присылает какую-нибудь книгу. Я перечитывала их, — слова ничтожные, обыкновенные: «мне было приятно исполнить ваше поручение, Лизавета Сергеевна», «прочтите эту повесть: понравится ли вам Вера? Печорин — не герой нашего времени, он отжил свой век, не увлекайтесь им; но я, если бы я встретил Бэлу, — ни я, никто из нас не скучал бы с ней» — эти простые слова, ничего не значащие для других, что они значили еще недавно для меня, вы понимаете; я презрительно улыбалась теперь, перечитывая и припоминая: все было загрязнено, стало отвратительно мне. Я жгла записки одну за другой. Это доставляло мне наслаждение, едкое, но заманчивое.

Впрочем, что же задерживать вас? Вы устали, Елисей Яковлич, а главную часть моей истории я уж и рассказала. Остальное — понятно вам. Так ли?

— Понятно. Мне жаль вас и вашего мужа. Он хороший человек. Он не обманывал вас, когда говорил, что любит вас первую.

— Вы так думаете? Это хорошо, — сказала она равнодушно.

Я не мог понять, что значат эти слова: «это хорошо» — понимает ли она теперь, что убила себя и его задаром? Или она продолжает считать себя правую? Обидный сарказм надо мною или отчаяние позднего раскаяния это ледяное: «Вы так думаете? Это хорошо»?

— Да, я так думаю, Лизавета Сергеевна; а вы как думаете?

— Я как думаю? Быть может, вы согласитесь со мною, что это не интересно. Дослушайте меня. Мне остается сказать только несколько слов.

— Я угадывал бы их, если бы и не знал, что вы живете как вдова и что все считают вас вдовою. Вы разошлись.

— Да. Но он принудил меня к этому. Я сдержала бы свое слово: осталась бы хозяйкою нашей общей квартиры, но я не могла быть в ней ничем больше. Он не оставил мне возможности избежать наружного разрыва, которого я вовсе не хотела. Я не люблю нарушать формы. Он принудил меня.

Ему казалось, что мое новое чувство к нему — мимолетное раздражение, которое успокоится, что я вспылала, обиделась. Нет! Он и тут все еще не понимал, с кем он имеет дело. Я не была в пароксизме обидчивости или ревности. Мне не к кому

было ревновать. Я знала, что теперь у меня нет соперниц и не может быть. Но он обманул меня, он грязнил меня своим прикосновением. Я не хотела, чтобы ко мне прикасались грязные руки. Не в моей натуре терпеть грязь. Я не считаю этого недостатком в себе.

— Но ваши слова страшны, Лизавета Сергеевна. Это требование безрассудное. Это требование гибельное даже для чистоты сердца и рук. Кто хочет видеть людей такими, тот сам не понимает, какие вещи, какие обычаи заменили бы ту сторону жизни, которой он возмущается и которой я, впрочем, не защищаю. Она дурна. Но...

— Не беспокойтесь учить меня, Елисей Яковлич. Я сама могу учить других.

— Едва ли, Лизавета Сергеевна. Вы держали себя, как ребенок, — и до сих пор восхищаетесь этим.

— Я вас просила выслушать меня, а не порицать. Я не охотница слушать выговоры: теперь мне поздно слушать их.

— Это правда. Погибшего не воскресить выговорами.

— Это слова умного человека, не даром жившего на свете. Только поэтому я и стала говорить с вами, что считала вас таким. Иначе, поверьте, я не стала бы терять слов с вами и отнимать время у вас.

— Лизавета Сергеевна, наш разговор опять принимает странный характер.

— Нет, — холодно сказала она.

— Я боюсь, что вы опять взволнуетесь.

— Нет, — ледяным голосом отвечала она. — Не беспокойтесь за меня. Но, быть может, в ам ответы мои казались жестоки. Если так, — я не намерена пользоваться привилегиями женщины: скажите, я буду просить у вас извинения.

— Полноте, Лизавета Сергеевна: мне, старику, допустить себя до такой мальчишеской забывчивости, чтобы не понимать, что не всякая резкость обидна! Полноте. Я понимаю, как тяжелы вам эти воспоминания, — я только удивляюсь силе характера, которая удерживает вас от более горячих порывов при таком рассказе. Но если я удивляюсь силе вашего характера, то позволю себе сказать прямо: я глубоко сожалею о людях, которые думают и чувствуют подобно вам.

— Почему вы знаете, что думаю и чувствую я сама? Я прошу вас дослушать.

На другое утро муж вошел в мою комнату. «Как вы смели войти сюда без позволения?» — сказала я. — «Лиза, выслушай меня». — «Прошу вас, будьте наедине чужим; при других зовите меня, как вам угодно. Но...» — «Извольте, — сказал он уступчиво, — я буду держать себя, как вам угодно, пока вы согласитесь вспомнить, что я очень люблю вас». Мне стало жаль его, мне было жаль саму себя: «неужели мое счастье по-

гибло безвозвратно?»—«Вы должны знать,—сказала я,—что и мне так же больно, как вам». — «Знаю, Лиза, — сказал он, и я пропустила это слово, — позволь же, моя милая, успокоить тебя» — и эти слова я пропустила. Видите, я не была деспотка и не того добивалась, чтобы исполняли мою волю: нет, я видела, что он только не может говорить мне «вы», не может отбросить привычку к таким названиям мне, как «Лиза», «моя милая»; вы видите, я была мягка, снисходительна. «Говорите, — сказала я, — вы знаете сам, как мне хотелось бы убедиться, что я напрасно чувствую к вам то, что чувствую теперь. Убеждайте меня, вразумите меня, я буду рада, вы знаете».

Он начал говорить. Опять то же. Что ж мне было делать, если я не была властна над собой? Я долго слушала, терпеливо, внимательно, — но нет, нет: напрасно слушать; только еще хуже оттого, что слушать. — «Перестаньте, — сказала я, — нет, нас разделяет бездна. Я прошу вас уйти». — «Неужели ты только это и скажешь, Лиза? После всего, что я говорил тебе? Ты все еще не понимаешь меня, мой друг». — «Мы не можем понимать друг друга, — сказала я, — наши сердца различны. Я прошу вас уйти». — «Нет, Лиза, — сказал он, — у тебя не каменное сердце. Пожалей себя. Я старше тебя, опытнее. Поверь, ты напрасно огорчаешься. Лучше давай мириться». Он подошел ко мне, мне показалось, что он хочет взять меня за талию и поцеловать. «Прочь! прочь! — закричала я в порыве отвращения, — вы забываете, что вы гадки мне! Прочь!»

Он вздохнул и отошел. «Напрасно, Лиза. Но ты видишь, я слушаюсь тебя. Мне жаль, что ты все еще мучаешься и мучаешь меня. Каждый час до нашего примирения — напрасный час огорчения и мне, и тебе. Но я знаю, что надобно ждать, я буду послушен, Лиза. Я уйду. До завтра, — да? Ты позволишь мне завтра возобновить наш разговор?» — «Если вы завтра не будете иметь сказать ничего другого, кроме того, что я уже три раза слышу от Астахова и потом от вас, то напрасно нам возобновлять разговор».

Как прошел для меня этот день, все равно. Впрочем, я читала, и со вниманием, с интересом. Я брала журналы, брала самые легкие романы, брала самые смешные романы, — все напрасно: глаза пробегали по строкам, и я бросала книгу за книгу, перевернув две-три страницы, в которых не поняла ни одной фразы; и вдруг мне вспомнилась одна сцена, — первая сцена книги, которую начала было я читать вместе с мужем, по его желанию, и которую попросила его бросить: так скучна показалась она мне, — за неделю, за две до этого дня. Теперь мне почувствовалось будто что-то родное в этой сцене, я схватила «Лелию» и начала перечитывать: да, это родное мне теперь; я жадно впиалась в эти страницы, и чем дальше читала, тем яснее мне делалось: это родное мне; это не только родное мне, — это

почти я сама; некоторые — многие, очень многие — страницы были прямо обо мне, да, обо мне, и я заснула, я не спала ту ночь, я заснула в эту: ведь я не была больна, я была молода и здорова, я не могла не заснуть, — я заснула, повторяя гимн Лелии: «на реках Вавилонских сидели мы и плакали... мы не будем вам петь песен любви... мы отрекаемся от любви... мы не можем любить вас... убейте нас, или мы сами умрем, но мы не можем любить вас: вы гнусны, вы гадки нам»...

Сон мой был неровен; я раза три, четыре просыпалась, и опять впадала в тяжелое забвение. Я опять открыла глаза — у моей кровати сидел муж. Я вскочила на постели, в ужасе, негодовании: «Вон отсюда! вы низкий человек!» — «Не сердись, Лиза. Не бойся меня. Ты видишь, мне только хотелось взглянуть, спишь ли ты». — «Вон отсюда!» — Он ушел молча. Я не могла больше. Я не была безопасна от него.

— Напрасно, Лизавета Сергеевна: вы были безопасны.

— Почему вы знаете это?

— Какое пальто было на нем?

— Серое. Но почему вы знаете?

— Я не знал, в чем он был: в пальто или в сюртуке...

— Или даже в мундире? Да, вы так хорошо его поняли?

— Да, я понял его. Это не трудно.

— Вы думаете, что вы поняли его? Поздравляю вас. Вы думаете, что это не трудно? Может быть, при известных условиях. Его вы поняли. А поняли ли вы меня?

Она стала смотреть на меня таким холодным, пронизательным взглядом, что будь я покрасноречивее или не будь я так серьезен, я отвечал бы ей: «Понял; вы дочь Торквемады, известного испанского инквизитора, который сжег десятки тысяч моих братьев, кроме десятков тысяч мавров и еретиков; вы дочь этого человека, который имел такую же непорочную чистоту сердца, как вы, — был святой человек, кроме шуток, — и вы тоже святая». Я так и сказал бы в другую минуту. Но я только жалел о ней; и наш разговор был такой торжественный, будто исповедь: я чувствовал, что духовнику неприлично остроумие. Я сказал просто:

— Кажется, я и вас понимаю.

— Уверены ли вы? — сказала она очень грустно.

— Да, — сказал я очень решительным голосом, — ясно.

— Ясно? Что же я сделала по вашему мнению? — спросила она тоном уже какой-то злой насмешки, будто прочла на моем лице противное моему уверению, — что я сделала?

— Поутру вы уехали из вашей квартиры, не сказав ни слова никому, не простившись даже с вашей горничной. Куда вы уехали, я не знаю: в монастырь, к одной из ваших подруг, — я этого не знаю. Но вы уехали. Это не мудрено угадать. — «Однако, как она еще проста! — подумалось мне, — воображает, что задала трудную загадку». И я не ошибся, разумеется.

— Да, вы отгадали. Когда моя горничная пришла одеть меня, меня уже не было. Я уехала к моей тетке.

— Ах, да, ваша тетушка жила в Петербурге. Я и забыл.

— Как легко говорить обо всем, когда... Ну, все равно, что я хотела сказать, — дополнила она с равнодушной грустью.

— Однако, что же вы хотели сказать?

— Что все-таки вы знаете человеческое сердце и что поэтому я не раскаиваюсь, что говорила с вами откровенно, честно, и буду продолжать.

— Лизавета Сергеевна, никто, никогда не раскаивался в том, что откровенно говорил со стариком, если старик не был глуп и не был бесчестен.

— То и другое, к сожалению, не редкость: бесчестных стариков очень много, а глупых — еще больше.

— Глупые — не старики; я напрасно так обидел своих компаньонов по старости лет: глупые люди с седыми волосами — седые мальчишки, но не старики.

— Однако вы стоите за своих.

— Нельзя же. Но не за своих, а за правду.

— Мы разошлись, то есть я уехала к тетке. Он стал просить их помирить нас. Он несколько раз приезжал к ним. Я не хотела его видеть. Он присылал мне письма. Я отсылала их назад, не распечатывая. Но меня мучили этим. Я не могла показаться никуда: на каждом шагу я встречала его друзей и бывших моих друзей; они были гадки мне. От моих подруг я слышала сожаления или убеждения. Петербург стал для меня несносен, душен. Через два месяца я взяла с собою Лидиньку, — тогда ей было 14 лет, — уехала в эту деревеньку, где никто не знал обо мне ничего. Видите, какой славный дом я выстроила. Вы еще не видели его? Осмотрим. Кто строил, любит хвалиться своею постройкою. — Пойдем.

Мы обошли дом. Я хвалил его, потому что он действительно недурен.

— А вот здесь будет происходить история Лидиньки, до которой все еще не добралась я, заговорившись о себе. Вот ее комнаты: видите, эта, которая рядом с моей, точно такая же, как у меня. Вот эта дверь — дверь между ее и моим будуаром, если стоит выражаться так пышно, или проще: между кабинетом ее и моим. Но она заперта. Я не люблю, чтобы мне надоедали. Итак, из моего кабинета в ее надобно проходить, как мы идем, через столовую. Вот другая комната Лидиньки, — опять точно такая же, как моя: уборная с трюмо, с ванной, с гардеробом, как у меня; дверь из уборной в кабинет также, как у меня, с шерстяною зеленою драпировкою. Видите, в обеих комнатах ковры, как у меня, так что паркет виднеется лишь в том краю кабинета, который к моей двери, — и дверь эта у нее также заставлена кушеткою, как у меня. Итак, рядом наши кабинеты; по бокам —

уборные; через уборные у меня и у нее вход из коридоров, которые отделяют нашу часть дома от комнат, занимаемых прислугой; те комнаты — далеко, через сени. Это все надобно вам заметить; тогда и будет понятна глупость Лидиньки и вашего Петра Ульяныча.

В пять минут мы кончили это обхождение небольшого, но уютного и красиво отделанного домика. Лизавета Сергеевна шутила над своим архитектурным и меблировальным талантом.

— Видите, как весела и добра стала я, отделавшись от своей грустной истории; теперь остается только рассказать о детях: они милы и в дурачествах, потому что чисты. Но, — она вздохнула, — все-таки еще надобно сказать несколько слов и о моей истории, — самых важных слов. Вы видите, если поняли меня, о чем я должна еще сказать, — вы видите, что еще не в том, что я сказала вам, причина раздражения, которое вы успокаивали: оно было бы смешно, если бы дело состояло только в том, что я разошлась с мужем. Вы поняли меня?

— Понял, Лизавета Сергеевна: ваш муж очень любил вас; ему очень тяжел был разрыв; вы, тогда еще «девочка», как вы сама себя называли, не понимали важности потери, которую так напрасно наносите ему и себе: детское сердце неспособно так долго и глубоко мучиться, как сердце человека, уже умеющего дорожить любовью. Вы очень бодро перенесли напрасный удар, которому подвергли его и себя. Он — не так бодро. Это вы хотите сказать? Я отгадал его судьбу и ваши чувства?

— Мои чувства? Это вы увидите, отгадали ль вы их. Кто вас знает? Может быть. Его судьбу вы отгадали. Он бросился в то, что я называю грязью. Я оттого и уехала из Петербурга, что мне стали рассказывать об этом, — знаете, обыкновенное сострадание. Даже мой разрыв с ним приписали тому, что я открыла какую-то его измену, как говорят. Вздор. У меня не было соперниц и не могло быть. Приискать наследниц мне — я сама пригласила его.

— Вы опять говорите страшно, Лизавета Сергеевна. Вы опять холодны в своей непорочной бесчеловечности, — бесчеловечности, иначе нельзя сказать.

— Вы думаете, что я бесчеловечна? — Очень рада. Поздравляю вас с прекрасным мнением обо мне, — сказала она насмешливо.

— Да что ж это такое? Вы сама на себя не похожа, Лизавета Сергеевна: добрая, простая женщина — и такой зверь, что это?

— Ну, не буду больше зверем, не беспокойтесь. История моего разрыва с мужем кончена, кажется? Как вы думаете? Разъехались. Прожили три года врозь. И кончено. Довольно, я думаю. Так? Это последний «зверский», как вы говорите, вопрос. Так ли?

— Так, Лизавета Сергеевна, — сказал я, думая: «однако нервы у нее все еще не успокоились».

— Что вы так спокойно смотрите на меня? Вы очень много отгадали; но будто и я не могу отгадывать? — Ну, с чего вы взяли, что я так странно порываюсь от расстройства нерв и особенно, что они не утихли после пароксизма и что смешна истерика с бабою плотного сложения, как я, — с чего вы все это взяли? Я совершенно здорова и желаю всегда иметь нервы такие крепкие, как теперь. Просто самый рассказ был таков. Тяжел. Вы чувствуете, что он кончен. Так? — Она приостановилась. — По вашему лицу видно, что я угадала: с вами очень легко говорить. Вот поэтому вы видите, как я становлюсь добра и мила, когда, наконец, начинаю говорить о том, что невинно и смешно. Надобно же вознаградить вас смехом за дурные впечатления, да и себя показать вам в виде более привлекательном для вас — ангела кротости; я очень добра, поверьте, и во мне нет охоты к злым мыслям.

Первые слова она говорила каким-то странным тоном, едким, злым, и я совершенно не знал, что это такое опять, за что она злится, будто бы и на меня, — за что же на меня-то? Я спокойно молчал, когда она приостанавливалась, спрашивая: «так?» — «Конечно, так, но зачем же приставать ко мне? — говорило мое лицо, — я ли советовал вам расходиться с мужем? Или вы думаете, что я его агент, приехавший мирить вас с ним? Нисколько; вы знаете, что я не знаю его, не слыхивал ни о нем, ни о вас. Успокойтесь. Я не желаю быть ни вашим, ни его агентом, — у меня много своих дел». Она успокоилась и потом продолжала более ровным тоном, а конец своих слов договорила уже совершенно добродушно.

— Я люблю детей, — продолжала она мягким, задушевым голосом, — и на все готова для Лидиньки; наверное, вы сделали бы выговор, когда я только засмеялась. Да и не стоило выговора. Никак. Лидинька сама потом расчувствовалась, — дитя, слезы дешевы, — и я уже утешала ее: не о чем было огорчаться. Только смех. Но забавно, я согласна. Я разинула рот и расхохоталась такой изобретательности этой шалуни. Костюмировка была придумана ею очень недурно и мило. Право. Милые, милые лета, когда все светло и чисто. Только смотришь, и то весело.

Когда вы отвлекли меня от рассказа о детях вашими выговорами за мою строгость к Лидиньке, я уже сказала вам, что измучилась хлопотами над уборкой комнат для моих молодых, опасалась, не простудилась ли от сквозного ветра, пошла домой пешком, от этого еще больше устала, так что, когда пришла домой, не занялась, по своему обыкновению, распоряжениями перед обедом, а поскорее разделась, взяла книгу и легла отдохнуть, пока придет к обеду Петр Ульяныч. Через несколько минут из той, дальней комнаты послышался голос Лидиньки —

она с огорчением громко вскрикнула: «ах, какая досада! коса упала!» Я не обратила на это внимания и продолжала читать. Минуты через две опять из той же комнаты Лидинька сказала, — знаете, шутивным плаксивым голосом, которым любят говорить молоденькие веселые шалуни: «Веринька, я не слажу с ко-сою!» — «Что, Лидинька?» — отвечал Алферинька из соседней со мною комнаты Лидиньки. «Вы не слышали, что я говорю? Несносный! Чем же вы заняты?» — «Смотрю эту книгу с гравюрами, которую взял у Лизаветы Сергеевны: прекрасные гравюры, Лидинька!» — «Ну, пусть прекрасные. А у меня коса упала, и я не слажу. Не знаю, как быть. Помогите, Веринька». — «Да как же, Лидинька?» — «А вот как: я просуну к вам голову, вы и уложите косу». — Что это такое? Зачем и как она станет просовывать голову? — подумала я. Но голоса утихли, и я продолжала читать. «Ах, все не умеете. Какая мудрость уладить косу!» — сказала через минуту Лидинька. — «Да ведь неловко же, Лидинька». — «Так как же быть? Господи, какая скука! — произнесла плаксивым тоном Лидинька; — хорошо же, знаю, как, — прибавила она с самодовольствием. — Теперь мы упрямимся с косою, — заговорила она через несколько секунд, уже в этой соседней комнате; — а нравится вам пеньюар, Веринька?» — «Очень», — сказал Веринька. — «Видите, какая я умная: поэтому во всем слушайте меня». — «Я и так во всем слушаю вас, Лидинька». — «Во всем! — А давеча кто не соглашался надеть пеньюар? Лиза вас обратила в свою веру своею моралью». — «Что же, Лидинька, она обо всем говорит хорошо. Да я и сам не люблю этого». — «Она говорит все глупости. И вы не лучше ее. Потому вы оба с нею часто выводите меня из терпения». — Умница моя Лидинька, не правда ли? — смеясь, прибавила Лизавета Сергеевна.

— Как следует. Только я не люблю слишком строго судить о таких умах.

— Вы так думаете, Елисей Яковлич? Это хорошо, хорошо, — мы, я вижу, совершенно сошлись с вами. Однако я посмеюсь же над вами, Елисей Яковлич, как вы себе и представить не можете! Я чуть не умерла со смеху, когда увидела, даже не могла побранить ее, да она потом и заметала меня словами, когда я стала говорить, — вы увидите: я же, по ее мнению, вышла кругом виновата.

Вот, произнесши такой суд надо мною и Веринькою, что мы выводим ее из терпения своими глупостями и что, по крайней мере, Веринька должен слушаться ее, рассудительной девицы, если уж я отбилась от рук у нее, Лидинька тотчас и отдала приказание Вериньке: «Горничная, убирай же мне голову, что ты стоишь, сложа ручки? Что барышня добрая, так и ленишься?» — Ясно: нарядила Вериньку в пеньюар и заставляет его причесывать голову ей. — Бедный Веринька! — подумала я. Разговор

прекратился, я продолжала читать. — «Прекрасно, душа моя, Вера: хоть бы той, другой моей горничной так причесать меня, и то я похвалила бы ее», — произнесла Лидинька через минуту одобрительным тоном. Понятно: стоит перед зеркалом и рассматривает, хорошо ли положена коса. И Веринька уже переименован в Веру, — не правда ли, и короче, и лучше?

— «Вера Алексеевна Сырнева», — сказал я, смеясь. — «Вера Алексеевна Сырнева!» Мило.

— А что вы думаете? К нему очень шло бы это! Красная девушка. Лидинька, как представительница молодого поколения, имеет силу ближе нас подходить к истине; да, мы и стары, и опытни, а они, дети, глупенькие, ничего не понимающие, понимают лучше и больше, чем мы.

— Вы смеетесь, Лизавета Сергеевна, а ведь и кроме шуток так. То, что выработано нами, достается им готовое, и им легко продолжать нашу работу.

— Я смеюсь над этим? Нет, далеко не совсем; нет, я и смеюсь, и не смеюсь, все равно, как вы. Конечно, молодое поколение должно быть. Впрочем, мы зафилософствовались, — а вы дослушайте, какую философию преподала мне моя Лидинька, когда я вздумала было заметить, что она дурачится не по летам.

— Да ведь не стоило и замечать, Лизавета Сергеевна: ведь Лидинька была права: сколько я до сих пор слышал, шалость ее была не только невинная, — еще бы нет! — даже и не имевшая в себе ничего такого, за что можно было бы сделать выговор.

— Конечно, еще бы нет! Но вы знаете, обязанность воспитательницы — старшей сестры — требует иногда делать серьезную мину, когда в душе смеешься.

— И даже чувствуешь охоту сама начать играть с ними?

— Нет, — с тихой грустью сказала Лизавета Сергеевна, — по летам, может быть, еще и непрочь бы; но вы знаете теперь мою жизнь, — всю, или почти всю. — Она вздохнула. — Но оставим эти мои воспоминания о минувшем: оно решено судьбою безвозвратно... Слушайте о детях; и мне, и вам это будет веселее. И вот я понимала, — не трудно было понять, — моя Лидинька стояла перед зеркалом и смотрела, хорошо ли лежит коса. «Веринька, вы опять уткнулись в книгу? Что это такое? — сказала она через минуту (налюбовавшись своею прическою). — Ах, какие глупые картины! Охота вам!» — «Ведь это произведения искусства, Лидинька». — «Ах, ваше искусство — скучно и глупости. Все глупости. А, впрочем, вот эта картинка еще ничего, можно смотреть. Это кто?» — «Магдалина». — «Кто это?» — «Она спасается. Видите, молится». — «Постойте, стойте. Смотрите в книгу. Теперь смотрите на меня. Похожа?»

— Лиза, чай пить! — В комнату влетела Лидинька.

— Рекомендую вам, знакомы? Нет? Раз виделись только? Это Лидия Сергеевна, которая сожалеет, что я отбилась от рук

у нее. Лидинька, доскажи, пожалуйста, свою историю Елисею Яковличу; ты знаешь, он тоже на твоей стороне, как и твой Петр Ульяныч.

— Ах, Лиза, какая ты... неужели ты ему... не слушайте ее, Елисей Яковлич, она... Лиза, пожалуйста, молчи. — Бедная Лидинька не знала, что ей делать. — Елисей Яковлич, я расцелую вас, только не слушайте Лизу, пойдемте лучше к нам.

— Если ты не хочешь рассказывать, Лидинька, я попрошу Петра Ульяныча: он расскажет.

— Лиза, ради бога... — Лидинька бросилась целовать сестрицу: — пожалуйста, не говори.

— Нельзя, Лидинька. Если ты не хочешь, Петр Ульяныч расскажет.

— Ах, боже мой, да что ж это такое! Лиза! Пожалуйста! Ну, уж лучше я: Пьеру будет еще стыднее. Лучше я. Да нет, молчи, Лиза, пожалуйста.

— Да что же молчать? Что ты переодевалась?

— Ах, это! Ну, это я сейчас расскажу вам, Елисей Яковлич. Это сейчас. А я думала, ты хотела рассказать, как побранилась за меня с Петром Ульянычем.

— Нет, не это. Ну, хорошо, я расскажу сама. Вели дать нам чай сюда. — Лидинька убежала в восторге, что не будет рассказано мне, как сестра ссорилась с ее Пьером.

Подали чай. Мы в это время говорили о том, какие караси в пруду и какие хлопоты со свадьбами. Когда слуга унес последние чашки, Лизавета Сергеевна сказала:

— Теперь продолжаю, это забавно. Итак, Лидинька спрашивает, похожа ли она на кого-то. «Да, — отвечает Веринька, — вы точно так стали на колени и сложили руки, но у ней тут на картине правое плечо несколько открыто». — «Ах, боже мой, да в этом пеньюаре нельзя же сделать, чтобы плечо было открыто, — возражает Лидинька, — и это глупость. Когда молятся, то не с открытыми плечами. Открытые плечи бывают для бала, когда танцуют. Это глупо нарисовано, Веринька. Ах, Веринька, что я вздумала! Идите в ту комнату. Книгу оставьте здесь. Себе возьмите другую какую-нибудь». — Понятно: хочет наряжаться. Понравилось стоять перед зеркалом. Несколько минут я слышала по временам ее суждения о ней же самой: «Это так, нет, не так, а вот теперь так». — Вдруг громко: «Вы читаете, Веринька? Идите, взгляните. Кто я?» — «Ах, как это мило! Норма!» — «Да, угадали. Ступайте опять читать». Минуты через три опять таким же способом вызывается публика, то есть Веринька, и спрашивается: «кто я?» — «Коринфская невеста», — отвечает публика. — «Как это вы угадали?» — «Да ведь я раз пять уже пересматривал эту книгу». — «Ступайте опять читать», — отпускает публику моя Лидинька. Опять: «Идите сюда. Кто я?» — «Рахиль у колодца». Потом моя Лидинька по-

казывала себя публике в виде «Дамаянти», «Ветурии, матери Кориолана», даже «Семирамиды», кажется...

— Все самые почтенные виды.

— Ах, еще бы нет! Потому дети и дети, потому они и милы, что они благородны, — что им недоступно даже понятие неблагородного или дурного. Так ли вы понимаете детей?

— Вы хотите сказать: в ком есть нечистая мысль, тот или та не дитя, сколько бы лет ни было ему или ей.

— Да, хоть бы меньше десяти лет.

— Но и лета важны.

— Кто же вам говорит нет? В 15 лет почти всякий человек дитя; за 20 лет, — лишь очень немногие, — дурочки, чаще всего.

— Будьте же добра, не забывайте обещания: зачем «дурочки»? Это очень хорошие, самые хорошие люди.

— Правда, — сказала она, опять вздохнувши. — Но мне стало весело, слыша из-за стены эту игру, и мне захотелось быть публикой. Я пошла в комнату сестры... разумеется, напрасно: дети стесняются присутствием старших; Лидинька, несмотря на мои просьбы, прекратила свою игру. Я знаю, что вы хотите заметить, Елисей Яковлич: «при мне мои дети не стесняются, — хотите вы сказать, — и ваша сестра стеснялась вашим присутствием не потому, что вы не дитя, а потому, что вы резонерка, педантка», — может быть, я не хочу спорить; видите, и я умею отгадывать. Но, прошу вас: не прерывайте меня. Я добрая, и теперь не хочу не быть доброю. Если что-нибудь в моих словах Лидиньке покажется вам лишнею, мелочною морализацией, — пропускайте молча: может быть, я слишком формалистка, педантка; но я все-таки добрая, вы видите. Будьте же снисходительны к моим недостаткам, будьте, будьте, — прошу вас. Не будете прерывать?

В ее голосе была смертельная тоска при этой мольбе: «будьте снисходительны, — будьте!»

Я давно чувствовал большое, искреннее расположение к этой бедной жертве своей непорочной нетерпимости, к этой «дочери Иеффая», — так я уж назвал ее в моих мыслях: — «оставляю вам завет мой, вы, старейшины израилевы, и ты, отец: пусть каждый год собираются дочери израилевы в эти горы плакать обо мне». И какая была ее судьба? Умерла ли она жертвою на торжестве всежжения, или, как толкуют другие, только удалась в пустыни гор? Жива ли она? Может ли она возвратиться в шатры израилевы? Надобно говорить с нею; может быть, она жива.

— У вас один недостаток, которого я ни за что не извиню, Лизавета Сергеевна: вы слишком раздражаетесь противоречием. И точно, вы правы: не для чего противоречить вам, вы деспотка по природе; надобно безмолвно исполнять вашу волю, если нельзя взять вас в ежовые рукавицы. А стоило бы, — начал я лишь отчасти шутливым тоном.

— Не удастся вам рассердить меня теперь ничем. Но серьезно, не будете прерывать? Я прошу вас молчать. Будете?

— Пожалуй, буду. — «Какая гордая! ей нельзя помочь», увидел я.

— За это вы милый. Я вам сказала, что видела только одну из живых картин, которые представляла Лидинька, и что мое появление прекратило эту детскую игру, очень милую. Я посмеялась, поцеловала шалунью, но все-таки попросила ее дать лучше мне самой рассказать Петру Ульянычу эту шутку. И я была права: рассказывать не стоило бы, но я знала, что Лидинька не утерпит, и Петр Ульяныч будет хохотать, это ободрит Лидиньку болтать вздор, — уж может быть и не об этой игре, в которой ничего не было, а по поводу ее. Я не люблю, когда молодые женщины, — не только девицы, даже замужние, — болтают вздор с молодыми людьми, хоть бы не только женихами, даже уж и мужьями своими. Прицайте про себя меня за формалистику, но вы знаете, почему я такая: жизнь научила меня, потому вы не осудите строго. Через четверть часа приехал Петр Ульяныч к обеду; за обедом у нас с ним был разговор о делах, я совсем забыла об этом вздоре, да и некогда было бы рассказать о нем; а я вам говорила, что поутру я устала, не хотелось самой ехать в город за покупками и распоряжениями, хотелось полежать, отдохнуть; я попросила Петра Ульяныча съездить хоть раз за меня — то есть за него самого — вместо меня, которая все хлопотала обо всем, о чем следовало бы, да, и натурально, некогда было ему хлопотать самому. Он поехал. Лидинька, как следует, надула губы на меня за эту разлуку. Но совесть не очень мучила меня за то, что я так разлучила нежные сердца: не слишком же надолго, к чаю Петр Ульяныч должен был возвратиться, и как можете предполагать, возвратился жив и благополучен; следовательно, большой беды я не наделала. Но к этому времени мне пришла охота помучить Лидиньку. Вы думаете: «Какая мелочность! ребенок дулся на сестру, которая отняла у него прогулку верхом или катанье на лодке с женихом, а старшая сестра, солидная женщина, хочет за это отплатить ребенку тем же, — нашла с кем считаться надуванием губ». Вы могли бы прибавить, если еще не забыли: «Ребенок называл умные (и умные ли еще?) речи старшей сестры глупостями, старшая сестра, солидная женщина, случайно услышала и осталась в претензии». Но что ж, если вы и правы? Я не выставлю себя перед вами ангелом. Так бывает и очень часто, что ж такое?

Да, я была недовольна Лидинькою и вздумала сделать ей наказание тем, что не сама расскажу Петру Ульянычу об игре, которую видела, а заставляю Лидиньку рассказывать ему о ней при мне; я это и сделала, и вот что я называла в начале своего разговора «наказала Лидиньку»; и точно, при мне ей нельзя

было рассказывать с шутками и прибавками, от которых было бы еще смешнее, — надобно было рассказывать серьезно, и это было ей наказанием. «За что?» — вы думаете. «За то, что рассердила старшую сестру» — скажу я. «Ягненок, виноватый тем, что огорчил», помните, там в басне, какого-то злого зверя. Пожалуй, только басня кончилась не так прискорбно: ягненок не только остался цел, даже сам оборвал волка, — вот это и забавно: детская логика, смешная, но сильная. Лидинька доказала мне, что я же кругом виновата, что я действительно и волк, и плохая воспитательница, вводящая в шалость свою воспитанницу, и жених ее вполне согласился с нею, как следует, и тоже взъелся на меня. Не оправдаете ли хоть вы? — Да нет, — вижу, тоже осудите. Серьезно, Лидинька была причиною того, что у меня с Петром Ульянычем произошел страшный разговор; это любопытно, и хорошо тем, что все вздор, стало быть смешно. Да, надобно вам сказать, что Лидинька потихоньку от всех в доме, кроме кучера, у которого взяла лошадь, уехала встречать жениха и вернулась вместе с ним.

— Так вы за это и рассердились? Вот что!

— Вы забываете ваше слово слушать молча. («Действительно деспотка, — подумал я, — но не от природы, от природы она добрая, это видно, а оттого, что дочь Иеффая: страдает за весь народ израильский, и народ должен благоговеть».)

Когда Петр Ульяныч возвратился, я посмотрела его покупки; ничего, хоть за трип для дверей передал лишнее, так и быть, нельзя же без этого: еще не выучился торговаться, нельзя не ошибиться. Потом, давши моим сокровищам доцеловаться после разлуки, — на дороге не успели, я говорю: «Лидинька, расскажи, пожалуйста, как вы играли с Веринькой; при мне это будет гораздо интереснее, чем без меня. Петр Ульяныч, порадитесь: ваша невеста вполне соответствует вашему принципу: «эманципирование женщины». С этих же слов Петр Ульяныч уже приготовился защищать угнетаемую свою невесту.

«Что же такое, Лиза? — храбро отвечала Лидинька, — разумеется, лучше, если я расскажу, а не ты; ты — ведь я тебя знаю — не все сказала бы, по-твоему — я виновата, и ты все не можешь сообразить, что Пьер не такой педант, как ты. Но, разумеется, лучше бы я рассказала без тебя: тогда было бы гораздо смешнее. А ты ведь все это находишь непозволительным: смеяться — это нельзя при тебе, при тебе надобно строить серьезную мину; ты и Пьера замучила этим, и он тебя боится». — Да-с, Елисей Яковлич, вот какая я: не замечали вы, что ваш приятель меня боится? — вы не замечали, конечно; но часть правды тут есть: я говорила вам совершенную правду, что была бы ближе к истине, если бы давала себе не 27 лет, в чем вы меня уличили, будто это не истина, если бы давала себе полные 40 лет. Ну, да это все равно.

«Слушайте, Пьер, все она же виновата», — продолжала моя Лидинька. Я разинула рот:

«Как же это я-то виновата, Лидинька? Христос с тобой! Ведь не я, кажется, драпировалась Семирамидой, а ты».

«Не Семирамидой, Пьер, это пустяки. И Семирамидою, впрочем, но и всеми, — что-с? Ты хотела промолчать, Лиза? — а это глупость. А я скажу все сначала, тогда ты и увидишь, что ты виновата».

«Как же это, объясни на милость, чем я виновата?»

«А как же? Что ты сказала, когда уезжала поутру убирать комнаты? «Лидинька, сделай мне удовольствие: проведи хоть нынешний день без дурачества». Не ты ли это сказала? Я и обещалась ей. А это глупость: как же можно в нашем платье делать что-нибудь хорошее? В нем можно только танцовать или стряпать да шить, больше оно не годится ни для чего: бегать или бороться — неловко, тяжело. Должна навешать на себя юбок — и устанешь. Так и вышло. Вот, я и устала, когда гуляла по саду с Веринькой. (Вы, конечно, понимаете, как она гуляла: я думаю, верст двадцать пробежали в галоп, кроме трудов на качелях.) — Я смотрю, — продолжает моя Лидинька, — половина третьего; надобно отдохнуть перед обедом, чтобы потом ехать кататься с тобой, Пьер, и Веринька стал жаловаться, что устал; мы пошли в комнаты. А ты сам знаешь, Пьер, какой жаркий день был ныне. Я и вздумала искупаться. Пошла бы в купальню — опять побоялась тебя же, Лиза; ведь ты начала бы спрашивать: «Да дала ли ты, Лидинька, остыть себе, не простудилась бы, душенька? — ведь в речке вода холодная». Правда ли, Пьер, ведь от нее не отвяжешься? А как же ждать, пока остынешь? Тогда незачем и купаться».

«Правда, — подтвердил ваш Петр Ульяныч, — только после надобно опять моцион, тогда и не простудишься».

«Вот видишь, Лиза, а выходит, что все от тебя: от тебя я и устала, потому что гуляла в глупом платье, от тебя я и вздумала купаться, от тебя и не пошла в купальню, а рассудила, что надобно взять ванну, чтобы ты не надоедала, не простудилась ли я от холодной воды после гулянья. Видишь, все от тебя. Да и дальше все от тебя же, Лиза. Упала у меня коса, Пьер. И пустяки, — я бы распустила волосы, пока высохнут, только и всего. А ты, Лиза, сказала бы: «не хорошо ходить растрепанной». Я схватила косу, чтобы она не успела намокнуть, стала опять укладывать. Не укладывается. Я тороплюсь, потому что скучно, — она не укладывается, как должно; а надобно, чтобы ты, Лиза, не сказала: «экая растрепанная». Я взяла фланелевое одеяло, завернулась, — не одеваться ж в самом деле, когда еще почти не успела и сесть в воду, — завернулась в него, высунула голову сквозь драпри у дверей в ту комнату, велела Вериньке уложить мне косу. Он не умеет, говорит: «неловко». Как же

быть? Я вышла в этом своем пеньюаре, — смех какой, точно в саване, — села перед зеркалом, велела Вериньке убирать мне голову; ну, увидала картинку: какая-то госпожа, закутанная в таком же пеньюаре, стоит на коленях, — и я так сделала. Это мне понравилось. Я велела Вериньке уйти и стала перед зеркалом одеваться по этим картинкам. Которые картинки были смешные, я смеялась — ужасная глупость! Ах, Пьер, какая глупость! Ты не поверишь! И моя сестрица дает такие книги ребенку! Очень хорошо ты делаешь, Лиза! Ну, суди сам, Пьер, хорошо ли это: Веринька, конечно, умный и скромный мальчик; это правда; но я тебе скажу вот что, Лиза: с детьми надо быть скромной. Вообрази же, Пьер: в этой книге были нарисованы все там богини и карнавалы, и глупости, — знаешь, с картин и со статуй. Ты, Лиза, говоришь: это произведения искусства; а я говорю: это произведения глупости; я, впрочем, понимаю, Лиза, — я, ты, Пьер можем смотреть все эти глупости, если нам есть охота, но они вовсе не для ребенка».

— Нет, Лизавета Сергеевна: нарушу свое обещание; перерву вас. Это «я, ты, Пьер» — очень мило. Она тоже уже совершеннолетняя. Справедливо.

→ Смех, умора, я же вам говорю: никакой Мольер не в состоянии придумать, но что милее всего, вы видите, что в самом деле я кругом виновата. Еще вы, может быть, нашли бы что-нибудь в оправдание мне, а ваш Петр Ульяныч, как и следует, видел, что Лидинька справедливо порицает меня. Да и я сама не прочь сказать: часть правды есть в ее словах.

— Как не быть, Лизавета Сергеевна: можем смеяться сколько хотим, а дети руководятся инстинктом. Инстинкт недостаточное пособие для жизни, анализ лучше, анализ только один дает человеку средство отбиться от многосложной лжи, которая охватывает человека в обществе и которая затемняет, извращает инстинкт; где бедному инстинкту одному устоять против иллюзий и обманов? Анализ необходим на выручку истине; но только очень глубокий анализ охватывает истину так полно, как инстинкт.

— Инстинкт! отчего же во мне молчал инстинкт, когда я терзала себя и мужа? — печально сказала Лизавета Сергеевна; — или я в самом деле зверь, что во мне не было человеческого чувства? Но нет, не хочу этих воспоминаний. Я сказала: буду спокойна и весела. И буду. Погибшего не воскресишь. Так ли? Чего нельзя поправить, о том нечего думать. Так. Буду жить хоть жизнью детей, если моя погибла. Была и буду нянькой, если не удалось быть женщиной. Не прерывайте, — прибавила она спокойно, — я знаю, вы хотите спорить; поспорим после. Я была бы рада, если бы вы успели оспорить меня. Но это грустно, а я хочу быть весела, и буду. Итак, о моей милой Лидиньке, — дочери моей, или нет? — воспитаннице, по крайней мере. Дурна

та мать, дурна та нянька, которая не рада тому, что ее дочь, воспитанница умнее и лучше ее.

— Лизавета Сергеевна, вы говорите серьезно? — Я давно уже видел, что моя «дочь Иеффая» и «деспотка» говорит вовсе что-то не так, как я ждал: что ж это опять за новость, — Лидинька права, Лидинька умнее ее, — что это, опять насмешки, и над кем же? надо мною? — но нет, она говорит вовсе не едким голосом, — вовсе не насмешка. Какая странная женщина, невозможно понять, что ж она такое, наконец? — Лизавета Сергеевна, вы говорите серьезно?

— А как же? Вы видите, что я не злюсь теперь, не иронизирую от желчи; вы видите, я добрая. А что? — сказала она очень грустно.

— Я не ждал, что вы так хорошо и спокойно понимаете жизнь, ведь, кроме шуток, Лидинька правее вас.

— Что ж тут удивительного? У нее была хоть я, хоть такая дура — не дурочка: в мои лета уж просто как есть дура, — но все-таки, хоть я, какая бы смешная и глупая сама я ни была, была у Лидиньки. У меня никого не было.

— А ваш муж?

— Ах, мой муж! я говорю: до замужества. Если девушка целые 19 лет набирала вредные пустяки себе в голову, нельзя же мужу в один год... Но полно. Лучше о Лидиньке. Впрочем, что ж, я досказала о ней, кажется? О нет, нет. Послушайте, как она продолжала и до чего дошли они от разговора о шалости, — и вы скажете: «да, эта шалунья права». Я только дивилась, слушая, и начала она об искусстве и скромности недурно, а продолжала, — да вот как:

«Я, Пьер, — продолжает моя Лидинька, — и занялась этими глупостями, которые вы с Лизой называете искусство. — И тебе, Пьер, не стыдно? Ты бы, кажется, мог быть умнее».

«Лидинька, я от многого исправился».

«Я это вижу, Пьер: не пристаешь с этими глупостями — целоваться, когда нет вовсе никакой надобности в этом. Когда надобно, я не говорю «это глупо», нет, ты ездил в город, я без тебя скучала, обрадовалась — естественно, бросилась к тебе на шею, это можно, тут нет никакой глупости. Но теперь, согласишься, не глупо ли было бы? Сидим, говорим о деле, — с какой же стати? Надобно держать себя прилично и солидно. — Но, Пьер, как же смешно выходило это перед зеркалом! Уморительно! А когда попадались картинки неглупые, то недурно, очень недурно. Особенно, Пьер, Рахиль какая была там, — и я тоже. Не «Рахиль у колодца», Пьер, это еще ничего, так себе, только без глупости, а совсем другая: «Рахиль плачет о детях своих», как это там подписано? — «Рахиль плачет о детях своих»...

...«И не может наплакаться, потому что они убиты».

«Так, Пьер. Я этого прежде не понимала. Я думала, это

в самом деле малютки, как я прежде читала; нет, она еще молоденькая, а дети у ней всякие: больше тоже молодые люди, даже вовсе юноши, но и немолодые, даже есть старики; даже, Пьер, есть девушки. Я и поняла, Пьер: эта Рахиль — родина. Только, чья же, Пьер? Этого я не могла разобрать. Франция, что ли? — там на картине есть как будто католические монахи».

«Это все равно, Лидинька, хоть бы раввины. Раввины было бы даже лучше. Картина, вероятно, представляет средние века, — тогда вся Европа была католическая; а еще вернее было бы представить именно евреев, хоть бы Маккавеев, — помнишь?»

«Еще бы! помню. Это всякий знает, и няня моя знала».

«Вот именно поэтому и было бы лучше: всякий понимал бы, даже и самые простые люди, и эта история все равно, что своя каждому: и французу, и русскому. Вот это и есть искусство, Лидинька».

«Ах, да! ты говорил: чтобы всякому казалось своим. Только это и там было, Пьер. Это мне так показалось, будто я сама то же самое. Только это не из средних веков, Пьер: на девушке — на одной там, — нынешнее платье. Кто ж это, Пьер?»

«Это все равно, Лидинька. Пусть хоть евреи, не все ли равно. Родина и дети».

— Да, — промолвила Лизавета Сергеевна; — вот вам и купанье — раввины и Маккавеи — это должно нравиться вам, Елисей Яковлич.

— Да, благодаря тому, что моя старуха все-таки не Рахиль, а Изабелла, и дети наши, слава богу, целы. И Яша, и Даня.

— Кто? Даня? Этого я уж и не пойму, я ведь не знаю имен ваших детей: Яков и —

— Даниил.

— А дочери? Их также две?

— Старшая — Маша; младшая, как вы, Лиза.

— В именах дочерей вовсе не заметно.

— Да и в именах сыновей почти не заметно. Но все-таки наши, и у дочерей имена наши, родные.

— Вот каким образом моя Лидинька доказала, что я кругом виновата во всем. — «Когда я представляла эту Рахиль и другие умные картины, — объяснилась она после всего этого, — звала Вериньку смотреть. Что ж такое? И вот какая эта Лиза: заставила меня рассказывать тебе об этом при ней, чтобы я осталась виновата, хотела бранить меня, да не удалось. И что с ней сделалось, Пьер? Отчего ты стала такая злая, Лиза? Все утро ты была добрая, и когда послала Пьера в город добрая, а вот, когда я возвратилась, такая злая? Ведь она хотела рассказать тебе, Пьер, сама, без меня: это, разумеется, было бы умно, потому что мне все-таки... Пьер, зачем она сама не сказала? Тогда бы ты видел, что я не глупая девочка, а теперь...» И моя Лидинька расплакалась.

— Добрая и умная девушка, — сказал я: — храбрилась, храбрилась, а все-таки сама же увидела, что вы были правы.

— Она славная девушка, но Петр Ульяныч рассердил меня: «Да, — говорит, — вы, Лизавета Сергеевна, слишком строги; стоило ли заставлять бедную мою Лидиньку краснеть и плакать?» И пошел на эту тему. Но — глаза Лизаветы Сергеевны начали сверкать, — но он-то не ребенок, — я послушала, послушала его и сказала: «Петр Ульяныч, оставимте Лидиньку в покое: об ней речь кончена; она как ребенок, шалила и шалила невинно; вы должны были узнать эту шалость, — через два дня вы будете повенчаны с нею; между мужем и женою не должно быть никаких тайн; одна из обязанностей взрослого, вступающего в такие тесные отношения к ребенку, — без скуки слушать болтовню ребенка и о таких пустяках, о которых взрослым людям не стоит говорить между собой. Итак, Лидинька кончила свой рассказ, мне было бы совестно занимать вас такими пустяками. Я хочу поговорить с вами совершенно о другом деле, о моем деле; вы через нее становитесь брат мне, у меня с вами не должно быть недоразумений. Я имею сказать вам несколько слов обо мне. Они серьезные. Идите ко мне. Лидинька, полно плакать, не стоит. Не огорчай Петра Ульяныча». — Я сердита на тебя, Лиза. — «Ну, прости великодушно, поцелуй меня, душенька Лидинька».

Лидинька утерла слезы, но Петр Ульяныч не отделался от меня так легко. Мы пошли в мою комнату. «Садитесь-ко, Петр Ульяныч, — сказала я ему, — вы мне изволили делать выговор за Лидиньку. Думаете ли вы просить у меня прощенья?» — «Сколько вам угодно, Лизавета Сергеевна, хоть на коленях», — сказал он, воображая, что я шучу. С чего он взял? Я полагаю, что мое лицо не было шутливо. Вы как думаете?

— Я думаю только одно: я опять перестал понимать вас. Вы, кажется, готовы задушить меня?

— Почему вы знаете, что нет? Может быть, очень может быть — всех вас. — Она вся горела и, кажется, точно, способна была наделать бог знает чего в этой горячке. — До вас еще дойдет очередь, смейте сказать слово наперекор мне. Я так хочу, и так будет.

— Чего вы хотите от меня, я не понимаю. Вы больны.

— Я больна? Извините. Но вы еще не знаете меня. Я вам покажу, что я сделала с вашим Петром Ульянычем. Думал, что я шучу. Я шучу? До шуток мне! «Готов просить прощения у вас хоть на коленях» — веселым тоном доброго брата милой сестре, шалунье-прихотнице. «Не на коленях, — а со слезами», — сказала я. — Что, и вы разеваете рот? И он разинул. Молчать, милостивый государь! Молчать! Не смей говорить со мною! Глупцы!

Я был ошеломлен, — это она обращалась ко мне, — я был бы ошеломлен, если бы не мелькнула у меня мысль: с нею горячка.

Через минуту я опять ухаживал за нею. С нею не была горячка. Впрочем, я не могу назвать этого истерикою: нет, ее рыдания были спокойны, если можно так выразиться о рыданиях: совершенно рассудительны, не судорожны; она только плакала, — и справедливо, — плакала так, как я редко видывал кого-нибудь плачущим. Я бросил всякие церемонии в сторону: посадил ее на колени к себе, обнял, целовал, гладил ее волосы, все упрашивая перестать:

— Ничего, ничего, вы все-таки дурочка, как вы себя называете, — поверьте старику, у которого дочери ваших лет.

— А ваши дочери? — вдруг спросила она.

— А я почему знаю? — сказал я.

И я не солгал ей: я не знаю и не хочу знать. Какое мне дело? Я знаю то, что они не боятся меня. Я знаю то, что если им нужна опора в руке отца, они не поколеблются искать этой опоры. Это я знаю. Знаю больше: до сих пор они не искали этой опоры. Поэтому знаю, что она не была нужна. А почему она не была нужна? Об этом я могу иметь свое мнение. Могу думать, что не было случаев, подобных тем, от которого страдала Лизавета Сергеевна. Я это думаю. Но думаю, и только. Я не считаю возможным лезть в чужое сердце, — раскрывай-ко все, хочешь — не хочешь. Отец не мать. Да и мать не муж. Да и муж, если умен, не станет соваться без спроса. Зачем соваться? Умные люди не суются, когда их не просят. Другое дело держать себя так, чтобы не боялись пригласить заглянуть в сердце, не опасались попросить совета и помощи. Держать себя так — недурное правило, потому что честное и доброе правило.

Обязанность, возложенная на меня, исполнена мною. Я должен подписать свое имя. Оно известно читающим — Елисей Яковлич Всеволодский. Но все-таки прежде надобно мне сказать несколько слов о себе, иначе моя подпись имела бы смешной вид, а мне не к летам быть забавну.

Меня зовут Елисей; мою жену — Изабелла (Иезавель), моих детей: Яков, Даниил, Мария, Елизавета — все пять имен еврейские. И действительно: мои дети, моя жена, я, все мы еврейской нации и считаемся в числе исповедующих еврейскую религию. Но моя фамилия — Всеволодский; я получил ее от моей воспитательницы. Мой отец, вдовый человек, фельдшер по ремеслу, переселялся со мною в дальний русский город на юго-западе, с севера; у него было торговое поручение в Казань, и он поехал дальним крюком на восток. При нем было несколько тысяч денег, — не его, он был беден, а купца, давшего ему ко-

миссию. На одном из постоянных дворов, на пути из Москвы к Казани, или от Казани на юг, или юго-запад, мошенники подметили деньги, — поехали следом, нагнали на пустом месте дороги телегу, в которой мы ехали на своей лошаденке, зарезали отца, взяли деньги; двухлетнего малютку — меня — не тронули. Через несколько часов мужики наехали на телегу с трупом и младенцем, шагом тащившуюся по полю: лошаденка шла, пощипывая травку. Телегу, труп и малютку привезли в свое село. Там был, как во всяком исправном селе, кабак. Целовальничиха была добрая женщина, бездетная; жжалилась над младенцем и взяла его. Из бумаг, бывших при отце, увидели, что я нищий жиденок, без роду и племени.

Целовальника, мужа моей воспитательницы, я не помню: он умер года через три по моем прибытии в село. Он оставил жене деньги, по тамошнему месту, тогдашнему времени и сельскому масштабу богатства — «хорошие деньги», до тысячи рублей (ассигнациями). Она, благодаря такому капиталу, оставалась одним из почетнейших лиц села. Добрая ли была она женщина, нечего говорить: она, при всей своей простоте, решила так: «кто в какой вере родился, так было богу угодно». Я и остался евреем; но фамилию свою она передала мне. Поэтому я Всеволодский: муж ее был из крепостных г. Всеволодова, откупившийся на волю. Когда мне было лет 12, она стала искать мне «должность»; по знакомству с старинными товарищами и покровителями мужа, пристроила меня в кабак. Мне было лет 20, когда мелкий откупщик того уезда заметил меня и взял в свою контору писцом. Лет через пять я получал 1000 рублей (ассигнациями) жалованья и имел возможность начать учиться. Я в это время был уже женат: моя добрая Изабелла — дочь унтер-офицера гарнизонного батальона той губернии (в батальоне было очень много моих единоверцев). При такой судьбе, в такие годы начав учиться, я не мог стать книжником, рассуждающим о гнусности службы по откупной части. У меня об этом, как и обо многом, свои понятия, — понятия моего великого соплеменника Спинозы. В обществе евреев гарнизона я выучился нашему ломаному немецкому языку, каким говорил когда-то мой отец с моей матерью и милых мне звуков которого я не знал до 18 лет, когда встретил первого моего одноплеменника, — того унтер-офицера, дочь которого стала потом моею женою. Это был человек образованный, — конечно, самоучка; он знал и Мендельсона, но любил Спинозу. Спинозою началось мое учение, и дальше я не пошел, потому что дальше Спинозы нет никого: нынешние немецкие философы — достойные продолжатели трудов великого человека. Они говорят точнее его, науки ныне гораздо в лучшем развитии; но существенный взгляд один у них и у него.

Спинозисту, выросшему в кабаке, не очень соблазнительны либеральные мысли о всяких предметах вообще, о кабацком деле

в частности. Я служил по откупам до самого их отменения. В последние годы мною было составлено много записок, отстаивавших откуп против системы, которою предполагалось заменить его.

В ту губернию, где я жил у своего старого приятеля, Петра Ульяныча Нигулецкого, я приезжал как ревизор по откупам нескольких уездов. С отцом Петра Ульяныча я стал приятель, потому что старик имел небольшой винокуренный завод.

Больше мне нечего рассказывать о себе. Остается сказать о моем имени, как я подпишу его. Еврейские слова все имеют ударение на последне слоге: Ааррòн, Абеднегò, Абрага̀м, Ада̀м. Так следует произносить и мое имя в его подлинной, родной форме. Русские зовут меня Елисеем. Но в очень многих именах русская форма уклонилась от еврейской. Например: Абрага̀м — Авраам, Барух — Варух. Я люблю свое родное, потому в своем семействе мы называем [друг] друга, а в бумагах подписываемся подлинными еврейскими именами: не Марья, а Мирьям, не Даниил, а Даниэль. Потому и я называюсь в моем семействе и подписываюсь здесь

Элиза́ Всеволодский.

Покорнейше прошу считать все это за написанное мною.

Л. Панкратьев.

Тетрадь четвертая.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕЛЫЙ ПЕНЬЮАР

Продолжение

IV

АРАБЕСКИ

Wie Schnee, so weiss ⁴⁵.

Розой гор меня зови,
Ты красой моей ужален,
И цвету я для любви ⁴⁶.

1. ХАРАКТЕР И СУДЬБА

Я очень люблю голубые глаза. Голубые глаза, которые я люблю, очень хороши: добрые, веселые, бойкие. Я очень люблю и миленькую хозяйку этих глаз, — мне очень нравится ее личико: молоденькое, белое, румяное, с греческим профилем, с тонкими чертами. Конечно, эти глазки я люблю в нем больше всего; но щеки полные, свежие, ротик, вечно смеющийся, — я

очень люблю также этот ротик и эти щечки; впрочем, кажется, еще больше их я люблю эти пепельные волосы, — больше, чем их, я люблю только эти голубые глаза. Да, на эту молоденькую блондинку можно, даже должно любоваться; если бы вы видели ее портрет! Что ж я говорю: «если б видели», — очень многие и видели; на выставке в Академии художеств прошлого года очень засматривались на него. Помните, во втором зале, у третьего окна? «Нет, нет, — говорят все, кто был на прошлогодней выставке, — не у третьего окна, а у второго». Да, ваша правда; мне хотелось испытать, помнят ли портрет этой молоденькой блондинки; — как не помнить! — все любовались на него. А на самое личико этой блондинки любят еще больше все те, кто видят ее.

Можно ли после этого осудить меня за то, что и я люблюсь на это личико? Нет, нет. Но я могу любоваться на него только в зеркале. Можно ли после этого осудить меня за то, что я люблю сидеть перед зеркалом? — Нет, нет.

Вот я какая. У меня вся душа открыта. Я не могу скрытничать.

Но, ах, я скажу вам, что они делают со мною! и кто же? Лиза и мой муж! Ужасно! они целую неделю не давали мне ни минуты спокойной: — «Пиши!» — «Но, Лиза, что же я буду писать? мне нечего писать!» — «Пиши, что хочешь». — «Пьер, заступись хоть ты». — «Ты знаешь, какая строгая твоя сестра, я боюсь ее». — «Но я не боюсь. И не буду писать». И они мучили меня целую неделю. Но я тоже упряма; да и как было уступить? О чем же, в самом деле, мне писать? — Недурна собою, даже очень; так: но десять строк, и предмет истощен. Вышла замуж и очень люблю своего Пьера? — правда, и превосходная правда; но решительно нечего писать о ней: встретились, понравились друг другу, повенчались, не было никаких препятствий, никаких приключений; тем лучше для нас, но не о чем рассказывать: все было так просто, тихо, обыкновенно. «Лиза! Пьер! ну, о чем же мне писать? Рассудите сами». Кажется, резонно. Но они свое: «все-таки пиши»; а я все-таки свое: «не пишу», — и не пишу.

Целую неделю тверда, непоколебима. Прекрасно. Что ж они делают со мной? Ныне поутру просыпаюсь — смотрю: что такое? мое трюмо исчезло! Я кричу — входит Лиза и так заботливо: «что с тобою, душенька?» А я уж поняла все, — бог бы с ним, с трюмо, — но унесли все зеркала, и со стены над диваном, и даже маленькие туалетные, — я уж осмотрела обе свои комнаты. Я говорю: «Лиза, это безбожно». Она говорит: «мало сказать безбожно, — это ужасно. Ты счастлива, что ты спишь так крепко, но если бы ты видела, какой трепет был в доме!» — «Что ж?» — «Явилась какая-то фея...» — «Вероятно, похожа на тебя, Лиза?» — «Может быть, но гневная;

махнула жезлом, — в твои комнаты прибежали твоя горничная, моя горничная, кухарка, две дочери кучера, в других комнатах явились привидения в огромных сапогах, — и через пять минут ни одного зеркала не осталось ни в одной комнате. И она сказала: я их беру в царство духов, — на чердак; они возвращаются лишь тогда, когда эта упрямецка сядет писать».

Но это ужасно! Поставьте себя на моем месте, при моем характере. Вы знаете, в чем мой характер: он в любви к этим глазам, ко всему этому (очень миленькому) личику, и при таком характере остаться без зеркал! Я не могу.

Я покорилась.

Но вы еще знаете не все о моем характере. Я не люблю скрывать.

У меня характер очень мстительный.

Я сказала Лизе: «Ты принуждаешь меня быть твоею сотрудницею. Хорошо. Я покоряюсь. Я пишу. Но — но, Лиза, ты сама будешь не рада, что заставила меня писать. Я напишу так, что... но я не скажу, как я напишу». — Знаю, — говорит Лиза, — ты будешь писать так, что невозможно будет верить». — «Конечно, так, это ты знаешь; но ты не знаешь, что из этого выйдет». — «Как же не знать, когда ты говорила?» — «Я говорила, но не все. Я сделаю то, чего ты никак не отгадаешь. Во-первых, я назовусь Александрю Павловною Тисьминою». — «И прекрасно, и никто не отгадает, зачем это и что мы сделаем из этого. Мы условились, и проведем всех».

Вот мой разговор с Лизою. А я, как видите, действую назло ей. Отнять у меня зеркала! Еще бы не мстить! Впрочем, она и не отнимала у меня зеркал, и я вовсе не отказывалась писать, а сама вызвалась. Я только хотела показать, какой у меня характер: откровенный.

Елисей Яковлич Всеволодский так отрекомендовал меня, пересказывая свой разговор с Лизою, что никто не стал бы верить Лидии Сергеевне Нигулецкой: Лидия Сергеевна шалунья, Лидия Сергеевна выдумщица. Вот и придумали, что я должна взять себе другой псевдоним. — Прекрасно.

Но что ж выходит из этого? Слушайте:

Одна моя подруга, — не такая, как я, нет, тихая, скромная, солидная, хоть только одним годом старше меня: мне 19 лет, а ей 20, или скоро будет 20, — она условилась принять псевдоним Александры Евтроповны Тисьминой. Тисьмина, — та, настоящая, — дает теперь мне записку. Читайте:

«Нигулецкая — шалунья, выдумщица; у кого будет охота верить и тому, что будет рассказывать подруга этой шалуньи? Никто не захочет подумать, что, быть может, я люблю ее не за ее шалости; что и она — не только шалунья. Нет, даже и во мне захотят видеть только шалунью. Хорошо, я принимаю и это

недоверие, будто заслуженное мною, хоть меня вовсе еще не знают и хоть несправедливо прямо начинать тем, что «мы не знаем вас, но не хотим верить вам». Одна Лидинька хотела рассказывать сказки. Но и мои слова стали бы принимать также за сказки. Хорошо, я буду писать также сказки.

Итак, перед вами две Тисьминных: обе пишут сказки.

Тисьминных только две: Александра Павловна и Александра Евтроповна; обе они зовут одна другую, и их обеих зовут их мужья, сестры, братья, — одинаково «Саша».

Больше я не обязана говорить. Я сказала довольно.

Александра Евтроповна Т и с ь м и н а ».

Теперь, разбирайте, — продолжаю я, Александра Павловна, — кого называют «Саша» на той или на другой стороне; я вам говорю, вы удивитесь.

2. СКАЗКА О ДЕБОРЕ-ДЕВИЦЕ ⁴⁷

А. Т и с ь м и н о й

В зимние сумерки нянины сказки
 Саша любила ⁴⁸.

— Няня, кто ж это: царь-девица? Все у тебя в сказках «царь-девица, царь-девица», а кто такая она, нет ничего; кто ж она?

— Об этом, Саша, я только одну сказку и слыхивала. У соседа, Василия Васильевича Фирдавуцкого, жила старуха в мое время, — с Кавказу была вывезена его отцом, давно уж: в мое время она была старуха. «Меретинкой» себя звала; должно, что это значит черкешенка. Она, точно, сказывала, кто такая царь-девица; а кроме нее, я ни от кого не слыхала.

У нас, — она говорила, — есть Ривон-река; и на этой Ривон-реке тоже деревни стоят, как бы и у вас. Только наши деревни все в горах: у нас (у них-то, значит, в меретинкиной земле) все горы, все горы; а по горам и между гор все сады идут и леса; и леса, — говорит, — у нас (у них-то) такие, как у вас сады; и точно вам сказать, вся наша земля будто один сад. К полдню, — говорит, — от нас тоже горы, еще выше наших, за этими горами живут армяне; за армянами живут кызылбаши. И, — говорит, — в мое время (то есть в ее время) кызылбаши приходили нас воевать. Армяне — те ничего, а кызылбаши воюют и армян, и нас (их-то самих, меретинцев). Ну, — говорит, — и мы тоже воевали их. Пограбят нас, и оставят у нас свое войско. А мы потом перьяем это войско. И на север от нас тоже, — говорит, — горы, совсем уж высокие, еще выше тех, армянских. В этих горах опять

другой народ живет, и тоже сходит нас грабить. А мы возьмем, и сами к ним пойдем, — к этому-то другому народу. Так и воевали. А подле нас море; называется Черное. Ривон-река наша в него течет.

Вот, — говорит, — и была тоже одна деревня в горах, и в этой деревне жила Дебора-девица; а в каких горах, этого, — говорит, — никто не может знать: в тех ли, где другой-то народ живет, в наших ли, в армянских ли горах; или тоже у кызылбашей есть свои горы, в них ли; никто не знает наверное, в каких. Каждый по своему говорит: в наших. И кызылбашки так говорят: «она, говорят, из наших была, кызылбашская девица»; и тот народ, другой-то: — «она из наших была»; и армяне тоже. А должно полагать, что заподлинно-то она, точно, из наших была, меретинка; потому что от наших мест, — от меретинкиных-то, — где Ривон-река наша, — говорит, — точно, так и есть: до моря три дня ходу.

Вот раз и сидит эта самая Дебора-девица под окном; только подходит к окну женщина и говорит: «Здравствуй, царь-девица». А она ей отвечает: «Ошиблась ты, тетушка: какая я царь-девица? Я простая девушка и зовут меня Дебора-девица». — «Сама ты не знаешь своей судьбы, Дебора-девица, — говорит ей эта женщина, — быть тебе царь-девицею, а мне быть матерью тебе». И отошла от окна, и ушла. Думает Дебора-девица: «Что это такое она мне сказала? Видно, посмеялась надо мною». Так и положила на том: «посмеялась». Только опять думает: «За что ж это она посмеялась надо мною? Если бы я была гордою, или бы считала себя лучше всех, — тогда так; а то, за что же?» И стало горько Деборе-девице. Так это дело и прошло: «бог с нею, — говорит, — что она обидела меня своим смехом надо мною».

Только, сидит она опять под окном, и приходит к окну та же самая женщина, но исхудалая такая и в лохмотьях, и говорит: «Добрая девица, не принесешь ли мне живой воды?» — «Какая такая живая вода бывает? — говорит Дебора-девица, — и на что тебе она, тетушка, и где взять ее?» — «Сказала я тебе; быть тебе моей дочерью; что же ты зовешь меня тетушкою? А живая вода такая бывает, что вот есть у меня сын, и сидит он сиднем двадцать два года, ни ногою, ни рукою двинуть не может; и нет мне в нем ни защиты, ни помощи: холод, голод, обиды терплю. А если его живой водой напоить, он получит движение. А без живой воды нельзя привести его в чувство: сидит, как точно каменный, шелохнуться не может. А дорога эта трудная, молодые ноги нужны, и только девическое сердце может в этой дороге не иметь уныния, — трудная она. Сходи ты». — «Хорошо, — говорит Дебора-девица, — схожу, пожалуй; только где ж это живая вода, ты скажи мне дорогу к ней». — «Не могу я сказать тебе дороги, — говорит женщина, — никто этой дороги не может растолковать». — «Как же, — говорит ей Дебора-

девица, — как я пойду, когда не знаю дороги?» Вздохнула эта женщина и ушла от окна. Так это дело и прошло.

Только, опять сидит Дебора-девица под окном, и не может спокойно сидеть: жалко ей эту женщину, что она холод, голод, обиды терпит; а как ей пособить, не придумает Дебора-девица: «Как я пойду, когда дорога мне не сказана?» Только сидит она так под окном и думает об этом, — и послышался ей плач: женский голос плачет, и будто знакомый. «Чей же это голос? — она думает: нет, не может разобрать. — Да все равно, — думает, — чей бы ни был, пойду на него: хоть словами утешу ее, а может, и пособлю чем». Встала и пошла на этот голос; будто близко он; только идет она на него, и все он будто близко, а все не может она дойти до него; день идет, два идет, три идет на этот голос, все вперед идет, — горами идет, лесами идет, где человеческая нога не была, по камню идет, песками идет, но ничего не чувствует, и страха ей нет, потому что все только об этом голосе думает: ни звериного вою не пугается, ни провалов не боится, все на голос идет, все вперед идет. Три дня идет и на третий день видит, подходит она уж к самому морю, — и все голос перед нею, и она на него идет; и когда она уж к самому морю подошла, слышит она: этот самый голос, на который она шла, который все плакал-то перед нею, вдруг усмехнулся и говорит: «Как же ты, царь-девица, говорила, что не знаешь дороги? Зачем ты себя и меня обманывала?» Слышит Дебора-девица эти слова, и никого нет, и смолкло все после этих слов, тихо стало. И пусто все кругом, она смотрит: море перед нею стоит как зеркало, на морском берегу песок да камень, нет ни кусточка, ни травки, ни былинки, все камень да песок, и пусто все. И как этот голос смолк, усмехнувшись-то, опомнилась Дебора-девица, и почувствовала, что устала она: три дня шла, три дня не пила, не ела; и голод ее томит, и пуще того жажда мучит ее, и ноги ее подкашиваются; не выдержали ее силы: как она стояла, так и упала на землю, и хочет встать — не может. И подумала она: «хотела другой пособить, сама свою смерть нашла: видно, так и умереть мне тут», — и грустно ей стало, и она заплакала. И что же видит? — как ее слезы упали на землю, на этом самом месте колодезь, и в колодезе вода вровень с краями стоит, и обрубчик такой невысокий у колодезя, в самый почти тоже вровень с землей, и на обрубчике золотые чашки стоят, и серебряный гвоздь вбит, и на гвозде золотой ковшичек висит. И подумала она: «хоть выпить водицы, утолить мою жажду»; приподняла руку, зачерпнула воды ковшиком-то, выпила глоток, — и чувствует, сила к ней возвратилась, и усталость ее и голод прошли, может она на ноги встать, — встала. Выпила другой глоток — и весело стало у ней на сердце; выпила третий — и слышит она пение, подняла глаза: перед нею, на берегу, на том самом месте, где все пусто было, стоит дерево высокое, развесистое такое, как бы наш вяз, —

у них называется чинара, — стоит это дерево, чинара, с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская, на ветвях зеленых качаются райские птицы, поют они песню про славу Деборы-девицы:

В горах никого нет,
Кто б вынес позор,
И труса прогонит
Красавица гор...⁴⁹

Так начинается песня, Сашенька. А дальше не помню.

— Как же не помнишь, няня?

— Не помню, Сашенька, потому что не наши. Я таких не знавала. Меретинка пела.

— Ну, сказку досказывай, если не помнишь песен.

— Сказка, должно полагать, вся, Сашенька: меретинка дальше не сказывала; как песня начинается, она и поет, бывало.

3. САШИНЫ ГРЕЗЫ

Долго в ту ночь, не смыкая ресницы,
Думает Саша: «что ж пели ей птицы?»...
В комнате словно тесней и душней,
Саше не спится, — «что ж будут петь птицы?»⁵⁰

«Нет, не жди ты песни страстной:
Эти звуки — бред неясный,
Томный гул струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
Ласковые сны.

«Звонким роем налетели,
Налетели и запели
В светлой вышине.
Как ребенок, им внимаю;
Что сказалось в них — не знаю,
И не надо мне...

«Поздним летом в окна спальни
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова...»⁵¹

Я жду...⁵²

4. ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ ЛЕСНИКОВ

Рассказ А. Тисьминой

Я уж говорила вам, что о самой себе мне нечего было бы рассказывать: выросла, вышла замуж, очень люблю мужа, он меня любит столько же, сколько я сама себя, — а я очень люблю себя, я уж рассказывала вам, — и больше нечего мне сказать о самой себе.

Но о других я могу рассказать много любопытного. Отчасти я и сама видела, как живут люди. Но этот запас у меня еще не очень велик. Велик другой запас: я всегда была охотница слушать рассказы старух и стариков. От них я наслушалась очень много интересного, странного, неправдоподобного, невероятного. Я хочу пересказывать кое-что из этого, слышанного мною.

Но как рассказывать, чтобы вы не верили мне? Вы думаете — я обмолвилась, хотела сказать: «чтобы вы поверили мне?» Нет, я могу пересказывать только с тем, чтобы вы не верили мне, думали, будто я рассказываю вам выдумки. «Вот нашла, о чем заботиться! — думаете вы, — да мы и так не хотим верить ей: она выдумщица, рассказывает сказки». Я это и знаю, что вы не хотите верить мне. Но — я знаю, что я буду рассказывать, поэтому я и не забочусь о том, что вы не хотите верить мне, — будете верить, против вашего ожидания, — и у меня только одна забота: чтобы вы хоть немножко не верили мне.

Как это сделать? Вот как: я буду прямо показывать вам, что я сочиняю, все сочиняю; выдумываю, все выдумываю; вы будете видеть это, и от этого у вас будет оставаться хоть небольшое сомнение в моих рассказах, — «может быть, и в самом деле она что-нибудь присочинила», — а мне надобно, чтобы вы думали так; без этого я не могла бы рассказывать.

Смотрите же, как я буду выдумывать, — все будет выдуманно, выдуманно, ни слова правды, все сочинено.

Вы полагаете, это трудное дело, сочинять? Нисколько, нужно только иметь мой характер — откровенный; прямо говорить все: как что выдумаешь, так сейчас и признаваться, что это не правда, а выдумка.

Вот сейчас же пример. Я знаю старика, которого звали Григорий Филиппович; этот старик рассказывал мне про другого старика, — хотите, я сейчас выдумаю этого старика? Как его выдумать? — очень просто: развертываю книгу, — попадается: «Лессинг был великий писатель». Прекрасно, вот и фамилия готова: Григорий Филиппович Лесников; мудрено ли сделать Лесникова из Лессинга? — очень немудрено. Перевертываю страницу: «Лессинг служил секретарем у генерала Тауэнцина» — Тауэнцин, это вовсе не идет к русскому, а по-русски фамилии должны быть русские; что ж нам делать с этим «Тауэнцин» — Taulenzien, вставим одну букву: Taulenzien, напишем по-русски: «Тавлинцын», — видите, от одной буквы немец обратился в такого коренного русского, что половина из вас уж напоминает: «Тавлинцын? — Тавлинцын? — что это, как будто мне встречался какой-то Тавлинцын»... Нет, не встречался: сами увидите потом, что не мог, никак не мог встречаться.

Перевертываю еще страницу в книге: «это было при дворе курфюрста Майнцского»; согласитесь, курфюрст Майнцкий уж не идет к Лесникову и Тавлинцыну, — пусть же он будет гра-

фом Майнцким; но граф Майнцкий — это звучит еще не-порусски, вставим одну букву, немножко исправим другую: граф Мойницкий — согласитесь, уж нельзя и требовать ничего более русского: Мойницкий. Тавлинцын, Лесников — еще бы не русский!

Но не годится же таким чистейшим русским людям иметь свои приключения в Майнце; надобно переселить их в какой-нибудь самый коренной русский город; в какой же? — перевертываю страницу: «курфюрсты майнцкие были архиканцлеры немецкой империи, и герб ее, орел, украшался гербом Майнцким»; — прекрасно, вот и место нашлось: город Орел, — знаете, губернский город, самый коренной русский.

Еще перевертываю лист, и все окончательно разъясняется: «курфюрст Майнцкий имел тогда очень пышный двор; он был богатейшим из второстепенных государей Германии, самым важным после курфюрста Саксонского, и майнцкий двор не уступал блеском саксонскому». Чего ж вам еще: ясно, как на небе солнце, что наш граф Мойницкий в своем Орле должен задавать пиры на четыре губернии; — так ли?

Видите, как просто? И что всего прелестнее: ведь я ровно ничего этого не знала за четверть часа; только знала, что был какой-то Лессинг, великий немецкий писатель, и что есть в Германии город Майнц; но решительно не знала ни о каком генерале Фридриха II Тауэнцине, ни о том, что когда-то были в Майнце какие-то курфюрсты.

А теперь, все известно и все готово, и действие происходит в Орле.

ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ ЛЕСНИКОВ

Рассказ старика

— Однако добрый вы человек, Григорий Филиппович, — сказала я своему старику-собеседнику.

Мы не то что были приятели с моим собеседником, но так случилось, что нам приходилось часто сидеть с ним, — сидеть у моря, ждать погоды, как говорится. Если бы я была мужчина, я сказала бы, что мы с ним встречались за табль-д'отом. Но я женщина, я обедаю дома, а не в табль-д'отах, поэтому скажу правду: Григорий Филиппович был управляющим небольшим подгородным имением той дамы, у которой я служила не то что горничною, не то что домашнею модисткою, не то что компаньонкою, — а отчасти всем этим. Я стала светскою девушкою с хорошим приданым уже после; тогда большим шагом вперед для меня было, что я из простой швеи сделалась первым лицом в штате светской дамы. Мою жизнь я расскажу вам после; теперь дело не о ней. Я должна была сказать, почему мы часто сжи-

вали с Григорием Филипповичем: вы можете предположить, что он приходил с докладами по своему управлению и ждал, пока примет его дама, у которой он был управляющим, а я была компаньонкою, если не хотите думать: просто горничною.

Пусть будет хоть так. Не в этом важность; важность только в том, что мы часто сиживали с Григорием Филипповичем, и от нечего делать он припоминал старину, рассказывал многое из своей прежней службы во флоте, — он был моряк, офицер; припоминал многое и о своих сослуживцах. А сам по себе был он человек очень добрый и совершенно правдивый, не любивший ни одним лишним словом прикрашивать правду. Его простые, честные рассказы дышали истиною. И вот однажды рассказывал он мне разные свои служебные столкновения, — и все кончались одним и тем же: «Ну, что ссориться? — бог с ним».

— Однако, в самом деле, вы очень добрый человек, Григорий Филиппович, — сказала я, выслушав три-четыре такие добродушные развязки. — Таких добрых людей, как вы, немного на свете.

— Конечно, Саша, вам встречалось еще не очень много таких людей; поживете на свете побольше, увидите побольше; и таких ли людей! Слыхивали ль вы про Лесникова? Что мои дела — мои дела пустые. А вот лесниковский случай совершенно другого рода.

Этот Лесников был вице-губернатором в Орле. В другом городе вице-губернатор — видное лицо; а в Орле и губернатор был тогда на третьем плане, потому что каждое лето приезжал туда граф Андрей Петрович. Из народа никто и не звал этого графа по фамилии: «граф Андрей Петрович» — одно слово, «граф Андрей Петрович». Да и благородные тоже; впрочем, благородные знали, что Андрей Петрович имеет и фамилию — Мойницкий; и родословную Мойницких знали: очень знатная. Мойницкие происходили чуть ли не от Шуйских, — я на эти вещи не памятлив: то ли от Шуйских, то ли от Глинских, но кажется, что от Шуйских. Как жил граф Андрей Петрович, это можно описать одним словом: он привозил с собою театральную труппу; так тогда дельвали и некоторые другие вельможи. Но граф Андрей Петрович привозил вот какую: не русскую, а французскую, посредственную, правда, но недурную, — какое же дурную! в Одессе такой никогда не бывало, были артисты довольно известные, а однажды, даже ангажировал m-me Алан, — вон оно чем отзывается! Ну, и вовсе посредственная французская труппа пахла бы не одним десятком тысяч, а его труппа была, я вам говорю, очень недурная. Таких вельмож в целой России едва ли наберешь пять-шесть человек.

Его дом был в конце города; парк начинался прямо от города, а до дома надобно было ехать еще две с половиною версты.

Ни парка, ни оранжерей, ни дома — ничего не буду описывать вам: привозил французскую труппу — этого довольно.

Разумеется, при таком госте не только губернатор — и генерал-губернатор был бы гостем, а не хозяином. А в Орле тогда губернатор был даже и не из богатых; он совершенно исчезал в этом сиянии. И как не исчезать действительному статскому советнику, не имеющему ни сильного родства, ни состояния? — исчезали помещики, ходившие с камергерскими ключами. А таких гостей немало бывало на вечерах графа Андрея Петровича; бывали и гораздо еще повыше: иной раз у него составлялась такая партия виста, в которой сидело три партнера, надевавшие в торжественных случаях голубые ленты. И как не составляться такой партии, когда в Тамбове, Туле и Курске был один голос между купцами: «разоряет нас граф Андрей Петрович!» — Чем же, помилуйте? Напротив, все помещики роскошничают, на него глядя; зимою дают вдвое больше балов, чем бывало прежде, потому что летом-то уж слишком привыкают у него к веселостям. Кажется, вам бы прибыль от этого. — «Какая, сударь, прибыль. Барыни все стали говорить: что ж за лавки у нас в Курске — надобно из Москвы выписывать! — Мало того, сударь, из Москвы, — из Петербурга; у нас ничего не берут». — Или: «Какая, сударь, прибыль? Господа все стали говорить: что же за вино у наших тамбовских купцов! Надо от Рауля выписывать. Ничего у нас не берут. Го-сотерну в тамбовских погребах теперь хоть не извольте и спрашивать, если хотите знать по совести: не держим, сударь; на го-сотерн здесь покупателей нет: все от Рауля. Только дешевым хересом и торгуем, по мелкому чиновничеству. А что го-сотери у нас, — две бутылки в год не продашь. Как тут его держать? Ну, известно, принужден другое под его видом отпустить, если кто спросит».

Да, Саша, и в Туле, и в Тамбове, и в Курске были такие разговоры. Из-за трехсот верст вся знать валила в Орел на лето, к «графу».

У него почти не было балов, разве два-три в лето. А то просто вечера, — что за балы! Со спектаклями, с маскарадами, правда, но простые вечера. «Запросто, — говорит граф, — запросто лучше, по-моему; с праздниками возни много». Потому и были каждый день простые вечера, для которых съезжались в Орел на все лето вся знать на триста верст кругом.

И вот в такую-то эпоху города Орла приехал в Орел вице-губернатором коллежский советник Лесников, бывший капитан 2-го ранга. До капитана 2-го ранга нельзя дослужиться в два года и ни за что ни про что, «вот тебе капитанский ранг», — нет, так не в моде для капитанов 2-го ранга. Нет, Лесников взял чины службу.

— Как вы, такой же?

— Нет, ему чины шли очень скоро; но по работе было сход-

ство: он был человек усердный и очень хороший моряк. Но ему представлялись случаи к отличиям: он ездил вокруг света, — (спрашиваю у мужа: с кем? — муж говорит: с Беллинггаузенном; писала, писала, никак не могу верно расслышать и написать: выходило то Билингаузен, то Белингаузер, — но «Беллинггаузен», это так, муж поправил) — он ездил вокруг света с Беллинггаузенном, привез оттуда знаменитую коллекцию, приобрел большую репутацию, как дельный, ученый человек, поэтому пошел очень быстро, — и когда вздумал отдохнуть, — он был больше ученый, чем моряк, не имел страсти к морю, — ему тотчас же дали хорошее место, где-то подле Кавказа, в Ставрополе, в Моздоке, не помню; через два года назначили в Орел вице-губернатором. Он шел по службе успешно. Ему было тогда только с небольшим тридцать, — 35—36 лет, когда он приехал в Орел. Приехал он в Орел с молодою женою. — Вы слыхивали, Саша, про гребенских казачек?

— Слышала.

— Она была из них, дочь офицера, неважного. Что ж это я сказал, что не помню? — именно, не в Ставрополе он служил, а в Моздоке. Там и женился. Я вам скажу, Саша: только три лица таких я и видел: одну — англичанку; другую — дочь еврейского купца; ее — третью.

— Как же вы сравниваете англичанку с еврейскою девушкою? Это совершенно другое.

— То-то, нет; эта англичанка была брюнетка. Не понимаю, как это, — только она была англичанка; а на эту еврейку, Леилат Гедеоновну, она походила, как родная сестра. Я думаю, не была ли мать или бабушка ее дочь еврея. Англичанку эту я видел, как обыкновенно, в обществе: «ах, ах!» — ходят хвостом за нею; но Леилат Гедеоновна, — это удивительная вещь, как я был представлен ей, — ну, я еще, положим, приехал к ним в семейство с знакомыми мне дамою, приятельницею их. Но вообще, это стоит рассказать, как являлись к ней: точно как являются смотреть картину знаменитого живописца или, — тоже, я читывал, — как являлись с визитами к Гете: «приехал видеть великого поэта Германии», — совершенно так. Она была дочь богатого купца, светская девушка, и все просили чести быть допущенными видеть ее, — и являлись.

— Как это?

— Являлись видеть ее, — на поклонение.

— Да как же это, Григорий Филиппович?

— Я ж говорю вам, Саша, как: все равно, как являлись видеть Гете; больше я не умею сравнить ни с чем.

— Нет, Григорий Филиппович, я не могу понять. Являлись видеть, как являлись видеть Гете, — как же это? все и являлись?

— Да; вот я расскажу про себя. Однажды пришлось мне с

месяц прожить в Минске, на квартире у еврейского купца. Я приехал по делам службы, один, без своего семейства, по-походному; они жили совершенно по-европейски, были люди образованные, даже светские; но добрые люди, хорошие, простые. Пригласили меня иметь стол у них, я был очень благодарен; подружился. Года через три, опять по делам службы, проезжал я через другой город, — так, около Киева или ближе к Одессе; мне надобно было остановиться в этом городе дня на три. Явился я по начальству, возвращаюсь в свою гостиницу: — «Ба! да это вы, Григорий Филиппович? Как вы здесь?» — смотрю, зять того моего хозяина, тоже купец. — «Я здесь вот как; а вы как? Тогда вы жили вместе с тестем?» — «Теперь у нас и здесь устроился магазин, потому мы с женою и переехали жить сюда. Поедем к нам». — «С удовольствием». — Пообедали у них; приглашают: «да переезжайте к нам из гостиницы». — «Очень рад». Переехал к ним.

На другое утро сидим мы с ними, завтракаем, хозяйка спрашивает меня: «А что, я до сих пор забывала спросить вас: видывали вы когда-нибудь такую красавицу, как наша Леилат Гедеоновна? А, какова она у нас? Не правда ли, нельзя вообразить такой красоты?» — «Я не слышал, — я говорю, — кто это Леилат Гедеоновна? И почему ж бы я уж и видел ее?» — «Дочь здешнего богатого купца Краузе; а видеть ее — да как же не видеть ее? Нельзя не видеть. Так вы еще не видели? Поедьте». — «Хорошо; да только как же?» — «Ну, я, положим, приятельница с нею; вас я привезу как своего знакомого; если бы только так приезжали, как вы со мною приедете, тут еще не было бы ничего особенного; — но вам не было бы надобности во мне: бывают просто все, кто проезжает через наш город. Как же можно быть здесь и не видеть Леилат Гедеоновну? Это уж принято, все должны ехать». — «Что это вы говорите мне? Чудеса какие-то! Как же незнакомый человек войдет в дом и скажет: имею честь рекомендоваться, приехал засвидетельствовать мое почтение; зачем нам его? — скажут». — «Нет, не скажут, они уж привыкли к тому, что это так принято; они просят садиться, если завтракают, то завтракать с ними». — «Да что ж это такое? Да как же это?» — «Да вы поймите же, что нельзя ж иначе, когда уж так принято. Сначала они стеснялись, конечно; но привыкли, и, разумеется, это вошло в обыкновение постепенно, не вдруг же. Сначала знакомые просили у них позволения привозить знакомых, — они привыкли к этому; потом знакомые стали привозить, вот как я теперь повезу вас, не говоря им ничего; потом стали уж являться с рекомендациями просто от всего города: «Извините, — говорит, — я вот два дня живу здесь, все говорят, что нельзя уехать, не увидев вашу дочь Леилат Гедеоновну». Один, другой так явился; они, натурально, стеснялись, но привыкли, нечего делать: теперь у них открытый салон по утрам, сидят и

принимают гостей». — «А что ж дочь?» — «Что ж дочь? Ведь она была еще девочка лет двенадцати, когда начали смотреть на нее, как на рафаэлевскую картину; она привыкла, она так выросла, что на нее смотрят все, не могут отвести глаз от нее». — «Ах, ты, господи, что это за чудеса вы мне рассказываете, Эстер Абрамовна?» — «Да что вы? Шучу я, вы думаете? — вот, будете бывать в городе у кого-нибудь, все вам скажут. Это слава нашего города. Мы все гордимся ею. А что это странно — что ж, когда это установилось так? Никто ж не устраивал этого. Но нельзя не быть у них; как можно? Ведь всю жизнь потом будешь жалеть, что не видел; и едут к ним, как же не ехать?» — «Но что ж она? Такое поклонение должно было испортить ее, сделать надменною; ведь это, наконец, что ж это такое, наконец? — ведь это свести с ума девушку». — «Как вам это сказать? Да вот вы сами увидите, что нет. Очень милая и добрая девушка». — «Нет, вы смеетесь надо мною, Эстер Абрамовна; не может быть этого». — «Да чего ж тут не может быть, когда это так? Она привыкла и очень мало думает об этом. Красавица, ну, что ж? — да, красавица, знает это с детства; что ж из этого? — и знает. «Смотрят на меня все» — ну, да, смотрят; как же не смотреть? да вот, вы сами увидите, что невозможно не смотреть, — глаз не сведете с нее. Она привыкла знать это. Но что ж ей-то делать с этим? — рассудите сами: прятаться? — хуже надоедать станут, будут следить, шляться под окнами, таскаться за нею по улице. Гораздо ж лучше принять в гостиной, как хозяйке; она и принимает». — «Но что ж это такое! Это удивительно! — и добрая девушка?» — «Да отчего ж нет? Ведь не сходят же с ума поэты, артисты, артистки от своей славы. Слава, — да, слава, удивляешься им, — но что ж такое? А они остаются все-таки в своем уме. Гризи, Бозио, Марио, Тамберлик были и остаются в своем уме, я думаю. Я думаю, им даже отчасти надоедает это поклонение; так и ей. Но что ж ей с этим делать? Не уродовать же себя. Да и незачем. Что за важность посидеть полчаса в своей гостиной, принимая визиты? Это еще не такое ужасное мучение: все светские женщины переносят этот обычай, большей частью даже с удовольствием». — «Но ведь это не то». — «Конечно, не то: к другим являются потому, что они знатны, богаты; к ней потому, что она красавица. Тут меньше лестии». — «Но как же должны волочиться за ней! Объясняют, что страдают от любви к ней?» — «Нет, вы сами почувствуете, что нельзя объясняться ей в любви. Как вы станете объясняться? Вы чувствуете, что это было бы глупо. Да и вовсе не то впечатление, чтобы влюбляться в нее — как это можно? — это все равно, что вы пришли бы просить себе министерского места, — конечно, прекрасная должность, но, вы знаете, у вас нет и мыслей об этом». — «Однако нельзя же смотреть на живую женщину, как на картину, Эстер Абрамовна». — «Нельзя; и никто не смотрит так на нее. Но зачем вы

едете в театр? Влюбляться в артистку? Когда бывала у вас в Петербурге Фанни Эльслер, все влюблялись в нее? Я думаю, никто, кроме двух-трех глупцов, над которыми все смеялись; между тем все соглашались, что Фанни Эльслер необыкновенно хороша и привлекательна, и уж вовсе не картина, а женщина; не Тальони, в которой было что-то воздушное, а женщина в самом простом смысле слова. Хороша, нельзя не восхищаться; но как же влюбляться в нее? Это смешно. Да вот, вы почувствуете, что вовсе не то впечатление. Едем».

И мы поехали.

Но Всеволодский зарекомендовал меня такую шалунью, что, пожалуй, подумают, что я фантазирую. Конечно, я могу и фантазировать: в этой сказке о царь-девице я немножко присочинила; эту черкешенку или «меретинку», как называет ее няня, и Василия Васильича Фирдавуцкого, и няню, конечно, — все присочинила: но ведь это пустяки. И здесь несколько присочинила к своему старичку, — что он был управляющим, что он приходил с докладом в тот дом, где я жила, — разумеется, этого ничего не было. Ну, конечно, и в этом его разговоре с Эстер Абрамовною тоже я кое-что присочинила: разве люди всегда так подробно рассуждают о том, удивительно или не удивительно, вероятно или невероятно, — разумеется, такие разговоры больше бывают только на бумаге; на самом деле отвечают проще: «если не верите, то как хотите, я вам не доказывальщица». Да, это я присочинила: и о Гете, и о министерском месте, и о картине Рафаэля. Но ведь это ж пустяки; а все главное оставила я точно так, как было, и нисколько не прикрасила. Да нет, мне не поверят, потому что у меня открытый характер, и я сейчас же говорю, что присочиняю; а кажется, за это надобно бы больше верить.

Прочем, как хотите; я и не стану описывать самого визита к Леилат Гедеоновне, — попрошу мужа, пусть расскажет за меня: это факт, он сам слышал. Но ему прошу верить: мой Пьер человек ученый и не присочиняет ничего.

5. ВИЗИТ

Из мемуаров П. Нигулецкого

Действительно, это факт замечательный. Я близко знаю старика: у него нет привычки прикрашивать. Он один из самых добросовестных людей, и людей самых солидных в словах. Вот его рассказ — буквально:

— Я ехал с генералом N. Мы остановились в городе X — в Западном крае, по дороге из Петербурга в Бессарабию. Нам отвели квартиру в доме еврейского купца. Мы прожили у них

с месяц. Семейство было хорошее. Я был уже не молодой человек, — лет под сорок. Стали приятели с этими евреями. Через несколько лет я приезжаю в город Y, в том же краю. Через несколько часов по приезде мне встречается на улице зять того купца, также еврей, еще молодой человек передо мною. Зовет, чтоб я переехал к ним без церемонии: он теперь торгует тут. Я переехал. Поутру мы пьем чай; моя хозяйка — очень милая дама, образованная женщина, — спрашивает меня: «Как вам понравилась NN?» — «Кто NN?» — «Наша красавица, дочь купца N». — «Я не слышал, — говорю я; — ведь я никого еще не видел здесь: вчера, до встречи с вашим мужем, все возился с делами, — являлся к здешнему начальству, делал свои требования, — а вечер ведь я просидел с вами же». — «Так вы не видели ее? Поедьте. Я с нею приятельница, но все ездят, и знакомые». — «Как же это?» — я говорю. — «Да вот, увидите. Поедем». Я думаю, она смеется или присочиняет, — нет, потом, когда я стал видеться с другими, от всех в городе я услышал, что точно, совершенно так. Евреи того города гордились этою красавицею. Она была слава их. И всякий, как приезжал, слышал о ней, — и все ехали; их принимали. Она была светская девушка, очень образованная; прекрасно держала себя, нечего и говорить об этом. Но действительно, нельзя было свести глаз с нее: удивительная красавица.

Мы приехали. Вошли в гостиную, — моя хозяйка как знакомая; старик, старуха сидели с нами. Мы приехали еще рано. Она — дочь — еще делала свой туалет. Моя хозяйка отправилась к ней в комнату. Мы со стариками толковали, как обыкновенно, — я видел, что им вовсе не странны эти визиты, — мы говорили об их торговле, о моей службе, о моих приятелях, у которых я остановился. Так просидели с полчаса. Наконец, выходит в гостиную дочь; старики и моя хозяйка представляют ей меня. Она держала себя как обыкновенно держит себя светская девушка, принимающая визит. Образованная, милая девушка. Говорили о новостях, моя хозяйка и она играли на фортепьяно (роялей флигелем тогда еще не было, — я что-то не помню их в то время), пели. Таким образом время шло; простились и уехали. Просидели часа два, я думаю.

О том, что действительно она была дивная красавица, нечего говорить. Но точно, странное впечатление: как-то чувствуется, что нельзя влюбиться в нее, или я не так сказал: нельзя волочиться за нею, нельзя говорить ей комплиментов, — глупо, не имеешь права. Уверяю вас, я чувствовал, что нельзя; уверен, что и каждый так чувствовал. Невозможно иначе. Но теплота на сердце, это так: какое-то счастье смотреть на нее. Счастье, отрада. Очень теплое и приятное чувство: какая-то радость, что она так хороша. Думается: «Кого она полюбит? Неужели кто-нибудь может быть любим ею?»

И решительно все, совершенно незнакомые, являлись точно таким образом: «Позвольте просить позволения посидеть у вас это утро, чтобы видеть вашу дочь».

Это удивительно, я вам говорю:

**6. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ Г. Ф.
(ГРИГОРИЯ ФИЛИППОВИЧА ЛЕСНИКОВА)**

— Что ж было потом с этою красавицею, Григорий Филиппович? Так она и осталась доброю, хорошею девушкою?

— Через несколько лет мне опять пришлось быть в том городе, — я спрашивал Эстер Абрамовну: Леилат Гедеоновна вышла замуж, сделала довольно хорошую, даже очень хорошую партию и уехала из того города: муж ее служил. Но служил в провинции. Я слышал потом его фамилию; он был в порядочных чинах; говорили, что его жена — удивительная красавица, но эти похвалы не представляли ничего особенного; знаете: «удивительно хороша». Я услышал о замужней жизни Леилат Гедеоновны уж несколько лет спустя, когда муж ее выслужился до очень порядочных чинов.

— И они хорошо жили между собою?

— Хорошо, как доходили до меня слухи.

— И она любила его?

— Да. Так были слухи.

— Что ж это был за человек, которого она полюбила?

— Хороший, как я слышал.

— Хороший, — и только?

— А что ж? Хороший, неглупый, как я слышал. Да что это вы спрашиваете: «только», или нужно что-нибудь необыкновенное, чтобы полюбила красавица? Ведь надобно же полюбить; хоть она и удивительная красавица, но лицо не мешает иметь и душу, — тоже чувствует потребность любви. И эта другая, о которой я знаю гораздо больше, чем о Леилат Гедеоновне, — та-даме Лесникова, — ее судьба была очень обыкновенная, и она также была добрая, хорошая, благородная женщина, хоть была также дивная красавица; я вам сказал, Саша: только трех таких я видел, — ее, Леилат Гедеоновну и англичанку. Тех двух видел только мельком, ее встречал много раз в обществе. А с мужем ее был очень хорош: по флоту мы были сослуживцы. Это было, я вам сказал, еще до его женитьбы. Но я раза два-три приезжал в Орел по делам службы, когда он был там вице-губернатором. Ее отец, — ее звали Леонила Федоровна, — Федор Симонович, ее отец, был прикомандирован к отряду, которым начальствовал Мойницкий; в 1813—1814 годах этот отряд, из легкой кавалерии и из сотни казаков, действовал в летучем корпусе Теттенборна, — слыхивали, Саша?

— Нет.

— Этот Теттенборн был удивительный партизан и любил русских; у него только и были: волонтеры из всяких, но больше немцы, — и русские войска. Вот одним из русских отрядов, данных Теттенборну, командовал Мойницкий, юноша тогда; и под его начальством был, — есаул тогда, кажется, — отец Леонииллы Федоровны. Когда зятя назначили вице-губернатором в Орел, он и рискнул дать письмо к Мойницкому, — что, говорит, изволите ли помнить, ваша светлейшая светлость, как тогда мы с вами в стогу сидели двое суток, от иных французов прятались, а которые по нашим зубам были, тех французов ловили? — Письмо очень удалось: граф Андрей Петрович с приятным чувством вспомнил о своих действительно молодецких делах, о старом служаке, помогавшем ему, юноше, — и принял дочь своего есаула почти как родственницу: он выходил в переднюю встречать ее, он провожал ее до коляски, он сам усаживал ее в коляску, он заботился о том, плотно ли она закутывается шалью, если прохладным вечером бывало катанье по реке, она имела свое место всегда подле него, когда хотела болтать с ним. Граф Андрей Петрович имел свои недостатки: он был деспотичен по природе, был еще больше испорчен подобострастием всех окружающих, — но в душе он не был дурной человек, и если бы поглубже покопаться в его сердце, может быть, в нем нашлась бы даже доброта; простота была видна многим, и не копавшимся глубоко, честность была видна всем. Человек немолодой, он не был ловеласом, держал себя прилично летам, — даже мог чувствовать истинно доброе расположение к молодым, порядочным женщинам, которые держали себя перед ним с достоинством, честно, не навязывались ему в любовницы. Не знаю, много ли было таких дам в том кругу, но были некоторые и такие, и с ними он был благородным, почтительным хозяином, уважал их. Так держала себя с ним и Леонилла Федоровна.

И не могла держать себя иначе: я видел ее лишь несколько раз, но довольно было взглянуть на это прекрасное лицо, чтобы видеть благородство ее характера. Притом же она искренно привязана была к мужу. Бедный ребенок, не имевший и своей горничной, она была поставлена своим замужеством далеко выше судьбы, на которую могла рассчитывать дочь есаула, кое-как живущего в каком-то Моздоке. Красота — что красота! Мало ли красавиц не находит себе партии выше мужика! Из сотни красавиц девяносто родятся крестьянскими девочками и восемьдесят пять из них становятся крестьянскими женами. Я видел только трех таких, как она, — говорил я вам, Саша, — но трех потому, что другие, — быть может триста, — проходили мимо меня в лапотках, преждевременно увядшие, или, быть может, и до расцветания изуродованные; а во всяком случае, они шли в лаптях, пешечком и сторонились от моего экипажа, — экипаж мой небо-

гатый, — но все-таки я ехал на нем посредине дороги и хорошою рысью, а они брели сторонкою, — где ж мне было рассмотреть их? Да я и не видал их. — Так ли, Саша? Красота — недурно для составления хорошей партии, но очень неверно; и наверно Федору Симоновичу с женою даже не снилось о такой партии, как Лесников. «Молись за него, Линочка, он составляет твое счастье», — и крестились, и молились. И Линочка молилась. Она была добрая, простая девушка: она делалась важною барынею, первую дамою в Моздоке, — как не молиться за такого мужа? «Он благодетель мой», искренно думала она. Благодетель! — точно, она скоро увидела, что и не тем только благодетель, что через него она стала первую дамою в Моздоке, потом стала вице-губернаторшею в Орле, скоро будет губернаторшею: нет, — она оценила Лесникова.

Странный был человек этот Лесников: умный, ученый, все мог рассказать и объяснить вам. Спросите, Саша, о его сочинениях: очень умные. Спросите о нем, как о моряке — все скажут: храбрый, — он бывал в кампаниях и не ронял чести мундира, далеко нет: был человек замечательного мужества, был спокоен в очень опасные минуты, я сам видел, и все видели. Спросите о нем, как о вице-губернаторе, потом и губернаторе — все скажут: дельный, — точно, очень дельный. Скажите же, Саша, как после этого объяснить одно: опытный человек, дельный человек, неглупый человек, — но так и жизнь провел, и дожил до старости, с тем и сошел в могилу, что не верил, что есть дурные люди на свете, — как вы это поймете, Саша?

Я засмеялась. — Я не знаю, как я пойму это, Григорий Филиппович, а вы должны бы, кажется, понимать: ведь и вы тоже неглупый и дельный человек, и уж сильно немолоды; даже и лета ваши утаиваете от меня, так что я считаю вам восемьдесят.

— Нет, Саша, меньше.

— Но под семьдесят? Это, я только пугала вас восемьюдесятью. А под семьдесят есть? — Григорий Филиппович только вздохнул, и сознался этим, бедняжка, что не под семьдесят ему, а 72, — напрасно утаивает. — Так вот, Григорий Филиппович, ведь, однако, при всем этом вы держитесь той же ереси, я полагаю, как и Лесников, что нет дурных людей?

Мой Григорий Филиппович отчасти сконфузился, — зато он у меня и причислен к лику Григориев Филипповичей: Григории Филипповичи — это все те, которые держатся ереси того Григория Филипповича — Лесникова.

— Ну, как же можно, Саша, все же не то.

— Как не то? Ведь я замечала.

— Нет, Саша, дурных людей много на свете.

— Верю вам, Григорий Филиппович.

— Нет, Саша, вы поймите, что это вовсе не то. Никто, Саша, не родится дурным, — я это думаю, точно; ваша правда. Но

жизнь портит многих, это я тоже вижу, Саша. А Лесников был не такой: он просто не верил, когда вы ему указывали дурного человека, его, бывало, ничем не урезонишь: «нет, — говорит, — это что-нибудь не так; я сам знаю все его дела, о которых вы говорите, — но это все что-нибудь не так», — поверите ли, Саша, при всем уважении к его характеру становилось даже досадно. Но, Саша, вы понимаете, отчего это: точно, он сам был кроток и незлобив, как дитя. Как было не любить такого мужа женщине хорошей, доброй, благородной? И тем больше, когда он — да это можно понять, как он ее любил. Редкая мать так любит свою дочь.

И вот эта парочка явилась в Орле на вечерах Андрея Петровича. Мой Лесников тут пропадал, — последняя спица в колеснице. Но она — она вошла, и ахнули. Ахнули бы, поклонялись бы, если б она шла и не под руку с графом, — если бы перед нею не пробежал шопот: «граф Андрей Петрович побежал в переднюю — кого это встречать?» — «Новую вице-губернаторшу». — «Ах, ах!» — но ахнули бы, я вам говорю, Саша, и без этого. Царица, царица! — и была она царицею три года. Поклонение без лесты, Саша: нельзя было не поклоняться. Много было блестящих людей в этом великолепном кругу, — много их было, и все поклонялись, но она любила мужа и не смотрела ни на кого. Так прошло, говорю я вам, три года — три лета роскошных праздников каждый день.

И не закружилась у ней голова. Оставалась простою и доброю дамою, — и осталась. И теперь она такая. Я давно не видел ее, с той поры, как вот мой Лесников-то отличился. Но слышу: хорошая женщина.

Три лета прошло в Орле с графом Андреем Петровичем; на четвертое лето Орел остался без графа; как до него был, так стал теперь опять Орел; между птицами орел важная птица, между городами — больше посредственная, чем важная.

Леонила Федоровна выдержала эту перемену очень холодно. Она теряла больше всех орловских дам; другие теряли только шум, в котором было много упоительного, но еще больше горького для всякой: за один успех сколько неудач приходилось терпеть каждой, — и все мерцали на втором плане, помрачаемые великолепными гостями из аристократии трех губерний и самого Петербурга. Она сияла над всеми, ей не было совместниц, и она спокойно сошла с этой пышной сцены в маленькую обыкновенную жизнь неблистательного губернского города. Она осталась весела и счастлива. И как было не остаться веселой и счастливой? — Ее домашняя жизнь была уютна и хороша.

Так прошло, Саша, года четыре. Ей было 25 лет. Она и теперь еще хороша, через двадцать лет после этого. Я слышу о ней, — теперь о ней нельзя не слышать: и вы слышали, вероятно: Леонила Федоровна Тавлинцына.

— Тавлинцына? Что вы говорите? Вы рассказываете о ней?

Кто же не знает Тавлинцыной. Я видела ее портреты в кипсеках Лизаветы Сергеевны. Я знаю, что ее салон один из первых в Петербурге. Как же не знать ее! Но что ж? Я слышала, как и все, что она за вторым мужем; фамилию первого мне не удалось слышать; говорили, что он был человек не важный, но очень хороший, несколько не пара ей по летам, но что она очень любила его, что он умер без всяких приключений. Что она, оставшись молодой вдовою, сделала эту блистательную партию не потому, что хотела быть аристократкою, а потому, что полюбила Тавлинцына, — и все это очень естественно: его можно полюбить. Я сама не знаю его, но его репутация — не мы с вами ее создали: один из умнейших людей у нас, уважаемый всеми.

— Все это так, Саша. Одно только: «уважаемый всеми», — правда; и вероятно, справедливо.

— Наверное, справедливо, Григорий Филиппович: его деятельность на виду у всех; она благородна. Он вполне заслуживает свою репутацию и все почести.

— Это совершенная правда, Саша. Но вы извините меня: ведь я сравниваю его не с другими, а с Лесниковым, и мне странно, как она могла полюбить его, после того, как любила этого ангела, а не человека. Впрочем, Саша, я напрасно говорю это: Лесников был все-таки не пара ей по летам, — ему было 35, когда ей было 18; когда ей было 25, ему было 42, — не пара. Тавлинцын был пара ей по летам, этим извиняется она.

— Как извиняется? В чем же извинять ее? Лесников был ангел, а не человек — прекрасно. Она очень любила его — это еще лучше. Но когда она осталась вдовою, то почему ж быть Дидоною? Это и во времена Дидоны уж казалось, я думаю, смешно.

— Так, Саша; ваша правда; но вы послушайте, что я скажу...

Однако я сказала вам: я так плохо зарекомендована моею сестрицею и Елисеем Яковличем Всеволодским в их разговоре, что вы не расположены видеть мою серьезность, — думаете: «проказница», — а сама я еще больше повредила себе в вашем мнении: начала сказкою, потом рассказала вам все, как я выдумала курфюрста Майнцкого, пересочинила его в графа Мойницкого и сама вижу, что нельзя верить, если я стану говорить, что рассказываю не выдуманную историю. И отчего? — я сказала вам: оттого, что у меня такой прямой характер: как только выдумую что-нибудь, сейчас и признаюсь: «это я выдумала». Если бы вы были такие же, как я, вы за это стали бы верить моим словам, как ничьим: если уж я не прибавляю: «это выдуманно мною», — то значит, не выдуманно то, к чему не прибавлено это. По-моему, так. Если бы я была посторонний себе человек, я очень верила бы себе. Но кто же захочет рассудить так? «Выдумщица». — Хорошо; но я досказала до серьезного, до того, что уж в самом деле так было, — так, в самом деле, и я опять сделаю вот что: вы

не хотите верить моему рассказу с моими Мойницкими, Лесниковыми, Тавлинцыными, — прекрасно, не верьте, бросьте их, — все это выдумка, — читайте рассказ моего Пьера: он человек серьезный; впрочем, и ему не верьте, если не хотите, он не очень огорчится этим: у него в руках документы, и он вам покажет их, — тогда, верьте, не верьте, как вам угодно.

Я вам объясню только вот что: «Лесников» — не может ли это быть переводом фамилии Forster? Г. Ф. — мы произносили это «Григорий Филиппович», но почему нельзя произнести этих букв: Георг Форстер? — Итак, mesdames et messieurs, действие переносится из Орла в Дрезден, и отодвигается на девяносто лет назад; послушайте мужа, и тогда мы с вами поговорим опять, — может быть, тогда вы будете больше доверять мне. Но нет, слишком много прозы будет подряд; лучше вставим стихи, — я очень люблю стихи. Вы еще помните «Сашины грезы»? может быть не твердо помните, на чем они остановились тогда? Повторим последние стихи: Саша мечтает под шум березы:

Поздним летом, в окна спальни
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;

Но под легкий шум березы,
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова.

Я жду...⁵³

7. САШИНЫ ГРЕЗЫ

Пестрые грезы сменяются живо...⁵⁴

Я жду... Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.

Я жду... Темносинее небо
И в мелких и крупных звездах;
Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Я жду...⁵⁵

8. ГЕОРГ ФОРСТЕР

Биографический очерк, составленный П. Нигулецким

Георг Форстер знаменит как ученый. Его слава — редкая: она растет с годами. С каждым новым десятилетием поднимается цена его идей о ботанике, лучше понимается, какой гениальный человек он был.

Но здесь нам нет дела до его ученых трудов. Для нас здесь не будет занимательно то, как он путешествовал с капитаном Куком, какие собрал коллекции, — довольно того, что когда он возвратился в Германию из своего кругосветного плавания по морям южного полушария, его ученая слава обеспечила ему очень хорошее положение при саксонском дворе. Но он не прямо с Кукова корабля попал в Дрезден: года два перед тем он прожил в Венгрии и женился там на дочери офицера, — маленького человека, который в семилетнюю войну служил под начальством курфюрста Саксонского, — тогда молодого и отважного генерала, командовавшего небольшим венгерским отрядом при партизанском корпусе Тренка, после того как саксонская армия была уничтожена Фридрихом II в начале войны. Старик отважился написать курфюрсту письмо, в котором напоминал ему о партизанских делах его молодости и о себе, тогдашнем его сослуживце. Курфюрст принял дочь старика почти как родственницу. Она была женщина редкой красоты. Доброе расположение курфюрста, державшего себя с молодою венгеркою почти как дядя, — закутывавшего ее в шаль, говорившего ей: «боюсь, вы простудитесь», — выдвинуло ее в первый ряд придворных дам. По красоте ей не было соперниц при дворе, хоть про Саксонию и есть поговорка, что именно в ней больше красавиц, чем где-нибудь: Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen*. Все поклонялись молодой венгерке. Но она держала себя так скромно и была так холодна ко всем поклонникам, что не могли сочинить ни одной сплетни о ней. Она очень любила мужа. За ее красоту, пожалуй, и не стали бы интриговать против нее: она не мешала никому, ни у кого не отнимала ничего сердца, не только курфюрстовых милостей. Честное, доброе, почти родственное расположение курфюрста к ней возбудило опасение не в статс-дамах и фрейлинах: почтенный администратор Брюль боялся, что ее муж раскроет глаза курфюрсту. Курфюрст часто говорил с Форстером по целым вечерам. Что, если Форстер от своей ботаники перейдет к нему, Брюлю? А Форстер уже давно принимался переходить к Брюлю от своей ботаники. Поэтому Брюль выхлопотал Форстеру очень хорошее место в Дюссельдорфе. Дюссельдорф — город не очень плохой, там было кое-какое общество; по соседству жили кое-какие бароны, из мелких, которым по недостатку связей не удалось пристроиться ни к одному из бесчисленных дворов Германии. Г-жа Форстер была женщина умная, хорошая, — не убивалась тоскою по дрезденской великолепии. Они продолжали жить с мужем попрежнему, счастливо.

Она очень любила мужа: это был один из тогдашних энтузиастов, проповедников кротости, мягкости, — людей вроде Бернардена-де-Сен Пьера, — людей, у которых восторженная гуман-

* Саксония, где растут прекрасные девушки.

ность выходила прямо из их личного характера. Нельзя было не любить такого человека. Но он был семнадцатью годами старше своей жены. Они прожили счастливо лет семь, восемь.

На восьмой год приехал в Дюссельдорф маленький чиновник, Тавернье, потомок одного из гугенотов, лет за сотню перед тем бежавших в Германию, когда началось гонение протестантов во Францию; этот правнук или праправнук француза не имел уже ничего французского, кроме имени.

Как влюбилась в него г-жа Форстер? Он не был красавец, он не был и блестящ, он не был даже и волокита. Как она влюбилась в него, темного человека, когда оставалась равнодушна ко всем блестящим молодым людям дрезденского двора? Факт хорош для рассказчика тем, что рассказчик не обязан объяснять его возможности: «так было, следовательно, так было; а как могло быть, не мое дело». — «Годы ей, что ли, такие пришли?» — верно так; но так или не так, только однажды Форстер, вернувшись домой, услышал от служанки, что «госпожа изволили поехать, не сказали куда, и приказали сказать вам, что они уезжают навсегда и не могут возвратиться домой». Форстер ничего не знал и не предвидел. Как он принял удар, как он понял его, — кто ж его знает. Он ничего не говорит об этом в своей корреспонденции, и биографы его ничего не умеют сказать об этом. Но через два три дня г-жа Форстер вошла в его кабинет: «Я любила тебя и люблю; но не так, как полюбила Тавернье. Прости меня. Я понимаю, что я убиваю тебя, но прости меня». Разумеется, и этого разговора негде найти, — видно только по следующей корреспонденции из гораздо позднейшего времени, что смысл слов г-жи Форстер был такой. Они оба — да и Тавернье, как потомок гугенота, — были протестанты. Развелись. Форстер несколько времени держал себя спокойно. Но свадьбы не было. Почему не было? — опять, кто ж знает; быть может — мало ли что можно предполагать. Быть может, даже и то, что Тавернье, человек тогда ничтожный, колебался заедать чужой век; быть может, он забылся в увлечении и уже мучился совестью, что погубил жизнь женщины, которую уважал, что отнял у ней довольно высокое положение в обществе, могло быть и это, но все предположения, — и это, и всякие другие, — совершенно напрасны. Факт лишь то, что Форстеру показалось: «он отсрочивает свадьбу», — быть может, и то, что Форстеру только так показалось; быть может, она сама не хотела праздновать новый брак так скоро после того, как поразила человека, которого глубоко уважала; быть может, она же и говорила Тавернье: «отсрочим наши праздники, пока он сколько-нибудь оправится», — кто ж это знает? об этом ничего нет, можно строить предположения, какие кому нравятся; но мы знаем только вот что: Форстер пригласил к себе Тавернье, Тавернье приехал. Форстер — этот ягненок — взял пистолет и сказал: «Она перестала быть моею женою, но это не сняло с

меня обязанности беречь ее. Венчайтесь, или я убиваю вас». В каком смысле отвечал ему Тавернье, этого опять ничего не видно. Мало ли что могло быть! Если продолжать прежние предположения, могло быть, что Тавернье отвечал: «Вы требуете того, на что мы еще не решались из опасения слишком рано напомнить вам наше существование молвою о нашей свадьбе», — почему не могло быть такого ответа? и почему он не мог быть правдив? Вся последующая жизнь Тавернье свидетельствует в пользу такого предположения. Но оно только предположение, впрочем, очень правдоподобное.

Тавернье был благородный человек, как чиновник. Но он не был Форстер. Он не был энтузиаст, который готов обвинять Брюля перед курфюрстом. Когда дочь сослуживца курфюрста вышла за него, Брюль сам напомнил курфюрсту, что вот эта молодая дама составляла честь дрезденского двора, что она дочь сослуживца курфюрста, что, вероятно, ей скучно в глухом Дюссельдорфе. Тавернье был пристроен ко двору, — был человек умный, дельный, — пошел быстро и скоро стал одним из первых сановников в Саксонии. Г-жа Тавернье до конца жизни сохраняла прекрасный характер, была женщиною доброю и простою.

9. ЛАНЬ

Татарская сказка

Мой муж — Нигулецкий, как я называю его здесь, — Пьер, как я сама зову его, — однажды ехал из Петербурга на юг, по железной дороге, из Твери на пароходе. В Казани ждал его родственник. Он сошел на пристани; с ним был большой чемодан, другие вещи; нельзя было уложить на дрожки всего этого, он взял простую татарскую телегу; это было за несколько лет до моей свадьбы; Пьер, студент, не имел нужды церемониться насчет парадности своего появления в Казань. От пристани до города несколько верст песчаной дороги; лошадь татарина шла шагом. Пьер, от скуки, заговорил с татаринном, произнес по-арабски несколько фраз из корана, — самых известных: «Хвала господу, всеблагому, всемилосердному» — таких знакомых каждому мусульманину, — прочел татарский гимн покаяния, который начинается словами: «О, господи, в день страшного суда, что буду делать я, грешник». Татарин сказал «понял»; Пьер никак не предполагал, что имеет хоть сносный татарский выговор: в Петербурге он не имел практики, учился по-татарски из книг и в аудитории. По-арабски он говорил, но по-татарски не умел говорить.

— Очень хорошая молитва, — сказал татарин; — только, почему же ты ее знаешь? Ведь ты русский.

— А я учусь по-вашему.

— И гафтиак читал?

Гафтиак — это извлечение из корана, гафтиак гораздо более известен простому народу, чем коран.

— И гафтиак читал; и даже коран читал.

— О, молодец! Что ж, понравилось тебе?

— А ты не осердишься?

— За что сердиться, говори. Я сам тебя спросил, так за что сердиться?

— Ну, по правде сказать, вот что не очень нравится мне: ваш пророк больно сердит; все говорит: «газават надо» (газават — война против кяфиров, «неверных»), — все велит вам с кяфирами воевать. Очень сердит.

— Ой, ты что-то не так говоришь. Я что-то не слышал, какой это газават; наш пророк разве сердитый был? Он такой добрый человек был, какого и редко можно встретить.

— Как так?

— Так. Верно тебе говорю. Я тебе скажу, какой он был человек. Ты думаешь, он воевал с кяфирами? Нет. Кяфиры его обижали, — говорили: «Ты врешь, Магомет», — а он им показывал, как он не врет; кто из них был умный человек, и видел: «о, он правду говорит».

— Как же он показывал им это?

— Известно, как: ты слышал, как сорок кяфиров ловили лань?

— Нет, не слышал.

— А вот как...

Но вы все ещё, может быть, считаете меня выдумщицею, — пусть же расскажет вам эту легенду мой муж.

СОРОК КЯФИРОФ⁶⁶

Татарская легенда; рассказ по татарскому подлиннику

Пророк шел полем, — прибежала к нему лань и говорит: «Защити меня. За мною гонятся сорок кяфиров». Пророк сказал: «Стань здесь, подле меня, я упрошу их».

И вот прискакали сорок кяфиров. «Выдай нам эту лань, Магомет, или мы убьем и тебя». — «Не умирай за меня, пророк, — сказала лань, — но вот о чем попроси их: они гоняются за мною с утра, — с утра я не кормила моих детей грудью. Они голодны. Пусть кяфиры позволят мне сходить к моим детям, я накормлю их грудью и вернусь, — и тогда пусть они убьют меня».

Пророк сказал кяфирам: «Отпустите ее покормить детей; она вернется». — «Нет, она обманет», — сказали они. — «Не обманет, я ручаюсь вам за нее жизнью».

Кяфиры перешепнулись между собою, засмеялись. «Хорошо,

пусть она идет кормить детей; но если она не вернется, когда тень дорастет до четырех локтей, умрешь ты за нее».

«Хорошо», — сказал пророк. И лань побежала кормить детей. А кяфиры перешепнулись между собой: «Мы знаем, что она не обманывает пророка; но мы поставим на ее дороге сеть: когда она побежит назад, попадет она в эту сеть; и мы убьем пророка». Одни кяфиры остались стеречь пророка, другие поехали, поставили сеть между кустов.

Лань покормила детей, побежала назад, — и попала в сеть: между кустов она не заметила ее.

«Пора, пророк, — сказали кяфиры: — тень дорастает до четырех локтей; лань обманула тебя, и тебе надобно умереть».

«Она не обманула меня, — сказал пророк, — это вы как-нибудь помешали ей возвратиться. Но тень доросла до четырех локтей — убейте меня».

И сорок кяфиров вынули сабли, но по воздуху пронеслась лань, как была запутавшаяся в сети, и с кустами, за которые была прикреплена сеть.

И сорок кяфиров уверовали пророку.

И — продолжаю свой рассказ я, которую вы считаете выдумщицею, — и сорок кяфиров уверовали пророку, сказал татарин, и запел:

Пусть, насколько хватит сил,
 Чернь тебя клянет;
 Пусть кяфиры на тебя
 Выступят в поход, —
 Ты не бойся их, пророк:
 Вечно милосерд,
 Сам Аллах противу них
 Твердый твой оплот!⁵⁷

Неужели и теперь будете говорить: «выдумщица! — все сама выдумывает и заставляет мужа помогать ей; ее муж, сам по себе, кажется солидный человек, — но, верно, слушается ее во всем, делает все, что она скажет».

Это правда: делает все, что я скажу. И знаете ли, почему? потому, что мы никогда не говорим друг другу неправды.

Однако, как жаль, что вы еще не верите, — нет, уж не все не верят мне. Только некоторые продолжают не верить. Ах, как это жаль, что еще не все верят мне! Пока хоть кто-нибудь еще будет не верить мне, я не могу рассказать сказку про Маджлинет: нельзя, это такая сказка, которой все должны верить! Ах, как она хороша! — лучше той сказки о Гурдаферид, которую я переделала в Дебору-девицу: это мой муж сказал мне, что «Гурдаферид» грузины произносят Хдафора и что русская старуха не

выговорит Хдафора, а сделает из этого Дебора. Мой Пьер этим занимался. Но он рассказывал мне эту сказку прямо по Фирдавси. Не правда ли, хороша? Но сказка о Маджлинет еще лучше. Она даже лучше сербской песни «Двое милых» — знаете вы эту песню? Лиза слышала ее в Новой Сербии; я сделаю только одну перемену: там говорится — «целую белое лицо», — мой Пьер говорит: «в русских песнях всегда говорится: целую алые губы» — а вы знаете, какой мой характер: я все переделываю по-русски. Поэтому у меня вместо: «целую белое лицо» будет: «целую алые губы», остальное все будет слово в слово. Да, мой Пьер говорит, что у сербов поцелуй в лоб — в нижнюю часть лба — «между чёрных глаз» — то же самое, что у нас крепкое пожатие руки — выражение дружбы.

10. ДВОЕ МИЛЫХ ⁵⁸

Сербская песня. Переделка А. Тисьминой

Двое милых росли в любви между собою, — сызмала, с трех лет. Парня звали Иваном, девушку Марью. Но Иван был из богатой семьи, а Марья была сирота. Иван стал просить мать, чтобы она посватала ему Марью, а мать сказала: «Прокляну тебя. Я сосватаю тебе другую невесту, красавицу, какой нет в целом свете, и из богатой семьи. — Фатиму, дочь Атлагича». Послала она сватать Фатиму; сосватала. Повенчали Ивана с Фатимой, отвели в их светлицу. Но как остались они одни в светлице, не поднимает Иван белого покрывала с лица Фатимы, не раздевается и сам, а присел на сундук, задумался и говорит: «Милая душа моя Фатима, не поцелую я тебя в алые губы. Я люблю другую девушку. Я пойду к ней, милая душа моя». Говорит ему девушка Фатима: «Иди к ней. Накажи бог смертью тех, кто разлучил милых». Накинул он на себя плащ, взял под плащ тамбуру, поцеловал девушку Фатиму между черных глаз, пошел из светлицы; — пошел он под окно к Марье; взял он тамбуру и запел под окном у Марьи:

«Скажет теперь про меня моя Маша, что я поднимаю белое покрывало с лица Фатимы. — Нет, душа моя, нет: клянусь жизнью твоей и моей, и нашей любовью клянусь.

«Скажет теперь про меня моя Маша, что целую я алые губы Фатимы. — Нет, душа моя, нет: клянусь жизнью твоею и моею, и нашей любовью клянусь».

Марья уж спала; вскочила, говорит матери: «Слышу запах розы, слышу плач под звук тамбуры, слышу запах розы, — это мой милый»; — бежит она к окну: уж нет никого под окном.

Возвратился Иван к Фатиме, говорит: «Я умираю, милая душа моя. Когда будут хоронить меня, пусть несут меня мимо

окон моей Маши. Пусть Маша поцелует меня мертвого, когда не целовались мы с нею живые».

Поутру пришла мать Ивана будить молодых. Смотрит: сын лежит мертвый. «Это ты убила его, — говорит Фатима девушка, — накажи бог смертью тех, которые разлучили милых и дорогих».

Понесли Ивана мимо окна Марьи. А Марья смотрит в окно, — видит, говорит: «Поцелую я его мертвого, когда не целовала живого», — выбежала, обняла, стала целовать Ивана. Живая припала она к нему, подняли ее от него мертвую. Принесли гроб и ей, поставили оба гроба в одну могилу, соединили руки милых и дорогих.

11. САШИНЫ ГРЕЗЫ

Пестрые грезы сменяются живо,
Щеки румянцем горят не стыдливо ⁵⁹.

...Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах...⁶⁰

Я жду...

«Полюблю я его
Жарче дна и огня,
Как другим не любить
Никогда, никогда...»⁶¹

Я жду...

«Трепещет грудь, пылают плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...

Я жду... вот повеяло с юга... ⁶²

«На раздолье небес ярко светит луна,
И листы серебрятся олив,
Дикой воли полна
Заиграла волна,
Жемчугом осыпая залив.

«Эта дивная ночь и тепла, и светла,
И огонь разжигает в крови;
Я мастику зажгла,
Я цветов нарвала,
Приходи на свиданье любви!»

12. АРАБСКАЯ ПЕСНЯ

Я люблю его жарко. Он тигром в бою
Нападает на хищных врагов.
Я люблю в нем отраду, награду мою
И потомка великих отцов.

Только, мирный пришлец, нагибайся в шатер
И спокойно оружие скинь:
На услугу и ласку он ловок и скор,
Он бадья при колодце пустынь.

Будто месяц над кедром, белеет чалма
У него средь широких степей.
Я люблю, — и никто, ни Фатима сама
Не любила пророка сильней⁶³.

13. САШИНЫ ГРЕЗЫ

Я жду... Вот повеяло с юга...
Да, идет он, поет:
«Где ты, зорька моя?
Я пришел к тебе в ночи
Незаметными путями;
Отопрись, и дай почить
У тебя между грудями».
Вот он руку берет,
Вот целует меня...
Милый друг! погаси
Поцелуи твои!
И без них, при тебе
Огонь пылает в крови.
И без них, при тебе
Жжет румянец лицо,
И волнуется грудь,
И блистают глаза,
Словно в ночи звезда...⁶⁴

14. МОЙ ХАРАКТЕР

Неужели и теперь вы говорите: «все это она выдумала»?
Да, я сама, это все я выдумала.

А. Тисъмина

15. МОЯ ТАЙНА

Я не совсем ребенком был.
Все любовались мной;
Мне шли и кудри по плечам,
И сюртучок цветной.
Но злые были все они,
Добра была одна:
О, как она была мила!
Строга, но так добра.
Я часто в очи ей глядел
И тихо руку жал,
И черный глаз ее тайком
И кудри целовал...
И помню: было мне вокруг
При ней все так светло,

И мутно было в голове
И на сердце тепло...
Летели дни... промчался год...
Настал последний час —
И ей шепнула что-то мать
И разлучила нас.
И долго, долго мне пришлось
И плакать, и грустить...
Но как боялся я о ней
Кого-нибудь спросить!..
Я плакала... Вижу вдруг: она,
Припав к устам моим,
Мне говорит: «Не бойся, друг,
Меня не видно им!»
И с этих пор она моя,
В объятиях моих;
Целую страстно я ее
Одну и при других.
И говорят они: «Смешно.
Краснеет он, дитя!»
Они не знают, что одну
Из них целую я!⁶⁵

V

ПРИТЧИ

Из сочинений А. А. Сырнева

1. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. СЫРНЕВА (1863)

16 м а р т а. Две, три недели, — много, месяц, — и я перестану заниматься своим *L'Analyse des fonctions qualitatives et agissantes* и перестану искать планету, которую откроют когда-нибудь...

Я уже давно не могу заниматься своими любимыми трудами: я слаб... Буду шутить.

Добрая Лидинька! чтобы развлекать меня, она и сама принялась мараить бумагу, и заставила всех: — мужа, Сашу, свою сестру, моего дядю, братьев, сестер, — всех помогать ей...

Да, и я развлекаюсь... добрая Лидинька, вы не знаете, как она добра!

Но мне вредно быть чувствительным.
Добрая Лидинька!

2. ПРОБА ПЕРА

А. А. Сырнев а

Я желаю быть автором. Талант ли я, неизвестно. Но если и талант, то юный. Юный талант нуждается в ободрении и поощрении. Юному не-таланту еще может пойти в прок назидания

«не скрипи пером без толку». Испытаю, поощрят или назиждут меня почтенные люди с тонким вкусом.

Но что такое тонкий вкус? Это отчасти разъясняется тем, что я предполагаю, что когда-нибудь существовала сестра чьей-нибудь бабушки. Предположить, что она была сестра у моей бабушки, значило бы сделать гипотезу, в основательности которой многие могли бы усомниться. Но что хоть у чьей-нибудь бабушки была сестра, с этим, надеюсь, все согласятся.

Эта сестра чьей-нибудь бабушки знала толк в чае; сама пила, и своим гостям подавала чай, который считала хорошим. Ее гости также находили, что ее чай хорош. Некто был противного мнения, потому что имел очень тонкий вкус. Он находил, что чай сестры чьей-нибудь бабушки не очень хорош, потому что, говорил он, хороший чай бывает не такой, а вот какой, — и он очень подробно объяснял, какой чай бывает очень хороший чай.

Однажды сестра чьей-нибудь бабушки сказала этому некто, что теперь она достала превосходный чай, и пригласила этого некто откусать у нее этого чаю. Некто пожаловал. Сестра чьей-нибудь бабушки показала своему гостю-знатоку чай самого высокого сорта, положила в чайник. Когда чай настоялся, хозяйка налила гостю чашку, — тогда и мужчины пили чай из чашек, — налила и себе, но сама, заговорившись с гостем-знатоком, забыла пить, а гость и говорил и пил, — выпил чашку и похвалил. Хозяйка налила ему вторую чашку, — он пил, в это время вошло несколько человек других знакомых; гость-знаток пил и хвалил, они слушали с приятностью его рассуждения о том, что он имеет тонкий вкус и что вот этот чай, который он теперь пьет, очень хорош; когда они выслушали это, хозяйка взяла чашки, чтобы наливать другим гостям; тогда один из других гостей сказал: «Любопытно бы прежде заглянуть, каков этот чай в чайнике, — на столе мы видим банку ляпсина, — но в чайнике...» Тогда хозяйка открыла чайник и показала своему гостю-знатоку, что он пил и хвалил настой березовых листьев с липовыми листьями. Все другие гости не были удивлены этим.

Что из этого следует? Я говорю: неизвестно. Вы скажете: из этого следует, что хозяйка и все остальные гости были в комплоте против знатока с тонким вкусом. Конечно, это следует; но я имел в виду вопрос более важный: что следует из того, что отвар березовых листьев с липовыми листьями показался знатоку прекрасным чаем? — и я говорю: что следует из этого, неизвестно. Вы говорите: следует, что знаток не имел не только тонкого, но и никакого вкуса. Я говорю: неизвестно; может быть; но также может быть, что если березовые и липовые листья смешиваются в надлежащей пропорции, то получается отвар, которым я не угощу вас, потому что я сам пью то самое, чем угощаю вас, — но угощу знатоков. Но это только лишь предположение.

Теперь сделаем другую гипотезу, обратную первому предпо-

ложению. Вместо женщины, предположим мужчину, вместо старости — молодость. Что получаем? — вместо сестры чьей-нибудь бабушки является внук чьей-нибудь сестры. Какая притча будет следовать из этого? — противоположная первой. Но первая известна, потому и вторая сама собой разумеется: например, можно предположить, что внук чьей-нибудь сестры, бывши студентом, взял Цицерона, списал из него несколько страниц, поставил под эту выпискою свое имя и получил на этом листе письменное удостоверение знатока латыни, что Цицерон писал не такую хорошею латынью, какую писал внук чьей-нибудь сестры. Что из этого следует? — Из этого следует:

«ПРИТЧА О НОСЕ»

Если нос тебе понравился,
Можем новый наклеить.

Вы хорошо помните повесть Гоголя «Нос»? — Сделаем пробу над нею. Вы помните, что когда Прасковья Осиповна объявила мужу, что не позволит ему ни минуты оставлять в ее комнатах нос майора Ковалева, Иван Яковлевич завернул этот нос в тряпочку, пошел на Исакиевский мост, швырнул нос в воду и думал, что теперь дело сошло с рук, но вдруг увидел квартального надзирателя, — и обмер, а квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: «А подойди сюда, любезный». Вот для примера мы и сделаем пробу наклейки носа на этом месте. Она делается только для людей с тонким вкусом, — люди с обыкновенным вкусом присутствуют при этой операции и, конечно, не без удовольствия, потому что люди с обыкновенным вкусом отличаются от людей с тонким вкусом тем, что не любят людей, подымающих нос.

Повесть Гоголя «Нос». (Сочинения Гоголя, издание 1862, том III, стр. 184)

...квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: — А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял еще издали картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

Нет, нет, братец, не благородию, — скажи-ка, — что ты там делал, стоя на мосту?

Наклейка носа для людей с тонким вкусом

...квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич побледнел, но постарался, по форме снявши картуз, бодро сказать:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию, — скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия,— отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка расказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Изволь-ка отвечать, что ты в воду бросил?

— Подметку, ваше благородие, — лопни мои глаза, подметка у сапога отвалилась, ее и бросил, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки, — вот мы в квартале посмотрим твои подметки, как они у тебя отваливались.

«Смотрите—подумал Иван Яковлевич, — у меня, как на счастье, бог наразумил сказать, на правом-то сапоге, точно, кусок подметки отвалился. Я же выйду прав». —

Но, имевший обращение с начальством, Иван Яковлевич прибавил: — Ваше благородие, чтобы вас напрасно не утруждать, я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия.

— Нет, приятель, не такое дело. Вот мы с тобою лучше в квартале поговорим.

Иван Яковлевич и сам увидел, что сказал неподходящее, и сделал правой рукою движение к сердцу, а левою в карман шаровар, куда также, по обычаю людей простого звания, клал то, что более подходит к обращению между понимающими людьми... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, пока уж на другой день Прасковья Осиповна прибежала в квартал.

— Теперь поздно, матушка; вчера посылали тебе сказать, что ты вчера не была? — сказал квартальный.

— Батюшка, отец милостивый, никак не могла вчера сколотиться, потому, что заниматься надо было, — а в нынешнее время где денег найдешь? Сами извольте знать. А то, что ж было вашу милость утруждать?

Квартальный видел, что Прасковья Осиповна женщина основательная, и ему было уж на себя досадно, что погорячился вчера. — Что могу сделать для тебя, матушка, сделаю; но теперь уж не от меня зависит: дело началось. Одно тебе обещаю: буду

хлопотать, чтобы поскорее кончили и чтобы позволили тебе бывать у мужа.

Вот и стала Прасковья Осиповна бывать у мужа. Но видит, что муж с каждым днем хилеет: хандра на него такая, — тоскует Иван Яковлевич. — Да что это с тобою, Иван Яковлевич? Хуже бабы ты, прости господи.

Солдаты ему говорят: — Что за важность, что посидишь месяц, другой; ну, попарим тебя немножко, потому что без этого нельзя быть решению, — эка беда какая! А ты унываешь, — есть от чего!

— Сам не знаю, братцы мои, что со мною делается, — говорит Иван Яковлевич: — ведь чувствую, что пустяками кончится, и не потому тоскую, чтобы вам не верил, а сам не знаю.

Видит это Прасковья Осиповна, и по тонкому женскому инстинкту поняла; потому что дамы и в простом звании гораздо тоньше мужчин, соответственно росту. Поняв причину болезни, Прасковья Осиповна пошла к начальству, говорит:

— Если, ваше благородие, позволите слово сказать мое глупое, попросила бы я у вас милости, как вижу, что мой муж совсем к могиле своей приближается.

— Это правда, — смотритель говорит, — и мне очень жаль, видя человека хорошего: потому что хотя он и дурно поступил, но грех да беда с кем не живет? Только что же нам делать? Лекарь у него бывает, микстуру ему даем, по его званию, для меццианина, весьма и весьма достаточную. Больше ничего сделать не можем, хотя видим: не помогает.

— Не поможет ему микстура, ваше благородие, хотя мы вашими милостями к нему очень благодарны. Но как он к своему ремеслу был усерден, можно сказать любовь имел, оттого его болезнь.

— Хорошо, матушка, — отвечал смотритель, очень добрый человек, хотя и был без одного уха, оставшегося под Лейпцигом: — взойду с представлением к начальству, потому что ты правду говоришь; но эта просьба твоя необыкновенная, сам разрешить не могу. Приходи завтра.

Прасковья Осиповна пришла на другой день. — Нет, — говорит смотритель, — не может начальство этого разрешить, потому что это прежде, точно, всякие беспорядки допускались, а теперь закон уважается. В законе же не показано, чтобы арестант мог стражу брить. Ибо, с одной стороны, может он совершить злодейство бритвою, и якобы, с другой стороны, вид мздоимства, потому что может почтено быть за вынуждение от нас. Но входя в его положение, по моему засвидетельствованию, что он человек смиренный и трезвый, положили такую резолюцию, что родных до второго колена, которым вход к нему разрешается по закону, может брить невозбранно.

Прасковья Осиповна видела, что действительно начальство

оказывает большое снисхождение к положению Ивана Яковлевича, и благодарила. Но затруднение состояло в том, что у Ивана Яковлевича не было в Петербурге никаких родственников. Дали ему бритву, мыло, все — бреет себя по три раза в день, — на подбородке у него так чисто, как в кармане, — и точно, это обращалось ему в пользу — по крайней мере, не так быстро усиливалась болезнь. Но хил, очень хил, не встает с постели, — так и бреется, лежа. Прасковья Осиповна видела, что практика делает ему облегчение, но мало практики. Пошла опять к смотрителю:

— Позвольте, ваше благородие, детишек приводить.

— А у тебя с ним и дети есть? — спрашивает смотритель.

— Пятеро, ваше благородие, мал мала меньше; старшенькой, Аннушке, шестнадцатый годок пошел, а младшего, Петиньку, только вот два месяца от груди отняла.

— Так чего лучшего? — говорит смотритель, — и води, пусть бреет с богом.

Прасковья Осиповна на другой же день привела всех пятерых детей к отцу. Иван Яковлевич очень обрадовался: вот уж точно, пригодились дети! И все четверо младших был обриты без всякого сопротивления, но Аннушка была бойкая и довольно смазливая девочка, с одною особенностью: на правой руке у ней выросло шесть пальцев, чего, однакож, нельзя назвать недостатком, потому она уж и перемигивалась по соседству. Она заупрямилась:

— Что это, маменька, острामить хотите меня передо всеми? Из ума, должно быть, вы уж выжили!

— Опомнись, бесстыжие твои глаза! — сказала Прасковья Осиповна, — для отца не хочет.

— А сами-то что? Небось, не подставляете свою-то голову!

— Дурища ты этакая! То я, а ты еще девчонка, на тебя кому смотреть-то? До свадьбы отрастут.

— Кому на меня смотреть! Не вам, известно.

— То-то я уж и замечала, что твои шуры-муры... — Но речь Прасковьи Осиповны приняла такое обличительное направление, которое неудобно для передачи здесь, потому что Прасковья Осиповна не любила церемониться в выражениях.

Обрив четыре головы, Иван Яковлевич мог даже сесть: до такой степени это помогло ему. И каждый день он брил всех детей и стал заметно поправляться.

Но Прасковья Осиповна не отставала от Аннушки, так что для спасения своей головы Аннушка, по совету своего приятеля, на которого нескромно намекала Прасковья Осиповна, предложила вот какое средство:

— Вы думаете, маменька, что мне не жалко отца? Ан вот же нет, я сообразила лучше вас, как ему помочь: что нас мучить? — разве не слышите, Ваничке и Феклиньке нельзя и носа высунуть ни на улицу, ни на двор, все на смех подымают: «Бритые! бритые!»

месяц идет! солнышко идет! Ванька, дай-ко в твою голову-то посмотришься, точно зеркало!» — А вы бы, чем детей страмить, кошку дали бы ему брить, — не все равно ему?

— С ума ты сошла, Анютка? Или на смех подымаешь родную мать, бесстыжая рожа? Как можно кошку — кошка всего обдерет.

— Ну, обдерет! — Уткнуть ее головой да передними лапами в сапожное голенище, — и не обдерет: зад весь брей, как хочешь, только задние лапы крепче держать.

— Дура ты, как есть дура, Анютка.

— Ей-богу, маменька; попробуйте. А то собаку.

— Дура, молчи.

Но рассудивши, Прасковья Осиповна увидела, что дочь советуется недурно. Конечно, ни кошка, ни собака не годятся: но если смиренное что-нибудь, — то очень можно; например, хоть бы барана или теленка — можно.

Пошла к смотрителю. Он тоже рассудил: умно. Но опять, не мог разрешить своею властью, — доложил по начальству.

Просьба была благонамеренная. Противоречия с законом не усматривалось в ней, — то есть явного противоречия; потому что хотя закон говорит только о родственниках до второго колена, воспрещая тем допускать посторонних, но можно было истолковать это так, что закон имел в виду только людей. Конечно, тут была некоторая натяжка, потому что в законе нет прямого указания, следовательно, по точному смыслу воспрещение должно протираться и на животных. Но, с другой стороны, крысы, мыши почти всегда бегают по нумерам; а хотя бы и не было их, то летают мухи, и это не принимается за нарушение закона. Если же мухам дозвоительно бывать у Ивана Яковлевича, то почему ж бы не допустить и барана? Натяжка была, но небольшая. Итак, благодаря желанию начальства облегчить положение Ивана Яковлевича, не представилось затруднения со стороны закона. Но, обдумав, увидели другое неудобство: как тащить барана во второй этаж? — трудно. Каждый день поднимать и спускать его — и хлопотливо, и может произойти неприличный крик, потому что баран животное глупое. Долго рассуждали, потому что все входило в положение Ивана Яковлевича: человек страдает невинно, единственно потому, что сбился в показании насчет подметки, сначала сказал: «бросил подметку», а на другом допросе показал: «бросил старую тряпку, которая служила для обтирания бритв». — Так бы уж и стоять ему на подметке, — а он, по неопытности, сделал эту ошибку. Вышло важное противоречие в показаниях. Все жалели, но помочь делу было нельзя, закон ясен. Шло следствие о том, подметка или тряпка. Но жалели; потому-то и рассуждали, нельзя ли найти облегчения для него по просьбе Прасковьи Осиповны о баране. Долго не могли ничего придумать. Наконец, у пристава мелькнула идея, и недурная:

— Справедливо, господа,—сказал пристав,—что желательно было бы разрешить барана, потому что один баран в этом случае может принести столько отрады человеку, как доставили бы тридцать или сорок человек детей. Но столь же справедливо и то, что баран в настоящем деле, по несвойственности своих ног для хождения по лестницам, есть животное неудобное. Я думал бы вот как: удовлетворить просительницу и просителя и исполнить с нашей стороны долг человеколюбия козлом. Козел может весьма удобно ходить по лестницам, для бритья же представляет не менее занятия, нежели баран. Как вы находите, господа?

Мысль была очень основательная и понравилась всем. Разрешили водить козла к Ивану Яковлевичу.

После этого здоровье Ивана Яковлевича стало быстро укрепляться, занятия, слава богу, довольно! Сидит себе и бреет козла: с утра до ночи едва успевает обрить всего, потому что старался брить аккуратно. И козел попался такой хороший, — впрочем, надобно опять отдать справедливость Прасковье Осиповне: она догадалась давать козлу рюмку водки после бритья, и он понял это на третий же день, потому был очень доволен своею судьбою. «Пусть бреет, зато выпивка дается», — и стоял очень смирно.

Когда подошла осень, Ивану Яковлевичу разрешили даже вовсе оставить у себя в номере козла, потому что ему, выбритому с головы до хвоста, трудно было бы выносить холод. Зачем же простужать козла?

Так брил его каждый день Иван Яковлевич около года, и все это время был здоров, к общему удовольствию. Без козла было бы ему тяжело; но с козлом он перенес невзгodu очень благополучно, — до самого решения. Решение вышло хорошее и справедливое: позволить Ивану Яковлевичу попрежнему заниматься своим ремеслом в своей цирюльне на Вознесенском проспекте, по неприкосновенности его к мнимому носу, якобы по молве пойманному в воровстве и незаконном вступлении в брак с благородною девицею. И точно: по следствию дознано было, что происшествие с носом майора Ковалева происходило не совершенно в таком виде, как сначала разошлись было неосновательные слухи, будто бы этот нос, без всякого паспорта отлучившись от майора Ковалева, обокрал купца Сизопятова на 400 000 рублей и, купив на краденые деньги хороший дом, успел, как богатый жених, получить руку дочери статского советника Лыскова, — ничего этого не было, хотя действительно очень возможно было ожидать, что он способен и на такие низости, если решился проживать без паспорта и всякого вида. Может быть, у него и были подобные намерения, когда он сбежал от своего хозяина, но ничего такого не удалось ему сделать, и история была гораздо проще, чем разнесла было ее молва. Теперь известно, что все дело ограничилось только следующими маловажными событиями.

«Коллежский ассессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами брр!.. что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал подать себе небольшое, стоящее на столе зеркало. Он хотел взглянуть...» и т. д.

— Как вам нравится эта история хлопот Прасковьи Осиповны о здоровье мужа? — спрашиваю я людей с тонким вкусом, для которых тружусь.

Чтобы подбить их задор, Лидинька говорит: — Не знаем, как нравятся эти страницы людям с очень тонким вкусом, а мы находим, что они писаны с гоголевским талантом. Правда ли, Пьер?

Петр Ульяныч говорит: — Да.

— Как вы послушны Лидиньке, Петр Ульяныч, — замечает Тисьмин, — уж до чрезвычайности; боитесь прибавить слово к тому, что она говорит, только поддакиваете. Это нехорошо. К чему скрывать свое впечатление? Берите пример с меня. Ты что скажешь, Саша?

— Лидинька права: эти страницы писаны с гоголевским талантом, — говорит Саша.

— Нет, Саша, ты ошиблась: Гоголю очень редко удавалось писать так; это талант сильнее гоголевского. Что вы скажете? — обращается Тисьмин к остальным.

— Да, тут виден талант сильнее гоголевского, — говорят Лизавета Сергеевна, ее муж и все остальные.

— В самом деле, Лидинька, вы взяли мужа в руки, так что он робеет сказать слово иначе, чем вы, — говорит Елисей Яковлич: — лучше берите пример с Саши: видите, как свободно держит себя ее муж, не боится заметить ей, если думает, что она ошиблась.

— А вы боялись заметить или просто не заметили, Елисей Яковлич, что Саша моргнула мужу, чтобы он имел такую свободу? — говорит Лидинька.

— Люди с тонким вкусом приходят в негодование от такого разговора: — какое безвкусие! Равнять какого-то Сырнева с Гоголем! Ставить выше Гоголя!

Дав излиться их справедливому негодованию, Елисей Яковлич продолжает разговор:

— А что, Александра Евтроповна, каково идут ваши занятия английским языком? По-немецки вы говорите уж очень порядочно: в один год так овладели языком и приобрели такой выговор, — я удивляюсь вам.

— Нашли чему дивиться, когда половину вечеров проводим вместе, а у вас в семействе говорят больше по-немецки, чем по-русски! — говорит Лидинька. — Но вот на английском языке действительно видно, что Саша работает усердно.

— С тобою не работать бы, Лидинька! какая ты смешная! —

говорит Саша. — Ничего, Елисей Яковлич, учусь, читаю уж довольно свободно. Но это такой легкий язык.

— Довольно свободно! — говорит Лизавета Сергеевна; — но какая она переводчица, Изабелла Гедеоновна, как она переводит Диккенса — удивительно!

— Да, — говорит Лидинька: — у ней есть отрывок о цирюльнице Дженкинсоне, переведенный так, что надобно удивляться: Саша передала таким языком довольно трудный жаргон Самюэля Уэллера, что хоть сейчас вставляйте этот отрывок в Гоголя.

Люди с тонким вкусом начинают понимать наклейку носа. «Пиквикский клуб» — тот роман Диккенса, в котором наиболее видна громадная сила его таланта. По содержанию есть у него романы выше истории приключений мистера Пиквика; но как художественное произведение, «Пиквикский клуб» выше всего, что было написано прозою в XIX веке; а в «Пиквикском клубе» едва ли не самые лучшие страницы те, на которых рассказы милейших мистера Уэллера и его единокровного. По-русски, кроме «Повести о капитане Копейкине», нет ничего равного. Даже удивительный разговор двух дам о глазках и лапках едва ли так прекрасен.

Люди с тонким вкусом приходят в полное негодование, но наклеенный нос так длинен, что поднять его кверху невозможно.

— Прочтите, пожалуйста, ваш перевод, Саша, — говорит Елисей Яковлич (он у нас никого так не любит, как Диккенса).

— Извольте, — говорит Саша. — Самюэль Уэллер недавно познакомился с цирюльником...

— С цирюльником, Саша? А, теперь вспоминаю, — говорит Елисей Яковлич, — а я уж было думал, что вы как-нибудь переименовали фамилию.

— То-то, и я что-то не помню Дженкинсона, — говорит Нигулецкий.

— Нет, как можно! — говорит Саша: — я только передаю Sam не Сем или Сам, а Сём, чтобы и по-русски имя младшего Уэллера звучало фамильярностью. А Дженкинсон, — так и есть Дженкинсон.

— Ну, знаем, знаем теперь, читай же, вспомнили, — говорят все.

— Сём недавно познакомился с цирюльником, и поэтому считает обязанностью деликатности сказать, — но тонким образом, — что он очень уважает почтенное ремесло цирюльников. Теперь, читаю:

ИСТОРИЯ ДЖЕНКИНСОНА "

Сём довольно долго смотрел на цирюльника.

— Только одного человечка знавал я из вашего ремесла, почтеннейший государь мой, но зато человечек был хороший, — и уж как усерден был в своем занятии! Прекрасно. — Сём смотрел, а цирюльник краснел: цирюльник был очень скромн.

— Какое ж было его занятие? Больше по бритью, или больше по стрижке и завивке, смею спросить?

— И по той части, и по другой. К бритью была его страсть, можно сказать, а по стрижке с завивкой тоже был молодец. Все его удовольствие было в его занятии. Все деньги на медведей тратил, для медвежьего жира, как требуется по вашему ремеслу. Так они у него и режут целый день и зубами стучат: чувствуют, что жир с их братцев в банках стоит, а в окне на улицу их братцев головы поставлены. Они и режут. А кроме того, и то огорчение, что видят: с утра до ночи ходит по тротуару человек, вывеску ходячую носит, а на вывеске нарисован медведь в смертном часе, а под медведем подпись, крупная такая, что «Вчерашнего числа убит новый медведь у цирюльника Дженкинсона. Свежая медвежья помада лучшего сорта». Так вот их жизнь шла: и Дженкинсонова жизнь тоже шла. И только вдруг у него в нутре расстройство вышло, и от этого самого он слег, и лежит, и долго; не может с постели вставать. Ну, что же: и больной имеет такое усердие к своему занятию, что когда тяжелее чувствует себя, значит, когда потягчит ему, лекарь увидит это, обернется в переднюю-то комнату, где самая цирюльня, и говорит: «Тяжелее ноне вашему хозяину, бодните-ко медведей-то». Они и боднут медведей-то, — боднут, а медведи-то взрежут; и как они взрежут, Дженкинсон откроет глаза, — хоша бы ему как нельзя тяжелее было, — и голос подает: «Это медведи режут», — и полегчит ему.

— Эвто удивительно, — воскликнул цирюльник.

— В эвтом нет никакой удивительности, — сказал Сём, — натура того требует. — Только, раз лекарь говорит: «Тоже и завтра зайду, как всегда захожу», а Дженкинсон схватил его за руку и говорит: «Буду просить вас, окажите мне милость». — «С моим удовольствием, — лекарь говорит, — какую же?» — «Вот какую, — Дженкинсон говорит: — пожалуйста вы завтра небричьтесь, позвольте вас обрить». — «Хорошо», — лекарь говорит. — «Господь вас награди за это!» — Дженкинсон говорит.

Приходит лекарь на другой день, — обрил его Дженкинсон, исправно обрил; говорит лекарь: «Я вижу, что это вам на пользу идет; а у меня на козлах кучер сидит, столько дней рыло не брил, что вам в большое удовольствие будет такое рыло поскоблить; а у лакея у мово рыло хоша и не очень давно брито, но баки у него такие уродились, что любо будет бритве по такому лесу погулять. Один придет сюда, другой останется у экипажа; тот воротится стеречь экипажу, эв тот придет. Каждый день так буду делать с ними для вас, вы их и брейте в свое удовольствие. И теперича, шестеро детей у вас, что вам на них глядеть-то? — вы им головы-то и брейте, каждый день и брейте, — что не брить? — брейте. Тоже, двое подмастерьев у вас, что вам их не стричь да не завивать, как охота у вас есть? Вот, таким манером вы, бог даст, и поправитесь».

Дженкинсон со слезами руку жмет лекарю: «буду», — говорит, — и начал с того же самого дня. Так у него под подушкою бритвы и лежат. Как чувствует, что тяжелее ему, кликнет сынишку или дочеренку, — а у них у всех головы-то лоснятся даже, так хорошо выбриты, — а он все-таки опять пройдет бритвою. Ну, вот, завещание надо делать; пришел писарь, с его слов бумагу писать; писарь-то возле него сидит, пишет бумагу, а Дженкинсон потайком от него, сзади-то, стрыгет да стрыгет его. — «Что эвто, — писарь говорит, — слышу я, будто стрыготня идет: стрыгут, что ли, кого в цирюльне-то у вас?» — «Похоже на то, что стрыгут», — Дженкинсон говорит, а сам ноженцы-то спрятал уж, и глядит ему в глаза, как ни в чем не бывало. И только тогда писарь почувал, когда уж почти что вся голова точно выбритая стала. И эвтим лекарством на много времени дженкинсонова жизнь была продлена. Ну, только пришло же и умирать ему. Тут он всех детей подозвал, очень хорошо всех шестерых обрил; как обреет ребенка, и в темечко поцелует: отец, чувство. И подмастерьев позвал, обоих остриг, завил на самый лутчий манер, как нельзя быть моднее, и говорит: «Послушать бы мне теперича самого жирного из моих медведей». И эвто его желание в ту минуту исполнили. И тогда он говорит: «Очень, — говорит, — я доволен; и теперича оставьте меня одного»; — и оставили; он и умер; только перед тем сам себя остриг и протор себе модный сделал с завивкою.

Добрая, милая Саша! «Это о вас, Веренька», — и страницы перевода залиты ее слезами. Но мне вредно быть чувствительным.

3. МОЙ ХАРАКТЕР

А. А. Сырнева

Все стараются развлекать и утешать меня.
 Что из этого следует?
 Из этого следует, что и я должен утешать других.
 Что из этого следует?
 Очевидно, что этим определяется мой характер.

Говорят, что есть такие, которые могут приставить какой угодно нос.

Сочинения Гоголя, изд. 1862, том III, стр. 193.

Я В Л Е Н И Е VIII

Швохнев. Кругель и Степан Иванович Утешительный
 (входят с поклонами).

Швохнев (с поклоном к ним навстречу). Прошу простить.
 Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швохнев. Не с комнатою жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. (*Кругелю.*) Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюда: один-одинехонек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка — старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естественнейший; вижу, увивается около нее какой-то армейщина, видно, натошак... Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним... Ну, уж как я был рад. Не могу часу пробыть без дружеского общества. Все, что ни есть на душе, готов рассказать каждому.

Кругель. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался, и всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенно со всяким. Дружба — это другое дело.

Утешительный. Так; но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Швохнев (*Утешительному*). Не спорь, брат: ты не прав.

Утешительный (*горячась*). Нет, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долг, это, это, это...

Швохнев. Ну, зарпортовался! горяч необыкновенно: еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед объявляю: «Господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь, право, увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

4. ЕГО ХАРАКТЕР

Описание, сделанное его другом

Рекомендую моего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но еще ненадежен: девятнадцать лет, — ну, что за лета? — почти ребенок.

Сочин. Гоголя, 1862, том II, стр. 459.

«Молод! не по летам чин берешь!» — (Гоголь, том II, стр. 283), — меня, старика, обижаешь, — говорю я и, обращаясь к вам, друзья мои, с гордостью указываю на автора и говорю:

— Хотите видеть чудо? Юноша девятнадцати лет, сын моей сестры, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Приезжайте к нам и посмотрите. К вам выйдет человек почтенных лет, — это я. Вы отрекомендуетесь, скажете, что слышали, что бог наградил меня таким необыкновенным племянником. Да, признаюсь, — скажу я (и вам понравится то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), — да, — скажу, — точно, хотя дяде и воспитателю и неприлично хвалить собственного воспитанника, притом же племянника, но это, действительно, в некотором роде чудо. «Друг мой! — скажу, — поди-ка сюда. Покажи гостю искусство!» Ну, вы увидите, юноша, просто ребенок, мне по плечо не будет, — и вам, если вы высокого роста, как я, и в глазах ничего нет особенного. Начнет он метать — вы просто потеряетесь. Это превосходит всякое описание.

Элиза Всеволодский

5. ПРОЩАНИЕ

Из дневника А. А. Сырнева

Добрые, добрые! Все шалят, смеются.

Для развлечения умирающего, —

смешного, быть может, — но умирающего все-таки за вас, мои сестры; умирающего смешно, быть может, — но все-таки за вас; умирающего с сердцем, уже начавшим жаждать любви, но еще не согретым любовью ни одной из вас. Я был другом каждой из вас. Любите память мою.

А. Сырнев

6 апреля

VI

ИСТОРИЯ БЕЛОГО ПЕНЬЮАРА

Окончание разговора Л. С. Крыловой с Е. Я. Всеволодским

1. ПИСЬМО ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ ДАМЫ К ЕЕ ДРУГУ, СТАРИКУ

Город NN, 12 мая 1863

Добрый мой NN,

Я была очень удивлена, когда сестра, выехавшая из Петербурга двумя неделями позднее меня, привезла с собою и отдала мне довольно толстую рукопись, сказав, что тут, над этою рукописью, работали вы, ваш племянник, она, ее муж, что я и Саша должны продолжать эту рукопись, если я не хочу отступить от своего слова. Рукопись заключала в себе три первые тетради и

пять первых отделов четвертой тетради «Перла создания». Я прочла эту рукопись и задумалась.

Но по совету, — по просьбе моего мужа решила продолжать начатое людьми, столь близкими мне, людьми, уважающими меня; решила и, как видите, исполняю свое решение.

Вы знаете меня. Я не очень нуждаюсь во мнении людей, кроме тех людей, мнение которых о себе я знаю.

Но все-таки я была поставлена в страшное положение присылкою этой рукописи.

Сказать: «я не хочу» — это очень легко. Мне даже не было нужды говорить и этого: когда я сказала сестре: «я продолжаю рукопись», — сестра отдала мне запечатанную записку, содержания которой сама не знала. Записка была вашей руки; вы говорите мне в ней: «Возвращение рукописи без продолжения, писанного вами, будет равнозначительно выражению вашего желания, чтобы рукопись была уничтожена, — и она будет сожжена при мне». Вы говорите это; я должна видеть из того, что черновые листы рукописи уже сожжены при вас и что других списков нет.

Отказаться легко. Даже не было бы надобности отказываться: только не продолжать историю «Белого пеньюара» — и рукопись была бы сожжена другими, если бы я положила на других и не сожгла ее сама.

Ваше участие в этом деле ручалось бы мне, что попытка рассказать историю «Белого пеньюара» не была бы возобновлена, если бы я сама не досказала ее.

Я не боюсь. И мой муж не боится.

Я продолжаю «Перл создания» и попрошу Сашу помочь мне. Мой муж согласен.

2. ПИСЬМО А. С. КРЫЛОВОЙ Е. Я. ВСЕВОЛОДСКОМУ

Воронеж, 12 мая 1863

Я была очень удивлена, когда Лидинька, выехавшая из Петербурга двумя неделями позднее меня, привезла с собою и отдала мне довольно толстую рукопись, сказав, что это сборник сочинений ваших, Алферинькиных, ее, ее мужа, что вы все просите меня и Сашу продолжать рукопись.

Посоветовавшись с моим мужем, исполняю ваше желание.

Но, признаюсь вам, я не ожидала, что мне будет прислана такая рукопись с такою просьбою.

Да, я удивляюсь тому, что у кого-то из нашего дружеского круга, — у вас, или у кого другого? — достало терпения и серьезности приняться за исполнение того, о чем иногда говорили мы по вечерам, воображая, что мы только говорим и что от нас не потребуется, чтобы мы поступили, как говорим.

Кто это сделал? Кто заставил писать вас, Елисей Яковлич, Лидиньку, Петра Ульяныча? — Один кто-нибудь? Или несколько человек?

Но, кто бы ни был этот человек, его роль ясно обозначена псевдонимом Лукьян Игнатьевич фон-Бах.

Кто бы ни был он, скажите ему, что я уважаю его.

Скажите ему, что мой муж говорит: «Перед этим человеком я отступил бы, как перед сильнейшим».

Высказать ли вам странную мысль: и мне, и мужу почему-то кажется, что этот псевдоним скрывает за собою женщину... Я не знаю, имею ли я право называть ее.

3. БЕЛЫЙ ПЕНЬЮАР

Продолжение. — Рассказ Л. С. Крыловой

Wie Schnee, so weiss.

Белизна — как белизна снега.

Я полагаю, что лучше всего будет, если я стану рассказывать в форме письма к вам, добрый друг наш, Елисей Яковлич.

Я уже сказала в предыдущем письме, что мы с мужем не видим, почему ж бы не досказать историю «Белого пеньюара»: в том, что остается досказать, нет ничего щекотливого ни для меня, ни для него.

Вы написали мой разговор с вами совершенно так, как он был. Но я пишу для печати, потому должна прибавить объяснение, которое было бы лишним, если бы я в самом деле писала письмо к вам для вас. Когда я, кроме одного или двух друзей, говорю с публикою, я обязана думать о том, чтобы мои слова были ясны для нее. Потому я имею надобность излагать обстоятельства, которые и без всяких замечаний или известны, или понятны людям, близким ко мне. Разница не та, что надобно умалчивать перед публикою что-нибудь, удобное для корреспонденции с одним человеком: о чем нельзя говорить для всех, о том ни я, ни мой муж, ни вы, никто из нас не напишет ни к кому, — ни к сестре, ни к брату, ни к мужу или к жене. Нет, разница в том, что для публики надобно говорить и те подробности, о которых излишне объясняться в письме, назначенном для своих семейных, или друга, или подруги.

Поэтому я объясню, что понимаю под словами: «Мой разговор с вами, Елисей Яковлич, написан вами совершенно так, как он был». — Там есть, что я говорю вам: «Уйдите на полчаса; мне надобно отдохнуть; если вы охотник удить, в пруду много карасей; в той комнате вы найдете удочки». — Я не помню, случилось ли мне предложить вам именно это развлечение; очень вероятно; но я не помню. Я помню только, что я просила вас идти в сад, чтобы я имела время успокоиться для продолжения разговора, —

говорила: «Через полчаса вернитесь». Прежде того, я говорю вам: «Что ж вы не курите? я не боюсь сигарного дыма». Я не помню, я ли пригласила вас курить — что вероятнее — или вы без моего разрешения закурили сигару, заметив, что я женщина простая и прямая, и если дым сигары тяжел для меня, то просто скажу: «Бросьте вашу сигару». За верность таких внешних мелочей в ходе разговора я не ручаюсь. Верность всего остального — памятна мне.

Но у меня есть поверка, более точная, чем нынешнее мое воспоминание. Я в три года могла бы забыть многие подробности и принять за слова, действительно сказанные тогда мною, такие слова, которые не были тогда сказаны мною, но выражают мое тогдашнее настроение, как я его помню. Например, я могла бы ошибиться, действительно ли я говорила вам о странности того, что дети не душат отцов и матерей для получения наследства. Это желчное выражение так соответствует тогдашнему раздраженному состоянию моей души, что показалось бы мне припоминающимся, хотя б и не помнилось, хотя б и не было сказано. Моя память могла бы обманываться. Но не память моего мужа.

Мне не случалось рассказывать вам мелочных подробностей о том, как я помирилась с мужем через полгода после моего разговора с вами. Вы знаете от меня только, что я написала мужу письмо, в котором выразила свое сожаление о том, что так долго мучила его и себя напрасну. Он, сколько ему помнится, не рассказывал вам и этого. А не зная содержания моего первого письма к мужу, вы, даже вы не знали меня.

Оно было безрассудно. Через два дня после его получения, когда муж стал рассуждать спокойно, он сжег его. Таких писем нельзя хранить. Потому их нельзя и писать. Конечно, это не значит, чтобы нельзя было повторять содержания их в печати. Кто верит назначенному для печати?

Да, письмо сожжено. Но мой муж помнит его.

В этом письме я со всюю подробностью объясняла мужу все то, что составляло содержание моего разговора с вами. Теперь, вероятно, будет достаточно этих слов. Но тогда вы были не очень понятливы. О, как вы измучили меня тогда. Пять раз я бросалась высказаться, высказывалась наполовину — и вы каждый раз останавливали меня вашими догадками о том, что я хочу сказать — вы удивительно отгадывали — вы не помогли мне ни одним словом, вы каждый раз заставляли думать: «Нет, с ним невозможно говорить, он ничего не поймет! он ничего не понимает! я должна без его согласия сделать то, что сделаю, что уже сделано мною без него». Но я горжусь тем, что я все-таки выдержала свой характер — не делать ничего обманом, и все-таки сказала вам, что будет сделано мною. О, какая пытка была это!

Писать мужу было для меня легко. Письмо должно было быть сожжено. Писать его было безрассудно. Бумага тебе изменница.

Но как же было не писать? Мой муж говорит: «Довольно было написать: — я мирюсь с тобою; приезжай, пожалуйста, и мы вместе возвратимся в Петербург». Конечно, так. Конечно, о подробностях следовало не писать, а сказать при свиданьи. Я сама почти понимала это. Но я не могла поступить иначе. Отложить объяснение до свиданья значило бы объясняться после примирения; это было бы — мириться, уже подкупив примирением.

Через два дня мой муж испугался, что письмо еще не сожжено им. Но два дня он не помнил об осторожности: радость не давала ему вспомнить о ней. Это понятно. Он продолжал очень сильно любить меня. Любимая женщина писала ему, что любит его. Что писала она ему кроме того, все равно; но она писала ему, что любит его больше, чем когда-нибудь. Все равно, были ль ему приятны или неприятны некоторые подробности моего письма, — хоть бы, например, то, что я все-таки оставалась на многих страницах «дочерью Иеффая», как вы меня назвали, возносилась в воздушные сферы. Смеялся или не смеялся он над некоторыми моими тирадами, все еще отзывавшимися ребячеством, неуместным в 23^{1/2} года, огорчался он или не огорчался тем, что я размышляла еще полгода после того, как говорила с вами, — я ничего этого не знаю; он говорил мне: «Нет, не смеялся и не досадовал и не огорчался». Я сама не умею сказать себе, верю я этому или нет. Он говорит теперь: «Нет, не верь, я увлекся, когда уверял тебя в этом», но ведь он сам не может отдать себе отчета, какие чувства перебивали у него в его душе в те часы, когда он читал и перечитывал мое письмо; нет, я не верю нынешним его представлениям о том, будто бы он и смеялся, и досадовал, — вы понимаете, я не умею этого выразить.

Впрочем, все это тонкости, которых не стоит и выражать. Если и были в нем при чтении моего письма другие чувства, все-таки важно только то, какое чувство совершенно преобладало; а господствующее чувство было — радость; это и естественно: он любил меня, и я возвращала ему свое сердце, всю себя; да это и выразилось в том, что он сделал: пробежав письмо, он закричал: «одеваться!» — и поскакал устраивать свой отъезд ко мне, и тотчас же поехал в Старобельск; а еще гораздо вернее подтверждается это тем, как мы с ним живем после того; вы знаете, как: не очень дурно.

Да, естественно, что он не раз и не два перечитывал мое письмо к нему; все подробности врезались в его любящей памяти. И он говорит, что разговор написан вами совершенно верно. Он даже говорит, что наверное не прибавлено вами ни одного слова, сколько-нибудь важного, — не забыто ни одного, сколько-нибудь идущего к делу. О себе я скажу только, что я дивилась твердости вашей памяти. Муж посмеялся над моим удивлением: «Лиза, сообрази, что он с детства привыкал по целым годам помнить денежные разговоры, с рублями и копейками, с подлинными выраже-

ниями из бухгалтерских книг и контрактов; что за коммерческий человек тот, у кого не твердая и не отчетливая память!»

Итак, мой муж подтверждает, что разговор мой с вами написан совершенно верно, — до самого того места, на котором вы перестаете передавать его подробно. Эти последние строки вашей части истории «Белого пеньюара» несколько сбивчивы, — и естественно: вы уж не на шутку встревожились за мое здоровье, когда после двух, я думаю, целых часов моего спокойного расположения вдруг возобновился пароксизм с такою силою, какой не имели прежние. Вы начали суетиться, ласкать меня — добрый старик! — где уж вам помнить в порядке такую хлопотню. Но я меньше вас была испугана возобновлением припадка; вы помните, я была в таком страшном и странном настроении духа, что даже в эти минуты не совсем потеряла самообладание, — и я все-таки сознавала, что вы напрасно опасались нервической горячки, это я не больна, а только раздражена на себя, и через злобу на себя раздражена против целого света, и что это пройдет, когда я нальюсь и заплачусь. Так и вышло, помните: через полчаса я стала тиха и кротка, потому что, наконец, выбилась из сил. А когда вы уехали, я так и повалилась спать, — это даже и теперь мне странно: значит, я очень изнурилась. Кстати: хорошо бы дать моему разговору с вами название «Деспотка», я думаю, что оно понравилось бы многим (очень) умным людям. Да, найдутся такие господа и госпожи, которые все это припишут деспотичности моего характера. А другим понравилось бы заглавие «Ревнивица». И это недурно, но «Деспотка» — было бы прелестно.

Я ужасно стыжусь и ненавижу плакать. А между тем, вы знаете, я перед разговором с вами плакала все утро, — вплоть до вашего приезда. И все не наплакалась досыта, когда вы приехали, и я должна была сдерживать рыдания, — это и душило меня. Вы знаете, что мои тогдашние обильные реки слез были не смешные, не глупые, — почтенные слезы: вы знаете, только накануне разговора с вами я поняла, что я не права в разрыве с мужем, что я с напрасным безрассудством разбила его и свое сердце; я тем более ужаснулась, что зло, которое три года делала я себе и ему, показалось мне тогда неисправимым: я подумала, что уже не могу возвратиться к мужу, которого так грубо оттолкнула от себя. Жить три года в гордом самообольщении, что я героиня, — «дочь Иеффая», — и вдруг заметить, что я столько же похожа на дочь Иеффая, сколько мой муж похож на «Обидчивого пуританина», рассказ о котором мы с мужем посылаем к вам (некоторые места в разговоре о добродетельной графине написаны моим мужем); понять, что я просто-напросто должна решить о себе: «ты дура», «ты бесчеловечная дура», это может основательно потрясти грудь, так что ей захочется стонать.

И по какому пустому поводу было сделано мною это открытие! Конечно, повод был только случайностью, по которой разыгра-

лась во мне драма, сочинявшаяся во мне самой в продолжение трех лет; этот случайный повод только «подвел баланс» — по вашему коммерческому выражению — но все-таки, какая же странная противоположность между ничтожностью повода и силою его действия на меня. Мой муж говорит: «сила удара зависит не от того, сильно ли затронули кондуктор, а оттого, что накопилось много электричества». Да, смешно подумать! — Лидинька немножко подурачилась, — я сделала строгую мину, когда в комнате, плотно затворенной, закрытой плотною драпри, увидела Лидиньку, дурачущуюся перед зеркалом; Лидинька надула губы на эту строгую мину, действительно лишнюю, а я прошла в другую комнату, где сидело другое дитя, читавшее книгу, за толстою дверью, плотно затворенною и завешенною с обеих сторон драпри. Когда я посмотрела на это дитя, которое столько же думало тогда о Лидиньке, сколько вы о Лоле Монтеc или я о математике, — мне стало совестно за свою неуместную серьезность, я поняла, что я не права перед моею сестрою, что она — «глупая девочка», по моему — все-таки менее глупая девочка, чем я, 23-летняя баба, сделавшая ей строгую мину. Выговор следовало сделать, но я не сделала выговора, который часто делаешь, понимая, что это лишь форма совета на будущее, а не порицание за что-нибудь, — нет я сама в себе подумала, что моя сестра безрассудна, — вот это было глупо, что я сама вообразила себе: «как это глупо со стороны Лидиньки»; этим начались мои размышления, и вы знаете, как они с этого продолжались и как я додумалась, что не трудно мне было увидеть, виноват ли мой муж. Как странно цепляются мысли, как мелочи доводят до важных вещей. Или тоже неважных? Как вам кажется, я знаю; как мне кажется, — это не любопытно; но из мелочи произошел повод к тому, что восстановилось счастье мое и моего мужа, а это уж, во всяком случае, важно для нас обоих.

Эти заметки были бы лишние, если бы я писала к вам только для вас: вы все это знаете. Но мое письмо будет напечатано, потому нельзя умалчивать ни о чем, нельзя пропускать ничего: пиши все. Теперь следует досказать страдания Лидиньки, которые будут новостью, вероятно, и для вас: в нашем серьезном разговоре с вами некогда было мне подробно говорить, как она страдала подобно Гремину, Звонскому, Блестову и другим титанам страдания от любви в эпоху Марлинского и заглушала страдание души совершенно по их методу: «Неси меня, верный конь мой, — вскричал Аммалат-Бек, — коварство злодеев оторвало от моего страстного сердца прекрасную Зарему, лава клокочет в моей груди, я хочу упиться вихрем бешеного галопа» — я не помню, кто восклицал, Аммалат-Бек или Мулла Нур, но, во всяком случае, Лидинька не читала Марлинского, — сама природа внушила ей такое страдание и указала такое лекарство. Говорите после этого, что герои Марлинского не натуральны: совершенно нату-

ральны, только лета их не те в нынешнее время. Мой Мулла Нур, Лидинька, — много помоложе прежнего.

Отчасти поэтому, отчасти потому, что Петр Ульяныч не был погублен коварством злодеев, — то есть моим коварством, — страдания Лидиньки не извлекут слез даже у чувствительнейших девиц и старцев. Но мне все-таки было жаль, что я огорчила ее. Вы говорите об этом, я расскажу подробнее.

Я вернулась из уборной Лидиньки в ту комнату, где была она сама, помогла ей зашнуроваться к обеду; едва мы кончили ее туалет, приехал Петр Ульяныч, мы заговорились о делах; я чувствовала себя усталой от хлопот по утру, хотела уснуть после обеда, поэтому попросила Петра Ульяныча самого съездить в город за покупками и распоряжениями к свадьбе, — все это рассказано у вас. Тотчас после обеда он уехал. Лидиньке вообразилось, будто я отправила его в город, чтобы наказать ее разлукою с ним за ее шалость (о которой я уж успела было и забыть). Проводив свою Зарему, то есть Петра Ульяныча, будущий Аммалат-Бек, то есть Лидинька, опять надула губы на меня. Возвращаясь в комнаты с проводов ссыльного, она сказала мне: «Какая ты злая, Лиза», — а на глазах были у нее, бедной, слезы, а в осанке убийственная вражда ко мне; грозно и плачевно прошла она мимо меня, прямо в свою комнату. Что ж мне с нею делать — действительно, девица убита мною, и не мне, ее убийце, утешать ее: мой вид только будет раздражать ее смертельную рану, отравит последние минуты ее земной жизни, — уж пусть утешает Веринька; — и я пошла в свою комнату, прилегла.

Через полчаса я думаю: «теперь убийственность моего вида для нее, вероятно, прошла — пойду, скажу: «Я не думала, что ты так огорчишься, а то я не послала бы Петра Ульяныча в город» — иду: что такое? — дверь комнаты ее заперта. Я стучусь: «Лидинька, отопри, извини меня, что огорчила тебя; да ты лучше сказала бы, чем сердиться: твой Пьер и не уехал бы в город»; — но дверь не отпирается, и ответа нет. Неужели так долго она сердится? — не может быть. — «Лидинька, отопри дверь», сказала я погромче и постучала сильнее. — «Позвольте, Лизавета Сергеевна, что я вам скажу, — отвечает из зала голос Вериньки, — и с тем вместе является сам Веринька: — Лидиньки, должно быть, нет в ее комнате. Я три раза стучался, — сначала она отвечала, чтоб я не мешал ей плакать, а потом ничего не отвечала. Должно быть, ее нет там». — «Куда ж она пропала?» — «Не знаю; и не знаю тоже, как же она могла уйти? Через зал не проходила, — в столовой сидят, шьют, не видели ее; где ж она могла пройти?» — «Но не я говорю, что она ушла, вы сам это говорите, Веринька; как же она ушла, когда не выходила из комнаты?» — «Я и сам не знаю, а должно быть ушла; а то как бы не пустить меня?»»

Мы начали расспросы. Прислуга в доме не видела, что Ли-

динька выходила из комнаты; мы уж тревожились, думали выломать дверь, но прибежала с поисков ее горничная и успокоила нас: кучер сказал, что барышня приходила в конюшню, приказала оседлать свою верховую лошадь и галопом умчалась со двора. Слава богу, значит, цела и здорова. Но как же она попала в конюшню, не выйдя из комнаты? Конечно, как: очень просто. Заперлась торжественно; хотелось выдержать характер, а заперти показалось скучно, она и вылезла в окно. Вот, я подумала, достается теперь бедной лошади: страдалница находит облегчение терзаниям своего сердца в «упоении бешеной скачки», как бы и сама не слетела с седла. Да нет, она хорошая наездница. И точно, она вернулась благополучно, даже и вместе с своим Пьером. Сначала она поскакала — куда вы думаете? — прямо в город, отыскивать Пьера; экипаж отыскала, но кучер не знал, где теперь Петр Ульяныч, ходивший по Гостиному двору из лавки в лавку. Лидинька по лавкам, проследила все его путешествия, — но куда он пошел из последней лавки, в которой был? — купец не так интересовался им, как Лидинька, потому имел бездушие не спросить его, куда он идет. Лидинька побилась, побилась, — нет, пропали следы. Решилась ждать у экипажа, села на своего коня и начала разъезжать шагом по улице взад и вперед, вероятно, точно с такою же занимательностью для жителей улицы и сидельцев Гостиного двора, как Дон-Кихот, когда отправлял дежурство перед посвящением своим в рыцари. Через полчаса, разумеется, прогулка шагом надоела ей, и она поскакала назад, придумав, что еще лучше будет неожиданно накинуться на шею Пьеру среди дороги. Это ей удалось исполнить: не доезжая верст двух до нашего дома, она повернула назад, поехала опять к городу, уже умеренным галопом, потому что лошадь была измучена, и на третьей версте любящие сердца уселись рядом, усталую верховую лошадь привязали сзади экипажа и счастливо приехали пить чай со мною.

Так благополучно перенесла Лидинька разлуку, которой подвергла ее моя жестокость. Но эти три-четыре часа ее галопированья были очень важны для, — теперь я могу сказать, — для прочного счастья моего и моего мужа. Я в это время много переживала, пережила, поняла, что я была неправа, бесчеловечна к моему мужу. Этот переворот, — теперь я могу сказать: спасительный переворот — произошел очень просто: я думала, думала в это время. Увидев огорчение Лидиньки, я вспомнила, что я была неправа перед нею, — и через два часа для меня стало ясно, что я была неправа перед моим мужем. От одного сознания своей несправедливости до другого переход недалек, но есть большая разница в пустом огорчении девочки на полчаса и в том, что я три года мучила себя и мужа. Из одного открытия следовало другое, но первое было забавно, второе — вы видели. Елисей Яковлич, в каком состоянии души я была и через сутки после второго от-

крытия, — и через сутки вы видели три пароксизма рыданий таких, что вы сочли их припадками горячки, а это были уже слабейшие: я не спала ту ночь, рыдала, все утро рыдала, — еще бы не рыдать!

Муж говорил, — и говорит: «и эти рыдания были ребяческие». Прав ли он, я не высказываюсь теперь; я скажу только, что за это я люблю его.

Но, ребяческие или нет, эти рыдания обратились в пользу мне и моему мужу. Потому — потому говорю: благословляю этот вечер, эту ночь, это утро невыразимых страданий.

Но довольно о себе. Я и так слишком много разговорила о себе, — длинно, длинно. Что делать, каждый из нас так любит заниматься собою.

Гораздо любопытнее и, быть может, гораздо важнее странное влияние, которое имела пустая шалость Лидиньки на характер Алфериньки. Из этой шалости вышла его исповедь, которой он был обязан удивительной чистотою своего сердца. Случайным образом слушательницею этой исповеди была я, и он, как вы знаете, за это приписывает мне роль какой-то феи-хранительницы его. Конечно, он преувеличивал мое значение в этом. Но я вижу, что вы, — или я не знаю, кто, — кто бы ни был он, или скорее она, заставляющая вас и меня писать эти странные тетради, — я вижу, что он или она хочет поместить в них какой-нибудь дифирамб, писанный Алферинькою в честь мою. Я догадываюсь, что в его бумагах нашелся какой-нибудь восторженный панегирик мне, вроде тех, которыми он так часто приводил вас всех в затруднение: хохотать ли над ним, или нет, — меня в недоумение: сердиться мне, или смеяться, — не смущал только вас, вашу супругу и моего мужа, находивших, что если это и нелепо, то лишь повидимому, а на самом деле и просто и не лишено смысла, чему никто из нас, остальных, не верил, при всем нашем уважении к вашему тройственному авторитету.

Но покоряюсь своей судьбе, судьбе ужаснейшей для меня и всякого человека со смыслом, — судьбе стать на пьедестале, на котором вырезано золотыми буквами: «Цецилия новейших времен» — вы уж провозгласили это мое прозвище в конце биографии Вериньки. «Дочь Иеффая» — это еще ничто перед «Цецилиею». Скажите, за что делать смешную женщину, ведь все-таки не глупую же?

Но я вижу, что пощады нельзя ждать. Покоряюсь.

Вот простое объяснение того, как я подверглась этому страшному жребию; надеюсь, что люди с здравым смыслом скажут: «Нет, она понимает, что эта роль смешна, и не претендует на нее».

Поверьте, *mesdames et messieurs*, не только не претендую, согласилась бы два года не танцовать, — я еще танцую, — три лета прожить на гадкой петербургской даче среди лягушек вместо

того, чтобы ездить в свой старобельский хутор, где такие поля, с такими цветами, с такою ароматною травою, лучше всех цветов, — согласилась бы — но нет, нельзя придумать казни ужаснее петербургских дач вместо старобельского хутора, — согласилась бы, говорю вам, даже на эту казнь, лишь бы избавиться от роли Цецилии.

За что? за что? Судите сами. Все мое благотворное влияние состояло в следующем:

Когда мы с Веринькою успокоились за пропавшую Лидиньку, я, — как уж и говорила, — опять вернулась в свою комнату и уснула. Спала, выпалась, — так, уже слегка, дремала, ленилась вставать и дремала, — когда шорох в комнате разбудил меня: это вошел Веринька, чтобы поставить на место книгу с эстампами, которую пересматривал. — «А, это вы, Веринька? Садитесь здесь, мой милый, — ничего, что разбудили, я довольно спала. Я и забыла про вас, что вы один». Он сел у окна. Я стала хвалить его за скромность, которую видела в нем всегда и в которой особенно убедилась, когда увидела, что он в другой комнате смиренно и серьезно сидел за книгою; в то время, как Лидинька занималась превращением себя в Рахиль и Семирамиду и всех богинь Олимпа, он занимался своею книгою, а не подсматривал, как сделал бы другой мальчик. Я хвалила его, — вдруг он заплакал и сказал: «Не хвалите меня, я не такой хороший человек (человек!), как вы думаете. Я гораздо хуже. Конечно, Лидинька совсем не то, с ней я хорош, потому что я люблю ее, она все равно, что сестра мне, и кроме того, она еще дитя. (Как вам это нравится? Она говорит, что он «дитя», он — что она; и оба правы, конечно; но мило то, что и он и она замечают это лишь друг о друге, с почтением к собственному совершеннолетию.) Она дитя и сестра мне; с нею я не могу быть дурным. Но я дурной, — я очень дурной». И он пустился со слезами делать мне покаяние в том, что он очень дурной; знаете, обыкновенные признания всякого мальчика от 12 до 17 лет: как он засматривался на женщин, и влюбился, и не смел сказать ничего никому, а все засматривался, тайком, чтобы не видели. Выслушав исповедь, я сказала, что это действительно нехорошо, но что вот теперь он раскаивается, потому наверное исправится. И вы знаете, что он исправился: трудно было встретить юношу с таким чистым сердцем, — трудно было найти молодого человека, который так строго уважал бы себя и так скромно смотрел бы на женщин, так далек был бы от всякого волокитства.

Прошу каждого и каждую сказать, что ж тут особенного с моей стороны? Где тут удивительность каких-нибудь подвигов необыкновенной заботливости? Я вовсе не всемирная руководительница к нравственному совершенству, и если бы даже у меня была очень сильна охота резонерствовать о морали, — может быть, это и действительно доходит у меня до излишества, — то у меня на

руках была Лидинька, и мне было столько забот о сестре, что, право, некогда было бы думать о попечительстве над чужими.

Ребенок признался в глупостях, которые делает почти всякий ребенок его лет, — согласитесь, нельзя было мне не отвечать на это, — кто ж не осудил бы меня, если б я не пожурила его? Я пожурила его.

Что тут особенного? И за что тут делать женщину каким-то смешным чудом? Это несправедливо, наконец. Я могла находить это только смешным в Вериньке, экзальтированном юноше; но, признаюсь, это более чем смешно, когда это повторяется с его слов людьми, которые по своим летам могли бы быть солиднее. Извините меня, Елисей Яковлич, но я сержусь на моего мужа; я сержусь и на вас, и на вашу супругу.

Надеюсь, что этим объяснением я спасусь от пьедестала, который вы мне готовите и который очень забавен, но поэтому нимало не приятен.

Этим и просьбою не печатать смешных дифирамбов мне я кончила бы мое письмо к вам, добрый Елисей Яковлич, если бы писала для одного вас. Но я пишу для печати. Я высказала свое мнение о том, чем должны отличаться письма к другу, назначаемые для печати, от писем, назначенных для него одного: все, что можно написать для одного, — кого бы то ни было, хотя бы отца, хотя бы даже мужа, — можно и напечатать. Но если это должно быть напечатано, то необходимы прибавки, которые излишни в письме к близкому человеку. Поэтому я продолжаю.

Вы, Елисей Яковлич, знаете, как просто и вместе странно попала я в очень затруднительное положение, которому подвергает меня теперь воля — не ваша. Я произнесла слово, произнесла его искренно, но я не думала, что от меня потребуются сдержать его. До той поры, как я начала читать эту странную рукопись, которую теперь продолжаю, я не воображала, что слово, произнесенное мною, может стать делом.

Слово это было очень простое. Вы помните, как это было.

Вы и мой муж играли в пикет. Лица, которые названы Нигулечким и Тисьминым, играли в шахматы. Я, моя сестра и молодая дама, названная в этой рукописи Александрою Евтроповною Тисьминою, вышивали шелком и по временам молчали, по временам говорили. Ваша супруга хозяйничала. Ваш племянник (Алферинька) сидел и читал Times. Моя сестра (Лидинька), всегда бойкая, всегда шалунья, соскучилась тем, что все вы углубились в свои карты или шахматы и газету, а мы с Тисьминой в пейзаж, на котором листья выходили довольно правильными четырехугольниками, по обыкновению шелковых пейзажей. Она сказала: «Веринька, хоть бы вы были похожи на человека, — берите вашу виолончель, я хочу петь, — как вам еще не надоели эти газеты, я удивляюсь вам». — «Лидинька, вы сама знаете, что газеты

не так скучны, как вы говорите, — вот и в этом номере есть вещь, очень занимательная. Лучше я расскажу вам ее, — потом и виолончель». — «Ну, рассказывайте».

И он начал рассказывать процесс графини, кажется, Йельвертон, — помнится, так, — но это все равно. Хорошенькая, очень умная и образованная, очень гордая девушка, дочь бедного торговца, — сирота, кажется, но не помню, — возвращалась домой, в Англию из Италии, вместе с богатым семейством, в котором была гувернанткою. Почему-то они поехали морем. На том же пароходе ехал граф Йельвертон, молодой человек, богач. Он стал ухаживать за ней. Быть может, она кокетничала с ним, — это доказывал, но, кажется, напрасно доказывал его адвокат. И к чему доказывал он это, — непонятно, если не к тому, чтобы выказать и себя не лучше своего клиента: кокетничанье или не кокетничанье нимало не относится к предмету процесса. Процесс возник из того, что девушка была девушка благородная и если слушала комплименты внимательнее, чем следовало, если отвечала на них, — чего вовсе не следовало, — то все-таки сказала графу, что он может замолчать. Он влюбился в нее и сделал ей предложение. Она приняла предложение. Он сделался ее женихом. По приезде в Англию отправились в церковь и повенчались. Но через несколько времени ему вздумалось бросить ее, и тогда он объяснил ей, что их брак недействителен, потому что не соблюдены некоторые формальности. Какие формальности, я не могу припомнить; дело только в том, что церковные законы в разных частях государства различны, и что граф Йельвертон — ирландец, и что вопрос о его браке должен был решаться в Дублине, по законам, о которых не имеют понятия ни англичане, ни шотландцы, и что по этим законам требуются такие формальности, которых решительно не знала его жена. А он знал тогда очень хорошо, что он делает. Но ошибся в расчете: дублинский суд не захотел быть соучастником низости и решил дело по законам той части государства, где была свадьба.

Все мы слушали этот рассказ; начался общий разговор по поводу его; стали говорить о том, что легче: полное открытое исследование жизни, как, например, в этом процессе, или наше перешептывание, слухи, сплетни. Пример для сравнения был слишком невыгоден для трусости перед истиной по предпочтению полумрака: по окончании процесса, графиня Йельвертон была приглашена дублинскими дамами на бал, устроенный ими в честь ее; а у нас так с тем и остались бы — что, вероятно, была авантюристка, и что едва ли была даже как-нибудь и где-нибудь повенчана. Стали толковать о том, почему однакоже никто не решается сам печатать свою интимную биографию, как бы ни пошлы были сплетни о его жизни; понятно, почему: частная жизнь каждого — дело не его одного; никто не может рассказывать свою частную жизнь, не рассказывая и многих чужих тайн, потому печатать

интимную биографию можно только тогда, когда уже не осталось никого из людей, близких к человеку, биография которого печатается. — Вы помните, кто сказал: «Жаль, что нет возможности устранить это неудобство; но неужели в самом деле нет возможности?» — не мною, не вами и никем из лиц, пишущих теперь под псевдонимами, были произнесены эти слова; я вижу, что лицо это обозначено псевдонимом Лукьяна Игнатьевича фон-Баха, — мы все видим это. Но, Елисей Яковлич, если это лицо так поймало меня на слове, то оно не имеет права принимать такой псевдоним; это лицо — женщина; это лицо — старуха; смешно было бы теперь не договаривать, кто это лицо; это — ваша супруга. В «разговоре» со мною вы называете ее «Изабелла» — прекрасно; в четвертой тетради, в сказках моей сестры (хороши сказки!) я нахожу «Леилат Гедеоновну». Прекрасно. Итак, Изабелла Гедеоновна сказала: «Жаль, что так трудно делиться с другими опытом своей жизни». Разговор продолжался в этом направлении; я имела неосторожность сказать: «Если бы дана была возможность рассказывать свою интимную жизнь, не выдавая тайну своей личности, у многих было бы желание поделиться с другими своим опытом». Меня спросили: «Например, у вас?» — «И у меня; как у очень многих, я думаю», сказала я.

Что особенного в моих словах, Елисей Яковлич? Кто из нас не говорил много раз то же самое?

И вот, через несколько времени, я вижу перед собою начало истории «Белого пеньюара».

Я вижу, что мне даны средства исполнить слово, которое я произносила, как произносят его все, не думая о возможности его исполнения.

Никто никогда не скажет, что я труслива.

Я не отступаю от моих слов.

Л. Крылова

4. ПИСЬМО МУЖА НЕИЗВЕСТНОЙ ДАМЫ К ЕГО ДРУГУ

Вы скажете: — как я согласился? Я вам отвечаю: — прежде того вы должны были бы спросить, было ли требуемо мое согласие.

Вы скажете: «Но, по крайней мере, вы не должны были помогать». Прежде того вы должны были бы спросить, от меня ли зависит, помогать или нет.

Но вообще, если что-нибудь не нравится вам в поступках моей жены, — адресуйтесь с вашими советами к ней. Она передаст мне, что найдет нужным.

12 мая 1863

VII

УЗОРЫ

шитья золотошвейки, бывшей простой швеи
Александры Евтроповны Тисьминой-Дмитровской

1. КАНВА

Я не скажу, как Лидинька, что мне нечего рассказывать о себе. Я осталась сиротою во младенчестве. Воспитывалась сначала Христа ради; но недолго: скоро я уже могла зарабатывать свой хлеб. В 12 лет я была мастерицей в том ремесле, которым жила моя добрая воспитательница, года через три я уже была подержкою ее, — еще не старости, но ее пожилых лет. Еще года через два я была очень обласкана светскою дамою, которая в нашей уездной глуши была аристократкою, — Лизаветою Сергеевною Крыловою. Потом я имела случай сблизиться с нею еще больше. Это было после свадьбы ее сестры Лидиньки. Благодаря Лизавете Сергеевне я могла полгода учиться. Прежде я уже читала очень много. Но я не училась ничему, — даже очень плохо писала. В эти полгода я сделалась похожа на светскую девушку: стала довольно хорошо говорить по-французски, одевалась очень недурно: Лизавета Сергеевна была очень добра ко мне. Я могла рассчитывать сделать партию, о какой прежде смешно было бы и мечтать; я могла выйти за порядочного уездного чиновника. Лизавета Сергеевна так полюбила меня, что в городе было известно, что она сделает мне приличное приданое, — даже даст рублей тысячу деньгами. Я жила у ней тогда, по возвращении из Новой Сербии, компаньонкою, — если угодно, проще и вернее, бедною молодою приятельницею. Я жила у ней не даром: я вела мелочи хозяйства, я очень много шила. Она не требовала, — она не желала бы, чтобы я шила, — по крайней мере, так много шила. Но она понимала, что иначе я стеснялась бы ее добротою ко мне.

Скоро приехал муж Лизаветы Сергеевны. Я в это время лежала, — довольно смешной случай, — с подбитым глазом; мы много смеялись над моим приключением. В одном из шутивных разговоров я вздумала объяснить это приключение своим перстнем: на моем медном перстне, — единственном, как мне тогда казалось, наследстве, дошедшем ко мне от отца, — вырезана довольно странная эмблема: с одной стороны — лицо человека; с другой — волчья голова; между ними решетка; внизу буквы: г. в. з. н. — смысл их нетрудно отгадать, это поговорка: «глаз видит, зуб неймет», — волк не может съесть человека, на которого смотрит так близко. Этот рассказ повел за собою серьезные разговоры, из которых муж Крыловой узнал во мне дочь своего дяди. Я до той поры не знала, кто были мой отец, моя мать.

Теперь, когда это объяснилось, то открылось, что меня ждет довольно порядочное наследство, — наследство очень редкое, — отчасти странное. Я стала девушкой с очень хорошим приданым.

Я поехала в Петербург с Крыловыми. Через полгода вышла замуж за одного из их ближайших друзей, молодого светского человека, который здесь называется Тисьминым.

Из этого вы видите, что у меня есть очень многое рассказывать не только о других, но и о самой себе. До 17 лет я была бедною девушкою, простолюдинкою. Через год с небольшим я вошла в светский петербургский круг. В это время я была уже очень развитою девушкою; прежняя жизнь и серьезное чтение уж дали мне самостоятельный взгляд.

Поэтому я замечала и чувствовала очень многое, чего не замечали, не испытывали люди, выросшие в той жизни, в которую я вошла уже совершеннолетней, быть может слишком серьезным человеком.

Хотите ли один пример? — Я шила сотни бальных платьев, и все дамы, девушки нашего уездного города примеривали их при мне, делая свои замечания о том, хорошо ли сшито или что надобно переделать. Но я шила такие платья для других и их только примеривали при мне; я не видела, что такое эти платья в обществе. Я в первый раз надела бальное платье и в первый раз увидела общество в бальных платьях, когда мне было 18 лет и когда у меня был свой взгляд на вещи.

Это очень редкий опыт.

Таких опытов два года у меня, от моего первого свидания с Лизаветою Сергеевною Крыловой, — первым человеком из общества, жизнь которого описывается во всех книгах, понятия и потребности которого господствуют над всем остальным, — до того времени, когда я привыкла к жизни этого общества.

А прежняя моя жизнь? Я с 12 лет была уже работницею, в 14 лет я уже заменяла мою воспитательницу, ноги которой отказывались ходить по лестницам нашего уездного города. Эти лестницы не высоки; но они очень круты.

Я имею очень многое для рассказов о моей жизни.

Буду ли я рассказывать ее, — я не знаю; быть может, когда-нибудь, когда самые молодые из нынешних людей будут стары; тогда, — может быть, но не теперь.

Однако вы уже прочли очень много страниц, написанных мною. Не в сказках: в сказках нет ни одной строки моей, кроме небольшой записки, которую я дала Лидиньке. И не в «разговоре» Всеволодского с Крыловой. Сказки писаны одною Лидинькою, при небольшом содействии ее мужа. «Разговор» написан одним Всеволодским. Были другие отрывки, написанные одною мною.

Как и все другие, мы кроме Лизаветы Сергеевны Крыловой, я писала то, что было нужно, чтобы могла быть рассказываема

ее автобиография. Она рассказывает о себе вещи странные, рассказывает их в странной форме. Но так надобно.

И надобно, чтобы я рассказала сказку под г-нем моей биографии.

Я делаю это.

Но я вам вперед говорю: это сказка. Вы знаете канву; остальное — только узоры по ней.

2. ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРЫ ЕВ(Т)РОПОВНЫ ТИШЬМИНОЙ, УРОЖДЕННОЙ ДМИТРОВСКОЙ

Я ничего не знаю. Почему бы я знала что-нибудь? Я знаю только то, что познакомлюсь с обидчивым пуританином, и мне обещали, что это знакомство будет очень приятно. Очень рада; потому что это знакомство будет совершенною новостью для меня.

Конечно, очень трудно будет предположить это; но мало ли что трудно предположить? Кто, например, не предполагает, что у меня рябое лицо? Но оно вовсе не рябое. Оно только кажется рябым. И я в этом не виновата. В этом виноват мой перстень. Я страдала невинно.

На моем перстне грубо вырезано: голова волка с разинутой пастью; волк смотрит и скалит зубы на человека, — лицо человека вырезано очень близко к морде волка; это лицо пожилого человека, с глазами, закрытыми от ужаса; между этими двумя головами несколько толстых палок, перекрещивающихся в виде решетки; внизу буквы: г. в. з. н., то есть «глаз видит, зуб немет». Все беды и странности моего детства, моей молодости от этого перстня. Этот перстень — от моего отца.

Мой отец был охотник. И очень хороший охотник. В последние 30 лет своей охоты он сделал 21 976 выстрелов. Он каждый день записывал свои выстрелы. Он убил 21 976 выстрелами 21 976 зверей. Каждым по одному зверю.

В эти 30 лет он не сделал ни одного выстрела за городом. Все 21 976 зверей убиты им, все 21 976 выстрелов сделаны им в городе: с площадей, с улиц, с чужих дворов, с своего дворика. Люди ходили, дети бегали по площадям, улицам, дворам, дворику, в то время, как он стрелял: они не мешали ему стрелять и не боялись, что он ранит их. Все 21 976 зверей были убиты им в то время, как высматривали добычу и готовы были броситься на нее, — но раздавался выстрел, и через несколько секунд люди брали труп убитого зверя со двора, с улицы, с площади, чтобы распорядиться им по обыкновению. Все 21 976 зверей, убитых моим отцом в продолжении 30 лет, были одной породы.

Город, с площадей, улиц, дворов которого было подобрано столько зверей, убитых моим отцом в эти 30 лет (с августа 1816 до сентября 1846), был — Москва.

У нас было все волчье: шуба отца, салоп матери, моя шубка; халат отца был из легкой волчины. На полу вместо ковров лежали волчьи шкуры.

Мой отец не получал почти никакого дохода от своей должности: он был дьячок церкви с самым маленьким приходом, какие бывают только в Москве, или, по крайней мере, тогда бывали: есть ли теперь, я не знаю. Священник этой церкви умер бы с голоду, если бы не был учителем в какой-то школе. А мой отец, дьячок, жил очень и очень не бедно, потому что продавал шкуры убитых им волков.

Что вы предполагаете? Иным, — конечно, не вам, — о нет, иным, — быть может, представляется, будто я говорю, что мой отец убивал волков на площадях, улицах, дворах Москвы? Если так, иные ошибаются. Я никогда не желала, чтобы они так странно компрометировали себя. Я не говорила такой нелепости. Иные сами выдумали ее и вообразили, что она сказана мною.

Надобно или уметь догадываться, или не пускаться в догадки. Поэтому умеете догадываться, что это не относится к вам, или не делаете догадок, относится ли это к вам.

Фамилия моего отца была Дмитровский. Но на Плющихе, на Арбате, на Тверской, даже в «Городе», даже в Замоскворечье, все знали дьячка Евтропа Кириллыча Коршунова.

Прежде мой отец был дьячком в селе Кузнецкого уезда Новых Канадях; того же села Новых Канадей государственный крестьянин был Кифа Мокиевич Мокиев. Потом они были разделены судьбою: Кифа Мокиевич записался в мещане, переселился приказчиком в Елец, оттуда в Тулу. Мой отец еще раньше того перешел в Москву. Но молодость они провели вместе. Кифа Мокиевич уж и тогда занимался вопросом: «Почему зверь не вылупливается из яйца?» Мой отец много толковал с ним об этом: «Умный ты человек, Кифа, — слова нет, умный; но мудришь. Как почему? Потому, что названо так. А коли тебе нужно, чтобы зверь вылупливался из яйца, тут нечего много мудрить, а надо сделать, как нужно. Я тебе скажу так: двуногая скотина, о четырех ногах скотина, — все скотина. Коли корова, баран называется скот, то выходит, и курица, индюк — тоже скот: былием питаются, друг дружку не едят, сами в корм идут; видишь, вот тебе и разрешение выходит по самому по этому. Потому что коли медведь, волк, лиса называется зверь, то и орел, беркут, ястреб, коршун — тот же зверь; кровь проливают, сами в корм нейдут. Вот тебе зверь из яйца и вылупливается, как тебе нужно. Потому что как назвал ты беркута, коршуна зверем, то и вышло твоей надобности разрешение. Ты так рассуждай, как я сужу, а мудрить нечего». Но Кифа Мокиевич не соглашался; и, отстаивая свое мнение, что мудрить нечего, отец укоренился в привычке называть коршуна зверем.

В Москве он бил коршунов. Он даже вошел этим в любовь

у всех, в почтение у начальства. Ему предлагали дьяконство, обещали потом священство, хотя он и был не из ученых: человека примерной жизни, неглупого, доброго, его уважали и протопопы, и викарий. Но он отвечал: «недостойн сана священнослужительского, — муж бо кровей есмь, и быстры суть руже мои на пролитие крови. Жизнь мне не в жизнь без охоты, ваше высокоблагословение. Каков же я буду дьякон? Недостойн. Останусь причетником». «Да какую же кровь-то вы проливаете, Евтроп Кириллыч? — птичью. Какой тут грех?» возражал протопоп. «Зверскую; ваше высокоблагословение, и не грех, а заслуга, перед добрыми людьми. Но все же кровь. Позвольте остаться причетником».

Волчьими шкурами он запасся до перехода в Москву в Кузнецких лесах. Поживи он там подольше, он наготовил бы не столько этих шкур, но вышел такой случай, что он бросил эту охоту, занимавшись ею только 10 лет; оттого он перешел в Москву и принялся стрелять коршунов, что не мог продолжать охоты за волками. Случай этот довольно любопытен, по крайней мере для охотников и охотниц, если есть на свете такие.

В Кузнецких лесах и теперь множество волков, а тогда, — около 1815 года — их было в Кузнецком уезде по крайней мере во сто раз больше, чем людей. Лет шесть отец охотился за волками, как обыкновенно. Потом изобрел особую методику. Он уже превосходно стрелял, — без промаха, в голову, чтобы не портить шкуры. В последней сотне шкур обыкновенной охоты не было ни одного меха, попорченного пулею. Но эту сотню он приобретал целые полгода, да и такая добыча — редкое искусство и счастье. Но в седьмой год своего причетничества и охотничанья отец придумал вещь, которая быстро доставила ему зажиточность, очень скоро дала капитал в шкурах. Он в самой глуши лесов построил себе на десятки верст одна от другой несколько маленьких избушек, очень крепких, с маленькими окошечками во все стороны. В каждой стене было по многу этих амбразур. Дверь избушки была толстейшая дубовая, закладывалась изнутри целым бревном. Кровля была из частых бревен, покрытых толстыми досками. Отец привязывал у своей засады свиней, телят, а сам с несколькими ружьями забирался в избушку. Волки сбегались стаями, и он бил их каждый день штук по пяти и больше, нередко до десятка. Когда волчье население редело от его трудов в одной местности лесов, он перебирался в другую избушку. Вот каким образом года в четыре он уложил до одиннадцати тысяч волков. Сначала он продавал шкуры по обыкновению, потом увидел, что в тех местах и от тех торговцев не получает настоящей цены, и стал вязать шкуры в тюки и в тюки. Проживи он все свои остальные 35 лет в этом занятии, было бы одно из двух: или он сделался бы чуть не миллионером, или не достало бы на это волчьей породы в тех местах, от Аткарска с одной сто-

роны до Чембара с другой и Сенгилея с третьей. Его считали благодетелем края, и он только числился при своей должности: сам архиерей разрешил и благословил его разъезжать куда угодно, на сколько угодно времени по его фортам. Его дьячковский доход, — уже неважный для него, — отдавался его товарищам по церкви: наместника отцу было не нужно, потому что какая же служба была тогда у сельского дьячка? — не всякое воскресенье бывала обедня.

Занятие отца было прибыльно; но совестники скоро бросали совместничать ему, потому что сиденье в засаде требовало нервов, какие редки даже между Кузнецком, Сенгилеем и Чембаром. Отец оставался без соперников. Ему такое сиденье было нипочем. Нипочем, — однако, не очень долго. На четвертом году его новой методы произошел случай, который он увековечил собственноручной резьбою на медном перстне, хранящемся у меня.

Старые люди вот как рассказали мне историю, вырезанную на моем перстне.

Волки, наконец, увидели надобность принять крайние меры и сговорились дать генеральную битву. Десяток за десятком шли они на избушку, штурмовали ее уж не попрежнему, не легкими напрыгиваниями пяти, шести штук. Отец бил и бил их, но число нападающих все прибывало, и они все только больше свирепели и сильнее ломились в избушку, терзали и жрали убитых товарищей и все яростнее ломились на своего истребителя. Дверь выдерживала хорошо; волки стали пробовать кровлю, — сорвали доски; потолок остался решетом из бревен; но решетины были слишком мелки, не давали пролезть всему волку, — всовывались только головы до плеч. Заряды у отца вышли; да и слишком близко к нему были морды волков, меньше, чем на длину ружья. Если бы отец стоял, волки хватили бы его лапами за голову: потолок избушки был немногим выше человеческого роста. Отец, сидя, махал топором по лапам и мордам — и доставал... Но выбился из сил, уже лежал в изнеможении и лежал много часов. Осада продолжалась. Волки, теперь уж на безопасности, стали действовать совершенно систематически. Они все пробовали, — прежде в торопливой сумятице, а теперь уже основательно, — не выворотят ли какого бревна из потолочной решетки, — изба скрипела от их поочередного спрыгиванья и напрыгиванья. Но больше они занялись грызеньем одного бревна в одном месте, и работа эта шла у них с заметным успехом.

Проезжал тою глушью мужик, где-то вдалеке. Услышал, что за две, за три версты идет необычайный гвалт волчьего воя. Подумал, подумал, что это такое, и догадался: не штурмуют ли волки отцовскую засаду. Поскакал в ближайшее село, — то есть очень далекое. Мужики сказали: «да, это так должно быть»; собрались, вооружились и пошли целою милициею на выручку, — и выручили, когда отец уж не чаял спасения. Волки разбежались,

увидев большую толпу с ружьями, рогатинами, приближающуюся с криками и выстрелами. Часы, долгие часы, быть может целые сутки, проведенные отцом в полутора аршинах от волчьих оскаленных на него зубов и сверкающих волчьих глаз, действовали на охотника при всей его твердости. «Особенно глаза были страшны, — говорил он: — страшнее зубов, страшнее воя. А и вой был страшный». Выдержав эту осаду, он дал зарок: не ходить больше на охоту⁶⁷.

Этого требовала у него [моя] мать. Да и без требования жены, вероятно, зарекся бы: «дал бы зарок и сам, ей-богу, дал бы», — говорил он после.

Но, оставшись без занятия, он сильно затосковал, и через полгода поехал для развлечения по святым местам русским. Приехав в Москву, он зажился там: надобно было полечить лошадь, на которой он ездил. Раз он сидел в большой компании у ворот постоянного двора. Говорили об охоте, рассматривали ружье, которое продавал кто-то; оно было заряжено дробью: продавец остановился мимоходом, идучи на охоту. Ружье нравилось отцу, он вертел его в руках. А тут плавал коршун: отец, забывшись, что это в городе, выстрелил и убил коршуна. Хозяин гостиницы, бывший против постоянного двора, видел это из окна, посмеялся вместе с другими внезапному порыву охотничьей души, позвал к себе отца, разговорился с ним; от нечего делать этот купец любил чудаков и их выходки, забавлялся от скуки всякими пустяками, и начал забавляться с отцом: дал ему комнату, выходящую на задний двор гостиницы, накупил цыплят, пустил по двору на соблазн коршунам, — уладил дело с полициею, — и отец стрелял коршунов. Эта охота ему понравилась; понравилась и Москва. При помощи хозяина гостиницы и своих деньжонок он выпросил себе место в Москве при самой спокойной, то есть и беднейшей церкви, в которой по целым годам не бывало ни священника, ни дьячка: никто не хотел итти, нечем было жить. Моему отцу не было надобности в доходе: у него был капитал в шкурах. Он продавал их по мере своих скромных надобностей.

Когда он умер, через тридцать лет после своего перемещения в Москву, половина комнаты, — большой, темной — еще оставалась занята волчьими шкурами. Они лежали, как штуки сукна лежат в кладовых суконной фабрики, тюками от полу до потолка. Уложены были так: шкура шерстью вверх; слой табачных листьев; шкура шерстью вниз. 12 пар шкур составляли тюк, плотно обшитый цыновкою; под цыновкою все было густо посыпано тертым табаком, сама цыновка набита и посыпана им. По цыновке тюк был обшит грубым, но плотным холстом, чтобы не высыпался тертый табак: он служил главным охранением от моли. Для этого же комната была сделана совершенно темною: ставни забиты паклею и наглухо заштукатурены. Дверь стояла замазанная, как зимние рамы, отворялась раза два-три в год, чтобы

вынуть тюк на продажу, и после каждого раза тотчас же опять замазывалась. Тюки лежали от полу до потолка; в каждом таком столбе было 9 тюков; по длине стены было 11 столбов тюков. Когда умер батюшка, три ряда такой накладки было еще не тронуты; в четвертом ряду оставался один столб и пять тюков из третьего. Это я знаю по счету, который был сделан отцом для матушки, — нечто подобное завещанию; он был найден после смерти старухи-дьяконицы, о которой я скажу после, и передан мне вместе с наследством. Вот эта любопытная записка:

«Мавруша, по 9 тюков в столбе, в ряду 11 столбов, выходит в ряду 99 тюков, в трех рядах выходит 297 тюков. Да в одном столбе 9 тюков да 5 тюков, всего выходит 311 тюков. В тюке по 12 пар, в 311 тюках выходит 3 732 пары шкур. Хотя по нынешней цене считай тюк в 135 рублей (серебром, Мавруша; на ассигнации 472 руб. с полтиною), капитал в 311 тюках 41 985 рублей (на серебро, Мавруша; на ассигнации 147 тысяч без малого). А цена волчьей шкуре год от году растет. Будет тебе, Мавруша, на прожиток, дочери на приданое. Дочь учи. Без ученья ноне нельзя. Не тот век, Мавруша, в какой мы с тобою росли: сама знаешь. Бедных не забывай, Мавруша. И мы с тобою бедные были, пока господь милостивый не открыл мне талант в стрельбе. Трудовое, Мавруша. Мы с тобою по-барски не жили: нам что, мы не так приучены. А жили без нужды. Благословляю дочь мою отцовским благословением, вовеки нерушимым, аминь. Прости, Мавруша: хорошо с тобою жили, Мавруша».

У них было человек десять детей, — все умирали в младенчестве; одна я, последняя, осталась в живых.

Отец умер в 1846 году. Мне не было тогда 4 лет.

Овдовев, матушка пошла со мною бродить по богомолям, — пешком, для большей душевной пользы; да это и веселее, когда бродят от нечего делать. Дом и кладовую она оставила под присмотром своей приятельницы вдовы-дьяконицы, бедной женщины, которая поселилась у ней по смерти моего отца.

Через полгода странствований матушка умерла на пути из Воронежа в Киев, проболев два дня.

Я, четырехлетнее дитя, осталась на руках у хозяйки постоянного двора, где умерла матушка. Не знаю, куда девала бы меня хозяйка, — у нее была на руках своя орда детей, — может быть, однако, и кормила бы, не слишком обременяясь, потому что жила не очень бедно; но все-таки я была большим отягощением для нее, и недели через три она с радостью отдала меня пожилой мещанке, возвращавшейся через то село из Воронежа в Старобельск. Но прежде, чем отдать, она целый вечер говорила с проезжею, чтобы узнать, добрая ли женщина эта мещанка, — такая внимательность много значит: видно, что она и сама была очень добрая женщина.

Матушка сказала хозяйке постоянного двора, хозяйка — ме-

щанке мое имя и звание; передала паспорт матушки, в котором была прописана и я; вместе со мною передавался и перстень, на котором отец вырезал свою сцену осады волками. Но ни рассказу матушки об этой осаде, ни словам ее о капитале в волчьих шкурах ни хозяйка, ни мешчанка не верили. Думали, что это бред умирающей. Моя воспитательница даже и не говорила мне об этом, чтобы не набивать голову пустыми мыслями, — и была права: как можно было полагать, что такая странная вещь окажется правдою? Я узнала об этом уже тогда, когда узнала о наследстве.

Мещанка, моя воспитательница, пожилая девушка, была молканка. Поэтому не только выучила меня всему, чему можно было выучить в Старобельске при ее скудных средствах, не только не отбивала у меня охоты к светским книгам, — сама выпрашивала их для меня у чиновниц и помещиц, которым шила платье. Она была старобельская модистка. Когда она нашла и взяла меня на возвратном пути из Воронежа, она ездила посмотреть, какие моды в губернском городе.

Много странного в этих рассказах о моем отце. Но я услышала их уже, когда узнала от мужа Лизаветы Сергеевны о моем наследстве; и они не имели никакого влияния на мои детские мысли. А перстень с его загадочною тогда для меня эмблемою стал занимать меня гораздо раньше. И мои воспоминания были таковы, что... но лучше я просто расскажу их.

Вот первое, что я помню о себе: я, девочка лет пяти, лежу среди двора, инстинктивно закрывая глаза ручонками; по мне с диким криком прыгает курица, бьет крыльями и клюет меня. Когда я опомнилась, щеки мои, мой лоб и руки до локтей были в крови, изорваны, исклеваны. Бесчисленные царапины делают страшную боль. Прасковья Трофимовна, моя воспитательница, обмывает кровь холодною водою, — наконец, может рассмотреть и говорит: «Хоть глаза-то целы; слава тебе, господи!» На правой щеке у меня остались две рябинки от этих царапин. Так они незаметны; но когда я танцую или разгорячусь в разговоре, они выказываются двумя небольшими бледными пятнышками среди румянца, — будто родинками. На руках не осталось совершенно никаких следов. Кстати, скажу, что у меня черные волосы и цвет лица смуглый. Я довольно высокого роста. Довольно румяная.

Я лежала с неделю. Могу, наконец, итти поиграть во дворе. Едва показываюсь на крылечке, — со всех углов двора поднимается неистовое кудаханье: куры, петухи, даже цыплята, бешено хлопая крыльями, бегут ко мне; я кричу от страха, бросаюсь в сени, захопываю за собою дверь, — и сижу в комнатах два, три дня, не смея ступить за порог. Едва я показываюсь у окна, раздаётся яростное кудаханье: куры, петухи бегут броситься на меня. Несколько раз они влетали в окно, разбивая стекла; я спасалась от них под периною, — иногда лежала по не-

сколько часов, пока Прасковья Трофимовна возвращалась и разгоняла кур. Нельзя было и думать о том, чтобы показаться мне одной за порог сеней. Я могла выходить из комнат только с Прасковьею Трофимовною или с кем другим взрослым; если я оставалась играть с детьми, я тотчас же должна была бежать от кур в комнату или под защиту больших. Прасковье Трофимовне было жаль, что я лишена возможности играть на улице, как играли все другие дети того городка; даже на своем дворе я не была безопасна, хоть Прасковья Трофимовна уничтожила у себя кур: врывались куры с соседних дворов, с улицы. «Что ж, не будут смеяться над бедным пятилетним ребенком», — подумала, наконец, Прасковья Трофимовна и устроила мне оборону от моих преследовательниц: сшила толстый зипунчик до самых пяток, сшила варежки до локтей, велела всегда ходить с палкою; надобно было защитить и лицо — как защитить его? — она сделала мне нечто взамен шлема, или особенный капюшон: взяла глубокое плетеное легонькое лукошечко, прорезала в нем две щелки для глаз и научила меня носить этот странный шлем, спускавшийся до самых плеч. Конечно, я имела смешной вид в своем вооружении, но скоро все привыкли к этому; да и с самого начала умным людям не было охоты смеяться над бедняжкою, пятилетнею крошкою; они стыдили других, которые смеялись. Через несколько времени даже девочки и мальчики, с которыми я играла, примирились с моим странным видом; меня продолжали звать «Саша-лукошница», но уже не в насмешку, а будто по фамилии.

До 11 или 12 лет я не выходила одна из комнат иначе, как в своем плетеном шлеме, — играла на улице и на дворе всегда в нем. На 12-м году вдруг я перестала быть предметом ненависти для кур; я сняла свои доспехи, бросила палку и года три жила спокойно, как все дети. Но когда мне было лет 14, со мною опять начались беды от других домашних пород. Овцы, бараны, телята, коровы стали обижать меня. Лошади, свиньи, козы, козлы держали себя передо мною, как перед всеми, безукоризненно. Точно так и прежде: ни утки, ни гуси не бросались на меня; меня ненавидели только куры, петухи, индюшки. Теперь, когда они уж давно примирились со мною и я считала свое спокойствие увековеченным, вознегодовала на меня коровья и овечья порода. Но с их стороны не было стремления бить меня, — нет, совсем не то, — но лучше всего объяснит это сцена первого свидания Лизаветы Сергеевны со мною.

Переселившись из Петербурга в свой хутор, Лизавета Сергеевна спросила, кто в Старобельске хорошая швея. Назвали Прасковью Трофимовну и меня. Бывши в городе, она зашла к нам сделать свои заказы. По обыкновению, все стояло настежь: ворота отворены, дверь в сени флигелька отворена, в комнаты из сеней — тоже: в таких мирных городах двери запираются только

от холода; полгода, пока не топят печей, двери редко не настежь днем, часто остаются отворены и по ночам. Лизавета Сергеевна зашла к нам часа в два, — по-господскому, до обеда; а мы с Прасковьею Трофимовною давно пообедали и спали. Лизавета Сергеевна вошла в первую комнату — никого; — во вторую — спит старуха, то есть Прасковья Трофимовна; что будить старуху? Лизавета Сергеевна пошла дальше, в третью комнату, — может быть, кто-нибудь не спит. И точно, в третьей комнате трудилась солидная мать семейства: она стояла у кровати, на кровати спала девушка: девушка — это была я; мать семейства — наша «буренушка», очень рассудительная корова немолодых лет; она спокойно стояла и жевала мое платье — смирно, чинно, будто занималась хорошим делом. Увидев Лизавету Сергеевну, буренушка бросилась бежать. Я и Прасковья Трофимовна проснулись от стука ее копыт. «Что это такое?» — с удивлением спросила Лизавета Сергеевна. Я расплакалась: «Я такая несчастная; это уж не в первый раз; вот и в комнате уже в третий раз; прежде хотя в комнаты не умели они входить». И точно, в комнате это было только в третий раз, но вообще я уж давно подвергалась этому преследованию: при малейшей возможности добраться до меня телки и коровы жевали меня более полгода и продолжали жевать еще с год. Мы не могли наготовиться платьев и белья. Вообще мы жили хорошо; но в это время мы часто нуждались: все деньги шли на белье и платье мне, и все недоставало. Это странно, а это так было.

Коровы считаются глупыми. Но, собаке, кошке, лисе трудно придумать такие хитрости, какие тогда внушались коровам и телкам страстью жевать меня. Возьмите хоть этот случай: какая осторожность нужна была буренке, чтобы пройти через три комнаты, пройти мимо Прасковьи Трофимовны и не разбудить ни ее, ни меня стуком копыт; какую осмотрительность, деликатность должна была соблюдать она в жевании, чтобы не тронуть, не дернуть меня — из пяти полотнищ платья оставалось только полтора, когда Лизавета Сергеевна помешала этому занятию. Коровы становились в засады за углами улиц, которые в уездных городах почти целый день пустынные; какая-нибудь «пеструшка» пряталась за угол, за ворота, долгие часы терпеливо поджидала свою жертву и, пропустив меня мимо, шла сзади, тихо ступая по пыльной, мягкой дороге; вдруг я слышала из какого-нибудь окна: «отгоните пеструшку. Саша, — жует вас!» — и я должна была спешить домой переменить шубу или бурнус, или платье, — иногда шляпку.

Невероятно, но было несколько раз даже то, что коровы подвигали бревна к окну флигеля, когда сени были заперты, устраивали себе подъем к окну, влезали в него, чтобы жевать меня. Что они делали, чтобы спуститься через окно на пол без стука — это удивительно: они набрасывали на пол у окна целый

ворох соломы, трухи, сена, принося эту подстилку маленькими долями во рту или на рогах. Боже мой, каких мер предосторожности и обороны ни принимали мы с Прасковьей Трофимовною против этого их влечения — и все-таки не проходило недели, чтобы я не была обжевана. Ничто не помогало. Мы поселили в комнатах нашу дворовую собаку, — напрасно: она не хотела вступаться в дело. Я огородила ширмами свой угол комнаты, — корова ловко приподнимала ширму под верхние решетинки и отодвигала без шума. Одно лето я была принуждена спать на подволоке, — то есть под кровлею. Пришла осень, там стало холодно, — и я опять подверглась жеванию. Это продолжалось около двух лет, — потом вдруг прекратилось.

Странно, но у меня и у Прасковьи Трофимовны было непреодолимое убеждение, что все это происходит от моего перстня. Мы не были суеверны: она была молоканка, я с 11 лет читала все, что можно было найти в нашем городке, — я была уже не невежда, когда Лизавета Сергеевна после свадьбы Лидиньки дала мне лучшие средства к образованию. Мы с Прасковьей Трофимовною очень хорошо понимали, как смешно, суеверно наше убеждение о связи между перстнем и моими бедами от кур, потом от коров; но мы не могли изгнать из себя этого странного чувства. Я должна признаться, что оно до сих пор остается во мне. Еще удивительнее то, что оно овладевало мыслями всех, узнававших мою историю и историю моего перстня: мой муж, Крыловы, Нигулецкие, все семейство Всеволодских, — все разделяют со мною это чувство, загадочное для всех нас.

Мне было лет 16, когда коровы и телки перестали преследовать меня своим жеваньем: они примирились со мною так же внезапно и так же полно, как прежде куры. Года полтора-два я была совершенно чуждым существом для сердец моих прежних неприятельниц. Они смотрели на меня мирными, равнодушными глазами. Я, наконец, перестала остерегаться их, ходила мимо коров так же невнимательно и спокойно, как все.

Я уехала из Старобельска вместе с Лизаветою Сергеевною после свадьбы Лидиньки; когда Лизавета Сергеевна возвратилась в свой старобельский хутор, я жила вместе с нею. Почти целый день я шила, — бедным людям неудобно терять время без работы; но это не мешало мне говорить и слушать. Я позволяла себе и брать два-три часа в день на отдых; изредка и целый вечер; мы гуляли по саду, по роще, ездили по окрестностям. И вот однажды мы с Лизаветою Сергеевною шли в сад, через двор. В углу двора лежала голландская корова; увидев меня, встала и пошла к нам. У меня уже не было мысли опасаться коров; я думала, что она идет к Лизавете Сергеевне, которая часто кормила ее из рук хлебом. Но, подошедши, корова стала передо мною и начала смотреть мне прямо в глаза, очень пристально. Что такое? Я пришла в недоумение; но в глазах коровы не выражалось ни-

чего похожего на злобу, нет, — потому я не очень оробела, — тем менее оробела, что Лизавета Сергеевна успела сохранить полное хладнокровие, гладила шею, лоб коровы, стараясь отвлечь ее ласками от меня. Но корова не хотела обращать внимания на женщину, от которой привыкла получать хлеб, тихо отстраняла ее головою, когда она становилась между нею и мною, передвигалась за мною, когда я отступала в сторону, и продолжала пристально смотреть мне в глаза. Положение было затруднительно. Бежать — это явный вызов на преследование. Что было делать? Я стояла; она все смотрела и смотрела на меня неподвижными, но, мне казалось, мирными глазами. Вот корова тихо наклонила голову, тихо подняла, опять наклонила, еще ближе к земле и все медленно, будто спокойно, — и все не сводя с меня глаз, — я начала робеть: длинные, широко расходящиеся рога огромной коровы были страшны, — я начала бледнеть, сама Лизавета Сергеевна несколько потерялась и схватила корову за рог, но корова спокойно высвободила свой рог из ее руки сильным движением, опять тихо наклонила голову до самой земли, ступила вперед шаг, два в сторону, голова ее была уже сбоку от меня, — все у самой земли, — и вот корова замычала и повернула меня своей мордою спиною к ней, — сердце во мне замерло, — я была поднята на воздух, спокойным, осторожным, — тогда я не могла разобратить этого, — но быстрым движением. Я сидела на голове коровы будто в кресле между рогов и корова быстрым шагом шла по двору, неся меня на себе. Я вся дрожала, я кричала, — я прыгнула, — не удержалась на ногах, упала и разбила себе лицо. Я не потеряла чувств, но не могла встать и неподвижно ждала гибели: корова повернулась и опять подошла ко мне, — но... но что ж это такое? — я не знала, вижу ли я это, или со мною сделался бред от удара о землю: корова стояла подле меня, лежащей, уныло глядела пристальными глазами и по временам покачивала голову из стороны в сторону, — будто жалела, — и мне казалось, что в ее взгляде выражается участие, печаль. Лизавета Сергеевна также несколько времени была в удивлении, не знала, что ей делать, — она боялась, что корова раздражится, если отгонять ее, — но, наконец, подошла ко мне, помогла встать. Мы пошли в комнаты. Корова шла за нами. Оглядываясь, мы видели, что она качает головою. Мы вошли в дом, — слышим грустное, тихое мычание, — подошли к окну: корова стояла, заглядывая в комнату. Она стояла тут до самого вечера и все мычала. Ее отгоняли, — она приходила назад.

— «Неужели? — вздумалось мне, наконец, — неужели она кланялась мне, хотела сделать мне овацию?» Да, это было так. На другой день, когда я вышла и она убедилась, что я уцелела, она радостно замычала и начала кланяться.

С той поры это так идет. Ни одна корова не может видеть меня равнодушно. Если она еще незнакома со мною, она подхо-

дит, довольно долго всматривается и начинает кланяться и предлагать свои услуги, наклоняет голову, указывает своей головою на спину себе, приглашает сесть и ехать с торжеством. Знакомые коровы прямо раскланиваются со мною — я тоже киваю им головою, улыбаюсь, — они весело мычат. Удивительно. Из этого выходят иногда странные сцены. Когда я жила уже в Петербурге, однажды корова, — очевидно, еще незнакомая, потому что несколько времени всматривалась, — проводила меня с Литейной в Коломну; я ехала на хорошей лошади довольно быстро; бедная корова измучилась, галопируя за нею, но не отстала.

Я думаю, что теперь эта дружба уже вечна. Очевидно, между нами было какое-то недоразумение, и оно разъяснилось. Мне чувствуется, что коровы ошибались в значении моего перстня, не могли понять эмблемы, вырезанной на нем, потому враждовали ко мне; потом стали сомневаться в справедливости своего неприязненного чувства, — это был период их наружного равнодушия ко мне, — но они думали в это время...

Как это странно! Неужели это так? Я сама чувствую странность моего убеждения, — но я и все мои знакомые так чувствуют. Но судите о факте, как вы хотите, а я говорю вам факт: коровы кланяются мне, оказывают все знаки уважения, преданности, предлагают свои услуги, указывают на свои спины. В провинции, когда есть время, я делаю им это удовольствие: сажусь на спину корове, держусь за рога, — и катаюсь. Корова быстро расхаживает, приятно мычит и, очевидно, в восторге. Я понимаю, что объяснять это влиянием моего перстня — суеверие, смешное суеверие; но как же иначе объяснить эту радость их при моем виде, эту преданность их мне?

Года через полтора начали те же чувства выказывать куры: как завидят меня, хлопают крыльями, прыгают, кричат...

Я была бы недостойна моего отца, если бы... Но нет, это покажется смешно. Впрочем, что ж бояться смеха? Я не могу ездить на охоту за волками, но что я могу, то я делаю. Мне, даме, нельзя ходить по улицам большого города или сидеть на дворе петербургской моей квартиры, подстерегая коршунов. Но когда я живу летом в нашем городке, живу в деревне, я стреляю коршунов. Смейтесь надо мною, но я охотница, охотница по обязанности. Я не могу быть неблагодарной за любовь, я не хочу, чтобы думали обо мне: «она недостойна своего отца».

Но в первый раз я не поняла, я испугалась, я спрыгнула с коровы и ободрала щеку. Когда через три дня приехал муж Лизаветы Сергеевны и увидел ее компаньонку с подбитым глазом, надобно было объяснить ему мою историю. Лизавета Сергеевна стала рассказывать. «Как? перстень? и она Дмитриевская? Она моя кузина, и ее ждет наследство», — сказал он. Да, это было так. Лет пять-шесть тому назад довольно многими был замечен в газетах вызов «наследников дьячка Евтропия Дмитриевского» к по-

лучению «имущества, состоящего в 296 тюках волчьих шкур». Крылов, знавший по семейным рассказам историю моего отца, не мог не видеть, что это наследство — его дяди, не мог забыть этого вызова. Но его бабушка, тетка моего отца, имела совершенно не такую судьбу, как ее другие родные. Она, недурная собою, вышла за приказного, приказный дослужился до советников, семейные связи разошлись при таком возвышении; уже отец мужа Лизаветы Сергеевны, переселившийся в Петербург, не имел никаких сношений ни с кем из Дмитровских. Без этой коровы, без этого перстня я и не узнала бы никогда о моем наследстве. Теперь мой кузен Крылов тотчас же написал в Москву, навели справки, — наследство ждало меня, надобно было только достать документы о том, что я действительно наследница Евтропия Дмитровского и кроме меня нет наследниц; документы были присланы мне из Москвы через месяц, — еще через месяц я поехала вместе с Крыловыми, возвращавшимися жить в Петербург. Мы остановились в Москве для получения моего наследства. Это не представило никаких затруднений. Как же явилось, и главное, как могло сохраниться мое наследство?

То, что оно сохранилось до смерти дьяконицы, оставшейся стеречь дом моей матушки, это дело обыкновенное. Дьяконица была хорошая, добросовестная женщина. Через полгода или год после смерти моей матушки дошла до нее весть, что матушка умерла на постоялом дворе и что я взята на воспитание какою-то проезжавшею по той дороге мещанкою. Где и как было разыскивать меня старушке, не имевшей понятия о таких мудреных делах? Она ждала, пока я явлюсь. Ждала и берегла мое наследство! Не доедала, не допивала, — ходила чуть не в рубище, берегла: «чужое, не свое. Совесть надо знать, мать ты моя», — говорила она какой-нибудь Марковне, Парамоновне, Степановне, усовещевавшей ее, что она подвергает себя такой нужде; и Парамоновна или Андреевна соглашалась, что действительно, «чужое не свое, как им распорядишься». Десять лет дьяконица прожила трудом своих хилых рук и 15—20 целковыми в год за отдачу двух комнат отцовского домика в наем. Сама жила в третьей. Четвертая, кладовая шкур, ни разу не была отперта в это время.

Но вот старушка умерла, явились чиновники, по ее духовному званию духовные начальники, описывать имущество. Вошли в кладовую, — что такое? — какие это тюки? И что за жгучий наркотический запах от них? Они взяли тюк, понесли в другую комнату, светлую, чтобы рассмотреть, — принесли и с размаха бросили на пол, — поднялась туча табаку, — страшно едкого от полувекового лежанья, — все зачихали, закашляли, побежали вон с криком: «мышьяк!» — «сулема!» — «отравились!» — «молока скорее, коль мышьяк!» На дворе произошло волнение любопытства. Прибежали ребятишки, бабы, всякий народ с улицы, с со-

седних дворов, смотреть на отчаянное чиханье и кашлянье, на эту отраву. Словом, дело о найденном наследстве моем началось таким гвалтом, что наследство не могло затеряться, — затерялось лишь несколько тюков, — с десяток, я думаю. Остальные благополучно были переданы в мое владение.

3. СТАРОБЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

— У вас большой талант, Александра Евтроповна, — говорит Нигулецкий, когда я прочла им всем четверым мою сказку.

— Теперь легко тебе говорить это, когда все это знают, — говорит Крылов, — но чего же вы с Лизою смотрели прежде? Ведь Александра Евтроповна не раз просиживала вечера с вами во время приготовлений к твоей и Лидинькиной свадьбе.

До того ли им было тогда, чтоб обращать на меня внимание. Да и мне тогда некогда было рассказывать: я все шила платья для невесты. После, когда Лизавете Сергеевне был досуг заняться мною, другое дело.

— Вы вскружите ей голову вашими похвалами, — говорит мой муж: — она станет синим чулком.

— Вскружили, мой друг, — стала, мой друг, — говорю я.

— При мне-то? — говорит Лидинька, — messieurs, она подутила над вами: это перевод.

— Это притча о Прасковье Трофимовне, сказал бы Веринька, если бы был жив, — говорит Лизавета Сергеевна, и нами всеми овладевает грустное настроение; несколько минут мы говорим о добром Вериньке.

— Вот видите, напрасно мы сделали, что не послушались тогда Изабеллы Гедеоновны и Саши, — говорит мой муж: — не надобно было перестанавливать смерть Вериньки почти на год позже: могло ли бы быть так мало грусти через месяц после его смерти, когда, вот уже почти через год, нам всем еще так сильно взгрустнулось при воспоминании о нем.

— Да, это было сделано напрасно, — говорят все: — напрасно мы тогда не послушались их.

— Что ж, — говорю я, — поправим это, напишем теперь правду; вообще никогда не следует переменять действительных отношений: выдумка пусть будет выдумкою, как в моей сказке, как в Лидинькиных сказках, и пусть не смешивается с правдою. Правда пусть остается без всяких выдумок и переделок.

— Как в разговоре Всеволодского со мною и в моем письме к нему, — говорит Лизавета Сергеевна: — без всяких существенных переделок.

— Да, пусть то и другое, правда и выдумка, идут совершенно врознь, не смешиваются, — говорят все.

— Принесем наши письма, чтобы проверить числа, постара-

емся припомнить все, чтобы не было неточностей, — говорит Лизавета Сергеевна.

— Но мне еще неприятнее, — говорю я, — что написанное мною смешано с теми отрывками, которые взяты из бумаг Вериньки; пожалуйста, разделим все это. — Все соглашаются.

— Но Изабелла Гедеоновна? — говорит Лизавета Сергеевна, — ее здесь нет; Елисей Яковлич не станет упрямитесь против нас, но она — ее влияние на это самое главное; как же мы сделаем без ее согласия?

— Я ручаюсь за ее согласие, — говорю я (я дружнее всех их с нею). — Вы знаете, что она и тогда только желала облегчить эту закрутку начало дела. Когда мы с мужем уезжали и я говорила ей, как неприятно для меня это смешивание, она первая сказала мне: теперь они все, вероятно, уже довольно ободрились и, вероятно, пора отбросить смешивание и перестановки.

— Итак, за работу, — говорят все. Мы пересматриваем всю рукопись до моей сказки о моих небывалых приключениях и отмечаем все, что там сказано не так, как было на самом деле. Я записала эти заметки.

Алферий Алексеевич Сырнев умер 7 апреля не 1863, а 1862 года. Ему действительно было 19 лет. Он родился 12 февраля не 1844, а 1843 года.

Сцена на Сенной площади точно также происходила годом раньше, 20 января 1861, а не 1862 года.

Остальное все в его биографии верно — при тех объяснениях, какие сделаны Елисеем Яковличем в разговоре с Лизаветою Сергеевною; то есть вся насмешливая часть с выдуманною генеалогиею взята из его бумаг; остальное написано Елисеем Яковличем Всеволодским, его дядею. Весь рассказ о его женитьбе написан Елисеем Яковличем, и совершенно верен. Предисловие ко второй тетради написано действительно Елисеем Яковличем.

Из семи рассказов «Приятные воспоминания» — чужой рассказ, с небольшими переделками записанный мною. Второй рассказ — «Бал» — взят из бумаг Вериньки: это отрывок из его автобиографии; начало, о наемной квартире — выдумка; остальное, все что следует за согласием его идти на бал — слово в слово верно. «Старичок» и «Поездка с вечера, рассказ акушерки» — чужие рассказы о действительных фактах, записанные Алферинькою с буквальною верностью. Рассказы о незамужней вдове и о Зверевой — мои рассказы, вымышленные. Последний отрывочек — маленькая фантазия Вериньки по поводу пьески, случайно дошедшей до наших рук; эта пьеска написана молоденькою девушкой, с которою не был знаком никто из нас, и о которой мы ничего не слышали, кроме того, что она умерла и, умирая, писала страшные вещи о вечных мучениях, которые ждут ее — за что? — совершенно ни за что, потому что ей было 17 или

16 лет, и она жила в таком скромном семействе, в такой голубиной наивности, как говорят сербы в своих песнях: «росла она как в клетке, не видела ни солнца, ни месяца, не видела она даже нив, не знала, как растет трава».

Разговор Лизаветы Сергеевны с Елисеем Яковличем весь записан Елисеем Яковличем по воспоминанию; в нем все совершенно верно, Веринька в это время был годом старше, чем вышло по прежней перестановке его лет в его биографии.

В четвертой тетради—очерк личика Лидиньки написан мною; очерк характера Лидиньки — написан ею; это очень верно, хоть, разумеется, фантазия. Сказка о Деборе-девице — писана ею; это легкая переделка сказки о царевне, ходившей за живую водою, из «Тысяча и одной ночи». Фирдавуцкий, — то есть указание на Фирдавси, — конечно, насмешка над учеными критиками, которые, пожалуй, и схватились бы за Шах-Наме, не помня такой общеизвестной вещи, как сказки «Тысяча и одной ночи».

«Сашины грезы» — все мы вчетвером (Лидинька, я, Лизавета Сергеевна, Изабелла Гедеоновна) подбирали для них пьески; мысль принадлежит Лидиньке, и она выбрала первую пьеску: «Нет, не жди ты песни страстной». Стихи взяты нами из таких поэтов, которые должны быть известны всем; надобно заметить только об отрывке «На раздолье небес», что он взят из переводов Л. А. Мея; у него есть несколько превосходных пьес, хорошо переведенных. Остальное в «Арабесках» все писано Лидинькою, кроме того, что я здесь отмечу. В «Рассказ о Г. Ф.» Лидинька вставила две страницы, написанные мною о том, как сочиняются выдумки: «Смотрите же, как я буду выдумывать», — и до того места, с которого начинается рассказ старика: «Этот Лесников был вице-губернатором». Этот рассказ и все дальше писано Лидинькою, кроме отрывков, о которых она отмечает, что берет их из бумаг мужа.

В рассказе Нигулецкого «Визит» — ни одной буквы для вымысла или прикрасы. Это факт, записанный буквально со слов совершенно правдивого старика. Верьте или не верьте, как хотите, действительности этого поэтического явления, каким привыкли верить только в рассказах о древней Греции; а оно было лет 30, 40 тому назад в одном из городов около Киева или Кременчуга; к сожалению, Нигулецкий забыл имя города: — может быть, кто-нибудь из читающих вспомнит; быть может, и сам старик, делавший этот визит, прочтет рассказ Нигулецкого о нем; в таком случае имя города, быть может, и будет отмечено в одной из следующих тетрадей «Перла создания». Анахронизмы и тому подобные вещи в биографии Георга Форстера — очевидно насмешка над учеными критиками, которые будут доказывать, что Семилетняя война происходила совершенно не так.

«Лань»: предисловие к легенде — легкая переделка из мемуаров Нигулецкого, сделанная Лидинькою; татарская легенда —

пересказана Нигулецким с сокращением, но буквально верно; сербская песня — точно также пересказана самой Лидинькою; она прочитала ее при помощи Лизаветы Сергеевны, которая, проживши с полгода в Новой Сербии, говорит по-сербски. «Моя тайна» — шутка, взятая из бумаг Вериньки.

В «Пробе пера» первая страница до «Притчи о носе» — из бумаг Вериньки; остальное все написано мною. Я хочу посмеяться в обе стороны над тонкими ценителями талантов; пусть воображают, что мы не боимся сравнений с Гоголем и Диккенсом, — впрочем, конечно, и не боимся: люди не с тонким, а с обыкновенным вкусом, вероятно, увидят разницу, но скажут, что шутки, которые мы пишем, все-таки недурны. А серьезно, я желала бы напомнить: кто хочет судить о талантах новых писателей, тому очень полезно хорошенько вчитываться во всякие, какие ему доступны, книги гениальных писателей — Гоголя, Диккенса, Жорж Занда — все равно; почему это полезно? — между прочим и потому, что вообще, чем больше читать гениальных писателей, тем лучше.

Притча о Дженкинсоне выбрана так, чтобы опять служила затруднением для тонких знатоков: во-первых, иной знаток и не сумел бы ее найти, потому что она взята не из «Пиквикского клуба»; второе, — если бы она была из него, тонким знатокам было бы нетрудно сказать, хороша ли она: в «Пиквикском клубе» нет ни одной страницы, которая не была бы прекрасна. Но это взято из *Master Humphrey's Clock*, где также выведены Пиквик и его слуга⁶⁸. В *Master Humphrey's Clock* — больше страниц, плохих для Диккенса, чем написанных со всею силою его таланта; теперь вопрос: очень или не очень хорош рассказ о Дженкинсоне?

Первый отрывок из Гоголя за этою притчею — «Мой характер» — выбран мною; следующий отрывок — «Его характер» — Елисеем Яковличем. «Прощание» — последняя страница из дневника Вериньки. Поговорю теперь о предмете, на который наводит она. Это и будет объяснением следующего эпизода, писанного Лизаветою Сергеевною. Но замечу: дальше уж не будет этих подстановок; теперь шутки кончены, и каждая подпись будет серьезная подпись.

Во время болезни Вериньки его родные и остальные лица нашего тесного круга совершенно угождали ему во всем: бедняжке оставалось так мало времени пользоваться нашею дружбою к нему. Он перед тем временем начал было кое-какие ученые работы: он был юноша действительно очень много читавший и думавший, и голова у него была старше его лет. Но когда у него смертельно испортилась грудь от удара, полученного на Сенной, он принужден был бросить ученую работу и увлекся моим примером: я уже больше года писала и печатала небольшие очерки, — с талантом или без таланта, я не заботилась об этом: они печатались, и этого было довольно для меня. Мои очерки печатались

под одним общим заглавием, из них выходила вещь, которую можно было назвать романом. Я прошу вас: не судите обо мне по нем, если вы его помните; в мои лета год много значит; я очень переменялась с той поры, как задумала те очерки.

Веринька также вздумал для развлечения писать небольшие рассказы. Но у него была страсть становиться на одну доску со всяким — «я нивеллизирующийся левеллер», выражался он о себе: он образовал себе манеру очень учеными громозвучными словами называть самые простые вещи, и свое нежное, симпатическое сердце он называл «реализацией силы нивеллизирующегося левеллерства» — он любил подсмеиваться над тупыми замашками «мудрить», говорить высоким слогом и видеть вещи в надутом виде. Он всегда старался быть тем, что нужно для других: у него было много своих любимых предметов разговора, но он говорил о них только с близкими, а вообще старался обращать разговор на вещи, интересные для его собеседника: «это и ему приятнее, и я могу узнать что-нибудь», — говорил он; но в сущности это было просто от мягкости и симпатичности его деликатного характера. Но тогда он был болен, и мы угождали ему, — и в угождение ему все начали кое-что писать и читать в нашей дружеской компании: он чрезвычайно радовался этому, «как живому проявлению силы отождествления» — «то есть той истины, что не боги горшки обжигают, — пояснял Елисей Яковлич, — мудришь, Кифа, мудришь, умный человек, а мудришь». Я отчасти помогала этому угождению: мне было смешно, что они смотрели на меня, как на женщину, отличающуюся от них некоторым талантом:

«Какой вздор, — говорила я: — ты, Лиза, могла бы писать лучше меня; разница только в том, что тебе нет надобности работать; всякий грамотный человек может писать сносно; если заставит надобность, то может писать и для печати, лишь бы не придавал важности этому: если придает важность, это значит, что ему трудно писать, — значит, он еще мало читал, думал, наблюдал».

Я была очень довольна, что с меня снимается это смешное отличие в их глазах, когда они сами попробуют и увидят, что это вовсе не трудно. Поэтому и я уговаривала их: «да сделайте же угождение больному Вериньке». Но еще больше меня уговаривала Лидинька: она очень добрая, и кроме того, это обещало быть шуткою. Она первая подала пример, другие послушались, — конечно, отчасти меня и ее, больше — своей дружбы к Вериньке, — и последние три недели его жизни почти каждый вечер читалось что-нибудь. Сосчитайте, сколько тут было писателей и писательниц: дядя и тетка больного, две его кузины, два кузена его, две другие дамы, сестры со своими мужьями (Нигулецкие и Крыловы, как они названы здесь), кузина мужа Крыловой, то есть я, мой муж, муж старшей и жених младшей из кузин больного, —

четырнадцать человек; раза два в неделю собиралась вся эта компания, — каждый вечер было уже своих домашних восемь человек, — и почти каждый вечер бывал кто-нибудь из нас шести, которые теперь живем подле Старобельска. Но при всей многочисленности компании это был совершенно интимный круг: мы знали друг о друге все, решительно все; впрочем, ни у кого из нас и не было особенных тайн, — какие же тайны? — мы знали друг о друге все и знали то, что нечего знать больше ни о ком из нас никому из нас, — родственники и вдобавок дружные между собой (Крыловы и Нигулецкие роднились тогда с Всеволодскими через свадьбу младшей Всеволодской, жених которой брат Крыловой). Поэтому с первого же дня эти рассказы, писанные отчасти для шутки каждого из писавших и всех остальных, отчасти в угождение Вериньке, уже отзывались субъективным содержанием; чтение сопровождалось анекдотами и спорами в том же духе, и через неделю уже очень часто читались автобиографические очерки, конечно, больше шуточные, потому что целью всего было развлечение больного, да и самих себя вместе с больным. Я мало писала для этих вечеров: мне некогда писать для своего удовольствия. Да мне не было охоты.

Для меня это занятие уже не было новостью. Я одна, в своей комнате, перечувствовала то странное наслаждение, которое особенно заманчиво сначала: изображать свои мысли, свои грезы, — иногда более, чем только грезы, — в сценах, узнавать себя в лицах, которые выдумываешь, прятаться за другие лица, — это очень завлекательно. Но то, что автор обыкновенно испытывает наедине, тут делалось в дружеском обществе, потому это легкое щекотание своего сердца было им приятнее, нежели обыкновенно бывает начинающим писателям. У них всех осталось очень милое воспоминание об их наполовину работе, наполовину шутке.

Потом больше полугода никто из них не брался за перо: печаль, хоть и не убийственная, — о, где же? — что же, в самом деле, был для нас Веринька? даже для своих кузенов и кузин? — только милый брат, не муж, не жених; и для стариков, которые больше всех нас и своих детей горевали о нем, он был все-таки только племянник, — почти сын, но какая ж разница! Кто будет век носить траур по нем — это та хорутанка, которая была его нянькою, но называясь его женою, через это возвратила себе сына; эта простая женщина, гораздо менее близкая к нему, чем каждый и каждая из нас, она вечно будет его вдовою. «Нет, я видела, какой бывает добрый человек; вы хороший человек, и тоже добрый, мне будет трудно жить с вами, я привыкла к другому обращению», — сказала она очень порядочному человеку, который сватал ее нынешней весною: она побывала в другом мире, в нашем, уже все-таки более человеческом...

И я не знаю: у меня еще нет детей, — быть может, когда у

меня будут дети, я соглашусь с Лизой, которая говорит: «Нет, не говори, Саша; не жаль, что она побывала в этом мире; пока у нее жив сын, не жалею, что она потеряла возможность довольствоваться людьми своего мира; мать сильнее всего». Теперь я этого не понимаю. «Буду ли я хорошая мать, Лиза?» — спросила я ее. Она засмеялась: «Вероятно; быть отличною матерью гораздо легче, чем быть сносною женою: — на тысячу хороших матерей не найдешь...» — «Лиза, молчи». — «Нельзя, уж надобно договорить: не найдешь 999 хороших жен, — я так хотела сказать». Верьте после этого Лизе: она только прикидывается; уверяю, вы еще не знаете ее. Она гораздо... но, ужасно, ужасно!

Ужас вот в чем. Он не до такой степени страшен, чтобы нельзя было рассказывать о нем даже под вечер, как я теперь пишу. Я сказала уже: не только никто из нас, остальных, но даже и сами старики не были же убиты смертью Вериньки; но все-таки даже и наша здешняя старобельская часть компании, не только его родные, очень любили милого, даровитого, кроткого юношу, и с полгода никто из них остальных не брался за перо: перо напоминало им Вериньку, это было еще слишком грустно. Потом во многих начала пробуждаться от дремоты заманчивая охота раскрывать свое сердце; это, действительно, очень заманчивая потребность, я не умею сравнить этого ни с чем. У меня не такой характер, который особенно влечется к этому, и мое положение другое — у меня нет состояния, кроме моего наследства; это очень отрезвляет. Работая по надобности работать, сдерживаешься мыслями о вкусе публики, о том, что понравится ей, что показалось бы неинтересно, поэтому отбрасываешь многое, часто самое заманчивое для себя, обдумываешь, запрещаешь себе самые привлекательные аллеи, беспрестанно осматриваешься, и лишний жар улетает, сохраняешь благоразумие, притом же и утомляешься. Но щекотать свое сердце только для удовлетворения его потребности высказаться — это игра слишком обольстительная: легко защекотать его до того, что оно не на шутку взволнуется и начнет одолевать вашу волю своею потребностью высказаться. Так смотрел рыбак на струящуюся воду, и она стала плескаться на его босые ноги, и «сердце расширилось в нем, как от приветия милой», и «влекла она его, и опускался он сам»... Так играла и дочь Агенора, и — когда очнулась — «плескали синие волны моря, и не видно было берега»...

Моя милая Лидинька сохранилась от этого увлечения. Милая девушка, — я так зову [eel], хоть она и не сходит с колен своего мужа; но еще смешнее она со своей дочкою, — ничего не может быть забавнее. Но она, милая моя, она не знает игры в щекотание сердца: ее лицо весело, нежно, но спокойно, и она дремлет на коленях мужа от утомления только своими резвостями с хохотом на весь дом; она милая за то, что не шалит ничем, кроме шалостей, — простых, веселых шалостей. Она смеется над этим увле-

чением других, со своим милым приговором: «Какие глупости! стыдно, вы не маленькие!»

Над ними смеется и Елисей Яковлич: «Мне нечего перетирать себя, тертый калач, и зачерствелый, — говорит он: — смолоду было некогда, да и теперь тоже, да и поздно». Но остальные... Я боялась бы за них, если бы не успокаивал меня Елисей Яковлич: «Ничего важного, Саша: скоро приестся, надоест: ведь в самом деле, не маленькие же они, и не параличные же, а живые люди, — и не очень глупы даже, хоть вы, Саша, кажется, и усомнились в этом: ничего, это бывает; ну, пусть их подурачатся, что за важность. Да вы видите, что моя старуха подбивает их, — значит, пустяки: хочет, чтобы молодежь веселилась. И мы с вами, Саша, будем слушаться старухи; старуха говорит: не мешайте же игре, помогайте ей; ну, и будем. Пусть траппистка будет одна Лизавета Сергеевна, к ней это идет, такой важной и чинной она родилась, — да у ней вид такой величественный, манеры торжественные, обращение солидное; а нам с вами что резонерствовать, пусть уж она одна читает мораль и проповедует строгое приличие, — нам с вами нет оснований заниматься этим: я стар, вы слишком молоды, а ее лета такие, приличные для морали, — 26, самый моральный возраст... Будем не мешать игре, помогать ей, слушаясь моей старухи, которая ободряет эту моралистку резонерствовать и «многих избранных блюсти поучением своим».

Лизавета Сергеевна первая попалась под жеребий. Она рассказала, как это было. Ей припомнили ее старую похвальбу и сказали: «ведите нас своим примером». Изабелла Гедеоновна, при общем придумывании, устроила дело, организовала все эти приемы: переделку внешних мелочей, псевдонимы, вклеиванье неклеящихся клочков из совершенно других историй, выписывание целиком, выписывание с переделками, и еще пять-шесть других таких фокусов для отвода глаз. Сделали пробу: превосходно! — по их мнению; остались твердо убеждены, что глаза отводятся, что ничего нельзя разобрать... прекрасно! А под этот шумок субъективность высказывается... «Отлично! Пишите, Лизавета Сергеевна, — все ободряют: — вперед! мы за вами». Девять голосов кричат ей это, десятый голос благословляет и назидает ее; и нас троих — Лидишку, меня, Елисея Яковлича — посылают поставить декорации, развесить китайские фонари, приготовить римские свечи, бенгальские огни с шутихами и ракетами, — будет, извольте видеть, представляться фантасмагория... Вот, все готово, — и вы увидите, взлетает занавес, начинается представление, и явится перед вами артистка соло, в роли... Вы увидите, какой роли, и увидите, что только артистка, только в роли.

«Не поверят, Саша, поверь, не поверят, потому я говорю, что это не важность», говорит Елисей Яковлич. Наполовину, —

больше чем наполовину, я сама думаю, что это не важность, что он прав.

Милая моя Лидинька, она со своей счастливой душой дает мне возможность сделать то, что я хочу: не только обязана ими, как и она и Елисей Яковлич, — и сама, как она и он, сама хочу делать.

14 мая. Вчера я торопливо приписала последние строки о моей милой Лидиньке, все уж бросили слушать меня, и остальное из написанного вчера я дочитаю им ныне. Вчера они впятером, то есть вчетвером, потому что Лидинька скоро ушла качаться, зазвав к себе три-четыре подобных существа запискою, посланною поутру, — остальные вчетвером слушали этот «Старобельский вечер», написанный мною в то время, как они занимались сличениями писем, настоящих отрывков из мемуаров и отметкою по ним поправок; но гости со своим юным братцем уехали, — «маменька не велела оставаться дольше 11 часов, чтобы цвет лица не портился, а то будете такие измятые завтра». Они очень мило выразились, как видите — неужели и маменька их так выразилась? Гости уехали, Лидинька с раскрасневшимися щеками вырвала у меня тетрадь: «Пьер, — кстати: он один из всех сохранился и в псевдониме Пьером, Лидинька никак не согласилась и на бумаге, и в выдумках называть его иначе, — Пьер и вы, остальные господа, и ты, Лиза, имеешь, слава богу, силу, — а я устала: раму, раму». Велели принести закуску, чтобы не звать прислугу после; пока ставилась закуска, сами ставили раму, опускали плотнее гардины, чтобы не было света в щели ставней.

Рама — это значит игра в силуэты. Кажется, есть подобные игры; но Лидинька сама изобрела ту, которою мы занимаемся с самого приезда в Старобельск, вот уже больше двух недель. В «Святочных рассказах», которые каждый год пишутся Диккенсом и его литературными друзьями, Лидинька прочла повесть «Тени на гардине», — она прочла это в Воронеже, где мы — то есть я, муж и она с мужем, — останавливались дня на два, и к приезду в Старобельск у нее уже было обдуманно, что надобно устроить «силуэты».

Эта игра очень проста. Мы ставим в двери раму, обтянутую полотном. В одной комнате, едва освещенной настолько, чтобы не стукаться лбами, помещаются «любопытные»; в другой ставится яркая лампа. Между лампой и рамой являются «тени», почти во всех случаях обязанные повернуться так, чтобы вышел на раме профиль, — но не всегда; а вообще, с профилем на все время, или на секунду, или вовсе без профиля, «тени» стоят, ходят, садятся, едят, работают, играют в карты и делают все, что делается и чего не делается ими в Старобельске и в Петербурге и везде, куда им угодно перенестись. Публика отгадывает, кого она видит, что она видит, выходят *qui pro quo*, — публика спорит между собой, критикует «теней». Главное в том, чтобы стоять, сидеть, ходить и все

в каком когда нужно расстоянии от рамы: чем ближе к лампе, тем неопределеннее тень, чем ближе к раме, тем яснее. Когда нужно увеличить определенность, мы усиливаем свет лампы и надеваем на нее колпак с маленьким прорезом, который опять то больше, то меньше: когда он очень мал, тень рисуется очень отчетливо, так что можно различать стальное перо от карандаша, тамбурную иглу от вязальной спицы, виден обрез ногтей.

Так мы играем, когда у нас есть гости. Но тогда я вовсе не участвую в этой игре. Я играю только в своем интимном обществе. Я не люблю шуток иначе, как с людьми, которых вполне знаю, в которых я уверена и которых люблю, как и они уверены во мне и любят меня. Но я не мешаю другим жить и делать по-своему. Я не указчица другим и не образец совершенства. Пусть же каждый, каждая живет не по-моему, а по-своему. В этом все мы сходимся и, между прочим, только при этом был возможен план «Перла создания»: каждый и каждая из нас читают другим свои отрывки, но всякий и всякая помещает все, что хочет, не спрашивая, хотят или не хотят другие; хвалят или осуждают только со стороны литературного достоинства; заметки о том, нравится ли содержание, — бесполезны, и у нас не принято делать их; да и литературное достоинство, «художественность», по громкому выражению, только разбирается другими. Помещение, я сказала, не зависит ни от кого, кроме автора, поэтому вы уж видите между нами две партии, — с одной стороны — мы трое; с другой, — другие; согласны ли между собой другие? — пока вам еще не было видно этого: их одиннадцать человек; вы видели только одну, — и еще очень мало; но мы трое, — Лидинька, Елисей Яковлич и я, — мы все заодно. Но мы — по-своему, она — пусть по-своему, и другие также. У нас такое правило. Поэтому, например, я не мешаю остальным пятерым здесь в Старобельске и в обществе играть в силуэты. Но я сама играю только в их интимном кругу. В интимном кругу эта игра, конечно, гораздо одушевленнее и разнообразнее. Например, рама наша сделана на шалнерах, она может немного — и много, и вовсе — приподниматься, и приподнимается иногда. Но только в нашем интимном кругу, — тогда и я играю, и играю с большим одушевлением. Но в обществе — нет, и никак: и я не являюсь «тенью», и рама не приподнимается.

Из этого вы, конечно, выведете — и не ошибетесь, — что на сцене, декорации и иллюминация которой теперь приготовлены нами троими, не участвующими в самом спектакле, вы будете видеть даже не актрис и актеров, а только их тени.

Милая Лидинька, с нею все можно превратить в игру, простую и добрую, как она.

А. Тисъмина - Дмитровская.

ОБИДЧИВЫЙ ПУРИТАНИН ⁶⁹

Материалы для биографии Н. В. Гоголя и объяснения его сочинений, с критикой одного из романов Жорж Занда

Исторический этюд. Из мемуаров и бумаг
Л. С. Крыловой

Wie Schnee, so weiss.

Распахну покрывало, не спрячу себя.

Я говорю то, что хочу сказать. Я взвешивала каждое мое слово и говорю то, что хочу сказать. Я хочу, чтобы меня поняли.

Лидинька с мужем прямо из церкви сели в дорожную карету и поехали на южный берег Крыма. Отдав замуж сестру, я могла свободно располагать собою. Я хотела бежать общества. Мое сердце требовало того. Я была... Все равно, измучена ли я была или нет страданиями многих долгих часов, с вечера накануне моего разговора с Е. Я. Всеволодским. Если я скажу: «не была измучена», кто обязан этому верить? И к чему это говорить? Но измучена или нет была я, я должна была искать такого уголка, где никто не мешал бы мне — скажу так: жить. Конечно, жить: я была жива и здорова, следовательно, жила — живой живет.

Я не хотела, я ни за что в мире не захотела бы иметь при себе даже горничную. Но как же даме светской, не бедной, пускаться в путь без горничной, чтобы жить без горничной? Это неприлично; это почти скандал. Потому я взяла с собой из Старобельска Сашу, в звании горничной. Я не считала Сашу горничной. Я поехала с Сашей на север. Мы ехали очень медленно. Не доезжая нескольких станций до Воронежа, мы остановились на несколько часов. Так было надобно. Потом я с Сашей поехала на запад. Мы ехали проселочными дорогами, и вовсе не спеша, потому что мне было некуда спешить. Я чувствовала теперь себя хорошо: был конец мая, отличная погода, дивные луга, нивы; и мне не было скучно: я сказала, что смотрела на Сашу вовсе не как на горничную, и в самом деле, Саша — какая ж это горничная? Но Саше было очень приятно ехать со мною. В Саше была чрезвычайная привязанность ко мне. Поэтому Саше было даже приятно помогать моему туалету. Но это еще не составляет горничную.

Я думала ехать до Волыни, до Бессарабии, может быть дальше, в Молдавию, в Галицию, пока найду уголок, не имеющий никаких отношений ни к петербургскому обществу, ни к обществу тех провинций, где я бывала когда-нибудь прежде, — уголок, где я не встретила бы никого из людей, с которыми была

знакома прежде или могла познакомиться после, когда возвращусь в свет, — никого из людей, которые бы прежде слышали или потом вновь могли услышать мою фамилию, — никого из принадлежащих к обществу или встречающихся с людьми, принадлежащими к свету. Я должна была, потому что так хотела, ехать и ехать, пока доеду до такого уголка, — какового, все равно, — в котором не могла бы я встретить ни русского помещика, ни русского офицера, ни, тем более, русской дамы. Поэтому мы ехали проселочными дорогами и не спеша, — нам некуда было спешить: мне только нужно было не видеть людей из общества, их видеть было бы невыносимо мне. Так мы с Сашею ехали на запад и вот уже приближались к Елизаветграду, — в него мы не заехали бы, как не заехали ни в один город в своем путешествии на запад. Мы приехали в деревню Аджамку. «Что это такое? какие это люди?» — «Это сербы, — услышала я от Саши: — мы теперь в Новой Сербии». — «Что такое Новая Сербия?» — «Это целый округ, заселенный сербами, которые большою массою ушли к нам от турок и получили эту землю, тогда совершенно пустынную». У Саши, как видите, было больше начитанности в серьезных книгах, чем у меня. Согласитесь, какая ж это горничная? «Итак, тут на много верст кругом нет никого, кроме сербов? Что может быть лучше? Саша, мы поселяемся с тобою здесь». Я говорила Саше «ты», как старшая летами; я не могла добиться «ты» для себя от Саши; впрочем, мне нравилось это «вы» Саши. Мы играли, мы боролись, я сама тоже одевала Сашу, как Саша меня, — я сначала и добивалась «ты», но потом меня перестало шокировать, мне стало даже нравиться упорство Саши называть меня «вы, Лизавета Сергеевна»: да, я была старшая летами, в Саше была преданность мне, «вы» шло к этому чувству, более сильному и более почтительному, чем дружба, — чувству восторженной признательности, могу я сказать.

Мы взяли тележку, — я хорошо правлю, — и отправились по окрестностям искать себе приюта совершенно уединенного. Два дня мы кочевали, ночуя в сербских избах, на третий день нашли себе домик, лучше которого нельзя было желать. Большая изба с четырьмя комнатами, почти дача; в саду, на берегу Ингульца. Поодаль другая изба, маленькая. Старик и старуха, хозяйка сада, недавно проводили сына и его жену с детьми в Одессу, — молодой человек хотел попытать счастья в торговом городе. Старики согласились перейти в маленькую избу, отдать мне большую. В тот же день опустошены были мною запасы деревенского холста старухи на гардины, маркизы и пр. Я при помощи старухи устроилась отлично. Мы прислуживали сами себе. Только поутру старуха приходила убрать комнаты, да приносила нам обед. Старик нередко помогал нам ставить самовар. Не раз мы просиживали вечер с этими добрыми людьми. Но очень много дней, нередко по целой неделе, мы проводили в странствованиях. Тележка и лошадь

серба были в моем распоряжении, и мы с Сашей вели цыганскую жизнь. Раза два мы даже перебирались на ту сторону Днепра, к малоруссам. Но «обидчивого пуританина» мы нашли на своей, южно-сербской стороне Днепра, хоть он был Кузьма Фомич Остапенко, чистый малорусс, — впрочем, не допускавший и мысли, что он «хохол»: он старался говорить благородным языком, — и говорил довольно чисто.

Однажды мы кочевали по нашему берегу Днепра. Оставив тележку у знакомого серба, мы целый день бродили по полям и долам и забрели очень далеко от своей станции; время подошло к вечеру, надобно было искать ночлега; мы увидели на берегу Днепра домик и пошли к нему. У ворот сидел маленький румяный седой старичок в нанковом халате; деликатно и с большою светскостью встал, когда мы подошли, добродушно и очень церемонно раскланиваясь, попросил нас садиться на скамью у ворот, сказал, что с удовольствием отдает в наше распоряжение комнату своего домика, — это тем меньше стеснит его, что его «супруга» уехала навестить родных в Петриковку. Мы разговорились и узнали, какими судьбами малорусс попал жить на сербский берег. Он служил в Гадяче, под конец службы был стряпчим, женился на дочери сербского офицера, долго жившего в Гадяче по своей службе; его «супруга» получила в наследство, два года тому назад, десяток десятин земли с этим домиком, а он уже прежде этого выслужил пенсию; они поселились в «поместье» его «супруги». Служанка вынесла к воротам стол, самовар. У Саши в кармане блузы была книга, разговор старичка, очень словоохотливого, не был занимателен, и Саше вздумалось приняться читать.

— Позвольте спросить, милая барышня, какую книжку вы изволите читать? Я сам охотник до книжек и имею, по моим малым средствам, хорошую библиотеку.

— Это Гоголь.

— Гоголя сочинения, милая барышня? — прошу вас, не читайте его сочинений: это безнравственный писатель, милая барышня, и клеветник, человек низкой души, милая барышня.

Что такое сделалось с нашим смиренным, добродушным, румяным старичком? Он покраснел как рак и жестикулировал с экстазом.

— Что он безнравственный писатель, это говорят многие, впрочем, напрасно, Кузьма Фомич. А что он человек низкой души и клеветник, это вовсе не хорошо говорить. Вы сами читали ль его? Вероятно, только повторяете чужие слова.

— Не смел прерывать вас, милая барышня...

— Пожалуйста, не зовите меня барышней, Кузьма Фомич, я не барышня. Называйте меня Сашею, как называет Лизавета Сергеевна.

— Не могу исполнить ваше желание, милая барышня. Если позволите спросить ваше отчество, буду называть по отчеству; — так, не могу: неучтиво.

У Саши покраснели щеки. — Здесь все зовут меня Сашею. Я не барышня, чтобы звать меня по отчеству. Впрочем, зовите, как хотите.

— Итак, милая барышня, вы изволили сказать, что не хорошо называть Гоголя человеком низкой души...

— Пожалуйста, оставьте это, Кузьма Фомич; напрасно спорить. Мне хотелось именно только показать вам мою просьбу оставить этот разговор.

— Не могу, милая барышня. Как старик, обязан предостеречь невинность вашего сердца. Позвольте мне говорить, милая барышня. Вы изволили спросить, читал ли я его? Всего не читал, милая барышня, а читал его пасквиль, — вот где сел мне этот его пасквиль, — старичок показал рукою, что пасквиль Гоголя сел ему на шею. — Я лично его видывал, потому и вышло. Он меня в своем пасквилье выставил, милая барышня; вот он какой человек. Хорошо, что у нас в Гадяче мало было охотников до легкомысленного чтения, и даже кто читал, те не замечали. Только Григорий Анисимыч мне сказал: «Это ты», говорит, — и того я упрашивал молчать, — и других убедил, что это пасквиль, — и точно, согласились, что клевета. Все приняли мою сторону, что пасквиль, и даже говорили: «подавайте просьбу, Кузьма Фомич, и вы прав будете, а его накажут». Но у меня доброе сердце, милая барышня: не хотел убить человека. Перенес, как христианин. Но не могу не обижаться такую низостью. — Старичок жестикулировал и горячился.

— Не напрасно ли вы, Кузьма Фомич, принимали это за пасквиль на вас? Я что-то не припомню у Гоголя лица, под которым можно бы понимать вас. Мы с вами сидим с час или больше. Вот вы и сказали, а я не замечаю в вас ничего такого, что описано у Гоголя.

— Нет, милая барышня, я вам покажу. Позвольте-ка, не та ли это у вас книжка, где пасквиль на меня? — Он взял у Саши книжку. — Нет, не та. Да я вам на словах расскажу. Или нет, лучше по самому его пасквилью. Я не имею у себя безнравственных сочинений, но этот пасквиль приобрел, — вырвал из книги, — имею у себя. Имею честь покорнейше просить почтить мою хату вашим посещением, милостивейшая государыня Лизавета Сергеевна, и вы, милая барышня, я вам покажу, милая барышня, какой низкий это человек. Оно уж и темно здесь читать. — Мы шли с ним в его домик, а он все продолжал без умолку с пафосом и размахивая руками: — нет, я вам покажу, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, и вам, милая барышня, какой это низкий человек. А что узнать трудно, не зная, так это потому, что оклеветал. Пасквиль, клевета,

потому не знаяши не узнаешь; — а на меня; и по имени меня называет, чтобы всем было видно.

Даже и по имени называет! Мы не могли припомнить похожего имени. Фома Григорьич? — ближе ничего нет, но ведь то Фома Григорьич, а не Кузьма Фомич, этот Остапенко — там вовсе нет фамилии, — кажется, очень мало сходства.

— Нет, я вам покажу; и по имени даже называет, такой низкий человек, — твердил старичок, зажигая свечу и вытаскивая несколько печатных листков, обшитых в обложку из синей сахарной бумаги; обложка была сильно затерта, лоснилась, листы измяты и истрепаны: тетрадка часто ходила в дело для улики Гоголя — низкого человека — в том, что он написал пасквиль на нашего старичка.

— Разумеется, незнающему трудно разобрать, потому что клевета, все клевета, — продолжал Кузьма Фомич, надевая очки, усаживаясь к столу и развертывая тетрадку, — но нельзя не видеть, что на меня. И все клевета. Вот, извольте только послушать, милостивейшая моя государыня Лизавета Сергеевна, и вы, милая барышня, — и старичок начал быстро произносить фразу за фразой, но почти не заглядывая в тетрадку: выучил почти наизусть, почти все листки, от частого доказывания; как же не клевета? — «Живет в хуторе своем Вытребеньках» — не Вытребеньки мой хутор, у моего хутора нет и особого имени, а так зовут просто «Остапенков хутор», и я до третьего года жил в Гадяче, и хутор достался моей супруге уж по смерти этого клеветника, — клевета, — а вот и я: «был преблагонравный мальчик» — видите, как подлинную истину сплел с клеветою, потому и пасквиль вышел, оттого что я обучался у нашего покровского дьякона, а не был ни в каком поветовом училище; «вступил в пехотный полк» — в жизнь мою не был в военной службе, с четырнадцати лет служил в гадячском уездном суде; поэтому и все, что о военной службе моей, тоже клевета, как и об училище.

Старичок продолжал в этом духе перебирать весь «пасквиль», указывая десятки примеров «клеветы»; все было клевета: у него не было никакой тетки, не только Василисы Кашпоровны Цупчевской, но и никакой: ни отец, ни мать его не имели сестер, а брат его отца умер холостяком; Кузьма Фомич никогда не знал никакого ни Григория Григорьевича Сторченко, ни какого другого помещика с двумя незамужними сестрами-невестами и даже вовсе не было тогда никакого такого помещика с двумя сестрами-невестами в целом гадячском уезде, — он нарочно справлялся, когда прочел пасквиль; и никакого Степана Кузьмича не было в Гадяче, он тоже узнавал, все клевета.

— И женился я вовсе не так, и сватовство мое было вовсе не так, — продолжал он: — я тогда был повытчиком по тогдашнему неблагородному названию, а собственно столоначальником; судья мне и говорит: «что не женишься, Кузьма Фомич?»

Хочешь, я найду тебе невесту, прекрасную девушку. Племянница моей жены, дочь Петра Стевановича Крамарича, — и собою хороша, и девушка скромная». Я и согласился посватать. Только. И никаких разговоров у нас с нею не было; и наедине мы не сидели с нею, — все клевета.

— Правда, — сказали мы: — с чего ж это Гоголь взял описать вас в пасквиле под именем Ивана Федоровича Шпоньки?

— Имя, — сказал старичок, — вы видите, то самое имя. Нельзя не узнать, что пасквиль на меня.

— Как имя? Да ведь то Иван, а вы Кузьма; то Федорыч, а вы Фомич; то Шпонька, а вы Остапенко.

— Вы, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, и вы, милая барышня, только по неподозрительному благородству вашей души не можете понять такой низости, но я смею просить вас размыслить и вслушаться. Шпонька, — а я Остапенко: созвучие есть, явный пасквиль. Имя и отчество скрыл этот пасквильянт, потому что иначе было бы уж слишком дерзко, но фамилию оставил Шпонька, — как же не узнать Остапенко? Замечаете ли теперь?

— Теперь, точно, замечаем, что это пасквиль на вас, Кузьма Фомич, — сказали мы.

— Низкий человек был покойник, не тем будь помянут, — и из-за чего? Хоть бы я сделал ему какую-нибудь неприятность, — ну, так понятно, по злобе. А то раз только и видел, и не только дела, даже разговора не было между нами. Потому, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, и вы, милая барышня, скажите: не низко ли это было с его стороны?

— Очень низко, — сказали мы. — Но с чего же явилось у него такое низкое намерение?

— Я всегда был, смею сказать, строгих правил: даже при моей службе в Гадяче, когда просители предлагают угостить и товарищи зовут, не имел пристрастия к хмельному. Милая барышня, позвольте вас попросить выйти в ту комнату на минутку, — вот и другая свеча, милая барышня, — там картины посмотрите: Хозрев Мирза и Топчи Баши, я приобрел их после Турецкой кампании; занимательные портреты. — С вами, — продолжал он, удалив Сашу: — с вами, милостивейшая государыня Лизавета Сергеевна, как с вдовою, могу быть откровенен. В обращении с вашим полом всегда был скромен. От юности мося. — Мы все переговорили, милая барышня, позвольте вас просить снова удостоить старика вашим приятным и невинным обществом. Я барышне это не так объясню, — прибавил он мне шопотом.

— Теперь я понимаю, — сказала я; и мне показалось, что, быть может, и в самом деле он заронил в мысль Гоголя первую идею «пасквиля», как он называл.

— Мы говорили, милая барышня, о том, что Лизавета

Сергеевна напрасно позволяет вам читать сочинения этого Гоголя. В них, милая барышня, и кроме пасквилей очень много безнравственного, как я сужу по этой тетрадке; он, милая барышня, вредный для девиц писатель: и Лизавета Сергеевна изволила согласиться со мною.

— Видишь, Саша, нелзя было не согласиться, потому что это в самом деле изображен Кузьма Фомич, под именем Шпоньки. Совершенно он: Согласись, что после этого трудно с ним спорить.

Я видела, что Саша едва удерживается от хохота, поняв нравственную цель портрета Топчи Баши. В Саше, при всей скромности и солидности, всегда было много веселости. Я ждала от Саши какой-нибудь выходки.

— Так это правда, Кузьма Фомич, что вы были скромны с молодыми дамами?

— И с девицами также, — сказал Кузьма Фомич.

— Это очень хорошо, Кузьма Фомич. Но вот, вы запрещаете читать Гоголя, потому что в нем много безнравственного, а я этого не понимаю; вы и объясните все это.

— Как это можно, милая барышня! — вам этого не следует и понимать.

— Так зачем же вы говорите? Теперь я стану искать у него безнравственного; вы мне сказали, что оно там есть, я и буду думать об этом, когда буду читать его; прежде мне не было заметно, а теперь будет.

— Ах, милая барышня, да ведь вы обещались вовсе не читать его.

— Нет, вы не слышали от меня обещания. Что ж мне читать? Я всегда читаю, когда ложусь спать. Вот и ныне, — буду читать его и замечать в нем безнравственное. Или вы сам объясните мне безнравственность.

— Милая барышня, вы лучше возьмите другую книжку.

— Да и в другой тоже будет безнравственное.

— Нет, милая барышня, как можно. Вот я вам дам почитать «Воззвание к необращенным или Еммануил», перевод с английского языка, совершенный трудами пресвященного Аарона. Очень хорошая книга. В предуведомлении к читателю пресвященный Аарон объясняет, что хотя книга эта и написана не православным, а пуританским духовным учителем, но что касательно вероучения, в котором пуритане погрешают, нет в этой книге ничего относительного до разнствия догматов, а только излагаются правила нравственной жизни, в которых пресвященный Аарон не находит погрешностей, как бы сказать, ереси или сектанства. И потому аттестует книгу. И точно, истина: в этом «воззвании» пуритане очень хорошо зарекомендовывают себя со стороны нравоучения. Прекрасная книга.

За эту «аттестацию» пуритан Кузьма Фомич и получил от

Саши тайное назване «пуританина». Но он встретил решительный отпор: «Мною читана эта книга; я лучше буду читать Гоголя, если у вас нет других книг, — или позвольте мне выбрать в вашей библиотеке». — У Саши была уверенность так или иначе отыскать что-нибудь «безнравственное» в библиотеке пуританина и потом пристыдить его, что он своею книгою внушил мысли, опасные для нравственности. Саше были известны «нравственные» книги, и известно, что в них есть вещи, каких не найдешь даже в медицинских сочинениях.

— Извольте, милая барышня, выберите себе книжку, когда будете отправляться почивать. Теперь же не лишите нас, и в особенности меня, вашей приятной и невинной беседы. А этого безнравственного пасквилянта никогда не читайте, милая барышня.

— Но я все-таки не понимаю, Кузьма Фомич, в чем же вы находите у него пасквиль и безнравственность? Вы сам говорите, что вы были всегда скромен и застенчив. Разве это порок? Где же пасквиль? Это делает честь вам. Гоголь хотел показать в вашем лице пример для подражания.

— Нет, милая барышня, вам, по невинности вашего сердца, это так представляется оттого, что вы не можете понимать дявольского, можно сказать ухищрения этого низкого человека. Он выставляет добродетель под видом насмешки. Вам это непонятно, милая барышня, и позвольте мне не объяснять вам этого, чтобы не вредить вашей нравственности. Но Лизавета Сергеевна, как вдова, понимает это. Согласны ли вы со мною, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, что он выставляет добродетель под видом насмешки?

— Понятно, Кузьма Фомич.

— Вот, милая барышня, какая безнравственность была в этом человеке. Такая, что вам даже нельзя понять этого. Но когда вы будете замужем, вы поймете. А для меня только вот что удивительно, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна: откуда он мог это узнать о моей добродетели, чтобы выставить меня под видом насмешки? Вот какая была злоба в этом человеке, что даже постичь нельзя, как его злоба была пронзительна против добродетелей, что он мог знать мою добродетель.

— Отчего ж? Это понятно по вашим словам, Кузьма Фомич, — сказала я: — ведь вы сами сказали, что лично знали его; один раз виделись, но этого довольно: вот мы тоже в первый раз видим вас, но знаем вашу добродетель.

— Так, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна; но хотя я от юности был скромен, однакож удивительно представить в нем такую злобу: еще вовсе был мальчишка. Я только что на службу поступил тогда, — и я еще был молод, а он вовсе мальчишка. И уж имел такую злобу!

— Что ж, и в молодых людях это бывает, — сказала я.

— Удивительно, государыня моя. Мне было лет 14, к при-

меру сказать, а ему не больше 8 либо 9. В таком младенце и такая злоба.

И я удивилась: да, точно, сомнительно.

— А в котором году вы поступили на службу, Кузьма Фомич?

— В 1815 году, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна. В том году и видел его: приезжал со своею родительницею в гости к Захару Андреевичу. И я там был.

— Если в 1815, то удивительно.

— Верно, это верно. Как зная тогда, что я поступил на службу, то Захар Андреевич еще и спросил меня: «чать, плачьешь, в суде-то сидя? Еще не отвык от горячих-то пампушек по утрам?» Не больше, как с месяц или с два по моем поступлении в суд было это. Так, в 1815.

— Если так, то удивительно, ваша правда. Ему было даже меньше 8 лет, — пять или шесть лет.

— Так, это скорее, что пять; совсем маленький. Матушка-то его еще на руках внесла в комнату-то: совсем маленький. Как же такая злоба в младенческом сердце?

— Точно, это странно. Но, может быть, он после слышал о вас что-нибудь?

— И я сам так думаю. Но как между нашими семействами не было знакомства, и я никогда не слышал потом ни о каких Гоголях-Яновских, покуда он напечатал про меня этот пасквиль, то трудно ему было слышать от кого-нибудь. Захар Андрееч был в Полтавской губернии проездом, из Чернигова в Саранск ехал. Не на кого больше подумать, как на моего дядю Ефрема Герасимовича, матушки моей брата, который служил в Петербурге. И разбойник-то, ведь смолоду отсюда уехал, — в Нежин, потом тоже в Петербург. Я, когда пасквиль его прочитал, все это о нем разузнал, хотя и заметно, что скрывали, где он, но я выведал стороною: он в Петербурге жил. Негде ему было слышать обо мне, кроме как в Петербурге. Это верно. Я так и не думаю ни на кого, кроме Ефрема Герасимовича: через Ефрема Герасимовича пасквиль этот вышел.

— Но ведь он был вам дядя? Едва ли он мог смеяться над вами.

— Он был недобродетелен, этого скрыть не могу; рюмочки придерживался, а с рюмочкой и все дурное, как вы сами изволите знать, милостивейшая государыня Лизавета Сергеевна. Но только он уважал добродетель в других. И трудно же ему было знать о моей добродетели, потому что он уехал, когда матушка была еще в девицах, и после того не имел переписки ни с ней, ни с кем. А только как видели они, что он до своего отъезда придерживался рюмочки, то по тому сужу, что и в Петербурге не отстал. А может быть, и исправился. Слухов не было.

— Правда, Кузьма Фомич, что это удивительно, — ска-

зала я. — Это вы прекрасно объяснили, что Гоголь должен был слышать о вас от вашего дяди. Вижу, что иначе не могло быть.

— Не могло быть иначе, как то, что через дядю вышло.

— Удивительно. Но как же вы-то узнали, что это пасквиль на вас?

— Да по фамилии-то и узнал, как имел честь доложить вам: Остапенко — Шпонька. Созвучие есть. Видно, что пасквиль.

— Это совершенная правда ваша. Но как же вы до фамилии доискались? Ведь вы не читаете таких безнравственных книг?

— Точно, что не читал. А вот как. Проезжал в 1846 году через Гадяч тоже зубоскал такой, по имени Дмитрий Павлыч Кадыкаев; ехал советником в казенную палату, молодой человек еще, совсем мальчишка, лет под тридцать, не больше, но из себя видный; был у судьи по родству; судья ему и расскажи о моей женитьбе; он и говорит: «да это Шпонька», говорит. До меня это его слово дошло, — я спрашивать, спрашивать: что за Шпонька такой? и доспросился.

— Что же рассказывал ему судья о вашей женитьбе, Кузьма Фомич?

— Особенного ничего не мог рассказать; только был один обыкновенный случай, который бывает со всяким скромным человеком. Милая барышня, позвольте попросить вас выйти на минутку. Мы с Лизаветою Сергеевною должны переговорить. А там вы книжки выберете себе. — Как со вдовою, я с вами могу быть откровенен, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна: хотя мне было тогда более 30 лет, когда женился, — в 1831 году, — но такая на меня робость напала, когда совсем дело подошло к венчанию, что, могу сказать, расквирчался; вижу, девица пышная, держит себя величественно, я и оробел на сговоре, когда обручение было; так оробел, что даже растерялся. Когда сказали: «поцелуйте же невесту, Кузьма Фомич», — а я, в своем конфузе, ухватил нашего повытчика, Прохора Иваныча, да и целую вместо невесты. Не разберу. Но это со всяким скромным человеком может случиться. — Милая барышня, мы переговорили. — Я опять ей отвод сделаю, милостивейшая государыня Лизавета Сергеевна. — Вот мы теперь о чем говорили, милая барышня: больше, милая барышня, исторические книги читайте. Духовные больше всего; потом исторические. «Историю государства российского» изволили ли читать? Прекрасная книга. И прекрасным языком писана. К сожалению, сам не имею. Но аббата Миллота 4-й том вам должен понравиться, полагаю. Возьмите эту книгу.

— Я уж выберу, посмотрю. Так вы и не целовались с невестою, Кузьма Фомич?

— А вам слышно было, милая барышня? Жаль это. Искренно сожалею о моей неосторожности.

Смотря на Сашу, и мне было трудно удержаться. Добродетель Кузьмы Фомича слишком располагала к веселости.

— Я теперь затрудняюсь вот чем, Кузьма Фомич, — сказала я: — как мы будем ночевать у вас? Мы в одной комнате, вы в другой. Супруги вашей нет.

— Это вы изволите справедливо говорить, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна. Как я не сообразил этого, старый дурак. На сеновал пойду. Там переночую.

Мы с Сашей долго не спали в ту ночь. Это было ужасно смешно. Поутру Сашею была устроена другая шутка, которая имела удивительный результат. Три-четыре десятка книг, бывших у Кузьмы Фомича, были, разумеется, страшная дрянь. Но вовсе некстати к нравственным книгам попали как-то в его владение, — по случаю, недорого: за четвертак, как он объяснил, — три-четыре книжки «Библиотеки для чтения»⁷⁰ 1837 года и несколько номеров «Отечественных записок»⁷¹ из первых годов. «Отечественные записки» были пересмотрены Сашею. В одной из книжек был «Домашний секретарь» Жоржа Занда⁷² роман, давно прочитанный Сашею. Он показался Саше очень удобен для того, чтобы сконфузить его владельца, как человека, распространяющего безнравственность.

— Позвольте мне взять эту книгу, Кузьма Фомич; вот эта статья должна быть очень любопытна.

— Буэнос-Айресские пампы? Превосходная статья. Очень занимательная. Это прекрасно, что у вас такой вкус к ученому чтению, милая барышня.

Мы с Сашей и не раскрывали книгу. Добродетель Кузьмы Фомича обратила и меня в шалунюю. — О, добрый Кузьма Фомич!

Поутру лицо Саши опять устроилось в очень солидную мину.

— Вот, Кузьма Фомич, вы ввели меня и Лизавету Сергеевну в такие безнравственности, каких и вообразить не можете. Было очень обольстительно. И знаете что? — вместо «Буэнос-Айресских памп» мне понравился «Домашний секретарь»; это очень, очень занимательно, Кузьма Фомич; но, должно быть, это еще безнравственнее Гоголя. Впрочем, мне нельзя и понимать этого; потому мне и понравилось.

— О, как это можно, как это можно! Я и не предвидел этого, милая барышня. Но вы, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, простите меня: я вас осуждаю. Как же дозволили девице? Нельзя.

— Саша напрасно говорит, что мы читали «Домашнего секретаря»; я не читала; не видела, чтобы и у Саши была в руках эта книга, — я вырвала бы. Мы заснули, не читавши. Когда ж было Саше читать? Разве поутру? Да нет, я проснулась раньше Саши.

— Милая барышня, вы пошутили. А я было так встревожился.

— Нет, Кузьма Фомич; хотите, я вам расскажу? Начинается тем, что графиня Кавальканти...

— Нет, нет, не рассказывайте, милая барышня: и слушать не хочу. Сохрани меня боже читать сочинения этой безнравственной женщины. Вы не знаете про нее, какая она. Вам этого и знать нельзя. А по «Московским ведомостям»⁷³ видно: самая дурная женщина.

— Разве она женщина, Кузьма Фомич?

— Как же, милая барышня.

— О, если так, то и вовсе можно читать ее сочинения. Вы говорите: «дама». Дама не напишет безнравственного. Я хочу выпросить у вас эту книгу, чтобы дочитать роман. Очень любопытно.

— Ни, ни, милая барышня. Никак не могу.

— Ну, как хотите, Кузьма Фомич, а я не отдам эту книгу. Прежде дочитаю. Прекрасный роман.

— Ах ты, господи! Что я наделал, старый дурак! Милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, помогите моему затруднению: запретите вашей милой барышне читать эту проклятую книгу.

— Я не знаю, как нам быть, — сказала я. Я была очень весела и даже решила сказать неправду, чего обыкновенно не делаю и в шутку. — Я не знаю этого романа.

Я говорю: это был один из немногих случаев в жизни, когда я сказала неправду даже для шутки; я не люблю этого; меня называют за то педанткою; пусть. Но я не говорю неправды и для шутки, тем менее не для шутки. Например, не называя Сашу моею горничною, я однакоже не называла Сашу ни барышнею, ни моею родственницею, ни моею приятельницею, или подругою, или компаньонкою. Я и тогда говорила только так же, как теперь: «я взяла с собою Сашу»; «Саше было приятно ехать со мною»; «нам было приятно вместе с Сашею». Скажут: «какая несносная формалистка!» — может быть. Но в этот раз я была так весела, что несколько отступила от своего правила: сказала для шутки, что не знаю «Домашнего секретаря».

— Я не знаю этого романа, Кузьма Фомич, как же я запрещу Саше читать его? Саша говорит, что он хорош. Вы, вероятно, не читали его. Может быть, вы и ошибаетесь, думая, что он вреден.

— Ах, боже мой, как вы меня затрудняете! Милая барышня, не читайте, отдайте книгу.

— Нет, Кузьма Фомич, очень интересно. Я не могу: любопытно. Я сейчас же начну читать. Слушайте, вам и самому понравится. — И начинается чтение страниц, дышащих негою. Старик был в отчаянии и все обращался ко мне с просьбами, чтобы я запретила, отняла книгу. После отговорок, я согласилась, что это безнравственно, — я видела, что Саша мигает мне, чтобы я согласилась. — «Саша, перестань; отдай книгу». —

Только это и нужно было Саше: и Саша, и книга промелькнули мимо удивленного Кузьмы Фомича. Я сама восхищалась такою находчивостью Саши.

— Ты хотела отнять у меня книгу? Вот какая ты, Лиза! То была ласковая, добрая, а теперь ты против меня? Не быть же этому! Я вот уйду стоять под окном и буду читать вам. И если вы захотите поймать меня, я убегу, и ты будешь жалеть, Лиза, а я буду жалеть еще более, — но убегу и дочитаю. Лучше не ловите. Подумайте, хорошо ли будет, если я убегу?

— В самом деле, надобно подумать об этом, Кузьма Фомич. Ловить ли Сашу? Что, если убежит? Без меня, — в поле, в лесу, — что может быть?

— Ах, боже мой, боже мой! Милая барышня, не убегайте, только отойдите от окна на минутку, нам надобно переговорить с Лизаветою Сергеевною. Не убежите, милая барышня?

— Нет, пока не погонитесь за мною, не убегу. А то погонись, Лиза: догонишь.

— Милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, я не знаю, что это сделалось с вашею милою барышнею: вчера была такая скромная.

— Вижу и сама, Кузьма Фомич: Саша отбивается от рук; слышите, уж зовет меня: «ты, Лиза», — помните, вчера не было этого, когда мы познакомились с вами.

Действительно, я была так весела под добродетельною кровлею Кузьмы Фомича, что держала себя с Сашею совершенно ребячески, и тут в первый раз я забыла свою обязанность быть серьезною, быть воспитательницею, гувернанткою. Странная обязанность! — она не позволяет быть равною. Я была для Саши доброю, ласковою, нежною, но строгою. «С чего ж она захотела быть гувернанткою Саши? Это странно, смешно», — скажут многие. Быть может. Но если это смешно, то объясняется это очень просто. Я была одинока. Мне надобно было любить кого-нибудь. Я формалистка, резонерка, педантка — пусть, но все-таки я человек. И я привязалась к Саше потому, что была одинока. А при моем характере — я держу себя гордо, строго и с теми, кто не моложе меня, — я и им читаю мораль. Я не ставлю себя примером для других — о, далеко нет. Конечно, я понимаю, как смешно, что я привязалась к Саше. Но я не желаю никому чувствовать тяжесть одиночества. Пусть смеются те, кто не испытал ее. Но, к несчастью, слишком многие из нас, женщин, испытывают ее. Наш прекрасный пол — жалкий пол.

«Прекрасный пол» — как это отзывается гаремом! Какие односторонние понятия! Все, все выставляется даже и для наших, женских мыслей только в том виде, в каком кажется глазам мужчин. «Прекрасный пол» — мы для мужчин; а для нас? — я полагаю, что «прекрасный пол» для женщин — мужчины. Скажут опять; «какая резонерка! привязывается к словам! В ней нет

женственности!» — может быть; но если я резонерка, то позвольте же мне размышлять о том, что вы заставляете меня говорить. «Прекрасный пол», «красота» — это мы; из этого они выводят, что им позволительно увлекаться: «красота так привлекательна». Спорить ли против этого? Нет, это правда. Но будем же помнить, что для нас — что же, и мы люди — для нас «прекрасный пол» — они. И нас так осуждают! Что-нибудь одно: извинительно, или нет; смешно, или нет; для нас и для них одинаково. Одиночество! Кто из них испытывает его. И они смеются! Они порицают! Смеют ли? Но мне досадно не на них, мне досадно на нас самих, что в нас нет самостоятельности мыслей. Мне очень досадно, когда женщины смеются над женщинами, которые кормят кошек, собачонок, — я не смеюсь: я испытала одиночество. Я сочувствую им. Я понимаю их. Это не смешно.

После этого мне не нужно геройства, чтобы сказать: то, что я привязалась к Саше, вовсе не было смешно. Я не ставлю себя в пример. Я не идеал совершенства. Но что тут смешного? Тем больше, что достойного порицания? Я не проповедница пренебрежения к общественным условиям. Я строго соблюдаю их. Я скажу больше: я люблю держать себя строго. Скажут: «в ней нет души». Пусть. Я не имею претензии очаровывать развязностью манер. Ни по моему воспитанию, ни по моим правилам я не желаю быть прелестницей. Скажут: «это отсталость» — может быть, я не желаю гнаться ни за кем, — ни даже за веком. Если я отстала от него — это... очень жаль, но я не мотылек, и я думаю, что развязность манер не к лицу мне; может быть, я думаю вообще: не к лицу светской даме; может быть, я думаю больше: не к лицу женщине, уважающей себя. Я снисходительно смотрю на ребяческую шаловливость очень молоденьких девушек и дам — от них еще нельзя требовать, чтобы они понимали вещи; но за ними должно смотреть, чтобы они не были вовлечены своею наивностью в неприятности для себя и других. Но я — я никогда не была такою: и в семнадцать лет я была солидна. «Это недостаток» — для тех лет, может быть. Но я давно вышла из лет, в которые прилично быть под опекою. А женщина, которая не желает быть под опекою, должна сама уметь держать себя так, чтобы никто не смел забыть перед нею. Я в семнадцать лет держала себя так.

«Холодная! бездушная!» — может быть. Но зато я уважаю себя, и никто никогда не смел взглянуть на меня дерзко. Это для меня гораздо дороже нынешней развязной моды.

Я строгая блюстительница форм. Я не проповедница того, чтобы мы, светские дамы, забывали свое достоинство. Поэтому я люблю этикет.

Я соблюдала его даже с Сашей. Мы жили далеко от всех, в пустыне. В Саше не могло быть мысли забывать разницу между нами. Тут я могла бы ослабить те свои правила, за которые на-

зывают меня формалисткою: не могла же я опасаться оскорблений от Саши. Но все-таки я держала себя и в сербской избушке, как держала и держу себя в моей гостиной: — и одна с Сашею, как держала бы в обществе. Поэтому я не считаю себя смешною. Правда, я сажала Сашу подле себя за столом, в тележке; правда, я не стыдилась помогать туалету Саши. Но я же и говорила, что я только для соблюдения формы брала Сашу своею горничною, когда уезжала из Старобельска; это было только для Старобельска; мне не была нужна горничная, я не хотела иметь горничную. Я не могла иметь горничной. Поймите меня. Я хотела уединения. У меня была потребность скрыться от людей в пустыне. И я искала пустыни. Я нашла пустыню: мои сербские хозяева, другие колонисты и колонистки, с которыми я встречалась, говорила, — говорить с которыми было приятно мне, — они не имели ничего общего со мною, это были люди другого мира, они не мешали моей пустыне быть пустыней. Или это Кузьма Фомич: разве он существо моего мира? разве его глаза — глаза для меня, разве знакомство с ним — знакомство для меня? — нет. Я была в пустыне, как того хотела. Я затем и уехала из Старобельска, чтобы жить в пустыне. Могла ли я брать с собою в самом деле горничную? — нет, никак. С горничной я повезла бы с собою в свою пустыню весь Старобельск, весь Петербург. Но общество требует: дама должна иметь при себе горничную. Я никогда не хотела идти против условий общества, я не люблю этого. Если можно удовлетворить им, почему же не сделать ему удовольствие?

Таков мой характер. «Он отзывается Сен-Жерменским предместьем» — что ж из этого? Я полагаю, что Сен-Жерменское предместье самая приличная часть Парижа. Я предоставляю другим восхищаться нравами тех улиц, которые более знакомы им. Но я держу себя так не только по моему врожденному характеру, а также по сознательному убеждению, и думаю, что я права. Общество сильно, зачем восстанавлять против себя силу, если можно найти средство примирить свою потребность с ее требованиями? И я сделала это. Я показала обществу, что я уважаю его, повинуюсь ему; но я не могла выносить близости горничной. Я чужда предрассудков касты. Многие уж отвернулись от меня, как от аристократки. Это имя ныне имеет мало популярности. Но я не полагаю, что мысль о популярности или непопулярности должна иметь влияние на людей с твердым характером. Что вы называете аристократкою? Если для того, чтобы быть аристократкою, нужно иметь огромное богатство, — я не аристократка. Доходы мои и моего мужа вместе едва составляют 7 или 8 тысяч рублей. Если нужны титулы — также нет: ни мой муж, ни я не имеем права ставить перед своею фамилиею очень высоких титулов. Мой отец не был граф, мой муж не граф. Но если и без этого можно называть себя аристократкою, — я имею это право и не имею малодушия стыдиться сказать это. Если бы я была при-

нуждена произносить истинное имя, — чего я вовсе не боюсь, — вы увидите, что и по мужу, и тем более по отцу женщина, о которой вы судите теперь, принята по своей родословной в Сен-Жерменских предместьях всех столиц, как равная. Я не особенно горжусь этим. Но я думаю, что это очень хорошо для меня, и не боюсь сказать этого. Отвертывайтесь, если угодно, — очень жаль, что мы не сходимся с вами в понятиях. Впрочем, я не порицаю вас, я знаю источник вашего чувства. Этого довольно для меня, чтобы оставаться равнодушною к нему.

Впрочем, я чужда предрассудков касты. Но горничная — это служанка; служанка — это не подруга. А между тем служанка близка к своей госпоже, она видит ее много раз в день, проводит с нею целые часы, должна угождать ей ежеминутно. Нет, я охотно говорю, что между служанками есть женщины и девушки, достойные такого же полного уважения, как между дамами и девицами нашего круга, — вы видите, я чужда предрассудков; но я говорю: отношение служанки к ее госпоже не одно из тех, которые удобны для внушения преданности — одной стороне, доверия — другой стороне. Я могу доверять вашей горничной более, чем вам, моя знакомая; но если ваша горничная перейдет ко мне, мои чувства к ней изменятся, потому что изменятся ее отношения ко мне.

Я говорю: не смотрите на меня как на женщину, зараженную предрассудками касты, я не имею их, они неудобны для века, в котором ни Эстергази, ни Девоншир не могут, не желают ездить в особенных поездах; но, отвергнув предрассудки касты, я была бы очень не наблюдательна, если бы сохранила предрассудки хуторов. Я не могу желать иметь служанку, когда мне нужна пустыня. Мне кажется, я только дочь моего века, и была бы слепа, если бы не видела того, что видят все.

Скажут: «она права; но не стоило и доказывать этого; никто не думал осуждать ее за ее отношения к Саше; эта страшная аристократка — несносная и несноснейшая из резонерок»; — я не буду спорить.

Я сказала, что я имела в Саше не горничную: что этим объясняется моя короткость с Сашей. Но, при всей короткости, я умела сохранить в Саше чрезвычайно глубокое уважение ко мне, и в домике Кузьмы Фомича в первый раз услышала от Саши «Лиза» и «ты» — это было отголоском моей совершенно детской веселости под этою нравственною кровлею. К вечеру, когда мы возвращались на нашу станцию в нашей цыганской тележке, я опять уже слышала от Саши почтительное «вы, Лизавета Сергеевна». Но после того довольно часто я не могла отказать Саше, — и еще больше самой себе, — в удовольствии обращаться на несколько часов в беззаботную проказницу.

— Я и сама удивлена, Кузьма Фомич, — сказала я, — но нам было так весело у вас, что Сашею овладела шаловливость.

Вы видите, Саша отбивается от рук, зовет меня Лизою. Я потеряла свой авторитет.

— Что такое изволили потерять? Поискать надо, — заботливо спросил Кузьма Фомич.

— Авторитет, Кузьма Фомич, то есть власть над Сашей, а не то что какую-нибудь вещь. Впрочем, и авторитет отыщется опять; но теперь я не могу ничего сделать с Сашею: не слушается, вы видите.

— Ах, боже мой, ах, боже мой! Что ж делать! — Милая барышня, мы переговорили, — крикнул он в окно: — подойдите, милая барышня. Так вы убежите?

— Убегу.

— Милая барышня, вы не знаете, какая это опасность для девиц!

— Нет, не знаю. Вы растолкуйте.

— Ах, боже мой, боже мой! Нельзя и растолковать вам этого! — Так и убежите?

— Да.

— Ну, мы не станем ловить.

— И будете слушать? Мне хочется, чтобы вы слушали. Очень любопытный роман. — Если не будете слушать, зачем же мне оставаться под окном? Не для чего. Я убегу.

— Не доводите Сашу до такого ужасного дела, Кузьма Фомич, — сказала я.

— Буду слушать, милая барышня.

Началось чтение. «Безнравственность» была в каждой строке, в каждом слове, в каждой букве. Кузьма Фомич мучился, мучился... В отчаянии, сам не зная, как ему спастись, закрычал:

— Милая барышня, отойдите на минутку, нам надобно переговорить с Лизаветою Сергеевною.

— Могу ли, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, чем-либо спасти милую барышню?

— Право, не знаю, Кузьма Фомич. Мне и вас-то жалко; но ведь убежит, если не станете слушать.

— Попросите ее, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, чтобы дала мне время на размышление.

— Саша, подойди сюда.

Начались переговоры. По моей просьбе дано было Кузьме Фомичу время на размышление, под моим ручательством, что если он ничего не придумает к сроку — к обеду, то должен будет слушать. Мы с Сашей, спрятав книгу, пошли бродить по полям и садам; он остался размышлять.

— Милая барышня, я придумал, — сказал он, когда мы вернулись: — я сам один прочту. Только вы не читайте.

— Как же, Кузьма Фомич? Ведь мне очень любопытно знать, что же дальше. Я хочу знать.

Он опять попросил Сашу уйти и сказал мне, что он так и ждал; и что придумал средство.

— Какое же? — спросила я в удивлении.

— Вот какое, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна: удовлетворить любознательности милой барышни, но в нравственном виде.

— Как же это? Я совершенно не пойму, как это сделать, Кузьма Фомич?

— Напишу для милой барышни извлечение из этого безнравственного сочинения, но в добродетельном духе. На словах не умею рассказать, а письменно изложить могу.

Я разинула рот. — Что вы сказали, Кузьма Фомич? Мне как-то показалось что-то удивительное.

Он повторил подробнее: он переделает для Саши «Домашнего секретаря» в своем вкусе, по своим идеям. Это становилось уже действительно интересно.

— Прекрасная мысль, Кузьма Фомич, — сказала я: — пожалуйста. Иначе Саша станет читать до конца. Спасите Сашу.

Он дал слово. Под моим ручательством получил от Саши книгу обратно; обещался приготовить сочинение свое через неделю. Мы пообедали с добрым стариком и простились, заключив договор, что вернемся через неделю. — Вернулись. Сочинение не было готово: старик трудился добросовестно, но задача была слишком хлопотлива: он успел написать лишь несколько строк самого короткого очерка содержания первых глав. Я расскажу потом, как эти интересные листы остались в моих руках. Роман назывался: «Добродетельная графиня Кавальканти, сочиненная госпожою баронессою Дюдевантою».

«Добродетельная графиня Кавальканти, одаренная красотой и, что еще лучше сей тленной прелести, сердцем нежным и благотворительным, изволила возвращаться в свое обширное поместье, процветавшее под ее добродетельным управлением. Сия графиня была непорочна душою столько же, сколько прекрасны были ее взор и вообще вся наружность. По своей благотворительности, расспрашивала она едучи о нуждающихся в ее помощи, и старец почтенного вида, некогда бывший дворецким отца прекрасной графини, повергшись к ногам ее, умолял взять под ее благотворительный покров внука своего Жулиена. Осведомившись о нравственности сего юноши, имевшего 15-летний возраст, добродетельная графиня обрадовала почтенного служителя ее отца следующими словами: «Жулиен мальчик доброй нравственности, потому будь спокоен за судьбу твоего внука; я определяю его в пажеское при мне звание». Слезы умиления оросили лицо седовласого старца и руки прекрасной графини, которые покрыл он лобызаниями признательности. С того времени Жулиен жил при дворе графини, своей благодетельницы, рачительно отправляя свою должность».

— Дальше, Кузьма Фомич.

— Только написано, милая барышня. Больше не успел. К следующему разу продолжу, когда вновь почтите меня вашим приятным посещением вы, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, и вы, милая барышня.

— Но мне хочется поскорее узнать конец. А у вас все только еще начало! Как же вы допишете?

— Нет, милая барышня, это уж много страниц тут совмещено; а допишу недели в две.

— Две недели! и тут совмещено много страниц? Это мне не нравится, это сухо, ничего не поймешь и не интересно.

— Пространнее писать гораздо легче, милая барышня; я потому и имел большой труд, что старался совместить всю нравственную пользу в малый вид, для вашего облегчения. А если вам угодно обширнее, то и для меня это легче: при пространности меньше труда.

— Ну вот и прекрасно. Пишите пространнее. Я вижу, что у вас будет очень хорошо, если будете писать пространнее. Вы на чем остановились?

— Я теперь, милая барышня, думал приступить к самому месту, в котором будет видна вся добродетель прекрасной графини Кавальканти.

— Вот и прекрасно, и опишите подробнее.

— Это я могу без труда сделать, милая барышня.

— Когда же?

— Да к завтрашнему дню поспеет. Прошу вас, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, останьтесь у меня погостить с милою барышнею.

— Лизавета Сергеевна, добрая, пожалуйста, останьтесь. Добрая вы, помните, как весело было тогда.

— Хорошо, останемся, — сказала я после некоторого колебания. — Но, Саша, в нынешний раз я не буду ребячиться.

— Добрая, Лизавета Сергеевна! — Саше хотелось броситься расцеловать меня.

— Милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, благодарю вас за честь, во второй раз удостоивающую мой скромный приют вашим, смею сказать, препровождением отдыха. Поцелуйте Лизавету Сергеевну, милая барышня, за ее согласие на вашу просьбу.

Мы поцеловались с Сашей, в удовольствие нашему доброму хозяину. Но, при всей своей доброте, он был замечательно забавен с своим нравственным трудом над романом о добродетельной графине Кавальканти и своею обидчивостью на Гоголя, о котором опять завел разговор. Я поддалась влиянию положения, стала ребячиться, подобно Саше, и на другой день опять была для Саши «ты» и «Лиза».

Утро мы гуляли, едва пообедав опять пустились ребячиться

и поэтому нам необыкновенно трудно было, — и, однакож, мы успели, — устроить и сохранить серьезные лица, когда пригласили Кузьму Фомича пить чай и услышали, что добродетель графини Кавальканти подробно описана им, и что он готов читать.

— Сделайте одолжение, Кузьма Фомич.

— Как теперь я начал описывать с обширностью, по желанию милой барышни рассмотреть прекрасную графиню Кавальканти во всей подробности, по всем ее совершенствам, то прошу принимать предыдущее якобы в виде предисловия.

— Конечно, так, Кузьма Фомич, — сказали мы.

— А сие последующее и будет якобы первая глава. — И он начал читать:

ИСТОРИЯ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ГРАФИНИ КАВАЛЬКАНТИ,
сочиненная госпожою баронессою Дюдевантою.

Глава первая

*Своею скромностью исправляет добродетельная графиня Кавальканти
Жулиеттино легкомыслие и научает Жулиена*

«Хотя придворные, или якобы домочадцы прекрасной графини Кавальканти, были самой чистой нравственности, каковую охраняла госпожа графиня своим попечением, сколь кротким, столь же и бдительным, иначе...»

— Не лучше ли было бы «однако», Кузьма Фомич? Остальное все прекрасно; но «однако» мне больше нравилось бы, — сказала я.

— Конечно, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, вы, как дама глубокого просвещения, можете это вернее чувствовать.

Кузьма Фомич заметно обиделся.

— Нет, это я только так сказала, Кузьма Фомич; и «одначе» хорошо.

— «... столь же бдительным, однако» — уступаю вашему уважаемому мною замечанию, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна; — «однако юная Жулиетта, хотя и непорочная девица, была многократно останавливаема госпожою графинею от игр, хотя невинных, но легкомысленных, чего Жулиетта по невинности своей не могла понимать в ясности. Посему и произошел такой случай, которым скромность прекрасной графини обратилась в большую пользу юному Жулиену. Ибо, вошедши в комнату Жулиетты, госпожа графиня увидела оную Жулиетту завязывающую ленточки, по обыкновению на дамских башмаках бывающие, каковые у Жулиеттина башмака развязались на правой ноге; Жулиен же в сие время у окна в той комнате стоял, и как невинен будучи сердцем, в то окно смотрел, где мальчики, лакеев дети,

в бабки играли, что Жулиену и любопытное зрелище было по её возрасту. Сие увидев, Жулиетте за нескромность выговор был графинею сделан: «Ибо, Жулиетта, хотя Жулиен и в окно смотрит, и хотя ничего предосудительного в твоём поступке нет, как я тебя завязывающую башмак вижу, который и на улицах можно завязывать непотыдно, если ленточки развяжутся; одначе добродетель от тебя, Жулиетты, требовала, чтобы лучше ты в другую комнату перешла оный башмак завязать. Поколикү женский пол от мужского разнствует, чего тебе, Жулиетте, и понимать не должно, невинность твоей души сохраняя».

«На что Жулиетта ответствовала: «я свой проступок перед добродетелью теперь уразумела, и благодарность мою выразить должна в словах нелицемерных».

«Жулиеновым же целомудренным в окно смотрением прекрасная графиня была весьма довольна, чего ему одначе не сказала, ибо время пришло кушанья обеденного. После же того обеда, изволив пройти в свой кабинет, или как у госпожи баронессы Дюдеванты назван сей графинин покой — будуар, прекрасная графиня Кавальканти, как это после обеда было, она же утреннее время заботам о благе своих домочадцев посвящала неусыпно, утомление от сих забот почувствовав, започивать изволила. Каковой отдых когда несколько времени длился, шорохом будучи пробуждена, прекрасная графиня увидела Жулиена, книгу из шкапа библиотечного берущего. Сказав: «сядь, Жулиен», графиня по своей добродетельной внимательности начала оного Жулиена похвалить за скромность, каковую как всегда в нем усматривала, так наипаче перед опочиванием своим наблюла. Таковыми похвалами будучи тронут весьма чувствительно, Жулиен отвечивал с невинностью:

«Госпожа графиня, похвалы вашей чувствую себя быть недостойным по той причине, которую со слезами вам, госпожа графиня, открываю, что поступки совершал, весьма добродетели противные. Ибо, конечно, Жулиетта в моем сердце такое священное для меня занимает место, что якобы сestroю мою оную невинную девицу считаю, и потому весьма далек всяких нескромных мыслей, когда с нею невинными по нашему возрасту играми время препровожаем, в том и вы при всем добродетельном попечении вашем нас не порицаете, а также и жених оной Жулиетты, небызвестный вам Галеатс, об оном не токмо сведущ, но и похвалает нашу невинность, в непорочности Жулиетты уверен будучи; в дополнение же всему, по юности лет оной Жулиетты скорее может быть от меня сверстницею игр моих невинных считаема, нежели как за девицу, женским своим полом от меня мужчины разнствующую: ибо сего и в мысль мою не приходит при оной невинной и юной Жулиетты виде, почему недобродетелен с нею быть не могу; одначе перед вами, добродетельная и прекрасная госпожа моя, невинным себя признать не могу,

будучи в умиление приведен и раскаяние в помыслах моих чувствуя; ибо неоднократно от юности моя страстьми борим есть».

— Милая барышня, позвольте попросить вас удалиться на некоторое время, потому что я имею нечто Лизавете Сергеевне сообщить.

Как ни любопытно было слушать сочинение госпожи баронессы Дюдеванты, написанное Кузьмою Фомичем, и как ни легко было, что автор хочет сообщить мне что-то секретное, но я чувствовала, что могу дорого поплатиться за это удовольствие. Еще две, три минуты — и начнется колика от геройского усилия сохранять серьезность и не обидеть патриарха-амфитриона. Я и завидовала Саше, и рада была за Сашу, что Саше дается отпуск.

— Здесь, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, затруднен я был одним обстоятельством: у госпожи баронессы Дюдеванты далее изображается поступок весьма нескромный. Сие заменил я нравственным размышлением о Сусанне прекрасной.

— Что ж, это очень хорошо, Кузьма Фомич.

— Ибо, как я видел, что Жулиен весьма нескромно себя держит, то и не мог такого яда душевного оставить без противоядия целительного.

— А он держал себя нескромно?

— Госпожи баронессы Дюдеванты графиня Кавальканти не была добродетелью моей графине подобна. Ибо весьма разметавшись почивать изволила и проснувшись, того своего неглиже не замечая, с Жулиеном беседовала.

— Да, это правда: ее блуза была расстегнута, и ноги были босые.

— Не только это, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, но ее, как вы изволите говорить, блуза и самое белье оставляли ее прекрасные ноги до колен обнаженными.

— И она этого не замечала, Кузьма Фомич?

— Нет, не замечала; потому что она совершенно о том и не думала.

— Да, это так. Она совершенно не замечала; время было жаркое; в комнатах было душно; она дремала, — проснулась от шороха и начала разговор, не взглянув на себя. Из этого-то и видно, Кузьма Фомич, что она была женщина чрезвычайно скромная. Это одна из женщин, которые не способны быть кокетками. — Что ж у вас дальше, Кузьма Фомич? Как вставили вы прекрасную Сусанну? О, да: у графини была купальня, и она каждое утро ходила в нее, а Жульен очень рано забирался в сад и подсматривал — вы так думаете? Что ж, можно и так думать.

— Сего не усматривал я у госпожи баронессы Дюдеванты, но вы, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, как

вдова, весьма правдоподобно говорить изволите. Милой же барышне, как девице, не должно этого знать. Я сделаю ей отвод о нашем разговоре.

— Сделайте, Кузьма Фомич.

Я говорила серьезно и потому успела отдохнуть. У Саши также возобновилась сила выдерживать чтение без колики.

— Милая барышня, пожалуйста к нам, мы с Лизаветой Сергеевной обо всем переговорили. Я ее спрашивал, известна ли ей история Сусанны прекрасной? — Известна, она говорит.

— А мне неизвестна, Кузьма Фомич; расскажите, пожалуйста.

— Нет, милая барышня, вы по своей невинности не должны в подробностях понимать; вообще же у меня обозначено, как для добродетели вашей нужно. Более знать не желайте, милая барышня.

— Ну, хорошо, читайте то, что написано у вас.

— «От юности моя страстьми борим есмь и уподобихся перед вами, добродетельная и непорочная графиня...»

На дворе послышался стук тележки.

— Это, вероятно, возвратилась моя супруга, — сказал Кузьма Фомич, вставая, чтобы идти навстречу: — и вас, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, с милою барышнею прошу почтить ее вашим знакомством.

Действительно, это была она: в комнату вошла высокая, еще прямая и красивая старушка; в черных волосах ее уже было много седых, но глаза были светлы и живы. Марья Петровна с первого взгляда понравилась мне. Когда мы обменялись первыми приветствиями, она стала говорить с мужем, пересказала ему о родных, расспросила о хозяйстве; видно было, что Кузьма Фомич по хозяйству гораздо слабее, чем по части добродетели. Потом Марья Петровна перешла опять к разговору с нами. С мужем она говорила по-малорусски с небольшою примесью сербских оборотов; муж совестился при нас говорить на мужицком языке и отвечал ей на том же языке, которым говорил с нами и который она понимала довольно плохо; заговорив с нами, она хотела по возможности ломать свой малорусский с сербским на московский лад, как воображала себе московский лад: она думала, что мы не можем понимать ее иначе, — но мы, уже привыкнув к сербскому, отвечали ей на ее языке; и старуха была очень довольна. Она была женщина неглупая, — хоть и едва ли уж не забыла грамоту, если когда знала ее. Наш разговор шел хорошо, — но Кузьма Фомич не утерпел.

— Мы с ними, Марья Петровна, ученостью также занимались, и я написал сочинение для милой барышни. Вот и ты тоже послушаешь. — Он стал опять приниматься за тетрадку.

Легко было предвидеть, что при Марье Петровне дело не кончится добром; да и совестно мне было издеваться над мужем

в глазах жены, почтенной женщины. Да, мне совестно было перед Марьей Петровной, — отчасти даже не совсем ловко, — хоть я, повидимому, понравилась ей. Я чувствовала себя в довольно неприятном затруднении. Скажете ли вы и теперь: «формалистка»? Я не буду спорить. Но я сказала: я увидела в Марье Петровне женщину неглупую. Я позволила себе и Саше издеваться над ее мужем. Этим я и объясняю то, что мне было очень неловко, а он, вдобавок, приставал с графинею Кавальканти.

— Кузьма Фомич, лучше отложим это, — сказала я: — ваша супруга давно не виделась с вами, — конечно, вам найдется говорить с нею о многом, и нам приятно говорить с Марьей Петровной.

Разумеется, это не помогло: возможно ли чем-нибудь отвратить автора от чтения его произведения?

— Нет, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна, переговорить еще успеем; а почему же бросать чтение, полезное и приятное для милой барышни? Вы позвольте мне продолжать.

Я сказала еще несколько слов, что «лучше будем разговаривать», Кузьма Фомич начал обижаться, и видно было, что его ничем не уломаешь. Я предалась на волю судьбы.

— Хорошо, дочитывайте, Кузьма Фомич; очень приятно. Много ли у вас осталось?

— Как бы сказать, не ошибиться, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна: в полтора столько будет, как прочли. Да вот, лучше счетом. Прочли почитай что две страницы; осталось побольше трех. Позвольте начать?

Плохо дело! Уж видно, до какой добродетели дойдет он на пятой странице, если на второй успел добраться до объяснений о страстях, борющихся с юности! Саша не выдержит, расхохочется, — как мы будем смотреть на Марью Петровну? Но с появлением женщины неглупой и почтенной и в Саше явилась солидность. Это меня ободряло. Солидность удерживала Сашу от возражений мне и просьб Кузьме Фомичу продолжать. Но все-таки моя душа была очень неспокойна.

— Читайте, Кузьма Фомич, — сказала я вздохнув и стала смотреть на Сашу, не сводя глаз, чтобы поддерживать солидность против добродетели.

— Мы читаем сочинение, Марья Петровна, в виде вымысла, объясняющее правила целомудрия для милой барышни, — как бы я буду излагать добродетель от лица некоторой прекрасной молодой дамы, — хотя бы, если позволите выразить так, от вашего лица, милостивейшая государыня моя Лизавета Сергеевна; милая же барышня получает от сего пользу, рассуждая себя быть якобы в беседе с прекрасною графинею. Поняла, Марья Петровна?

— Что ж, должно быть хорошо, — отвечала по-малорусски с сербским Марья Петровна: — я, признаться, не совсем этот язык разумею, однако послушаю.

— Теперь у нас вот что идет, Марья Петровна: Жулиен некоторый, который и есть истинный собеседник прекрасной графини, якобы излагает ей помыслы сердца своего, под видом же помыслов и деяния свои в умиленном от графини раскаянии души. Графиня же слушает сие, якобы исповедь юного сердца. Понимаешь, Марья Петровна?

— Читай себе.

— «Неоднократно от юности моя страстьми борим есмь», — это не я, Марья Петровна, а Жулиен.

— Понимаю, что не ты; читай знай.

— «Борим есмь и уподобихся перед вами, добродетельная и непорочная графиня, в которой зрю для себя целомудренную Сусанну, осужденным от Даниила старцам. Ибо многократно были нескромны взоры мои, в чем умиленное приношу раскаяние, чувствуя себя не только перед добродетелью, но и наипаче относительно скромности вашей, прекрасная графиня, виновным».

«И сие услышав, графиня Кавальканти столь была добродетельна в скромности, что от единых слов сих на ее прекрасном лице вспылал нежный румянец стыдливости, каковым в подобных случаях всегда украшается целомудрие. И в том добродетельном ощущении графиня, озревшись с скромностью на наряд свой, воскликнула «ах!»—ибо усмотрела, что, в умилении чувства слушающая покаяние Жулиена, прекрасную дьянь свою от рукава раскрыла до самого локтя, что считала весьма добродетели противным, яко к искушению введущим. Плочему мгновенно воспрянув, изволила быстро встать и, стыдливостью пламенея, прекрасными своими устами произнесла: «Жулиен»...» — Милая барышня, позвольте попросить вас удалиться на минутку: мне надобно переговорить с Лизаветою...

Солидность Саши не устояла.

— Зачем же уходить? Понятно: Жульен много раз подсматривал, как графиня купается, графиня, слушая его, вспыхнула, заметила на беду, что блуза упала с ее плеч, что ноги ее не закрыты, — она ещё горела от сна, — она совершенно забылась и обняла Жулиена.

— Ах, милая барышня! Как это можно! Этого даже нет у безнравственной госпожи баронессы Дюдеванты, чтобы прекрасная графиня обняла Жулиена.

— Да ведь там нет и того, что Жулиен подсматривал, как она купается. А у вас это написано.

— Ах, милая барышня, как это можно, чтобы я это написал!

— Так зачем же вы вставили Сусанну?

— Для добродетели, милая барышня.

— Вы, Кузьма Фомич, пишете гораздо лучше, чем Жорж Занд. Пожалуйста, продолжайте.

— Ах, что вы, милая барышня! Как это можно! Это вы совершенно несправедливо предположили. Вы послушайте: тут не о том, а раскрывается скромность добродетельной графини...

— Полно молоть такой срам, Кузьма Фомич, — строго сказала Марья Петровна, — человеку 60 лет, а он все еще носится с добродетелью! Пора бы, кажется, забыть! Стыд мне с тобой! Разве ты не видишь, над тобой смеются!

Марья Петровна в горячности говорила по-сербски.

— Как тебе не совестно, Кузьма Фомич! Тебе ли, старому псу, прости меня господи, учить молодых скромности! Ах ты, осел, осел! Ты бы лучше занимался хозяйством, чем своею добродетелью! Кому она нужна? Ты видишь, Лизавета Сергеевна дама скромная, молодая, а ты со своим поганым рылом лезешь учить нравственности! Да у нас девушки тебя помелом выгнали бы из деревни! Слепой зрячего вести хочет. Стыд с тобой моей голове!

Но мне было гораздо стыднее, чем Марье Петровне. Я не скоро оправилась, чтобы начать извиняться перед нею.

— Вы меньше его виноваты, сударыня, хоть точно и вам не следовало бы допускать этого. Да как над таким дураком не смеяться! Прибью я тебя, старый осел.

Я насилу уговорила ее успокоиться.

— Я плохо по-русски-то понимаю, да и написано мудрено, а я женщина необразованная, — сказала она: — замечаю, что будто не хорошо что-то, но думаю: видно, не так понимаю, потому что вижу: вы сидите серьезно, Саша тоже. А то я давно хотела остановить его. Ах, ты старый бесстыдник! В 60 лет все заботится о добродетели!

Мне было совестно. Я опять сказала, что Кузьма Фомич меньше виноват, чем я, дозволившая себе смеяться над слабостью старика. Марья Петровна согласилась, что следует бранить меня, и разговор о графине Кавальканти прекратился. Старуха стала рассказывать мне свою жизнь. Мы очень долго просидели вдвоем; Кузьма Фомич поторопился уйти на свой сеновал; утомление целого дня, проведенного в дурачестве, свалило Сашу спать. Я была взволнована: я горда, и хоть старуха не думала сердиться на меня, мне сначала было очень неловко перед нею. Но она была разговорчива, не замечала, то есть не хотела замечать моего недовольства встречною с нею, — и я стала находить удовольствие в ее разговоре. Она, хоть и крепкая, уже имела бессонницу старости, и мы просидели чуть не до рассвета...

Чего-чего мы ни переговорили! Как странен был этот разговор и с ее, и с моей стороны!

В первый вечер знакомства, — я, светская дама, молодая женщина, быть может, и не до такой степени отставшая от современных понятий, как думают обо мне многие, и она, старуха, не умею-

шая говорить ни на каком языке, кроме ломаного мужицкого наречия чумаков и казачек и еще более мужицкого наречия своих земляков, не знавшая ничего, кроме своих мужицких песен да глухой жизни своего темного уголка, — как мы говорили, и что она мне говорила!..

Она рассказывала мне свою жизнь. В начале замужества она много терпела от надоеданий Кузьмы Фомича его добродетелью; только уж через несколько лет, убедившись, что он и служит плохо, и не умеет ничем распорядиться как следует, убедилась, что нечего делать, надобно ей взять в свою опеку и его, и все его дела: перестала слушать его назидания, сама начала распоряжаться всем, сама хлопотать даже по его служебным столкновениям: «А то ведь я все думала: он ученый, я женщина необразованная: должно быть, я не понимаю, а он говорит умно».

Мне было неловко в моем неопределенном положении перед женщиною опытною и неглупою. Мне чувствовалось, что моя странная потребность, по которой я бросила общество и бежала в эту пустыню, не объясняется для нее тем готовым предположением, которое подсказывалось моим простым сербам общею мыслью мужиков и мужичек всего света о господах и госпожах: «с жиру бесится» — барская прихоть, глупое внушение праздной фантазии неработающих. Нет, Марья Петровна со своим сербским языком все-таки жила в уездном городе, в кругу людей, дослуживающихся на старости до штабс-капитанов, следовательно, тоже господ; ее тетка была жена уездного судьи. И она смущала меня тем, что не спрашивала меня, как и зачем я появилась разъезжающею без кучера на мужицкой тележке между Петриковскою, Дмитровкою, Аджамкою и Днепром, прогуливающейся по этой глуши в полотняной блузе, но опоясанной пунцовою лентою, какой не найти и в полтавских лавках; она не спрашивала меня, и это смущало меня: она что-то предполагает, она предполагает что-то такое, о чем нельзя спрашивать. Я не люблю таких положений; я иду навстречу всяким мыслям обо мне. В обществе незачем откровенничать; общество не требует откровенности, — и оно право в этом, как во всем; оно оскорбляется ею и справедливо: оно не круг близких знакомых, лично интересующихся вами; вы не имеете права напрашиваться на его внимательное участие, оно не обещало и не может дать его вам. Оно требует только знать, не компрометируете ли вы его условий, его тона, его форм вашим присутствием в нем; оно спрашивает у вас только ваш *billet d'entrée* — вы оскорбляете его условия, если вместо *billet d'entrée* суετε ему вашу апологию, — зачем ему она? — ему нет надобности до вашего сердца, оно желает только, чтобы вы держали себя в нем прилично. Оно право, тысячу раз право.

Я не обязана утомлять общество тем, чего ему вовсе не нужно.

Но с кем я встречаюсь лицом к лицу, от того я не прячу мое лицо. Оно не так очаровательно, чтобы я должна была скрывать

его из сострадания к людям, которые могут обратиться в пепел от одного взгляда на такие божественные черты. Я не так прекрасна. Но я и не безобразна, чтобы мне прятать свое лицо. Я не стыжусь его.

От людей, мне неприятных, я отвертываюсь.

Но с людьми, от которых я не отвертываюсь, я говорю о себе столько, сколько кому из них надобно знать обо мне, чтобы не делать предположений. Я вообще ненавижу предположения, потому что они почти всегда не совершенно удачны. Предположений о себе я не люблю тем больше, что они почти всегда слишком выгодны для меня. Мне представляется, что я поступила бы малоудшно, если бы оставила без внимания ошибку, выгодную для меня.

— Откровенность за откровенность, Марья Петровна, — сказала я: — вы ничего не спрашиваете у меня, и вы справедливо предполагаете, что мне неприятно объяснить, кто я и почему я так странно живу здесь, вовсе не на своем месте. Я женщина безрассудная, понявшая свое безрассудство, когда уж поздно было поправлять его. Я разошлась с моим мужем, — мне казалось, что он не достоин меня; он очень любил меня; мне самой было жаль. Но я чувствовала отвращение к нему. Через три года я увидела, что виновата перед ним. Но он не может примириться с женщиной, которая поступила так, как я.

Мы говорили по-сербски, на мужицком языке; потому мои выражения были гораздо проще, — быть может яснее, хотя так же коротки.

Она сначала не нашлась ничего сказать мне в ответ. Только задумалась.

— Боже мой, боже мой! — какая разница! — проговорила она потом: — я думала о себе, Лизавета Сергеевна. И вы тоже не спрашивали меня, а тоже, наверное, делали разные догадки, — вы не могли не видеть, что странно, как я попала за такого человека, как я не нашла себе жениха получше... Меня выдали за него. И я пошла. Дядя, отец, мать были рады...

Она рассказала, почему ее выдали за такого человека, над которым все смеялись. Я не имею права пересказывать этого. Конечно, ее отец, обремененный семейством, не мог дать за ней несколько денег. Этой причины, — главной, — уже довольно: девушку без приданого обыкновенно рады сбыть на прокормление хоть самому жалкому мужу. Ее судьба достаточно объясняется этим. Подробности не любопытны — кроме тех смешных, которые сообщу я через несколько строк.

Я увидела, что напрасно было бы мне молчать. Старуха могла понять меня, простить меня, сочувствовать мне. Я высказалась.

И не ошиблась.

Но все-таки я была и удивлена, и тронута тем, как она приняла мою странную откровенность:

— Какая разница! — повторила она: — как легко и хорошо для богатых то, что убивает целую жизнь бедных людей! Вы видите, что сделалось со мною: меня отдали, и я вышла за такого человека, над которым все смеялись. А вы — для вас это к лучшему: ваш муж хороший человек, вы бы давно написали ему, — напишите.

— Как? Когда я поняла, как я была виновата перед ним? Когда я вижу, что он не может примириться со мною?..

— Какие пустяки! — сказала она: — я по вашим словам представляю его себе человеком умным, хорошим; и он так искренно любил вас. Он придет к вам по первому вашему слову. И она не ошиблась.

Но я долго не могла решиться писать к нему.

Это было странное состояние души. Я любила его. И я отсрочивала примирение с ним.

Почему отсрочивала? Сначала мне казалось, что я понимаю, почему не пишу к нему: потому что считаю невозможным, чтобы он возвратил мне свою любовь. Так мне казалось. Может быть, несколько времени это было действительно причиною того, что я не писала к нему.

В первое время я, действительно, ужасалась себя, — я хочу сказать не то, но я не хочу выразиться иначе.

Но это скоро прошло. Что ж меня удерживало?

Я вижу это теперь; я увидела это тогда, когда написала к нему, — видела это уже несколько дней перед тем, как решилась писать. Когда стала порываться писать к нему, — и когда борьба «писать или нет» началась во мне с требованием развязки себе, а не как прежде, только в виде неопределенной тоски, — в это время для меня было уже ясно чувство, заставлявшее меня медлить, только медлить, потому что не было сомнения о том, писать или не писать: я знала, что я напишу. Борьба во мне шла только о том, пишу ли я ныне, — пишу ли завтра. Как это странно! — я медлила потому, что мне хотелось продлить странное состояние, от которого я отказывалась: оно было неудовлетворительно для меня, и, однако, в нем была сладость, с которою не хотелось расставаться так скоро. Я хотела любви моего мужа, я не могла без упоения думать о ней, — и я медлила дать себе это счастье...

Я могла бы выразиться иначе. Я найду средство высказаться иначе. Но в другом отрывке. Здесь я не имею права высказать больше.

Я не боюсь, но я люблю тех, которым нет надобности понимать меня.

Я знаю, что я делаю. И я не скажу лишнего слова.

Пусть понимают меня только те, которым нужно, которым полезно понять меня. Я сказала все, что хотела сказать здесь. Я не боюсь ничего суда.

Бояться! Мне бояться! Я теперь смеюсь. Мне весело вспоминать это время. Оно мило мне. Я не колеблясь говорю это.

О, как это смешно в самом деле! Смешно, но мило мне. Я не старуха; я не стара годами, я еще моложе сердцем. Но то время, оно — моя настоящая юность. Она мила мне.

Однако я больше скажу о себе в одном из следующих отрывков. Этот у меня посвящен рассказу не столько обо мне самой, сколько о драгоценном Кузьме Фомиче. Самая серьезная часть истории пасквиля, написанного на него Гоголем, еще должна быть досказана мною, — это восхитительно.

Мы просидели с Марьей Петровной очень долго, почти до белого дня. Ей, старухе, это не помешало подняться рано. Я легла спать в ее комнате и долго не могла уснуть. Мне было очень грустно. Я долго смотрела на лицо спящей старухи. Оно казалось мне таким строгим. Да, ее жлзнь была упреком мне: «какая разница! — то, что для вас к лучшему, погубило всю мою жизнь». Я заснула, смотря на нее, и во сне она все поясняла, какая разница между нею и мною. Разница очень простая и очень приятная для меня: я женщина, имеющая свое порядочное состояние.

Я почувствовала, что кто-то будит меня; открыла глаза и увидела Сашу.

— Пора вставать, одеваться, — сейчас или еще нет?

— Зачем ты здесь, Саша?

— Марья Петровна прислала меня будить вас. Двенадцать часов, обед готов. Давайте одеваться.

— Ей хочется понежиться, Саша. Не спешите, обед можно отложить еще на час, — сказала Марья Петровна, входя. — Напрасно разбудили вас? Но я не сообразила, что в молодые годы мало того сна, какого довольно в наши. Спите.

И мы обедали в два часа: для Новой Сербии это то же, что для Петербурга сесть за обед в 8 часов. Я была удивлена такою внимательностью Марьи Петровны.

Я называю удивительною вещью внимательность Марьи Петровны ко мне. Я хочу сказать не то, но я не хочу выразиться иначе.

Но ее тактика была очень верна. Она хотела, чтобы я скорее решилась мириться с мужем.

Она много ускорила наше примирение.

Она хотела, чтобы поскорее прошел мой анахоретский образ жизни. Для этого она одобряла меня в моих фантазиях, чтобы они скорее прискучили мне.

Она знала человеческое сердце, потому что много перенесла.

Когда я смотрела на нее, заснувшую, и рассуждала о разнице между мною и ею, я хотела уехать, как проснусь поутру, — с этим я и заснула. Странное чувство заставляло меня сделать это; после нашего разговора с Марьей Петровной мне все-таки

не хотелось быть у нее на глазах. Я говорила с нею очень чувствительно, а все-таки мне хотелось свободы: я видела теперь, что скоро исполню мысль писать мужу, и мне хотелось пользоваться свободой. Какими удивительными психологическими тонкостями обыкновенно представляются подобные состояния раздела души между двумя чувствами — мимолетным и постоянным; и сама я, пожалуй, почла бы это очень запутанною загадкою, если бы Марья Петровна, вовсе не углублявшаяся в психологию, — курсов которой и нет, я полагаю, на сербском языке, — не разгадала всех моих мыслей и многосложных чувств так ясно, что я и не знала: удивляться ли ей, стыдиться ли ее, или понимать все это, как она говорила: «э, что за важность!»

Теперь я вижу, она права: что за важность!

Словом сказать, Марья Петровна убедила меня остаться у нее и на этот день — говорила со мною так, что я стала весела попрежнему, чего никак не могла я ожидать после моего объяснения с нею. Она сама вводила меня в ребяческую веселость.

Итак, я осталась; и после обеда мы с Сашей собирались итти гулять, как вдруг вошел, почти вбежал к нам Кузьма Фомич; он торопился, чтобы жена не помешала ему, и выбрал минуту, когда она ушла в кладовую; он торопливо вошел и начал совать мне в руку свою тетрадку, с просьбой, чтобы я взяла это его произведение: иначе жена отнимет у него тетрадку и сожжет.

— Помилуйте, Кузьма Фомич, какая надобность ей сделать это?

— Нет, вы не знаете ее, возьмите.

Я взяла. Когда Марья Петровна возвратилась из кладовой, я рассказала ей.

— Это правда. Нельзя оставить тетрадь в руках у него: он станет читать всем; поедет в Кременчуг читать приказным, они будут смеяться по всему городу. Он давнишний сочинитель. Только прежде писал все проповеди да рассуждения о добродетели и читал всем. И над теми смеялись; а с этим он совсем осрамится. Я сожгу.

— Если так, то лучше позвольте оставить ее у себя.

— Это пожалуй. Что, вы хотите в другом сочинении описать его, как Николай Васильевич уж описал в одном? Опишите, он стоит этого. Только не читайте никому и не рассказывайте здесь; этого вы не сделаете, я знаю; а в печати опишите.

— Марья Петровна, что это вы говорите? Будто он точно описан в этом сочинении Николая Васильевича, как вы называете; неужели и вы этому верите? Ведь это ему так вообразилось. Это пустяки.

— Нет, как же пустяки, когда мне сам Николай Васильевич признался.

— Марья Петровна, не может этого быть. Как же он вам сказывал? Как?

— Сочинитель, Николай Васильевич, я вам говорю; фамилию все забываю, — как его?

— Гоголь?

— Ну, так; Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, так.

— И он вам сказывал это? Да он шутил?

— Какое шутил, вовсе нет. Он когда узнал, то все спрашивал меня, не сержусь ли я на него. — Что мне сердиться, багтяшка, за этого дурака. И хорошо сделали вы. Так и надо. Только вот жаль, что вас тогда немножко ввели в ошибку. Еще бы лучше, если бы вы не описывали, будто это было с офицером, — это одно жаль, что вам не так сказали, не знали, что приказный.

— Марья Петровна, вы меня удивляете, да как же это? Кузьма Фомич рассказывал — это невозможная вещь.

— Дурак он, оттого и вы увидели, и все видят, что он говорит вздор; никто не верит. И точно, он говорит то, чего нельзя ему говорить, потому и выходит, будто он врет. Да он и сам не знает. А все-таки оно так. Как же нет? С того это и написано, как он ехал в церковь.

— Как в церковь? Он сказывал о своем сватовстве и свадьбе, как он на вашем сговоре вместо вас обнял и расцеловал своего повыгчика; кроме этого, говорил он, не было ничего особенного.

— Это само по себе, и это еще самое меньшее; — видите, и глуп, и сердится, а все-таки молчит: хитер. После сговора я его и не видела до самого венчания. И свадьбу хотели сделать через две недели после сговора, но видят, нельзя, срам с ним, не дозвутся к невесте, не дошлются, назначили через четыре дня, чтобы меньше было этого стыда с ним. Срам был. Мне тогда и не сказали, как он ехал в церковь, я уж на другой день после того услышала. Вот это и самое главное. Потому Николай Васильевич и описал.

— Да как же это?

— Вот как. Я ездила в Киев и в Полтаву, лет десять тому назад. Сижу я вечером у своих знакомых (Марья Петровна назвала имя города и фамилию своих знакомых; я считаю пока невозможным повторить здесь эти имена; скажу только, что это было не в Киеве и не в Полтаве, а в одном из уездных городов), сидит тоже гость, по разговору видно, что проезжий, и давно не был в тех местах; такой разговорчивый, рассказывает все; и ему рассказывают. Вот он и говорит, — расшутился: «нет, я вам расскажу такой случай, которому вы не поверите». И рассказывает, как полковой командир женил какого-то офицера на своей родственнице, — я слушаю: что это, будто похоже, — и как этот офицер на сговоре обнял поручика с черными усами вместо невесты, и как потом не идет к невесте, робеет, хоть она очень сильно нравится ему, — все похоже, но думаю: «нет, не то; мало

ли бывает сходства!» А он продолжает себе: «но самое лучшее, — говорит, — как он поехал венчаться. Он ужасно обрадовался, что назначили свадьбу раньше, чем хотели прежде, а ее потому и назначили раньше, что стыд: не могут привести его к невесте, не идет; а сам говорит: «я очень люблю ее; только конфужусь». Назначено венчаться после вечерни, в пять часов. Ни невеста, ни из невестиных родных никто ничего не знает, что там делается; одели невесту; сказали: жених поехал в церковь. И невесту повезли в церковь. Приехала невеста — жениха нет. «Что такое?» Тревожатся. Но посол от жениха вбегает в церковь: «Ничего-с, не извольте беспокоиться, Кузьма Фомич сейчас будут». Видите, и имя-то было сказано Николаю Васильевичу, и он его запомнил; я услыхала это имя, мне уж стало казаться, что тут не просто сходство, а точно, мой муженек; и все, кроме офицерства вместо приказных, все обстоятельства и подробности те самые, но слушаю, потому что как мне сказать? Хозяева молчат: они знают нашу историю; думаю: «верно, мне кажется только, что про него, а им не кажется». Но когда Николай Васильевич сказал это имя «Кузьма Фомич», я вижу, хозяин с хозяйкою переглянулись и взглянули на меня; я им сделала тоже глазами знак, что я ничего, не обижаюсь, — ведь обо мне тут ничего дурного или смешного не будет, если это про мою свадьбу, — это им понятно, они и молчат: что ж, когда она не обижается. А я думаю все-таки свое: «может быть, и другое что-нибудь», — хоть уж почти не было сомнения у меня, но я рассудила так: если ему назвали жениха офицером вместо приказного, то, может быть, и еще что-нибудь переврали, поэтому лучше дослушать молча; тогда, может быть, и найду такой предлог, чтобы сказать: «вот, и моя свадьба была похожа», и уж рассказать от себя, как будто не приняла на свой счет.

Марья Петровна — женщина очень неглупая, но все-таки мне показалось замечательно такое светское уменье в женщине почти безграмотной и не бывавшей дальше уездных городов. Но потом, когда я стала коротко знакома со стариками Всеволодскими в Петербурге, рассказы Елисея Яковлича и Изабеллы Гедеоновны из их молодости убедили меня, что в обществе мужиков, солдат, мещан уменье держать себя, искусство владеть собой, приемы для искания выходов себе и другим из неловких положений — все это развито едва ли меньше, чем в светском обществе. Только формы светскости там другие; часто не изящные, иногда неуклюжие, но светскость там также тонка.

— Поэтому я слушала молча, и хозяева поняли мою цель, — продолжала Марья Петровна, — не перебивали его, чтобы не сконфузить. Он и рассказывает:

«Невеста приехала в церковь, — жениха нет. Что такое? Посол жениха вбегает: «Ничего-с, не извольте тревожиться,

Кузьма Фомич сейчас будут, вышла маленькая непредвиденность, задержала. Сейчас будут. Очень спешат. Не замедлят».

«А непредвиденность вышла вот такая. Шафер жениха, двое других сослуживцев приехали за женихом провожать его в церковь — жених еще не одевался. «Да что же ты?» — «Мне конфузно; право, это очень конфузно». — «Да что ты? С ума сошел? Или невеста не нравится тебе?» — «Как можно! Я все только о ней и думаю, но очень конфузно». Заставили его одеваться почти силою. Сели ехать в церковь. Карет, колясок — ничего этого там не было, поехали на простых дрогах — длинные дрожки, роспуски. Едут; подле жениха сидит шафер; жених все жалуется, что ему конфузно, шафер стыдит его. Жених замолчал будто убедился, что нельзя иначе. Но вдруг шафер видит: жених спрыгнул с дрог, шафер — не дурак, за ним, жених бежать через улицу к воротам дома, мимо которого ехали: ворота были затворены, подворотня не вложена, жених туда — хотел пролезть в щель, где лазят собаки, между полотнами ворот и землю, — и почти совсем было пролез, уж до колен улез на двор, когда шафер схватил его за ноги; прибежали другие провожатые, вытащили назад Кузьму Фомича. «Как тебе не стыдно?» — «Нет, напротив, мне очень совестно, — говорил Кузьма Фомич, — но не могу, увольте меня, конфужусь». Шафер и оба другие совершенно рассердились: «Не разбойник ли ты! Бесстыжий человек! Еще увольте! Да как ты осрамил бы нас, если б удалось тебе уйти! Ан ведь чуть не ушел. Еще бы немножко и не успели бы захватить его ног на улице! Не дурак, сообразил, что ворота заперты, калитка далеко, — и ушел бы, пока мы побежали бы кругом, через калитку! Сообразил, что никто не полезет за ним по грязи в подворотню! Не дурак, ушел бы!» — «Да, я сообразил, я ушел бы, и еще бы немножечко, и ушел бы! Не догнали бы! Я не дурак!» — говорит сам про себя Кузьма Фомич. — «Ну, что ты врешь-то, как же ты не дурак? — отвечают они ему. — Как ты не пожалел свою одежду-то? Рад, что тебя похвалили, и поверил; но как же не дурак ты, когда так перепачкался? Как мы тебя повезем в церковь? Живот у тебя как у свиньи; и грудь и колени тоже. Нельзя везти в церковь в таком виде! Как ты не рассудил этого?» А ему-то и на руку: «Правда, что этого я не рассудил, но вы увольте, господа; я о том и прошу вас: сделайте одолжение!» — «Да мы с какими же глазами приедем без тебя? Скажут: упустили! Нам стыд, как не досмотрели?» — «Господа, да нельзя кому другому за меня?» — «Что ты? с ума сошел? Кто же может за тебя в церкви стоять? Ведь ты хочешь жениться?» — «Очень желаю, это правда». — «Так что ж это ты говоришь? Не понимаешь разве, что глупость?» — «Нет, это я очень понимаю». — «Э, что с ним толковать, — говорит шафер: — везем в церковь, как есть. Сам виноват, что перепачкался». — «Нет, послушай, Балтазар Балтазарович...»

— Балтазар Балтазарович? Неужели? — спросила я.

— Да, Балтазар Балтазарович Пережвакин был его шафером, — отвечала Марья Петровна, — а что?

— Да, Марья Петровна, это не похоже на ошибку, правда ваша. Еще какие были фамилии?

— Напечатанных больше нет. Николай Васильевич говорил, когда мы с ним стали объясняться. «А это, — говорит, — мне понравилось имя: Балтазар Балтазарович». Но Пережвакина не напечатал так, — или так напечатал?

— Нет, переделал.

— Ну, он так и сказал, что переделал. «А вашего, — говорит, — Кузьму Фомича разделил на двоих: ему-то самому, — говорит, — Кузьмича оставил, а шафера, говорит, Фомичем окрестил», а Балтазару Балтазаровичу он дал совсем другое, особое какое-то назначение. Правда?

— Правда.

— Ну, значит, не обманул. И говорит, там у меня не в подворотню. Правда?

— Правда.

— Ну, он так и говорил: «потому что, — говорит, — я писал для представления, а в представлении где же, — говорит, — чтобы на дрогах ехали, и лошадь, и все — неудобно, — говорит, — потому у меня помещено в комнате, из окна прыгает». — Так?

— Так.

— Ну, значит, ни в чем не обманул. Да я и не подумала, чтобы он обманул. Он так мне говорил и извинялся: «пожалуйста, — говорит, — не сердитесь, ведь я не знал, что это про вашего супруга». Я говорю: «вижу, батюшка, что не знали, а то, конечно, не заговорили бы при мне».

— Но это вовсе не то сочинение, которым обижается Кузьма Фомич.

— Конечно, совсем другое. Как оно называется? «Свадьба», что ли?

— Почти что так.

— Ну, Николай Васильевич так и говорил, что-то такое — «Свадьба» ли, «Женитьба» ли, «Сват» ли, «Сваха» ли, «Жених» ли, — не вспомню, этакое что-то. А то само по себе. Он так и сказывал. «Когда, — говорит, — я эту историю услышал, то и вздумалось, — говорит, — мне описать этакого человека. И как мне тогда сказали, что это было с ротным командиром, то я его и описывал офицером, только, — говорит, — ту перемену сделал, что вывел его в отставку и вместо полкового командира, как мне сказывал, сделал тетку. Но, — говорит, — поленился тогда дописать, бросил»; вот с этим-то и носится мой Кузьма Фомич. «А потом, — говорит Николай Васильевич, — мне опять вздумалось этого человека описывать, только уж для представления; ну, я — говорит, — его перевел из офицеров в

статские, чтобы не было похожего на прежнее мое сочинение, которого не дописал. А когда, — говорит, — переместил его из военной службы в статскую, то подумал, что уж можно и Балтазаром Балтазаровичем назвать тут кого-нибудь, потому что это имя мне нравилось; при военном звании неловко было; а тут, думаю, переделал службу, так можно имя поместить. Ан, вот тебе и переделки! Вместо переделки-то и попал на настоящую правду».

— Так он все и рассказывал? Все верно с вашею свадьбою?

— Все, все, Лизавета Сергеевна; только жениха офицером называли ему, а дядю моего, который был его начальником, называли ему полковым командиром, вместо того что дядя судья. «Этого, — говорил он потом, — я не понимаю: отчего ж это не так мне сказали, когда все остальное точь-в-точь так?» А я ему говорю: «Да отец-то мой офицер, вот и смешали; думали, что дело было в полку; а мой отец командовал инвалидной командой». — «Ну, так, — говорит, — теперь видно, отчего вышла эта ошибка». — Так вот, когда шафер сказал, что можно везти моего Кузьму Фомича в том виде, в каком вытащил его из подворотни, двое-то другие провожатые сказали: «нет, так нельзя; Кузьма Фомич в этом прав».

— Да разве еще не все тут? У него ведь кончается тем, что вы уж рассказали, — что жених полез в подворотню, а у него выпрыгивает в окно.

— Он и говорил: «для представления, — говорит, — только это и пошло у меня». А как же, Лизавета Сергеевна, — ведь свадьба же была? Так разве обошлось этим одним с таким уродом? Господи, боже мой, господи! И я была отдана во власть такому человеку! Сколько я за него от стыда горела! И еще как ломался надо мною! Чего не делал он со мною в первое время! Господи, сколько унижений я переносила! Я вам говорю, Лизавета Сергеевна, большая разница между нами: что вам, богатым людям, в удовольствие и в пользу, — вот и вам самим, Лизавета Сергеевна: вы помянете, что так, все это обратится в пользу вам, — за то самое мы, бедные, сколько мук принимаем! За что моя жизнь пропала! Кому досталась моя молодость! За что? — господи, за что же? — Но как я задержала вас, Лизавета Сергеевна; идите же гулять с Сашею. Вернетесь, вечером доскажу.

— Досказывайте теперь, Марья Петровна, еще успеем.

— Ну, ну, надобно пользоваться молодостью. Саша скучает, дожидаясь.

И она заставила, почти заставила меня отправиться бродить по полям и по соседней роще.

Вечером она досказала мне историю свадебной поездки Кузьмы Фомича.

— «Везем его в церковь такого, как есть, — говорит шафер, — спина хороша, ничего; оботрем грудь, живот, коленки, и достаточно». — «Нет, Балтазар Балтазарович, — говорят

остальные двое, — так нельзя. Народ ведь и с боков и спереди смотрит, а не только стоит позади жениха с невестою. Неприлично. Повезем назад, домой, там переоденем». Привезли жениха домой. «Ну, где у тебя другая мундирная пара? Подавай скорее!» — «У меня другой мундирной пары нет». — «Врешь, врешь!» — кричит шафер. «Нет, ты опять неправ, Балтазар Балтазарович, — говорят другие: — у кого же, в самом деле, бывает по две мундирные пары? Это мы вздумали несообразность, — как мы не сообразили этого? Надобно взять у кого-нибудь. Только у кого же взять? Все чиновники приглашены на свадьбу — все уже в церкви, в мундирах. Негде взять». — «Вот и ехать не в чем, сами видите. Увольте, пожалуйста». — «Врешь! — говорит шафер: — почистишь немножко и ничего». — «Нет, — говорят другие, — конечно, на тебе больше всех ответственности за эту проволочку, потому что ты шафер, да ты ж и упустил-то его, — ведь ты сидел на одной стороне с ним, а не мы. Тебе натурально горячиться, когда и у нас голова идет кругом от этакого затруднения; и как же это мы не сообразили, что нечего сюда ехать, нет у него другой мундирной пары, а надобно было проехать прямо к Дорофею Ильичу, заседателю, он, как на наше счастье, болен, у него и возьмем мундирную пару».

Поехали к Дорофею Ильичу. Дорофей Ильич был вдвое выше и втрое толще Кузьмы Фомича. «Ничего, хорошо, — сказал шафер, — сойдет». — «Нет, господа, увольте: и фигура нехорошая выходит». — «Врешь, врешь, хорошо», — сказали все провожавшие и Дорофей Ильич. — «Очень, очень я вам благодарен, господа, потому что так влюблен и желаю жениться, что не умею описать; и чувствую, что вы доставляете мне счастье, а ты убежал бы; что хорошего? — век жалел бы!» — «Да ты теперь не убежишь?» — «Не хочу, Балтазар Балтазарыч, как можно бежать от своего, можно сказать, блаженства? Только конфужусь, Балтазар Балтазарыч; я и тогда не хотел, — сам не знаю как; ты, пожалуйста, уж смотри за мною: могу поддасться искушению». — «Слышите, господа? Как же нам с ним быть, когда сам просит, чтобы крепче смотрели за ним? — говорит Балтазар Балтазарыч: — войдите в мое положение, господа! Разве можно удержать человека на дорогах? — ведь толстый. Конечно, я теперь не дам ему убежать, буду держать за руку. Но ведь он бросится вниз, в грязь; он теперь эту штуку знает: замазался, то и нельзя везти в церковь. Бросится». — «Ей-богу, брошусь», — говорит Кузьма Фомич. — «Я не сажусь с ним так. Кому угодно на мое место подле него?» Те не берутся: как удержишь, если кинется вниз, — перепачкается, не удержишь. «Да нет, и я так не согласен, господа, — говорит Дорофей Ильич: — он у меня испортит мундирную пару. Снимай, брат, Кузьма Фомич; рад бы душой услужить, но не могу». Кузьма Фомич

в слезы: нет, везите его в церковь: «желаю», «я очень влюблен». — «Да ведь не утерпишь, бросишься в грязь?» — «Брошусь, ей-богу, брошусь». — «Ну, господа, когда вы не садитесь на мое место рядом с ним, и вы, Дорофей Ильич, не можете подвергать вашего платья такой опасности, то предлагаю вам: одно средство, одно и есть — привязать его. Соглашайся, брат. Привяжем к козлам». — «Я согласен, — говорит Кузьма Фомич, — пожалуй, что у меня такое желание жениться, какого нельзя и выразить, но только робею от стыда». — «Нет, брат, Кузьма Фомич, этого нельзя, и ты, Балтазар Балтазарыч, напрасно это предлагаешь, — говорят двое остальные провожатые: — неприлично было бы везти привязанного. Как можно? Сами сообразите: неприлично». — «Что же неприличного? — говорит Балтазар Балтазарович: — войдите же, господа, и в мое положение: там все ждут, а мы тут время теряем. Невеста, надобно полагать, уж давно в церкви. Это и мне, и вам стыд; скажут: что это, жених просит — «везите в церковь», а они не везут. И вам будет стыд, а главное мне, шаферу. Сообразите, господа, мое положение. Ведь просит — «везите». — «Прошу, везите. Очень желаю. Только брошусь, ей-богу, брошусь. Привяжите к козлам, господа: тут нет никакого неприличия; если бы пьяного, — ну, неприлично; а то только по моей конфузливости». — «Нет, Кузьма Фомич, привязанного нельзя везти, неприлично. Осудят, все осудят», — сказал Дорофей Ильич. — «Эх, Дорофей Ильич, — сказал шафер, — вам просто жаль, что ваш мундир потрется от вожжей, — так бы и сказали». — «Так вот что я вам скажу, когда так, — сказал Дорофей Ильич: — это точно, что мундир потрется от вожжей, но я говорю вовсе не потому. Мундир что? — ведь вожжи пойдут по руке выше локтя, тут ничего, хотя и потрется несколько; лишь бы локти и воротник не вредились, на этих местах платье носится; а вы не станете привязывать за шею?» — «Нет, зачем же? — поперек туловища охватить, как вы говорите, и достаточно». — «Я так и рассуждал; потому что же мне затрудняться насчет мундира? Но действительно, неприлично. Вот вы сказали, Кузьма Фомич: «если бы пьяного, тогда бы неприлично» — совершенно напротив; если бы везти привязанного пьяного, тогда нет ничего неприличного. Но всем известно, что вы этим не занимаетесь, Кузьма Фомич, потому и неприлично. Точно так же, если бы вас везли венчаться против вашего желания, тогда нельзя не привязать. Но ведь опять известно, что вы по собственному желанию вступаете в брак». — «По моей чрезвычайной влюбленности, — говорит Кузьма Фомич, — и я сам об этом прошу, потому единственно, что робею». — «Что же это такое? — скажут, — не могли они внушить ему бодрости? Что же они, говорить, что ли, не умеют? Выгодно ли для вас такое мнение, господа? И особенно вы, Балтазар Балтазарыч?

Извините меня, но скажут: и шафер-то дурак, как же дал человеку впасть в такое уныние? И про вас, господа, и про меня теперь, как это в моем доме, тоже скажут: дураки они. А я вам скажу, лучше всего сделать вот как. И приличие будет соблюдено вполне, потому что нет никакого вида, просто будут видеть, что едете вы, господа, втроем на дрогах, — и больше ничего, никакого вида, ничего не заметно. Так надобно сделать. Этому уже был пример, я вам скажу. И прекрасно сошло. Так и вы сделайте; просто взять мешок большой и посадить туда; так и довезете, положивши на дроги. Только положить надобно вдоль. В церковь внесете в боковую, в трапезу, где никого нет, — все в той, в главной церкви, где будет венчание, — а вы мешок-то в трапезную, в пустую, там и высадитесь». — «Нет, это очень обидно», — сказал было Кузьма Фомич, но все трое провожатых закричали: «молчи, ты, урод! Что ж с тобой делать-то?» — все согласились, что это лучше всего. Так и сделали.

— Марья Петровна, да этого быть не может!

— Быть не может! — сказала Марья Петровна, — быть не может! Хорошо вам говорить: быть не может! А каково мне было видеть этого человека моим мужем! Быть не может! Я и сама хотела бы говорить: быть этого не может!

Она заплакала. — Господи, за что ж это? за что ж это? — повторяла она. И мне было не смешно. За что ж это, в самом деле?

— И что он делал со мною! Это всеобщее посмешище, что он делал со мною в первое время! — продолжала Марья Петровна, несколько успокоившись: — какое унижение! Он был влюблен в меня. О, лучше бы он был пьяница, ревновал меня, бил меня, ненавидел меня, — что угодно! — все было бы лучше...

Быть может, я расскажу эти возмутительные вещи, которые слышала от Марьи Петровны, но не здесь, — но нет, нет: я очень смела, и это не было бы нарушением тайн моей доброй Марьи Петровны, потому что никому никогда не поверяла она этих своих страданий; но, имея полное право рассказать их, я — очень смелая — едва ли когда решусь рассказать то, что слышала от нее, и что потом слышала от нескольких других, и что Изабелла Гедеоновна слышала от многих.

Есть предел всему, даже моему желанию раскрывать глаза моим младшим по летам или по опыту жизни сестрам. Есть вещи, о которых даже я скажу: «не хочу говорить об этом».

Впрочем, мне еще остается досказать, как Марья Петровна объяснилась с Гоголем. Он кончил свой анекдот тем, что внесли жениха в пустую боковую церковь, положили мешок за колонну, вынули оттуда жениха, и он пошел венчаться.

— Совершенно верно, — сказала Марья Петровна: — все это было совершенно так; только одно сказали вам не так: жених

был приказный, а не офицер. Я знаю это довольно близко. Это было в нашем городе. Довольно давно.

— Неужели в вашем городе? — сказал Гоголь, — если так, то не слышали ль еще чего-нибудь смешного, как этот господин отличался после? — Она сказала так спокойно, что Гоголь и не подумал ничего.

— Этого я не умею сказать вам, — отвечала она: — я долго имела вражду против этого человека. Поэтому, что же мне говорить о нем? Он делал мне очень много дурного. Я, вероятно, стала бы говорить о тогдашней его жизни слишком дурно. Лучше скажу, что теперь он уже не может обижать меня. Я отчасти его родственница.

— Приятно иметь таких родственников, — сказал Гоголь.

— Да, не желаю никому, — отвечала Марья Петровна.

— Полагаю, — сказал Гоголь. — Но все-таки вы извините меня: я не ожидал, что рассказываю о нем при его родственнице.

— Помилуйте, я понимаю это. Но не стоит извиняться. А если хотите, я расскажу вам еще несколько странных свадеб.

Она стала рассказывать разные случаи, разговорилась с Гоголем и уж часа через два сказала:

— Вы можете теперь видеть, что я не сержусь на вас, хоть жених в мешке и приехал венчаться со мною.

Гоголь опять извинялся, но уже видел, что она действительно не сердится. Они сошлись. И что всего забавнее, Гоголь даже напросился в гости к ней: раза два был у нее потом проездом через город, в котором она жила, и беседовал с Кузьмой Фомичем и слушал своего «Шпоньку», с комментариями Кузьмы Фомича, — очень понравился ему, браня вместе с ним Гоголя.

Кузьма Фомич отзывался мне с большими похвалами о помещике Т-ном — фамилия, которую брал на себя для него Гоголь и которую я не хочу сообщить вполне: «прекраснейший человек и обещался всем в Петербурге рассказать, что это клевета на меня, что я не был никогда в военной службе, и все клевета».

IX

ИЗ ЧИТАННОГО

Л. С. Крыловой

1. ГАФИЗ

Биографический очерк, составленный А. Фетом

Магомет Шамседдин (Солнце Веры), по прозванию Гафиз (блюститель кургана, так как он с начала до конца знал эту священную книгу), принадлежал к секте Софи или созерцательных

мудрецов и мистиков, предавался богословским и философским трудам, сочинял в аскетическом вдохновении возвышеннейшие гимны, в которых попираал впрах все плотское. И вдруг этот мистик и мудрец отказывается от всех плодов своих долговременных усилий; и песнь [его] расцветает красками жизни, ароматом свежести; а между тем все, что пережил, изведal [он], звучит в его лире⁷⁴.

2. ИЗ ГАФИЗА

Книгу мудрую берешь ты, —
Свой бокал берет Гафиз;
К совершенству все идешь ты, —
К бездне зол идет Гафиз.
Многих избранных блюдешь ты
Пучением своим, —
К безрассудствам безрассудных,
Веселясь, зовет Гафиз.
К небу ясному встаешь ты
Дымом тяжким и густым, —
Горной речки блеск и свежесть
В глубь долин несет Гафиз⁷⁵.

Тетрадь пятая

Х

БЕЗ РАМЫ, НО И БЕЗ ЛАМПЫ

1. ПРИ СВЕЧАХ

Рассказ Л. С. Крыловой

Я прочла им «Обидчивого пуританина» и «Из читанного». Они все пятеро молчали.

Саша тоскливо взглянула на моего мужа. Муж холодно встретил ее взгляд и пожал плечами.

Ее муж и Нигулецкий были смущены.

Лидинька кинулась мне на шею:

— Брось, Лиза, дай, я сожгу все это.

— Зачем же, Лидинька? Это вовсе не так страшно, как тебе кажется.

— Остапенко должен был исправить графиню Рудольштатскую, пересказать ее путешествие в мужском костюме; это должно было иметь совершенно противоположный смысл, — сказала Саша.

— Женщинам не говорят, но сестре брат может сказать: это клевета, Лизавета Сергеевна. Никто не имеет права и над своею честью, — сказал Нигулецкий.

— Почему вы знаете, Петр Ульяныч, что это клевета? Я исповедывалась вам когда-нибудь? — сказала я.

— Обман! обман! зачем ты завлекла меня, Лидиньку и Елисея Яковлича помогать тебе? Если бы мы знали, что ты повернешь так — мы никогда не согласились бы участвовать. Это должно было иметь не тот смысл, — повторяла Саша: — ты обманула меня и Елисея Яковлича, заставила меня обманывать Лидиньку. Это нехорошо.

— Не обману, Саша, будь спокойна. Верись мне?

— Верю... да... верю. Но это что-то страшное, — сказала Саша.

— Будто я такая страшная женщина, удивительная героиня — да? — сказала я.

— Что с ней спорить, — сказала Лидинька: — она не злая, только у нее голова набита глупостями.

— Давайте распечатывать письма, — сказал мой муж.

Лидинька, Саша вместе с мужьями выехали из Петербурга в Старобельск днями двумя после нас. При отъезде они получили от Изабеллы Гедеоновны пакет писем с надписью: «распечатать, когда история «Белого пеньюара» будет дописана Лизаветой Сергеевной».

Мы распечатали. В пакете было три запечатанных письма: два на мое имя от Изабеллы Гедеоновны, одно на имя моего мужа от Елисея Яковлича. Кроме адресов, на обертках были выставлены номера и надпись на каждом: «распечатать в порядке номеров».

Я распечатала первое письмо. Оно состояло из нескольких строк:

«Я убеждала и ободряла вас. Но прошу вас еще подумать о том, на что вы решились и что одобряла я.

Конечно, я полагаю, что это будет поздно. Может быть, только потому и пишу вам, что уже поздно. Вы знаете мое желание; оно остается прежнее; я желаю, чтобы история «Белого пеньюара» была напечатана. Но теперь, в решительную минуту, я прямо выскажу вам истину.

Я не имею надобности говорить, искренно ли я привязана к вам. Но у меня есть чувства гораздо сильнее дружеской заботливости о вашем спокойствии. В этом деле того ли они требуют, что полезнее всего для вас? Я сомневаюсь теперь. Очень может быть, что под влиянием этих сильнейших побуждений я ободряла вас на дело, которого не пожелал бы друг, ставящий выше всего ваше спокойствие. Я стала думать об этом после вашего отъезда; в эти два дня почти убедилась: да, если бы всего дороже для меня было ваше тихое счастье, я не внушала бы вам этого намерения, не ободряла бы вас в нем, не приискивала бы для вас средств исполнить его.

Потому мой честный дружеский совет вам: бросьте, сожгите.

Ваша Изабелла Всеволодская»,

— Поздно, — сказала я. — Я ждала — такого совета. Я всегда знала те побуждения, о которых она говорит, что они в ней «сильнее заботы о моем спокойствии», и давно замечала, что она действовала под их влиянием. Однакоже я не сомневаюсь в ее заботливости о моем спокойствии. Но мне всего приятнее то, что она пишет коротко. Подобные увещания скучны; потому, чем короче, тем лучше. — Что пишет ее Елисей Яковлич тебе, мой друг?

Муж распечатал письмо, адресованное к нему.

«Павел Дмитриевич, прошу вас прочесть всем вслух следующие строки, составленные мною не из слов, а по взглядам и выражению лица вашей супруги в ее разговорах с друзьями и особенно с моею женою. Она не говорила ничего такого, но я принимаю на себя смелость слышать и то, чего нельзя услышать.

Неужели вы думаете, что дама, называющая себя Лизаветою Сергеевною Крыловой, понимает, по какому побуждению она действует? Это не ясно для нее самой; но для некоторых очень ясно. Она увлекается потребностью выразить мужу, что она любит его гораздо больше, чем себя. К чему это? Разве вы не знаете этого? Я не скажу, что можно доказать это иначе; но этого вовсе не нужно доказывать — это видно. Пусть она медленно скажет, угадал я ее чувство, или нет».

Этого я не ожидала.

— Молодец, Елисей Яковлич, — сказала Лидинька.

— Лидинька и я, мы сами это видели, но не решались заговорить об этом с тобой. Читайте, Павел Дмитриевич, что будет дальше.

Но мой муж молчал.

— Читайте вслух, Павел Дмитриевич, — повторила Саша. — Читайте.

Мой муж прочел:

«Не обидна ли отчасти для вас, Павел Дмитриевич, эта потребность вашей супруги? Вас я не прошу отвечать, — обидна, это несомненно. Передайте письмо кому-нибудь другому, если затрудняетесь читать вслух дальше, если нет, то потрудитесь сам перевернуть страницу, — только прежде дождитесь ответа Лизаветы Сергеевны на эти мои слова».

— Я знаю, что я делаю, — сказала я. — Что за патетизм. Я не героиня, и тут нет ничего важного. — Что там дальше, мой друг?

«Напомню вам, Павел Дмитриевич, некоторые афоризмы:

Мужчина, который не заботится об охране спокойствия женщины — дурной человек; если он не делает всего, что может; для сохранения уважения к ней в обществе, он — низкий человек.

Если он ее муж, то это прилагается к нему в тысячу раз сильнее, чем ко всякому другому.

Ваша просьба, конечно, убедила бы Лизавету Сергеевну отказать от ее намерения. Что вы скажете?»

— Скажи, Поль...

— Зачем? Я скажу вот что: обязанности Кизляр-аги неудобны для мужа. Все это вздор, Лиза. Ты права.

— А что же, в самом деле, скажут о вас, Павел Дмитриевич? — сказала Саша.

— А очень мне нужно, что скажут обо мне.

— А если скажут, что вы поступите низко, когда не попросите Лизу бросить это? — сказала Лидинька.

— Скажу, что вы еще молоды и что поэтому я очень люблю слушать вашу брань.

— Ну, хорош и вы, Павел Дмитриевич! Не умнее моей сестрицы; у всех вас здесь, кроме Саши, головы набиты глупостями, — сказала Лидинька.

— Без тебя, Лидинька, они увлекли бы и меня, — сказала Саша.

— Лизавета Сергеевна, я прошу вас: бросьте, — сказал Тисьмин.

— Лизавета Сергеевна, вы тогда говорили со мною, накануне разговора с Всеволодским: — вы говорили не то, что вы возводите на себя теперь, — сказал Нигулецкий.

— Честный человек всегда солжет, чтобы оградить честь женщины, — сказала я. — Я всегда считала вас честным человеком, Петр Ульяныч.

— Бросьте, бросьте, Лизавета Сергеевна, это плохие шутки, — говорили он, Тисьмин и Саша.

— Вот, опомнились, наконец! Умные за это! — сказала Лидинька.

— Поль, присоединись и ты к ним, — сказала я.

— Его положение очень трудно, — сказал Тисьмин.

— Пустяки, — сказал мой муж: — что тут важного? Не слушай никого, Лиза, слава богу, не маленькая.

— Ах, какие глупости у вас в голове, Павел Дмитриевич, — сказала Лидинька.

— Может быть, ты и права, Лидинька, — сказала я. — Но все равно.

— У тебя одно, Лиза, я знаю: «не боюсь»; — это глупо. Если не боишься, то и не бойся. А сама боишься, чтобы не показалось, что ты струсилась. Хочешь быть героиней. Не беспокойся, все скажут про тебя: «глупо».

— Ты права, Лидинька. Мне совестно отступить, и это глупо... Но все равно. Продолжаем, посмотрим, что в третьем письме.

«Если вы, Лизавета Сергеевна, сами убедились, что лучше всего бросить, или другие упростили вас бросить, то я очень рада. В таком случае киньте все в огонь, и это письмо также.

Если же нет, переверните страницу. Там уже нет никаких убеждений, а только говорится о том, как поступить, если вы не бросили вашего намерения: сообщаются формальности исполнения только».

Я перевернула страницу.

«Прежде всего, я уверена, что Павел Дмитриевич и вы не оскорбились: он — содержанием письма моего мужа к нему, вы — тем, что мой муж взял на себя смелость отгадывать и высказать ваши мысли. Это разумеется само собою, но он просил меня все-таки сказать, что он надеется: вы примете во внимание только искренность чувств, с которыми он написал свое письмо.

Вы читаете эту страницу только в таком случае, если остались при своем. Итак, потрудитесь сделать следующее:

Вставить после всего несколько отрывков, какого кому угодно будет содержания. Чем короче каждый отрывок, тем лучше.

Сделав это, вы пошлете рукопись в Петербург по следующему адресу (тут следовало имя улицы и дома, которых я не переписываю) квартира № 19, мещанке Лукерье Антипьевне Антипьевой, для передачи Людмиле Анзельмовне Коробейниковой.

Людмила Анзельмовна Коробейникова — этот псевдоним нов для вас. Не помню, приходило ли в мысль кому-нибудь из вас, что наши истинные имена слишком легко обнаружили бы, если бы мой муж или я, или кто-нибудь из нас принял на себя сношения с посторонними лицами для печатания «Перла создания». Кажется, мы даже и говорили об этом. Не помню хорошенько. Итак, нашим агентом по сношениям с литературным миром должен быть кто-нибудь, совершенно чуждый нашему кругу. Л. А. Коробейникова — псевдоним лица, найденного мною для этой должности. Кто она — это известно и останется известно только мне и моему мужу. Вам и всем остальным не нужно и неудобно знать это. Она — довольно образованная дама или девушка, которой вы можете предположить от 18 до 25 лет. Я несколько лет тому назад, — вероятно, в ее детстве, — оказала ей очень важные услуги; ближе всего к истине будет предположить, что она обязана мне своим воспитанием; быть может, она была сирота; быть может, ее семейство было очень бедно. То или другое — правда. Таких случаев в моей жизни, вы знаете, не очень мало, потому что у моего мужа много знакомых между миллионерами, а в числе миллионеров не очень мало людей очень добрых. Итак, Людмила Анзельмовна Коробейникова одна из тех многочисленных моих знакомых, с которыми я вижу очень редко, из которых очень многие вовсе не бывают в гостях у меня. Поэтому вы не знаете, — и никто кроме моего мужа не знает, — встречался ли когда-нибудь с этим лицом.

Она для вас — Неизвестная.

Бесполезно говорить, что вы для нее не совершенно неиз-

вестные. Было бы напрасно скрывать, что рукопись, ей передаваемая, выходит из моего интимного круга. Она может знать, из кого состоит он; наполовину она знает его состав. — Но только. Из 14 имен ей известны, может быть, до семи или восьми. Впрочем, она плохо знает даже имена моих детей и едва ли знает число их. Об остальных она не имеет понятия. Конечно, она легко могла бы узнать все имена. Но она дала слово не делать этого. Она сдержит его, пока вы сами, — весь наш кружок, — не найдете возможным расширить доверие к ней (чего, по моему мнению, теперь еще не нужно). Сама она не будет разузнавать ничего. Эта уверенность моя основана на соображениях прочных. Во-первых, ей некогда быть любопытною. Во-вторых, я знаю ее очень давно и знаю, как строго держала она слово в случаях гораздо более трудных.

Мещанка Лукерья Антипьевна — это уже не псевдоним, а истинное имя старухи-прачки, которая будет исполнять поручения Коробейниковой.

Итак, Коробейникова для вас — почти представительница публики. Если вы хотите объясниться с ней, вам надобен довольно определенный очерк фигуры этой Неизвестной: вы можете представлять себе Людмилу Анзельмовну Коробейникову молодую женщиною, лет от 18 до 25, как я сказала, блондинкою, высокого роста, довольно полною, цвет лица — очень свежий, глаза — темноглубые, цвет волос каштановый. Это не доказательство, что она не такова и на самом деле. Девушка она или дама, вы не знаете этого».

— Будем писать отрывки, — сказала я. — Изабелла Геденовна говорит, чтобы мы все писали их. Но все мы, кроме моего мужа, против моего намерения; поэтому я просила бы вас не писать.

— И прекрасно, — сказала Лидинька, — я очень рада.

— Поэтому, не для чего и читать то, что напишем мы с мужем, если вы все согласны с Лидинькой.

— Да, не читай, — сказала Лидинька: — пока я не знала хорошенько, что ты хочешь сделать из этого, мне казалось это очень весело.

— Итак, вы согласны, чтобы я прочла вам только описание этого нашего сеанса, которое сделаю, и что нет надобности читать «Лоскутки», которые напишу вместе с мужем, — ведь ты поможешь мне, Поль?

— Да, — сказал мой муж.

— Действительно, лучше не читайте их нам, Лизавета Сергеевна, — сказала Саша: — мы понимаем, что вам было бы неприятно опять слышать наши споры и просьбы. Согласны, господа?

— Да, — сказал ее муж. — Но это не мешает нам продолжать наши другие, шуточные чтения?

— Конечно, нет, — сказала я. — В том мы не расходимся.
— То действительно только шутка, то не глупость, — сказала Лидинька.

Итак, все следующее будет прочтено моею сестрою и всеми другими нашими только уже в печати.

2. МОЙ ВЕЧЕР

Л. С. Крыловой

Мы перешли к другим разговорам. Я была очень довольна, что они согласились избавить меня от всякого стеснения. Потому что это было для меня уже стеснением. Писать с мыслью, что будешь читать им — моей милой Лидиньке, всем остальным троим, которые так любят меня — это становилось стеснительно. Я была очень довольна, и мы просидели до поздней ночи. Гостей не было. Я была очень весела.

И теперь также. Мой вечер начался за полночь, когда все в доме заснуло. Мне не спалось.

Неужели в самом деле так трудно и страшно то, что я сделала, — почти кончила и кончу, при помощи мужа, несколькими страницами, — что тут страшного? Я не понимаю. Какое тут геройство?

Но пафос их странно подействовал на меня. Эти три письма с увещаниями, торжественное чтение, смущение четверых из шести, их просьбы, — это смешно, это ребячество, я понимаю, — и все-таки это действует: чувствуешь себя немного героинею.

Это очень приятное чувство, — и улыбаться, чувствуя, что в самом деле это вещь нетрудная, — и думать: «однакоже другие находят это трудным». Саша не ребенок, не Лидинька, — нет; а их мужья не моложе меня и летами; они тоже не на шутку боятся за меня. И старики! положим, старики слишком осторожны. Но это — двое смелых молодых людей, — молодая женщина, которая так много перенесла в детстве, не боится более, — и такая пылкая, — они все удивляются моей решимости.

Это приятное чувство.

Но мой муж — действительно, он... он — благородный человек, благородный человек. Это всего приятнее мне: человек, которого стоит уважать.

И кто эта Людмила Анзельмовна Коробейникова? Эта неожиданно вводимая участница едва ли не всего сильнее подействовала на мое чувство. Она уже посторонняя: завтра будут написаны «Лоскутки», и послезавтра рукопись отправится в чьи-то чужие руки.

Кто она? Мы строили много догадок, остановились на трех именах; может быть, и не отгадали; скорее, отгадали; но все

три — они уже чужие. Которая из этих трех она? Это не важно. Поочередно мне представляются все три, одна за другою: что скажет А, если Коробейникова — она? Что скажет В, если Коробейникова — она? И не А или В, — рукопись отправляется в ее руки затем, чтобы идти в печать; «она — представительница публики»; да, ее рука — рука публики, протянутая за рукописью, — взяла ее и... Быть автором — это еще ничто перед обаятельным чувством быть действующим лицом. Актриса, — положим, только актриса; но я всегда завидовала и актрисам; актриса — да, но какую роль играет актриса? Когда актриса — замужняя женщина и играет роль замужней женщины, она на сцене не только актриса, она отчасти и сама она. А если роль соответствует ее жизни? Извольте, я только актриса, успокойтесь.

Будто я хочу быть чем-нибудь другим? — Никогда. Но я и играю роль, которую создаю себе. Почему создаю себе такую роль? Потому что так хочу. Почему так хочу? Я не обязана объясняться. «Ей нравится эта роль?» — Конечно. «Почему она ей нравится?» — Это моя фантазия. Почему ж я не могу фантазировать? Вот прекрасно! «Почему ты фантазируешь?» — Мне так нравится. Что тут важного?

3. ЛОСКУТКИ

Писано в две руки Л. С. и П. Д. Крыловыми

Ему было сказано: я не нуждаюсь в вашем согласии. Где он? Вы видели его? На что ж мне ваше согласие? Поймите, милостивый государь, что это только деликатность к вам с моей стороны, не больше.

Что возразил бы он на это?

Ты сделаешься больна. Мы остановимся.

Я знаю, ты умеешь молчать.

Я знаю, ты хочешь быть образованною девушкою. Ты будешь в пансионе.

Я согласна.

Но ты ничего не должна знать.

Нет, я буду знать, что вы были очень добры ко мне.

— Как это странно! Отчего это так скоро наскучило мне?

— Очень просто, мой друг: это был каприз, который возник от ненатурального положения.

В самом деле, какая ж мы были компания?

— И неужели это в самом деле пустяки?

— Как смешно сомневаться в этом, мой друг!

И правда: совершенно неприличные летам сомнения!

— Но она очень хорошо знала человеческое сердце. Она нарочно вызывала меня больше резвиться; и действительно, без того я не так скоро сказала бы себе: довольно!

— Да, она умна.

— Но неужели ты и теперь думаешь, что это произошло от пустой сцены, которой придавали тогда такую важность?

— Как же не понимать теперь, что причина была совершенно другая: у меня на глазах были люди, которые любили друг друга. Это смягчило мою душу, обратило меня в человека.

— Но неужели ты в самом деле не сердись?

— Поговорим, пожалуй, во второй раз. Только в третий раз не спрашивай же. Иначе я почту тебя все еще несовершеннолетним человеком.

4. БЕССОННИЦА

Л. С. Крыловой

Наши «Лоскутки» вышли гораздо короче, чем надеялись мы сами. Но зато мы проработали над ними до двух часов ночи. И зато из двадцати страниц мы сделали одну.

— Теперь старайся заснуть, Лиза, — говорил мой муж, уходя: — ты очень долго не спала и вчера.

— Постараюсь; вчера удалось-таки заставить себя уснуть. Вероятно, удастся и ныне.

— Или лучше я останусь сидеть с тобой. Тебя очень волнует эта рукопись.

— Нет, уйди; мне хочется быть одной. Даже ты мешаешь мне.

— Но я боюсь за тебя.

— Нет, если волнение будет слишком сильно, я пойду к ним.

«К ним», добрым и невинным, — они обе тут, подле меня: когда мы собираемся у нас, Лидинька и Саша спят в бывшей комнате Лидиньки, рядом с моей; теперь дверь между этими комнатами отперта.

— Я пойду к ним и успокоюсь, — не бойся, мой друг.

И я сладила с собою: я ушла к ним, и пишу это у них; они спят, мне было бы жалко разбудить их, мне было бы стыдно, если бы они увидели меня в экстазе. Я должна держать себя смиренно, — и я опять холодна.

Но что было со мною! я никогда не испытывала этого. Я, я — такая солидная и здоровая, имела галлюцинацию. Теперь же, через полчаса, я смеюсь над своим восторгом, но я рада, что я испытала его. Я видела ее, говорила с нею, — и теперь я знаю себя: я видела себя, я слушала себя.

Я не буду описывать ее, я не хочу описывать ее, но теперь я знаю, кто я: я видела волшебную силу в ее лице.

Но теперь я уже опять владею собою.

Но все-таки я хочу говорить. Но теперь я уже холодна. Я свободно вызываю фигуру, которой не хочу видеть ясно, — это другая фигура, — я оставляю ее в тумане, всю, я хочу видеть только глаза ее, хочу, чтобы они смотрели на меня, и я вижу их, поднимая свой взгляд: они смотрят на меня, — это не мои глаза, — я ничего не могу прочесть в них, кроме любопытства, они выпытывают меня, но она молчит, и я выскажу ей только то, что захочу. Я не могу говорить с нею здесь, я затем здесь подле них, моих милых и наивных, чтобы нельзя мне было говорить, но я хочу высказать то, что могу высказать в этой комнате, и я пишу.

5. ПИСЬМО Л. С. КРЫЛОВОЙ

к Людмиле Анзельмовне Коробейниковой

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss ⁷⁶.

Пусть, насколько хватит сил,
Чернь тебя клянет;
Пусть зелоты на тебя
Выступят в поход; —
Ты не бойся их, Гафиз ⁷⁷.

Я и не боюсь за себя. Но я боюсь за вас, потому что я не знаю, кто вы. — Зачем вы смотрите на меня?

Вы смеетесь, быть может? Если так, я очень рада за вас. Моя Лидинька смеется надо мною.

Но, быть может, вы уже боитесь? — Саша боится. Не бойтесь.

Нет, вы не они. В ваших глазах я не могу прочесть ничего, кроме любопытства. Кто вы, я не знаю. И все-таки я буду говорить с вами.

Что вы думаете обо мне?

«Сначала вы казались мне деспоткою и формалисткою, и деспоткою, ревнивою до странности, — ревнивою к воспоминанию».

А теперь?

Вы молчите. Но вы не остановите меня этим. Все равно, кто вы: — зачем вы смотрите на меня? Вам странно, что я была ревнива к воспоминанию, — нет, я не ревновала, я гнушалась. Понимаете ли вы это чувство? Помните ли вы свое сердце совершенно чистым?

Вы молчите. — Понимаете ли вы меня?

Я не знаю. Я вижу только, что вы хотите знать, кто я и что было со мною. Извольте. Я не боюсь за себя.

Что вы читали обо мне и как вы понимали?

Неужели вы принимали за важную черту в моей жизни то, например, что я была одета в пальто под именем моего кузена Товроговского? Может быть, это было так; это и было так; но это могло быть и иначе. Если бы нельзя было рассказать этого именно так, как было, то же самое было бы рассказано иначе. Я стала в положение, которое подвергло меня удару, оторвавшему меня от мужа, — я могла получить точно такой удар и не на площадке дачного сада, за чайным столом под деревьями. Все зависело только от того, что я перекостюмировалась в мужское платье. Я говорила об этом Всеволодскому с негодованием, будто о преступлении. Да, говорила. Но, говоря с ним, я кипела негодованием на себя. Понятно: я заходила в крайность. Будто я в самом деле такая педантка? Кто из молодых женщин не надевал иногда красную рубашку русского парня или кафтан с прорезными рукавами армянского юноши? И я надевала не раз. Что важного тут? Эти фантастические костюмы невинны уже потому, что прямо говорят: «маскарад, шутка», — обмана нет. Обман состоял только в том, что я надела пальто; эта черта могла быть сохранена благодаря тому, что никто, кроме Тисьмина и одного из его гостей (Астахова, как он назван у Всеволодского), не помнит Товроговского; а эти люди — оба теперь очень близки к нам. Только в пальто был возможен обман. И опять, нужно было особое условие, чтобы он удался: не снимать шляпу или фуражку; другое также: чтобы не слишком обращали внимание на меня, были заняты своими разговорами. Мы выбрали такое место и время, что оба условия были. Мы с мужем приехали в общество друзей, которые вели между собою живой разговор; мне не было надобности входить в комнаты, снимать свою шляпу с широкими полями. Не будь этих условий, обмана не было бы, шутка была бы только шуткою, совершенно невинною. Но обман всегда дурен. Поэтому, только поэтому, я не соглашалась: я спорила с мужем не против пальто, а против того, что мы не войдем в комнаты, что я буду держать себя так, чтобы не обращали внимания на меня. В этих и только в этих

едва заметных условиях был обман. Но могу ли я осуждать моего мужа и за это? Склоняя меня на мистификацию, он имел серьезную и благородную цель: дать мне посмотреть на порядочных людей просто как на людей, без церемониальностей, которыми вносится вредная иллюзия во взгляд молодых женщин на мужчин, вносится в их отношения искусственная поэтичность, красота белил и румян: молодые женщины видят посторонних людей только набеленными и нарумяненными; — говорить ли мне с вами больше, — я смотрю в глаза ваши: — кто вы? мне надобно знать это: кто вы, отвечайте!

— Кто вы? — скажите! я боюсь за вас, я не смею продолжать.

Вы хохочете, в моих ушах звенит:

— Формалистка! педантка! Кто я, не все ли равно для тебя? Я пришла к тебе, я смотрю на тебя. Ты читала ли сама что-нибудь? Читала ли хоть Пушкина? Я читала. Чего же ты боишься? Как ты смешна. Продолжай. Что ты хотела сказать? Если не ошибаюсь, вы, Лизавета Сергеевна, даже разрешаете мне надевать пальто, только без шляпы с широкими полями? Какая милость! Благодарю.

— Вы смеетесь надо мною, Людмила Анзельмовна? Я педантка?

— О, нет, я ужасаюсь вашей эмансипированности. Даже пальто, лишь без шляпы с широкими полями! Мне очень понравилось то, что вы говорили об обмане. Ваш поступок был ужасен!

— Да? Я педантка. Вы смеетесь надо мною. Извольте. Ваш смех вызывает меня. Я слышу его. Да, обман дурен. Всегда дурен. Но мой муж имел намерение очень благородное. Он был прав, склоняя меня на такой мелочной обман...

— Ха, ха, ха! Это восхитительно! продолжайте, Лизавета Сергеевна.

— Извольте. Я отказываюсь от слова «обман» — оно смешно здесь, вы права; оно глупо здесь. Это была невинная шутка, имевшая целью принести мне большую пользу. Вы смеетесь, потому, кто бы вы ни были, вы должны знать, как сильна эта вредная иллюзия искусственной поэтичности в отношениях мужчин к молодым женщинам, — девушкам тем больше. Пусть вы девушка — все равно: вы чувствовали влияние этой прикрашенности. Если у вас нет мужа, у вас есть братья; не правда ли, вам часто казалось, что ваши братья не так возвышенны душой и поэтичны, как другие молодые люди? Вы еще не были влюблены ни в кого, — все равно, вам уже казалось то, о чем я говорю. Ваших братьев вы видите как людей, других молодых мужчин вы видите только в наряде «кавалеров» — это слово смешное, я нарочно и употребляю его, но вспомните, вы чувствовали на себе действие этих мужских белил и румян; я не виню вас: вы знаете, что белила и румяна смешны, пошлы, вы

посмеялись бы над ними, но вы не могли рассмотреть их, — лица, прикрашенные ими, держались от вас на таком расстоянии, какое нужно для эффекта: «мой муж», или «мой брат», или вообще всякий, кто честно и простодушно близок к вам: «ах, он груб и пошл, прозаичен и невнимателен; все другие молодые люди — какое сравнение!» Я не порицаю вас за это, может быть, я и сама чувствовала когда-нибудь это впечатление. Мой муж был прав: надобно видеть людей без прикрас. Но я услышала слова, которых не должна была слышать. Я говорила: «я услышала их потому, что переделалась; переодеванье — дурная вещь», вы посмеялись над моим педантством, — вы были правы. О, если бы уши, которым не должно слышать, слышали только при перекостюмировке! Но ваши уши, мой друг, должны ли слышать то, что я хочу сказать? Зачем вы смотрите на меня? Ваши глаза выпытывают меня, но нет, я боюсь: я оскорблю вас.

— Какой пафос! — говорит моя неизвестная: — говори проще, — говорит она, — что вы хотите сказать, Лизавета Сергеевна?

— Я хочу сказать, что наши старшие сестры, наши тетки, наши матери не щадят чистоты нашего сердца, от них мы слышим в наши детские годы такие вещи, каких нет в самых грязных книгах. Я была счастлива в этом отношении: моя тетушка не развращала меня сплетнями о моем дяде. К скольким дочерям и племянницам применяется то, что я говорю о себе? Не к очень многим. Вы, моя неизвестная, — молода, вы рады бранить. Но что же делают сами девушки? Подслушивание — кто не подслушивал? Это то же самое, и без моего пальто. Я хочу сказать: моя беда не от мистификации, — я была смешна, придавая важность этому случаю. О, боже мой, если бы отношениям между мною и мужем грозила опасность только оттого, вздумаем ли мы с ним невинно пошутить над другими! Нет, мы были оторваны друг от друга не этим: беда произошла оттого, что мы с мужем никогда прежде не договаривались до того, чтобы понять друг друга. Не говори он мне, что он любит меня первую, я не была бы поражена словами, которые услышала.

— Вы думаете, что вы говорите со смыслом? — И я слышу смех.

— Чего вы хотите от меня? понимаете ли вы, на что вы меня вызываете? Я боюсь вас. Ваш взгляд волнует меня. Можете ли вы слушать меня?

— Если я не понимаю, что я спрашиваю, я не пойму и того, что вы будете отвечать.

— Но кто ж вы, в самом деле? «Дурочка», как я называю тогдашнюю себя, или женщина, которую я могу не только любить, как люблю «дурочек», но и уважать, как совершеннолетнего человека?

— Смотрите на меня, кто я, — говорит она и хохочет.

Я вижу теперь все ее лицо: оно страшно, но прекрасно, это лицо, с ее пытливым взглядом, — лицо девушки с улыбкою полунезнания, полупрезрения.

— Я, — кто я, — вы видите теперь? Я — требующая правды, — кто я? Вы видите, кто я? — говорите. «Дурочки» — вы щадите их уши? Неужели бедные «дурочки» должны слышать правду только в грязных сплетнях или в книгах, писанных повесами? Или в обольстительных словах? Что вы хотите сказать? Ваш муж обманывал вас, когда говорил вам, что любит вас первую? Вы должны оправдываться передо мною: как могли вы не понимать вашего мужа? Говорите, — или вы в самом деле остаетесь ревнивицею, деспоткой, бездушною формалисткою.

— Нет, я боюсь вас.

— Бойтесь. Я страшна. У меня лицо девушки, но у меня львиные когти. Я терзаю и бросаю растерзанными со скалы тех, кто смеет говорить мне неправду. Я растерзаю вас. — Глупая женщина, не стыдно ли вам не понимать, что ваша правда не может оскорбить ничьего слуха, кроме слуха сплетников и сплетниц? Или вы боитесь их? Если боитесь, это значит, что ваш муж нечестный человек. Женщина, имеющая своим мужем честного человека, не будет бояться никого. Да, я страшная.

— Нет, я не боюсь. Мне ты не страшна, я вижу, кто ты: ты — сфинкс. Ты требуешь только правды. Вы хотите, чтоб я сказала ее? Я сказала часть ее. Есть существа ужаснее тебя, сфинкс, — гарпии, которые не сидят только на большой дороге, как ты, — кто смирно сидит дома, безопасен от твоих вопросов. Они летают по всем домам и не требуют правды, а хватают все и всех и оскверняют все и всех, кого коснутся. Эти гарпии — слова без смысла, пустая болтовня, сплетня. Теперь я не боюсь этого. Но когда я была еще ребенком, эти пошлые, праздные речи прозвонили мои уши, набили мне голову такими словами, которых я не понимала. Я говорю не о грубых словах, я говорю не о том, что называется гадкими сплетнями: эти сплетни, эти слова только гадки; вред не в них. Вред в словах очень милых, в разговорах очень благозвучных. Кто из девушек не затвердил слов «ухаживать», «увлекаться», «влюбляться», «любить», — они, бедные, твердят эти слова, применяют их к себе, воображают, что удивительно «эмансипировались», когда закурят пахитосу и нарядятся в какой-нибудь гусарский ментик; они воображают, что они «кутят», когда под глазами, — ведь если и за стеной, то все же под глазами, — своих мамаш и тетюшек, — и мужей, потому что можно быть и замужем и иметь детей, оставаясь такою, — в обществе своих чистых подруг, своих женихов или уже даже мужей, честных братьев своих или своих подруг, — вообразите, в такой разгульной обстановке, — выпьют бокал шампанского, — какое ж бокал! — целый стакан, особенно удалые даже два; подумайте, два стакана шампанского! — подумайте, в таком

опасном обществе: подружки, женихи, братья, — как же не кутят? Это ли только? Иная даже получает записочки, у иной бывает отвага даже отвечать на них, — да только ли? Чтение безнравственной Жорж Занд, — бедняжка, она и сама воображает себя чуть ли не безнравственной женщиной. О, боже, боже! — а ведь неглупая женщина! И только ли записочки, только ли романы Жорж Занд? — иные даже целуются! Как же не «эмансипировались», как же не знают, о чем болтают? — о, смешные, — и болтают, и болтают... Я не знаю вас, страшная, но меня вы знаете: вы знаете мой разговор с Всеволодским. Вы не можете не видеть из него, в какую сторону мое расположение: скрывать или не скрывать эти слова «влюбляться», «знать увлечения»; скрывать или не скрывать их от ушей, которым рано слушать их, — «скрывать», желала бы я. Но возможно ли это? Я подала вам повод подумать, что хочу сказать — «возможно», и вы, сфинкс, сказали, что в моих словах нет смысла, что я рискую быть дураю, если скажу что-нибудь подобное; вы правы. Скрывать невозможно. А если невозможно скрывать слова, то не надобно же оставлять в обольщении, будто понимают то, чего не понимают.

Мой муж говорил мне: «ты — моя первая любовь: я увлекался многими, но полюбил первую тебя»; как я понимала это? — разумеется, как: по-своему, превосходно. Все девочки с двенадцати лет «влюбляются», «страдают от любви», «увлекаются». Я очень хорошо понимала, что мой муж «увлекался», пока не полюбил меня, — как не понимать? Он говорил любезности моей подруге А. В., как она сама хвалилась мне, потом другой моей подруге С. Д., как рассказывала мне третья подруга Е. Г., восхищавшаяся тем, что «восторжествовала над соперницею», — после такого прекрасного понимания, — но, моя страшная гостья, верите ли вы, что я понимала так?

— Я не обязана отвечать. Продолжайте.

— Нет, сфинкс, не шутите со мною. Теперь, теперь я и сама страшна. Зачем вы здесь? Можете молчать; я не хочу сказать: «вы сделали дурно», — нет, сфинкс, я чиста сердцем; смотрите мою грудь, я не боюсь раскрыть ее перед вами, моя жизнь чиста, как бела моя высокая грудь. Холодна ли она? — быть может; вы не знаете меня, кто я. Быть может, узнаете, — я не боюсь. Но я, — я и не хочу знать, кто вы. Но бойтесь меня, если вы не чиста сердцем. Я проникну в него, я не увижу его сама, но я покажу его тем, кто подле вас, — они увидят, кто вы. Верите ли вы тому, что я говорю о себе? Если вы когда-нибудь были чисты сердцем, вы знаете, что я говорю правду. Если вы не верите мне, вы были развращены прежде, чем выросли на аршин от земли, — и я плачу с вами о вас, если вы сознаетесь в душе, что это так, и я говорю вам: вот, вы уже чувствуете, что я говорю правду о себе, и вы не виноваты ни в чем, что бы ни было с вами. Но я

говорю вам: я не хочу знать, кто вы; я не нуждаюсь в том, чтобы знать, как вы держали себя, — быть может безукоризненно, — но вы останетесь грязны душою, были грязны душою с первого детства, если вы не знаете, что не только до замужества, даже и после замужества наши молодые сестры имеют такую невинность и наивность души, что они не могут понимать иначе, нежели понимала тогда я. Они слышат и видят очень много дурного, но они остаются наивны и невинны. Знаете ли вы это? Если нет, вы или наивна и невинна, или вы дурной человек. Знаете ли вы это?

Я не услышу вашего ответа; но я не приму такого ответа: «я не обязана отвечать. Ответчица — вы». Вы уже отвечали. И я не ответчица, — нет; я или подруга ваша, быть может, хранительница ваша, быть может, защитница ваша, — это, если вы уважаете меня за то, что я говорю вам; или я обличительница ваша перед другими, если вы скажете вслух, перед вами самою, — если вы скажете только себе самой, что я говорю неправду. Не знаю, кто вы, и не хочу знать. Не знаю, поймете ли вы то, что я буду говорить дальше; если нет, требуйте серьезного объяснения, — у вашего мужа, когда вы замужем, и ваш муж честный человек, — у вашей матери или вашей старшей сестры, когда вы еще девушка. Вот что рассказываю я вам о себе:

Нас учат болтать слова, смысла которых мы не понимаем, и мы даем им наш ребяческий смысл; и когда потом честный человек становится в серьезные отношения к одной из нас, делается женихом, мужем, — она и он сбиты с толку. Им кажется, что они понимают друг друга, — да и как не казаться? Они выражаются одними и теми же словами; и они не доспрашиваются друг у друга, одно ли понимают они под этими словами. Потому я ненавижу эти слова в устах девушек и молодых женщин, таких же наивных: да, и молодых женщин: обручальное кольцо не изменяет лет; можно сохранять — и сохраняют — детскую наивность души, не только болтая с подругами о мужьях, но и кормя грудью детей.

Да, наша беда произошла оттого, что мы с мужем не понимали друг друга. Я тоже «влюблялась» и понимала по-своему, как он «увлекался». Поэтому меня поразило имя, которое услышала я, — имя женщины, о которой я не понимала, что такое она: если бы я понимала, я знала бы, что она женщина; только менее меня счастливая, только, — и, быть может, не хуже многих из моих подруг. Но я понимала это по-своему; и во мне вспыхнуло чувство касты: браминка не может касаться человека, оскверненного прикосновением париятки — вот смысл моего чувства; и вместе с тем я услышала другие слова: «дама, имени которой я не могу назвать вам», — так вот что такое «увлечение» — могла ли я быть не возмущена таким открытием? Могло ли мне не показаться, что мой муж — человек недостойный меня, обманувший

меня? Что вы скажете обо мне? Была ли я деспотка? Была ли я ревнивица?

— Нет, но вы были и остаетесь женщиной страшно экзальтированной.

— Вы так думаете! о, сфинкс, я не буду спорить с вами. Я не спала всю ночь. Уж девять часов утра, я иду спать; прислуга просыпается, я скажу, чтобы не будили меня до обеда.

— Нет, — говорит сфинкс, — вы не уйдете от меня: о чем вы говорили с Всеволодским? Как имя и отчество Саши? Что такое графиня Кавальканти?

— Извините меня, сфинкс, я женщина экзальтированная и потому хочу спать.

Через четверть часа:

И однакоже мне не удалось лечь спать.

Я отворила дверь из комнаты Лидиньки и Саши в свою и была встречена словами:

— Однако эти «дурочки», как ты называешь их, награждены от бога завидным талантом спать. Хочешь, я расскажу тебе твои разговоры со сфинксом? Я начал слушать, когда кто-то — девушка, по твоим словам, — объясняла тебе, что у нее львиные когти; я сначала подумал было, что она только хвалится, но ты видела, и я верю. Но как это зашла к тебе такая странная девушка?

Мой муж уже целый час сидел в моей комнате и слышал — да, слышал: я говорила. А мне казалось, что я была так хладнокровна.

Мне было ужасно совестно.

— Скажи теперь, как же твой сфинкс не прав? Еще бы не показала ты экзальтированной женщиной, когда ведешь вслух разговоры со сфинксами? Сама ты после этого — непостижимая загадка для сфинкса. Имей жалость к твоей «страшной собеседнице», объясни ей, кто ты.

— Пожалуй. — И я села писать.

— Но если ты пожаловал подслушивать мои разговоры со сфинксом, то уже и помогай им.

— Извините, милостивая государыня.

— Но по крайней мере, как звали эту индийскую богиню? Лакшми? — помнишь, в той легенде.

— Лакшми.

Сфинкс, ты хочешь знать, кто я? Ты можешь знать это. У меня сестра, подруга — обе они, быть может, лучше меня лицом; ты знаешь, что обе они — моложе меня.

Я не избегаю являться вместе с ними.

Они любят меня.

Я кажусь тебе — по первой половине истории, по той половине, о которой я говорила теперь с тобой, — женщиною очень идеальных стремлений; я действительно имею их.

Я горжусь этим.

Я кажусь тебе очень гордою. Ты не ошибаешься.

Но — мои дети ввели тебя в дом мой.

Вот что я читала когда-то, или, быть может, я этого и не читала, но ты прочтешь.

Был некогда муж и жена, молва о которых разошлась по всей той стране, в которой жили они. И все слышавшие молву удивлялись им и говорили: «Во всем свете нет таких людей, как Налъ и Дамаянти».

И услышав, что так говорят о них, Налъ и Дамаянти возгордились.

И явилась им Лакшми и сказала: «Идите в соседнее село и там вы встретите ребенка и скажете ему: мы путники и устали; проведи нас в свой дом, мы попросим там отдыха. — И что вы увидите там, то увидите».

Налъ и Дамаянти пошли по слову богини и пришли к селу и увидели перед селом много веселых детей, играющих вместе. Подошли к ним и сказали: «Мы путники и устали; мы не знаем, кто из вас проводит нас в свой дом; мы попросим там отдыха». И все дети стали звать их, каждый в свой дом. И не знали Налъ и Дамаянти, за кем из них итти. Тогда дети сказали: «посетите нас поочередно». Налъ и Дамаянти пошли в дом того ребенка, который жил ближе других, и были приняты на отдых семейством его. И провели там день и пошли на другой день в дом другого ребенка и были приняты на отдых семейством его. И на третий день пошли в дом третьего ребенка и в следующие дни отдыхали в домах других детей, проводя в каждом семействе по одному дню. И когда посетили в селе все дома веселых и добрых детей, возвратились в дом свой. Тогда явилась им Лакшми и спросила: «Почему вы так долго пробыли в селе и что там видели?» Тогда Налъ и Дамаянти сказали ей: «Мы нашли перед селом много добрых и веселых детей и не знали, на которого из них ты хотела указать нам, и входили в дом каждого из них. И в каждом доме, где дети были веселы и добры, мы видели семейство, живущее дружно и честно. И спрашивали у всех, кто они, и какие подвиги совершили, и как живут. И все отвечали нам: «Мы люди простые, и мы не совершали никаких подвигов и живем в согласии и любви между собою: дети с родителями, и мужья с женами, и братья с братьями, и сестры с сестрами, и братья с сестрами, и жены с родными мужей и мужья с родными жен». И тогда сказала Лакшми Налю и Дамаянти: «Вы великие подвиги совершили, истинно го-

ворит Индия; кого же вы видели?» И сказали Наль и Дамаянти: «Подвижников и подвижниц, великих более нас». И сказала Лакшми: «Так».

Л. Крылова.

Конец истории «Белого пеньюара».

Л. Панкратьев.

ПОВЕСТИ В ПОВЕСТИ

РОМАН,

ПОСВЯЩАЕМЫЙ ТОМУ ЛИЦУ, ДЛЯ КОТОРОГО НАПИСАН

Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

РАССКАЗ ВЕРЕЩАГИНА

Три первые тетради «Перла создания» нравились мне: я видел в них начало романа, писанного довольно капризно, но с талантом; мне могла несколько не нравиться та или другая мысль автора, но я далек от глупой манеры ждать, чтобы кто-нибудь мог вполне угодить моему или чьему-нибудь вкусу; «у каждого барона своя фантазия»; тем более у каждой баронессы; а «Перл создания» казался мне произведением женщины. В мужчине я, быть может, строже осудил бы экзальтацию, которая видна была уже в разговоре Всеволодского с Крыловой; но автор — женщина, по всей вероятности молодая; молодой женщине очень извинительно быть несколько экзальтированной, это даже мило в ней, она даже не женщина без этого. Я не моралист и не люблю статуи только мраморные.

Но четвертая тетрадь заставила меня подумать о том, удобно ли мне исполнить желание автора, чтобы я рекомендовал его произведение кому-нибудь из моих добрых знакомых между журналистами. Я не формалист; я понимаю, что талант свободен и может позволить себе приемы, какие ему угодно. Но — всему есть граница; и свободе таланта, как всему. Можно шутить, прикидываясь плагиатором, но только прикидываясь. Здесь я видел страницы, без всякой церемонии выписанные из Гоголя; несколько пьес, также бесцеремонно взятых из г. Фета. Само по себе это еще не смутило бы меня; шутка, — быть может, шутка слишком разыгравшаяся, — но так и быть, это еще ничего. Важнее при этом фокус, производимый над одной из повестей Гоголя. Вырвать страницу из Диккенса, написать несколько страниц совер-

шенно другого содержания и с идеею совершенно другою и назвать эти страницы «подражанием» Диккенсу, — это уже плохая шутка. Я согласен, — еще бы не согласиться! — что «видна разница», но все-таки к чему этот прием: «я и Диккенс» — что это? насмешка над Диккенсом? По какому праву? Или это ирония автора над собою? — я не одобряю в человеке неуважения к его собственной личности. Я понимаю, когда человек смеется над своими слабостями, но здесь не то: если это не значит — «я за панибрата с Диккенсом по таланту», это будет значить — «смейтесь над моею бесталанностью», но в таком случае зачем же вы пишете и хотите печататься? — и потом, вставлять эти страницы в повесть Гоголя, в одну из безукоризненно прекрасных повестей Гоголя, — что это такое? Это слишком большая бесцеремонность.

Я готов был бы объяснять это неудачным желанием пооригинальничать, назвать это просто неловкостью. Я и стал указывать автору его ошибку с этой точки зрения, того требовала деликатность, хоть и очень хорошо видел, что в этом фокусе не простая ошибка, которую легко извиняет замечающий и легко исправляет по его совету автор.

Нет; если бы дело ограничивалось этими заимствованиями и подделками, я не сказал бы ни слова, все это еще не такая важность; нарушение хорошего вкуса, излишняя развязность в обращении с писателями подобными Гоголю и Диккенсу, — нелепость, неприличие, — но не больше. Какое мне затруднение от этого? Я не дядька автору, — у него есть талант, я рекомендую его с этой стороны, а не выдаю ему аттестат в соблюдении правил хорошего вкуса. Но эти смелые замечания автора заставили меня быть осмотрительным. Среди необузданного, повидимому, фантазирования четвертой тетради мне бросилась в глаза одна страница, — страница прекрасная, благородная, но слишком знакомого мне содержания. Я не могу указать эту страницу, потому что отмечать ее значило [бы] нарушать чужую тайну. Довольно того, что среди фантастических уверений, будто рассказываются сказки, среди вещей действительно сказочных я прочел историю человека, которого не имею чести называть своим знакомым, но который очень известен мне. Я должен отдать справедливость автору: я, знавший этот случай, никогда не думал объяснять его в смысле, столь безукоризненном для лица, о котором идет речь. Если бы это лицо узнало себя, оно, я убежден, было бы благодарно автору. Прочитав объяснение, которое дает он делу, я снял порицание, которое давал этому лицу в глубине моей души. Я остался доволен, потому что теперь без всяких оговорок считаю это лицо имеющим благородную душу. Прежде у меня было одно сомнение, — более чем сомнение, — теперь оно рассеялось. Я не имею права говорить яснее.

Итак, эта страница благородна: она снимает тень, падавшую на человека почтенного. Скажу, что прием, употребленный для

этого, очень ловок: если вы не знаете истории, которая излагается под видом сказки, вы не увидите на этой странице ничего иного, кроме сказки. Тайна вполне ограждена, нескромности нет никакой. Но этого одного было бы уже достаточно, чтобы заронить сомнение в том, действительно ли сказка история «Белого пеньюара». Если в одном из мелких эпизодов романа я найду ни больше, ни меньше, как буквальный рассказ факта, то я должен подумать: да действительно ли только роман та главная история, в которую вплетаются такие эпизоды?

Едва пришла мне в голову эта мысль, для меня стало ясно все: в «Перле создания» нет ни прихотей, ни капризов, ни даже странностей, — все так, как следует, — все то, чему следует быть, если у автора есть мысль рассказать подлинную, фактическую историю под видом вымысла. Автор бросается во все стороны, как лисица, чтобы вы сбились со следа; он забрасывает вас анекдотами, шутками, прикрывает все выдумками, — и вы действительно теряетесь, следя за ним. Следы ведут вас по двадцати разным дорогам, и многие из них направлены в области чисто фантастические; лица, совершенно различные, мелькают перед вами, и вы не в силах рассмотреть, которые из них принадлежат к истинным спутникам автора, которые являются лишь затем, чтобы автор мог, благодаря им, отказаться и от всякого из остальных; «это также лицо совершенно чуждое мне или вымышленное», — и о всякой отдельной части своей истории мог точно так же сказать: «это посторонний эпизод».

Едва я взглянул на «Перл создания» с этой точки зрения, я понял автора. Это — произведение глубоко обдуманное и чрезвычайно последовательное в своей кажущейся капризности.

И если б автор предоставлял вам самим догадаться об этом, тогда было бы еще не так хитро. Но он сам высказывает все это, он прямо идет навстречу вашим предположениям: «Да, я хочу рассказать фантастическую историю интимной жизни, но так, что она как будто и не рассказывается: я окружаю ее шутками, капризами, выдумками, так что вы имеете перед вашими глазами фантазмагорию; вы ничего не различаете в этом тумане, и если бы вам казалось, что вы различаете что-нибудь, вы не поверите, что неопределенные очертания, различаемые вами — человек, а не идеальная фигура вашей или моей выдумывающей фантазии». Если б он не высказывал этого, он ловился бы вашей догадкой об этом, а теперь он смеется и скажет: «Ну да, я сам даю вам в руки, из этого вы можете сообразить, действительно ли я даю вам в руки, или вы ловите тень, — вы поймали ее, держите крепче!»

Я не знаю ничего написанного с более хитрыми приемами, чем история «Белого пеньюара». Автор постоянно и раскрывается, и прячется со всех сторон; он одинаково может говорить: «я рассказал вам о себе все» и «я ни одного слова не говорил о себе,

мое произведение — объективный роман, в котором нет никакого следа моей субъективности». Вы увидите, что я не ошибаюсь, предполагая эту хитрость; и увидите, что я еще слишком мало говорю словами: «автор очень хитер», — вы увидите, как трудно было мне бороться с его странными приемами или принципами, какое хладнокровие и благоразумие нужно было мне, чтобы отражать его нападения на меня, — нападения, о которых я до сих пор не знаю, зачем они направляются на меня. «Я руковожусь смертельною ненавистью к вам», говорит эта дама; но если это так, — и это должно быть так, то я не могу понять, что ж это за странная ненависть, не желающая нисколько вредить мне. Но вы увидите, как загадочны намерения моей странной знакомой, ставшей другом моей жены, моей дочери и при них говорящей мне, что она смертельно ненавидит меня, говорящей это голосом, задыхающимся от ожесточения; я не видел ее лица, оно должно быть ужасно в эти минуты. Но моя жена говорит, что она добрая женщина, и я сам замечаю это; моя дочь любит ее: Надина так молода и простодушна, что не может любить женщину, способную делать зло кому-нибудь.

Нет, эта дама — действительно добрая и благородная женщина. Но она слишком экзальтирована. Этим объясняется все. Она с увлечением идет по страшной дороге. В самом деле, неужели все эти хитрые приемы ведут к ограждению ее личности? Правда, они одевают туманом мелочные обстоятельства той истории, которые рассказываются под именем истории «Белого пеньюара», но что ж из того? Характер приключений — очевиден; главные черты его — совершенно ясны. Я не знаю имени этой дамы; я считал делом неблагодарным доискиваться, потому я до сих пор не знаю ничего положительного; но и догадываться почти не о чем: все высказано.

Подумайте ж, прав ли я был, сказав ей: «Остановитесь, сожгите вашу рукопись». Да, я был прав. Печатать такую автобиографию!

Это намерение так безрассудно, что при всей очевидности я не хотел верить в свою мысль: «это не роман, это автобиография». Я думал, что рискую показаться смешным, если дам ей заметить во мне эту догадку; никто не любит оказываться простаком, мне был неприятен этот риск. Но благодарю мою природу, мое воспитание, мои правила: я честный человек, и не остановился даже перед опасностью подвергнуться осмеянию этой дамы, поступил, как обязывала меня честь. Я вызвал ее на это объяснение — и с гордостью скажу: мне было горько, я увидел, что я не пал под осмеяние, не ошибся в своей догадке, — нет, не ошибся. Всякий благородный человек поймет мое чувство: я не имею обязанности быть рыцарем-хранителем этой дамы, которую до сих пор не знаю в лицо; но она женщина, и я вижу, что она благородная женщина; в тысячу раз легче было бы мне подвергнуться каким

угодно насмешкам от нее, чем видеть, что она отдает себя на страшную судьбу.

Буду рассказывать все по порядку.

Прежде всего, как сделалось, что я пишу рассказ о моих объяснениях с этой дамою, — лучше сказать, моих отношений к рукописи, рассказывающей биографию этой дамы? Эта странная женщина поступила очень просто, — она, если хотите, во всем поступает очень просто; то и ужасно, что она поступает просто; она говорит: «прошу вас, исполните мою просьбу; если нет, я принуждена буду» — смотря по обстоятельствам, прибавляется: — «взять нож и зарезать вас», или «спустить курок этого револьвера и раздробить ваш череп»; — не это, но совершенно в этом духе. Вы говорите: «это вы шутите», потому что она грозит вам вещью безрассудною; она отвечает: «нет, я не шучу», и исполняет то, что сказала. Как вы будете рассуждать с нею?

Вот вам пример — я пишу. Как это вышло? Я сказал: очень просто. Я стал отклонять ее от намерения печатать историю «Белого пеньюара», написал ей несколько писем об этом, потом раза три говорил с нею; на третьем или четвертом свидании она сказала: «Мы уже так подробно объяснились об этом предмете, что пора написать историю наших объяснений. Пожалуйста, напишите, и напечатаем вместе с историею «Белого пеньюара»; тогда все и могут рассудить, что вы были правы, а я безрассудна». — «Этого недоставало! — сказал я, — вам угодно, чтобы я писал комментарий на ваше произведение, когда я умоляю вас не печатать вашего мнимого романа. Нет, я никогда не хотел быть писателем, а всего менее могу желать являться обвинителем женщины, которую осуждаю за безрассудное намерение, но благородство которой вижу и уважаю». — «Не хотите?» — «Нет». — «Итак, я принуждена буду написать сама». И через несколько дней она приехала с тетрадью, в которой рассказывала мою переписку и разговоры с нею. «Просмотрите, верно ли». Я пошел в зал, оставив ее с моею женою в полумраке или почти совершенном мраке, устраиваемом для моих свиданий с нею. Не было надобности тратить много времени на просмотр написанного ею: я перелистывал, читал некоторые страницы, заглядывал в другие, — все было верно; сомневаться нечего; но что такое было это?

Мне тяжел тон моего рассказа: я спорю против женщины, я говорю истину, страшную для нее. Не подходит под принятые условия светской деликатности тон разговоров, которые буду передавать я. Но всякий благородный человек поймет, что я пишу в самой мягкой форме, какая допускается моею странною необходимостью писать. Конечно, мы говорили гораздо больше. И вы увидите, каким тоном она говорила со мною. Я видел, что она написала все, что было говорено нами. Она принуждала меня делать вопросы, возражения, каких я не хотел бы делать никому, не только женщине. Она без всякой пощады написала все это.

У ней одно: «я прошу вас — будем говорить дело, без всяких церемоний; я ненавижу привилегии женщины; я ненавижу слово «женщина», — она очень любит это слово «я ненавижу». Я ужаснулся того, что она делает над собою, когда просмогнул ее рассказ о моих разговорах с нею. В них не было ничего, кроме споров о понятиях. Но я ужаснулся, что она записала для печати те разговоры, которые возможны только как разговоры с человеком, подобным мне: отцом семейства, полуседым и с давних лет имеющим и в сердце и даже в голове только жену и детей. «Этот комментарий важен; я хочу, чтобы он был», сказала она, когда я возвратился в комнату, где она сидела с моею женою. «Извольте, — сказал я, — буду писать, как это ни тяжело для меня».

Я взялся за дело неприятное для меня. Я не писатель и никогда не хочу быть писателем. Это неудобно для меня. И однако же я пишу. Я пишу то, что всего неприятнее для меня: я пишу против женщины. И я прав во всем, что пишу против нее. Это хуже всего. Но, как ни странно сказать, я говорю: моя честь обязывает меня писать; я защитник этой женщины, противником которой являюсь. Я защитник ее от нее самой.

Не осуждайте ж меня; нет, никто не осудит меня: всякому благородному человеку понятно, что я поступаю благородно; и я горжусь тем, что я не боюсь становиться даже в странное положение обвинителя женщины, чтобы быть ее защитником.

Начинаю рассказ о моих разговорах с нею.

Чтение двух последних тетрадей истории «Белого пеньюара» одинаково возбудило и во мне, и в моей жене мысль, что эта странная рукопись не совсем роман. Я написал нашей незнакомке очень осторожное и деликатное письмо, в котором говорил, что желал бы объясниться с нею, прежде чем почту себя вправе исполнить ее желание — рекомендовать рукопись в журнал. Зная, как щекотливо авторское самолюбие, я был очень осмотрителен в выборе мыслей и выражений, которыми убеждал ее в необходимости объяснения. Я выбрал для этого предметом своих замечаний или сомнений недостаток очень важный в художественном отношении, но маловажный сравнительно с действительными основаниями моего нежелания рекомендовать «Перл создания». Читатели заметили, что история «Белого пеньюара» совершенно лишена местных красок и национального оттенка: она происходит в облаках, действующие лица не имеют в себе ничего русского, кроме имен. Я напал на это, но с оговорками, что этот очень важный недостаток произведения, вероятно, произошел только от ошибочного приема, так что нисколько не свидетельствует в моих глазах против таланта; я прибавлял, что, вероятно, автор мог бы легко исправить этот недостаток, и я надеюсь, что именно мои советы помогут исправить его. Все это было написано очень деликатно. И ни одним словом я не касался щекотливых, более

важных сторон вопроса. Я просил неизвестную мою корреспондентку позволить мне приехать к ней.

Моя жена прибавила несколько строк к моему довольно длинному письму. Эти строки важны, потому что из них возникло знакомство между моею женою и дамою, до сих пор неизвестною мне. Эта дама передала мне письма мои и моей жены, когда я взялся писать историю наших отношений к ней. Вот что написала моя жена: «Я сочувствую вам и уважаю вас. Но я боюсь и вас и за вас. Вероятно, вы моложе меня. В вашей рукописи я вижу соединение такого опыта жизни, которого не вынесли [бы] вы, если бы у вас не было очень сильного характера, с такою наивностью, которая, впрочем, не удивляет меня, если вы молодая женщина. Выдумки ли рассказываете вы, или нет, я не знаю; вероятно, выдумки. Но это все равно. Если вы хотите услышать правдивый, совершенно искренний совет, познакомьтесь со мною. Мне жаль вас. Пришлите ваш адрес. Я полюбила вас».

Она отвечала моей жене странными словами, которым нельзя было верить:

«Вы полюбили едва ли меня. Мною писано не все в истории «Белого пеньюара». Я не смею высказать вам мою догадку о том, кого из нас полюбили вы. Но из трех женщин, которые писали отрывки для истории «Белого пеньюара», две еще не возвратились в Петербург. Вероятно, вы не предполагали, что эти три сотрудницы — действительно три разные сотрудницы. Но это так. Наши чувства друг к другу также действительно такие, какие мы высказываем: я очень люблю обеих моих сотрудниц. Поэтому, которая бы из нас ни заслужила ваше расположение, я благодарю вас — за себя ли, или за другую, что вероятнее для меня. Из нас трех две очень странны: я — меньше, другая — больше; но и я очень много. Я хотела бы чем-нибудь выразить вам мою признательность за меня или моего друга. Если бы вы позволили, я выразила бы ее очень странно. У вас есть дочь. Я видела ее однажды. Она девушка нежная и добрая. Ее воспитание делает честь вам. Но я бы желала сказать вам, чего недостает в ее воспитании. Вас я не видела никогда. Но, судя по вашей дочери, уважаю вас. Потому и пишу прямо».

Возможно ли было верить серьезности слов о том, что «мы, три сотрудницы — действительно, три разные сотрудницы»? Конечно, и я, и моя жена почли это за авторскую хитрость. Но теперь моя жена говорит, что все это совершенно так. Моя дочь говорит то же. Нет никакого сомнения, что они обе говорят мне правду. Смешно и глупо было бы мне думать противное. Но я понимаю важность печатного слова и не могу говорить публике ничего иначе, как в том виде, в каком сам знаю. Я вполне убежден, — но только через жену и дочь знаю, а не сам лично знаю, — что эти три дамы — действительно три дамы: две из них — сестры; третья — кузина мужа старшей из сестер. Эта третья дама

была в то время нашею корреспонденткою; она — та, которая в «Перле создания» подписывалась псевдонимом «Тисьмина-Дмитровская».

Тогда мы с женою не поверили, что ее ответ о трех сотрудницах серьезен. Но моя жена приняла серьезно последние строки ответа и написала, что она любит свою дочь и рада говорить о ней; но что она считала бы самым лучшим — просто познакомиться.

Наша корреспондентка отвечала ей, что, напротив, она желала бы не знакомиться: что она имеет на это особенные, личные причины, не относящиеся ни к кому из нас, относящиеся только к ней; и что она, кроме того, продолжает полагать, что моя [жена] заинтересовалась знакомством не с нею, а с одною из тех двух ее сотрудниц, которые еще не возвратились в Петербург. «Вы не дали мне прямого согласия на то, чтобы [я] писала вам о воспитании вашей дочери, — продолжала она, — я даже должна догадываться из ваших выражений, что если вам приятно было бы говорить о вашей дочери с женщиною, которую вы хорошо узнали бы лично, то вы не желали бы иметь переписку о ней с женщиною, которой вы еще не знаете хорошо. Но я не хочу догадываться. Со мною надобно говорить совершенно прямо. Не находя в вашем ответе прямого отказа, я пишу то, что нахожу полезным».

Наша неизвестная корреспондентка высказывала моей жене мнение, что для развития человека очень важно ему близко видеть жизнь разных слоев общества, а не одного того класса, к которому он принадлежит; что, видев нашу дочь, она заметила в ней недостаток знакомства с другими кругами, кроме светского, довольно богатого. Это было высказано неглупо, и сама по себе мысль была здравая. Моя жена справедливо отвечала, что невозможно не видеть пользу знакомства с кругами более скромных средств жизни; но что не всегда удобно найти близкие и хорошие отношения вне своего круга, и что только поэтому она не имела случая близко показать дочери жизнь, менее светскую, но что она думала об этом и сама. С этого началась между моею женою и незнакомкою переписка очень серьезного содержания. Они обе очень близко сходились в мыслях. Моя жена стала сильно желать знакомства с этою дамою. Но незнакомка упорно отказывалась от личного знакомства.

В то же время она переписывалась и со мною о своем странном «Перле создания». Я говорил, что начал свои возражения против его печатания деликатною заметкою о недостатке чисто внешнем — об отсутствии местного и национального колорита. Незнакомка отвечала, что это правда: главные действующие лица и само действие лишены определенной обстановки; что в обыкновенном романе это было чрезвычайно важным недостатком, но в истории «Белого пеньюара» это — необходимость: иначе невозможно было бы рассказывать ее; она получает от этого вид фанта-

стичности, но именно это и нужно. «Почему же?» отвечал я. — «Я не могу объяснить вам этого; мне не принадлежит это право». — «Итак, оно принадлежит другому лицу?» — «Да. Мною написаны некоторые отделы «Перла создания», но существенные отделы истории «Белого пеньюара» написаны не мною». — «Итак, некоторые авторы скрываются за тою неизвестною дамою или девицею, которая так подробно и вместе неопределенно описана нам Лукерьею Антипьевною?» — «За нею скрываются все». — «Как все? Вы — она?» — «Нисколько». — «Вы обманываете, то есть шутите?» — «Нисколько. Потрудитесь сравнить эти письма с тремя первыми. Почерк не тот».

Мы сравнили письма: три первые были написаны довольно крупно, каллиграфически; следующие, начиная с четвертого, обыкновенною скорою рукою. Эта разница была замечена нами, но мы не приписали ей никакой важности и не подумали сравнить письма; теперь увидели, что, действительно, рука, писавшая с четвертого письма, быть может, и не одинакова с прежнею. Но характер почерка чрезвычайно разнится при каллиграфическом и беглом письме, и женские руки пишут довольно однообразно.

«Неужели вы не шутите?» — отвечал я, — вы не та, которую описывала нам Лукерья Антипьевна?» — «Нет, Лукерья Антипьевна не знает меня». — «Каким же способом мы с вами переписываемся?» — «Лето проведено мною вне Петербурга, — далеко от него, на юге. Там была dokonчена история «Белого пеньюара» и послана на имя Лукерьи Антипьевны для передачи даме или девице, я не знала тогда, обозначавшейся псевдонимом Коробейниковой; возвратившись в Петербург, я познакомилась с нею. Пока переписка шла только о печатании «Перла создания», она вела ее. Когда вы стали говорить о содержании рукописи, пришлось взяться за корреспонденцию с вами мне».

«Кто ж вы? Какие же ваши отношения к нашей прежней корреспондентке?» — «Я та, которой принадлежит псевдоним Тисьмина-Дмитровская. Прежде я была незнакома с лицом, которое названо в «Перле создания» Людмилой Анзельмовною Коробейниковою; возвратившись в Петербург, познакомилась и подружилась. Вероятно, обе мои сотрудницы также подружатся, когда возвратятся. Она очень милая и добрая».

«Но согласитесь, все это очень похоже на выдумку». — «Тем лучше». — «Неужели ж надобно буквально понимать, что вас было три главных сотрудницы, что кроме того есть у вас друг или родственница, пожилая дама, которая устраивала все это дело и, наконец, приискала еще постороннюю посредницу, чтобы заслонить вас?» — «Это так; но верьте или не верьте, как угодно».

И действительно, моя жена и дочь видят, что все это так. Они знакомы со всеми этими пятью дамами, с их родными. Надобно же продолжать рассказ, как дошло до этого знакомства.

Тон писем новой моей корреспондентки был прям. Моей жене она писала мысли совершенно рассудительные. Но моя переписка с нею шла о произведении странном до безрассудства. По письмам ее к моей жене я видел в ней женщину рассудительную, поэтому решил говорить откровенно.

«Вы понимаете, что у меня есть сомнения более важные, чем недостаток национального колорита в «Перле создания». — «Полагаю; но какие, не хочу догадываться. Если желаете, чтобы я знала их, скажите прямо».

«Роман ли это?» — «Я не имею права отвечать».

«Это не роман». — «Я не считаю удобным выражать, ошибаетесь ли вы?»

«Это безрассудство — вы извините прямому пожилого человека; вы видите, что я говорю это с уважением к вам и только по искреннему к вам желанию исполнить обязанность честного человека». — «Вижу; очень признательна вам за эту честность. Но безрассудство ли по моему мнению «Перл создания», я не считаю удобным говорить».

«Ваш псевдоним, вы сказали, Тисьмина-Дмитровская; она в «Перле создания» против намерения Крыловой». — «Да, я находила, что она своим «Обидчивым пуританином» дает странный для нее оборот нашим рассказам, которые должны были, по прежнему нашему условию, иметь другой характер. Она обманула всех нас, бывших тогда летом в провинции вместе с нею. Обманула и обоих стариков, остававшихся в Петербурге. Обманула и саму себя. Она искренно думала, что удержится в границах шутки. Она удивила и испугала нас. Она увлеклась так, что не могла остаться в условленной границе. Я тогда была испугана, как и все мы, и порицала ее».

«Вы хотите сказать, что теперь не порицаете, а одобряете?» — «Нет, я ничего не говорю. Я говорю только, что это было, как там и выставлены числа, в половине мая. Теперь начинается осень. В это время мое мнение могло измениться и могло не измениться».

«Вы понимаете, что я не решаюсь написать того, что хочу сказать?» — «Понимаю».

«Вы понимаете, что в разговоре я высказал бы то, чего не решаюсь писать; вы понимаете, что я считаю своею обязанностью высказать это, — почему ж вы не соглашаетесь позволить мне видеть вас?» — «На это могут быть разные причины. Я должна вам сказать, что согласие зависит не от одной меня. Нас много. Вы видите это из «Перла создания». Там я насчитываю 14 человек. После того прибавилось лицо, псевдоним которого Л. А. Коробейникова. Она теперь вошла в наш дружеский круг. Одна ли она вошла, я этого не говорю. Но это не значит, что я говорю «не она одна». Но насколько согласие зависело бы от меня, я имею совершенно достаточную причину не соглашаться: вы хо-

тите доказывать, что не следует печатать историю «Белого пеньюара» — так?» — «Да».

— «Вы хотите доказывать это в интересах спокойствия одного из лиц, писавших эту историю?» — «Да».

— «Но не в интересах спокойствия того лица, которое писало под псевдонимом Тисьминой-Дмитровской?» — «Да; это лицо тут не рискует ничем важным».

— «Это лицо, как вы уже знаете, — я. Следовательно, у меня нет ни надобности, ни права объясняться с вами о том, о чем вы желаете говорить в личных объяснениях».

— «Но я могу просить позволения видеть ту даму, о которой мы говорим?» — «Какую? У нас правило — не основываться на догадках. Назовите, кого вы желаете видеть?»

— «Л. С. Крылову». — «Ваше выражение неточно. Надобно было сказать: даму, писавшую под псевдонимом Л. С. Крыловой. Ваше желание будет передано ей, когда она придет в Петербург. Мы ждем ее сюда в конце сентября».

Наша переписка началась в конце июня. Мы в 1863 году жили летом на даче, а не в провинции. Мы довольно часто бывали в городе. Но Лукерья Антипьевна бывала у нас и на даче. Впрочем, нам скоро был сообщен ее адрес. При этом была сделана оговорка, что мы, конечно, не воспользуемся этим, чтобы разузнавать что-нибудь; что пока дело имеет вид шутки, нам, вероятно, даже будет приятно соблюдать это условие; но что если бы почему-нибудь перестали смотреть на наши отношения по «Перлу создания», как на шутку, то старики, называемые в «Перле создания» псевдонимом Всеволодских, с удовольствием дадут лично нам всякие объяснения, когда бы мы не удовлетворились объяснениями их молодых друзей или родных. Мы тогда приняли за шутку и это уверение. Но оно вовсе не было шуткою. Впрочем, требовать объяснений не пришлось, потому что, как я сказал, моя жена подружилась с этим кругом.

Итак, до конца сентября я вел переписку, — сначала с одною, потом с другою дамою; я все еще не полагал, что это действительно две разные дамы. Но теперь моя жена и дочь видят, что письма к нам не говорили ничего неверного. Я видел из этих писем, что мне представляют следующее: существует довольно большой круг родных и близких друзей; они по какому [то] случаю начали играть в авторство; результат этой игры — «Перл создания». К этим объяснениям привела одна часть вопросов, которые делал я. Но в то же время я делал и другие вопросы.

Что бы такое ни был «Перл создания», почему обратились к моему посредничеству для его напечатания? Я получил в ответ на это объяснения более чем удовлетворительные, — «более чем удовлетворительные», — говорю я, но такие, которые, совершенно разрешая первые мои недоумения, открывают за собою очень широкий и очень туманный горизонт сомнениям гораздо серьез-

нейшим, чем вопросы о ловкости или неловкости, деликатности или неделикатности навязывать хлопоты посредничества человеку, не имеющему чести быть знакомым лиц, возлагающих на него посредничество между ними и журналистами. Вот что отвечали мне по этой стороне дела.

«Я не скрываю от вас, что считаю печатание «Перла создания» безрассудным. Из этого вы можете заключить, до какой степени кажется мне вымыслом история «Белого пеньюара». Но, припоминая всех и все, кого и что я знаю, я не вижу лица, которое мог бы разуть под псевдонимом Л. С. Крыловой. Из этого я заключаю, что не имею чести принадлежать к числу знакомых автора «Перла создания»; или что я человек очень далекий от дружеского круга, в котором писано это произведение, — если вы не шутите, уверяя, что оно написано не одним лицом. Почему же я удостоен чести быть выбран посредником по делу печатания этого произведения?» — «С вашей точки зрения, вы напрасно употребляете выражение «удостоен чести». Вы видите в этом посредничестве только хлопоты, вероятно, неприятные. То, что обратились к вам с этою рукописью, вы, по всей вероятности, считаете только навязчивостью, вероятно нахальством. Поэтому ваше выражение «удостоен чести» имеет смысл колкости. Но, думая сказать колкость нам — если это «мы» — или мне, если это я одна, — вы сказали правду. То, что мы обратились к вам — большая честь для вас. Дело серьезнее и для вас, чем вы полагаете. Вы будете поставлены в положение, в которое мы не захотели бы поставить человека, не внушающего нам полного доверия своими личными качествами и своими отношениями. Наше произведение кажется вам очень странно. Вероятно, оно покажется еще страннее, когда вы увидите, как оно развивается. Нам нужен не только посредник между нами и журналистом, — нам нужен судья, подающий мнение о наших рассказах. Эта роль очень важна. Но она и затруднительна. Вы уже видите, что рассказы идут об интимной жизни; вымышленные они, или нет, все равно: они затрагивают вопросы уже во всяком случае не вымышленные. То или другое мнение о том или другом из этих вопросов может ставить человека предметом размышления для близких к нему лиц. Наши намерения честны. Мы не желаем делать неприятности никому из порядочных людей. Но вы понимаете, что, подавая мнение о вопросах семейной жизни, человек может считать себя безопасным от возбуждения неприятностей в своем семействе только тогда, когда его семейные отношения совершенно правдивы, благородны и непоколебимы».

Я не хотел бы переписывать и этих слов письма моей корреспондентки: они слишком лестны для меня. Но я поставлен в такое положение, что пишу против воли. И против воли я должен передавать все, что нужно для ясности дела. Не спешите порицать меня; не спешите подозревать, что мне приятно переписывать

сывать отзывы, выставляющие меня в выгодном свете. Моя роль — тяжелая, неприятная. Я действую по принуждению. Я только защищаюсь. За то, что я показался им честным человеком, они заставляют меня быть писателем, — это не входило в мои желания; они заставляют являться их противником, — это очень грустно для меня. Не спешите порицать меня: правда, я вижу, что они делают мне честь; не скрою, я считаю себя достойным ее. Но я человек мирный. Я человек добрый. Я друг прогресса. Я желал бы быть другом всех друзей прогресса. Поэтому вы увидите, что я пишу не из самолюбия, а только по принуждению. Когда вы прочтете дальше, вы увидите, что мне очень тяжело писать. Но я должен... я должен даже переписывать лестные для меня отзывы обо мне, потому что это нужно для объяснения моей неприятной роли.

Скрепив сердце, продолжаю выписку.

«Никто из нас, — продолжала моя корреспондентка, — не имеет знакомства с вами. Но нас было 14 человек, когда мы принимались обрабатывать наше произведение. Такое число людей имеет большой запас сведений о городе. Мы перебирали десятки имен и остановились на вашем. Вот что мы знали о вас. Вы принадлежите к светскому обществу и литературному кругу. Ни там, ни здесь не говорится о вас ничего, кроме хорошего. Вы известны за человека благородного в очень строгом смысле слова. Вы известны — другое необходимое условие — за человека счастливого в вашей семейной жизни, счастливого в ней безусловно. Вы заслужили полное доверие вашей супруги; это могут сказать о себе не очень многие. Ваша супруга — женщина вполне почтенная; это можно сказать не об очень многих. — Вот причины, по которым мы остановились на вашем имени. Это большая честь для вас».

Этот прямой и твердый ответ уже несколько не походил на шутку. Я могу сказать, что заслуживаю «честь», которую объясняла мне моя корреспондентка; но нельзя было не видеть, что я выбран «ею» или «ими» — кем? — для какой-то тяжелой роли; бесцеремонность этого обращения не могла понравиться мне. Я не имел и тогда мысли, что «она» или «они» — люди неблагородные; но я видел из «Перла создания», что «их» или «ее» понятия не сходятся с моими: я никогда не могу одобрить такого запанибратского хозяйничанья с Гоголем, Диккенсом, другими почтенными писателями. И кроме того, вообще я не привык входить в хлопотливые положения. Поэтому я написал, как сделал бы всякий благоразумный и уважающий себя человек на моем месте: «Я очень благодарен за честь, которую вы мне делаете, но позвольте мне решительно отказаться от всяких отношений к делу, которого я не одобряю, насколько могу понимать его».

Вот что отвечали мне:

«Как вам угодно. Но поздно. Вы уже высказали некоторые мнения о «Перле создания». Вы уже имеете понятие о том, чего

от вас ждут: продолжения ваших оценок. Трудно ли это для вас? Если «да», вы прав, отказываясь. Но до какой степени это было бы выгодно для вашей репутации, как человека неглупого и имеющего вкус? Это неважно для вас? Есть другая сторона, более серьезная. Вас выбрали потому, что считали вас благородным человеком, мужем, не боящимся потерять уважение жены, не имеющим ничего утаивать от нее в ваших мыслях. Вы найдете натуральным, что ваш отказ возбудит в нас предположение: «он, зная себя лучше, нежели мы, чувствует, что мы ошиблись». — Милостивый государь, вы имеете дело с людьми, действующими очень прямо. Я не скажу вам, что кто-нибудь узнает о вашем отказе. Он останется тайною только двух людей: той неизвестной, которая названа в романе Коробейниковою, и той, которая названа в нем Тисьминою-Дмитровскою. До сих пор никто, кроме нас двух, не знает о вашем отказе. Если вы останетесь при нем, мы скажем другим: «Выберем другого корреспондента; прежний не понравился нам» — кроме [этого] не будет сказано ничего другим. Мы обе постараемся поскорее забыть о вас. Но забудете ли вы сами? — Через три дня вы получите другое письмо, в котором не будет ни одного слова о вашем отказе, но будут высказаны личные чувства Л. А. Коробейниковой. Я не скажу, что я не разделяю их. Я друг ее. Но они — ее чувства, а не мои. Если вы оставите ее письмо без ответа, вы будете оставлены в покое и потрудитесь возвратить Л. А. Коробейниковой рукопись.

А. Т и с ь м и н а - Д м и т р о в с к а я .

P. S. Ваши письма будут возвращены вам. Наши — не нужны нам».

Это заставило меня несколько задуматься. Ясно было, что я имею дело с какою-то госпожою или какими-то госпожами очень оригинальными, и что их оригинальность — очень странная оригинальность. Через три дня я получил письмо первого почерка.

«Милостивейший государь, если вы смотрите на человеческие отношения проницательными глазами, вы должны помнить следующий случай.

Несколько лет тому назад, осенью, по Загородному проспекту шли дама и мужчина, — очевидно, муж и жена. В нескольких шагах позади их шли, несколько быстрее их, также дама и мужчина, также, очевидно, муж и жена. В то время как они почти поравнялись с первыми, мимо этих четырех человек прошла женщина или девушка, еще молодая. Одна из дам толкнула своего кавалера, увидев ее. Она прошла мимо и услышала за собою слова: «Эх, что ж ты не успел взглянуть на нее. Это NN, — позвольте мне умолчать фамилию, — иди, взгляни ж на нее: какая милая!» Муж перешел на другой тротуар, зашел вперед против

встретившейся дамы или девушки, перешел на тротуар, по которому она шла, прошел мимо нее, — и догнал свою жену.

Через несколько времени я слышала, что другой из двух мужчин рассказывал этот случай, прибавляя замечание: «Можно по этому одному видеть, что эти муж и жена необыкновенно хороши между собою: она указывает ему такую красавицу, как NN — это большая редкость».

Не знаю, редкость ли это. Но, действительно, нельзя не видеть, что эти муж и жена не сомневаются друг в друге.

Мне показалось это так любопытно, что я узнала все имена.

Впрочем, не все имена я должна была узнавать. Одна из этих трех женщин была я сама.

Вы шли под руку с другою.

На этом случае основано то, что, когда мне поручили вести дело о печатании «Перла создания», я выбрала вас хлопотать о нем.

Но я должна сказать вам: я ненавижу вас.

Вы наносили мне обиды, которых я никогда не забуду.

Впрочем, вы незнакомы со мной.

Известно ли вам теперь мое истинное имя?

Л. К о р о б е й н и к о в а ».

Я не отвечал на это письмо, потому что конец его казался мне угрозою.

Но случай, о котором оно напоминало, действительно припомнился; впрочем, так смутно, что я не помнил имя дамы или девушки, прошедшей мимо нас, хоть я и моя жена тогда расслышали его. Я был тот, который рассказывал тогда раза два об этой встрече. Это было два года назад, вскоре после нашего переселения в Петербург. Кто были муж и жена, которым я давал такую рекомендацию, я совершенно не знал. О девушке или даме, прошедшей мимо нас, неопределенно вспоминалось мне, что это была артистка, очень известная, жена моя припомнила ее фамилию.

Я сказал, что оставил без ответа это письмо. Но моя жена получила на другой день приглашение дамы, называвшей себя в нашей переписке псевдонимом Коробейниковой. Я был не совершенно доволен, когда моя жена сказала мне, что получила это приглашение, приняла его, была у Коробейниковой, нашла у нее Тисьмину-Дмитровскую, увидела в обеих очень милых молодых дам, которые понравились ей, как и вообще понравился весь их дружеский кружок, который состоит большею частью из людей молодого поколения, но в котором есть и несколько пожилых людей. В двух из этих пожилых людей моя жена предположила старика и старуху Всеволодских. Она увидела потом, что не ошиблась. Ни о «Перле создания», ни о чем, от-

носящемся к нему, не было разговора у моей жены ни с кем, кроме Коробейниковой и Тисьминой. Они обе совершенно уверили ее, что все это шутка, «если не для нас самих, то для всех, кроме нас», так они выражались. «Авторское самолюбие всегда придает большую важность всему, до чего касается; поэтому и «Перл создания» для нас дело очень важное; но для всех других оно, конечно, останется только сборником рассказов, быть может, не лишенных романического интереса; ваш муж пусть будет нашим строгим критиком, — чем строже будет он, тем занимательнее будет и наш сборник. Трудно ли быть критиком и бранить? Мы больше ничего и не требуем от него. Нам нужно, чтобы кто-нибудь показывал нам наши недостатки, мы будем стараться пользоваться этими замечаниями. Неужели обременительна эта роль — читать и бранить? это, кажется, не бог знает какая злоба с нашей стороны, если мы просим об этом».

Конечно, все это очень лестно для меня. Конечно, это не очень страшно. Но они не всегда так милы со мною, как с моею женою.

Сколько обид я получил от них!

Вот, например, один случай. Когда я взялся писать историю моих отношений к странной рукописи Л. С. Крыловой и ее дружеского круга, — взялся только для того, чтобы Л. С. Крылова согласилась [уничтожить] свой рассказ о моих разговорах с нею, она имела жестокую дерзость сказать мне: «Я не помещала в моем рассказе о наших сношениях с вами ту записку, которую получили вы от Коробейниковой после того, как она познакомилась с вашею супругою; я не вижу надобности, чтоб и вы упоминали об этой записке в рассказе, которым замените вы мой из желания по возможности спасти меня. Не помещайте эту записку. Она совершенно лишняя».

Вот эта записка. В ней было только четыре слова:

«Теперь вы, вероятно, успокоились. Л. Коробейникова».

Да, одна из них написала мне эту записку; другая дает разрешение умолчать о ней.

Женщины иногда слишком злоупотребляют своими преимуществами.

Впрочем, никакая обида со стороны дамы, называющей себя псевдонимом Л. А. Коробейниковой, не заставит меня умолчать, что я действительно был виноват перед нею. Она — артистка. Я до сих пор не имею чести знать ее лично. Но имя ее было известно мне, как и всем. Она хорошая артистка. Поэтому нередко можно было слышать ее имя в разговорах общества.

Я не охотник до разговоров о жизни артисток. Я сужу о том, какими вижу их на сцене. Сходя со сцены, артистка перестает быть артисткою, становится дамою или девицею, о ко-

торой я ничего не знаю и не желаю ничего знать, если не имею чести быть знаком с нею. Я очень строг в этом различении, которое служит отличительным признаком порядочности человека. Но на земле нет совершенства, и никто не может похвалиться тем, что никогда не нарушал правил, которые уважает и соблюдает. Один из моих знакомых, молодой повеса, очень горячо говорил однажды в обществе, что г-жа NN (Л. А. Коробейникова в «Перле создания») героиня необыкновенной доблести, и рекомендовал всем изумляться и поклоняться. «Добродетель на сцене Большого театра — это, действительно, изумительно, особенно в виде, столь похожем на Истину», сказал старый повеса, сидевший тут. «Еще изумительнее то, что добродетелью восхищается ваш молодой друг», сказал я. Только [и] было сказано мною. Я спрашивал Л. С. Крылову, слышала ли когда-нибудь г-жа NN (Л. А. Коробейникова в «Перле создания»), что мною было сказано больше. Л. С. Крылова засмеялась и сказала: «О, вы смешной!» — «Положим; но если ей говорили, что мною сказано было больше, это неправда». — «Ей не говорили, что вами было сказано больше». — «За что же мщение мне?» — «За то, что она обижена». — «Мною?» — «Вами».

Я считаю свои слова заслуживающими порицания. Они были сказаны не в обиду. Я не делаю таких низостей. Я хотел только сказать, что волокита и повеса прежде должен перестать быть волокитою и повесою и тогда уже говорить о добродетели; а иначе его слова пошлы. Прочтите еще раз мои слова: ясно, что они относились не к лицу, бывшему предметом похвалы, а только к пошлому тону похвалы и к повесе. Но я готов согласиться, что мое выражение было неудачно: не следует, но можно понять его и в том смысле, что я не верю в добродетель на сцене Большого театра, в виде похожем на Истину; если б я хотел сказать это, я хотел бы сказать пошлость, показывающую во мне самом невежественное легкомыслие.

Я не люблю показываться в таком виде. Но пусть перетолковали мои слова в смысле, которого они не имели, которого они, очевидно, не могли иметь — перечтите связь ответов, моих и предшествующего, вы убедитесь в этом. Но, говорю, пусть перетолковали мои слова в смысле, которого они не имеют, пусть могли обидеться ими, пусть я виноват; но все-таки мстить за эти слова, в которых я всегда готов был бы извиниться, в которых я предлагал извиниться, — мстить за них через два года, через два года говорить: «я ненавижу вас», «я получила от вас обиды, которых никогда не забуду» — справедливо ли это? Не слишком ли большая злопамятность это?

Я сам припомнил эти слова, когда говорил с Л. С. Крыловой о причинах «ненависти» ко мне; я искал и не находил

ничего другого, — Л. С. Крылова молча слушала мои уверения, что я решительно не умею вспомнить за собою ничего такого, что могло бы назваться «обидою» г-жи NN (Л. А. Коробейниковой); наконец, я вспомнил этот ничтожнейший случай. «Неужели это?» — спросил я, рассказав, как это было. Л. С. Крылова с каким-то ожесточением сказала: «Похвальная искренность». Я, однакоже, сказал, что я очень сожалею, готов извиниться как угодно. «Этого она вовсе не желает», сказала Л. С. Крылова. — «И ненавидит меня?» — «Да». — «И вы тоже?» — «Да». — «И хотите мстить?» — «Да». — «За эти слова ненависть и мщение?» — «Отомстить — удастся или нет, мы не знаем; вероятно; более чем вероятно; ненавидеть — ненавидим вас. Мы действуем прямо и честно, мы предупреждаем вас».

«Прямо и честно — да; но странно: в каждом их слове чувствуется что-то возбуждающее мнительность; беспрестанно они говорят: «Зачем вы так поняли? Вам не было сказано этого» — и действительно, не было сказано, они правы; но как правы? — я не одобряю этой манеры быть правым. Помните, как начинает Тисьмина-Дмитровская свою сказку о приключениях Александры Евтроповны: «Он стрелял зверей на улицах Москвы; он продавал шкуры убитых им зверей; шкуры убитых им зверей, которые продавал он, были волчьи шкуры», и вдруг спрашивает вас: «Не вообразилось ли вам, будто я сказала, что он убивал волков на московских улицах? — я не говорила этого». Я отвечаю: «вы права; вы не говорили этого; но будьте права так только в шутках».

А они во всем так. Возьмите, например, эту сказку, — что это такое? Сама по себе она была мила, забавна. Но зачем здесь это «я»? Рассказывайте это об Александре Евтроповне, или Европовне, тогда это шутка, я понимаю ее смысл: вы взяли «дочь Агенора», как вы сама намекаете, вам вздумалось позабавить шуткою, построенною на этом мифе о девушке, которая едет на животном, вовсе не годящемся для езды. Я понимаю, как благородно очистили вы эту шутку от всего грубого, что заключалось в мифе о Европе; вы переложили ее с тех диких понятий на наши нынешние, чистые, благородные. Ваша шутка — невинна и чиста. Я понимаю, что вы сама не только умна и даровита, — вы сохранили сердце чистое от всякой пошлой мысли. Но к чему вы называете себя этою героинею, едущею на коровах? Зачем вы сама садитесь в смешную позу героини, едущей на корове? — А прежде: у вас лицо исклевано, так что кажется рябым, вы ходите в шлеме, сделанном из лукошка, в броне из армяка, в рукавицах, — вы описываете себя в самом смешном виде, — и потом, вас жуют коровы: рассказывайте вы все это о ком вам угодно другом, — я говорю: «выдумка смешна, даже поэтична». Но человек не может так легко

и весело выставлять на осмеяние самого себя. И я говорю: ваша шутка — или дурная шутка, или — я не понимаю, что это такое.

Моя жена знакома теперь с этою «Александрою Евтроповною», которая описывает себя «Сашею-лукошницею», рябою, с подбитым глазом, едущею на корове, — это молодая дама, не дурная собою, очень милая! Но как вы отделаетесь от этих сцен с курами, с коровами? Нет; молодая, хорошенькая женщина не может так пренебрегать впечатлениями, которые связывает со своим именем, — псевдонимом, правда, но это все равно: она, как бы ни была ее настоящая фамилия, для меня Александра Евтроповна Тисьмина-Дмитровская, она под этим именем познакомила меня с собою, я не могу скоро забыть его.

Это — скорее всего это безрассудство. Но я не знаю, только ли безрассудство.

Она рассказывает в самых неопределенных чертах свою настоящую историю, в которой нет ничего, кроме хорошего и почтенного: она бедная девушка, жившая шитьем платьев на уездных щеголих, выучившаяся всему, чему могла учиться, — умная, трудолюбивая; она встретила даму, которая была добра, полюбила ее, дала ей средства к образованию; она видела и перенесла много; у ней довольно живая фантазия. Муж дамы, которая полюбила ее, ободрил ее испытать, не удастся ли ей писать рассказы, — ясно, что это смысл «перстня» и «наследства», — рассказы вышли недурны, были напечатаны; бывшая швея-мещанка, или крестьянка или вообще простолоудинка, приехала в Петербург образованною девушкою, талант которой дает ей и средства к жизни, и равноправность со всеми во всяком хоть бы довольно высоком кругу, — и выходит замуж за человека хорошего общества. Это ее история.

И что ж? — после этого она говорит: «дальше я буду рассказывать выдумки, в которых не будет ни слова правды», и рассказывает, действительно, совершенно фантастическую сказку о какой-то Евтроповне, дочери Евтропа, приятеля Кифы Мокиевича, и в этой сказке повторяет все основные черты своей истинной истории.

Я спрашиваю: что это такое? Это вещь странная, ограничусь этим суждением.

Но только ли это? Она берет анекдот из Диккенса, переделывает его по своему вкусу и вставляет в повесть Гоголя.

Что это? — «Это я смеюсь над знатоками с тонким эстетическим вкусом; пусть они разбирают, не хочу ли я этим сказать, что я пишу не хуже Диккенса и Гоголя, и, быть может, я сделаю другую шутку, если они скажут «хуже», и посмеюсь над ними в другой раз». Так ли? Я сравниваю вашу «наклейку носа» — мне? Я тоже считаю себя человеком со вкусом, и мог бы принимать это на свой счет, но не приму: я вижу, что

на уме у вас не «наклейка носа» — нет, даже задевая мое самолюбие, вы не проведете меня: у вас на уме не «наклейка носа» мне и другим, которые считают себя людьми со вкусом. Я вижу, что все основные черты этого совершенно фантастического рассказа о козле, которого брил цирюльник, сходятся с основными чертами вашего рассказа о Евтропе Дмитровском, приятеле Кифы Мокиевича, тоже совершенно фантастического рассказа — и я спрашиваю вас: что такое значит это?

Я писал все это Тисьминой-Дмитровской. Она уклонялась от ответа; наконец, отвечала: «Что ж за важность, повторение одной идеи; конечно, это показывает бедность моей фантазии: я повторяюсь». — «Нет, нет, это не то. Бедность фантазии! — бедность фантазии в том, когда повторяются одни и те же положения и лица, а здесь вовсе не то: положения, лица не имеют ни малейшего сходства. Это не бедность фантазии, это настойчивость на одной идее; но что это за идея? — она остается для меня в тумане». — «Да, — отвечала она мне, — идея остается в тумане, это большой художественный недостаток; мои воззрения еще не установились, как видно из этого, но будьте же снисходителем: я еще молода, я еще могу развиваться». — «Нет, опять желание отвести в сторону: вы молоды, но вы хитры. Вы не то, что не сознавали ясно вашей идеи, — вы вполне владеете ею, это видно из того, как вы ее переделываете, но вы почему-то оставляете ее в тумане; почему?» — «Но почему вы не хотите думать, что просто я не справилась с нею, что у меня не достало таланта? Я охотно соглашусь на это».

«Охотно соглашусь! — из этого-то и видно, что вы спокойны за свой талант. Вы просто хотите отвести глаза. У вас на уме есть что-то такое, чего вы не решаетесь высказать ясно, и что, однакоже, хочется вам высказать». — «О, как вы мнительны! Однако, что бы такое было это?» — «Очень ясно: вы хотите рассказать из вашей жизни что-то такое, чего не решаетесь рассказать». — «О, какой же вы опасный критик!» — «Но ошибся я или нет?» — «Пожалуйста, не верьте мне ни в чем; с чего бы стала я откровенничать с вами? Вы должны видеть, что я шучу».

«Шучу» — без всякого сомнения, вы шутите; но только ли шутите?

В этих эпизодах «Перла создания» я не вижу, однакоже, ничего дурного. Только шутка или отчасти не совсем шутка, рассказы Сисьминой-Дмитровской имеют невинную тему; если она намекает ими на свою жизнь, то она намекает на такие стороны своей жизни, которые могут быть предметом и шуток, и фантазий. Если бы я имел право быть советником ее, я посоветовал бы ей, молоденькой и хорошенькой женщине, смеяться над своею наружностью; не посоветовал бы ей, писательнице, не лишенной таланта, смеяться над своею литературною деятель-

ностью. То и другое не совсем хорошо, потому что несправедливо; быть несправедливою к себе труднее, но не лучше, чем к другим: погрешность более редкая, но не менее вредная. Кто несправедлив к себе, не будет справедлив и к другим: у него нет масштаба для соразмерения своих суждений о других с человеческою природою.

Этим объясняется и странная жестокость этих людей со мною: они жестоки с самими собою.

Но я еще понимаю, что можно оставаться добродушным, несправедливо смеясь над своею наружностью, над своим талантом: могут быть у человека другие стороны любви к своей жизни, более глубокие, хотя я не похваляю в писателе пренебрежения к его таланту, хотя с трудом допускаю и никак не могу одобрить в молодой, хорошенькой женщине равнодушия к ее лицу; но все-таки я в состоянии понять, что можно оставаться весело и доброю, смеясь над собою в обоих этих отношениях. Можно любить себя, можно быть любимою другими за сердце.

Я не стал бы вооружаться против Тисьминой-Дмитровской, если б она откровенно сказала, что не одобряет Л. С. Крылову, которая идет слишком далеко в несправедливом жестокосердии к самой себе.

Я уже обменялся более чем десятью письмами с Л. А. Коробейниковою и Тисьминою-Дмитровскою, которую я не хочу же и в псевдониме ее называть неуместным именем Александры Евтроповны, — моя жена была уже недели две знакома с ними, уж раза два брала с собою к ним и Надину, когда приехала в Петербург дама, до сих пор известная мне только под псевдонимом Л. С. Крыловой.

Моя жена сказала мне, что она желает видеться со мною, но только так, чтобы я не видел ее лица. «Как же это она делает?» Моя жена объяснила мне те чисто комедийные меры, какие будут приняты; я описывал эту фантастическую обстановку наших свиданий: в комнате остается одна лампа, под плотным абажуром, на окне; у окна стоят ширмы; половина комнаты едва освещена лампою, другая почти совершенно во мраке от этих ширм; гостья моей жены, моя собеседница, сидит в этой непроницаемой тени, я сажусь на противоположной стороне комнаты, и едва могу рассмотреть общее очертание фигур моей жены и ее гостьи, ни разу не мог различить даже цвет платья этой гостьи. И мы беседуем.

Не смешно ли это? Не смешнее ли всего тут я? Но если возможно быть чему более нелепому, чем моя роль, еще нелепее ее то, что я отчасти перестал находить ее смешною: привык, и мне уже не совершенно дик этот китайский церемониал наших свиданий.

Нет, я не могу не уважать себя глубоко за то, что согла-

шаюсь даже подчиниться этому смешному ребячеству из желания исполнить обязанность честного человека.

Я горд; это еще ничего бы, но я привык держать себя солидно; и это еще ничего бы, но у меня есть слабость: я боюсь быть смешным; и, однакож, я побеждаю себя.

Долг трудный, но тем более я доволен собою, что он очень труден.

— Пойдем в мою комнату, Леонтий Данилыч: Лизавета Сергеевна приехала со мною, — сказала мне жена, ездившая к Тисьминой-Дмитровской, или к Л. А. Коробейниковой, или к Всеволодским, — она бывала уж у всех них.

Я вошел с нею в ее комнату, она издали представила меня даме, фигуру которой я увидел уже только через две-три минуты, когда мои глаза несколько приспособились к полумраку; а вошедши в комнату, я узнал, что на диване, действительно, сидит гостя, только по тому, что со стороны дивана женский голос, звучный, еще очень свежий, отвечал на слова моей жены обращением ко мне:

— Без всякого сомнения, эти китайские церемонии кажутся вам нелепыми, — она назвала меня не по фамилии, а по имени и отчеству (Леонтий Данилыч, как я должен передать это здесь). — Но поверьте, я так же мало расположена к дурачествам и пустым затеям, как и вы. Такая обстановка нужна.

— Сомневаюсь, — сказал я, садясь. — Зачем нужна она?

— Но, быть может, вы встречали меня в обществе, я до времени не хочу, чтобы вы узнали, кто я.

— Если б я знал вас, я узнал бы вас по голосу.

— Может быть, я изменяю голос?

— Нет, это очень слышно.

— Да, мне нет надобности изменять голос, он незнаком вам; но лицо — может быть, вы и вспомнили бы, вы могли видеть меня на балах; мы незнакомы, но я принадлежу почти к тому же кругу общества, как вы.

— Все-таки зачем же скрываетесь, кто вы?

— Вы решительно порицаете «Перл создания», и собственно за мои отрывки в нем; мы должны спорить; быть может, у нас есть общие знакомые; быть может, вы стали бы церемониться со мною; наверное, вы не высказали бы многого, что теперь выскажете. Будем бороться. Я затем у вас, чтобы воевать с вами, без всякого снисхождения с моей стороны, — и с вашей, должно быть, тоже. Вам надобно дать свободу.

— Свободу? — вы не можете дать ее мне. Я не могу забыть, что вы женщина.

Она, вероятно, вспыхнула, — я не думаю, чтобы порыв, который выразился в ее голосе, был поддельный.

— Вы забудете это! Я заставляю вас забыть это ненавистное различие женщины от человека! — Но в ту же минуту она

сдержалась и продолжала уже спокойнее: — я буду выводить вас из терпения, и вы будете говорить серьезно. Вы понимаете, что я хочу и буду бороться с вами.

— Если так, вы или ваши друзья обманули меня. Первые два письма говорили вовсе не о борьбе. Они просто поручали мне дело, вовсе не хлопотливое для меня, и которое скорее могло назваться услугою с моей стороны. Меня просили только рекомендовать роман в какой-нибудь журнал.

— Вы совершенно правы. Это вышло очень нехорошо. Но вы извините ошибку. Это была ошибка. Вы читали, какую ролью хотели наши, оставшиеся в Петербурге, ограничить Коробейникову: она не должна была знать ничего, она была лицо совершенно постороннее. Ее нельзя винить, что она написала вам обыкновенное письмо. А мне тоже было показалось, что эта новая перегородка между нами и публикою придумана Изабеллою Гедеоновною очень удачно. Но вы видите — не годилось. Невозможно было не познакомить Коробейникову с нашим намерением. Пожалуйста, извините эту ошибку. Мы все очень жалеем, что не было сказано ей с первого раза.

— Позвольте ж мне говорить серьезно, Лизавета Сергеевна. Но прежде всего: серьезно ли мы говорим с вами? Быть может, вы шутите, мистифицируете?

— Что вы хотите, чтобы убедиться, что нет? Отбросить этот полумрак? Мне будет больно, — я вам говорю, вы огорчите меня этим, это будет вредно для меня, — но скажите.

Это, действительно, странная женщина. Если бы хоть встала, пошла к лампе, я еще мог бы подозревать тут эффект, театральную подделку под порыв: но нет, она только встала и стояла неподвижно, и в голосе ее не было эффектности, но было сосредоточенное, невольное увлечение:

— Мне нужно прятать от вас, кто я. Это нужно мне. Но если это вводит вас в сомнение, пойдем в зал из этой тьмы. Я готова. Но прошу вас, не требуйте этого.

— Я не буду просить вас о том, что было бы неприятно вам. Но я прошу вас выслушать меня: если вы шутите, вы делаете меня смешным.

— Мои сотрудницы подружились с вашею женою. Мы поступали бы низко, если бы думали смеяться над вами. Будьте спокоен, мы вовсе не того хотим. Мы хотим серьезной борьбы с вами.

— На это я согласен; хоть не вижу, из-за чего нам бороться. Я вижу только, что вы имеете намерение, отчасти несогласное с вашими серьезными интересами...

— Говорите прямо: безрассудное, безумное, гибельное. Так?

— Прежде чем я скажу, что вы выразили мою мысль, я должен узнать, следует ли мне иметь такую мысль. Я спрашивал

вас, серьезно ли мы говорим, или вы только хотите одурачить меня.

— Нет, Леонтий Данилыч, — сказала моя жена, — нет, я говорила тебе, что они думают о своем деле очень серьезно.

— Маргарита Николаевна, не ручайтесь за нас. Вы уверены, что мы порядочные люди, но не уверяйте в этом мужа. Почему знать, быть может, кончится тем, что он будет называть меня не только безрассудною, как теперь, но и неблагородною женщиною. Пусть тогда бранит меня за плутовство — мне не будет от этого ни тепло, ни холодно. Но если я хочу обмануть его, то пусть он только самого себя винит за легковерие. Не облегчайте ему возможности поддаться обману вашим уверением, что нет обмана. Может быть, вы сама обманываетесь в нас.

— Нет, Лизавета Сергеевна, — сказал я, — я верю, что вы имеете какую-то цель более важную, нежели мистифицирование человека, который занимателен для своих знакомых и больше ни для кого. И пока мне даже нет особенной нужды в слишком сильной уверенности, что вы не хотите одурачить меня; я хочу говорить вещи очень простые, на которых нельзя быть выставленным смешным. Я хотел сказать вот что: вы прячетесь от меня; моя жена получила приглашение познакомиться с вашим кругом лишь тогда, когда ваши друзья увидели, что она принимает «Перл создания» за вещь серьезную и исполнит условия, какие, по вашему мнению, нужны для успеха, — какого успеха и в чем, я не знаю, но какого-то успеха в чем-то посредством этой рукописи. Одно из этих условий то, чтобы моя жена не рассказывала мне тайн, в которые посвящается вами. Но кстати: согласитесь, что трудно же мне говорить о таких вещах не улыбаясь.

— Посмотрим, будете ли вы улыбаться через несколько времени. Теперь вы прав. Это для вас нелепое ребячество, вредное, но смешное безрассудство. Теперь должно казаться вам так.

— Но ваши друзья не ошиблись в моей жене, — ты не сердись, Рита?

— Ты увидишь, как отделают тебя. Я буду очень рада. Ныне и я твой враг. Я за них против тебя.

— Вы видите, что она говорит правду: она за нас против вас, — вы замечаете это?

— Буду говорить без шуток. Неужели вы полагаете, Лизавета Сергеевна, что я стал бы заниматься «Перлом создания», если бы не видел, что Рита за него и за вас? Но вот, вы прячете от меня, кто вы. Вы говорите, что хотите спрятать это от публики. Прекрасно. Об этом-то я и хочу говорить. Если б это могло быть спрятано, я не возразил бы ни слова против вашего «Перла создания» — мало ли печатается вещей, содержание которых не по сердцу мне; но если я вижу в них талант, я

радуюсь их появлению, даже сам готов помогать их печатанию: свобода убеждений — прежде всего, даже прежде нашей любви к своим убеждениям. Но это случай совершенно другого рода. Вы надеялись скрыться от меня за Л. А. Коробейниковою; при первом же начале серьезных отношений это прикрытие оказывается невозможным! Вы должны ввериться Л. А. Коробейниковой, которую не хотели посвящать в вашу тайну; мало этого, вы даже видите надобность ввериться и мне. Вот две из трех ширм между вами и публикою уже упали: я должен был не знать Л. А. Коробейниковой и иметь сношения только с нею; Л. А. Коробейникова не должна была знать вас, знать только эту загадочную вашу Изабеллу Гедеоновну; и при самом же начале дела Л. А. Коробейникова узнала, кто вы, я узнал, кто она; через несколько времени неужели я не буду знать, кто вы?

— Я готова сейчас же сказать вам это, но прошу, не требуйте; это будет мне больно.

— И вы сама через несколько времени скажете мне, кто вы, — это непременно.

— Да, я полагаю, что нельзя будет избежать этого; но я не хотела бы этого.

— Когда вы откроете мне ваше имя, я буду молчать о нем; вы можете быть уверены в том.

— Я уверена.

— Но вы видите, из трех ширм между вами и публикою две уже упали; остается одна — мое молчание, и пока, не надолго — мое незнание. Долго ли может закрывать вас эта ширма?

— Если она упадет, это будет...

Она остановилась.

— Она не упадет. Вы не напрасно верите в мое слово. Но она слишком недостаточна для закрытия вас. Вы не договорили, что такое будет для вас, если публика узнает ваше имя. Вам «больно» было бы сказать его одному мне, человеку пожилому, нелегкомысленному и, поверьте, честному. Что ж, когда оно пойдет по всей публике, по разговорам всевозможных людей, — да это будет для вас такое положение, которое трудно выразить.

Но эта странная женщина уже была опять холодна и тверда, — по крайней мере, таков был ее голос:

— Трудно выразить; вы правы; я и не договорила, — вероятно потому, что мне трудно было выразить. Но все равно я не отступаю. Неужели вы полагаете в самом деле, что я рассчитывала на удачность этих комедийных прикрытий? Они удобны для меня. Поэтому я хочу прятаться за них как можно дольше. Если они устоят...

— Оно устоит; теперь, из всех, остается уж одно.

— Вы правы; если оно устоит, я буду очень рада; если оно не устоит...

— Оно устоит, я знаю себя. Но столь же несомненно и то, что оно слишком недостаточно. Тысячи любопытствующих глаз устремятся на вас со всех сторон; я прикрываю вас только с одной и самой безопасной: от меня ничего не узнает журналист, но журналисту и нет охоты быть любопытным, — ему некогда, и он смотрит только на материальную часть вопроса: если «Перл создания» понравится ему, он пожелает, чтобы другие произведения того же пера или тех же перьев печатались у него; если я обещаю ему это, ему больше ничего не нужно и не интересно. Но публика — она хочет знать авторов; от нее я не закрываю вас; она увидит вас.

— Пусть. Я готова. Все равно.

Она произнесла это с очень большим усилием сохранить спокойный тон голоса.

— Ваш голос показывает, что нет, не все равно. Он дрожит.

— От авторского самолюбия, — сказала она и засмеялась.

— Так не смеются, Лизавета Сергеевна.

— Пожалуйста, дайте мне минуту, одну минуту времени. — Молчание продолжалось несколько минут.

— Нет, мой голос дрожал не от одного авторского самолюбия, — сказала она опять холодно и твердо: — быть может, оно и вовсе не участвовало тут. Может быть, вовсе не участвовало. Мне кажется. Я не умею решить сама, но мне кажется. Есть чувства более сильные.

— Есть, Лизавета Сергеевна. И я готов верить даже больше, чем вы сама, тому, что кажется вам. Как бы ни была сильна в вас любовь к славе, вас теперь волновала не она. Это страшно, Лизавета Сергеевна.

— Я не говорю, что нет. Но не будем говорить о страхах. Довольно о них. Поговорим же, наконец, о деле. Чем вы, в самом деле, затрудняетесь в истории «Белого пеньюара»?

— Тем же самым, чем и вы, Лизавета Сергеевна.

— А я чем же?

— Ответами на вопросы, которые делает вам «сфинкс».

— Будто затрудняюсь? Кто вам сказал это?

— Вы оставляете их без ответа.

— Только потому, что мне хотелось спать. Там написано.

— Лизавета Сергеевна, такими отговорками нельзя отговариваться.

— Кто ж хочет отговариваться? Спрашивайте.

— Спрашивать? Как и о чем спрашивать? Какое право я имею?

— Право честного человека, желающего удержать меня от безрассудства, как вы выражаетесь. Спрашивайте. Мне очень любопытно, как и о чем вы будете спрашивать меня.

— Это правда, вы хотите поставить меня в неблагородную роль. Вы права. Я боюсь идти в нее. Но я и не пойду. Я обра-

щу свои вопросы на то, о чем вы заставляете меня говорить. Что такое эта биография Георга Форстера?

— Я не знаю. Я ничего не читала сама о Георге Форстере. Этот отрывок писала моя сестра, шалуныя. Вероятно, заставила и мужа переиначить что-нибудь.

— Я человек добросовестный, Лизавета Сергеевна. Я должен, к своему стыду, признаться, что совершенно ничего не знал о домашней жизни Георга Форстера. Я знал его как ученого и как исторического деятеля. Но после этой сказки о Григории Филипповиче я прочел биографию Форстера.

— Ну, что же? много переиначила моя шалуныя-сестра?

— Нет ни одного слова, похожего на биографию Форстера.

— Будто?

— Ни одного.

— Она и ее муж говорили мне не так. Они говорили, что характер Лесникова имеет сходство с характером Форстера, но менее идеален, чем этот живой, действительный. Они говорили: наш Лесников перед Форстером — луна перед солнцем. Правда это?

— Это правда; если Лесников не совсем правдоподобен в вымышленном рассказе, то Форстер был бы во сто раз неправдоподобнее.

— Ну, что ж? В этом и была цель рассказа.

— Вымышленного?

— Там и показано, как устроена эта выдумка.

— Показано, да; но выдумка ли?

— А что ж?

— А если я имею честь встречать иногда в обществе бывшую madame Лесникову?

— Ах, вот что! Вы встречали ее в обществе! — Правда, я не сообразила: действительно, вы должны знать ее, по крайней мере, в лицо.

— Я только и знаю ее в лицо. Я не имею чести быть знаком с нею.

— Да? Да, действительно, вы едва ли можете принадлежать к числу ее знакомых. Но что ж из этого? Она или кто-нибудь может обидеться?

— Нет, наверное, нет, если кто-нибудь из действующих лиц узнает себя в этой сказке. Это рассказ благородный.

— Еще бы. Надеюсь, Лидинька не напишет ничего неблагородного. Но что ж из этого?

— Как что? Когда я читаю в одной и той же связи рассказа «Биографию Форстера» и историю «Белого пеньюара», что я должен [думать] о выдуманности истории «Белого пеньюара»?

— О, как прозаически вы берете вещи! Я надеялась, что вы обратите внимание на художественную сторону рассказа Ли-

диньки. Мы считали вас за человека с тонким вкусом, полагали, что вы заметите художественные недостатки.

— Заметил, Лизавета Сергеевна; но я вижу, что это такое. Тон речи у старика не выдержан: старик то говорит языком человека, читавшего очень мало книг, то языком человека образованного; на одной странице он только добрый и благородный старик, каким ему и следует быть; на другой странице он делает размышления, от которых не отказался бы самый просвещенный современный человек.

— Да, это очень дурная невыдержанность в характере рассказывающего лица; но вы будьте снисходительны к Лидиньке, — она еще такая молоденькая.

— И в самом деле, такая, какую там является у вас. Моя Надина без ума от такой подружки. Но, Лизавета Сергеевна, эта невыдержанность характера рассказа — не ошибка; вы напрасно считали меня таким человеком, которого так легко обмануть, задевая за его слабую струну, художественный вкус. Я вижу, это не ошибка, и даже скажу — это не недостаток; это так нужно, потому в этом и есть художественность.

— Как же это? Вы, кажется, в самом деле человек со вкусом, чего я, признаюсь, не ожидала.

— Не бог знает с каким тонким вкусом, но кое-что чувствую в художественных вопросах. Художественность в том, чтобы рассказ производил именно такое впечатление, какое следует ему производить по идее автора.

— Послушайте, Леонтий Данилыч, вы даже не совсем глупый человек.

— Чего вы также не предполагали?

— Но послушайте: если бы мы полагали, что найдем в вас такого человека, мы многое написали бы проще. Но что ж такое, почему невыдержанность в тоне Григория Филипповича — рассказчика истории Лесникова — не недостаток, а достоинство в художественном отношении? Договаривайте, я хочу знать, поняли ль вы? Я все еще не верю в вас.

— В то, что я не очень глуп? Извольте, — нет, я не такой простяк, каким вы предполагали меня. Цель автора — рассказать так биографию Форстера и историю Лесникова, чтобы читатель сначала подумал: «это сказка», потом подумал: «нет, это очень легкая переделка какой-то действительной биографии», и потом пришел к заключению: «что-то такое тут есть, вовсе не выдуманное, но что тут выдуманно и что не выдуманно — не разберешь», — и успокоился на этом заключении, которое относится ко всем произведениям поэзии: часть в них — факты, часть — вымысел; факты и вымысел слиты так, что и невозможно отделить, и глупо было бы стараться отделить одно от другого; а если читатель успокоится на этом, то и цель рассказа достигнута.

— Вот как! Будто? Как же нужна для этого невыдержанность тона в рассказе рассказывающего старика?

— Да очень просто: все должно соответствовать этому и «да» и «нет», и «факт» и «выдумка», — и самый старик сделан таким: по одним страницам...

— Будто страницам?

— Да, вы права; даже не по страницам, — по одним строкам, этот рассказчик — действительный рассказчик, старик, и очень живой старик: служака, от природы не глупый, но больше знающий из жизни, чем из книг, — от природы очень благородный человек; и вот вам все три условия, которые нужны, чтобы он мог очень верно судить о жизни: он много видел, он не глуп, он благороден.

— Благороден? Будто это так важно?

— Да, Лизавета Сергеевна, вы напрасно думали смеяться надо мною: я менее глуп и более честен, чем полагали вы и ваши друзья. Да, Лизавета Сергеевна, я так же, как и вы, знаю, что только честный человек верно понимает жизнь. Я тоже, как и вы, слыхивал поговорку: «в дурную душу не войдет ум», — видите, Лизавета Сергеевна, я даже умею и переделывать старые песни на новый лад, как вы.

— Позвольте. Замолчите. Вы заставляете меня забываться. Дайте мне опять овладеть собою. Неужели мы в самом деле виноваты перед вами?

— Но кто вы? Вы сама такая странная. Я спрашиваю теперь не ваше имя. Вы женщина, я это вижу; но вы так понимаете эти ученые вопросы.

— Продолжайте. Продолжайте. Нет, нет, продолжайте. Я ненавижу вас.

— За то, что я назвал вас женщиною? Будто это так обидно?

— Это обида, которой я никогда не забуду вам. Продолжайте. Экая глупая девчонка, заслушалась и распустила уши. Чуть не побежала целоваться с ним. Вы гадкий и гнусный человек.

Я не мог не улыбнуться.

— Лизавета Сергеевна, достоин ли я ненависти за то, что имею дерзость не забывать, что вы женщина, когда вы так сильно доказываете мне, что я говорю с женщиною? Сейчас вы сказали мне слова, которых никак не сказал бы мне мужчина. Но от вас я выслушиваю их со смирением.

— Но не сердитесь же. Что вы гадкий человек — боже мой, я очень жалею об этом, — но поверьте, я искренно убедилась в этом.

— Совершенно верю. За то, что назвал вас женщиною. Но и я скажу так же, как и вы: я очень жалею об этом, но поверьте, я искренно убедился в этом.

— Женщина не может понимать всех тонкостей, над которыми они глупо ломают свою голову!

— Лизавета Сергеевна, я готов согласиться и на то, что все эти ученые вопросы не очень недоступны сами по себе. Но мне странно видеть женщину, понимающую их, потому что женщины не получают такого воспитания.

— Будто для этого нужно учиться в ваших лицеях, корпусах или хоть университетах! Очень хороши они!

— Все же лучше ваших институтов.

— Но я у вас не затем, чтоб защищать наши институты. О чем мы говорили? О Григории Филипповиче? Что мы о нем говорили? Я совершенно увлеклась, распустила уши, забыла, с кем я говорю. Что вы хотели сказать о нем? Что-то о тоне его рассказа?

— Да, по одним страницам или строкам этот рассказчик сам — живое лицо, по другим — только пустое имя, и говорит вовсе не он, а ваша сестра сама, или еще скорее, даже и не она, а ее муж. — Что, вы опять обидитесь: зачем я и вашу сестру отличаю от ее мужа?

— О, нет, это другое дело; моя сестра еще очень молода, муж ее годами шестью или семью старше ее. В эти годы как же не быть разнице — 20 лет и 27 лет большое различие. Но продолжайте.

— Может быть, Лизавета Сергеевна, и я не столько «гадок и гнусен», как выражаетесь вы, сколько стар. Может быть, и я в ваши годы увлекался не меньше вас, — и поэтому будьте снисходительны к моим 42 годам: бог даст, вы сама доживете до них.

— Ни 42 года, ни 40 лет уже ничего не значат. Если я доживу до ста лет и сохраню память, я буду говорить, как говорю теперь. Первая моя молодость прошла. Я испытала все. В жизни нет ничего неведомого мне. Я не менее стара опытом, чем вы. Вы не остыли к жизни, и я нет, и никогда не остыну. Но я знаю все в ней. Вы знаете, как и когда [я] перестала быть человеком юношеских лет. Продолжайте.

— Знаю ли я? Я не имею права знать ничего.

— Будто? Я недаром ненавижу вас. Лицемер. «Мяжки слова их, но язвят, как стрелы». Чего вы не знаете и что вам угодно знать? Вам не довольно того, что вы видите меня? Вам нужно заглядывать в мои письма, в мой дневник, — если я веду его, — в мою спальную, чтобы видеть, как я держу себя в моей спальне? Гадкий человек. Вы видите меня, чего ж вам еще?

— Я не вижу вас, Лизавета Сергеевна. И в вашу спальную не я заглядываю.

— Что вы хотите сказать?

— Я говорю, что вы поступаете безрассудно. Только.

— Ах, вам угодно, чтобы я высказывала за вас ваши мысли

обо мне, — что ж, вы прав: вам неловко высказывать их, потому что они дурны. Извольте, я затруднюсь. Вы не видите меня? На что вам видеть мое лицо? Оно интересно для вас? Вы желаете видеть, не залуживаю ли я чести, чтобы вы приволокнулись за мною? Я не желаю чести быть вашею любовницею; без этого волокитство не имеет цели. — Не вы заглядываете в мою спальную? Вы хотите сказать, что я коварная обольстительница и расположилась в гостиной, как в спальней, и невинность души вашей была возмущена таким неприличием со стороны хозяйки, которая, как вы полагали, пригласила вас на обыкновенный светский вечер с картами для стариков, с танцами для молодежи. Это в самом деле ужасное неприличие! Но с чего ж вы это выдумали? Позвольте спросить вас, как вы смели выдумать это?

И если б это говорилось в порыве увлечения, тогда еще можно было бы понять возможность таких слов; но нет, тогда они были бы еще непонятнее. Впрочем, я и не знаю, холодно или с забывчивостью увлечения говорила она это и большую часть того, что она говорила. Самые странные и самые неприятные, — для нее, потому что мне что ж? я человек посторонний, — самые убийственные для себя тирады она произносила холодным, будто насмешливым голосом. Но она чрезвычайно владеет собою. Я, может быть, и затруднялся бы решать, владеет ли она собою, — так горячи бывают иногда ее порывы, и вообще так безрассудны ее слова; но я заметил несомненное доказательство тому, что она владеет собою: она постоянно дает направление разговору, вертит его во все стороны, как ей нужно, и когда она уезжает, я вижу, что разговор был веден ею по обдуманному направлению, со всевозможными маскированиями этого направления, оно одно, я вижу; но к чему ведет оно, я все-таки не понимаю. Понять легко, если остановиться на том, что она прямо бросает вам в глаза: «я безрассудная женщина». И трудно было бы не видеть этого. Но думаешь об этом и видишь: «так, вы безрассудна, но только ли безрассудна вы?» Спрашивать ее саму об этом совершенно напрасный труд; она отвечает, и отвечает искренно, но отвечает вещи невозможные.

Видно только одно: ей хочется высказаться. Но, по всей вероятности, она или не умеет, или не решается высказаться.

Впрочем, я только говорю так. Я не поручусь за то, что ей еще остается что-нибудь высказать: быть может, я хочу сказать: я не поручусь за то, что она желает отречься хоть от чего-нибудь уже высказанного ею.

Я могу сказать только одно: я по возможности смягчаю смысл ее слов; но передаю его, чтобы она удовольствовалась моим пересказом ее разговоров со мною.

Поймите, как тяжела моя роль.

Эта дама — благородная женщина; я уважаю ее; и вы ви-

дите, что я пишу о ней. Но я горжусь тем, что у меня все-таки достает твердости в моих честных правилах, чтобы выдерживать эту неприятную обязанность ее секретаря.

Но с ней ничто не помогает. Ей нет никакой надобности до того, что я не хочу высказывать каких-нибудь мыслей; она без запинки говорит: «почему ж вы не говорите об этом предмете? Вы не могли не заметить его. Вероятно, вы думаете вот что» — и она принимает на себя труд выразить мои мысли о предмете, о котором я никогда не заговорил бы. Труд, который она берет на себя, не подвергает ее опасности обмануться: мысли, ею отгадываемые, преднамеренно возбуждены все тем же «Перлом создания», о котором мы беседовали с нею; она и писала для того, чтобы возбудить эти мысли, она приняла всевозможные меры, чтобы вы никак не могли не получить этих мыслей, — и она отгадывает их во мне. Дело не трудное со стороны догадливости. Но надобно отдать справедливость ей: она не напрасно говорит о себе в «Перле создания», что она очень смела.

— Все-таки вы не высказали мне, чем же вы затрудняетесь в истории «Белого пеньюара». Быть может, вы сомневаетесь, имеют ли полную историческую точность факты из жизни Гоголя, рассказываемые мною?

— Я смотрю на этот отрывок точно так же, как вы и ваши друзья.

— Как же вы смотрите на него? Вы не знаете, как мы смотрим на него. Вы не заставите нас предполагать, что Маргарита Николаевна изменяет нам, сообщает вам что-нибудь о нас или наших мыслях.

— Да, я знаю, что не могу заставить вас предположить это, и не пытаюсь; она совершенно перешла на вашу сторону.

— Зачем же говорить так? Помогаю ли я чем-нибудь им? — сказала моя жена. — Если б я захотела помогать им, то ли было бы! Я сочувствую им, ты это знаешь, но я держусь нейтрально. Боритесь. У тебя и у них довольно сил и без меня.

— Я один, а их — сколько вас, Лизавета Сергеевна?

— Более четырнадцати человек, одна из нас писала вам.

— Ровен ли бой, Лизавета Сергеевна? Более четырнадцати, — но сколько «более», может быть четырнадцать миллионов?

— Гораздо меньше; но точно, несоразмерность сил велика; я советовала бы поступить по нашему примеру: кликнуть клич по родным и друзьям: «кто любит меня, помогай мне».

— Пока еще нет надобности в этом, Лизавета Сергеевна; попробую стоять за себя самого и, главное, за вас всех, и больше всех собственно за вас, Лизавета Сергеевна, — один.

— Вы и один до сих пор держитесь хорошо, это правда. Но как же вы понимаете мою статью о Гоголе? Вы сказали: так же, как я. Как я понимаю ее?

— В ней две стороны: шутовская, — если хотите, очень обидная, — и серьезная. Серьезная — вы хотите показать пример того, как поэтическое произведение возникает из анекдота, вымышленного или нет, все равно, или из какого-нибудь мелкого, едва заметного факта. Это вы делаете очень хорошо. Вы придумываете анекдот, из которого можно развить и Шпоньку и Женитьбу, и в котором остаются еще другие мотивы, также пригодные для развития других поэтических произведений; вы слегка дотрогиваетесь до одного из этих мотивов, и уже видно, что из него можно бы развить трагедию, — это очень хороший и почтенный этюд. Мне очень нравится эта сторона; я даже скажу: вы уже успели сделать довольно живое лицо из жены этого смешного чудака, которого выставили подлинником, послужившим Гоголю для создания двух разных типов: Шпоньки и Подколесина. Это очень хорошо.

— Этого мало для меня.

— О, какая самолюбивая вы. В угождение вам, я скажу похвалу более определенную: вы показали, что могли бы создать недурную трагедию. По вашей манере, жизнь жены этого чудака оставлена в тумане, но намеки ваши полны трагического содержания.

— Мне и этого мало.

— Нельзя назвать вас Эсхилом и Шекспиром за легкий, не разработанный очерк характера и за обрисовку положения двумя-тремя неопределенными чертами.

— Мне мало было бы титулов Эсхила и Шекспира. Я не поэт. Мне нужны другие титулы.

— Вы поэт, и поэт с талантом.

— Охота вам говорить вздор. Разве вам неизвестен этот анекдот о женихе, которого посадили в мешок, чтобы он опять не пытался ускользнуть из подворотни?

— Нет, я думал, что это сочинено вами.

— Нет, это анекдот, — меня уверяли, что это факт. Мне даже называли город; но вы знаете, эти анекдоты присвоиваются всяким его родному городу.

— Итак, это серьезная сторона вашего этюда?

— То, что я не поэт и рассказываю факт?

— Нет, Лизавета Сергеевна, я не говорил этого.

— Да, об этом женихе, — конечно, тут нет ничего общего с историею «Белого пеньюара».

Трудно, очень трудно бороться против этой манеры говорить. Что вы ни говорите, из каждого вашего слова строится новая подпорка для того, чего вы никак не хотите поддерживать.

— Лизавета Сергеевна, вы обижаете меня. За что же? Что я сделал вам? Скажите, если я в чем-нибудь виноват перед вами. Я честный и прямой человек. Я не ангел; я мог чем-нибудь

оскорбить вас или кого-нибудь из близких вам, — скажите, я сделаю все, что могу для исправления своей ошибки. Для этого не нужно было бы никаких окольных путей. Я всегда готов сознаться, если мне укажут, что я был несправедлив к кому-нибудь. За что ж вы ставите меня в такое неприятное положение? Неужели в самом деле за слова в разговоре о Л. А. Коробейниковой? Но ведь их смысл не относился к ней; если ей передали их не так, их перетолковали неверно.

— Какой вздор! Бросьте это. Просто она ненавидит вас, а я еще больше. Я ужасно люблю ненавидеть таких, как вы.

— Итак, я для вас — не собственно я сам, а только «один из таких, как я»; если так, за что же именно меня преследуете вы с такою личною злобою? Я не больше всякого другого заслуживаю этой судьбы.

— Если б это было и так, что ж особенного было бы тут? Кому-нибудь надобно расплачиваться за других — случай указал нам вас, и расплачиваетесь вы.

— Что ж, это хорошо, справедливо, гуманно?

— Если нет, что ж такое? Это бывает сплошь и рядом. Впрочем, я не говорила, что вы не имеете особых прав на эту судьбу. Одна из нас объяснила вам, чем заслуживаете вы честь, которую мы оказываем вам.

Странные люди, у них иногда трудно различить шутку от серьезных слов, насмешку от симпатии, обидный сарказм от похвалы; трудно различить потому, что слишком много безрассудного в их словах и поступках. Я не поручусь, например, за то, что [они] не искренни, когда говорят, что оказывают мне честь. Вы увидите, что никак нельзя поручиться за это; но само собою разумеется, что я не имею права, — если бы не запрещало и уважение мое к себе, то уж один здравый смысл запретил бы мне — принимать подобные слова иначе, как за насмешку. Поэтому я отвечал:

— Чем я заслужил, чтобы третировали меня так, Лизавета Сергеевна? Я говорил вам о серьезной, прекрасной стороне вашей шутки, называющейся материалом для биографии Гоголя. Позвольте мне сказать и об иронической стороне ее, о которой я не желал бы говорить. «Перл создания» должен был итти в какой-нибудь журнал через мои руки; во второй тетради его уже было вставлено два рассказа, имевшие явною целью лично заинтересовать меня в этом произведении, и через то — мистифицировать, как я тогда думал. Теперь я употребляю другое слово: сделать смешным. Правда?

— Скажите, какие рассказы имели эту цель?

— «Приятные воспоминания» и «Рассказ акушерки». — Я рассказал ей, как по этим двум очеркам мне пришла в голову мысль, что «Перл создания» писан моею женою, а ей — что мною.

— Вот странность! — сказала она: — «Приятные воспоминания» — я никак не полагала. Алферинька и Дмитровская слышали этот рассказ сами и вовсе не знали, что вы также слышали и потом пересказывали его. А что ж, разве у нас слишком переделан «Бал»?

— Как, «Бал»?

— Так вы не узнали? Зачем же это так переделано, — это странно.

— Неужели это дошло до вас как анекдот, рассказывавшийся мною? Я никак не полагала, — сказала моя жена.

— Да, мы взяли один случай, который дошел до нас за рассказываемый Леонтием Данилычем — вы узнали его, а другой случай мы точно так же взяли из тех, которые дошли до нас, как рассказывавшийся вами, Маргарита Николаевна. Значит, Дмитровская много переделала его?

— Нет, все совершенно так, как слышала и рассказывала я.

И я стал припоминать, что слышал этот анекдот от моей жены в первое время нашей жизни вместе. Она теперь припомнила, что с год назад ей случилось как-то вспомнить и рассказать эту старину.

— Совершенно верно с тем, что я слышала и рассказывала, — сказала она, — но я и не подумала, хоть, конечно, не могла не узнать. Почему ж бы я подумала, что это мой анекдот? Это было известно всему тому городу, вероятно, тысячи раз рассказывался он сотнями людей.

Вот как с каждым новым шагом открывали мы новый подлинный случай вместо сказки. — Теперь я знаю (и убежден, что это так, потому и говорю от себя), что три очерка, заимствованные из анекдотов, рассказывавшихся мною и моею женою, были подобраны Лизаветою Сергеевною и ее друзьями без большого труда. У них набрались сотни анекдотов, они занимались записыванием их для развлечения умиравшего юноши, которого называют Алферинькою Сырневым, — предупреждаю вас: в этой фамилии опять хитрость, вы увидите, какая, — невинная, просто шутивая, — потом, когда возобновили свои чтения через полгода, прошлую зиму. Прежде чем эти чтения приняли то направление, какое вы видите в «Перле создания», и которое сами они называют «игрою субъективности», они читали действительно милые, невинные очерки, большею частью записывали анекдоты. Когда они выбрали меня предметом своих преследований или решили именно мне «оказать честь», как они выражаются, они стали пересматривать эту грудку брошенных ими небольших рассказов, совершенно невинных, и нашли три, которые дошли до них, как анекдоты, рассказывавшиеся мною или моею женою. Точно так же легко было бы мистифицировать всякого: у них сотни уже готовых анекдотов, рассказывавшихся сотнями людей; а если бы и [не] нашлось готового, то трудно ли кругу, состоя-

щему более чем из 14 человек, найти случай заимствовать что-нибудь из анекдотов, рассказываемых кем угодно. Это очень легко. Я тогда был удивлен только потому, что не знал ни этой их организации, ни ее истории. Дальше вы увидите, что другой человек еще сильнее меня был заинтересован таким заимствованием или случайным совпадением.

— Но вы все отходите от предмета, Леонтий Данилыч, — сказала Лизавета Сергеевна: — как вы понимаете ироническую сторону моих воспоминаний о Шпоньке? Это — Саша?

— Лизавета Сергеевна, о чем я не хочу говорить, о том я не буду говорить. И вы сама должны видеть, что я хочу говорить вовсе не о том лице вашей фантазии.

— Фантазии? — будто?

— Ученой статьи, извините меня.

— Но ученая статья имеет фактическую верность; мне и хотелось именно этого: чтобы вы сказали, что я рассказываю свои воспоминания. Вы поняли это? Как вы поняли это?

Повторяю; страшно трудно говорить с людьми безрассудными, — конечно, только человеку, желающему защищать их от них самих. Всякому другому слишком легко.

— Как я понял это? Я никак не понял того, чего не понял, Лизавета Сергеевна. Но вот что я понял. Из второй тетради я вижу, что в «Перле создания» есть страницы, написанные или вставленные собственно для меня. Как вы обращаетесь со мною? Как с педантом, толкующим о нравственности, об уважении к некоторым основным законам общественной жизни, — к тем законам, введение которых в нравы наших предков было величайшим из всех успехов рода человеческого, — тем законам, которыми возвышена женщина, создано семейство в человеческом, а не животном, не в рабском смысле слова. За это вы смеетесь надо мною в наших разговорах с вами; но когда вы решались сделать меня первым из читателей «Перла создания», вы знали, что мой взгляд на вещи таков; вы сами говорите, что вы узнавали обо мне; что именно за те качества, которые вы нашли во мне, выбрали вы меня для «великой чести», которую вы мне оказываете; не должен ли я был бы предположить, что отчасти вы имели в виду меня, когда писали вашу новосербскую фантазию?

Я остановился. Моя собеседница, всегда такая скорая на ответы, молчала.

— Лизавета Сергеевна, я не прошу вас отвечать, я продолжаю. Правда, это было бы очень смешно, если бы «Перл создания» был рекомендован журналисту человеком, из которого в том же «Перле создания» сделана очень забавная карикатура под именем Кузьмы Фомича Остапенко, — «добродетель выставлена под видом насмешки», как он там у вас говорит. Конечно, я не точно выразился, вы можете еще вновь осмеять меня

и за это: лицо Остапенко — карикатура не с меня; я не «добродетелен», как он, я делал шалости, когда был молод; любил и не шутя; и меня любили; я не уступал другим молодым людям в этих вещах, пока не полюбил очень серьезно и на всю жизнь; я не Кузьма Фомич; но перед вашими теориями мои понятия, конечно, могут быть выставлены в карикатуре под именем «нравственных понятий обидчивого пуританина».

Я опять остановился. Моя собеседница уже оправилась и хладнокровно сказала:

— Да, вы не так глупы. Но любопытно, что дальше. Или на этом конец? В таком случае не поздравляю вас с особенным торжеством.

— Нет, Лизавета Сергеевна, не конец на этом. Вы видите, я понимаю. Но я понимаю также, что это ошибка с вашей стороны, — не больше, как ошибка. То, во имя чего вы топчете в грязь священное для меня.

— Я топчу в грязь: нет, священное для вас и для меня свято.

— Может быть, мой взгляд не так узок и формалистичен, как вы полагали. Но есть между нами разница лет. Вы скажете: «ты отстал от века»; нет, Лизавета Сергеевна; быть может, я сочувствую молодому поколению, но что ж мне делать, если я приобрел опыт жизни? Я не стал бы молод, я стал бы только легкомыслен, если бы захотел отбросить его; и зачем отбрасывать? Я пожил на свете и наслаждался молодостью; мне не тягостны мои годы; и, быть может, моя опытность дает мне хоть небольшую силу быть полезным — хотя бы для вас, Лизавета Сергеевна. Вы можете смеяться надо мною, сердиться на меня, — могу ли я оскорбляться этим? Таково всегда отношение следующего поколения к прежнему во всяком развивающемся обществе.

Она встала и начала ходить по комнате. В это время я мог рассмотреть, что она довольно полная, но стройная женщина и ее движения грациозны. Мне кажется, что она не блондинка; очень вероятно, что если бы она не была смугла, то и в этом почти совершенном мраке я несколько яснее видел бы ее лицо. Но я совершенно не знаю, обманываюсь ли я в этом предположении, или нет. Оно основано только на том, что нет ничего, что имело бы такую яркость белизны, как белизна белокурых; нет ничего, что так выступало бы светлым при очень слабом освещении. Но эта женщина так хитра, что я не знаю: очень может быть, что она накинула легкий темный вуаль, когда пошла ходить по комнате. Когда я сказал это ей, она равнодушно сказала:

— Да вы скажите, если вам угодно видеть мое лицо; снимите абажур с лампы, отодвиньте ширму, — я согласна. Но я говорю вам: вы огорчите меня. Была ли на мне вуаль? точно ли я блондинка? Помните, что я не допускаю сомнения в моих

словах. Я не раз называла себя блондинкою. Что вам угодно знать больше? Мое имя — спросите, я скажу. Но неужели вы забываете, что я женщина? Вы это сказали. Уважайте ж мои права, если не можете забыть этого. Впрочем, я очень благодарна вам. Я было начинала думать, что вы порядочный человек. Я чувствовала, что вы перестаете быть ненавистен мне. Продолжайте, теперь не расчувствуюсь. Как я глупа до сих пор. Это оттого, что я слишком добра. Но вы раскаетесь, раскаетесь. Я ненавижу вас.

Странная женщина! — довольно произнести при ней слово «женщина», и ею овладевает холодное негодование. Я говорю, что это странно, но, впрочем, я только хочу сказать этим, что для многих она должна казаться странною. Для меня, — впрочем, нет: и для меня она, как живое явление, — явление новое у нас. Может быть, и не у нас одних. Но в теории давно известны эти идеи.

— Продолжать? Что мне продолжать, Лизавета Сергеевна? Вы видите, я понимаю цель вашей фантазии; из этого вы видите, что она с этой стороны напрасна. Я не могу принять ее на свой счет. Вы ошиблись.

— Будто? — сказала она холодно: — посмотрим. Вам не угодно понимать, или вы не в состоянии понять — одно из двух. Разве вы не видите, что для меня в этом воспоминании моем смысл всего заключается в переделке романа Жорж [Занда] почтенным оригиналом, с которого списаны Шпонька и Подколесин? Разве вы не понимаете, какое отношение имеет эта переделка к моей жизни? Вы могли бы понять даже из того, что я привожу только первые страницы произведения Кузьмы Фомича; дальше не менее смешно, но те страницы не имеют связи с моей жизнью, и я не привожу их. Этот отрывок забавен, но я не настолько серьезна, что [бы] для меня [было] очень обидно ваше желание уверять меня, будто цель этого отрывка из моей автобиографии ограничивается объяснением законов, по которым возникают поэтические произведения, или насмешкою над чьею бы то ни было обидчивостью. Это слишком мелко для меня. Если моя автобиография имеет и эти два значения, тем лучше; но они в ней лишь прибавочные, случайные. Главный смысл ее не тот. Это грамматическое упражнение. Как вам нравятся обороты речи, в которых я говорю о Саше и Саша выражается о себе?

— Позвольте мне не отвечать на это.

— Вот как! Вы конфузитесь даже грамматических вопросов, — какая застенчивость! Как вы назовете Сашу, если придется говорить о Саше в третьем лице? Какую грамматическую форму дадите вы прилагательному имени, если надобно определить им какое-нибудь качество, — например, веселость?

Я молчал.

— Не в этом ли грамматическом затруднении заключается причина вашего мнения, что не следует печатать «Перл создания»?

— Лизавета Сергеевна, я не буду продолжать молчания. Оно бесполезно. Я понимаю и могу извинять многое; и могу уважать женщину, которой извиняю. Я не судья ничьего прошлого. Какое мне до него дело, если оно изглажено следующим временем. Давал ли я вам право усомниться в том, что я сохраняю полное уважение к вам, несмотря на все то, что вам угодно было рассказывать о графине Кавальканти и несмотря на все грамматические оригинальности вашего рассказа о Саше. К чему говорить об этом? Вы потрудились отнять всякую тень недоразумения вашими дальнейшими отрывками в «Перле создания».

— О чем вы говорите? О «Лоскутках»? и о впечатлении, которое произведено было чтением «Обидчивого пуританина» на мою сестру, на Дмитровскую, на их мужей?

— Смешно было бы сказать «нет»; смешно было бы молчать.

— Как же вы понимаете мою биографию при помощи этих пособий?

— Позвольте мне не думать о ней. Я вижу в вас женщину умную и образованную. Я не могу назвать себя вашим знакомым: вы не соглашаетесь на знакомство со мною. Но моя жена бывает в вашем дружеском кругу; она находит его благородным; видит вашу семейную жизнь; она находит ее безукоризненно. Поэтому я имею полное право сказать, что уважение к вам — чувство, которое не только я питаю, которое я обязан питать.

— И вы извините мне прошлое, которое как же вы понимаете?

И она стала рассказывать мне, как я понимаю ее прошлое. Конечно, она не ошиблась в отгадывании. Передам это как можно короче. Впрочем, я упробил ее: она позволила мне зачеркнуть три строки, которые были написаны мною, чтобы она уничтожила свой длинный разговор о том, как она отгадала мои мысли.

— И что же вы теперь скажете? Безнравственная женщина?

— Зачем? Я скажу только: женщина, которая мучит меня.

— И которую вы извиняете за ее прошлое? Как вы смели сказать: «я могу извинять многое; и могу уважать женщину, которой извиняю». Вы относили эти слова ко мне. Я не прошу их вам. И вы жестоко поплатитесь за них. Я нуждаюсь в извинении! За что, позвольте узнать? За то, что я женщина, а не мужчина? Вы поверите мне, что я не была до моего рождения спрошена о том, девочкою или мальчиком родиться я желаю. Но странное обстоятельство: родившись девочкою, я родилась

человеком, а не чем-нибудь другим. Подобно людям, я была кормлена грудью; подобно людям, я через несколько времени начала говорить на языке, которым говорили мои родные; подобно людям, я имела чувство жажды и голода, имела потребность сна; подобно людям, я жила в комнатах, носила одежду; подобно людям, я даже стала учиться читать, писать; да, все подобно людям, хотя я родилась девочкою; это странно, по вашему мнению, что девочка, потом девушка, потом женщина, — я сколько-нибудь походила на людей своими потребностями, способностями, стремлениями. И вы смели сказать, что вы извиняете? Вас надобно стереть с лица земли за это слово!

— Договаривайте, Лизавета Сергеевна; скажите: «дурак».

— Надеюсь, что вы убедились в этом и без моих слов.

— Лизавета Сергеевна, и дураки могут быть честны; и, быть может, они даже не дураки в том, в чем они честны. Оставим эти щекотливые общие вопросы о человеческих правах женщины; будем говорить о вас. Несмотря на все те оскорбления, которые вы наносите мне, вы совершенно безопасны от моего мщения, — правда ли?

Вот вам первое различие между вами и вашим мужем; не толкуйте моих слов в дурную сторону, я не говорю, как вам, вероятно, угодно было понимать: «между вами и человеком» — нет, между вами и мужчиною. Я не могу мстить вам, вы уверены в этом, но я и не желал бы мстить, если бы мог: я не обижаюсь вашими словами, не чувствую досады на вас, — вот второе различие: на всякого мужчину я чувствовал бы гнев. Опять, не толкуйте мои слова в дурную сторону: «не сердится, потому что пренебрегает»; нет, причина совершенно иная, нисколько не щекотливая для вас: кто из нас горячится и кто спокоен?

Жизнь имеет очень много разных направлений; для одних нужно преобладание чувства, для других — преобладание бесчувственности, скажу я. Вы видите, по моему мнению, те люди не умеют выражаться, которые говорят о различии по преобладанию чувства или рассудка. Это действительно обидно для женщин; и без всякого отношения к справедливой обидчивости женщин это дурно, потому что неверно, неосновательно. Неужели я скажу, что у женщины недостает ума, чтобы составлять латинские словари? Это не требует и такого ума, какой найдется в самом глупейшем из людей, какого бы ни был пола этот человек; это работа столь же нетрудная в умственном отношении, как паханье земли, плетенье лаптей или приготовление щей, вязанье чулок. Но латинские словари писаны мужчинами, а не женщинами, это факт. Он объясняется совершенно безобидно для женщин: работа над латинским словарем — такая же холодная бесчувственная работа, как вязанье чулок; кому необходимо по скудости средств, те женщины вяжут чулки. Но вяжете ли вы? Нет; и вы рада за себя, и я рад за вас, что вам нет необходи-

мости убивать свой досуг и отдых на такое бездушное занятие. Но в тех бедственных слоях общества, где вяжутся чулки и плетутся лапти, ни мужчины, ни женщины не занимаются науками и искусствами. Поэтому и латинские словари составляются людьми того класса, который уже довольно зажиточен сравнительно с простолюдинами. А если люди какого-нибудь семейства имеют три блюда за своим столом, имеют хоть какую-нибудь прислугу, эти люди уже имеют возможность хоть несколько заботиться о сносном устройстве судьбы друг друга. Удивительно ли и обидно ли для кого-нибудь из них, что занятия распределяются между ними по наибольшему возможному удобству для каждого из них? Вот причина, по которой одни из них занимаются делами, не требующими участия сердца, другие — делами, требующими его. Что тут обидного и несправедливого, когда это удобнее для тех и других.

— Какая софистика!

— Софистика — не значит ли это порицательное слово, что у вас нет возражений, а есть только предубеждение?

— Прекрасно, и вывод ясен: все те занятия и карьеры, которые принадлежат исключительно мужчинам — требуют бездушной работы: дипломатические переговоры и канцелярские дела, и всякая формальная, официальная служба обществу.

— Что ж, разве это не правда, Лизавета Сергеевна?

— Правда. И из этого неоспоримо следует, что я отомщу вам, потому что ненавижу вас.

— И в этом вы будете верны кругу деятельности, который удобен для вас и вне которого женщине скучно: личные отношения, основанные на чувстве. Но, Лизавета Сергеевна, я не боюсь вашего мщения, его не будет; его не будет потому, что в вас нет ненависти ко мне; вы шутите и мистифицируете меня. Я не скрываю от вас; я отчасти, — даже и много, — чувствую неприятность себе от этого. Так или иначе, я говорю с вами, я уважаю вас; потому что из разговоров и также из вашей рукописи вижу в вас человека — видите, я в угодность вам бросаю слово «женщина», которое не нравится вам, — вижу в вас человека умного и благородного; моя жена полюбила вас; я не могу быть совершенно равнодушен к спокойствию или неприятностям людей, которых любит моя жена. Я не так прост, чтобы верить, будто история «Белого пеньюара» — ваша история или имеет что-нибудь общее с вашей действительной историей. Я не верю этому.

— Как вам угодно. Я не имею магической силы: превращать понимающего в непонимающего, или наоборот. Как вам угодно.

— Но среди бесчисленного множества уверений, которым я не верю, потому что считаю их шуткою, я нахожу в «Перле создания» вырвавшиеся у вас слова, которым совершенно верю:

«да, я всегда завидовала актрисам; я только актриса; но я выбираю себе роль». Я говорю совершенно искренно: эта роль — неудобна для вашего спокойствия.

— Почему? Потому что дальше у меня написано там: «зачем же ты выбрала себе такую роль? Она тебе нравится». А из этого следует, что моя роль — не совершенно только роль? Да?

— Ничего не следует; но бросьте ее.

— Я не могу бросить ее, потому что она не роль моя, а жизнь моя.

— Позвольте верить этому — из учтивости. Для соблюдения учтивости я готов верить во что вам угодно, даже и в то, что вы не шутите.

Вот содержание пяти или шести первых моих разговоров с этою странною женщиною. Само собою разумеется, я не был так прост, чтобы считать историю «Белого пеньюара» — ее историю или даже хотя предполагать какое-нибудь сходство между этою фантазиею и ее действительною жизнью. Но я знаю людей: огромное большинство не будет так осмотрительно и пронизательно, оно будет искать намеков; истинное имя этой дамы недолго останется тайною; вероятно, в ее жизни не найдется ничего подобного истории «Белого пеньюара», но это нисколько не остановит толпу: толпа будет строить догадки, создаст басни, сама придумает тайные приключения, — и моя неосторожная беседа сделается предметом злословия. Вот почему я считал обязанностью честного человека употребить всю возможную настойчивость, чтобы отклонить ее от намерения печатать «Перл создания». Если у меня были мысли, что история «Белого пеньюара» более чем роль, выдуманная ею для себя, не совершенно фантазия, а до некоторой степени и биография, то я тогда старался разубедить себя в этом предположении, выставляя себе его смешным легковерием. Молчание моей жены, резкие намеки самой дамы, известной мне под псевдонимом Л. С. Крыловой, даже прямые слова, вырвавшиеся у ней — «это моя жизнь», я принимал за шутку, которая ведется, быть может, слишком долго и упрямо, потому становится утомительна, но все-таки не более как мистификация.

Но если б я и тогда был уверен в нешуточности слов Л. С. Крыловой — «это моя жизнь», все-таки я поступил бы так же, как поступил. Кто руководится правилами чести, тот редко сожалеет о том, что он делает. И в настоящем случае я не раскаиваюсь.

После пяти или шести разговоров с нею я увидел, что продолжать спор бесполезно. Кто на моем месте принимал бы за обиду резкие слова и колкие, иногда слишком колкие насмешки пылкой и взволнованной молодой женщины, тому она показалась бы просто упрямецкою непреодолимого упорства. Но я с удоволь-

ствием могу сказать правду, что мне она представлялась в более хорошем свете, потому что я смотрел на нее совершенно беспристрастно, без всякой досады; или нет: не скажу «без досады», — она обращалась со мною очень неприятно для меня; я не ангел и не овца; часто я сердился на нее. Но я не чувствовал раздражения против нее, я только жалел о ней, и над досадою преобладало во мне все-таки желание добра ей. Она искренна, это одно уже много примиряло бы с нею; но мало того: ее порывы действительно происходили из благородного одушевления; если она заблуждалась, то кто из нас безошибочен в своих мнениях?

Она не казалась мне упрямщицею, но я видел в ней женщину очень сильной воли, очень твердого характера; я видел, что она считает себя обязанною так поступить, что эту обязанность возлагают на нее, по ее мнению, принципы ее; я спорил против ее принципов; конечно, не переубедил ее, потому что люди переубеждаются не разговорами — только силою авторитета или силою жизни или собственным долгим размышлением. Поэтому я не был в неудовольствии, увидев бессилие моих доводов: я не так безрассуден, чтобы обижаться неудачами моего красноречия. А по всему этому я и не имел искушения уклониться от исполнения хоть того небольшого, что мог сделать в ограждение ее спокойствия.

— Доставлю вам, Лизавета Сергеевна, еще новый повод сказать мне несколько колкостей. Вы не отказываетесь от намерения печатать «Перл создания»? Что ж, нашли другого посредника взамен меня?

— А вы отказываетесь?

— Вы видите из моего приглашения осыпать меня насмешками, что не отказываюсь. Говорите, что я трус, что я боюсь вашего мщения, что я опасаясь стать смешным, если вам угодно было бы объяснять отказ так: принял «Обидчивого пуританина» за обиду себе и потому оказался не лучше его. Говорите, что я не отказываюсь только по этому опасению.

— Зачем говорить это? Нет, я очень благодарна вам — была бы, если бы могла не иметь вражды к вам. Но вы поступаете хорошо. Вы все-таки самый надежный посредник: вы не измените моей тайне, когда и узнаете мое имя. Это мало ограждает ее, вы прав; но насколько вы в силах оградить меня, вы ограждаете. Это честно.

Итак, я взялся отдать «Перл создания» в какой-нибудь журнал. Но едва я высказал себе — и в ту же минуту ей — эту решимость, я увидел себя в некотором затруднении.

— Что вы задумались?

Я сидел в более светлой половине комнаты, и ей были видны мои движения, если не выражение моего лица. Я потирал лоб рукою.

— Задумался о том, Лизавета Сергеевна, что никто из моих

знакомых не согласится напечатать такую странную вещь в таком странном виде.

— Вы хитрите? Это гадко. Лучше бы просто отказались.

— Нет, Лизавета Сергеевна. Всякий журналист потребует переделки. Невозможно иначе. Компрометируется журнал. Подумайте сами. Пока я спорил с вами, я забывал об этом. Я настаивал, чтобы вы не отбрасывали уважения к себе. Журналисту мало дела до этого. Но он обязан думать об уважении публики к журналу. Извините меня, но эти выписки без обозначения, что они выписки, эти насмешки авторов над самими собою, эти беспрестанные противоречия, как будто говорящие: «мы пишем вздор» — все это компрометирует в глазах публики журнал, печатающий такое произведение. Подумайте сами.

Она задумалась.

— Да, вы прав. Ни один из ваших журналистов не согласится печатать «Перл создания» без переделок. А мы не можем согласиться на переделки. Как же быть? Я, право, не знаю.

— И я не знаю. Подумаем.

— Вот что: журналы боятся потерять уважение публики, — вдруг сказала она, — но ведь только журналы, уважающие себя. — Отдать в какой-нибудь непорядочный журнал. Хотя в «Современник», — она прибавила несколько слов, которые я не стану повторять.

— Пожалуй, можно попробовать, — сказал я. — Извольте.

Я не имел удовольствия быть знаком ни с кем в «Современнике». Поэтому отослал в контору его «Перл создания» при записке в двух словах: сообщил свой адрес и больше ничего.

Недели две прошло без ответа. Но вот, возвратившись домой, я нашел на столе у себя билетик, с фамилиею одного отчасти известного писателя, которого назову, — как он сам выбрал здесь подпись для себя, — Л. Панкратьевым.

— Очень жалели, что не застали вас дома; спросили, когда можно застать. Я сказал: до одиннадцати часов каждое утро; сказали, что завтра будут.

Г-н Л. Панкратьев участвует в «Современнике», потому я понял, что его посещение относится к «Перлу создания». На другое утро г. Л. Панкратьев действительно пожаловал ко мне.

— Я такой-то, — он назвал свою фамилию и уж сел, пока произносил ее. — Мне не совсем приятно быть у вас. Но это так и быть. Я прочел «Перл создания» — скажите, как могла попасть в ваши руки такая рукопись?

Начало было несколько необыкновенно. Но я знал, по слухам, о странности манер г. Л. Панкратьева, дарования которого я, впрочем, уважаю.

— Рукопись эта была доставлена мне от автора с просьбою позаботиться о ее напечатании. Вы сомневаетесь, имею ли я право располагать ею?

— Ну вот, не то; вы уж и обиделись. Ну, я не умею говорить, что за важность. А мне любопытно знать имя автора.

— Я не могу сообщить вам его.

— Пожалуйста! Мне очень хочется знать его.

Г-н Л. Панкратьев схватил меня за руку для большей убедительности своего желания.

— Не могу сообщить, я дал слово.

— Ну, что ж такое, пожалуйста.

Он сильнее прежнего пожал мою руку.

— Да почему вам нужно знать?

— А молодец этот автор! Можно сказать: «что рука достала, все пиши пропало»: знаете, я нашел там одну историю о своем каком-то родном, не знаю хорошенько, — двоюродный брат кому-то из родных деда или бабушки, дьячок, который стрелял в волков из маленького форта; осада его волками — слово в слово, как я слышал, и у меня в мемуарах записано совершенно так; ну, это вздор, что у него было пять таких избушек, всего-то одна; и я не слышал, чтоб он настрелял себе кучи шкур; говорили, впрочем, что штуки по три убивал в иной день. Но, конечно, этим не разбогатеешь. Ну, нельзя: на то поэзия, чтобы привирать. Знаете, поэзия — ведь это вранье. Все вранье, чепуха: Шекспир и все это — дрянь; одной хорошей парламентской речи не стоит все это, — правда ли? Но я не за этим. Это чорт с ним, с автором, что он крадет чужие рассказы: так и следует; знаете, без этого нельзя. Потому и молодец. А пожалуйста, кто он?

— Я уже сказал, что дал слово не сообщать его имени. Но если вы желаете каких-нибудь объяснений с ним, я совершенно могу заменить его перед вами.

— Что, уж не вы ли и есть автор? Эх, дурак я, и не догадался. А впрочем, что ж я за осел в самом деле: ну, где вам написать такую вещь? Это умная вещь. Впрочем, вы пожалуйста, извините меня, не сердитесь; это я сказал потому, что так сорвалось с языка, я вовсе не умею говорить. Пожалуйста, извините.

— Я не сержусь, если вы сам находите, что выражаетесь не совсем удачно.

— Нет, вы сердитесь. Вы, пожалуйста, извините. Ну, если вам мало этого, так простите. Для меня это пустяки сказать «простите». Но если вам это нужно, то серьезно: прошу вас, простите. Ну, пожалуйста. Простите.

— Сделайте одолжение, скажите, что вы желаете сообщить автору или спросить у него. Я совершенно могу заменить его перед вами.

— Нет, не замените. Да вы все сердитесь? Ну, вот! Пожалуйста, простите: я говорю серьезно. Пожалуйста. Я не умею говорить, только и всего. Автор молодец, — вот, это точно, молодец. И из Гоголя валяет, и из Диккенса, и из всякой книги, которая ему понравится, — валяет, да и баста. Ему все нипочем. Так и надо. Это и отлично. Что смотреть-то? Чорт с ними, что скажут, — очень нужно. Лишь бы публике было занимательно, да набиралось бы побольше материала. А что скажут «краденое» — эка важность! Да чорт с ними. Знаете, ведь все пишут из-за денег, — то есть умные. Дураки, конечно, нет. А умные только для денег. А на остальное — наплевать. Я вас уверяю, так надо. Автор молодец: валяет себе и знать ничего не хочет. Это очень нравится мне. Но ведь я не за тем приехал к вам, это не важность. Роман печатаем. Условия обыкновенные, то есть денежные. Но я не за этим. Это я написал бы вам, а не потащился бы за этим сам. У вас есть геморой? Вот, я ужасно ленив ходить, а теперь пришел пешком, потому что геморой. Ну его к чорту. Впрочем, пустяки. Говорят, неприятно. Вздор! Ничего. Только мерзко, правда. Но пустяки. Ну, а как же зовут автора?

— Я не могу сказать, потому что связан словом, как уже говорил вам.

— Эка важность, что обещались не сказывать. Пожалуйста, скажите.

— Нет, не могу. Скажите мне. Я передам ему.

— Да что, это пустяки, что обещались не говорить.

Но, убедившись, наконец, что я не разделяю этого воззрения, г. Л. Панкратьев написал записку, объяснив мне, что он считает более верным написать записку, потому что я могу не понять, — потом попросил прощения в этом и снова уверил, что он не умеет говорить; записка была если и странна, то более прилична. Он не запечатал ее и опять объяснил, что своей печати нет при нем и что он жалеет об этом; потом попросил извинения, потому что он сказал это потому, что он не умеет говорить, и тут же прибавил, что разумеется, что, впрочем, в записке нет ничего секретного, а только он не полагался на то, что я сумел бы передать его слова, но что я даже могу прочесть ее, но что он все-таки очень жалеет, что нет с ним его печати, а моею печатью не стоит запечатывать.

Я сказал ему, что он может быть спокоен, что я не прочту его записку.

Но теперь она возвращена мне Л. С. Крыловой для того, чтоб я привел ее здесь. Вот она.

«Милостивый государь, я не мог узнать вашего имени и адреса. Я глубоко сочувствую вашему роману. Но, кроме того, у меня была другая причина желать познакомиться с вами. Я слышал рассказ о Григории Филипповиче от старика, очень

сходного с выведенным у вас. Я не полагаю, что сходство случайно. Если ж оно не случайно, то мы с вами связаны общими воспоминаниями. Так ли это? Л. П а н к р а т ь е в.

Л. С. Крылова отвечала на эту записку запискою ко мне; вот она:

«Потрудитесь передать г. Л. Панкратьеву, что рассказ о Григории Филипповиче был слышан двумя из нас: моею сестрою и Дмитровскою; что старик, рассказывавший им эту историю, без всякого сомнения тот самый, который рассказывал ее и г. Панкратьеву: он характеризуется так подробно и точно, что сходство между его портретом в «Перле создания» и воспоминаниями г. Л. Панкратьева не могло быть случайно. Но, при всем желании нашего дружеского круга познакомиться с г. Л. Панкратьевым, мы твердо решили отказать себе в этом удовольствии. Он поймет и не будет в претензии, мы уверены».

Мы уверены даже в большем. Он может оказать нам услугу. В письме, при котором вы прислали его записку, вы упомянули его слова, что он пишет мемуары. В начале вашей переписки с нами вы указывали очень важный недостаток в «Перле создания»: в рассказах этого сборника или в этом романе нет национального и местного колорита. Он и не должен иметь его. Но очень хорошо было бы вставить в него несколько страниц, которые набрасывали бы определенный национальный и местный оттенок и на остальное — для тех читателей, которым это было бы приятно.

По всей вероятности, г. Л. Панкратьев не думает скоро печатать свои мемуары: такие произведения оставляются на издания внукам; но, вероятно, некоторые отрывки из его мемуаров можно было бы переделать так, чтобы не было неудобства напечатать их теперь. Попросите их у него для «Перла создания». — Они, сказала я, дали бы (мнимый) местный и национальный оттенок всему остальному, совершенно не имеющему ничего подобного этому колориту, ни на что не нужному, как мне кажется, но для многих кажущемуся нужным. Но, кроме того, внесение этих отрывков (конечно, переделанных) в «Перл создания» доставило бы нам и существенное удобство: ими были бы совершенно закрыты мы от любопытства. Вся публика, увидев псевдоним «Л. Панкратьев» под одною из глав «Перла создания», предположила бы, что все остальное писано также литератором, которому принадлежит этот псевдоним.

Поэтому передайте ему, что мы очень усердно просим у него мемуары; если можно, то и позволения поставить псевдоним «Л. Панкратьев» под теми отрывками, которые будут взяты из них. Л. К р ы л о в а.

Р. С. Вы очень мило описываете вид, приемы и ужимки, развязность г. Л. Панкратьева и его манеру говорить. Некоторые

из нас — немногие — имели случай видеть его раз или два и нашли, что все это подмечено вами очень верно. Но какой же вы злой! Это вовсе не хорошо».

Я высказывал Л. С. Крыловой впечатление, произведенное на меня г. Л. Панкратьевым и его разговором; но я описывал ей это вовсе не с целью только посмеяться: я предостерегал ее от человека, который не понравился мне и напрашивается на знакомство с нею. Я никак не полагал, что отрывок из моего письма к ней будет вставлен в рассказ, назначенный для печати. Нет надобности говорить, что этот отрывок — рассказ о разговоре г. Л. Панкратьева со мною при первом нашем свидании. Если бы зависело от меня, я не вставил бы этого отрывка. Но читатель знает, какой прием имеет Л. С. Крылова, — он был употреблен и тут. В своем рассказе о моих сношениях с нею она вставила все мое письмо. Я, убедив ее бросить ее рассказ обещанием, что уж лучше напишу я сам, ни одним словом не выразил в этом моего мнения или впечатления моего относительно г. Л. Панкратьева. Но Л. С. Крылова сказала: «Вставьте ж хоть ваше письмо о нем, или я напишу «фантазию» в «Перле создания» — и выскажу там уже все, что слышала от вас о г. Л. Панкратьеве». — «Но как же это можно? Ведь это будет печататься в «Современнике», в котором он участвует». — «Ну так что ж? Они, как видите, интересуются «Перлом создания», поэтому согласятся, если сказать им: без этого мы не печатаем». — «Но неловко же», сказал я. — «Говорить то, что думаешь? Ловко или неловко, но хорошо». Словом сказать, она поставила меня в положение, в которое так любит ставить людей и в которое так легко ставить их при решимости пользоваться таким приемом: «делай ты умеренно и благоразумно, — или я сделаю, и уже не так».

Я должен прибавить, что г. Л. Панкратьев ухмыльнулся, когда я дал ему прочесть мое письмо о нем к Л. С. Крыловой: «Верно, смеялись надо мною? Или ругали? Эка важность: брань на вороту не виснет; как ни зови, лишь хлебом корми; на всякое чиханье не наздравствуешься». Прочитав письмо, он с недоумением посмотрел на меня. «Ну, так что ж? Эка важность. Я думал, вы написали и черт знает что, а это еще пустяки. Ну что ж? Зачем заставляли читать?» — «Лизавета Сергевна хочет, чтобы это было напечатано». — «Ну, так что? Вам совестно, что ли?» — «За вас». — «Ну, нашли за кого совеститься! Э, очень нужно. Какой мне от этого убыток? Я вам говорю, как умному человеку: для меня важно одно-с, деньги. Остальное — наплевать. Ну, простите. Это я неловко сказал. Вы не сердитесь?» — Я только пожал плечами.

Я должен сказать, что страницы, говорящие о г. Л. Панкратьеве, принадлежат к числу тех страниц моего рассказа, которые очень не желал бы я видеть в печати.

Но я имею «смелость своих мнений», по прекрасному выражению французов. То, что я говорю, я говорю; то, что я пишу, я пишу. И если меня принуждают знакомить публику с какою-нибудь частью моих разговоров или писем, то я нисколько не прочь.

Когда я передал г. Л. Панкратьеву ответ Л. С. Крыловой, он сначала очень обиделся отказом ее и ее круга от знакомства с ним; хотя очень может, что его догадка о причине отказа была справедлива: «Они считают меня таким болтуном, которому нельзя довериться ни в чем; что ж, это правда, такая молва обо мне существует, я знаю; но это пустяки». Я не могу судить, до какой степени он вправе обижаться этою молвою, но она действительно существует, к сожалению. Но потом он остыл: «Ну, да и прекрасно; болтун-то болтун. Пустяки. Не хотят знакомиться, то как угодно. Я не в претензии. Стоит обижаться! Вот, очень важно, что считают болтуном! — какой мне убыток от этого? Ни на грош. Стало быть, все равно». Когда он пришел к этому философскому заключению, я сообщил ему, что авторы «Перла создания» желали бы вставить в свое произведение отрывки из его мемуаров, и объяснил, почему желали бы. — Слова, приемы, весь характер обращений г. Л. Панкратьева показывали глубокую искренность и твердость его в его принципе: «умные люди все принимают только с денежной стороны; нет убытка — то наплевать, есть выгода — то прекрасно». Но все-таки я не ждал успеха предложению, которое передал ему: за пять минут он чувствовал себя разобиженным, и я думал, что это недавнее чувство помешает ему быть «умным человеком», в том смысле, как он понимает «умного человека». Но он сделал одну из своих гримас и сказал: «Что ж, это не глупо; почему ж? — пожалуй. Но я с них не возьму дешево. Мы поговорим потом. Возьмите, вот первая часть. Пусть выберут, что понравится. Мне, конечно, выгодно это: мемуары мои в полном виде не могли бы быть напечатаны раньше, как лет через тридцать. Значит, тридцать лет они были бы для меня все равно, что «козел — ни шерсти, ни молока». Потому я не продолжал их. Так, была глупость, потерял на это недели полторы — глупо, бросил. А вот выходит, что еще можно выжать из них что-нибудь. Прекрасно».

Я не могу не сказать, что был глубоко тронут такою верностью философа его принципу. Но еще более был я тронут прекрасным продолжением его соображений. Он теперь был в духе, ухмылялся и гримасничал с большим усердием.

— А вам, я думаю, кажется, что это свинство, пошлость? Пустяки! Это всякий умный человек должен так поступать. Что скажут? — да ну их к чорту! Наплевать! А вы, я думаю, думаете: «Тряпичкин, чистый Тряпичкин», — да, думаете это обо мне?

— Нет, не думал, потому что мне не пришло в голову вспомнить.

— Ха, ха, ха! а ведь это остроумно, согласитесь, это очень мило: «Записки Тряпичкина» — в самом деле, что если я так назову свои мемуары? Это будет очень остроумно. Что вы скажете? — ведь вот вам не пришло бы в голову этакой штуки, называть самого себя Тряпичкиным?

— Совершенно согласен. Никак не вздумал бы и не захотел бы.

Г-н Л. Панкратьев так восхитился своей остроумною мыслью, что через две-три минуты восхищения, кажется, совершенно убедился в ее основательности: несмотря на все, что я видел в нем и слышал от него в два свидания с ним, я все-таки сначала не мог поверить, что он серьезно произнес те слова, которыми заключил свои комментарии на свою остроумную догадку, что к нему очень идет имя Тряпичкина:

— Ну, так вот что: это так мило и умно, что это одно из моих условий: ту главу или часть, которую они возьмут из моих мемуаров, они должны назвать «отрывком из мемуаров Тряпичкина», «воспоминаниями Тряпичкина», — ну, или как там вздумают, все равно, — воспоминания, биография, мемуары, но только непременно «Тряпичкина» — непременно, непременно.

Я попробовал отклонить г. Л. Панкратьева от этой остроумной и милой оценки, которую он желал печатно сделать самому себе. Но, разумеется, где ж было мне, человеку обыкновенному, достичь того, чтобы гениальный мыслитель и остроумец обратил внимание на мои замечания.

Я взял тетрадь мемуаров г. Л. Панкратьева и передал их Л. С. Крыловой.

Через неделю я получил от нее продолжение «Перла создания», которое и будет следовать за этою частью моего рассказа. Л. С. Крылова знала, когда я отправился сообщить г. Л. Панкратьеву их отказ от знакомства с ним и просьбу дать им его мемуары. В тот же вечер она приехала ко мне и была очень довольна успехом моего посольства. Я также был доволен: имя г. Л. Панкратьева действительно закрывало ее. Я искренно выразил ей, как рад хоть этому; но не скрыл и того, как усилилось этим вторым свиданием с г. Л. Панкратьевым впечатление, которое было произведено на меня первым знакомством с ним. Полчаса или больше мы говорили об этом, — вдруг она перебила меня:

— Позвольте, что вздумалось мне. Имя г. Л. Панкратьева закрывает меня и всех нас других, писавших отрывки для «Перла создания» — так? — помните, вы сам подтвердили это.

— Да.

— Теперь мне вздумалось вот что: оно точно так же закроет

всякого. Вот мы с вами спорим; наши понятия выражаются в «Перле создания»; а ваши — хорошо было бы тут же рядом печатать и ваши мнения. Я теперь скажу вам наш план: в следующих тетрадах «Перла создания» мы предполагали рассказать в поэтической форме наши споры с вами. Но вы сами гораздо лучший адвокат своих понятий, чем мы, не соглашающиеся с вашими замечаниями. Попробуйте сказать г. Л. Панкратьеву, не согласится ли он прикрыть и вас? Вот вам и можно было бы изобличить наши ошибки. Мы не могли ждать, чтобы вы склонились на подобную мысль, потому что вы никак не хотите, чтобы вас принимали за литературщика. А теперь, почему ж бы не написать возражения против «Перла создания», если бы г. Л. Панкратьев согласился дать этой статье свою подпись? Вы изображаете его таким человеком, который не стесняется никакими церемониями относительно себя и публики.

Я решительно отказался.

Но Лизавета Сергеевна и ее кружок схватились за эту мысль, и я уж рассказывал, каким оригинальным способом Л. С. Крылова заставила меня согласиться. Она написала изложение моих разговоров с нею; я, прочитав его, ужаснулся за нее и вызвался сделать все, что могу, лишь бы только она пощадила свое спокойствие. Я сказал ей, что отправляюсь к г. Л. Панкратьеву, и если он согласится ссудить меня своею подписью, я сам расскажу то, что слишком вредно для себя написала она.

Когда я объяснил г. Л. Панкратьеву, чего я желаю, он стал было выражать несогласие, но я знал его принцип и потому сказал прямо:

— Я буду говорить с вами как с «умным человеком» — в том смысле, какой вы придаете этому слову. Я предоставляю в ваше распоряжение тот гонорарий, на который я имел бы право за мой рассказ.

Он ухмыльнулся. — Это разумеется. Но это маловато. Вы там напишете чорт знает что, я думаю, все будет против моих убеждений. Эта штука пахнет не какими-нибудь, — что, вы напишете листа два печатных? — не какими-нибудь сотнею или двумя сотнями рублей. Вы видите, у меня своя коляска. Что мне двести целковых? Маловато. Мои убеждения я ценю дороже-с. Впрочем, не бог знает как дорого. Надобно быть рассудительным во всем. Но за сотни рублей мою подпись нельзя-с купить-с. Не тем пахнет-с. Нет-с, я вижу, мы с вами не сойдемся.

Мне было неприятно продолжать.

Когда я передал Л. С. Крыловой этот разговор, она попросила меня уйти из комнаты, потому что она хочет написать записку и для этого должна открыть лампу. Я ушел. Через пять минут моя жена позвала меня назад.

— Я написала записку; с таким человеком, как г. Л. Панкратьев, не для чего распространяться. Я написала только, что прошу его заехать к вам по денежному делу, и что слова, которые вы скажете ему, он должен считать моими словами, и решительными словами. Вы ему скажите вот что: «без вашего рассказа я не хочу печатать «Перл создания» в «Современнике».

Она оставила мне записку не запечатанною; просила меня прочесть ее; я не прочел; но теперь она передана мне г. Л. Панкратьевым, и действительно состоит из нескольких строк, содержание которых она передала мне:

«Прошу вас заехать к Л. Д. Верещагину, поговорить о «Перле создания», как о денежном деле. Слова, которые скажет Л. Д. Верещагин, считайте моими словами, и решительными словами. Л. Крылова.

Р. С. «Перл создания», вероятно, будет состоять из трех частей; очень вероятно, больше; едва ли меньше. Другие произведения нашего дружеского круга если будут печататься, то не иначе, как в журнале, в котором будет напечатан «Перл создания».

Я отослал эту записку; на другой же день г. Л. Панкратьев явился ко мне.

— Л. С. Крылова поручила мне сказать вам только два слова: она не печатает «Перл создания» без моего рассказа.

— Ну-с, — сказал г. Л. Панкратьев. Лицо его передернуло, но он все-таки не преминул ухмыльнуться.

— Только, больше ничего.

— Понимаем-с, — ухмыльнулся. — Как же-с, понятно. Экая шельма! Ну, нет, напрасно так сказал: молодец! Экая молодец какой! И сама это придумала? Не ездила советоваться с мужем, или кто там у ней — отец, брат?

Я молчал. Мне было неприятно.

— Вы, если станете передавать ей, скажите, что она по моему молодец. Знает, где раки зимуют. Это молодец. Похваляю, хоть со мною она делает мерзкую штуку. Скажут «подлец» — ну, да наплевать.

Я молчал.

— А, вот и отлично: бумага, перо. Позвольте-ка, я сяду к столу для аккуратности.

Он сел к столу и принялся делать разные умножения. Я слышал: «15 р.», «2 р. 40 к.» и т. д., потом «год — положим 300; на другой — хоть 150 из них»; «а если положить 500», «а если положить 600», «а если положить 1000».

— Да-с; по тысячам-то я в уме сосчитал бы, да я люблю с копейками, — это, знаете, моя слабость. Это я считал-с подписчиков. Это-с посolidнее вашего гонорария, — мне на него плевать-с. Впрочем, возьму и его. Поняли что-нибудь?

— Понятно, — сказал я. — Вы принимаете очень солидное основание для ваших действий.

— Я очень знаю, какими глазами вы смотрите на меня. Очень огорчаюсь этим. Потому что ведь, знаете, из вашего мнения я мог сшить шубу. Или нет? Убыток невелик-с поэтому. А я вам лучше скажу вот что: вы хотите прикрыться моею подписью, — превосходно. А подумали ль вы, что мои статьи посылаются в типографию писанные моею рукою? А вы, вероятно, думали «отдать рассказ писарю, и не узнает» — нет, батюшка, все в типографии догадались бы по переписке набело писарским почерком, что рассказ-то не мною писан. Что-с, приходило это в голову вам? Ну, да ничего, ничего: поверьте, батюшка, я получше, чем вы думаете. Уж делать вам одолжение, так делать. Как вы теперь полагаете, сколько я должен взять с вас за то, что придется мне самому переписывать все своею рукою? — Ничего. Чорт с ним! А впрочем, что ж...

— Нет, зачем же, я не хочу так.

— То-то, я уж и сам подумал, что сказал глупость. Свой рабочий день я оценю недорого. В день перепишу до 18 или 19 страниц печатных, впрочем, ведь это машинальная работа, отдых. Я больше только для того, чтобы соблюсти принцип. А тут невелик расчет. Штука в подписчиках.

Я предложил г. Л. Панкратьеву переписывать и «Перл создания» на тех же условиях. Но я должен отдать ему справедливость: на этот раз он отступил от своего принципа.

— Чорт их знает, кто они такие. Ведь вы не знаете?

— Нет.

— Ну, так чорт же их знает, сколько у них денег. Нет, уж об этом мы поговорим после, когда познакомитесь хоть вы, что ли, с ними. Чорт их знает, может, для них это расчет. А это точно, ваша правда: надобно переписывать моею рукою и «Перл создания». А ну их к чорту! Впрочем, все-таки штука хорошая.

Мне очень неприятно, что я должен был именно это, а не что-нибудь более хорошее написать о г. Л. Панкратьеве. Но — но эта неприятная вещь имеет и приятную сторону: пусть молодые энтузиасты видят, каковы некоторые из людей, пользующихся их благородною пылкостью.

Я не действую непрямо: я прочел г. Л. Панкратьеву эти страницы и спросил его, приятно ли ему будет переписывать их.

Он ухмыльнулся и сказал: — Не беспокойтесь, это нашему брату не так невкусно, как вы полагаете. Вы сами по себе, а мы сами по себе.

И он захохотал во все горло.

Но мне кажется, что его смех был принужденный, не искренний.

Он и сам, вероятно, заметил это, потому что сказал:

— А что, вы полагаете, я думаю, что я не от души хохочу? Впрочем, вы прав: в человеке нет души, как же мне хохотать от нее?

Он, кажется, остался очень доволен этою острою.

И даже все это несколько не подействовало на Л. С. Крылову. Она молча слушала мои рассказы о г. Л. Панкратьеве и холодно отвечала двумя-тремя словами: «Вы полагаете, что он нуждается в вашем добром мнении?»

О, конечно, нет! Из него нельзя сшить шубы.

Или: «Я все это давно слышала».

Еще бы не слышать! Но тем более удивительно, что энтузиасты все-таки остаются энтузиастами.

Но оставим, наконец, в стороне г. Л. Панкратьева с его принципами: «деньги», «наплевать», «ну, их к чорту».

Я сказал, что передал Л. С. Крыловой мемуары, взятые мною у г. Л. Панкратьева, и что через неделю после того Л. С. Крылова прислала мне продолжение «Перла создания». С тем вместе она возвратила мемуары г. Л. Панкратьева и в своей записке говорила, что она и ее кружок «взяли из этих мемуаров все, что можно было взять, и надеются, что заимствованные из них отрывки переделаны не больше, но и не меньше того, сколько было нужно».

Итак, я имел теперь в руках образец того, как переделываются факты, выдаваемые в «Перле создания» за вымышленные рассказы.

Рукопись г. Панкратьева вдвое или втрое обширнее, чем глава, которая составлена из нее в «Перле создания». В рукописи г. Л. Панкратьева находится много рассуждений, которые были бы скучны для читателей романа. Эти философствования выброшены. В рукописи г. Л. Панкратьева есть много мелких анекдотов, которые могут иметь цену в мемуарах, как в исторической книге, но не имели бы никакой занимательности для читателей романа. Эти мелкие анекдоты выброшены. От этих выпусков объем уменьшился в три раза. От этих выпусков образовались пробелы. Потому в «Перле создания» глава состоит из отдельных рассказов; в рукописи идет непрерывная речь.

Вот и все, в чем состоит переделка.

Все взятое в «Перл создания» из рукописи г. Л. Панкратьева взято слово в слово, без всяких перемен.

Вот что увидел я из сличения рукописи с так называемою «переделкою» ее в «Перле создания».

Что мне прибавлять к этому? Судите теперь, прав ли я был, убеждая Л. С. Крылову бросить намеренно печатать историю «Белого пеньюара».

Л. Верещагин.

(РУКОПИСЬ ЖЕНСКОГО ПОЧЕРКА)

ПЕРЛ СОЗДАНИЯ

Роман или не-роман,

посвящаемый

à m-lle В. М. Ч.

одним из авторов.

И томление разлуки —
Выношу я, не скорбя:
Друг мой LL, эти руки
Вьют подарок для тебя⁷⁸.

Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми⁷⁹.

Продолжение конченной первой части.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КТО УГОДНО, ЧТО УГОДНО

(AS JON WILL... ПОДРАЖАНИЕ ШЕКСПИРУ. — ДРАМА)

Сочинение А. Тисьминой-Дмитровской

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Кондитерская Доминика — на Невском проспекте, против Казанского собора.

Описание места действия. Кондитерская Доминика имеет три комнаты рядом, выходящие окнами на Невский проспект. В первой комнате — собственно кондитерская, она знакома очень многим; вторая комната — газетная, она также известна очень многим. Притом, подробно описывать эти две комнаты не нужно, потому что главное действие происходит не в них, а в третьей, последней комнате, бильярдной. Посетители входят в нее через дверь из второй комнаты. Входя, они видят длинную комнату, поперек которой стоят три бильярда; по левой стене — длинной — окна на Невский проспект. Кроме той стены, в которой дверь, по всем трем другим стенам идет неширокий турецкий диван, обитый красным бархатом. Он прерывается только в одном месте длинной стены, противоположной окнам; тут маленькая дверь, оклеенная обоями под одно со стеною; дверь эта — только для прислуги. Удобнее всего сидеть на диване по короткой стене, составляющей глубину комнаты: тут расстояние между длиною стороною последнего бильярда и диваном довольно велико. Но интересующиеся игрою предпочитают сидеть на диванах вдоль длинных стен: с этих диванов, довольно высоких, прекрасно видны шары и удары.

Действие начинается в половине второго.

На всех трех бильярдах играют. По дивану задней стены (противоположной входу), в глубине комнаты, сидят или стоят перед этими сидящими, разговаривают с ними человек двенадцать. Все они, очевидно, приятели между собою и составляют одну группу, в которой идет живой разговор.

Господа, составляющие группу, часто переменяют свое положение, по ходу разговора: одни встают, другие садятся, проходят по нескольку шагов один к другому. Большая часть из них — молодые люди; но есть три-четыре господина средних лет и один старик.

На бильярде, ближайшем к этой группе, играют люди средних лет, повидимому очень смирные и совершенно занятые своею игрою; на среднем бильярде — господин высокого роста, лет под тридцать, и юноша маленького роста, повидимому грек, в феске; на бильярде подле двери (первом от входа) — офицер и господин в пальто, оба молодые. По диванам длинных стен сидят разрозненно человека четыре постоянных посетителей бильярдной; у окна против среднего бильярда — неизвестный юноша. Все они очень внимательно смотрят на игру.

Я В Л Е Н И Е 1

Первый господин средних лет с румяными щеками (*вынимая прекрасную сигарочницу из английской кожи с черепаховыми украшениями, продолжает*). Да, господа, вообще все очень, очень двинулось вперед в последнее время. Посмотрите, купил третьего дня. Скажете ли, что не из Парижа? А между тем, здешней работы. (*Вынув сигару, подает сигарочницу ближайшему из разговаривающих. Все поочередно смотрят.*)

Один из хора. Прекрасная работа! Неужели не парижская?

Второй из хора. Отличная работа! Неужели здешняя?

Старик. Где купили? В Гостином дворе?

Первый господин. В Гостином дворе! Да, в Гостином дворе! Вот как ныне! (*Смотрит на всех с удовольствием. На лицах у всех выражается также удовольствие.*)

Старик. Двадцать лет назад ничего такого не могли вы найти в Гостином дворе. Княгиня, когда мы приехали с нею в Петербург, не брала ничего нигде, кроме английского магазина и Делиля (тогда Делиль назывался просто Лионский магазин). Мне велела, чтоб я заказывал все платье себе у Фрейде (это был тогда первый портной, господа, жил в Малой Садовой). Теперь ее дочь щеголяет гораздо лучше ее, а почти все берет в Гостином дворе. А я, господа, — посмотрите на пальто, ведь недурно, не правда ли? — беру платье в магазине готового платья.

Хор. Неужели, Петр Иванович, это из магазина готового платья?

Старик. Да. Видите, не хуже ваших модных портных и гораздо дешевле. Советую и вам, берите в... (*называет имя магазина*). Конечно, двадцать лет назад нельзя было сделать этого: кроме Фрейде, никто не умел шить порядочно. Но теперь не то. Вы, Федор Амосович, говорите совершенную правду: все очень много переменялось к лучшему. Я хоть и старик, но вижу

это и радуюсь. Что мы были тридцать лет назад? Стыдно вспомнить!

Первый господин (Федор Амосович). Стыдно вспомнить, Петр Иванович. Возьмем, например, моего отца. Конечно, он между вами был умнейший человек и по тогдашнему времени даже очень образованный человек. Но нельзя же не сознаться, что он был глуп как пробка и совершенно не понимал принципов цивилизованной жизни. Я не порицаю бескорыстия — странно было бы порицать первую основу истинного прогресса. Но человек всегда должен исполнять свои обязанности. Бывши двадцать три года на таком месте, в таком богатом уезде, где так развита процессомания, он оставил сыну те самые полтора ста душ, которые наследовал от своего отца. И три десятка собак — единственное приобретение, которое он умел сделать. Оставь он сыну тысячу душ, вместо полтора ста, такую ли карьеру я имел бы? А он очень мог оставить мне тысячу душ.

Второй господин с румяными щеками. Это справедливо. Но вы не можете жаловаться на карьеру, Федор Амосович. Конечно, вы обязаны ею только вашему уму и образованию. Но тем больше чести для вас.

Федор Амосович. Прибавьте: и моим принципам. Ныне требования общественного положения таковы, что либеральный взгляд признан первою необходимостью. Перестали открепиваться от либеральных людей, как от чумы; напротив, поняли, что в либеральных принципах — прогресс, в прогрессе — развитие, в развитии — все. И потому стали ценить людей. Вот чем я объясняю свою карьеру. Это скромнее, нежели приписывать ее только уму. Принципы важнее. Но все-таки то ли было бы, если бы этот осел оставил мне тысячу душ.

Петр Иванович. Я совершенно согласен с вами, Федор Амосович, относительно прогресса и принципов; но не могу, не могу одобрить колких слов сына об отце.

Федор Амосович. О принципе семейной жизни не буду спорить с вами. У вас свой взгляд, очень почтенный, у меня — другой. В общей идее по этому вопросу мы с вами не сойдемся. Но в вопросе о факте вы должны согласиться со мною. Мой отец был скотина. Был двадцать три года судьей — факт; оставил сыну полтора ста душ, которые получил от отца, — факт. Итак: скотина — факт. Рыскал с собаками и забывал свои обязанности.

Второй господин. Вы преувеличиваете его страсть к собакам.

Федор Амосович. Вы хотите сказать, что у него было больше страсти к его матери? (Хлопает по плечу третьего господина средних лет с румяными щеками.) Ты не сердисься, cher frère? *

* Дорогой брат.

Третий господин с румяными щеками. Это была любовь страстная и возвышенная. И кто, видевший достопочтенного олуха Петра Ивановича Добчинского, фамилию которого имею удовольствие или неудовольствие носить, может осудить мою мать за то, что она предпочла иметь моим отцом не его, а твоего отца?

Старик (Петр Иванович). Зачем вы, Иван Петрович, так отзываетесь о Петре Ивановиче? Вы совершенно приняли тон, каким говорил о нем и о всех нас этот подлец. Хоть бы обо мне — чего он не выдумал? И петушком-то я бежал за дрожками, когда ваш батюшка и Антон Антоныч поехали в гостиницу, и в дверь-то я упал, когда они разговаривали с Иваном Александровичем, и нос-то я себе расшиб, — и чего, чего не выдумал, подлец. *(Все улыбаются, Федор Амосович хохочет.)* Но вот вам последнее доказательство: если б я был такой урод, каким он меня описал, мог ли бы я стать теперь тем, чем вы меня видите? Согласен: мы жили в глуши, отстали от века; главное, и самый век был непросвещенный. Но вы видите на мне, что в нас были задатки лучшего. Посмотрите на самих себя, — могли ли бы дети быть такими европейцами, если бы отцы были такие допотопные уроды? *(Половина хора недоумевает, но усиливается улыбаться; другая половина перестает улыбаться.)*

Федор Амосович. Нет, нет, Петр Иванович, вы все-таки человек старого века. То, что мы европейцы, дано нам прогрессом века; мы ничего не наследовали, кроме безобразия; прогресс века и наши собственные усилия превратили нас в людей истинно просвещенных. Это понятно всем. Только ваши лета, Петр Иванович, извиняют вашу отсталость. Как можно в наше время бранить Гоголя? И за что? Например, беру даже вас, Петр Иванович; можно ли обижаться вам тем, что он совершенно верно изобразил ваше тогдашнее общество и в том числе вас? Похожи ли вы на того Петра Ивановича Бобчинского, каким были тридцать лет назад? — Нимало. Что у вас общего с ним? То же, что у нынешней России, просвещенной европейской державы, с Россиею Котошинских времен. Имя, только имя. Следовательно, и для вас нетрудно сказать: да, то были скоты, которых так и следовало изображать скотами, как делал Гоголь; и мы, — это можете легко сказать и вы, Петр Иванович, — мы очень благодарны ему за то, что он исправил нас этим справедливым сарказмом.

Первый из хора. Жгучий сарказм Гоголя очистил Россию от недостатков.

Второй из хора. Благодаря силе его сарказма все облагородилось.

ЯВЛЕНИЕ 2

Группа. Те же, то есть Федор Амосович Ляпкин-Тяпкин, Петр Иванович Бобчинский, Иван Петрович Добчинский, второй господин средних лет с румяными щеками и хор. — К ним подходит еще господин благородной наружности, с благородными манерами, лет 25, не больше.

Играющие на бильярдах продолжают играть, одиноко сидящие на диванах у длинных стен продолжают сидеть и смотреть на игру. В числе других продолжает одиноко сидеть и смотреть на игру и Неизвестный юноша.

Федор Амосович (*подходящему к группе молодому человеку*). А, здравствуй, брат. Господа, вы знакомы? (*Хор отвечает: «Как же!» и все поочередно жмут руку новопришедшему. Только Петр Иванович Бобчинский и второй господин с румяными щеками выражают жестами, что еще незнакомы.*)

Федор Амосович. Рекомендую. Иван Никанорович Анучкин, Петр Иванович Бобчинский. (*Анучкин и Бобчинский говорят: «очень приятно» и жмут руки.*) Иван Никанорович Анучкин, Филипп Артемьевич Земляника. (*Анучкин и Земляника говорят: «очень приятно» и жмут руки.*) Что ж, поздравить?

Анучкин. Поздравь.

Федор Амосович. И вдвойне?

Анучкин (*улыбаясь*). И вдвойне.

Первый из хора. Когда же свадьба?

Второй из хора. Какая образованная девушка! Вступили в должность?

Анучкин. Свадьба через две недели, не больше. Ныне не принято возиться долго с приданым, и прекрасно. — Как же, представлялся.

Хор. Ну, что ж? Как он?

Анучкин. Был очень любезен.

Хор. Да?

Анучкин. Очень.

Земляника (*отводит в сторону ближайшего к нему, пятого из хора — тихо*). Какая должность? Кому представлялся? (*Пятый из хора отвечает.*) О, о! Так он теперь близкий к нему человек?

Пятый из хора (*также тихо*). Очень.

Земляника (*тихо*). А невеста кто? (*Пятый из хора отвечает.*) Это очень кстати для меня. Благодарю вас. (*Оба возвращаются к группе. Группа продолжает разговор с Анучкиным.*)

Хор. Будто?

Анучкин. Клянусь, не верил, что она не парижанка. Говорил: таких прекрасных манер и такого прононса я не встречал ни в Петербурге, ни где; вы парижанка.

Хор. Дюма сказал! Как вы счастливы, Анучкин!

Земляника. (*Анучкину*). Позвольте спросить: вам известен некто Фемистоклюс Манилов?

Анучкин. Бывший attaché при парижском, ныне attaché при венском посольстве?

Земляника. Да.

Анучкин. Он женат на кузине моей невесты.

Земляника. А его брат на моей племяннице.

Анучкин. Очень, очень приятно. (*Жмут руки.*)

Земляника. Вы частый гость здесь?

Анучкин. Да захожу нередко. Нельзя ж не быть на Невском, того требует общество. А здесь самое удобное перепутье.

Земляника. А я так обременен служебными занятиями, Иван Никанорыч, что не могу часто пользоваться этим удовольствием. Поручайте мою неопытность, как родственник. Что здесь хорошо из закуски?

Анучкин. Все хорошо. Но теперь особенно рекомендую: у них превосходные *écaillus* — знаете?

Земляника. Человек простой; нет, к стыду моему, не знаю. Поручайте.

Анучкин. Пойдем к буфету. (*Уходят.*)

ЯВЛЕНИЕ 3

Первая комната кондитерской, где буфет. У одного из окон сидят за маленьким столиком Анучкин и Земляника. На тарелке остатки превосходных *écaillus*.

Земляника (*отирая рот*). Прекрасно. Вкусом напоминает лабардан.

Анучкин. Что такое лабардан?

Земляника. Рыба.

Анучкин. Возьмите ж, как приготовлено: *écaillus* и напоминают вкусом лабардан, между тем как *écaillus* — птица. В этом и состоит искусство.

Земляника. Да, очень усовершенствовано приготовлением. Поверьте ж мне, Иван Никанорыч, я говорил только меньшую половину того, что мог бы сказать, и только потому, что считал моею обязанностью предупредить вас, как родственника. Не будьте доверчив к нему.

Анучкин. Очень благодарен вам. Вижу вашу искренность. Но кто бы мог подумать? Такой просвещенный человек, так прекрасно смотрит на все современные вопросы и притом так владеет французским языком.

Земляника. Да, и между тем первый готов подставить вам ногу.

Анучкин. Очень, очень благодарен, что вы предупредили меня. Что же касается вашей службы...

Земляника. О, нет, я не смею утруждать вас. Разве при

случае. Не ручаюсь в себе ни за таланты, ни за что; это увидит само начальство и оценит. Но за одно ручаюсь: честность, верность и усердие. Но не смею, не смею утруждать вас, добрейший Иван Никанорыч.

Анучкин. Нет, нет, с большим удовольствием. *(Встает. Земляника встает, жмет ему руку, с чувством смотрит в глаза, и оба возвращаются в бильярдную, к своей группе.)*

Я В Л Е Н И Е 4

Бильярдная. — Та же группа, опять в полном составе. Играющие продолжают играть, смотрящие на игру — смотреть.

Третий из хора *(продолжая)*. И, таким образом, муж остался совершенно доволен. Но я вам должен сказать самое интересное: оно состоит в том, что с тем вместе я вел другое дело, совершенно в другом вкусе; то есть в том же, но, господа, требующее тайны. *(Понижает голос. Все подсовываются головами к нему, подставляя уши к его рту. Через минуту весь хор фыркает. Федор Амосович улыбается, Петр Иванович Бобчинский ржет, хлопая себя по бокам.)*

Хор. Беспободно!

Федор Амосович. Очень ловко. Но не врешь ли ты?

Третий из хора. Врѣ? вот почти. *(Вынимает письмо и подает Федору Амосовичу.)* Но, господа, это тайна.

Хор. Понятно; будто ты не знаешь нас!

Федор Амосович *(читая письмо)*. Да, господа: точно, не врет. «И я умоляю вас, которого желала бы задушить». Очень чувствительно. *(Письмо переходит из рук в руки.)*

Хор. Молодец! Ха, ха, ха!

Третий из хора. И все-таки, господа, скучно. Чего бы еще, кажется? А все как-то недостает чего-то. *(Зевает и потягивается.)* Чувствуешь какую-то скуку, пустоту в сердце, душа не наполнена. *(Потягивается, зевает и обводит глазами комнату. Тихо.)* Не знает ли кто, что это за человек? *(Показывает глазами на Неизвестного юношу.)*

Хор. Нет. А кто бы это был, однако? Любопытно.

Четвертый из хора. Да, совершенная правда: наша жизнь не может удовлетворить человека, имеющего идеальные стремления или гражданские потребности. А кто ж это, однако?

Петр Иванович Бобчинский *(обращаясь к ближайшему маркеру)*. Подойди сюда на минутку. *(Маркер подходит. П. И. Бобчинский тихо, указывая глазами на Неизвестного юношу.)* Кто это сидит, не знаешь?

Маркер (обыкновенным голосом). Не знаю.

П. И. Бобчинский (тихо). Спроси у других, не знают ли.

Маркер (обыкновенным голосом). Да вы сам потрудитесь спросить. Мне некогда, вы видите: я занят. (Отходит к своему бильярду.)

П. И. Бобчинский (берет под руку одного из хора). Посмотрим на игру. (Идут к среднему бильярду вдоль стены, противоположной окнам, и становятся против Неизвестного юноши.)

Иван Петрович Добчинский. Любопытен, старик! Но так ли это делается? Я сейчас все разузнаю, господа! (Идет мимо бильярдных, вдоль стены, где окна, и, поровнявшись с Неизвестным юношей, слегка задевает его колено.) Извините, сделайте одолжение! (Неизвестный юноша молча кивает головою, принимая извинение.) Смотрите на игру?

Неизвестный юноша. Да.

И. П. Добчинский. Кажется, хорошие игроки? (Неизвестный юноша молчит.) Я тоже охотник смотреть на хороших игроков. Если позволите. (Садится подле Неизвестного юноши.) Вы часто бываете здесь?

Неизвестный юноша. Да.

И. П. Добчинский. Прекрасная кондитерская, этот Доминик. Не правда ли?

Неизвестный юноша. Да.

И. П. Добчинский. И всегда встречаешь здесь такое прекрасное общество. Вы не знакомы ни с кем из этих господ? (Указывает на группу.)

Неизвестный юноша. Нет.

И. П. Добчинский. Вероятно, имеете мало знакомых? Давно вы в Петербурге?

Неизвестный юноша. Давно.

И. П. Добчинский. В таком случае не могу ли я попросить у вас некоторых советов? (Неизвестный юноша смотрит на него с недоумением) — потому что у меня тоже мало знакомых. Эти господа, с которыми я говорил, вы не думайте о них: в первый раз вижу. Но они все какие-то замкнутые. А я человек прямодушный, и, признаюсь, что-то располагает меня к вам. Я долго смотрел на вас и, наконец, решил: ваше лицо такое открытое, благородное. Вы извините меня, я человек простой: что на уме, то и на языке. (Неизвестный юноша смотрит на него с удивлением, но уж без всякого недоумения.) Решился подойти к вам и посоветоваться. Хочу купить ильковую шубу. В каком магазине вы рекомендовали бы?

Неизвестный юноша. Не умею вам сказать. (Смотрит на часы, встает и, слегка поклонившись, уходит.)

Я В Л Е Н И Е 5

Группа, встречая возвращающихся к ней И. П. Добчинского, П. И. Бобчинского и его спутника из хора, улыбается.

П. И. Бобчинский (указывая группе на И. П. Добчинского). Ловок! Много узнал!

И. П. Добчинский (обиженным голосом). Вероятно, я неловок, если он поджал хвост и дал тягу. (Твердо смотрит в глаза каждому, желающему насмешнику и складывает руки на спину, отчего фигура его принимает позу, полную достоинства.) Но все-таки знаю теперь то, что знаю.

П. И. Бобчинский (сохраняя насмешливость). Ничего не узнал он, господа.

И. П. Добчинский. Конечно, ничего. Но, быть может, вы, Петр Иванович, не забыли Степана Ивановича Коробкова?

П. И. Бобчинский, Земляника и Федор Амосович. Как не помнить! Ну?

И. П. Добчинский. Ну, и только. А вы еще подходили смотреть, Петр Иванович.

П. И. Бобчинский. А действительно, есть сходство в лице.

Хор. Что такое, господа? Кто Степан Иванович Коробков?

П. И. Бобчинский. Это, видите, был у нас отставной казначей. Вышел в отставку с состоянием. Натурально, сын уехал служить в Петербург. И надобно полагать скорее всего, что этот молодой человек — сын этого сына. Кажется мне, что я слышал, что этот сын женился тогда и что у него были дети.

И. П. Добчинский. Чего ж тут полагать: лицо — вылитый дедушка.

Федор Амосович. Это должно быть так. Но кто бы ни был этот юноша, я должен сказать, что не могу предвещать ему ничего хорошего. Волоса до плеч, конечно, это предрассудок — глупое предубеждение — было, бы - ло. Да, когда длинные волосы были только мода, это было прекрасно и мило. Что может быть лучше вьющихся, шелковистых волос юноши, локонами падающих на плечи? Тогда предубеждение против них было предубеждением. Но надобно понимать дух времени, следить за его развитием. Теперь это не то. Мода, десять, даже пять лет тому назад имевшая только смысла изящества, становится эмблемою, в которой надобно видеть симптом. Этого не понимают и говорят: восставать против длинных волос предубеждение. Я же говорю: было; было предубеждение. Но я слежу за развитием духа времени и потому говорю: я не могу предсказать ничего хорошего этому юноше, Коробкову junior. (Умолкает.)

Четвертый из хора. Hear, hear! *

Хор. Hear, hear!

Четвертый из хора (пятому). Но, действительно, в нем есть что-то Кобденовское, и вы увидите, что тогда он или будет на министерской скамье, или будет [рубить] ее в щепы.

Пятый из хора. Кто ж в этом сомневается! Hear, hear!

Первый из хора. Да, длинные волосы — это симптом.

Второй из хора. Это эмблема, в которой нельзя не видеть симптома.

П. И. Бобчинский. Однакоже, господа, точно: надобно узнать, не мазурик ли. Пойду к буфету, спрошу. (Уходит.)

Федор Амосович (согратательно пожимает плечами). Понял!

Четвертый из хора (с негодованием). Говорите для таких людей! Они всему дают свой узкий смысл, а между тем, опасность для общества растет.

Федор Амосович. Он старик, ему извинительно не иметь гражданского инстинкта. Вспомните, в какие времена он развился. Он услышал слово «прогресс» в первый раз чуть не на пятидесятом году жизни. От людей старого поколения нельзя требовать того, что мы находим в себе. Да, отрадно видеть, как идет вперед наше молодое общество! Я смотрю на вас и спрашиваю: — что я вижу перед собою? — и говорю себе: я вижу Европу и прибавляю: Европа должна иметь европейские условия жизни.

Четвертый из хора. Hear, hear!

Хор. Hear, hear! Bravo! Hear, hear! Продолжайте. Hear, hear!

Федор Амосович. И я говорю: прошли времена невежественной апатии, и каждый просвещенный человек требует себе права приносить свои таланты на служение обществу. Что слышал я несколько минут тому назад? И где ж слышал? — здесь, в этой зале, в этой бильярдной, — да, в бильярдной, в этой бильярдной, — что я слышал в ней? Слова, заставившие меня скорбеть, как друга; радоваться, как гражданина. Один из моих друзей, имени которого не называю (*гражданская любознательность хора удвоится*), не называю, хотя факт, о котором я буду говорить, не имеет в себе ничего, кроме приносящего честь лицу, которого я не называю, — один из моих друзей, говорю я, человек молодой, прекрасный чертами лица, обворожительный для женщин (*некоторые из хора начинают поглядывать на третьего из хора и ободрительно кивать ему. Третий из хора поправляет воротнички*), и человек, вполне пользующийся своим *préstitge* **, не знающий счета своим победам, этот счастливцев эпикурейского наслаждения, рассказав нам свою *polisso-*

* Слушайте, Слушайте!

** Престиж.

перу * с этою Кораблевою, — он говорил о тайне, но я не полагаю, чтобы эта тайна могла сохраниться, потому не могу не привести факта, — рассказав нам эту polissonery, and upon my honour, a first-rate polissonery, он заключил свой джовиальный рассказ словами: «и все-таки скучно! Чувствуешь, что чего-то недостает». Я слышу эти слова и говорю: они — глагол времен и глагол времен, возвещающий наступление новой жизни для моей нации. И я говорю моему молодому другу (в двери показывается П. И. Бобчинский и вслед за ним неохотно идущий один из старших служителей кондитерской Доминика): мой друг, вам недостает гражданской деятельности, и вот вам мое слово: вы будете иметь ее, вы скоро будете иметь ее, и вы употребите на служение обществу прогрессу и высоким национальным целям те таланты, которые делали вас неодолимым победителем на арене грациозного состязания; столь же неодолим будете вы в пожинании лавров на другом, более изобильном поприще. Слово мое не произносится быстро, потому не произносится напрасно. Dixi **. (Умолкает.)

Я В Л Е Н И Е 6

Те же. П. И. Бобчинский и один из старших служителей кондитерской Доминика подходят.

П. И. Бобчинский. Что такое?

Четвертый из хора (тихо П. И. Бобчинскому). Божественен! (Указывает на Федора Амосовича.) О'Коннель, О'Коннель. Тьер и Ледрю-Роллен вместе, и при этом красноречии их, государственный ум сэра Роберта Пиля. (Хор, в благоговении, безгласен.)

П. И. Бобчинский. Да, батюшка, вот они каковы, наши-то! Я сам на руках нянчил. И тогда было видно: выйдет в люди, выйдет! И сбывается мое слово!

Хор (приходя в чувство, неистово). Hear, hear!

Земляника (под шумок, шепчет на ухо Анучкину). Подставит ногу, скорее постарайтесь сам скувыркнуть его.

Анучкин (тихо). Нет, нет! Отечеству нужны такие люди!

Земляника (тихо). Ну, мы с вами поговорим после.

Анучкин (отрицательно трясет головою, тихо). Нет, нет! гражданин и гений! Нет, я не стану поперек дороги такому деятелю! Такие люди нужны отечеству на высоких постах.

Земляника (громко Федору Амосовичу). Прекрасно, прекрасно, Федор Амосович! Вам следует быть министром. И будете. Помяните тогда нас, ваших читателей, во царствии своем!

Хор. Нет, нет! этого человека должны оценить! Его оценят, оценят, оценят! Что тут смотреть, что у него только анненская

* Шалость, повесничанье.

** Сказал!

лента, ему надобно тайного советника и Владимира первой, Владимира первой! Владимира первой! Никто не вправе обижаться! Какая тут очередь. Владимира первой!

Земляника. Глас народа — глас божий, Федор Амосович.

Федор Амосович. Я ничего не ищу, господа, кроме возможности проводить мои принципы. Я не возьму ленты. Я взял ленту прежде, потому что два года тому назад было не то. Теперь я не беру ленты. Я не ищу и громких званий. Я говорю: назовите меня Clerk to the minister-president*, более ничего не ищу: «секретарь», если хотите, «письмоводитель», — согласен даже: «писец, писарь, канцелярский чиновник при президенте министров». Я смотрю на вещи практично и бескорыстно. Я не хочу ничего. Дайте мне возможность проводить мои принципы. Почести — я не требую их. (Умолкает.)

Хор. Почести не уйдут, это правда! Секретарем, секретарем к президенту министров! (Гвалт.)

(Из смежной и даже первой комнаты кондитерской входят люди. Толпа. Шум и гвалт. Глас народа. Новопришедшие спрашивают: «Что такое?» — Члены прежней группы объясняют в кратких словах. Старший слуга кондитерской видит, что дело выгодно для буфета кондитерской, потому ждет довольно долго.)

Старший слуга кондитерской (П. И. Бобчинскому). Извините, сударь, я с удовольствием подождал бы еще, но нужен за буфетом. Извините, сделайте одолжение: я пойду туда.

П. И. Бобчинский. Нет, нет, мой друг, объяснимся.

Хор. Ах, да! Ну, что же, что? Что это за человек?

Старший слуга. Я ничего не знаю о нем.

Хор. Как не знать? Вы должны знать!

Старший слуга. Где ж нам знать? У нас бывают тысячи народу. И разве мы расспрашиваем? Что нам?

И. П. Добчинский. Позвольте, господа. Так нельзя. С этими людьми надобно говорить умеючи. Часто он бывает здесь?

Старший слуга. Часто.

И. П. Добчинский. Как же вы не заметили, что он мазурик? Чего вы смотрите? В третьем году у меня пропала трость. Вот что выходит оттого, что вы не смотрите.

Старший слуга. В нашей кондитерской пропала? Я не помню. Часто случается, что забывают трости, другие вещи. Потом приходят, смотрят, берут. У нас и теперь есть две трости, ждут своих хозяев. А чтобы пропадали вещи, я не помню таких случаев.

И. П. Добчинский. Не у вас, а у Иванова, подле Симео-ния.

* Секретарь при министре-президенте

Старший слуга. Как не знать Иванова? Но его кондитерская очень давно закрыта, сударь, гораздо больше двух лет. Да и у него едва ли могло это быть. А разве вы не потрудились зайти спросить, или забыли где в другом месте?

И. П. Добчинский. Это правда, я не спрашивал, потому что трость простая, всего дан был четвертак. Но он все-таки мазурик.

Старший слуга. Нет, сударь, вы напрасно грешите. Мы на этот счет внимательны. Мазурика сейчас видишь, что мазурик.

И. П. Добчинский. Что ж он здесь делает? Зачем он здесь бывает? *(Посторонние, пришедшие из других комнат, начинают расходиться.)*

Старший слуга. Мы вот с ними *(указывает глазами на П. И. Бобчинского)* спрашивали всех служителей, потому что им было очень любопытно. Ничего не делает.

И. П. Добчинский. Ну, как ничего? Не может быть. Что-нибудь делает же. Зачем он приходит?

Старший слуга. Приходит читать газеты. Иной раз, когда газета занята, он скажет: прочитавши, пришлите мне со слугою в бильярдную; и пойдет ждать в бильярдную, — должно быть, когда газета любопытна, а он прочитал все другие; или, может, когда глаза устанут от мелкой печати. И уйдет ждать в бильярдную. Сидит, смотрит, как играют.

И. П. Добчинский. А сам не играет?

Старший слуга. Нет.

И. П. Добчинский. Почему ж не играет? *(Хор удвоивает внимательность.)*

Старший слуга. Не умею вам сказать.

И. П. Добчинский. Нет, почему-нибудь не играет же. Надобно же знать. Почему, как вы полагаете, он не играет?

Один из маркеров *(вполголоса)*. Ах, ты, господи! *(Подходит к группе.)* Я однажды спросил его: почему, сударь, не играете? Он сказал: не умею. *(Отходит к своему бильярду.)*

И. П. Добчинский *(старшему слуге кондитерской)*. Ну, вот видите, не умеет. *(К хору.)* Как же это, господа? Часто бывает в кондитерской, а не умеет играть на бильярде? *(Хор недоумевает, изумляться этому или нет.)*

Федор Амосович. И прибавьте: молодой человек. Вы забыли это: молодой человек. Заметьте: молодой человек; вот что главное.

Хор. Да, да! Это удивительно! Это что-нибудь не так!

И. П. Добчинский. Да, это что-то скрывает в себе. Но мы последуем за этою нитью. *(Старшему слуге кондитерской.)* Какие газеты он больше всего читает?

Старший слуга. Все.

И. П. Добчинский. Все?

Старший слуга. Все. Спрашивает обыкновенно стакан кофе. Иногда, кроме того, съедает несколько пирожков. Платит деньги. В кредит не спрашивал ни разу.

И. П. Добчинский. Ни разу? А водку пьет?

Старший слуга. Нет. Изредка бывает, что после пирожков спросит рюмку сотерну.

И. П. Добчинский. Изредка?

Старший слуга. Очень изредка; должно быть, когда покажется, что пирожки жирны.

И. П. Добчинский. А много он ест пирожков? И пирожное ест?

Старший слуга. Пирожка три съедает, случается. Пирожное ест часто.

И. П. Добчинский. И много? И какое?

Старший слуга. Умеренно. Лучше всякого другого любит миндальное. Тоже из фруктов в сахаре. Позвольте, сударь, уйти. Нужно быть за буфетом.

И. П. Добчинский. Нет, нет; надобно же разузнать все хорошенько.

Старший слуга. Да что ж разузнавать? Видно, что прекрасный молодой барин. Сколько раз бывает у нас, ни разу не спросил в кредит. Другие стараются со второго, даже с первого раза. (Третий из хора обижается.)

Четвертый из хора. Можешь итти, больше ничего не надобно. (Старший слуга кондитерской уходит.) Охота вам говорить с этими грубиянами. Они всегда рады наругать. (Приобретая чрезвычайную развязность и веселость.) Тра-ла-ла, Rule Britannia... (обводит всю группу непринужденным взглядом и замечает, что третий из хора не в духе.) Вы что-то задумались?

Третий из хора (тотчас же просветляясь). Я? нет.

Четвертый из хора. Нет, вы были что-то задумчив.

Третий из хора. Да, может быть; я погрузился в мечты.

Анучкин. Сладкие? Счастливец.

Третий из хора. Может быть.

Анучкин. Имя, имя!

Третий из хора (улыбается и молчит).

Хор. Имя, имя!

Третий из хора. Господа, этого нельзя.

И. П. Добчинский. Бьюсь об заклад, наш разговор напомнил ему что-нибудь.

П. И. Бобчинский. Ну, о чем тут и спрашивать! Должно быть, что у этого Коробкова есть сестра.

Хор. Вот что! Так, так!

Федор Амосович. Однако мы засиделись. Не пора ли пройтись еще раза два по Невскому?

Хор. Идем. (Группа уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 7

Комната, в которой буфет. За столиками у окна сидят Бобров, Свинын, Харпакин и Трепакин.

Канапатов (подходя к ним). Слышали?

Харпакин. Что?

Плешаков (подходя). Да, да, любопытно. Здесь, в бильярдной, Коробейникова в мужском костюме.

Трепакин. Будто? Кто сказал?

Канапатов. Блохин, Почитаев; пошли посмотреть.

Бобров. А мы чего же ждем? Идем.

ЯВЛЕНИЕ 8

Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков, Чинхайхлидзев, Перхуновский, Берендовский, уже составившие основание новой группы на прежнем месте. — Бобров, Свинын, Харпакин, Трепакин, Плешаков и Канапатов подходят к ним.

Харпакин. Ну, где ж Коробейникова?

Блохин. Ушла. Когда мы пришли, ее уж не было.

Харпакин. Как же это было?

Блохин. Очень просто. Сидела и ушла.

Трепакин. Но как же она попала сюда? И зачем в мужском платье?

Желающие отвечают *ad libitum* * и пьеса продолжается, как кому угодно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Предисловие Л. Крыловой к четырем отрывкам из мемуаров

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss.

Многим, вероятно, кажется, что история «Белого пеньюара» осталась недосказанною. Я предпочитаю выразиться несколько иначе: в ней осталось много недосказанного. Но прошу каждого, и в особенности каждую, подумать: могла ли я рассказывать яснее, говоря прямо от своего имени, прямо о себе?

Вы хотите знать обо мне больше. И я хочу рассказать о себе гораздо больше. Я сделаю это.

Я дам вам четыре отрывка из мемуаров.

* По желанию.

Об одном из них вы уже знаете, что он составляет выборку фактов из первой части автобиографии одного русского писателя. Этот литератор, которого вы знаете под псевдонимом Л. Панкратьева, хотел назваться другим, очень унижающим псевдонимом Тряпичкина. Почему он хотел взять для себя такое прозвище, мы можем догадываться, но не знаем, верны ли наши догадки. Л. Д. Верецагин успел убедить его бросить это намерение.

Остальные три отрывка писаны мною. Форма, мною взятая, очень проста: мужчина рассказывает женщине, которую любит, два эпизода из прежней своей жизни. Эта женщина рассказывает о своих отношениях к нему и вносит в свои мемуары рассказы человека, любовью которого гордится. Он рассказывает ей, что прежде, чем полюбил ее, он имел очень сильную привязанность к двум другим женщинам.

Этот человек, о котором говорят второй, третий и четвертый отрывки из мемуаров, писанные мною, также очень известен своими литературными произведениями. Но я предупреждаю: не смешивайте писателя, рассказывающего свои воспоминания в первом отрывке, с писателем, о котором рассказываю я в трех следующих отрывках. Это два разных человека.

К трем отрывкам, написанным мною, я сделаю теперь же небольшое вступление. Прошу помнить, что оно нисколько не относится к первому отрывку.

Между тем этот первый отрывок помещен между вступлением, нисколько не относящимся к нему, и теми отрывками, к которым оно относится.

Зачем это так сделано? Попробуйте отгадать.

Больше того: первый отрывок не принадлежит к «Перлу создания»; действительно не принадлежит; зачем же он вставлен в «Рукопись женского почерка»? Попробуйте отгадать и это.

Я пишу загадочно. Весь «Перл создания» представляет много загадочного. Но [вы] видите теперь, что по крайней мере я, называющая себя Л. С. Крыловой, — женщина очень серьезная. Если вы поняли, что вы читали, вы видите, что и другие мои сотрудницы серьезнее, нежели могло бы казаться с первого взгляда. Они молоды. И я не стара. Но если они шутят, то шутят не для легкомысленной шутки. А я и вовсе не шутила.

Поэтому, если я пишу загадочно, и если весь «Перл создания» имел до сих пор этот колорит, то, наверное, причину этого следует искать не в пустом желании играть мистифицированием. В чем же? Отгадывайте.

Но будьте осмотрительны в догадках. И в особенности не спешите отгадывать то, что я сама обещаю высказать.

Я скажу вам, кто я; скажу, зачем я рассказываю о себе в такой, а не в более простой форме; от меня или других вы узнаете, почему «Перл создания» имеет вид произведения причудливого. Все это будет у меня прямо и ясно высказано в своем месте.

Вступление к трем отрывкам, писанным
мною, Л. Крыловой

Я очень близко знаю одного чрезвычайно замечательного человека. Имя этого человека принадлежит к числу знакомых каждому и каждой из читающих «Перл создания». Но не отгадывайте его.

Я знаю этого писателя очень близко, сказала я; и выразилась слишком слабо. Я знаю его так близко, что трудно кому-нибудь знать так хорошо самых ближайших людей; я знаю его почти как саму себя.

Какие отношения были или остаются между ним и мною? Не отгадывайте. Догадки будут казаться очень легки. Вы увидите, что я знаю о нем от него самого такие тайны, которых не может человек рассказывать ни сестре, ни женщине, которая только друг ему. Из этого является предположение: «она — или жена его, или любовница». На первую догадку я теперь же отвечаю: нет, я не жена его. На вторую я не хочу отвечать. Почему не хочу? — И этого не хочу объяснить.

В моих трех отрывках из мемуаров рассказываются три совершенно отдельные эпизода из жизни этого человека. Три женщины, которые являются в них, никогда и не видели друг друга в лицо. Вы сделаете предположение, что одна из этих трех женщин — я. Может быть. Но не забудьте, что я не говорила и не говорю этого.

Впрочем, это будет разъяснено мною самою.

Прошу знать еще одно: какова бы ни представлялась я кому-нибудь из читающих, [или] то, что рассказано было обо мне другими или мною самою, — но я умею владеть собою и очень хорошо знаю и понимаю, что я делаю.

Л. С. Крылова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ⁸⁰

Вставка в рукопись женского почерка,
не принадлежащего к ней

Отрывок из мемуаров Л. Панкратьева

1

Священник или дьякон Иван Кириллович с женою Маврою Перфильевною переселялся из прежнего «прихода» в новый; у Мавры Перфильевны была на руках маленькая, чуть ли не грудная, дочка Полинька. Полинька, когда выросла и вышла замуж,

то стала носить фамилию очень известную мне, — через несколько строк я сообщу эту фамилию. Но как была фамилия Ивана Кирилловича, я не знаю; куда он переселялся и откуда, тоже не знаю; но, должно быть, что переселение происходило в какое-нибудь село Саратовской губернии — по нашему, духовному, «епархии» — потому что после Мавра Перфильевна и Иван Кириллович представляются уже очень старинными, если не кореными туземцами; вероятно, и выселялись они в это какое-нибудь село тоже из какого-нибудь Саратовского, — или, разве, Пензенского, Тамбовского села, — мне не помнится ничего похожего на упоминание дальности родины Ивана Кирилловича или Мавры Перфильевны.

Переселение было летом. Ехали на телеге. Иван Кириллович сам заменял себе кучера. Сам же приделал и кибитку к телеге, для защиты жены и малютки от солнца. Приделал и еще одну вещь. Переселялись всем хозяйством, с уполовниками и кочергою, квашнею и корытами, потому телега была нагружена исправно; лошаденка уставала. Ветер очень часто был попутный. Иван Кириллович привязал по бокам телеги две длинные палки стоймя, между ними натянул холст, и при попутном ветре лошаденке было большое подспорье от этого паруса. При противном ветре парус снимался.

Это было через много столетий после употребления подобного же средства великим князем Олегом. Полиньке — Пелагее Ивановне Голубевой — было лет 60 в 1840 году, и сама она не помнила этого путешествия с парусом, а знала о нем только по рассказу своей матери. Стало быть, это было около 1780—1785 годов.

Итак, около 1785 года — быть может, около 1780 года, но не раньше — дьякон или священник переселялся неизвестно откуда, неизвестно куда, только где-то неподалеку от Саратова. Вот мое первое генеалогическое сведение о том корне моего родословного древа, по которому родословная длиннее. Пелагея Ивановна, Полинька этого переселения, была мать моей матушки.

Хронология по другому корню моей родословной начинается 1793 годом, — в этом году родился мой батюшка, как я читал в его «послужном списке», перелистывая сотни раз «Клировые ведомости» (собрание послужных списков «клира» — духовенства) города Саратова, — ведомости, постоянно лежавшие у него на рабочем столе для справок: он был «благочинный», то есть священник, заведующий остальным духовенством своего округа. Генеалогические сведения мои по этому корню родословной простираются до отца и матери моего батюшки. Этот мой дед был, кажется, дьякон, — едва ли священник. Егор Иванович Голубев, муж Пелагеи Ивановны, был священник.

Ни одного из дедушек я уже не помню; не помню и бабушку Авдотью Марковну, мать моего батюшки. Но другая бабушка, Пелагея Ивановна, жившая вместе с нами, умерла, когда я был уже взрослым юношей. Я очень хорошо [помню] и Мавру Перфильевну, мою прабабушку по Пелагее Ивановне, которую я стану называть просто «бабушка».

О переселении Ивана Кирилловича и Мавры Перфильевны, древнейшем факте из истории моих предков, я знаю по рассказу бабушки.

«Вот, дети, — говорила она моей кузине Любиньке, которая была полутора годами старше меня и учила меня читать: Любинька была умная, прекрасная девушка, очень недурно образованная без всяких уроков и преподаваний, только разговорами с своей матерью, моею тетушкой, и чтением, — как и моя тетушка, женщина очень образованная, образовала себя исключительно сама, чтением, — вот, дети, — говорила бабушка Любиньке и мне, — я вам расскажу какой случай про то, как нерассудительны бывают люди».

«Едут мой батюшка с матушкой в новый приход, и сначала все едут одни: встречные попадают, да и то редко; попутных нет никого. Только вот в один день и слышат они за собою телегу. Поровнялась она с ними. Сидят в телеге двое молодцов, будто мещане, в синих армяках, в хороших. А батюшка идет подле своей телеги — лошадь жалеет: клади много. Эти молодцы поровнялись с ними — «здравствуйте» и разговорились: ловко ему с ними разговаривать-то, потому что идет вовсе подле них, они едут рядом с его-то телегой. Едут версты три, разговаривают, потом говорят они: «Ну, Иван Кириллович, до свиданья, — он им уж и имя сказал, — мы, говорят, вперед уедем; что нашей-то лошади таким шагом итти? на ней клади нет, она и рысцой победит; а после догоните, опять поговорим». И уехали вперед. Только и слышит матушка впереди-то: пу! пу! — из ружья стреляют. Проехали еще с версту — знакомые стоят с своею телегой на дороге: «мы, говорят, вас поджидаем, Иван Кириллович; вместе-то веселее, с разговором». Опять едут вместе; они сидят, батюшка все больше пешком идет, так оно и вовсе близко ему разговаривать с ними: совсем подружились. — Опять уехали вперед, говорят: «до приятного свиданья, Иван Кириллович, мы опять подождем вас»; — опять матушка слышит: пу! пу! — стреляют из ружья. Матушка говорит: «Иван Кириллович, это твои знакомые пукают; смотри ты, на беду себе завел знакомых». А батюшка: «Что ты, Мавруша, чего бояться, они люди хорошие». — «Ну, смотри, Иван Кириллович, хорошие. А я тебе говорю: не надо с ними вместе ехать, дорога пустая». — «Ну вот!» — говорит (батюшка-то) — «я их спрашивал, что это они больно

расстрелялись. От скуки, говорят, забавляемся». — Хороша забава! — Опять догнал их, они ждут; опять едут вместе. Дело к вечеру подходит. В матушке души нет. На счастье уж видно село, где ночевать-то. Приехали в село. Знакомые едут на постоялый двор, — и батюшка за ними в те же ворота ведет лошадь. — «Иван Кириллович, подойди ко мне, — говорит матушка (чтоб не слышно было, что она ему скажет), — ступай на другой двор». — Не слушает, ввел лошадь. И такая у них дружба, вечером-то, разговор такой. Уговариваются завтра выезжать вместе. Матушка отговаривает батюшку; опять не послушался, выехали вместе. И опять то же, что вчера. То рядом едут, разговаривают; то знакомые вперед уедут, — и как отъедут вперед, опять пу! пу! — из ружья палат. И опять ждут нашу телегу. Так весь день матушка без души была, а батюшка не слушается ее. Опять дело к вечеру, опять в село въезжают, опять батюшка на одном дворе с ними становится, уговариваются поутру вместе выезжать. Ну, тут матушка видит: не совладает добром с батюшкою, и говорит ему: «Ты, как хочешь, Иван Кириллович, а я с ними не еду. И себя жаль, и младенца своего не хочу губить. Коли тебе с ними мило, ступай; а я не сойду с двора, здесь остаюсь, коли ты с ними едешь». — Этим только и урезонила батюшку; потому что он ее знал, что хоть она тогда еще молода была, но напрасных слов не говорила; а что скажет, то сделает. Ну, поутру он говорит им: «Моя Мавруша с ребенком-то устала; отдохнуть надо; не попутчик я вам, господа, потому что до завтраго здесь остаемся». — «Очень жаль, — говорят, — Иван Кириллович, что расстаемся, потому что вместе веселее было и нам и вам; а ждать не можем», — ну, видят, что догадались батюшка с матушкою, кто они и какие мысли у них на уме; — так и уехали. А батюшка с матушкою выехали пообедавши, а утро простояли, чтобы уж не встречаться по дороге с знакомыми-то. Разбойники были.

Вот как безрассудны мужчины-то, дети: как бы матушка этого не сделала, как есть они и ее, батюшку, и меня с ними укокошили бы».

Бабушка была женщина умная, да и прабабушка тоже. Из этого я вижу, что, когда происходило путешествие, — и даже несколько позже, когда прабабушка рассказывала о нем дочери, — и даже еще позже, когда устанавливались понятия бабушки, когда Полиньке было уже лет под 20, — в самом конце прошлого века, по деревням Саратовской губернии еще не имели понятия о том, что можно охотиться с ружьем за куропатками, бекасами, утками, другою мелочью. Вероятно, знали только серьезную мужицкую охоту за волками и псовую барскую охоту. — Лет через 20 было уж не то. Около 1834 года к моему батюшке приезжали гостить его брат, священник села Чернышева (Чембарского, кажется, уезда, но не знаю, а знаю только, что Пензенской губернии), Фо-

тий Иванович, и двоюродный брат, дьякон, имени которого не помню. Этот дьякон уж был страстный охотник с ружьем за утками, и никто этому не удивлялся; и ни его родные, ни мужики тех мест (где-то сколо того же села) не скандализировались тем, что отец дьякона охотничает. И разговоры об этом были лишь потому, что подсмеивались над ним, как мужики иногда находят его прилегшего к земле, чтобы подкарауливать уток, и вытянувшего руки с ружьем наготове, и спящего: одолел лишний стаканчик. — «Стар стал — объяснялся он, — потому и одолевает».

3

Но если прабабушка и бабушка напрасно поклепали честных мещан в разбойническом умысле, то были тогда, — в конце прошлого века, — и настоящие разбойничьи шайки: не то, что теперь называют этим словом, не шайки мошенников, прячущихся вместе с всрами по кабакам и закоулкам и при случае прирезывающих человека, — нет, настоящие шайки формальных разбойников, как следует занимающихся разбоем. Вот что рассказывала бабушка.

«На новом месте, дети, батюшка с матушкой жили хорошо. Только, кругом были разбойники, и главный атаман у них был Мезин, старик, такой почтенный и видный из себя. Этот Мезин уважал батюшку. Вот раз работник вдруг и говорит батюшке, что лошадей из хлева увели ночью. У него была пара хороших лошадей. Батюшка так рассердился, — говорит: «Еду к Мезину жаловаться». Матушка не пускает: «Лучше пропадай они, лошади; а у Мезина тебя убьют». — «Пусть убьют, коль убьют, — говорит: — а я не могу так перенести этого дела». Ему и лошадей-то жаль, и обидно: как смели? — У Мезина дом был большой, и двор тоже большой, крытый, вымощен бревнами, обнесен высоким забором, — забор был из брусьев, стоймя, с заостренными концами. Повели батюшку к Мезину в дом. Летнее время было. Мезин сидит в красной рубашке, пьет квас. — «Зачем, говорит, пожаловал ко мне, батюшка? Тебе ко мне ездить не след». Сердитый тон подает, чтобы запугать. Батюшка не пугается. — «Твои молодцы, — говорит, — у меня пару лошадей увели; ворота лошадей» — назвал Мезина по имени по отчеству. «Нет, — говорит, — мои твоих лошадей не уведут; это, видно, не мои. И я об твоих лошадях ничего не знаю». — А сам хмурится. — Батюшка все свое: «Ворота лошадей; не уйду без них от тебя. Либо убей меня, либо лошадей мне отыщи». — Долго спорили. Мезину не хочется. А батюшка не отстает. Ругался, ругался Мезин, — не батюшку ругает, а с досады ругается, в своих словах. — «Нечего делать, — говорит, — не отвяжешься от тебя. Поедем твоих лошадей искать, хоть мне больно не хочется». — Закричал, чтоб ему

подали кафтан, опоясал саблю. Подали ему большие дроги; сел на них с батюшкой, четверых своих разбойников с собою посадил; поехали. Ехали долго; лесом. Пошли поляны по лесу. Приехали на одну поляну, Мезин свистнул; кругом из лесу люди повскакали, голые все, — в руках сабли. Стоят кругом подле деревьев, — не на середине поляны, а у деревьев. Мезин стал расспрашивать их. Они на него кричать стали. Он видит, дело плохо; надо за вино приниматься, угощать, — а он знал, что нужно, взял с собою два ли, три ли бочонка, по сколько там ведер, ведра по три, — так, небольшие бочонки. Поставили бочонок на дно, выбили дно. Ковер постлали на поляне. Приглашает их. Они подошли. Сели все, стали пить. Эти голые пьют, и Мезина поят, и батюшку — те отказываются, однако не смеют, тоже пьют. Выпили разбойники, тогда стали мягче; стали посылать Мезина с батюшкой дальше: «у нас, — говорят, — нет твоих лошадей, батюшка, а спросите у тех, дальше». — Поехали Мезин с батюшкой дальше, опять выехали на другую поляну, и эта поляна выходит как будто ложиною, промежду гор, вроде барака (буерака, оврага). Тут опять Мезин свистнул — и опять повскакали новые голые с саблями. Опять стал Мезин спрашивать про батюшкиных лошадей; и эти тоже стали ругаться. Тут, батюшка говорил, сам Мезин перепугался. Они начали саблями махать, убивать его хотели. Он перед ними на колени стал — Мезин — плачет, упрашивает, чтоб они его не убивали. Бочонок им поставил. Три раза так принимались: сядут, пьют; потом опять хотят его и батюшку убивать; он на колени станет — Мезин — ревет, упрашивает; и потом опять пьют. Когда в третий раз напились, совсем сжалились. — «Ну, говорят, хорошо: уважим вас». — И что ж вы думаете, Любинька, дети? — ведь привели, отдали лошадей батюшке. — А матушка дома сидела, все плакала: не думала, чтоб он живой воротился. И точно, не только ему, самому Мезину смерть была. Но только и сам батюшка не знал потом, как думать: от Мезина ли это было — притворство, чтобы больше запугать его, — или точно, что они и Мезина-то самого убить хотели, что уж это другие шайки были».

Что это значит, что разбойники высказывали «голые», — я не умею понять. Сбивалась ли бабушка в понимании рассказа прадедушки? — может быть, он говорил «голые» про сабли, а она отнесла это к самим разбойникам; но едва ли: скорее, они действительно сбрасывали одежду, чтобы казаться страшнее, как люди совершенно отчаянные, пренебрегшие уже всеми принятыми в общежитии правилами. По крайней мере, и в голосе бабушки выражался особенный ужас от этого обстоятельства, и на меня оно производило тогда такое же впечатление. Потом я читал, что так делали скандинавские берсеркеры, — «безрубашечники» —

и что их сбрасывание одежды перед боем, на бегу к неприятелю, производило такой же ужас в нем.

Отношение Мезина к прадедушке показывает, что Иван Кириллович был тогда уже священником. Был ли Мезин его духовным сыном, или так питал уважение к его священному сану и — как видно из всего, что я знаю о прадедушке — очень честной жизни и почтенному характеру — этого не видно из рассказа; не видно также, как и где стоял крытый, огороженный заостренными брусьями дом Мезина: далеко от села, в лесу, вне покровительства законов, — или подле села, как усадьба богатого человека, — купца или помещика; очень возможно и второе предположение. В нашем, — то есть моего батюшки и его тогдашнего товарища Якова Яковлевича Снежницкого, — Сергиевском приходе жил довольно богатый помещик, село которого все занималось грабежами на дороге, — но уже только мошенническими грабежами — эти мужики почти никогда не делали убийств; это было уж на моей памяти, в тридцатых годах. Я очень хорошо помню лицо этого пожилого человека: он всегда становился в левом приделе церкви, недалеко от столика, на котором сторож продавал восковые свечи; когда сторож уходил, он продавал свечи; но замечателен был он не этим, а тем, что пел вполголоса, но все-таки громко: голос был у него сильный, он читал и пел для себя всю обедню, все сплошь: и за священника, и за дьякона, и за клирос, — и вел эту свою службу скорее той, которая для всех: когда на клиросе пели «Херувимскую», у него шел уже «Отче наш»; докончив свое служение, он уже молча дослушивал то, что оставалось из настоящей обедни. Я не полагаю, чтобы он, как говорили, имел долю в грабежах своих крестьян; но он крепко стоял за них. Точно так, полиции было очень трудно — невозможно — преследовать его дворовых людей, открыто занимавшихся воровством в городе. Не знаю, каковы были его отношения к другому священнику нашей церкви, Якову Яковлевичу, но сколько мог судить по соображению разговоров — такие же, как были к моему батюшке. А к моему батюшке его отношения были точно такие же, какие видны из этого рассказа о Мезине и прадедушке: его дворовые воры ничего не крали у нас. Однажды, по случаю какой-то громоздкой пропажи с нашего двора, наша прислуга вкляпалась было в них, — жаловаться, разумеется, напрасно, — но стала стыдить их. Они очень обиделись: «у вас ничего не трогали и не тронем; грех вам на нас думать».

4

Итак, во время своей поездки к Мезину прадедушка, по всей вероятности, уже был священником; а когда он посвятился из дьякона во священника, я не знаю; но это производство было соединено с интересным обстоятельством.

«Прежде, дети, — говорила бабушка, — нынешних обыкновенный не было. Батюшка с матушкой жили уже хорошо, когда я была маленькая, а чаю все еще не пили, — вот до какой степени не пили. Когда батюшка поехал ставиться во священника в Астрахань * стал он советоваться, надобно ли поднести что архиерею. С кем он советовался, не знали сами, надобно ли; а знали только, что если надобно, то приличнее всего поднести голову сахару. Вот батюшка и купил в Саратове голову сахару, везти с собою в Астрахань; только с каким же условием? — если архиерей и не примет, скажет: «незачем, я не беру», то чтобы купец опять взял бы назад сахар у батюшки: «мне самому, — говорит ему батюшка, — некуда девать этого». Купец был знакомый, согласился на это условие».

Бабушка не говорила, взял ли архиерей приношение, и потому неизвестно, проехала ли эта голова сахару только 1 100 верст по течению Волги от Саратова до Астрахани, или сделала и вверх те же 1 100 верст.

Но, значит, прабабушка с прадедушкой вовсе не пили чаю, даже и по праздникам, — и гостям не подавали: иначе голова сахару не была [бы] непригодна для хозяйства. Это было в молодости прабабушки. Но когда я стал помнить ее, старушка пила чай точно так же, как ее потомство, каждый день по два раза, и очень любила его.

Да уж и на моей памяти, с 1833—1834 годов, сколько перемен было в обычаях и принадлежностях жизни низших слоев среднего класса, в которых я рос. В первое детство взрослые девицы нашего круга и молодые люди только играли в фанты, — танцовать не умели. В мое детство сестры и братья этих девиц и молодых людей, мои однолетки, уже учились танцовать, и никто, сколько я слышал вокруг себя, не находил эту перемену безнравственною. Моя старшая кузина, Любовь Николаевна, в первые годы училась играть на гуслях — как играла моя матушка; когда Любиньке было лет 10, у нас завелось для нее уже фортепьяно; наши старшие, — мои тетушка и дядюшка, мои матушка и батюшка ** и моя бабушка, которые тогда все жили в одном доме и имели общее хозяйство, так что довольно мало считались между собою деньгами, — наши старшие не стали богаче в эти три, четыре года, — у нас ни на сколько не стала роскошнее жизнь; но около 1833 года еще не было мысли о фортепьяно, а около 1837 уже была; я помню, несколько постеснились в расходах и купили. Или: когда я уезжал из дому в университет, в 1846 году, ши по-

* Тогда не было еще архиерея не только в Саратове, который принадлежал к Пензенской епархии до начала 30-х годов, но и в самой Пензе. Весь этот край в конце прошлого века принадлежал еще к Астраханской епархии.

** В рукописи описка: «дядюшка».

давались у нас на стол в горшке, уха — в кастрюле; но когда я возвратился в 1851 году служить в Саратов, я увидел, что подают щи и уху уже в миске. Или: когда я был в семинарии, мой дядюшка считал неудобным потчевать нас по средам и пятницам скоромным столом (он не кушает рыбу, потому для него готовили скоромное), — он считал это свое скоромное кушанье только извинительным для него, имеющего отвращение к рыбе; когда я вернулся из университета, я нашел, что мои младшие кузены и кузины кушают уже со всех блюд, как кому вздумается; а за столом сидели все те же старшие, и отношения между старшими не изменились. И конечно, например, мой батюшка, тогда уже старичок, не ослабел в своих понятиях; надобно сказать просто: у него и прежде были те же понятия; но прежде в посторонних людях не было тех мыслей, потому он и не говорил племянницам и племянникам: «да вы кушайте с отцом, это ничего» — и отец поэтому же не вызывал детей на это; а с 1846 к 1850 году это стало уже иначе.

Вообще, сколько я видел на старых и молодых людях, новые обычаи, новые понятия, имеющие существенный смысл, принимаются и легко, и быстро, сопротивления им нет. Но другое дело перемены, касающиеся только одной формы, несколько не изменяющие существа дела, — поэтому не имеющие ни житейского смысла, ни какого живого смысла; эти перемены проходят в жизнь с трудом, медленно, вызывают оппозицию. Да и нельзя: надобности в них нет, улучшения они не дают, какое право имеют они нарушать привычку? — Я помню, сколько насмешек было, когда новизна стала требовать, чтобы мужчины пили чай из стаканов, а не из чашек. Наши так и не приняли этого для себя и много лет не хотели принимать этого для гостей. Быть может, я тут и ошибаюсь, но я тут и сам на стороне прежнего: из чашки удобнее и даже вкуснее пить, чем из стакана.

Я скажу больше: я чувствую, что я по натуре старовер. Где возможно сомнение, я — за старое, потому что я люблю его: родное мне, милое мне — оно, а не новое. Я очень давно не слышал гуслей; но — но гусли мне милы, а фортепьяно я не люблю. Стал и я, наконец, бродить в итальянскую оперу; первую зиму, когда я начал бывать в театрах, я очень часто бывал в опере — пристрастился к ней; но все скучал — кроме немногих соло и хоров, все остальное во всякой опере казалось мне пустым набором звуков, и я с тоскою выносил эти долгие интервалы бессмыслицы между немногими отрывками, которые вознаграждали за скуку ожидания их. И вот однажды прихожу — «Гугеноты»; это было все или почти все по мне; что ж это? я понял через несколько времени; это те же мотивы, которые я слышал в «Волною

морскою», «Светися, светися», «Помощник и покровитель» — это те же простые мотивы, которые я слышал в детстве. Я не люблю нового⁸¹. Но — что ж мне делать? Где ж я услышу гусли? Поэтому, однакоже, я против фортепьяно. Вы не согласны на гусли? Как вам угодно; но в таком случае я буду просить вас перейти к арфе; ваши фортепьяно — это антимузыкальная стукотня. Вам и арфа не нравятся? — Как вам угодно; но ваши фортепьяно все-таки антимузыкальная стукотня; изобретайте другой инструмент.

5

Жизнь прабабушки с прадедушкой была и сначала хороша, и потом все улучшалась: из одного прихода переселились они в другой, — по своему выбору, по своей просьбе, как видно: перепрашиваются только в приходы лучше прежних; до этого, или после этого, прадедушка был сделан из дьякона священником; потом был переведен из села в город, — это не всегда выгодно: во многих селах приходы лучше городских, — но это почет, потому приятность. В Саратове они жили без нужды, обзавелись даже домиком, небольшим, но кормившим прабабушку, когда она осталась вдовою. Итак, вообще им было недурное счастье. Но раз подвертывалось было им не такое счастье, а такое большое, что мы с бабушкой не могли определенительно видеть и границ ему. Этот случай был вскоре после переселения, которым начинаются мои сведения о них. Бабушка рассказывала это нам не один раз:

«Матушка была хорошая мать, заботливая. Умывала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашоночки на нас были чистенькие; опрятно держала нас, хорошо. А нас тогда было то ли уж три, то ли только еще две; только, еще две ли только, иль уж три, все маленькие. Я была старшая; а этого не помню, что рассказываю вам, Любинька и все вы, дети; я только слышала это от матушки. Вот один раз зимою видят батюшка с матушкою, едет по селу карета на полозьях и останавливается против их ворот. Входит человек и говорит: «батюшка, можно ли попросить у вас остановиться пообедать, барин прислал просить». — «Можно», ему говорят *. Карета въехала во двор; и вошел барин.

* Не знаю, сохранились [ли] и теперь где следы обычая, остатки которого еще были довольно сильны в мое детство: проезжающие по проселочным дорогам часто просили у священника позволения остановиться у него. У него все-таки почище комнаты, чем на постоялом дворе; а может быть и то, что на целые десятки верст нет постоялого двора. Даже лет 25 тому назад таких глухих местностей было еще много. — «Карета на полозьях» — возок; видно, что прабабушка с прадедушкой до той поры и понятия не имели о возках. Дальше говорится о «шпильках» — это, как видно, медные гвоздики с широкими выпуклыми шляпками, какие теперь употребляются при обивке дверей сукном.

Молодой, красивый, важный; но приветливый, ласковый. Очень разговорился с батюшкою и с матушкою тоже. Вот, батюшка видит, что матушка его не конфузится — а он ее расспрашивает о детях, она ему нас показывает; мать, такое дело уж: спроси о детях, она и рада говорить; батюшка видит это, а ему давно хочется поближе посмотреть на карету, потому что очень хороша; он возьми, да и уйди от гостя — говорит: «посмотрю, как вашим лошадям корм дают» (потому что лошадям надобно давать корм умеючи, а то испортишь); а сам, взглянувши на лошадей, к карете. Ходит кругом, рассматривает, что очень хорошо сделана. Ну, стекла в карете; только занавески у стекол спущены. Он ходит, смотрит ее снаружи. Только вся она утыкана медными шпильками. Батюшка возьми одну шпильку за головку, и потянул; а она стала вытаскиваться. Только, как он потянул ее, из кареты голос—женский—такой ласковый приятный: «батюшка, не шалите» — ей-то, видно, стало заметно, как шпилька-то потянулась, и видно, она смотрела сквозь занавеску-то, кто вокруг кареты ходит, а он думал, в карете никого нет. Ну, он отошел, воротился в горницу. А гость все с матушкою и с нами занимается, ее об нас все расспрашивает, и нас ласкает и все осматривает нас. Только потом и стал говорить: «батюшка и матушка, как теперь я вижу, я об вас правду слышал, что у вас в доме все в порядке, и что вы добрые люди и хорошие, и что вы, матушка, рачительная мать и хорошо заботитесь о своих детях. Вот какая будет моя к вам просьба: не согласитесь ли, батюшка и матушка, принять младенца к себе на воспитание? А на его содержание будете получать достаточно, и очень я буду вами обязан, если уход за ним будет хороший, в чем я теперь не сомневаюсь». — «Позвольте с матушкою посоветоваться», говорит батюшка. — Пошли в другую комнату. — «Не трудно ли тебе будет, Мавруша?» батюшка спрашивает. — «Нет, — говорит матушка-то, — для своих я бабу возьму, а за тем сама буду ходить». — Посоветовались: взять. — Воротились в ту горницу, к нему, говорят: «мы согласны». Он очень обрадовался; сказал, что им будет присылаться по 5 золотых в месяц на содержание младенца, и когда воспитают, то будет больше награды — много что-то сказал, матушка и не разобрала сколько, потому что ведь они об тысячах-то и понятия не имели, — и что он детей их пристроит (нас) и батюшку в люди выведет, — «только воспитайте», — много наобещал: «и вы, и ваши дети век будете счастливы». И можно видеть, что не обманывал: не прежде обольщал, а уж когда и так согласились, в надежде, что не обидит их, тогда он стал много-то обещать.

«Переговоривши с ними, пошел он в карету; — несет оттуда младенца. Подушка обшита кружевами, рубашоночка обшита кружевами; полотно самое тонкое. Человек принес много белья; такого же, самого богатого. Барин простился с младенцем, — рас-

плакался, — попросил опять ухаживать, пошел в карету: оттуда опять воротился, взял младенца и долго не приносил назад, — видно, она прощалась. Принес назад, еще попросил ухаживать; — уехал со двора.

«Уж как же я и ухаживала за этим младенцем, — говорила матушка, — куда больше, чем за своими детьми! Так, — говорит, — привязалась к нему; просто души в нем не чаяла». Так прошло с год, благополучно. И деньги присылались, и подарки кроме того, сверх обещанного. Только не угодно было богу такого счастья для батюшки с матушкою и для нас: занемог младенец и скончался. «Уж как я убивалась по нем, — говорила матушка, — да и нельзя было: и красавец-то он был, и милый такой — точно херувим. Так убивалась, что легче бы мне кого из своих детей схоронить, чем его. С ума сходила». — Тем и кончилось, дети. Получили от барина письмо; писал: «не осуждаю вас в моем несчастье, батюшка Иван Кириллович и матушка Мавра Перфильевна; знаю, что было это не по вашей нестарательности, а так было богу угодно». Значит, не винил их. Но только, тем дело и кончилось».

Сама бабушка лишь мимоходом обращала тут внимание на то, что случай этот обещал было ей и ее сестрам «большое счастье». Даже и она, чрезвычайно строгая ревнительница добродетели, забывала, что тут было не совсем добродетельно по ее принципам: похищение, бегство, — вероятно, бегство замужней женщины. Даже она забывала все это из-за сочувствия к поэтическому характеру явления, бросившего отблеск яркого, горячего света на один из дней тихой моральной жизни Ивана Кирилловича и Мавры Перфильевны, — и они увлеклись, и ей передали задумчивое увлечение этою женщиною, лица которой они не видели, этою нежною любовью, этим «приятным» голосом из кареты. И кто была она? — И что такое было это? И почему она должна была расстаться с своим сыном или своею дочерью? Ведь она ж бежала от мужа или матери? Почему ж все-таки надо было расстаться? Или она возвращалась в семейство? И почему она так скрывалась, что не вышла взглянуть даже на ту женщину, которой отдает свое сокровище? — так скрывалась даже от таких неопасных глаз? И как она «убивалась», когда узнала о смерти малютки! — Конечно, больше, чем сама прабабушка.

Но, действительно, прабабушке нельзя было не убиваться: точно, я верю, ей было бы легче потерять свою дочь, хоть она была хорошая мать. Счастье ее, ее мужа, а важнее того для нее — ее дочерей, было связано с жизнью этого малютки. Бабушка и ее сестры вышли бы за важных людей: штаб-офицеров, советников, быть может — генералов, губернаторов, а не за священников.

Но они все жили безбедно, все имели хороших мужей, все были женщины хорошие, и никто из них даже не вспомнил об этом ускользнувшем от них «не таком, а очень большом счастье», — только моя бабушка, рассказывая старинные приключения для развлечения нам, внучатам, раза два-три припоминала, кстати, и это. А мне и моим кузинам и кузенам уж и вовсе не приходится сочувствовать честолюбивым надеждам, которые когда-то улыбались нашим прабабушке с прадедушкой. Хоть бы, например, мое отношение к ним, — для меня их исполнение было бы до крайности невыгодно.

Если бы «счастье» не ушло от Ивана Кирилловича и Мавры Перфильевны с дочерьми, то очевидно, что старшая из этих дочерей, Полинька, не была бы выдана за семинариста Егора Ивановича Голубева, получающего «хорошее» место при Сергиевской церкви в городе Саратове; следовательно, не родились бы на свет и две дочери Егора Ивановича и Пелагеи Ивановны Голубевых; и когда Егор Иванович умер, то «место» не было бы «зачислено», то есть должность отца не была бы назначена приданым за старшей из этих дочерей, которой было тогда — в 1818 году — 14 лет; и один из учителей Пензенской семинарии не пришел бы к архиерею просить разрешения жениться на старшей дочери Егора Ивановича Голубева, и, следовательно, не существовал бы на свете я, сын этой старшей дочери и ее мужа, священника Сергиевской церкви.

6

Моя матушка вышла замуж 14 лет, ее младшая сестра, моя тетушка — 13 лет. «Какое глупое было это обыкновение», часто говорила бабушка, рассуждая о том, что хорошо сделали, отбросив его: «а тогда нельзя было матери не отдавать дочь в таких летах: в 17 лет девушка уже почиталась старою девкою, и хороших женихов у ней не было».

Мой дядюшка, муж моей тетушки, — единственный мой родственник не духовного происхождения: он из довольно старой, но очень небогатой дворянской фамилии. Но и он, женившись юношею, проживши всю молодость вместе с тещею, в кругу родных жены, имел в мое детство едва ли не больше знакомых в духовном, чем в своем кругу.

Однакоже и у него, а еще больше у моего батюшки, было много знакомых всяких званий, встречающихся в провинции. Мой батюшка вскоре по поступлении в священники сделан был благочинным (начальником духовенства) города Саратова; поэтому он имел деловые сношения со всеми официальными людьми в Саратове; некоторые из деловых знакомств переходили в личные, иногда и домашние знакомства. Тут были всякие люди: от начальника артиллерийской дивизии, квартировавшей в Сара-

тове, немца, женившегося на француженке, до татарских мулл. Особенно заметны были в мое детство три разряда знакомых не из духовного круга: несколько молодых людей, небогатых помещиков из Аткарского уезда, приятелей моего дядюшки; медики (моя матушка была женщина хилого здоровья) и одно купеческое семейство — небогатое, но жившее со всеми своими многочисленными родственниками уже не по старинному, купеческому, а по общему образованному обычаю. Было много и других знакомых из прихожан моего батюшки, из сослуживцев моего дядюшки, из семейств, давно водивших приязнь с бабушкою: помещики, чиновники, купцы, немцы всякого разночинного звания и всякие другие разночинцы.

Но все эти отношения — хоть некоторые из них и были довольно близкие — не входили очень значительную долю в жизнь нашего семейства. Главное наше родство было — сестры моей бабушки и их мужья, их дети, их родственники. Центр всех интересов и разговоров, переходивших за обыденные подробности чисто домашней жизни, находился в духовном кругу. И чаще всех других деловых, общественных, ученых и поэтических слов слышались мною в детстве: «архиерей, консистория, — исповедные книги, священник, прихожане, — семинария, богословие, — церковь, клирос, ризы, дароносица, обедня, заутреня, вечерня».

7

В детстве я едва ли не каждую ночь видел сны, и очень часто страшные. Однажды мне даже явилось привидение. Оно очень замечательно.

Раз вечером я шел через комнату, в которой не было свечи. Светил месяц. Его лучи образовали на крашеном полу большой яркий четырехугольник, — я взглянул: на этом светлом четырехугольнике пола сидит, спиною к окну, глазами ко мне, на задних лапах по-кошачьи, большой белый тигр. Я затрепетал, но в тот же миг как-то странно вспомнил, что это только почудилась мне в увеличенном до тигра размере наша кошка, которая, когда ей недосуг разлечься со всем комфортом надолго, точно так сидит на четырехугольниках теплого солнечного света, греет спину. Конечно, не успел я и броситься бежать, как тигр уже исчез от этого соображения.

Таковы же были и мои страшные сны: волки, медведи в своих совершенно житейских характерах, — разбойники, — еще чаще, наводнения Волги, которая видна из окон очень близко и подступает весною к соседству нижнего конца нашего двора. Иногда и что-нибудь заморское, но такое же. Особенно долго приводил меня в трусость один сон. Я видел его только раз, но, вероятно, не один месяц думал каждый вечер, засыпая: «ну, что, если опять

это приснится? ужас!» — и поутру радовался, что не приснилось. Этот сон был вот какой: обезьяны очень высокого роста, — выше человека, и необыкновенно сильные, — сильнее медведя, — напали на меня и потащили; в какой местности это было, — я не видел в ту минуту; один ли я был, или с другими людьми, и обезьяны точно так же тащили и их, — я не видел этого в ту минуту, я не замечал даже, кусают ли они меня — ужас мой был так силен, что все, кроме фигур обезьян, побледнело в моей фантазии, скрылось от меня в моем сне. Только уже проснувшись, я мог различить в воспоминании, что это было в лесу, что нас, людей, было много, что обезьяны схватили всех, что они кусали меня. Во время самого сна я уже не мог замечать ничего этого.

Года три назад, проходя мимо столика уличного продавца плохих гравюр, заменивших прежние лубочные картины, я увидел картину, изображающую тот самый случай, который так испугал меня во сне. Только люди, для красоты, разодеты в театральные костюмы на этой картинке, между тем как мы в моем сне были простые путешественники, в обыкновенном мексиканском платье, — потому что мой сон был в бразильском лесу: это я видел по тому, что деревья были перепутаны лианами. На картинке сцена происходит в африканском лесу, и обезьяны называются гориллы. Это уж новейшее изменение, введенное каким-то вралем-путешественником около 1855 года, — он успел было тогда обморочить даже многих натуралистов, особенно в Англии, свою покражею из какой-то книги прошлого века. Мои обезьяны назывались «замбо», и сцена была почерпнута моим сном из повести, переведенной с французского «Московскими Ведомостями». — Своего тигра я заимствовал из источника более достоверного — из «Натуральной истории» профессора Рейпольского.

Как же это было, что моя фантазия обращалась за материалами к «Московским Ведомостям» и «Натуральной истории», когда уносила за пределы житейского мира и реальной обстановки? Разве не были знакомы моему детству предания и вымыслы, которые обыкновенно дают материал для фантастических страхов и ожиданий? Были, и очень; вероятно, лишь детству немногих из читающих это были они знакомы больше, чем моему детству. Но в объяснение моих тигров и замбо я расскажу два из преданий или вымыслов, которые обыкновенно служат источником наших детских грез. Читайте внимательнее, потому что из-за этих рассказов я поспорю с девятью из десяти вас, читательницы и особенно читатели.

В маленькой богадельне при Сергиевской церкви жила в мое детство вдова чиновника или офицера, Авдотья Яковлевна, очень часто просиживавшая вечера у моей бабушки. Однажды, против обыкновения, разговор отошел от житейских предметов к более высоким, и две старушки, через разные душеспасительные размышления, добрались до того, что часто произносили слово «фар-

мазоны». Слово это давным-давно было привычно не только им, но и мне, их слушателю, — «фармазоны» — известно, «фармазоны», — только вдруг бабушка сказала — видно, заметила вдруг, что несколько десятков лет не имела удовлетворительных сведений... да нет, как же можно? кто ж не знает, что такое «фармазоны», — но как бы то ни было, а бабушка сказала:

— А что, Авдотья Яковлевна, в чем же это их фармазонство?

— Вот в чем, Пелагея Ивановна, — отвечала Авдотья Яковлевна, — я вам скажу случай. Был барин, и жил у него лакей, наемный; и любил барина, который ласковый к нему был, обходительный, — добрый, обыкновенно. Только, много лет проживши у него, лакей вдруг замечает, что барин стал тосковать, не по своему характеру. — «Что вы, сударь, тоскуете?» — «Так», говорит барин. — Только, в один вечер лакей раздевает его, спать ложиться, а барин стал с ним прощаться: «прости, — говорит, — коли я в чем обидел тебя; а вот тебе награда за верную службу и твою любовь», — дает ему двести ли, триста ли целковых (не бедный был). — «Что это вы, сударь, будто не чаете до завтраго дожить, а я не вижу никакой болезни в вас». — «Не от болезни, — говорит барин, — а срок мой пришел», — прослезился, — «приходи говорит, через час посмотреть, что от меня останется; раньше нельзя; а через час приходи». — Пришел через час лакей в его спальню: среди спальни куча золы лежит — только [и] осталось от барина. А пол цел, остался не тронут огнем. Вот что фармазоны Пелагея Ивановна. Это был фармазон. Они душу продают чорту; он их содержит в богатстве, сколько там лет условились. Кончились года, пришел срок чорту брать душу — фармазон огнем загорится и сгорит весь, только зола остается.

— Так вот они какие, фармазоны-то! — сказала бабушка, — то-то все говорят «фармазоны», «фармазоны», а сами тоже не знают, что за фармазоны. А они вот какие!

Иные скажут: «замечательны предисловие и заключение, слова бабушки»; а я скажу: рассказ Авдотьи Яковлевны еще замечательнее. Но что Авдотья Яковлевна? — конечно, она была женщина с большими сведениями по этой части, но только повторяла чужое, как и все. Творческого гения в ней не было. Гениями Саратов был скуден, потому что мир вообще не изобилует ими. В детстве не дошло до меня ни одного важного произведения собственного саратовского творчества. Но когда я потом жил в Саратове учителем гимназии, я получил сведение о существовании самородного гения в моей отчизне. Этот гений был слуга одного из моих тогдашних приятелей, пожилой солидный человек, издавна занявшийся отыскиванием кладов. Разумеется, все слуги, служанки, мещане, мещанки соседских дворов смеялись над ним. Вот однажды и молодой человек, которому он служил, вздумал сказать ему, что напрасно он шляется и тратится по пу-

стякам. — «Нет, сударь, это не пустяки», возразил слуга и стал рассказывать истории о кладах — все обыкновенные, известные, но одна была и неизвестная, уже собственного саратовского творчества:

Приближался к Саратову обоз. Подле города все дороги на правом (городском) берегу Волги идут по горам с глубокими оврагами, похожими на ущелья. Так и эта дорога. Уже смеркалось. И вот, выходит на дорогу человек и говорит мужикам: «Не хотите ли разбогатеть?» — Как не хотеть! — «Так идите за мною, я вам покажу столько денег, что возьмете, сколько захотите». — Повел их в ущелье. Из ущелья ход в пещеру, довольно большую. Среди пещеры стоит котел с золотом. У котла сидит квартальный, в мундире, при шпаге, как следует. «Берите, сколько хотите», говорят мужикам квартальный и проводник. А мужики тем временем успели осмотреться и видят: в углу стоит старик. Они спросили, что ж он не идет к котлу брать деньги? — «Он уж взял, — говорят им, — потому его душа и осталась тут в закладе — это душа купца N. N.». (Рассказчик называл фамилию купца, содержавшего трактир и потому хорошо известного ему за человека богатого.) — «Вот как! значит, кто у вас берет деньги, так его душа тут у вас остается в закладе?» спросили мужики. — «Да», говорят им. — «Ну, когда так мы не хотим», сказали мужики — и ушли.

Прочли внимательно? — Читайте дальше: если вы сами заметили то, что я скажу, — то вы знаете предмет. Я скажу вот что: Как же это душа, оставшаяся у чертей в закладе, — да и не в закладе, это вздор, а уже в вечном плену, в полном рабстве, — стоит себе в углу, будто простая душа? На лице «души» должны быть резкие признаки невыносимого мучения; на всей фигуре «души» должны быть эмблемы рабства: она должна быть скована тяжелыми цепями. Рассказчик не имеет понятия, что такое «душа, оставшаяся у чертей» — «в закладе», по его неудачному выражению, — «в плену», по настоящему смыслу дела. — Но еще важнее: почему ж черти, не предупредив мужиков об условиях займа, прямо сказали: «берите»? — Хотели они поймать в ловушку коварным молчанием? Это было бы уже очень плохо: черти всегда предупреждают с полною откровенностью, они знают, что иначе и душа не попадетс я им в плен. Им непременно нужно формально выраженное согласие на их условия, иначе их дело — пропащее. Рассказчик не знает этого. Но мало того, что он не знает, как заключаются договоры между чертями и людьми, — он вовсе не знает, что такое чорт. Как мужики спросили, черти отвечали: «да, у нас вот какое условие» — они не хотели обманывать своим молчанием, они просто не знали, как им следует держать себя. После этого понятен и мундир на чорте, выдающем деньги. Это не сарказм над мундиром и чиновничеством, — какое! — вовсе нет: рассказчик не может ни на секунду

забыть реальную жизнь и ее порядки. Он знает, что выдача денег — служебное дело; на службе бывают в мундирах; полицейский мундир ему знакомее других, потому он и взял его, — он даже не в состоянии понять, что мундиры у чертей должны быть не такие же, как в городе Саратове, — если уж должны быть на чертях мундиры, которых не бывает на чертях. Что ни слово, то рассказчик шлепается носом в лужу.

А он еще отборнейший человек по этой части. Он даже предмет насмешек для всех, как мономан; и этот мономан даже в мыслях своих не может ни на секунду перенестись в живые фантастические понятия, он и в мечтах своих — реальный мещанин или крепостной человек, живущий в городе Саратове, а не гражданин фантастического мира; фантастический мир чужд и непонятен ему, — даже вовсе и не известен ему, — ему известны только пустые слова, не возбуждающие в нем никаких представлений, которые бы соответствовали им. Его клады, черти — пустые звуки даже для него. И он занимается исканием кладов, как другой слуга — ужением рыбы, третий — стрельбением бекасов: барин добрый, свободного времени много — дельные лакеи у таких господ становятся ремесленниками: шьют сапоги, портняжничают; дрянные люди из лакеев — воруют и пьянствуют; не дрянные, но пустые и ленивые — праздношатательствуют. Это искание кладов — для него самого не больше как праздношатательство. Если он наемный лакей, то из-за прибавки полтинника в месяц он уедет из Саратова со всеми саратовскими кладами в Петербург, где ему нельзя будет искать кладов, по отдаленности глухих мест от его квартиры.

А он еще отборнейший человек по этой части. Он даже воображает, что хозяйин в ней, — его фантазия уже претендует быть творческою фантазиею. Если он таков, чего же ждать от Авдотьи Яковлевны, которая и не претендует быть мономанкою, держит себя как все, и в своих рассказах из фантастического мира не изобретает сама, а только повторяет чужое? Для нее эти рассказы, очевидно, служат только затычками пробелов в разговоре, — как у образованных людей моего детского времени пробелы разговора затыкались воспоминаниями о проезде Хозрева-Мирзы через Саратов, — сами говорящие чувствуют, что болтают пустяки от нечего делать, и придумывают в это время: «о чем бы заговорить поделнее и поинтереснее?» Надобно ли возвращаться к рассказу Авдотьи Яковлевны и замечать, что она ровно ничего не понимает под словами, которые произносит? Она совершенно лишена представления о том, что такое «продать душу чорту»: ее фармазон — обыкновенный добрый барин; она не знает, что, после продажи души чорту, в этом человеке должна проявляться демоническая натура, как бы ни был он добр прежде. Хоть бы он у нее кутил — и того нет. И хоть бы он был миллионер — и того нет: он только зажиточный человек; она не понимает, что

этим сама уже опровергла продажу его души чорту: чорт дает колоссальные богатства; иначе он не соглашается давать деньги, как безмерными суммами: ему нужно, чтобы его клиенты блистали, ослепляли других, заманивали других соблазном своего блеска в его лапы; да и со стороны человека тоже: за простую зажиточность человек не продает души, — ее могут дать ему его работа, приязнь других людей, — чорт не нужен, дело обходится людьми.

Заметили ль вы все это, когда читали рассказы? Если «да», то вы уже знаете, что вы никогда в своем детстве не слышали других рассказов из фантастического мира: все были так же бледны, плохи, бездушны, праздны и пусты, — все походило на те французские повести из русского быта, которые начинаются такими манерами:

«Княжна Феклушка Сидоровна, сказал граф Митька Голопузов очаровательной княжне Кромопятке» и т. д.

Теперь мы с вами отчетливо объясняем себе это потому, что впоследствии мы читывали неподдельные, неиспорченные предания веков, когда фантастическая жизнь еще была живою жизнью сердца. В детстве мы не могли объяснить, наверное, даже не замечали впечатления, которое теперь разъяснили для себя, — но все-таки мы инстинктивно чувствовали, что эти фантастические рассказы плохи, бледны, вялы, — чувствовали это, сами не замечая, что чувствуем; — кому из нас не было другой пищи для фантазии, поневоле кормился этою дрянною, скудною — и не был сыт и ничего не вошло в его жизненные соки из этой вялой трухи, потому что в ней не было ничего живого. А кто, как я, рано получил возможность питаться другими припасами для фантазии, тот сам, еще не замечая и не понимая, уже бросил неудачные, напрасные усилия питаться вялою трухою рассказов, вылетавших пустыми праздными звуками из уст самих рассказчиков и рассказчиц, и подпадал под влияние другой поэзии, более живой.

Тигры, обезьяны, наводнения, ураганы, землетрясения — это были существа и явления, обрисовывавшиеся мне рассказами моих старших и книгами в ясных, ярких чертах и не остававшиеся пустыми словами, как черти, мертвецы, их явления; о тиграх, наводнениях я слышал и читал рассказы, исполненные живого убеждения. Тут была жизнь; потому-то в галлюцинации явился мне не мертвец, а тигр, — во сне я трепетал наводнений, а не ада, — нападали на меня обезьяны, а не черти.

Я был бы неправ, если бы не сказал, что я был счастлив и в этом отношении, как в других: да, это большое счастье иметь своими старшими людей рассудительных и дельных, — таковы были все мои старшие, — людей, стремящихся к знанию, — таковы были почти все мои старшие и в особенности те, которые ближе других были ко мне, ребенку, — моя матушка и моя тетушка.

Вот поэтому-то я могу и хочу быть добросовестен в моих воспоминаниях: благодаря дельности и рассудительности моих старших, я подобно моим кузинам и кузенам, — очень рано привык понимать характер жизни, в которой рос, и не стану морочить вас придаванием важности вздору, пустоту и ничтожество которого я видел тогда же. А то, разве не мог бы я «наврать с три короба» в таком же вкусе, в каком врут очень многие? Очень мог бы, — мог бы даже побольше, чем другие. Мне легко было бы выставить перед вами в мишурной эффектности сотни лиц и чуть ли не тысячи случаев. Но я видел их и тогда в их истинном свете; к чему же стал бы в 35 лет говорить с вами тоном менее разумным, чем говорил в 10 лет? — Пусть выставляют себя глупенькими младенцами другие, которые не привыкли с детства видеть людей и вещи в их истинном виде.

О, если бы таким маленьким неразумным детишкам пожилых и старых лет дать запас моих воспоминаний, — каких удивительных людей и вещей настроили бы они из того, что я просто отбрасываю, как ничтожный хлам, не имевший никакого значения в саратовской жизни, — и в жизни нашего семейства, и в истории моего развития. Можно было бы, например, набрать длинную процессию фанатических действий, аскетов и аскеток, и вышло бы очень эффектно. В этой процессии могли бы блистать и несколько человек моих дальних родственников. Но все это был бы пустой вздор. Фанатические мотивы иногда высывались напоказ, — но это было шарлатанство, под которым все мои старшие, вместе со всеми неглупыми людьми Саратова, видели глупость, пошлость, тупость или злонамеренность; аскеты и аскетки были понимаемы моими старшими и всеми неглупыми людьми Саратова как люди играющие, дурачащиеся, забавляющиеся своими причудами, люди пустые или жалкие, глупые или дурные, — и все это оставалось в жизни Саратова пустяками, и люди, занимавшиеся этими пустяками, были предметом общего пожимания плечами и сострадательных или презрительных улыбок, — людьми очень мелкотравчатыми.

Лучше я расскажу вам о человеке, действительно замечательном и занимавшемся своею деятельностью серьезно, с глубокою искренностью, с полным самопожертвованием, — об Антоне Григорьиче. Это будет тем любопытнее, что лишь немногие из моих читательниц и читателей видывали настоящих неподдельных, честных юродивых, — и из немногих, которые видели их, лишь очень немногие знавали их близко. Антон Григорьич входил в наш дом искать приюта, защиты, отдыха, — и находил. Вот история юродивого Антонюшки, или Антона Григорьича.

Антон Григорьич был очень зажиточный, или и вовсе богатый мужик, трезвый, добрый, почтенный, очень дельный и деятельный хозяин, хороший семьянин. В тяжелый для народа год, — в первую холеру, которая хоть и была едва ли не менее жестока на самом деле, чем вторая, но производила гораздо более ужаса и всяких лишений, — он совершенно отдался влечению своего благородного и твердого характера: всячески помогал всем нуждающимся и сгорающим в своем селе и кругом; село было оцеплено народною кордонною стражею, не впуская в него прохожих, чтобы не занесли они заразы; прохожие валились в холере на дороге. Антон Григорьич отыскивал их, ухаживал за ними. Он выставил по дороге столы с хлебом, щами, чтобы не изнемогали от голода здоровые прохожие, которых не пускали ни на один постоянный двор. С заразою пришло и обнищание, — он помогал обнищавшим. На это он израсходовал все свои излишки и так пристрастился к деятельности «брата милосердия», что, когда с холерою прошла всеобщая крайняя нужда в материальной помощи, он обратился к подаванию нравственной помощи. Бросил хозяйство, сдал его жене, бросил жену и детей, тогда еще малолетних, и пошел бродить по саратовскому свету; скоро добрался из своего Петровского уезда до Саратова и основал в нем свою резиденцию. Он подавал, главным образом, нравственную помощь, старался исправлять людей от того, что считал дурным. Но из-за этого он несколько не забывал оказывать и материальную помощь несчастным. В первое время моего детства он постоянно жил в Саратове; карьера его была тогда наиболее успешна. У него была нанята особая избушка; он поместил в ней одного, потом двух — бывало, кажется, и по три — неизлечимо больных и бесприютных бедняков, ухаживал за ними, как следует доброму человеку, взявшему на себя такую обязанность; отыскивал других больных и бедных, старался помогать им, пристраивать их по добрым людям или по богадельням, больницам. — В чем состояло его «юродство» с этой стороны его деятельности? — Он выражался о своих больных фигуральным языком, называл их «жемчужинами» или «сокровищами», — «подарочками, которые послал ему бог». Но и юродствовал: позволял себе смелые поступки, отважные уловки. Например, приходит к зажиточному хозяину или хозяйке и ведет свои речи, половину которых не могут вразумительно понять слушающие, потому что он говорит, как следует юродивому, очень вычурно и туманно, перемешивает юмор, иронию с серьезными словами, — простые саратовские набожные люди сидят, стараются извлечь себе душевную назидательность из этих странных речей и понимают только то, что это очень назидательно. А вот, в такую речь Антон Григорьич вставит обещание, что он завтра «привезет подарочек»;

если догадаются, скажут: «нет, Антон Григорьич, хлопот много», — он примет отговорку. Но не всегда же догадывались, особенно сначала. Он в это время часто разъезжал на ломовом извозчике, по временам бывала у него и своя лошадь с тележкой: он собирал иконы для сельских церквей, — собирал старое платье, всякие старые вещи для бедных, собирал хлеб; — и принимая эти сборы, сам часто оплачивал за них подарками; маленькими образами, просфорами и т. п. Потому, легко было не заметить особенного смысла в его «привезу подарочек»; и если говорили: «привози, Антон Григорьич, будем очень благодарны», — он поутру привозил больного старика или дряхлую старуху на поечение напросившихся. Конечно, те отказывались, сердились, выходили истории; особенно когда Антон Григорьич не сам привозил «подарочек», а нанимал ломового извозчика и отправлял с ним «подарочек», уверив его, что там уже ждут этого гостя. А иногда, в теплое время, он приезжал рано утром, когда хозяева еще спали, оставляя «подарочек» на пустом крыльце и уезжал.

Но особенно юродствовал он для исправления нравов и спасения душевного. До нашего семейства более всего доходили его проделки в женском монастыре, — монахи часто бывали у нас, — почему бывали, скажу через несколько строк, — да и священником в женском монастыре был муж сестры моей бабушки Николай Иванович Кудрявцев. Человеку с такими экзальтированными понятиями, как Антон Григорьич, конечно, надобно было, чтобы монахини вели самую суровую жизнь, — например, он очень осуждал то, что у них есть перины, подушки: они должны были, по его мнению, спать на голых досках. И поэтому однажды он сделал вот какое юродство. Была обедня. Народ, выходя из церкви после службы, удивлялся, видя весь монастырский двор усыпанный перьями и пухом; монахини, вернувшись в свои кельи, увидели, что перины и подушки разрезаны, пух и перья из них выпущены, а вместо того в опустевшие наволочки положены кирпичи. Монахини тотчас догадались, что это проделка Антона Григорьича; но, разумеется, Антон Григорьич уже скрылся. — Таких проделок он сочинял не очень много, но и не мало.

Разумеется, не могли же допускать этого; Антону Григорьичу часто приходилось прятаться от полиции. Если она находила его, она иногда держала его по несколько дней под арестом и отправляла в Петровский уезд, домой. Через несколько времени он опять являлся в Саратове и продолжал свое дело.

Но это все я знаю только по рассказам, — его самого и жертв его юродства. А каким я видел его сам? — По временам он бывал в нашем доме очень часто, — иногда подолгу, чуть не каждый день; случалось, жил у нас на дворе по два, по три дня. Как же он был у нас в доме? — Когда хотели его слушать, он го-

ворил; когда не хотели, он молчал и слушал, что говорят другие, — держал себя, как всякий менее важный посетитель держит себя перед более важными хозяевами. Разницу от других посетителей составляло лишь то, что этот гость очень любил употреблять фигуральные выражения. А назидательность? а обязанность исправителя нравов?

Единственное назидание его в нашем семействе, сколько я припомню, было следующее. Я говорил, что моя матушка и тетушка очень много шили (и шили отлично). В то время в Саратове еще не было чугунных наперстков, — были только медные, плохие, тоненькие, хилые, которые скоро прокалывались. Их часто меняли, но все-таки беспрестанно кололи руки с ними. И вот, наконец, матушка и тетушка вздумали сделать себе серебряные наперстки с железными крепкими головками; оба наперстка обошлись около рубля серебром, копеек по 45, как мне помнится, служили потом очень долгие годы, чуть ли не продолжают они служить и до сих пор моей тетушке и моей старшей кузине. Они были одною из величайших прихотей роскоши моей матушки и тетушки. — Вот однажды Антон Григорьич, проходя через гостиную, посмотрел на эти наперстки, стоявшие на рабочем, то есть обыкновенном ломберном столе, — приостановился на секунду и, прошедши шага два, произнес: «а вот, я хочу сделать себе серебряный кочедычок» (плоское шило, которым плетут лапти).

Больше он не сказал ни слова и продолжал речь о чем-то другом. Как тонко сделан упрек в роскоши, не правда ли? — Никакого другого случая назидания я не припомню.

Да, Антон Григорьич был дипломат, очень соблюдавший границы в своем юродстве, державший себя у нас так скромно и с таким тактом, какой редко умеют соблюдать и не юродствующие провинциалы, и не только провинциалы, даже столичные люди, — и не мужики, а светские господа и дамы. Это и натурально: он был человек очень умный. Поэтому он очень просто и верно понимал, что он вовсе не компания моим матушке, тетушке, отцу, дяде: они люди образованные, он человек необразованный; им он скучен, он это знал; все они ласковы с ним — потому что они люди добрые, а он хороший человек, как же им не быть ласковыми к нему? — так он понимал свои отношения к ним, это было видно из того, как он держит себя с ними: свободно, но не надоедая им, — он понимал, что он не их знакомый, а знакомый моей бабушки. Например, он свободно шел в кабинет моего батюшки — подойти под благословение и поздороваться, — но если мой батюшка не останавливал его сам каким-нибудь вопросом, он тотчас же уходил назад в комнату бабушки. Так он держал себя и с дядею — не навязывался, старался не быть в тягость. Так и с обеими молодыми хозяйками: не надо-едал им собою.

Даже с нами, детьми, он не позволял себе бесцеремонности: был ласков, шутил, как всегда добрый и неглупый гость занимается детьми хозяев, — да он и по природе любил детей, как человек мягкого сердца, — но даже и нас он не назидал; он понимал: «у них есть матери, мне тут нечего мешаться». Мало того, что не назидал нас, — был осторожен вот до какой степени. Мы, когда не были заняты делом или играли, проводили очень много времени в комнате бабушки, — уж и по одному тому, что эта же комната была столовою и чайною, и ее круглый стол служил вообще центром, притягивавшим к себе всех, кому нет надобности сидеть не у этого привычного стола. Антон Григорьич, гость бабушки, сидел почти все только в ее комнате, хоть и расхаживал по всему дому, как свой человек. Когда ему с бабушкой встречалось оскудение материалов для разговора, он вставал, начинал молиться, распевая своим довольно хорошим тенором, — и бабушка, кстати, молилась, пока не приходила ей охота сказать: «довольно, Антон Григорьич», — охота эта являлась у ней довольно быстро, потому что в десять минут молитвы мало ли чего припомнится: и о постройках в доме, и о том, что дрова с каждым годом дороже, и о том, что огурцы в нынешнем году были дешевы, а к Рождеству едва ли будет большой подвоз, потому что еще мало снегу: смотри, что дешевле четвертака не будет гусь или индюшка: значит, опять набрался материал для разговора. — Поэтому молитва, иногда занимавшая бабушку и Антона Григорьича, никогда не бывала длинна. Но мы, дети, все-таки уходили, когда она начиналась, и я не припомню, чтобы он когда сделал замечание, что не следует уходить от молитвы.

Итак, бабушка была приятельница Антона Григорьича. Мало того, что он не боялся надоесть ей, он смело искал у нее убежища от гонений, и из этого выходило иной раз довольно любопытное отношение. Оно выходило каждый раз, когда гонение на Антона Григорьича воздвигалось за какую-нибудь проделку в женском монастыре. Монахини жаловались своему начальству, начальство распоряжалось, не может ли собственными средствами отыскать Антона Григорьича, чтоб уж предать в руки карающей полицейской власти — искало его, говорю я, само, а между тем сообщало карающей власти, чтоб и она искала, потому что он подлежит ее каранию. И не раз случалось, что в то время, как начальство женского монастыря ищет и воздвигает полицию искать Антона Григорьича, Антон Григорьич живет в кухне, где готовится кушанье и ему, и моей бабушке, и отыскивающему его начальству женского монастыря, потому что это преследующее его начальство — мой батюшка, благочинный женского монастыря. Через три-четыре дня монахини забывают Антона Григорьича, мой батюшка и полиция тем больше забывают, потому что у них много дел поважнее, и он безопасно яв-

ляется на свет. — «Где ж ты прятался, Антон Григорьич?» спрашивает его мой батюшка. — Если прятался не в нашем доме, то нечего больше поминать об этом; но если скажет: «да у вас на кухне; матушка Пелагея Ивановна велела Даниле Ивановичу (кучеру) спрятать меня и не сказывать вам», — если Антон Григорьич дает такое объяснение, то батюшка говорит ему: «нет, Антон Григорьич, когда ты от меня прячешься, то уж прячься в другом доме, — у меня нехорошо». — Тогда бабушка возражает моему батюшке: «ну, говорить будут, что у нас прятался — так что же? всего не переслушаешь, что будут говорить. Я прятала. Эка важность».

Из этого уж ясно, как смотрели на Антона Григорьича всякие светские и духовные начальства, да и все грамотные люди, в том числе и монахини, которые иногда жаловались на него: не удерживать его по временам было бы нехорошо — он человек экзальтированный, пожалуй, и вовсе ввалится в беду, если не останавливать его. — Но вообще, разумеется, никто не интересовался даже и стеснять его юродствования; насколько можно было без вреда для него самого и без явного нарушения порядка, оставляли ему волю. Это уже видно из моего рассказа.

Но какими глазами смотрели на него простые люди, неграмотные?

Да почему ж не взять в пример мою бабушку? Она с трудом подписывала свое имя по изустному руководству того или другого зятя: «две палочки, а над ними черточку проведите, матушка — будет П; написали? кружочек, а снизу хвостик — это будет е» и т. д. Но искусству читать уже совершенно разучилась моя бабушка. Как же она смотрела на Антона Григорьича? — Да точно так же, как и мой батюшка, и я (тогда и теперь, все равно): человек умный, добрый, отрекся от всего для пользы ближних, неутомим в заботе о них; но какой же он учитель своим ближним? Он сам ничего не понимает, — только сердце у него благородное, характер твердый, преданность своему делу огромная; за все это нельзя не уважать его; но занимается он пустяками и делает вздор.

Почему ж бабушке не было скучно с ним? Иногда — да и частенько — бывало; тогда она говорила: «ну, Антон Григорьич, будет нам с тобою толковать», — он уходил в другую комнату, а если видел, что может оставаться в той комнате, то и не уходил, а только умолкал. Но это случалось не слишком часто: что ж делать старушке? — Вообще, рада чем-нибудь развлечься от скуки. Она по целым утрам игрывала в шашки со мною, и чтобы я не уходил, даже играла на деньги, по грошу партию; таким образом, я года в два выиграл у нее целый золотой, который она и заплатила мне самым формальным образом, я вел счет нашей игре: «Бабенька, вчера было 9 рублей 38 копеек, а вот уж стало 9 р. 44 к.». — «Хорошо; играй только, все сполна получишь». —

Говорить со взрослым человеком все-таки занимательнее, чем играть в шашки с 9-летним ребенком. А Антон Григорьич, вдобавок, был человек очень умный, да и его приключения часто были интересны. Она рассказывала ему о том, что и как она купила ныне на базаре (рынке) — она сама ездила на базар — рассказывала о хозяйстве, он рассказывал ей свои приключения — она журила его, он отчасти соглашался, отчасти защищал свои подвиги — и время шло. «Да неужели так смотрела на него бабушка?» — Что моя бабушка: она хоть и разучилась читать, но очень и очень близко знала общество и сама когда-то принадлежала к нему; дедушка Егор Иванович был, сколько я могу судить, очень светский человек, и бабушка умела держать себя не хуже других, — итак, я говорю: что моя бабушка — она ли только смотрела так на Антона Григорьича? У ней были приятельницы старушки, составлявшие как будто дополнение к сторожу Сергиевской церкви и представительное собрание, заменявшее отсутствующую паству при заутренях и вечернях будничных дней, когда никого, кроме этих старушек, не бывало в церкви; в эти шесть [дней] они и молились на просторе, а по воскресеньям им уж некогда было молиться: они ставили свечи к иконам по поручениям сторожа, которому одному было бы трудно исполнить все поручения паствы по этому предмету; они унимали плачущих малюток, обуздывали детей, порывавшихся шалить, — словом, у них по воскресеньям были полны руки дел. Я хочу сказать, что и эти старушки — уж самые набожные и благочестивые жительницы Саратова, точно так же смотрели на Антона Григорьича: неглупый человек, почтенный человек, но занимается вздором. Поверьте, что даже их мнение о нем не было нисколько различно от мнения, какое имели бы об Антоне Григорьиче Бакон, Кант и Штраус, если бы знали Антона Григорьича. Да и в самых глухих селах Петровского уезда все неглупые мужики и бабы, то есть девяносто девять из ста, наверное, смотрели на Антона Григорьича точно так же⁸².

Скоро Антон Григорьич бросил свои проделки в женском монастыре: вероятно, его убедили, что это он делал дурно. Тогда духовное начальство вовсе перестало заниматься им; радо было бы перестать и светское, но не могло: на него были жалобы. Итак, он подвергался гонениям. Но гонители — полицеймейстер и его подчиненные — всегда были очень расположены дать ему как-нибудь отделаться: оставляли ему время скрыться от поиска, при первой возможности переставали искать его, через неделю Антон Григорьич опять мог бесстрашно являться в публику. Иногда, впрочем, не было возможности не поймать его, при всем нежелании поймать; тогда его держали дня два, три под арестом и выпускали; если же не могли выпустить на саратовскую улицу, то отправляли в родное село, в Петровский уезд. — Из тона рассказов его бабушке видно было, что он и сам

понимает, что даже полиция смотрит на него так же снисходительно, как бабушка.

Сначала Антон Григорьич пропадал из Саратова только по случаю отправок его полициею на родину; потом стал удаляться в свое село или другие сельские приюты и по собственной охоте и уже надолго. Ясно было, что он сам утомляется,—сам начинает наполовину видеть напрасность своего юродствования, чувствует надобность отдохнуть от него.

За два или за три года перед моим отъездом в университет, Антон Григорьич, возвратившись в Саратов после долгой отлучки, объявил нам, что «теперь Антон Григорьич купец 2-й гильдии, вот как». Долго никто из нас не хотел принимать этого иначе, как за шутку. Но действительно было так: он стал купцом 2-й гильдии. Его дети — два сына — вышли умные, дельные люди, занялись коммерческими делами, попали в контору, имевшую огромные обороты, стали получать очень хорошее жалованье; по их служебным обязанностям в конторе, оказалось полезно, чтобы они причислились ко 2-й гильдии, хотя сами они и не имели своей торговли; они записали отца во 2-ю гильдию, чтобы пользоваться теми правами по подписыванию коммерческих бумаг, какими пользуются дети купцов 2-й гильдии. Они упрашивали отца бросить подвижничество; он не послушался их вполне, но перестал делать выходки, не одобряемые полициею, и ограничился сохранением назидательного аллегорического тона в своих разговорах. — Как все зачатые провинциалы, он считал Петербург нечестивым городом и говорил, что всякий переселяющийся туда впадает в неверие и безнравственность. Но когда его сыновья переселились по своей конторской службе в Петербург, с увеличением жалованья, он рассказывал об этом повышении с искреннею радостью.

Купец 2-й гильдии, — отец, радующийся коммерческим успехам детей — вот вам конец моего рассказа об Антоне Григорьиче.

Судите, как хотите, права ли была моя детская фантазия, находя больше жизни для своих грез в «Московских Ведомостях» и «Натуральной истории» Рейпольского, чем в том мире, замечательнейшим явлением которого был Антон Григорьич.

Но повторяю: я обязан моим старшим, обязан характеру моей семейной жизни в детстве тем, что и детскими своими глазами видел в Антоне Григорьиче только доброго, почтенного энтузиаста, взявшегося за пустое дело, — не увлекся ни восторгом к нему, — восторгом, который ослепил бы меня относительно истинной — совершенно ничтожной — роли Антона Григорьича в саратовской жизни, — ни страхом или отвращением — чувствами, которые точно так же заставили бы увидеть в Антоне Григорьиче нечто важное, то есть, увидеть небывалое.

Этим очерком замечательного лица, которое я знал очень близко и которое мог бы изобразить великим деятелем, если бы хотел нарушать истину для эффектности, — я закончу отрывки, в которых рассказываю о соприкосновениях моего детства с элементами доисторическими. Разгул беспомощной фантазии незнания, неуменья являлся передо мною в фигуре пожилого человека с черными длинными волосами, сухощавого, с приятным, добрым лицом, с умными светлыми глазами — это был почтенный, добросовестный юродивый Антон Григорьич. Глухая жизнь старинного русского захолустья, почти еще недоступного никому лучу европейского света, — жизнь, ничего не знающая не только о Западной Европе, даже о Петербурге, даже о Москве, — едва-едва соприкасающаяся даже с губернским городом, — она возникала передо мною в рассказах моей бабушки о молодости прадедушки и прабабушки.

Я знал прабабушку уже горожанкою, — старушкою, простою, но уже умеющей судить о всех слоях провинциальной жизни и справедливо уважаемую мужьями ее внуки, людьми очень деловыми.

Начиная рассказывать о дочерях моей прабабушки, я уже вхожу в жизнь, охваченную историческим движением.

У моей бабушки были три сестры. Две из них умерли раньше, чем начинаются мои личные воспоминания. Об одной из этих двух я и не слышал ничего замечательного: кажется, что она умерла вскоре после замужества, еще в первой молодости, прежде чем начала развиваться в ней какая-нибудь самобытность. О другой, Прасковье Ивановне, я постоянно слышал, что она была самая хорошенькая лицом из четырех сестер, очень добрая женщина, очень хорошая хозяйка. Кроме того, слышал одно приключение из ее жизни. Оно уже связано с ходом исторической жизни города Саратова.

За элементами доисторическими и за мифическими лицами во всякой истории следуют эпические времена, в которые действуют и изумляют своим величием лица «богоподобные»: после чистых олимпийцев, каковы Юпитер, — а у меня Антон Григорьич, — в Греции являются Геркулес, Агамемнон, Ахилл; — в России также: после никого — Рюрик, Олег, Святослав; так и в моей истории.

Но моя история имеет свою доисторическую древность во временах очень новых, по мнению других историков; потому и эпические времена моей истории — очень недавние времена, по

общепринятому, хотя и ошибочному мнению; это — времена Алексея Давыдовича.

Были ли у Алексея Давыдовича предшественники, или саратовское губернаторство явилось вместе с ним, — об этом молчат мои источники. Но великолепием и благостью Алексея Давыдовича полны были те рассказы моей бабушки, которые имели эпический характер. — Алексей Давыдович не жил в своей столице: она не могла вместить его величия, и потому он создал «Дачу», как Людовик XIV по точно такому же обстоятельству — по невозможности вместить свое великолепие в Париж — создал Версаль. — «Дача» и на моей [памяти] была еще не «дача Алексея Давыдовича», или бы еще проще «дача Панчулидзева», а просто «Дача», как нечто единственное и несравнимое ни с чем. На моей памяти она была уже опустевшим памятником померкнувшего блеска, как и Версаль; теперь город уже подтянулся к ней, — но я помню ее еще отделявшуюся от него полем версты на полторы. Это был огромный (по тогдашнему саратовскому размеру) дом с флигелями, службами, с другим домом, поменьше, но тоже большим, и опять флигелями, опять службами; вся эта монументальная «Дача», которая теперь уже исчезла с лица земли, — как и в самой Греции не сохранились здания времен эпических, — тянулась чуть ли [не] на целую треть версты, если считать по длине каменного забора, часть которого уцелела, как и в Греции уцелели куски стен эпической постройки в Тиринфе. По бокам и позади каменного забора и дворца были сад, роща, — и сад, и роща с прудами, пруды с островами и мостами, острова и мосты с киосками, киоски с цветными стеклами, цветные стекла с — нет, уж ни с чем больше, только сами с собою. По прудам плавали люди в лодках и лебеди без лодок; в роще и в саду, на мостах, и на прудах, и на островах бывали фейерверки и иллюминации, в доме были балы и банкеты, превышающие все, что могла представить себе фантазия саратовцев и саратовок, сохранивших восторженные чувства к эпической эпохе, которая осталась в их восхищенной памяти одним непрерывным праздником, двадцатилетним всенародным ликованием без одного, — не то, что хоть месяца, а хоть дня — для передышки.

Я не видел этих праздников, но мог бы описать, если бы под рукою у меня [были] путешествия по самоедским, тунгусским и трухменским землям; но у меня нет под рукою этих путешествий, потому не могу... впрочем, нет, все-таки могу: представьте себе... однако и не трудитесь представлять себе потому, что вы не сумеете вообразить себе все это в надлежащем блеске; вы подумаете, что торжества, которые вы вообразите себе, происходят в огромной харчевне, куда по какому-то странному случаю набралось очень много и женского пола; но вам это покажется только оттого, что хоть я и сумею изобразить, но вы все-таки не сумеете вообразить.

Да где вам, не видевшим ничего подобного, суметь вообразить себе эти банкеты и балы, когда даже люди, видевшие их собственными глазами, повергались в сомнение тут же, присутствуя на них, повергались от восхищения в сомнение, уж не вздремнули ли они, что видится их очам такое великолепие: нет, такого блеска, такого изящества, такого рая не бывает наяву.

Великолепный, как Людовик XIV, Алексей Давыдович был и великодушен, благодетелен и добродетелен, подобно ему: подобно Людовику XIV, он был породителем, покровителем и поощрителем всяких достоинств, заслуг и добродетелей, помогал бедным, — хотя бедных и не могло существовать в правление Алексея Давыдовича, но все-таки он помогал им щедро; отирал слезы страждущих, защищал угнетенную невинность, — хотя в его правление вовсе не было страждущих и не угнеталась никакая невинность, но все-таки он защищал ее и утешал их.

Впрочем, эпические рапсодии действовали на меня чуть ли не еще меньше, чем мифические элементы, — потому что и сама бабушка гораздо чаще отзывалась об эпической эпохе совершенно в другом тоне, а все другие мои старшие исключительно только в этом другом тоне.

12

После времен, так отчетливо и живо отразившихся в эпосе Гомера, надолго все прячется от взоров исследователя древности, и когда, наконец, вновь открывается занавес, на сцене, вместо «богоподобных» Агамемнонов, являются уже обыкновенные смертные, с обыкновенными человеческими приключениями. Так и в моей саратовской истории: после иллиуминированной эпохи Алексея Давыдовича, подобного Людовику XIV, который был «подобен богам», по мнению надписей, сочиненных при его собственном содействии, история Саратова на долгий период пропадает для моего детского знания во мрак неизвестности, пока является событие, в котором важнейший эпизод составляет путешествие Прасковьи Ивановны к Ивану Постному.

Прасковья Ивановна, хотя и была лицом красивее всех своих сестер, — значит, была красавица в полном смысле слова, потому что я помню, как хороша собою была другая сестра моей бабушки, Анна Ивановна: Анна Ивановна в 40 лет была еще очень хороша собою, — Прасковья Ивановна, хоть и была красивее всех сестер, вышла не за священника, как все три остальные сестры, а только за дьячка, — по любви, сказал бы я, если бы могло это применяться к тем невестам, венчавшимся на 14-м, на 15-м году, — итак, вернее будет сказать: по особенному расположению ее отца и матери к Николаю Ивановичу Кудрявцеву, бывшему тогда еще только дьячком. Впрочем, он потом также

сделался священником. Но путешествие ее к Ивану Постному принадлежит времени, когда Николай Иванович был еще только дьячком.

Хоть и дьячок с дьячихою, они жили не нуждаясь. А если так, то дети были бы на радость. Но у Прасковьи Ивановны долго не было детей, и она очень горевала об этом. У нее была задушевная приятельница, мещанка, тоже молодая, добрая, прекрасная женщина, тоже жившая без нужды, тоже не благословляемая от бога детьми и горевавшая о том. Обе приятельницы, толкуя со всеми родными и приятельницами, а в особенности между собою, о своей грусти, что нет у них детей, беспрестанно доходили до выражения мысли, нередкой в те времена в тех кругах у молодых, добрых женщин, не нуждавшихся и бездетных: «уж если не дает бог мне своих детей, хоть бы подкинули ребенка, рада была бы, стала бы любить, как своего». — В таких разговорах шло время, и пришел неизвестный мне год, — вероятно, около 1815—1820, когда совершилось следующее событие.

Начиналась осень, подходил Иван Постный (29 августа) — праздник в селе Увеке, верстах в 18 или 20 от Саратова. Увекский Иван Постный очень уважается саратовцами, так что вечером 29 августа сотни саратовских граждан и пожилых гражданок возвращаются оттуда к своим пенатам сильно подгулявшими; молодые гражданки идут в трезвом виде, потому что молодые женщины еще неприлично пить водку. — Вот, накануне Ивана Постного, Прасковья Ивановна со своею приятельницею спросили друг дружку, пойдут ли к Ивану Постному. «Мне нельзя: надо завтра мужу белье чинить», или шить, или что-то другое по хозяйству, сказала одна. — «И мне тоже некогда: надо квас затирать», или что-то такое, сказала другая. Обе решили, что и не должно много жалеть об этом, потому что работа — та же молитва, так ее бог принимает. — Разошлись. — Спят. — Среди ночи слышит Прасковья Ивановна — стучатся в ставень: «спите, что ли, добрые люди? так проснитесь; выходите, примите, что бог послал», — дело ясно: младенца подкидывают. Прасковья Ивановна выскочила за ворота, подбежала к окну, в которое стучались: тех и след уж простыл; малютка лежит под окном. Взыла Прасковья Ивановна. Но воем не поправишь дела, надо ум приложить. Прасковья Ивановна стала прикладывать ум, то есть куда девать подкинутого младенца, — и приложила: «да вот, она — ее приятельница мещанка — говорит всегда, что с радостью взяла бы такого младенца; к ней надо». Прасковья Ивановна оделась, пошла с малюткою — приятельница жила в той же стороне города, подле Старого Собора, — положила младенца у окна своей приятельницы, постучалась, как следует, — сказала, разумеется, чужим голосом, что, дескать, вставайте, бог послал, и отбежала в сторону — дожидаться, пока будут шаги к воротам; добрые люди всегда так подкидывают: дожидаются,

пока услышат шаги идущих взять младенца — иначе было бы не христианское дело; если не добудились, или те поупрямятся, младенца съедят собаки; — Прасковья Ивановна дожидается, слышит, приятельница стукнула дверь, подходит к калитке. — Прасковья Ивановна бросилась бежать домой. Прибежала благополучно, легла опять спать, — лежит, — ведь после такой оказии не вдруг заснешь, — лежит и думает: «а ведь она ко мне к первой придет рассказывать; а я какими глазами буду глядеть на нее? Уйду к Ивану Постному; к вечеру-то она уж понаговорится, рассказывавши другим; да и сердце у ней пройдет немножко».

Бродит Прасковья Ивановна около церкви, пришедши к Ивану Постному, — около церкви, потому что в церковь где ж пробраться? — давка; а тут и лавчонки, столики, лотки со всякими товарами, ярмарка, тут все и бродят, — ходит Прасковья Ивановна в толпе, — глядь, и ее приятельница тут же. «Как же она здесь, когда сказала, что не пойдет? видно, прибежала ко мне, матушка сказала ей о нашем происшествии, она и догадалась, от кого получила, и пришла сюда меня ругать, узнавши от матушки, что я сюда ушла. Экая недогадливая матушка-то! Да и я напрасно сделала, что не сказала ей, к кому подкинула; надо бы сказать, чтоб она молчала». — И Прасковья Ивановна пятилась в толпу подальше от своей приятельницы — благо, та еще не заметила ее. Но вот — идет, идет! не спрячешься! — Что ж, уж надо самой начать каяться. — «Прости ты меня, мать моя, согрешила я перед тобою», — обратилась Прасковья Ивановна к приближающейся приятельнице, чтобы заслужить хоть то снижение, по которому и меч не сечет повинной головы. — «Что, моя матка, Прасковья Ивановна, какая твоя вина передо мною», отвечала приятельница; — «моя вина перед тобою больше! я начала! Как ты принесла его мне, я так и подумала, что ты догадалась, от кого тебе было приношение, потому и воротила его назад ко мне. Со стыда, моя матушка, и сюда-то ушла от тебя. Да как увидела тебя тут, совесть не вытерпела: пойду, говорю, покаюсь перед нею: ведь когда-нибудь надобно будет каяться, так уж лучше поскорее грех с души долой. Прости ты меня, матушка, Прасковья Ивановна!» — «Так вот оно какое дело вышло! Это ты мне его подкинула!» — говорила Прасковья Ивановна. — «Я подкинула, мать моя, вот оно какое дело-то вышло! Как подкинули его мне, я думаю: куда девать? Думаю: отнесу к Прасковье Ивановне, она часто говорила, что рада была бы принять». — «Так-то и я про тебя рассудила, мать моя, что понесла его к тебе!» — Повторив по десятку раз: «мать моя» и «матка моя» — «вот оно дело-то какое вышло!» — «вот оно как вышло-то!» и накачавшись головами и навздыхавшись, приятельницы, наконец, могли двинуть свой разговор дальше. — «Что же ты, моя матка, будешь с ним делать-то?» спросила Прасковья Ивановна. — «Как, моя матка, что делать? Я уж сде-

лала; — и не в догадку, что надо рассказать, совсем забыла: уж подкинула». — «Уж подкинула?» — «Как же, matka, в тую же секунду, как ты мне назад-то принесла его, я опять пошла подкидывать; да уж чтобы опять греха не было, не воротили бы ко мне, так в тот конец города, к Илье пророку. Ну, те места дальние, одной-то страшно, мужа с собой брала». — «И хорошо подкинула?» — «Хорошо. Тут бог помог хорошо. Да еще я тебе скажу, как хорошо-то вышло: знаешь, стоим мы с мужем-то за углом, ждем, покуда выйдут младенца принять, а в эту пору, как они выходят, бог на наше счастье и пошли: идет человек, — лакей ли, приказный ли, в шинели, — так и идет себе, — знаешь, ничего этого не знает. Они на него: это ты, говорят, подкинул! — знаешь, двое мужчин выскочили, — видно, семейство уж опытное, не то, что у нас с тобою». — «Не то, не то! видно, опытное!» — «Они на него и бросились, вдвоем-то: ты, говорят, подлец, подкинул! да за шиворот его: бери, говорят. А мы с мужем: слава те, господи! слава те, господи! — креститься — да бежать, бежим да крестимся: слава те, господи! — Вот оно, матушка, устроилось-то как хорошо!» — «Ну, слава богу; истинно, хорошо». — «Хорошо, матушка».

Приятельницы не знали, чем кончилось устройство дела; но когда вернулись в город, все еще твердя: «вот оно как вышло-то!» — «вот оно, какое дело-то выходит» — то услышали, что вышло еще дело, и несколько дней душа у них была в пятках: не проболтаться бы как, не добрались бы до них. Но, слава богу, остерег их милостивый господь, не проболтались; и никто тогда не дознался, что от них это вышла такая оказия, что губернатора схватили за шиворот и заставили взять младенца. «Впрочем, если б и дознались, не было бы им большой беды», — поясняла нам моя бабушка: — «потому что и с этими людьми, — тоже из мещан, — которые схватили его за воротник, он ничего не сделал: нельзя было ему шум-то подымать. Зачем, скажут, в такую пору по дальним улицам ходил? — А они ему и бока помяли, покуда сначала спор был: он сначала-то не сообразил, что уж нечего, надо покориться, чтобы не вышло больше срама, поупрямился было: не я подкидывал, не беру. Да скоро образумился: взял, понес. На часть принес, там отдал, на их содержание, приставу в наказание, что за порядком не смотрит. И справедливо».

Ни фамилии, ни даже имени и отчества этого преемника Алексея Давыдовича я не помню: видно, он не выдавался ничем особенным, сливался в ряду предместников и преемников своих в общем прозвании по должности. Но как бы ни была его фамилия, а ясно, что эпоха, обозначаемая этим его приключением, в моей истории Саратова соответствует временам Регента и Людовика XV в обыкновенной истории Франции. И последующий ход событий совершенно одинаков: как во Франции, так и в Саратове, через несколько времени после того, явились необычно-

венные патриоты, приносившие все в жертву на алтарь отечества и потому называвшиеся Брутами; саратовский Брут принес в жертву родного сына, что, по мнению обыкновенных историков, большая редкость, а по-нашему, по-саратовскому, не трудная, но все-таки ловкая штука. Но и у нас в Саратове, как во Франции, подвиги Брутов оказались недостаточны для спасения отечества, и понадобился военный диктатор для прекращения грабежей. Как и во Франции, этот спаситель народа носил титул, совершенно различный от титула прежних правителей: саратовским диктатором сделался полицеймейстер, — отставной подполковник или полковник Попов, вызванный в Саратов необходимостью времени из Волгска. Это был человек твердый, умный, безусловно честный, и, действительно, Саратов обязан ему прекращением разбоев по улицам, — это один из почтенных людей, которых саратовцы вспоминают с признательностью. Но его диктатура относится уже к временам другого поколения, — временам поколения, следовавшего за поколением, к которому принадлежала моя бабушка и ее сестры.

13

О Прасковье Ивановне я знаю только по слухам, и не слышал о ней ничего памятного мне, кроме этого анекдота да того, что она была женщина очень добрая, красавица лицом. Но Анну Ивановну я не только помню, — она была, после моих домашних, самым важным для меня лицом нашего семейного круга не только в моем детстве, — и в моей молодости. Жизнь ее самой, как и других ее сестер, не имела ничего романического. Но она была, как и моя бабушка, женщина с сильным характером, очень неглупая, и потому имела много влияния на судьбу многих других, как старшая родственница или уважаемая советница. Из этих дел стоит припомнить очень многое. Например, четыре или пять из числа свадеб, устроенных ею, были любопытны по судьбе повенчанных лиц или по своей оригинальности. Еще больше материалов для рассказа найдется в историях людей, которых я знал через нее: у нее был свой дом; оставшись вдовою, она приютилась в одной комнате, остальной дом отдавала в наем и жила этим небольшим доходом, — рублей 450 ассигнациями; по тогдашнему времени, одной можно было жить на эти деньги без нужды. Постояльцы, — иногда люди уже вовсе светского саратовского общества, — вообще близко знакомились с нею, очень часто руководились ее советами, почти все рассказывали ей всё, что было на душе; многих из них и я видел часто и близко, потому что мы нигде не бывали так много, как у нее. Ее время делилось на три равные доли: одну треть она проводила у своих племянниц, дочерей той сестры, о которой я ничего не знаю, и у

прабабушки, жившей вместе с семейством, оставшимся у ПраксковиИ Ивановны, — больше в доме тех племянниц, которым почти заменяла мать; другую треть она проводила у нас; остальную треть — дома. Когда она бывала дома, ни одного, я думаю, дня не проходило без того, чтобы не сидели у ней эти родные, — бабушка, ее дочери, племянницы и их семейные; и я в том числе. Поэтому я не только слышал о ее постояльцах, а и сам видывал их близко.

Поэтому в отделе воспоминаний, связанных с лицом или домом Анны Ивановны, будет у меня очень много историй. Но это будет в моих полных мемуарах. А здесь я скажу лишь два-три слова о ней самой.

Она любила шутку и часто шутила недурно. Между прочим, она угостила при свидетелях отваром березовых с липовыми листьяв одного тонкого знатока чаю, действительно нашедшего этот отвар прекраснейшим чаем. Это было еще при жизни ее мужа, Федора Осиповича Цибулевского, и еще в то время, когда он был священником не в Саратове, а в огромной Покровской слободе, населенной малоруссами.

Проживши между малоруссами несколько лет, Анна Ивановна умела хорошо говорить по-малорусски, знала несколько малорусских песен, любила малорусскую жизнь.

Я говорил, что и в 40 лет, — сколько было ей, когда начинается моя память — она была еще хороша собою. Но, как очень многие женщины, действительно красивые, — сколько я могу судить по личным воспоминаниям: как большинство женщин, действительно красивых, — она вовсе не гордилась и в молодости тем, что она хороша собою, и сама всегда указывала лица, которые казались ей красивее, чем ее собственное; хорошенькие женщины, если они не очень дурного сердца, любят любоваться не на себя одних, а также и на других; некоторые — по моим личным воспоминаниям, многие, и самые хорошенькие — даже не очень любят любоваться на себя, даже не находят себя красивыми, — им кажутся красивыми женщины другого характера красоты. Такова была — и в молодости — Анна Ивановна. Она была блондинка; она находила, что брюнетки красивее блондинок; она не употребляла этих имен, — она выражалась так: «что наши русские — вот хохлушки, точно, красавицы». — Но именно поэтому сами хохлушки находили ее первую красавицею в своей Покровской слободе: «нет такой хорошенькой (гарной), как наша попадья». И вот их попадья любила рассказывать следующий разговор:

Покровская слобода — против Саратова, на другом берегу Волги; только широта реки мешает назвать эту слободу предместьем города; но каждый день сотни народа оттуда перебивают в Саратове. «Вот, — рассказывала Анна Ивановна, — однажды я приехала в Саратов и пошла в лавки. Стою в лавке, — слышу

у дверей разговор: две хохлушки проходили мимо и остановились. — «Ведь это наша попадья», — говорит одна. — «Нет, — говорит другая: — не она». (Это легко объясняется тем, что купцы старались тогда устроить так, чтобы в лавке было темновато, и очень темновато: так лучше для торговли; но зато покупательницы и покупщики, когда уже выберут кусок материи, идут с этим куском вон из лавки, рассматривать его на полном свете.) «Нет, это она», утверждает одна хохлушка. — «Не она», стоит на своем другая. — «Как же не она? Как есть по всему, она», говорит та. — «А все-таки не она: наша попадья хорошенькая (гарна), а эта — дурна собою (погана)». — «Ну так что ж? Когда она одна (то есть блондинка между нами, брюнетками), то гарна, а когда с людьми (то есть с другими такими же блондинками), то погана». — Анна Ивановна очень любила рассказывать этот анекдот, и «как одна, то гарна, а как [с] людьми, то погана» было у нас в разговорах присловьем против всяких претензий, которых так много на провинциальном безлюдье.

14

Я не хотел рассказывать здесь ничего из тех моих воспоминаний, которыми я обязан Анне Ивановне. Но вижу, что можно уж и теперь, не отлагая до поздних годов, напечатать одну страницу из этих многих страниц. Для соблюдения беспристрастности во впечатлении, которое желал бы я оставить в читателе этими отрывками, недурно будет выставить против портрета мифологической личности Антона Григорьича истинно человеческое лицо: не надобно останавливаться на одинаковости слов, произносимых людьми, — одно и то же слово употребляется людьми, не привыкшими к анализу жизни, для обозначения явлений, далеких друг от друга, как вздор и дело, ложь и истина, дрянь и идеал. Например, слова: «подвижничество», «аскетизм», «спасение души».

Я не видел сам эту девушку. Ее подвижничество кончилось в первые годы моего детства. И мои семейные очень немного раз видели ее и сами ничего не знали о ней, кроме внешности ее подвижничества. С нею была знакома только Анна Ивановна и три-четыре раза припоминала о ней, когда уж давно перестала она являться в церквах Покровской слободы, где Анна Ивановна и познакомилась с нею.

Тогда этой девушке было лет 25, — может быть, 30, но едва ли, и она подвижничала уже давно. Высокого роста, крепкого сложения, видная собою, она только по страшной крепости здоровья могла несколько лет выносить такой подвиг. Крестьянский холст очень толст; потому она в своей длинной рубашке с длинными рукавами, с высоким воротом, застегнутым на горле, была

одета не меньше, чем всякая другая женщина, идущая по улице. Но она круглый год, — и осень, и зиму, — была одета только этою рубашкою, ходила и босая и с непокрытою головою. Она каждый день стояла в церкви, то в той, то в другой, в Покровской слободе, в Саратове, все три службы: заутреню, обедню, вечерню. Как видите, ходила большие пространства по улицам, ходила через Волгу по льду, — это верст 5; ходила и по соседним селам, — она любила менять церкви, потому что избегала быть замечаемою: в новой церкви не очень скоро догадаются, что она стоит на босых ногах, и что она так пришла в рубашке, а не сняла с себя в церкви тулуп. Когда забудут, — если станут заниматься ею, она перестанет ходить в эту церковь; начнет опять являться в ней, когда забудут. И точно: она не была предметом особенного внимания; о ней очень мало говорили, — не очень многие даже и слыхивали о ней.

Ходить так при саратовском климате, — у нас почти каждую зиму бывает раза два, три не одну неделю сряду от 20 до 25 градусов мороза; прибавьте, что трескучий мороз в Поволжском краю — не как во многих других, не смотрит на ветер: бывает и при сильном ветре, ему все равно. И она ходила круглый год в одной рубашке, босая, с открытою головою, — это ужасно. Но еще ужаснее, — говорила Анна Ивановна и говорила правду, — еще ужаснее подумать, что она стояла точно так же в нетопленных наших церквях, на каменном полу, в иных церквях и на чугунном — стоять так всю обедню — у иного священника это и по будням составляет полтора часа, — всю заутреню, — два, два с половиною часа и по будням у иного священника, — страшно. Она стояла как вкопанная. Но в слишком большие морозы на чугунном полу не могла выстоять службу, не перестановившись с ноги на ногу, — в это время видно было, говорила Анна Ивановна, что она опрется телом то больше на правую ногу, чтобы левая подошва легче прикасалась к чугуну, то на левую, когда правая уже не могла выдерживать; — и на лице ее в такие службы было видно страданье. Кажется, именно по одному из таких стояний в самый сильный холод на чугунном полу и познакомилась с [нею] Анна Ивановна: отвела ее к себе домой после службы, заставила вытереть ноги вином.

Так она провела несколько лет. Что перед этим даже те ужасные страдания девушки, которая приезжала с обеда к Матильде Карловне Трёдер с решимостью возвратиться к закуске, — страдания, мысль о которых ужасала пожилую, опытную акушерку, — и даже эта сила воли: «я буду хозяйничать за закускою» — и хозяйничала. То было несколько часов, это было несколько саратовских зим.

Эта девушка, знакомая Анны Ивановны, возложила на себя и другой обет: она молчала. — Анна Ивановна узнала ее историю, встретив женщин из ее родного села, какого-то не очень

дальнего от Саратова, на правой, саратовской стороне Волги. Девушка была не хохлушка, а русская и во время своего подвига жила большею частью, кажется, в самом Саратове. История ее не романична — и очень немногосложна.

Она и сестра остались сиротами из очень небедной крестьянской семьи. Она в это время была уже не маленькая девочка, была девушка умная, деятельная, хорошо взяла хозяйство и сохранила его в хорошем виде. Итак, она и ее сестра были завидные невесты. Но сама она решила, что останется девушкой: ее характер был независимый, и она привыкла быть сама себе глава, — не хотела итти под чужую руку. Но когда подросла младшая сестра, она заботилась выдать ее замуж: сестра не была такая, не созданная для подчинения мужу, как ведется по обычаю сельского быта. Стал сватать ее сестру жених, о котором все говорили с похвалою; и ей он показался умным, деятельным человеком. Но младшая сестра говорила: «сама не знаю почему, я боюсь его; в нем есть что-то страшное». Она приняла это за ребячество и стала уговаривать сестру; говорила она хорошо, умно; младшая сестра очень уважала ее — и согласилась. Но муж вышел негодяй и жестокий человек, истиранил и скоро забил в гроб свою молодую жену. Тогда-то эта девушка, мучимая раскаянием, что погубила сестру своими убеждениями, наложила на себя обет молчания и свое страшное наказание.

Она выносила его несколько зим. Это невероятно. Но скоро свалилась. Руки и ноги ее, давно пораженные ревматизмом, наконец, перестали служить ей. Она лежала несколько времени в мучительнейших страданиях; но, кажется, недолго. Она умерла еще в молодых летах.

15—108

Это все после, когда можно будет напечатать; — вероятно, скоро: дела и люди поколения моей бабушки и сестер — дела и люди давних времен.

349

Этот купец, умнейший человек саратовского купеческого общества, раза два-три по несколько недель пил каждое утро, перед чаем, стакан рома. В остальное время он не брал вина в рот. Стакан рома поутру он пил, когда чувствовал позыв к запою; этим он избавлялся от своей болезни. Уж из этого понятно, что такое запой. Но еще яснее видно это из истории Ивана Яковлевича Яковлева.

Когда я — в следующей части моих мемуаров — буду рассказывать историю моих старших, много страниц там будет занято рассказом о долголетних страданиях моей матушки от боли, центром которой был правый бок. Для его освобождения от нароста, производившего это мучение, надобно было сделать опе-

радию. Но это было еще до переселения в Саратов того медика, зятем которого я впоследствии сделался, и до приезда в Саратов Николая Фомича Троицкого. До этих двух медиков в Саратове не было хороших хирургов. Операция была страшна тем, что если рука оператора даст не совсем верное направление разрезу, то больная умирала через несколько минут. При верном направлении ножа операция не имела ничего опасного: она состояла только в том, чтобы сделать разрез. Саратовские медики лечили припарками и успокоительными втираниями. Так прошло лет 8 или 9.

Верстах в 45 или 50 от Саратова, на Аткарской дороге, стоит «Мариинская колония», населенная сиротами из Воспитательного дома. Тогда, в 1830-х годах, она имела свое особое управление, больницу; при больнице были медик и фельдшер. Один из фельдшеров был человек бойкий, деятельный, мастер говорить. Благодаря доброму расположению управляющего колониею и медика, он мог очень часто ездить в Саратов и приобрел там некоторую практику. — Услышав о болезни моей матушки, он явился к нам, убедил матушку испытать, не помогут ли ей его лекарства, — медики не помогали и, очевидно, сами не знали, что делать с болезнью матушки, — она решилась испытать искусство фельдшера, который и действительно знал больше многих тогдашних медиков. Он дал ей очень сильное успокоительное втирание, боль заглохла на несколько времени, — он сказал: «вы видите, я понял вашу болезнь, и ручаюсь, что вылечу ее. Но лечение займет несколько недель, требует ежедневного моего внимания. Поэтому вам надобно переехать к нам в колонию». — Священник Мариинской колонии был брат одного саратовского священника, жену которого очень любила моя матушка. Поэтому мариинский священник и его жена, узнав о намерении фельдшера, предложили матушке поселиться у них в доме (наемной квартиры нельзя бы найти в колонии). Они и фельдшер настойчиво убеждали матушку ехать в колонию; фельдшер говорил, что, собственно, лечить будет он, но что для формы он пригласит и своего начальника, медика Мариинской больницы. Священник говорил, что мариинский медик очень хороший врач. Матушка решилась. Мой батюшка поехал с нею проводить ее, взглянуть, как она устроится в доме мариинского священника, как начнется лечение. Потом он должен был вернуться назад: ему нельзя было надолго отлучаться из Саратова. Матушка взяла с собою меня.

Когда мы приехали, фельдшер прямо сказал моему батюшке: «Эта болезнь не по моим силам. Я убедил вашу супругу приехать сюда не затем, чтобы самому лечить ее, а затем, чтобы наш медик не мог отказаться от лечения. Вы знаете, он человек одинокий, живет очень скромно, жалованье у него большое; он очень кроткий человек; если бы он стал искать практики, саратовские медики косились бы на него; он не желает делать неприятностей

никому. Поэтому он с самого приезда своего сюда решил не иметь никакой практики — и не имеет. Он не лечит никого даже из соседних помещиков. Теперь ему нельзя будет отказаться, — просите его».

Мой батюшка отправился к медику. Медику очень не хотелось отступить от правила, которое он соблюдал уже лет 15. Но делать было нечего. Больная приехала лечиться к нему без его ведома, — она уже здесь, в двух шагах от его квартиры при больнице, — ждет его визита, — отказаться нельзя, — мой батюшка, человек тоже уж почтенных лет, как и он, даже старше его, упрашивал его, целовал его, тащил за руку, — он пошел.

Это было уже к вечеру короткого декабрьского дня. Медик исследовал больную — и увидел, что отказываться нельзя: очевидно, болезнь требует операции; саратовские медики лечат уже несколько лет припарками и втираньями, — но и самый неопытный из них не может не видеть, что необходимо разрезать опухоль, которая не уступит ничему, кроме ножа; следовательно, они не могут сделать этой операции. Он может; отказаться нельзя. «Нужна операция; ныне нельзя, уже темно; завтра потру сделаю; не бойтесь, операция не опасна».

На следующее утро он сделал операцию. Она не была трудна, нужно было только сделать разрез, — но разрез почти до самой кости, длиною в целую четверть, — это требовало очень твердой руки, чтобы нож не коснулся кости и не перерезал какую-нибудь артерию. Он сделал разрез правильно. Но разрез был велик, его заживление требовало большой внимательности. Медик был заботлив, навещал больную по два раза в день, — дней через шесть сказал моему батюшке: «Теперь критическое время уже прошло, можете быть спокоен; можете ехать в Саратов; приезжайте через месяц за вашею супругою, она уже будет здорова и может ехать домой». — Так и было. Он избавил матушку от страданий, и через месяц мы уехали в Саратов.

Но когда он, сказав моему батюшке, что всякая опасность миновалась, дал ему разрешение ехать в Саратов и ушел, — наши хозяева, священник и его жена, сказали: «Ну, слава богу! Теперь хоть и не выдержит, начнет пить, то уже не беда. Он обещался, что удержится, но все-таки и сам он, и все мы, — управляющий, его сестры, все наши чиновники, — все очень боялись, что у него не достанет характера. И сам он как опасался за себя!» — Не только матушке, — и моему отцу до сих пор не сказывали, что в эти дни — около 20 декабря — медик впадает в запой и пьет месяца полтора. Но он сам велел всем молчать, сказавши, что, наверное, будет в силах одолеть свою болезнь. И действительно, одолел. Эта зима прошла для него без запоя.

Он, впрочем, едва ли догадался тогда и сам, что не исключительно обязанность совести удержала его от запоя. Но понятно

или нет было это ему тогда, я после понял это, вспоминая его разговоры.

Вот что говорил он: операция была немногосложна. Но такой важной операции ему еще не представлялось. Она, по его мнению, имела ученый интерес. Он толковал, что надобно описать ее и напечатать описание. Он рылся в своих книгах и не находил подобного случая.

Он ожил от своей летаргии, потому и запой не явился.

И точно: все находили, что Иван Яковлевич никогда не был так бодр и весел.

Мне было тогда 10 лет; поэтому я не могу судить, был ли [он] человек очень высокого образования. Но все-таки он был человек действительно ученый. Священник Мариинской колонии рассказывал, что он любил геологию, — когда они бродили вместе по полям, Иван Яковлевич собирал камни, копался в обрывах речки, в оврагах. Мне помнится, что у него были иностранные книги; что книг было много: они даже стояли вдоль стены одной из его комнат, на полках, — я еще и не видел, что книг бывает так много и что они помещаются таким образом.

Но, как бы то ни было, ученый или неученый, высоко или невысоко образованный человек, Иван Яковлевич, очевидно, был человек все-таки уже не такого образования, не с такими умственными потребностями, как патриархальное общество Мариинской колонии. Это общество не знало ни о существовании журналов, ни о чем подобном. — Понятно, что такое был запой Ивана Яковлевича: меланхолия от летаргического характера жизни, — меланхолия, развившаяся до физической болезни. Вот, собственно, это и есть настоящий запой: болезнь, происходящая от меланхолии, развиваемой летаргическим характером жизни в людях, которым была бы нужна жизнь менее сонная.

Там, в Мариинской колонии, — и в Саратове, когда в Саратове стали несколько говорить об Иване Яковлевиче, — никто не понимал запоя таким образом. Но все-таки все жалели о том, что Иван Яковлевич страдает такую болезнью. Его все любили: у него был ангельски-кроткий характер; ни [от] одного человека я не слышал ничего, кроме похвал ему.

Он был уже давнишний человек в Мариинской колонии; все привыкли видеть его живущим так, как он живет; привыкли и к его запою, и ко всему. Он уже не был предметом рассуждений.

Но теперь это переменялось. Иван Яковлевич сделал операцию, которой не могли сделать саратовские медики. О нем говорил Саратов: конечно, не очень много, — потому что моя матушка не была дама из высшего саратовского круга, и все наше семейство несколько не принадлежало к обществу саратовской знати. Но все-таки наша фамилия знакома всякому в Саратове; когда моя матушка спасена была от своих страданий, то все-таки каждому и каждой в саратовском обществе случи-

лось услышать то, что вот она долго была больна, все медики пользовали ее безуспешно, мариинский доктор спас ее. Он не сделался громкою знаменитостью в Саратове; но очень многие запомнили его имя; некоторые стали советовать трудным больным обращаться к нему. Моя матушка еще жила в Мариинской колонии, когда приехал туда другой больной к Ивану Яковлевичу, — и с той поры пациенты из Саратова не переводились в Мариинской колонии.

Сколько я могу сообразить теперь, это было довольно мало замечаяемо в Саратове: я в следующие годы не слышал, чтобы помнили об Иване Яковлевиче; значит, и тогда мало говорили о нем. Саратов велик; ему есть чем заниматься. Но не могло так обойтись дело в Мариинской колонии. Ее маленькое общество, состоявшее из пятнадцати, двадцати человек, получило новый материал для разговоров; Иван Яковлевич стал его гордостью, славою. И оно занялось Иваном Яковлевичем.

Оно и прежде уже давно жалело о нем. Теперь сожаления подновились, усилились. Надобно как-нибудь помочь бедному Ивану Яковлевичу.

О нем жалели потому, что он пил запоем. Но не по одному этому: еще более было жаль, что он, такой добрый и благородный человек, находится в дурных руках. Рассуждая об этом втором прискорбном обстоятельстве, приходили к мысли, что едва ли не в нем надобно видеть и причину его несчастной болезни; а во всяком случае оно составляет препятствие тому, чтобы он мог избавиться от этой болезни.

С давнего времени у Ивана Яковлевича жила экономка или кухарка, — она называла себя кухаркою, но другие чаще называли ее экономкою, — крепостная девушка какой-то помещицы из довольно дальней от Саратова губернии. Говорили, что эта женщина уже давно имела очень дурной план, — но если она имела его, то люди, уважавшие и любившие Ивана Яковлевича, успели тогда расстроить ее замысел.

Много лет тому назад, вскоре после того, как эта женщина поселилась у него, Иван Яковлевич написал к ее помещице письмо, в котором просил ее назначить, за какую сумму она согласна отпустить на волю свою крепостную девушку, находящуюся в услужении у него. Очень может быть, что помещица и сама поняла бы, в чем тут дело; но ей и не пришлось трудиться над разгадыванием письма Ивана Яковлевича: смысл дела был объяснен ей другим письмом из Мариинской колонии. Я не знаю, рассказывал ли сам Иван Яковлевич своим приятелям о том, что хочет выкупить свою кухарку или экономку, — вероятно, рассказывал; но если не рассказывал он, говорила об этом она. Его друзья поняли ее хитрость.

Иван Яковлевич получал хорошее жалованье; жил очень скромно; большая часть жалованья оставалась у него сбережена;

он вносил ее в ломбард. Таким образом у него составилась капитал в несколько тысяч рублей серебром. Притом же он уже и дослужился до дворянства, и человек уважаемый, — ясно было, что кухарка или экономка хочет сделаться барынею. Друзья Ивана Яковлевича решили: не допустить ее до исполнения такого замысла; и один из них написал помещице письмо, в котором разъяснял дело: дрянная женщина, успевшая подчинить себе волю доброго и прекрасного, но слабого человека, желает спутать его с собою такою цепью, которой ему уже нельзя будет сбросить с себя, когда он увидит, что надел на себя тяжелую цепь. Сделавшись его законною женою, она делается деспоткою и будет мучить его. — Поэтому автор письма умолял помещицу не соглашаться на просьбу Ивана Яковлевича.

Я слышал, но позабыл фамилию того друга Ивана Яковлевича, который написал это письмо; помню только, что все другие совершенно одобряли его, и что он руководился, действительно, желанием добра Ивану Яковлевичу, — ничем другим. Все мариинское общество, искренно любившее Ивана Яковлевича, находило, что письмо это было необходимо; потому я никак не осмелюсь порицать лицо, бывшее тут лишь выразителем общего желания. Имя помещицы я также слышал и также позабыл. Она поступила очень благородно. И без объяснительного письма нетрудно было бы ей отгадать отношения между ее крепостною девушкою и медиком, не бедным человеком, который желает выкупить эту служанку. Она могла бы потребовать больших денег. А получив объяснительное письмо, она не могла не видеть, что медик находится в совершенном подданстве у своей служанки, и отдаст за ее освобождение все, сколько имеет. Помещица нимало не обольстилась этим: она положительно отвечала Ивану Яковлевичу, что не отпускает на волю девушку, находящуюся в услужении у него. Это было благородно. Еще больше видно благородство помещицы из того, что она нисколько не воспользовалась своими сведениями для увеличения оброка. Когда мы жили в Мариинской колонии и после того, кухарка или экономка Ивана Яковлевича продолжала платить своей помещице обыкновенный оброк, очень небольшой, — рублей 15 или 20 ассигнациями. Помещица была, очевидно, хорошая женщина.

Ее отказ расстроил честолюбивые планы экономки, — если экономка имела их; а очень вероятно, что «действительно» друзья Ивана Яковлевича не ошибались, что тотчас по получении отпускну Ивана Яковлевич повенчался бы на своей экономке. — Но так это или нет, во всяком случае это было дело прошлое, давнишнее, и когда Иван Яковлевич стал гордостью мариинского общества, давно уже перестали заниматься тем, что он находится под властью своей экономки, — к этому присмотрелись, на это махнули рукою. — Но теперь, когда Иван Яковлевич стал предметом нового внимания для своих мариинских друзей, возобно-

вились их размышления о том, что он находится во власти своей экономки, которая заедает его жизнь.

Я видел ее раза три, бывая в гостях у Ивана Яковлевича. Кажется, не один раз я видел ее и в доме священника, у которого жили мы с моею матушкой: экономка приходила с поручениями от Ивана Яковлевича к нашим хозяевам или к моей матушке. Впрочем, этих ее посещений я не помню хорошенько, — не помню, конечно, потому, что тут нечего было заметить. Я помню только ее наружность, то, как она одета была и как держала себя в квартире самого Ивана Яковлевича. По впечатлению, какое она делала тут, где чувствовала себя хозяйкою, можно судить о ней. Но еще важнее то воспоминание, которое оставили во мне многие и многие часы, проведенные мною в разговорах со старым солдатом, который служил работником у нашего хозяина, священника: он бывал в наполеоновских войнах и в польской кампании, — и я очень часто сидел в кухне, слушая его; а он говорил, разумеется, не со мною одним, а и с служанкою, и с разными своими гостями; да и собственно со мною говорил не все только о своих походах. Само собою, что на этих кухонных вечерах и утрах я слышал закулисную историю всего бывшего в Марининской колонии.

В то время, как я видел ее, она была уже очень немолода и некрасива; и черты лица ее были такие, что без всякого сомнения она и в молодости была некрасива, — даже очень некрасива. Наверное: таких некрасивых едва ли встретишь и один десяток из сотни. Но, впрочем, не особенно безобразна. Фигурка ее была маленькая, тоже невзрачная; худощавая, но не живая, вялая. Одевалась она вовсе не щегольски, — как простая кухарка, которая не терпит такой нищеты, чтобы ходить в лохмотьях. Вот это уж рекомендовало бы ее: при добродушии Ивана Яковлевича она, разумеется, могла наряжаться как ей угодно. Рекомендовало ее и то, что она вовсе не лезла выставляться хозяйкою: она встречала священника, с которым я приходил в гости к Ивану Яковлевичу, отвечала на вопрос, дома ли он, и, отворив дверь в зал к нему, уходила в кухню; когда входила в зал, где мы сидели, то входила, как служанка, и без скромничанья, и без претензий, — подавала угощение или говорила, что надобно было сказать, и опять уходила.

Из этого я вижу теперь, что она была женщина смиренная, без всяких амбиционных притязаний, и что она вовсе не держала Ивана Яковлевича под своим ярмом, хоть не было ничего легче, как забрать в руки такого простодушного, смиренного, кроткого человека.

Еще вернее видно это из моих сидений в кухне наших хозяев. Солдат, главный мой собеседник, и остальная кухонная компания говорили обо всем и обо всех. У меня не осталось в памяти ничего, говоренного ими об экономке Ивана Яковлевича; значит,

они или вовсе ничего не говорили о ней, или не говорили ничего важного. Если бы они, например, хоть раз бранили ее или смеялись над нею, я запомнил бы это. А они, натурально, меньше всяких других судей расположены были на снисходительность к женщине, счастье которой не могло же не казаться завидным. — Прибавлю еще вот что: ни в кухне нашего хозяина, ни в мариинском обществе не говорили, что у ней есть деньги, — а наверное я слышал бы это сто раз, если бы у ней была хоть тысяча рублей ассигнациями. Нет, никто из общества, которое все было против нее, не называл ее корыстолюбивою. А если бы она была не только корыстолюбива, а хоть сколько-нибудь заботлива о себе, ей не было надобности ни обманывать, ни хитрить, — стоило бы намекнуть, и Иван Яковлевич сказал бы ей: «да, как же сам давно не отдал тебе в руки на всякий случай». У него был такой характер. Но видно, что ни ему, ни ей не приходило это в голову.

Судя по всему этому, я не умею сказать: думала ли она когда-нибудь повенчаться с Иваном Яковлевичем. Очень может быть, что у ней не было даже и этой мысли.

Но, разумеется, он повенчался бы с нею; может быть, он и сам не думал об этом, когда хотел ее выкупить, — может быть, он ясно имел тогда только ту мысль, что надобно же выкупить ее. Соображая свои воспоминания, я думаю, что именно это вероятнее всего: разговоров о свадьбе у них не должно было быть, — вероятно, и отчетливых мыслей не было. Но, без сомнения, повенчались бы через несколько времени по ее освобождению.

В этом смысле друзья Ивана Яковлевича не ошибались. Свадьба вышла бы сама собою из выкупа, хоть бы экономка и не имела этого в виду. Но если имела, как полагали тогда друзья Ивана Яковлевича, тем больше надобно сказать, что она была женщина смиренная и добрая: я не слышал, чтобы она сердилась и жаловалась кому из них или их посылуге на свою барыню.

Видно, что дело было так: Иван Яковлевич привязался к некрасивой девушке именно потому, что она была по его характеру, тоже смиренная.

Они жили, уже никого не занимая тем, как там они живут. Давно все бросили думать об этом.

Но вот теперь начались разговоры об Иване Яковлевиче, какой он превосходный медик, и что из этого следует, — поговорив об этом, все друзья его увидели, что — почему же, в самом деле, не жениться бы ему? — Гораздо лучше было бы ему жениться; да, следует ему жениться.

Если бы я не был в глубине моей души человек старинного века, человек самых старомодных привычек самого ветхого захластья, я тоже чувствовал бы некоторое влечение пожать плечами от такого вывода друзей Ивана Яковлевича, как чувствует это влечение почти всякая и всякий из читающих эти страницы. — Иван Яковлевич уже более 15 лет служил медиком, — медики

тогда — в 1820-х годах — кончали курс вообще в очень солидных годах; — Ивану Яковлевичу, вероятно, было около 40 лет, — должны думать читающие: в таких летах человек очень может не считаться женихом. — Все это так; а еще больше, если бы вы видели Ивана Яковлевича! — У него была уже совершенно стариковская осанка и манера; — эта осторожная медлительность движений человека, уже не полагающегося на твердость своей поступи, уже привыкшего беречь силы мускулов, устающих от всякого быстрого жеста; его лицо уже получило эту стариковскую белизну, бледноватую и слишком ровную. А как он одевался! — а какая была у него прическа! — я не знаю, как он распорядился своим гребнем, и откуда он заимствовал идею о том, что надобно так распорядиться им, — и не знаю, по каким направлениям приглаживал он свои волосы, — потому что не мог же причесывать себя по моде 1770 года, — тогда были парики, а он не носил парика, — но он был решительно подлинник, с которого рисовались портреты стариков в 1770 году. Сколько лет было ему, я не помню с совершенною точностью, но знаю, что он был моложе моего отца, которому было тогда 45 лет; они считались годами, это я помню; — но по фигуре, по лицу он казался старше моего отца. По виду ему всякий дал бы 50 лет. — И при этой осанке, походке, этом лице, этой прическе — характер курицы. — Как же вздумать о таком человеке, как о женихе?

А вот, спрашивайте же: как? — это смешной вопрос; это вопрос, идущий к той жизни, как шел бы к ней парижский салонный разговор, — даже меньше. Но что об этом говорить! Если в вас есть чувство стародавней провинциальной жизни, вы чувствуете, что это так: Иван Яковлевич имеет хороший чин, получает хорошее жалованье, имеет деньги в ломбарде, — как же ему не жениться? Что ж он, в самом деле, не женится? Ему следует жениться. Если вы не чувствуете этого, вы почти не русский; я, по правде сказать, даже сочувствую этому. — я не хуже вас понимаю, что это нелепо, — но я замечаю, что в глубине моей души еще живет сочувствие к этому.

Не предположите ли вы, что эта мысль «ему следует жениться» возникла по поводу чьего-нибудь желания пристроить какую-нибудь невесту? — Нет, тогда это не был бы характеристический случай. Нет, ни у кого из друзей Ивана Яковлевича не было в виду никакой невесты для него. Само по себе, независимо от всякой невесты, очевидно было для всех, что ему следует жениться. Когда все согласилось в этом, стали думать: а где же взять невесту? — Думали, думали: ни у кого нет на примете никакой невесты. Так на том и остановились: надобно искать невесту; это ничего, невесту можно будет найти; как не найдись невесте! — Что об этом думать, найдется. На этом и остановились: поискать, то найдется.

Не в этом затруднение, — невеста найдется, — затруднение

в том, что Ивана Яковлевича нельзя уговорить искать невесту, пока у него живет эта экономка. О невесте еще успеют позаботиться, — а прежде всего надобно избавить его от экономки.

И что ж вы думаете? — опять было послано письмо к помещице, такое: связь с вашею крепостною девкою спутала человека, мешает ему составить приличную партию; спасите его от этой экономки, вызовите ее к себе.

Я не помню фамилии человека, писавшего это письмо; помню только, что он был один из второстепенных чиновников Мариинской колонии и друг Ивана Яковлевича. Да его фамилия и не важна; он, — не знаю, тот ли самый, который послал первое письмо, или другой, — он был только исполнителем общего желания.

И не подумайте, что я только делаю отговорку этими словами: «не помню его фамилии», — нет, мне не для чего было бы скрывать ее. Понимаете ли вы, что отправление письма не было дурным делом? — Пока вы не поймете этого, вы малютка в понимании жизни, — хоть бы вам было 150 лет от роду, хотя бы вы имели репутацию величайшего интригана или величайшей интриганки, хоть бы вы были порочны и циничны, — все равно, вы малютка в понимании жизни, если не понимаете, что отправление этого письма было делом благородных побуждений, — это ужасно, вот это ужасно. Добро и зло, благородство и низость — все подводится одинаково под один уровень: «дикая нелепость» — да. Это страшно, — то есть для тех, кому этот взгляд нов. А по привыкнув к нему, почувствуете, что тут, — в этом выводе, перед которым теряют всякую силу все другие страхи, как всякий шум заглушается громом, — что в этом выводе нет ничего страшного, — что он, сначала оледенив вас, пробуждает теплоту в вашей груди, когда она по привыкнет носить его в себе: вы от него получаете силу и бодро, и спокойно, и снисходительно, и смело смотреть на все, на все, и не колебаться никогда, ни в каких столкновениях жизни.

Потому что не все в жизни подходит под этот уровень, — и то, что не подходит под него, то не дурно и не шатко; — $2 \times 2 = 4$, — сомневайтесь, если угодно, — и не можете усомниться. Таких простых и твердых истин не очень мало, — земля обращается вокруг солнца; желудку нужна пища, — мало ли таких истин? — и их совершенно достаточно для человека, умеющего понимать их значение в жизни.

Помещица, получив письмо, очевидно, писанное с добросовестным желанием добра человеку, очевидно, достойному, звала свою крепостную девушку. Она опять поступила очень благородно. Очевидно, что эта девушка не была пригодна для нее ни на что, если она отпустила ее ходить по оброку; и, живши в таком независимом положении столько лет, эта экономка не годилась ни для какой службы. Помещица не только лишала

себя оброка, — брала на свое содержание женщину, которая будет даром есть ее хлеб.

Я не знаю, как шла потом жизнь бывшей экономки, и тяжела ли ей была эта перемена, — вероятно, очень тяжела, — но, разумеется, о ней не было никаких слухов. А Иван Яковлевич был совершенно расстроен; тосковал, тосковал, — и однажды слуга, вошедши к нему поутру, увидел его лежащего с перерезанным горлом; слуга побежал за фельдшерами, фельдшера нашли Ивана Яковлевича еще дышащим, сделали все, что должно, — рана оказалась не смертельна, — через несколько дней Иван Яковлевич уже сам помогал своим помощникам залечивать ее. Скоро он выздоровел; опять занялся больницею, больными; говорил, что очень доволен, что ему не удалась попытка зарезаться, что она теперь смешна ему самому, — бывал попрежнему в гостях, — приезжал в Саратов, — был у нас, — и я сидел тут же, смотрел: ничего, — наши говорили мне потом, что, действительно, не было заметно ничего показывающего отчаяние или даже печаль; — но через два-три месяца после этого свиданья с ним он опять перерезал себе горло, и на этот раз уже смертельно.

350

Вообще, не злые люди, а хорошие, добрые бывали причиной большей части тех бед, свидетелем или слушателем которых был я в детстве. И делались эти беды почти всегда не по дурному умыслу, а вовсе без умысла или с хорошими намерениями. — Люди тогда были в Саратове — как всегда везде — очень недурные в общей массе своей, а на всякого дурного приходились десятки очень хороших людей.

Какова была жизнь? — об этом каждый может судить по своему, мое мнение — что ж мое мнение? — ваше собственное гораздо важнее; а впрочем, писатель пишет затем, чтобы так или иначе, скрыто или явно, выражать свое мнение; я не имею особенной надобности проводить мой взгляд на жизнь только скрытым образом. Вот мой взгляд.

В 1851 году, в самом конце зимы, я отправлялся из Петербурга в Саратов. Нашлись попутчики, — двое, — приятели между собою. У одного была порядочная зимняя повозка. Это очень порадовало меня. Мы поехали. В одном [из] попутчиков я нашел величайшего добряка; другого я и прежде знал за отличного человека. Дорогою мы вовсе подружились, и мы ехали, очень довольные каждый обоими остальными, занимаясь всякими рассказами и шутками. Я сидел, — то есть лежал в спокойном повозочном положении, — с правого края; двое приятелей — в таком положении — один посредине, другой на левом краю повозки. Так мы ехали и ехали, весело болтая. Стал выпадать

маленький снежок. Мы застегнули фартук повозки, улеглись опять и продолжали свою веселую болтовню. Вдруг — хлоп! — повозка набок, на левый бок; — лошади хорошие, смиренные, — на том же шагу остановились; я увидел себя составляющим верхний слой трехъярусного общества и очень удобно вылез в широкую щель между фартуком и верхним боком повозки. Но мои спутники расположились не так удачно. — «Дмитрий Иваныч! Николай Александрович! вылезайте же, что ж вы?» — кричал я со смехом. — «Не могу вылезать! режьте фартук!» — отвечал глухим голосом один из них. Другой вовсе не подавал голоса. Я, ямщик, слуга Дмитрия Иваныча хватились по карманам — ни у кого нет ножа. Схватились за верхний бок повозки, чтобы поднять ее — и все втроем не можем: хорошо улеглась, тяжела, клади много, кладь высунулась на нижний край фартука, оба мои спутника, люди крепкие, навалились на фартук, — на нем 20 пудов тяжести, кроме того, сколько в самой повозке, — не подыметь! — «Отстегивать фартук!» — сказали друг другу мы, бывшие на воле. — Отстегивать? — громадная тяжесть натянула его, прижала кольцо в глубину застежки, — не можем отстегнуть, не можем отвести кольцо от глубины застежки. — «Ломать!» — не сломим: и кольцо крепкое, и застежка здоровенная. — «Рвать фартук!» — но куда же! кожа толстая, новая, — куда же порвать ее! — Опять принялись отстегивать; — «скорее! скорее! — со мной удар будет — задушу его!» — изредка с усилием произносил Дмитрий Иваныч, задыхаясь на каждом слове; — а тот, другой, вовсе и не подавал голоса. — Наконец, кто-то из нас, — кажется, слуга, — изловчился, кольцо шмыгнуло по застежке, фартук отлетел, мои спутники благополучно вывалились на снег, живы, здоровы и целы. Что они здоровы и целы, этого и нельзя было ожидать иначе, лишь бы не задохнулись вовсе: ушибиться не было возможности; но продлись история еще две минуты, один, наверное, был бы задушен: в минуту падения повозки одному случилось перевернуться так, что он упал головою книзу; ноги его были прижаты фартуком, а плечами он навалился прямо на лицо нижнему, шея его изогнулась в три погибели, голова лежала на груди нижнего, а плечи его всею тяжестью тела зажали рот и ноздри нижнему; его он душил превосходно и сам ждал апоплексического удара; руками не могли они пошевелить ни тот, ни другой, — руки были прижаты кладью к земле и к фартуку.

Вот как люди задыхаются сами, давя друг друга.

«Зимние дороги неизбежно имеют ухабы и раскаты, это уж по законам природы; этого нельзя изменить»; — нельзя ли, — «об этом старуха на-двое сказала», по нашему, саратовскому при словью, — дело неизвестное; но даже и не в этом деле сущность дела: отводы у нашей повозки были коротки, от этого она повалилась. Если бы кто-нибудь из нас троих, — или хоть слуга, это

безмолвное и бессильное лицо, — или хоть какой-нибудь мальчишка на какой-нибудь станции вздумал посмотреть хорошенько, годятся ли отводы, то за 3 копейки, в одну минуту, было бы подвязано к отводам по отломку старой оглобли. Что тут рассуждать «о законах природы» — просто, не догадался никто, только.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КТО ПОВЕРИТ?

Из жизни одного писателя. (Отрывок)
Воспоминания Л. Крыловой

1

«Ваш муж не знал, какому страданию подверг меня тем, что, уезжая из Петербурга, просил вас не забывать его приятеля. И вы не исполнили бы его просьбы, если бы могли предположить, каким безумцем буду я, стал я.

Чего ждате мне от вас, кроме насмешки? Я знаю это. И все-таки пишу вам.

Вы не верите тому, что угадываете по этим строкам, что уже высказалось в них. Нет, это так. Да, да: я пишу, чтобы сказать вам, что я люблю вас.

Люблю вас.

Что будет со мною? Насмешки и презрение от вас. Вы добра. Вы будете молчать. Вы захотите сжечь это письмо. Нет, не жгите, — отошлите его к вашему мужу, чтоб и он смеялся надо мною. И если бы только он и вы смеялись надо мною. Но мое безумие так велико, что все заметят его. Я сам не сохранию эту нелепую, смешную тайну своего безумия. Я сделаюсь посмешищем для всех.

О, если б я мог молчать! Но вы видите, я не могу. Что будет со мною?

Но я не могу молчать. Молчать значило бы месяц не видеть вас. Вы вчера сказали: «через месяц я возвращусь». Нет, не уезжайте. Заклинаю вас. Я не могу жить, не видя вас. Оставайтесь здесь и скорее, скорее навестите нас. Скорее, скорее, умоляю: я томлюсь мучением смерти, не видя вас.

Что я пишу! Будто вы согласитесь навестить нас! Но ведь я люблю вас.

Заклинаю, дайте мне видеть вас. Я умру, если вы не согласитесь на мою мольбу. Моя жена мне говорит, что я, вероятно, болен. Я не могу жить, не видя вас. Умоляю, умоляю.

В вас я увидел мой идеал, и я чувствую, что имел верное предчувствие его, но оно было смутно. Вы, вы жили в моем

сердце, и я не знал, кто живет в нем; я увидел вчера вас — это она, ты, моя Вера.

Ко мне, ко мне, Вера, жду тебя. Моя любовь даст тебе славу, даст тебе вечно юную жизнь. Ты и я, мы будем неразлучны, в сердцах всех. Ко мне, жду тебя.

Простите меня, Лизавета Сергеевна. Но вы видите: пожалуйста меня. Дайте мне видеть вас. Скорее, скорее».

2

Вот какое письмо получила я от человека, которого не могу теперь назвать, которого и не нужно называть его настоящим именем: оно известно всем. Но я, я не могу назвать его, потому что этим я отняла бы у себя возможность рассказать мои отношения к нему. Я должна оставить себе возможность сказать: «вы ошиблись, это не о том, о ком вы думаете, и потому это также не обо мне; это не больше как выдумка». Скажу ли я, что это выдумка? — вы не знаете. Поверите ли вы, если я скажу, что это выдумка? Кто ж знает, поверите ли? Я? я знаю ваши мысли? — но кто вы, я и того не знаю. Я пишу для печати. Могли ли я знать, кто вы, читающие это?

Быть может, я сказала бы: «знаю вас, кто бы ни были вы». Но это было бы смешно, — не правда ли? Или нет?

Но хотя вы должны знать фамилию этого человека, я все-таки не хочу сказать ее и не говорю. Я назову его псевдонимом, очень прозрачным: Дикарев.

Это более чем прозрачный псевдоним. Это почти не псевдоним. Все, кто хоть сколько-нибудь знают его, не раз называли его в своих мыслях диким чудачком, дикарем.

3

Это было не очень давно.

Мне было тогда лет двадцать. Не знаю, была ли я экзальтирована; я не могу судить об этом, потому что мало переменялась с тех пор. Многие называют меня и теперь женщиною экзальтированную. Мне кажется, что это не совсем правда.

Но была ли я тогда экзальтирована, или нет, все мои мысли до получения этого письма сосредоточивались на моем муже. Очень давно я привыкла жить, думать только о нем. Он — брат мужа моей кузины, у которой я воспитывалась. Он сам не знает, когда стал видеть во мне свою невесту: с тех пор, как мне 14 лет, или 12, или 11; а я с девяти лет считала его своим женихом, — с первого же вечера, когда он был у нас: приехал в университет, поселился у нас; день — разъезжал по Петербургу, вечером, устав от хлопот и осматриванья города, сидел с братом и его

женою, — посадил меня к себе на колена, стал сказывать сказки об Аладдине, об Альнаскаре, о купце Синдбаде; в сказках о купце Синдбаде были такие страхи, что я жмурила глаза — и заснула; кузина сказала: «Поль, отнесите вашу невесту спать: она просидела два часа дольше своего срока». С тех пор я знала, что я невеста Поля.

4

Когда я уже знала, что тогда я еще не была невестою Поля, — когда уже оставалось только полгода до нашей свадьбы, и никак нельзя было ускорить ее, потому что давно уж мы с Полем условились повенчаться на другой же день после вечера, в который буду я праздновать исполнение 16 лет себе, — нельзя было и отложить ее, потому что «зачем же откладывать?» говорил Поль моей кузине и кузина не находила возражения, кроме того, что «Поль, вы с нею еще так молоды», а мы с Полем говорили: «нет, мы уж старые друзья», и против этого уж действительно нечего было сказать: видно было, что мы останемся привязаны друг к другу навсегда, — вот в это время, за полгода до нашей свадьбы, явился в гостиной кузины человек, которого я называю Дикаревым.

Я никогда не была насмешницею. А мой Поль сказал «Видишь эту хмурую фигуру? Смотри на нее: быть может, мы не увидим его здесь во второй раз. Это Дикарев»⁸³. Я смотрела на него долго. Поль был поклонником этого человека. А я тогда верила Полю во всем; теперь я эмансипировалась и знаю, что Поль насказал мне в детстве много неправды: будто бы все сказки, которые он рассказывал мне, — сказки, будто бы нет на свете жар-птиц, — есть, я знаю теперь: есть.

Поль был поклонником Дикарева; потому и я была поклонница Дикарева.

Но нужно было мне быть его поклонницею, и надобно было мне по природе не быть насмешницею, чтобы не подумать: «однако, какой же чудак знаменитый писатель».

5

В то время он не был еще таким чудачком, ни человеком такой колоссальной славы, как теперь. Но лучшая часть молодежи уже не хотела знать никого, кроме него. В обществе уже начинали говорить: «но, однако, к чему ж это ведет?» Впрочем, тогда еще немногие серьезно говорили это. Для огромного большинства Дикарев был только писатель, который любит развивать парадоксальные мнения и благодаря своей искусной сфистике успевает производить эффект. В Петербурге он был уже знаменитейшим писателем.

Но эффект производился уж очень шумный. Моя кузина, сама женщина очень умная, стремилась дать своему салону и литературный блеск. Она была очень довольна, когда успела затащить к себе Дикарева.

Злые люди, которых я не люблю, говорили, что кузина ухаживала за ним по тщеславию. Это неправда. Сначала она только хотела украсить им свою гостиную, я согласна; но скоро она стала чувствовать к нему неподдельную дружбу: она женщина проникательная; я не знаю, что думает она об идеях Дикарева, — быть может, считает их наивною утопиею; но она видела, что он искренно верит в свои принципы, и потому не могла отказать ему в уважении. А он не умел отвечать на любезность хозяйки, важной дамы, ничем, кроме повинования, и повиновался. «Вы завтра обедаете у меня, непременно», — говорилось ныне, и он кланялся, благодарил и считал неучтивостью не быть завтра за ее обедом; после обеда она говорила: «вы должны ехать со мною в оперу», — и он ехал; отпуская его, она говорила: «послезавтра, я прошу вас: у меня никого не будет, кроме трех-четырех человек», — и он кланялся и считал обязанностью явиться послезавтра. Через два, три месяца кузина уж не приглашала его, а только спрашивала: «почему ж вы не были вчера?» — и он чувствовал себя преступником, если пропустил вчерашний вечер по какой-нибудь необходимости.

Кузина была так расположена к нему, что принимала даже его жену.

Впрочем, его жена добрая женщина и любит его. Но только он мог устроить себе такую женитьбу. Он устроил эту женитьбу без всяких романтических обстоятельств. Он нанимал комнату со столом у какой-то старухи. Старуха имела много родни. В числе родни была племянница, служившая горничною у какой-то дамы. Она была хорошая горничная и хорошая девушка. Но не умела читать. Теперь умеет, но только слова цифр не умеет выговаривать и на словах знает счет только до ста. Дальше, что такое триста, что такое тысяча — этого она уже не может различать. Впрочем, она вовсе не идиотка: она только очень недалека. Но зато она очень проста и добра. Она бывала у своей тетки. Она не хороша собою, но и не отвратительна. Дикареву понравилось, что она девушка простая, не сплетница: она не рассказывала ничего дурного про даму, у которой служила. Ему понравилось то, что она держит себя очень скромно.

Его выгодные замечания о ее характере были совершенно справедливы. Но как и когда он успел сделать их, это было бы мудрено объяснить, если б он не был такой проникательный наблюдатель людей. Ему довольно было мимоходом взглянуть на это простое существо, чтобы понять его. Он рассудил, что если женится на ней, то будет иметь тихую домашнюю жизнь, что такая жена будет любить его, что поэтому и он привяжется к ней;

соображение и не обмануло его. Сделав такие размышления, он сказал их старухе; старуха разинула рот. Наконец, поняла, обрадовалась. Тогда он стал входить в конурку старухи, когда там бывала племянница; дав ей присмотреться к себе, сделал предложение, и — повенчались.

Он был очень доволен своею благоразумною женьбою. Я не смею судить об этом; быть может, он и был прав. Я могу сказать одно: действительно, мадам Дикарева — женщина добрая, искренно любящая своего мужа. Все прибавляют: «и было бы совершенно хорошо, если бы мужем ее был трезвый и добрый кучер, камердинер, солдат, плотник». Может быть, — я не смею судить.

Он говорит, что я очень добрая. Так называют меня и другие за то, что я не люблю осуждать поступки других. Но он неправ, называя меня доброю за то, что я не смею осуждать его женьбу: это не собственно по моей доброте, а потому, что я не смею судить о поступках такого человека. Как судить о нем? — он слишком непохож на других. Что для других было бы мучением, то он находит хорошим для себя.

Но его жена, конечно, никогда не могла сделаться женщиною, каких мы видим хотя в самых скромных гостиных. Надобно отдать ей справедливость: она никогда не усиливалась войти в общество. Но знаменитость мужа заставляла многих знакомиться и с нею. Она не могла быть с этими знакомыми тем, чем не была. Но если она производила на них странное впечатление, то не она была виновата в невыгодности его, а судьба ее, которой она не искала, которой она, быть может, и не приняла бы, если бы знала, в какое положение становится, делаясь женою Дикарева. Она тогда не знала, что такое человек, предлагающий свою руку ей. Она видела в нем только обыкновенного неважного чиновника; думала, что становится только такою же «барынею», как многие другие.

Кузина не могла судить так снисходительно. Она называла жену Дикарева уродом, чудовищем уродства, как называли почти все: свет не любит быть умерен в своих суждениях о людях, поставленных капризом судьбы в положение, для которого совершенно не созданы. И, однакоже, кузина так уважала Дикарева, что была любезна и к его жене, как ни было трудно светской даме принимать в свою гостиную женщину, которая не могла быть занимательною собеседницею даже для ее служанок.

Взгляд Дикарева на жизнь известен всем; но только люди, очень близко знакомые с человеком, вполне понимают искренность его горячих нападений на всякую искусственность. Обык-

новенно думают, что он чрезвычайно хорошо владеет пером; нет, он пишет с увлекательною силою потому, что он живо чувствует.

Он еще до начала знакомства с моею кузиною высказывал желание удалиться от городской жизни, поселиться в деревне, если бы можно было, то в пустыне, куда не заглядывает никакая городская цивилизация, по его известному выражению, никакая испорченность. При его непрактичности, неловкости, гордости трудно было ему успеть в исполнении даже этого очень скромного желания. Кузина, как и другие, довольно долго считала слова Дикарева о сельской жизни только словами, а не выражением глубокого стремления души. Но при своем уме она раньше других поняла, наконец, что он говорит искренно. Она стала думать о том, чтобы доставить ему образ жизни, которого он жаждал.

Немудрено было бы найти какое-нибудь положение вне городской жизни для всякого другого: выхлопотать должность по сельскому управлению, место учителя в сельской школе, что-нибудь такое. Но Дикарев испытал свою совершенную неспособность выносить какие бы то ни было официальные отношения, несовместность их с его характером. Он искал в сельской жизни независимости, — и независимости в том безусловном, идеальном смысле, в каком изображена она у него в произведениях, очаровывающих именно силою полного отрешения мысли от всех, всех ограничений, с которыми так свыклись все мы и из которых, однакоже, рвется всякая душа в минуты идеальных мечтаний. То, что нам, другим, привлекательно как легкое упоение сновидения, было предметом серьезного стремления для Дикарева: жить в идеальной пустыне, без всяких отношений к условным формам нашей цивилизации.

Но как найти эту пустынную независимость для человека, у которого нет никаких независимых средств к жизни, который живет только своею литературною работою и хочет бросить эту работу, неспособен и не хочет принять никаких других житейских занятий и с тем вместе не хочет принимать никаких одолжений ни от кого? Только заботливая внимательность кузины могла найти уголок, в котором отыскалось место для такого идеального отшельничества.

7

У кузины есть довольно большой кусок земли в Валдайских горах. Рядом лежит другая половина той же родовой дачи, доставшаяся по наследству мне. Действительно, эта земля создана быть только дачею: пахать ее был бы напрасный труд. На ней много леса; но десятина этого строевого леса продается за 2 рубля; лучше сказать, не продается, потому что нет возможности довести его никуда, а на месте он никому не нужен: нет

людей, которые бы стали жить в избах из него, топить им печи. На 50 верст кругом вы найдете две-три маленькие деревни с пятью или шестью усадьбами бедных помещиков да десятка три или четыре отдельных крестьянских домиков, одиноко разбросанных на версты и версты один от другого. До постройки железной дороги владельцы дачи — дед, прадед мой и моей кухни — не помнили, что у них есть земля в Валдайских горах. Выходя замуж, кухня попросила у отца ту часть дачи, которая досталась ему. «Пожалуй», сказал он со смехом: эти несколько сот десятин едва ли стоили тысячу рублей и давали 15 или 20 рублей дохода. Кухня сказала, что она построит там швейцарский домик; это и было бы лучше всего, потому что обошлось бы недорого. Но у кухни есть архитектурная страсть. Она увлеклась и выстроила большую дачу. Мы с мужем увлеклись ее убеждениями и выстроили также довольно большой дачный дом на своей земле, верстах в пяти от ее дачи. Мы прожили там одно лето, первое по окончании наших построек; потом две зимы собирали романтическую храбрость опять провести там лето, но остались оба раза при храбрых словах. Наши валдайские дачи лежат в двадцати верстах от железной дороги и не знаю во скольких, — вероятно, в тысячах — верстах от всякой другой дороги. Малочисленные поселяне наших и окрестных владений живут, не страдая от голода: у них есть ржаной хлеб, молоко, капуста, грибы; иногда они имеют и мясо; нередко они едят рыбу. Но на продажу они не имеют ничего даже из этого немногочисленного провианта. Мы должны были приобретать даже белый хлеб к своему чаю из Петербурга или Твери. Об остальном нечего и говорить. Это было вдвое дороже, чем жизнь на даче около Петербурга; но главное, это было до несносности хлопотливо и скучно: каждый день телега тащилась трудною лесною дорогою, — лучше сказать, тропиною, — к ближайшей станции за привозимым нам хлебом и другими ежедневными надобностями. Если погода была дождлива, телега не успевала возвратиться во-время для приготовления обеда; мы смеялись, голодая, — мы ели вчерашний хлеб и не голодали; иногда это бывало даже весело. Но вообще это скучно, уверяю: очень скучно. Я говорю: потом мы храбрились, но у нас не достало храбрости возвращаться в наши скиты на другое лето отшельничества. Одно лето можно прожить так, — со скукою, но и не без удовольствия. Впрочем, и одно такое лето приятнее в воспоминании.

8

Кухня не ошиблась, вздумав, что ее валдайское владение может заменить для Дикарева необитаемый остров на Тихом океане. Он очаровался, когда увидел такую недостижимую для

людей местность. Эта поездка, сделанная в довольно большой компании, была весела для всех нас. Распорядительный слуга, отправившись дня за два раньше нас, успел собрать три-четыре тележки, несколько получше мужицких телег; они ждали нас на станции, и мы добрались до наших дворцов без приключений. На другой день мы отправились назад. Кузина говорила, что очень жалеет о невозможности найти хорошего смотрителя, который берег бы ее дом: никто не соглашается жить в таком неудобном месте или просят слишком много жалованья, так что дом и мебель, оставшаяся в нем, не стоят этого расхода.

Через несколько дней Дикарев сказал кузине, что просит ее уступить ему один из двух флигелей валдайской дачи: он станет жить там круглый год. Несколько дней торговались: Дикарев не хотел жить иначе, как платя за наем флигеля, потому что надзор за домом не такой труд, который стоил бы даровой квартиры; кузина, напротив, предлагала жалованье, чтобы в Дикареве осталось впечатление, что она будет считать одолжением, когда он примет квартиру без жалованья. И действительно, он переехал на ее дачу с убеждением, что она принимает это переселение за услугу себе.

Быть может, он и не был неправ: большой и хороший дом кузины, отделанный довольно роскошно, обошелся ей недешево; отчасти было жаль, что все это быстро пропадет без надзора. Кузина даже рассчитывала теперь, что будет хоть несколько пользоваться своею дачею: она предполагала проводить там две-три недели в лето. И мы с мужем полагали, что будем ее спутниками в этих идиллических поездках.

Таким образом кузина успела, не затрогивая чувства независимости в Дикареве, дать ему возможность осуществить его фантазию: ему не было надобности тратиться на заведение пустынного хозяйства; он взял из дома кузины в свой флигель часть мебели, посуду, весь этот хлам, который обходится так дорого даже для самого скромного хозяйства.

9

Вы видите, что Дикарев занимал в обществе совершенно оригинальное положение, которому трудно приискать имя, потому что жизнь и язык общества не принимают в соображение такие исключительности, не создают готовых мест для приюта таким эксцентрикам, готовых слов для обозначения их отношений к другим людям.

Я назвала Дикарева писателем, потому что он великий писатель; но литература никогда не была его профессиею. Он говорил мне, когда мы уже говорили с ним обо всем: «Я могу писать полезные и хорошие вещи только потому, что я не писатель».

Если б я стал работать, как другие, я потерял бы все: и талант, и честность мысли». И действительно: он написал довольно много, но почти все это написано им или в два-три года, к которым и относится мой рассказ о нем, или по каким-нибудь особым случаям, горячо затрогивавшим его. Он не хотел, — вероятно, и не мог, — печатать постоянно и постоянно, как делают литераторы. Только в те два-три года, о которых я говорю, он работал постоянно и много. Но это потому, что они были совершенно исключительным периодом в его жизни. Он был уж немолод; образ его мыслей совершенно установился и не подходил ни к одному из воззрений, между которыми шла тогда борьба. Теперь этот образ мыслей уже принадлежит многим. Тогда, до появления первых его произведений, были тысячи людей, в которых развивалась потребность этого смелого, широкого воззрения. Но никто из них не умел выяснить себе принцип своих стремлений, они жили только в нас неопределенными, сбивчивыми предощущениями и не умели высказаться. Дикарев не находил в современной литературе ни одной партии, мнения которой хоть наполовину соответствовали бы его убеждениям, и когда убеждения его прояснились для него самого, он почувствовал на себе непреодолимую обязанность высказаться; он предался этому влечению — не таланта, а совести, как он говорил, и работал страстно: «это жгло меня огнем, и я не мог молчать». Высказавшись, он принимается теперь за перо только тогда, когда какие-нибудь обстоятельства возбуждают в нем ту же огненную потребность дополнить, пояснить. Его деятельность — это гейзер, который проявляется глазам людей лишь тогда, когда слишком переполняется кипятком его молчаливая, незримая, неведомая глубина. «Я не знаю, мыслитель ли я, — я не знаю, поэт ли я, — говорил он мне, — но я живой человек и люблю людей. Поэтому мои произведения не могут не иметь сильного действия. Как им не действовать? Они не произведения моей воли; я не властен писать или не писать их; природа, — та, которая делает, что является по временам молния, — она производит и эти феномены посредством меня; это не книги, а явления жизни природы. Поэтому они сильны. А сам я едва ли имею какую-нибудь силу. По крайней мере, если я хочу писать, я не умею писать, у меня не выходит ничего; вы не поверите, я не умею связать двух слов со смыслом. Напишу несколько строк с бесконечным трудом, — посмотрю: пошло, плоско, глупо; бросаю, не могу не бросить, потому что вижу: ничего не выйдет из этой бездарной работы совершенно бесталанного человека, и притом это ужасно утомительно: будто ворочаю бульжник; — и тяжело, и сам чувствую, что совершенно бесплодно. Так всегда. Но вот с год продолжалось совсем другое: льется лавою. Опять остановилось. Несколько времени не имел силы, не чувствовал и позыва. Теперь опять началось».

Действительно, это был второй и последний период той особенной эпохи его жизни, о которой я говорила: эпохи, в которую он высказался и после которой стал писать уже редко, только по особенным случаям. Все знают эти два периода, которые оба обнимают только года три-четыре. Произведения его первого периода были ученые. Высказавшись в этой форме, он потерял возбуждение к работе. Может быть, организм требовал отдыха: вы увидите из моего рассказа, что такое было у него состояние литературной деятельности. В буквальном смысле слова оно сопровождалось клокотанием крови в его жилах. Он был так волнуем своим вдохновением, что постоянно слышал биение своих жил. «Я слышу шум и стучание их, — говорил он мне, — в кистях рук, в висках, в шее они стучат. И стук так постоянен, что я к нему привык, он не мешает мне. — Вы видите, мой талант — мои нервы», — говорил он. Пробыв много месяцев в такой усиленной деятельности, он впал в дремоту; первый период его вдохновенного раскрытия представлявшейся ему истины был кончен.

Во время этого отдыха кузина устроила для Дикарева отшельничество в Валдайских горах.

Тогда она была ближайшим другом Дикарева. Вероятно, он был расположен к ней всего больше потому, что она оставляла его молчать и при своем чрезвычайном искусстве управлять разговором умела делать, что и другие оставляли его в покое, не обращались к нему с вопросами, не вовлекали его в разговор.

Я не знала человека, который до такой степени, как Дикарев, зависел бы от своего расположения духа и в котором расположение духа так мало подчинялось бы усилиям воли. Каждый из нас может принудить себя обратить внимание на предмет, незамысловатый для него. Есть люди очень задумчивые, есть люди очень рассеянные; я сама принадлежу к чрезвычайно рассеянным людям. Но всему есть своя граница. Я могу поддерживать обыкновенный, неинтересный для меня разговор; часто пропускаю мимо ушей слова людей, с которыми говорю, отвечаю невпопад; часто это выходит неловко, смешно, но все-таки я могу говорить.

Есть люди, у которых срываются с языка слова, совершенно не идущие к предмету разговора или неловкие в нем. Я сама из таких людей. Часто я скажу что-нибудь так некстати, что все засмеются, и только тут я увижу, что сказала неловкость. Сколько раз, например, я говорила, что рассеянные люди — вообще добрые люди, забывая, что этим хвалю сама себя; или

говорила о себе в большом обществе что-нибудь простое, фамильярное, такое, что мило и уместно только в кругу хороших знакомых. Люди, с которыми я не обменялась десятью словами, иногда слышали от меня, что моя горничная ныне превосходно выгладила белье, или жаловалась мне на свою сестру, или что мой муж ныне чрезвычайно хвалил мое искусство делать чай, между тем как я вовсе не обладаю тайнами этого искусства, — они слушали, улыбались, и часто я даже не замечала, что они улыбаются. Но всему есть мера. Я могу сказать в один вечер десяток таких наивностей и неловкостей; но не только одни их я говорю: вообще я говорю, как и все. У меня эти забавные промахи, как и у всех рассеянных людей, только промахи в разговоре, который вообще идет как обыкновенно, как следует.

Дикарев совершенно неспособен держать себя даже так, как держат себя самые рассеянные или задумчивые люди. Он не в состоянии вести разговор иначе, как или самым ученым кабинетным тоном, или с большим одушевлением. Он совершенно не может участвовать в обыкновенном разговоре, поэтому его положение во всяком обществе чрезвычайно странно: он сидит будто опущенный в воду, или — даже мало сказать и это — будто какое-то неодушевленное существо. Но опять и это не выражает его положения: видно, что он тяготится своею ролью глухонемого; он старается вслушиваться, понимать, но на лице написана и тяжесть усилия, и совершенная неуспешность, и мучение этой постоянной неудачи.

И если б он выдерживал роль глухонемого, на которую обрекла его судьба! Но он так рассеян, что вдруг забывает даже свою неспособность участвовать в разговоре и вставляет два-три слова, совершенно неидущие, неуместные, — и видит, что провалился, и умолкает, сделав свой фиаско. Часа через два делает новый. Но это бывает далеко не каждый вечер. Часто дня по три, по четыре не слышали от него ни слова.

Я и теперь не люблю скучать и молчать. Надеюсь, до старости и в старости буду такая же, как теперь; мне обещают это все, кто знает меня. Я очень глубоко уважала Дикарева — по слухам, отчасти и потому, что сама понимала благородство его идей, а всего больше потому, что Поль очень высоко уважал его. Но я не была ни другом Дикарева, как моя кузина, ни даже одною из дам и девушек, которые интересовались сколько-нибудь сблизиться с ним за его знаменитость. Скучные люди скучны для меня. Едва ли мы обменялись когда-нибудь с Дикаревым хоть двумя словами, кроме обыкновенных фраз при встрече, при прощанье, да тех слов о кушанье, о чае, которые обязана говорить гостю хозяйка. Дикарев нередко бывал у Поля; Поль также бывал у него часто. Я не имела ни разу охоты ехать с Полем к Дикаревым. А когда он бывал у нас, я сидела с ним только по обязанности хозяйки, — очень редко и очень мало, когда ему

случалось не заставить Поля. Обыкновенно он в таких случаях, помолчав минут пять, раскланивался.

Впрочем, я не могу сказать, чтобы совершенно никогда не занималась им. Напротив, мне сначала было очень странно видеть его почти каждый раз в обществе кузины: зачем он бывает? Ведь ему должно быть очень скучно. Я думала об этом и не могла понять. Спросила кузину; она удивилась: что ж тут странного, что человек дорожит ее обществом, считает за честь быть дружным с нею? — Конечно, о всяком другом это было бы справедливо. Но Дикарев больше всего хотел быть спокойным и независимым; он не дорожил обществом и всем, что ценится светскими людьми. Он ни добивался ни карьеры, ни денег, ни комплиментов; зачем же он скучает? — Кузина не думала, что он скучает: «он мизантроп и чудак, потому молчит и жметесь в угол; но ему не скучно». Мне казалось, что кузина ошибается. Я спросила у Поля, тогда еще жениха моего: «зачем твой Дикарев бывает здесь? Ему скучно». — «Да, — сказал Поль: — но у него такой несчастный характер. Он не умеет отказываться от приглашений. Твоя кузина зовет его, — он считает невежливостью не быть, когда приглашен». — «Но каждый день! — терять столько времени из вежливости!» — «Я скажу тебе, Верочка, еще смешнее: он воображает, что должен держать себя перед твоею кузиною, как перед человеком, у которого он в неоплатном долгу, почти как перед своею благотельницею». — «В долгу? Благотельницею? С чего ж это он воображает?» — «Это очень смешно, Верочка; он не хуже меня понимает, что он служит одним из украшений салона твоей кузины, одним из ее прав на внимание общества к ее словам. «Она друг Дикарева», — и следовательно, она авторитет. «У ней вы увидите Дикарева» — это все равно, как тоже говорят: «У ней есть несколько замечательных картин; особенно интересны в ее маленькой галлерее три или четыре прекрасных копии с Рафаэля, которые приписываются также какому-то великому итальянскому художнику». Он понимает, что в существе дела, он в ее салоне — драгоценная мебель. Но вот что забавно: он рассуждает, что она сама понимает свои отношения к нему иначе, и что он должен ценить это и держать себя сообразно ее чувствам. Она считает себя его покровительницею, была бы возмущена его неблагодарностью, если б он манкировал перед ее салоном, — он и является к ним». — «Но, Поль, это не смешно, это жалко». — «Ты слишком добра, Верочка; скорее следует сказать, что это унижительно. Но что ж будешь делать с таким человеком? Это его слабая, очень слабая сторона. Он так горд, что даже не умеет держать себя, как держат люди, уважающие себя. Он так переполнен стремлением к независимости, что во всем видит услугу себе, чуть не благодаяние и от потребности не быть обязанным никому чувствует на себе обязанность быть признательным, где вовсе

нет оснований чувствовать это». — «Это очень странный человек, Поль». — «Да. Но теперь ты не будешь смеяться над ним за то, что он торчит здесь без надобности, некстати, нелепо для него». — «Поль, разве я смеюсь над кем-нибудь? А это я даже понимаю». — «Неужели?» — «А ты разве не понимаешь?» — «Я его люблю, Верочка; как же я любил бы его, если б не понимал, что это в нем от чрезвычайной деликатности его натуры». — «Но все-таки, Поль, он очень скучен». — «С этим я не спорю. Но, Верочка, когда он разговорится, он говорит так же увлекательно, как пишет». — «И я буду читать все, что он напишет; но говорить я люблю с людьми, которые говорят не так прекрасно, как пишут, если умеют писать хорошо».

Дикареву было уж больше 30 лет. Я не буду описывать его наружность: она должна быть известна всем.

Он, как мне казалось бы, если бы я замечала, обращал на меня так же мало внимания, как я на него. Но я и не замечала, обращает ли он внимание на меня. То, что он вовсе не интересовался мною, я узнала после, и вы прочтете, в каких словах он сказал мне это. Впрочем, когда он подружился с Полем, то стал иметь из-за него расположение и ко мне.

12

Поль, уезжая из Петербурга, помогал мне придумывать, как убить время без него; мы оба знали, что я буду очень скучать. Я думала раза два съездить в Москву, где у меня есть родные: я не люблю Москву, и было бы скучно оставаться там долго; но я надеялась, что по одной или по две недели могу провести там довольно сносно. Поль вздумал сказать: «Заезжай по дороге к Дикаревым: анаторство в пустыне на сутки — интересно и мило. А Дикаревы будут очень рады тебе». Мне самой понравилась эта мысль.

Я возвращалась из поездки в Москву, где сказала родным, что приеду опять через месяц. В вагоне со мною разговорился один из поклонников Дикарева; узнавши, что я знакома с этим писателем, расспрашивал о нем. Вероятно, поэтому я и вспомнила, что думала навестить Дикаревых.

Я сошла на Березайской станции. Но как перебраться с нее до моей дачи? Я ужаснулась, взглянув на тележку, которую называли мне прекрасною и удобною; я увидела, что несравненно легче сесть на лошадь, чем взобраться на это высокое сооружение. Мы с Машею достали мою амазонку, устроили из ковра замену дамского седла, и я пустилась, — но не вскачь, потому что моя лошадь имела слишком большую привычку обдумывать каждый свой шаг; впрочем, она согласилась в удовольствие мне пойти рысью. Но эта рысь была утомительнее самого отчаянного

карьеру. Я измучилась; до моей дачи оставалось еще пять верст, я повернула на дорожку, которая вела к даче кузины, — и явилась к Дикаревым совершенно неожиданно, прямо со станции.

Они были очень рады. Хорошая мадам Дикарева совершенно захлопоталась, успокаивая меня; действительно, я чувствовала себя очень усталую и была рада, что она заставила без церемонии лежать, пока я отдохну.

Я была почти незнакома с нею. Она понравилась мне, как женщина простая, и — право, неглупая женщина, я всегда скажу это; я согласна с мнением ее мужа о ней.

И он очень внимательно заботился обо мне. Она отправила его ставить само...

(На этом рукопись обрывается. Ред.)